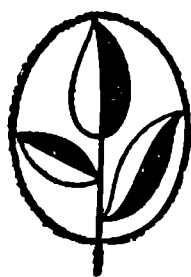


И (Вьет.,
Т50

мастера современной прозы

Т О Х О Д Ы





**МАСТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЫ**



**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
МОСКВА 1975**

МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ • ДРВ

-

Редакционная коллегия:

**Засурский Я. Н., Затонский Д. В., Марков Д. Ф., Мицкевич Б. П.,
Мулярчик А. С., Палиевский П. В., Чelyшев Е. П.**

ТО ХОАЙ

ЗАПАДНЫЙ КРАЙ

РОМАН

РАССКАЗЫ

СКАЗКИ

ПЕРЕВОД С ВЬЕТНАМСКОГО

Предисловие Н. Никulina
Составитель и переводчик М. Ткачев

Произведения, включенные в настоящий сборник, были опубликованы на языке оригинала до 1973 г.

© Составление, перевод на русский язык, кроме произведений, обозначенных в содержании знаком*, и предисловие — «Прогресс», 1975.

Т $\frac{70304-1060}{006 (01)-75}$ 99—75

ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из первых лауреатов международной премии «Лотос», присуждаемой писателям, внесшим наибольший вклад в развитие литературы Азии и Африки, стал вьетнамский прозаик То Хоай. Премия была вручена в 1970 году в Дели, и делийские торговые фирмы, фешенебельные магазины засыпали лауреата яркими рекламными проспектами и заманчивыми предложениями: как лучше истратить полученные им пять тысяч фунтов стерлингов. Кто-то из индийских друзей посоветовал соблюдать осторожность, открывая на стук дверь в номере гостиницы, потому что город не свободен от злоумышленников. Но То Хоай только улыбался в ответ своей чуть загадочной улыбкой — в ней было и доброе внимание к собеседнику, и едва заметная лукавинка — друзья беспокоились понапрасну. Вьетнам переживал тяжелые годы борьбы с агрессором, и писатель сразу же целиком передал премию в фонд сражающегося народа, которому он безраздельно посвятил и свою жизнь, и свой писательский талант. То Хоай начинает как писатель критического реализма на заключительном этапе его развития во Вьетнаме на пороге 40-х годов и впоследствии становится деятельным участником создания новой культуры ДРВ.

Будущий писатель, мальчик Нгуен Шен, родился 16 августа 1920 года в пригороде Ханоя. Привязанность к родным местам он сохранил на всю жизнь — это, в частности, выразилось и в том, что свой литературный псевдоним — То Хоай — он составил из первых слогов названия реки Толить, протекающей неподалеку от родной деревни Нгиадо, и названия уезда Хоайдык, в котором эта деревня расположена. В деревне Нгиадо

кустарным ткачеством занимались почти все — земли в общине было мало, и прокормить она не могла, а труд ткача, нескончаемо монотонный и тягучий, будто нить, кое-как мог обеспечить существование (что в колониальном Вьетнаме уже считалось большим счастьем для простого труженика). Такую невеселую и трудную жизнь вел и отец Нгуен Шена, бедный ремесленник.

Будущий писатель рос настоящим мальчишкой из ханойского предместья — смышленным и бойким. Родители решили дать ему образование и определили в школу, путь до которой был не близок. Случались дни, когда ему удавалось сократить скучную дорогу, уцепившись за буфер трамвая (денег на билет у него, конечно, не было). «Благодаря этому, — с улыбкой вспоминает писатель, — у меня оставалось время до начала уроков, и я бежал в зоопарк; там я дразнил мартышек и кидал камешки в клетку с тиграми. За этим увлекательным занятием я нередко забывал, что надо идти в школу». Учился он не очень старательно, в чем чистосердечно признавался потом старейшему писателю Нгуен Конг Хоану, бывшему учителю. Все же именно школа, и прежде всего школьные друзья, пробудили в нем любознательность и любовь к книгам. Он читал много — все, что попадало под руку.

Окончив в 1938 году школу первой ступени, Нгуен Шен возвращается к отцовскому ремеслу. Между тем времена переменялись. Победа Народного фронта во Франции, борьба Коммунистической партии Индокитая привели к тому, что несколько смягчились жесткие запреты колониального режима. Ткачи-кустари организуют товарищество, секретарем которого становится «грамотей» Нгуен Шен.

У юноши пробуждается интерес к литературному творчеству, он начинает посещать редакции изданий коммунистической партии, получившей право на полулегальное существование, там он встречается с литераторами и публицистами, существенно повлиявшими на его судьбу. Как это нередко случается, будущий видный прозаик поначалу тяготеет к поэзии. «Иногда я сочинял стихи и посылал в редакции газет. Газеты их не печатали», — пишет он. Впрочем, некоторые юношеские опыты То Хоая все-таки увидели свет еще в 1938 году: эти стихотворные зарисовки обнаруживали тонкую наблюдательность автора и отсутствие умозрительности, что было уже само по себе ценно.

Однажды начинающему литератору повезло, и он получил место в обувном магазине фирмы «Батя». Устроив свои дела, То Хоай усердно пробует перо в разных жанрах. «Я все писал. Иногда какая-нибудь газета печатала мое стихотворение, рассказ или нарисованную мной карикатуру». Но коммерсант из будущего писателя явно не получился, и То Хоай вскоре остался без работы. Начались нужда, поиски места. «Году в тридцать восьмом или тридцать девятом я чуть не попал во Францию в качестве неквалифицированного рабочего», — рассказывает То Хоай.

Кто знает, возможно, Вьетнам потерял бы одного из лучших своих мастеров слова, если бы не бдительность врача, «чиновного господина доктора», который усмотрел мало корысти для Франции в тщедушном, низкорослом юноше-вьетнамце — То Хоай весил тогда всего сорок один килограмм. Лишив могучую европейскую державу скромного вклада этого потенциального чернорабочего, чиновник от медицины, сам того не ведая, сохранил для Вьетнама талантливое писателя.

«Тем временем,— вспоминает То Хоай,— разгоралась, все более ожесточаясь, вторая мировая война, шаг за шагом подступая к нам со всех четырех сторон. Индокитай скрючивался, будто сушеная креветка».

В душе безработного юноши, жаждавшего узнать мир, увидеть страну, рождается необычный план — с двумя своими сверстниками он задумал совершить паломничество по буддийским храмам Северного Вьетнама, которые, как правило, расположены в самых чудесных, самых живописных уголках страны. Трое паломников отнюдь не были преисполнены религиозного рвения и благочестия, их занимало совершенно иное: по дороге друзья заспорили, но не о буддийском богословии, а о Третьем Коммунистическом Интернационале и Четвертом — троцкистском. Дело кончилось потасовкой, и дальнейший путь То Хоай продолжал в одиночестве. Чего он только не насмотрелся в пути! Настоятель огромного пещерного Храма Благовоний оказался вовсе не аскетом-заморышем, а «кряжистым загорелым мужчиной, здоровяком с кривой физиономией хитреца». В соседнем поселке оказалось полно ребятишек, очень похожих на преподобного настоятеля, которых тот охотно брал к себе в послушники... А однажды ночью паломнику пригрезилась юная послушница — стройный девичий силуэт на фоне храмового колокола. Но паломничество его было грубо прервано местными властями, которые под конвоем препроводили странника в родные места.

Мапящий ветер страпствий, романтика путешествий вдохновили юного литератора — в 1941 году он завершил свою аллегорическую повесть-сказку «Жизнь, приключения и подвиги славного кузнечика Мена, описанные им самим». Конечно, То Хоай опирался на традиции отечественной классики, богатой аллегорическими произведениями о животных и насекомых, под видом которых (при всех их специфически «звериных» повадках) изображались люди, но для него чрезвычайно важны были и традиции европейских литератур. «В моей повести «Приключения кузнечика Мена» сливаются веяния, идущие от «Путешествий Гулливера», «Дон-Кихота», «Приключений Телемака», — признает сам То Хоай. Эти веяния легко уловить и в несколько ироничной манере повествования, и в четкой до схематизма обрисовке образов, и даже в обстоятельных и пространственных названиях глав.

Вместе с тем в сказке ощущается национально-вьетнамская «приуроченность», идущая непосредственно от жизни — в «мини-путешествиях»

кузнечика Мена раскрывается «малая фауна» ханойского пригорода, привычки, традиции, формы жизни, свойственные именно старому вьетнамскому обществу. Повесть предназначалась не только для детей, в ней было выражено стремление к миру в трудную годину второй мировой войны, своеобразное представление о государстве всеобщей справедливости, правда несколько наивное и прекраснодушное, но, безусловно, навеянное идеями революционного движения.

Повесть принесла То Хоаю известность. Более того, она открыла для него перспективу профессиональной литературной деятельности. В годы колониального гнета у вьетнамского интеллигента возможности выбора жизненного поприща были крайне бедными, о чем с горькой иронией писал известный вьетнамский эссеист Нгуен Туан. «...Кого не угораздило сделаться лавочником, подрядчиком, писарем, чиновным господином, королем или, чего доброго, разбойником, тот обычно брался за журналистику, поэзию или прозу».

После успеха «Приключений кузнечика Мена» хозяин ханойского издательства «Тэн Тэн», тонким чутьем дельца от литературы распознанный талант молодого литератора и почувывший перспективу немалых барышей, предложил То Хоаю договор. Наверное, договор этот следовало бы назвать кабальным и даже фантастическим: ежемесячно молодой прозаик обязывался писать повесть для детей и два рассказа! Кроме того, для дополнительного заработка он мог раз в три месяца представлять в издательство повесть, а то и роман. Наверное, в тот момент То Хоай принял бы и еще более жесткие условия, чем эта писательская поденщина: ведь договор предусматривал главное — возможность писать и не думать постоянно о чашке риса, хотя сам То Хоай замечает, что тогдашний литературный заработок «вряд ли был равен заработку квалифицированного рабочего или заработку человека, имеющего такое же, как у меня, образование, но работающего корректором в типографии».

Необходимость соблюдать сроки договора диктовала писателю исключительно напряженный темп: «Я сочинял, будто бежал с кем-то наперегонки». В течение примерно трех лет до 1945 года он написал пять больших повестей для взрослых, три сборника рассказов, несколько десятков детских повестей (некоторые из них так и не увидели свет).

В первой половине 40-х годов, когда Вьетнам оказался под двойным иноземным гнетом — французских колонизаторов и японских милитаристов, а вьетнамская литература страдала от цензурных преследований (всесильные цензоры брали мзду даже за то, чтобы рукопись не залеживалась месяцами на полках), писатели-реалисты вынуждены были прибегать к эзопову языку, хотя и это не всегда помогало — тексты «Приключений кузнечика Мена», а также вышедших в начале 40-х годов аллегорий: «О мышинной свадьбе» и «Нравоучительные истории из жизни трех побратимов», были подвергнуты беспощадным цензурным купюрам.

Впрочем, несмотря на это, в «Мышиной свадьбе», например, где изображен изрядно «очеловеченный» мышиный мир, который ввергнут в пучину страданий из-за бесчинств и насилий кровавого деспота Драного Кота, постоянно появляющегося с западной стороны, совершенно очевиден дерзкий сатирический выпад против французских колониальных властей. Покров аллегии оказывается подчас чрезвычайно прозрачным и лишь усиливает сатирическое звучание образа.

И тем не менее вследствие цензурных запретов писатели-реалисты в эти годы часто вынуждены были отказываться от прямого изображения остросоциальных конфликтов. Зато углубляется психологическая разработка образов, ведется исследование еще не познанных литературой уголков национальной жизни, народного быта. И здесь весьма показательны рассказы То Хоая «Сборщик налогов», «Малолетние супруги» и «Месяц, который не умел разговаривать» из сборника «Бедняцкая семья» (1943) — в них реалистически, часто даже этнографически точно воспроизводятся обычаи и нравы старой вьетнамской деревни и пригорода, причем жизненный материал молодому писателю неизменно поставляла его родина — Нгиадо.

Взгляд То Хоая останавливается на необычном, и рассказ строится иногда без четко выраженной внешней сюжетной линии, как, например, в «Малолетних супругах», где внимательно-ироничный повествователь рассказывает о существовавшем прежде обычае ранних браков и взаимоотношениях между супругами-детьми. Однако в те же годы был опубликован и рассказ «Сборщик налогов», который стоит на грани сатиры, острого социального обличения.

То Хоай работал и жил в хапойском предместье. Вскоре с ним поселился его близкий друг писатель Нам Као. В последние дни каждого месяца у молодых прозаиков начиналась сочинительская горячка. Они сидели ночи напролет. И тогда порою завязывалось своеобразное творческое содружество. «Иногда, чтобы успеть к сроку, мы начинали писать друг за друга. Нам Као был мастером психологического портрета, и я просил его потрудиться над соответствующими кусками в моем сочинении. Когда же сон одолевал Нам Као или То Хоаю надоедало сочинять, один говорил другому: «Будь добр, помоги-ка мне вот здесь: собирается дождь, берег пруда, заросли бамбука, дело к вечеру. Нужно несколько страниц». Я всегда охотно брался описывать пейзаж». Случалось, друзья садились в поезд и отправлялись в путешествие, выбирая те места, где жили их коллеги литераторы. Побывал То Хоай и в Камбодже. И всюду он видел картины социальной несправедливости, колониального гнета.

Активная и радикальная общественная позиция писателя, мечтавшего об освобождении родины, приводит его в ряды борцов за свободу. В 1943 году То Хоай, а вскоре после него и Нам Као вступают в только что созданную нелегальную Ассоциацию деятелей культуры «За спасе-

ние Родины», входившую в патриотический фронт Вьетминь и работавшую под руководством коммунистической партии.

Члены Ассоциации собирались на заседания в фешенебельном особняке и увлеченно вели политические и профессиональные дискуссии. Разумеется, надо было остерегаться «псов» — тайных сыщиков и «АБ» — секретной агентуры, проникавшей в нелегальные организации. В 1943 г. Коммунистическая партия Индокитая выдвинула известные «Тезисы по вопросам культуры», в них утверждалось социалистическое содержание, национальная форма и народность новой культуры Вьетнама, подчеркивалась необходимость бороться «за торжество социалистического реализма». Тезисы давали ориентир прогрессивным художникам, что в годы распространения упадочнических настроений было особенно важно.

«...Стоило только скользнуть взглядом по названиям на обложках,— писал То Хоай,— чтобы ощутить тяжелый пряный запах пошлости: «Когда повязь спадает с груди», «Обнаженная», «Любовники», «Гулящая», «Добыча», «Ночь с красавицей Ян Гуй-фэй». И еще много, много другого в том же духе! Хозяева издательств охотно покупали такой товар. Живешь пером — пиши по заказу». Но То Хоай писал по другому социальному заказу — в его произведениях пока еще глухо, завуалированно звучат слова о светлом будущем, о новых широких горизонтах, о грядущем обществе социальной справедливости. Говоря о своем творчестве в период, предшествовавший революции, То Хоай потом мог со всей искренностью сказать: «...Я стремился сохранить в своей душе свет идеалов, которым я следовал. Мне приходилось идти по вязкой трясине, случалось, у меня кружилась голова, темнело в глазах, но я не впадал в упадочничество, не унижался до приспособленчества».

То Хоай сотрудничал в нелегальных газетах фронта Вьетминь, писал короткие, сто-двести слов, статьи, часто на основе жизненного материала, переданного товарищами из освобожденных районов. В 1944 г. вместе с другими участниками Ассоциации То Хоай был арестован. Закованных в кандалы, их привезли в город Намдинь. Потянулись допросы, протоколы, но в конце концов властям пришлось отпустить арестованных. Однако и после этого То Хоай продолжал нелегальную работу. Он занимался распространением листовок и облигаций Вьетминя. Дело было чрезвычайно опасным и рискованным: задержанных с такими уликами ждала быстрая и короткая расправа — расстрел на месте. Однажды с помером нелегальной газеты То Хоай попал в облаву — японские солдаты устраивали повальный обыск. Они с усердием, тщательно обыскали писателя, но газеты не нашли — он успел ее проглотить...

В 1945 году страну, страдавшую от бесчинств и поборов японских оккупантов, постигло тяжелое бедствие — разразился голод, унесший несколько миллионов жизней. «На рынках, на улицах и дорогах лежали изможденные люди и тела умерших от голода — рядом с харчевнями, в

которых пировали японские вояки,— вспоминает То Хоай.— Ночами пьяная японская солдатня разгуливала по улицам, стуча каблуками, горланила песни и гремела саблями».

Но близился крах японской военщины, успехи Советского Союза создавали новые, благоприятные условия для подъема революционного движения во Вьетнаме. В августе 1945 года свершилась революция, которая привела к освобождению страны от чужеземного гнета и образованию первого в Юго-Восточной Азии государства рабочих и крестьян — Демократической Республики Вьетнам. То Хоай радостно, как долгожданное избавление, принял революцию, в первые же дни после ее победы он стал корреспондентом газеты «За спасение Родины» («Кыу куок») — органа ЦК фронта Вьетминь.

Здание ЦК и редакцию газеты в ту пору охраняли вооруженные браунингами бойцы в коричневой крестьянской одежде — бывшие ткачи, и эта охрана стояла не зря, потому что первый год молодой республики был трудным и тревожным: страна переживала голод и разруху, а французские, чанкайшистские и английские войска топтали землю Вьетнама. Но народ жил в атмосфере грядущих глубоких социальных перемен. Общественная и культурная жизнь бывшей колонии испытывала невиданный ранее подъем. В обстановке острой идеологической борьбы рождалась новая литература, шли споры о конкретных путях ее развития.

Симптоматично, что именно в это время возрастает во Вьетнаме интерес к творчеству Максима Горького — основоположника социалистического реализма. В газете «За спасение Родины» ежедневно на третьей полосе частями печатался «Тихий Дон» Михаила Шолохова.

Критик-марксист Данг Тхай Май призывал своих коллег литераторов: «Наши вьетнамские поэты, художники, писатели ныне, вероятно, не должны пребывать в чванливом самоупоеании — оставаться вне политики, вне народного движения, стоять над массами и принимать позу наставника всех и вся! Прежде всего мы должны встать на сторону народных масс и взяться за работу! Жить вместе с народом, тревожиться его тревогами, думать его думами, надеяться его надеждами — наш долг».

То Хоай был одним из тех, кто твердо и последовательно выполнял этот долг строителя новой культуры. С началом французской колониальной агрессии на юге страны в 1945 г. он отправляется в районы военных действий. С фронта он привез книгу очерков «В Южном Чунбо».

В 1946 году, когда То Хоай вернулся в Ханой, в маленькой компании редакции на улице Барабанов партиячейка газеты «За спасение Родины» приняла его в коммунистическую партию.

В декабре 1946 года грянула всенародная война Сопротивления, патриоты с боями отступили в джунгли и горы. Коммунист То Хоай, надев походный ранец, покинул Ханой. Вряд ли писатель, посвятивший свое

творчество ханойским пригородам, ясно сознавал, что идет навстречу новой большой теме, навстречу новым героям.

Начав войну журналистом, газетчиком, То Хоай долгие военные годы оставался на этом посту. Вместе со своим старым другом Нам Као, впоследствии расстрелянным колонизаторами, он работает в редакциях газет, издававшихся в труднейших военных условиях. Для редакционного помещения приходилось иной раз использовать пещеру на склоне горы, который к тому же обстреливался вражеской артиллерией. С горы было видно, как внизу по дороге движутся солдаты французского Иностранного легиона. И все же газета выходила регулярно, хотя часто ее приходилось печатать на гектографе самим журналистам.

В качестве корреспондента То Хоай за годы войны трижды прошел пешком из конца в конец горный край Северо-Западного Вьетнама. Уроженец ханойского предместья, долины Красной реки с ее равнинными рисовыми полями, залитыми водой, с ее высокими дамбами и деревнями за живыми изгородями из бамбука, То Хоай был поражен первозданной, необузданной мощью, экзотической красочностью природы горного края, своеобразием жизни и культуры горных народов. Человека из дельты, говорит То Хоай, этот край пленяет дикой живописностью гор, где буйная растительность обступает со всех сторон редкие здесь и узкие дороги, удивляет невидимыми ручьями, которые шумят, скрытые зарослями дикорастущих банановых деревьев. Там по мокрым от утренней росы горам люди тхай и мео, вооруженные луками или старинными ружьями, отправляются на охоту за оленями или медведями. Но писатель пришел сюда не просто как сторонний наблюдатель, любитель экзотики, — он шел вместе с бойцами Народной армии, с партизанами.

Одетый в обычную для горцев синюю домотканую одежду, То Хоай увлеченно изучает жизнь горного края, те изменения, которые принесла сюда революция, изучает языки горных народов (он бегло говорит на языках тхай и мео), занимается собираньем и переводом их фольклора — сказок, преданий, песен, — словом, погружается в совершенно новый для себя мир, с подлинной глубиной открывая его для своей родной литературы. «Я жил жизнью тхай и мео, словно жизнью людей своей родной деревни», — с полным правом скажет он впоследствии.

Еще до Августовской революции кое-кого из буржуазных беллетристов привлекала к себе эта полная красочного своеобразия тема джунглей и гор — она импонировала им романтической загадочностью, самобытностью нравов горных народов. Но их интересовала только внешняя экзотичность в качестве фона для приключений явившихся из города героев, эти литераторы не сумели увидеть ни упорной повседневной борьбы жителей гор с суровой природой, ни их страданий под гнетом пришлых и «своих», единоплеменных угнетателей, ни их свободолюбия и ненависти к поработителям, они не сумели понять этой самобытной культуры,

ощутить прелесть народной поэзии. Все это предстояло по-своему увидеть писателям нового, демократического Вьетнама. И главным открытием, которое сделал То Хоай в своих рассказах, очерках, повестях времен антиколониального Сопротивления, было открытие ярких характеров, людей незаурядных: там, где буржуазные беллетристы видели лишь дикарей, он увидел и раскрыл черты нового человека.

Революция, освободительная борьба как решительный поворот в судьбе народной и судьбе личной — этот аспект художественного познания жизни нашел яркое выражение в литературе ДРВ тех военных лет и надолго стал магистральной ее проблемой. Вьетнамская проза этого периода тяготеет к документальности, конкретному реальному событию, фактографии, к очерку, поскольку она впервые пытается художественными средствами отобразить новую революционную действительность, воссоздать образ нового человека. Эта характерная черта литературы Сопротивления сказалась и на творчестве То Хоая.

Но в своих «Повестях о Северо-Западном Вьетнаме» (1954), в которых наряду с двумя другими помещена повесть «Супруги А Фу», писатель преодолевает эту тенденцию ограничения художественного вымысла и создает полнокровные образы, как бы сосредоточившие в себе сущность исторических перемен, происходящих в стране. Поэтому на вопрос о том, правда ли, что А Фу — реальный человек, горец, в дом к которому при случае можно заглянуть, То Хоай отвечал: «И да, и нет. Действительно, человек народности мео по имени А Фу существует, он стал моим другом, и его жизненные перипетии несколько сходны с теми, которые проходит герой моей повести. То же можно сказать и о других персонажах. Они предоставили мне не только свои имена, но вместе с тем нельзя сказать, что в той или иной повести рассказывается о каком-то определенном реальном человеке».

То Хоай, художник, чуткий к национальным проявлениям народной жизни, умеющий запечатлевать не только ее внешний колорит, но и глубинное течение, показал свою героиню Ми из «Супругов А Фу» в сложной эволюции — бессловесная рабыня в доме своего мужа, она становится свободным человеком, участницей всенародной борьбы. Социальные конфликты и контрасты во времена коренных перемен всегда находились в центре внимания литературы, на таком развивающемся в своеобразных условиях вьетнамских гор конфликте построена в значительной части и эта повесть, в которой несомненный интерес представляет также и описание своеобразных обычаев мео, их семейных отношений. Повесть исполнена пафоса национально-освободительной борьбы, и ее центральный герой — могучий богатырь А Фу, побратим вьетнамца А Тяу, — воплощает в себе героическое начало и традиции народа, сбрасывающего с себя тяжкий гнет; хотя путь к окончательной победе еще труден, он требует много физических и духовных сил. За цикл «Повести о Северо-За-

падном Вьетнаме» То Хоай в 1955 году был удостоен премии Литературы.

После победоносного окончания антиколониальной войны Сопротивления в 1954 г. То Хоай возвращается в Ханой. Он деятельно работает в руководстве Союза писателей Вьетнама (с 1968 года То Хоай — заместитель генерального секретаря Союза), избирается депутатом Национального собрания. Но, как и прежде, он любит погулять по родному Ханю, вслушиваясь в говор его толпы, посидеть в переносном «ресторане» (такие рестораны прямо со всей нехитрой «мебелью» — крошечными скамеечками и столиками, — с очагом-плитой разносчики переносили на коромыслах), чтобы дома потом записать в свой блокнот яркие и самобытные выражения, слова, сравнения. Людей, от которых он слышал их, То Хоай считает своими «безымянными и бесчисленными учителями». Широкая демократизация литературы, естественно, проявилась и в демократизации ее языка, ее стиля.

В конце 50-х — начале 60-х годов литература ДРВ вступает в период возмужания. Наглядным показателем служило то, что на передний план выдвигается роман и даже роман-эпопея, ощущается острая потребность в создании масштабных, обобщающих произведений прозаического жанра. Возникают эпопеи о великом революционном перевороте в истории вьетнамского народа. То Хоай, получив на несколько месяцев творческий отпуск, возвращается в Нгиадо и там в обычной крестьянской одежде из грубой ткани темно-коричневого цвета — цвета самой почвы дельты Красной реки — снова садится за импровизированный письменный стол. Это было возвращение к издавна знакомым местам и героям: он создает роман «Десятилетие» (1958), в котором стремится рассказать о том, как преломлялось революционное движение на пороге 1945 года в характерах и жизни ремесленников-ткачей. Именно в этот период То Хоай пробует свои силы в новом для Вьетнама жанре — кинодраматургии. По его сценариям снимаются фильмы «Супруги А Фу» (1960) и «Ким Донг» (1963), получивший премию на Международном кинофестивале в Джакарте в 1964 году. «То Хоай обладает строем чувств и видением мира композитора и живописца», — сказал Нгуен Туан о его сценариях. То Хоай постоянно пишет для детей, выступает с литературно-критическими статьями и очерками.

В 1960 году он впервые посетил Советский Союз. Сопровождавший его в этой поездке М. Ткачев рассказывает, что То Хоай, «очарованный, дотемна бродит по московским улицам, едет на целину, в Ленинград, Одессу». А вскоре выходит его книга очерков о Советской стране, о ее прошлом и нынешнем дне — «Город Ленина» (1961), иные зарисовки из которой тяготеют к символике: «Этим вечером Смольный не гудел, как гигантский улей. Смольный, изысканный и примолкший, сверкал огнями, как бы блистая отражением невских струй. Революция шагнула в жизнь,

Смольный же светится каждый вечер — и так всегда, будто там все еще работает Ленин».

То Хоаю принадлежит книга для детей «Чайка» (1960) о городе-герое Одессе, его эссе «Имя Ленина — имя нашей планеты» (1970), напоминающее благодаря высокой эмоциональной напряженности и выразительности скорее поэму в прозе, чем привычный жанр путевых заметок, воссоздает широкую панораму жизни, борьбы и труда советского народа.

Мирные дни Вьетнама были прерваны в августе 1964 года агрессией США. И снова от вьетнамских писателей потребовалось солдатское мужество. Напомним только один факт — проведенный в Ханое в 1968 г. съезд Ассоциации литературы и искусства. «Конечно, — усмехается То Хоай, — было предусмотрено все, включая убежища для делегатов. Между прочим, во время налетов, а они случались нередко, прения переносились под землю. Надо отдать должное нашим ракетчикам, они постарались, чтобы вынужденные перерывы отняли у нас как можно меньше времени...»

«Писатель должен быть на острие жизни», — так формулировал То Хоай роль писателя в годы борьбы против империалистической агрессии. «И опять То Хоай выезжает со своим корреспондентским блокнотом на места боев и бомбежек, — рассказывает М. Ткачев, — потом возвращается в Ханой, пишет. Только теперь рядом с его рабочим столом — индивидуальная ячейка-убежище, так что тревоги отнимают у него минимум времени, а по утрам жена его Кук (имя это значит «хризантема») выводит на прикрепленном к наружной двери листке бумаги: «Дома То Хоай, один человек»; такие листки есть на каждой двери — это для спасателей; если дом разрушит бомба, они будут знать, где и сколько людей надо откапывать».

От больших ханойских улиц с индивидуальными ячейками-убежищами вдоль тротуаров отходят улицы поменьше, а от тех — переулки и переулки, еще уже, еще короче. В одном из таких переулочков стоит дом То Хоая, тесно зажатый между соседними домами, с крошечным внутренним двориком. Пока я беседовал с писателем, его неоднократно отвлекали просьбами — одному нужно что-то подписать, другому — решить какое-то дело. «Я председатель народного комитета в своем квартале, — объяснил То Хоай. — Конечно, это отнимает немало времени, но сколько дает мне как писателю!» Один из его рассказов военного времени так и называется — «Улица» (1971), жизненный материал для него дала именно эта общественная работа писателя.

В творчестве прозаиков ДРВ в годы военных испытаний ведущую роль стали играть очерки и рассказы, именно в жанре рассказа в первую очередь находили проявление новые литературные тенденции, и это сказывалось на широте охвата тематики и многообразии жизненных проб-

лем. Литературу этого периода отличает высокий накал гражданских и патриотических настроений. Нормой поведения для каждого патриота стали мужество и самоотверженность, сформировалось новое этическое понятие — революционный героизм. Известный деятель партии и государства ДРВ Ха Хюи Зиан подчеркивал его огромное значение для вьетнамской литературы: «Революционный героизм возникает в жизни, воплощается в социальных типах, в реальных героях и героических делах — это и есть основа нашей эстетики, основа создания типических образов в искусстве социалистического реализма». И если в таких рассказах, как «Человек из предместья» (1968), То Хоай запечатлел преемственность боевых героических традиций простой крестьянской семьи, то в рассказе «Улица» он задумал показать будничную Ханой, один из его рабочих кварталов в те дни, когда авиация США временно прекратила бомбардировки города. В рассказе нет боевых тревог, смертельных схваток, но в нем передана напряженная эмоциональная атмосфера военных лет, которую еще больше подчеркивают цветы на насыпях над траншеями и модницы, сидящие в парикмахерской. Воздухом войны пропитан этот рассказ, главный герой которого Бао — пожилой человек, член квартального народного комитета, — несмотря на вечную занятость повседневными делами, несмотря на неотступные тревожные думы о своих сыновьях-солдатах, сумел проявить и чуткость, и теплоту, и терпение по отношению к парню, попавшему под дурное влияние. Мужество оказывается необходимым не только на поле боя, а коллективизм, эта характерная черта социалистического общества, становится особенно ощутимым во взаимоотношениях между людьми в минуту опасности: «Пожалуй, улица никогда не выглядела столь оживленной, как в конце дня, когда зажигались огни. Домики и комнаты, отделенные друг от друга лишь тонким простенком или картонной перегородкой, а то и воображаемой чертой, пролегавшей иногда между двумя кроватями, едва вспыхивал электрический свет, как бы сливались воедино и казались каютами плывущего по морю большого корабля».

Во время борьбы с империалистической агрессией с особой остротой проявилась преемственность героических традиций Вьетнама, литература чутко улавливала связь времен — связь нынешнего дня с многовековой историей и культурой народа. Черты национального характера, патриотические чувства, прошедшие испытание в горниле истории, воспринимались как величайшая ценность. На фоне освободительной борьбы против французских колонизаторов во второй половине XIX века разворачивается острая коллизия «Рассказа о событиях, случившихся на берегу Лотосовой заводи у храма Бронзового барабана» (1971), в котором убедительно передано ощущение душной ночи средневековья, окутывавшей тогда Вьетнам, свободолюбие простого крестьянского сына Тьы, восставшего и против королевских вельмож, и против французских колонизаторов. Финал

рассказа остается открытым — его героям предстоит трудная неравная борьба.

В годы войны писателю вновь довелось посетить горы Северо-Запада, ставшие для То Хоая краем творческого вдохновения. Там он написал роман «Западный край» (1967). Ему легко писалось, он работал даже в таком, например, мало подходящем для этой цели месте, как магазин в горном провинциальном центре Лайтяу. Иногда бывало шумно, но магазин — средоточие жизни, где сходятся многие пути, куда заглядывают многие люди. И То Хоай работал здесь, пристроившись за столиком, — местные жители принимали его за счетовода или ревизора.

В романе То Хоай стремился решить задачу художественного воспроизведения того коренного переворота в жизни, сознании, исторической судьбе горцев, который был вызван революцией. Процесс становления новой жизни, может быть, труднее всего протекал именно в горах и джунглях Вьетнама, среди горных народов, находившихся до Августовской революции на ранних ступенях общественного развития.

Действие романа То Хоая начинается в канун революции, в те годы, когда в горах Северо-Запада еще властвовали французские колонизаторы (тэй), уездные начальники, местные старосты и старшины. Читатель вместе с караваном китайского купца Цина отправляется на ярмарку («базар купца Цина», — называют ее местные жители) в горное селение Финша. То Хоай придает особый смысл массовым сценам, многочисленным в романе. Как широкая панорама народного быта и народной жизни предстает картина ярмарки в Финша. Здесь видишь радость и горе, богатство и нищету, но во всем этом — красочность, удивительная самобытность. Лирическая атмосфера, свойственная всему роману, особенно ярко проявляется именно в этой главе. На ярмарку стайками стекались девушки: по тропинкам, среди колючих зарослей, они шли в старых платьях, а возле самого базара, что раскинулся на широком ровном уступе, прятались меж скал и выходили оттуда уже в праздничных нарядах. По базару бродили старикан — «иной из стариков ходит на ярмарку всякий год, но так за всю свою жизнь не отведал и крупницы соли», — соль, этот привозной продукт, у горцев считался роскошью, «соляной голод» был здесь делом обычным, и эта деталь, может быть, красноречивее всего говорит о поистине трагической бедности местных жителей. Мелькающие одна за другой колоритные базарные сценки, безымянные персонажи неожиданно меркнут — они уступают место эпизоду, который служит завязкой всего романа. Размеренный шум ярмарки нарушают громкие вопли: «Бесы! Нечистая сила!»

Взрослые иступленно гонятся за двумя детьми. В центре романа — судьба этих детей из семьи изгоев — двух братьев: Тхао Нпа, Тхао Кхая — и их сестры Ми. Вместе со своей матерью Знанг Шуа они живут одни в лесной глуши, «как мыши, как косули, скрывающиеся от охот-

ника». И люди избегали их, уверенные, что они одержимы нечистой силой. Зианг Шуа с детьми влачили свои дни, «как прокаженные, которых соседи относят в лес дожидаться смерти».

По-разному сложилась судьба детей Зианг Шуа. Старшего, Тхао Ниа, угнали вьючником «вместо лошади» с купеческим караваном. Потом пришла весть, что караван ограбили. Тхао Ниа не вернулся.

Зианг Шуа и оставшиеся двое ее детей так и погибли бы в лесной глуши, если бы не грянула Августовская революция. Появились кадровые работники из долины. С винтовкой за плечами ушел из родного дома и второй сын Зианг Шуа — Тхао Кхай.

Минули годы, и сыновья возвратились. Тхао Кхай вернулся в новенькой военной форме — он стал фельдшером и приехал работать в родные места. А Тхао Ниа... Однажды в селение привели диверсанта, заброшенного на парашюте и сдавшегося в плен. Тхао Кхай и Тхао Ниа встретились, но не как братья, а как враги. Такие коллизии нередко складывались на переломных этапах истории.

Тхао Кхай и его товарищи борются за новую жизнь. Но прошлое все еще недалеко — оно совсем рядом, по соседству, по ту сторону границы с Лаосом, где обосновались под покровительством иностранной разведки бывшие владельцы края. На них-то и работает Тхао Ниа, раскаявшийся лишь для вида. В роман вносятся элементы детектива. А появление в нем образа «горного короля», зловещего персопажа (которому нельзя отказать в живописности), могло предвещать кровавые события. Этот образ был не нов для литературы ДРВ — Нгуен Туан в книге очерков «Черная река» (1960) рассказывает еще об одном «горном короле», тхайском марионеточном правителе — и по сей день в Лайтяу над Черной рекой стоит его дворец со сверкающей крышей из американской жести, а на реке вздымается островок — Жемчужная скала, на котором в дни семейных торжеств правителя совершался «благочестивый обряд»: пленному или арестованному вспарывали живот и поедали его печень. В основу очерка Нгуен Туана положены реальные исторические события.

Роман То Хоая в этом смысле тоже историчен, в частности и там, где говорится об удивляющих своей наивностью рассказах, которые были пущены в ход, чтобы привлечь край мой на сторону «горного короля». Но расчеты организаторов мятежа лопнули. Одураченные люди прозревают.

Большие перемены, новая жизнь приходит в Финша. Стремясь отделить это новое, То Хоай прибегает к композиционной симметрии: одна из заключительных глав романа снова рассказывает о ярмарке в Финша. Но сколь дружелюбна и радостна атмосфера этого стихийного народного праздника! Вместо канувшего в вечность купца-грабителя главное место на базаре занял государственный магазин, которым ведает Нгиа — вьетнамец, пришедший из долины, он воевал здесь еще в годы Сопротивления.

В создании лирической атмосферы, характерной для романа, важную роль играет пейзаж и особый склад речи автора. Он передает красочность народного языка и близок к стилю сказителя со свойственным ему особым восприятием окружающего — в нем живет непосредственность вьетнамского горца, который живо, эмоционально, сквозь призму мифологических представлений смотрит на мир и видит чудо в том, что стало для нас явлениями обыденными, — в транзисторе или самолете. Но в этом мировосприятии заключены и поэтичность, и мудрость, идущая из глубины веков: «Родники стекают в ручьи, ручьи впадают в реки, а кому ведомо, куда утекают годы, прожитые человеком?»

Роман То Хоая при всем своеобразии национального колорита, при всей исторической и этнографической его достоверности знаменует собой не просто расширение географических рамок познаваемого жизненного материала — без таких книг облик противоречивого и пестрого нашего века не был бы запечатлен литературой достаточно полно. Творчество То Хоая открывает читателю и красочный самобытный мир вьетнамских гор, и картины старого ханойского пригорода, и забавные аллегории, полные глубокого и мудрого смысла. Мастер своеобразной манеры письма, для которой характерна особо чувствительная к нюансам настроений лирическая стихия, передающая атмосферу и современности, и прошлых эпох, То Хоай дал блестящие образцы произведений ряда прозаических жанров.

Замечательное умение То Хоая по-новому увидеть всем хорошо знакомое проявилось в его аллегорических повестях-сказках и рассказах 40-х годов, а его «Повести о Северо-западном Вьетнаме» и роман «Западный край» по праву считаются одним из высших достижений литературы ДРВ, зримо запечатлевших движение истории, судьбы народа — писатель утверждает неодолимость принципов новой жизни, пришедшей на землю Вьетнама.

Каждое произведение То Хоая написано в новом, специально найденном для этого стилистическом ключе, соответствующем авторскому настрою, образу и характеру эпохи. Его произведения, устремленные к светлому будущему Вьетнама, написаны художником, лиричным и тонким, умеющим видеть жизнь в ее революционном становлении.

То Хоай любит образ путника, поднимающегося в горы: он идет день, второй, а оглянувшись, видит сверху весь путь, который прошел за эти дни, так и книга, которую читатель держит сейчас в руках, — взгляд на творчество видного вьетнамского прозаика.

Н. Никулин

ЗАПАДНЫЙ КРАЙ

РОМАН



Редакторы А. Стругацкий и М. Финогенова

I

Так уж повелось, что каждый год после уборки урожая десятого месяца вереницы коней, навьюченных товарами богатого купца Цина, приходили к городу Иен¹, главному в округе. Здесь Цин останавливался, чтобы сменить лошадей и вьючников, а заодно принять участие в новогодних торжищах. Пробыв на ярмарке в Иене положенный срок, Цин выучил сменных лошадей и отправлялся дальше, в горы, в Финша. К его товарам давно уже привыкли на всех ярмарках, где собирались люди мео².

В тот день купец Цин встретился с лошадиником Тонгом.

— Здравствуйте, хозяин Тонг. Сколько лошадей вы мне можете дать до Финша? Груз, должен вам сказать, нелегкий...

— Лошадей-то я могу выставить вам хоть сотню, почтенный...

— Прекрасно!

— Только вот насчет вожаков... головного и второго...

— Что такое?

¹ Иен — город в предгорьях на дороге № 6, неподалеку от границы с Лаосом.— *Здесь и далее примечания переводчика.*

² Мео — народность китайско-тибетской семьи. Некоторые ученые относят ее к мон-кхмерской группе, куда входят и вьетнамцы. У мео сложился феодальный уклад, хотя сохранились и черты первобытно-общинных отношений; в культуре их живы еще некоторые древние традиции.

— Да вот... хворь их у меня извела...

— Гм... Не повезло вам.

— Истинно так, почтенный! Главное, как ярмарка началась, я даже от ближних перегопов, самых прибыльных, отказывался — берег лошадей для ваших товаров...

Цин холодно перебил старого Тонга:

— Опо и понятно. Когда вы ходите со мной в Финша, вы разом получаете кругленькую сумму — пачного больше, чем дают вам эти самые ближние прибыльные перегоны!

— Конечно, конечно, щедрость ваша известна всем, почтенный...

— Жаль. Ну что ж... Мешкать я не могу, сами понимаете, товар должен поспеть на ярмарку. Придется мне обратиться к хозяину Део...

Тонг побледнел. Цин возил свои товары в Финша на его лошадях не один десяток лет. Лошади у него были добрые, и купец всегда платил хорошо. К тому же поездки в горы к мео приносили Тонгу изрядный дополнительный доход — он тайно поставлял опиум держателям курилен. И вообще лошади и купец настолько свыклись друг с другом, что уже не торговались из-за цены перевоза.

Нет, не думал Тонг, что Цин вот так сразу от него отступится. Окаменев от горестного изумления, он стоял молча, не зная, что сказать. А богатый купец Цин только ухмыльнулся, показав два ряда золотых зубов, и похлопал его по плечу.

— Ничего, — произнес он. — Не огорчайтесь. Поможете мне в следующем году.

Может быть, Цин говорил ему еще что-нибудь в утешение — старый Тонг не слышал. Он словно и вправду окаменел. Он думал о своих вожакках — первом и втором, — которые всегда вели его караваны...

Они никогда ничем не болели и вдруг издохли оба сразу, за полдня, как раз позавчера, когда купец Цин вступил в город.

«Это дело рук негодяя Део!» — с отчаянием и злобой подумал он.

* * *

Вереница лошадей хозяина Део, навьюченных товарами богатого купца Цина, вступила в пределы Финша. Ближился праздник Тет¹, и купеческие караваны один за другим поднимались в горы Западного края.

¹ Тет — Новый год по лунному календарю, обычно приходится на вторую половину января — начало февраля.

Купцы не любят распространяться, откуда они и в какую сторону держат путь: идут они из Юннани¹ или из Лаоса, направляются ли в Бирму или пришли из-за Черной реки². Но по виду погонщиков и вьючников, нанятых хозяевами товаров, можно все же кое о чем догадаться. Вот вьетнамцы и лаотяне, вот люди тхай, сафанг и хани, а вот и люди из племени са, здесь есть даже мео в своих страшных полосатых одеждах с пестрыми рукавами, а расспросив вот этих, можно узнать, что они из самого Коноя, что в далекой Бирме. Если товары сопровождают большей частью люди сафанг и хани, значит, караван идет из Юннани; если между погонщиками много вьетнамцев, то ясно, что товар везут из устья Ван или с Черной реки; а если вьючниками идут люди лы или кха³, считай, что купцы пришли из Лаоса...

Купец Цин вступил в пределы Финша с караваном в сотню лошадей.

Впереди спокойно выступали под мерный перезвон колокольцев вожаки — головной и второй, — оба свободные от вьюков. В гривы их вплетены были красные кисти, на крупах переливались звезды из красной материи, поводья — тоже красные — опущены.

Следом шли вьючные лошади, прислушиваясь к колокольцам, звеневшим на шеях у вожаков. Каждая лошадь не сводила глаз с красной звездочки, привешенной к хвосту идущей впереди. Лошади вышагивали, задрав головы, но шли ровно. Они не легались и не щипали траву у обочины, и каждая в точности повторяла движения вожаков.

Старый Део, хозяин лошадей, восседал, скрестив ноги, на третьей лошади, прямо на вьюке, кутаясь с головой в свое серое пальто, насквозь промокшее в густом тумане и под коротким шквальным дождем, который пронесся недавно в горах. И если бы не сизые клубы табачного дыма, вырывавшиеся время от времени из-под воротника пальто, его самого можно было бы принять за тюк с товаром.

Вдоль всего каравана растянулись погонщики — по одному на каждые десять вьюков. Ежась и дрожа от стужи, бежали они с бичами в руках рядом с лошадьми; иногда то один, то другой

¹ Юннань — провинция Южного Китая, граничащая с Вьетнамом.

² Черная река — река, протекающая в Северном Вьетнаме.

³ Тхай, сафанг, хани, са, лы и кха — народности различных групп тибето-китайско-бирманской семьи.

забирался на выюк, чтобы подремать немного, свесив голову па грудь.

Караван растянулся цепью в желтоватых зарослях кустарника, и с каждым днем пути все чаще мерещилось людям, будто бесконечная извилистая дорога ведет их к самому небу. Оглянувшись, можно было увидеть лишь путь, пройденный вчера, — одинокую полосу красноватой раскисшей глины, пересекавшую кручи и терявшуюся далеко внизу. Не слышно было человеческих голосов, эхо разносило между высокими склонами гор только стук копыт и шелканье бичей, да еще ветер со свистом проносился над волнующейся высокой травой, тонул в ней и снова возвращался, обрушиваясь на людей и лошадей.

Солнце, казалось, навсегда исчезло за низкими тучами, но иногда по вечерам оно вдруг печально проглядывало на песколько мгновений, окрашивая вершины и дальние склоны, изрезанные ручьями, в безрадостный блекло-желтый цвет.

Временами кто-нибудь из погонщиков затягивал песню или принимался нудно браниться, но вскоре умолкал, и в горах становилось еще пустынное и тоскливей.

* * *

Мрак обрушивался тяжелыми пластами, стремительно и грозно. Желтые уступы гор неожиданно подернулись синевой. Ветер взревел, затем, слабея, волна за волною, утих среди бескрайних и молчаливых холмов, покрытых травой.

А караван упорно поднимался по кручам. Надвигалась ночь. Впереди оставался последний крутой подъем, а там и Финша, но эта часть пути была самой утомительной и трудной.

Лошади вдруг разом стали. Проводники забежали вокруг них, доставая из-за пазухи бамбуковые фляги с водкой, крепко па стоянкой на корне гау¹. Каждой лошади, вздернув ей за узду морду, влили в глотку по целой фляге. Звонкое ржание огласило горные кручи. Лошади дрожали, вскидывали голову, перебирали передними ногами, но вскоре успокоились. В долгом пути они уже успели привыкнуть к этой черной настойке — ее давали им перед самыми трудными перегонами. Настойка взбадривала их, прибавляла сил.

Но вот караван снова тропулся, и кони один за другим стали подниматься на пустынную седловину перевала.

¹ Гау — травянистое растение, корни которого содержат ароматный сок.

Старая Зианг Шуа стояла над обрывом и глядела вниз.

На дороге, освещенной последними лучами зари, появился караван. Зианг Шуа несколько раз принималась считать лошадей и все сбивалась со счета. Отсюда, сверху, лошади казались неясными тенями, терявшимися во мгле ущелья.

Зианг Шуа вспомнила о детях, и ее охватила тревога.

В хижине у потухшего очага осталась одна только маленькая Ми — она дожидалась старшего брата Ниа, который ушел за дровами. Средний брат Кхай тоже убежал — отправился на поле, затерянное среди лесистых склонов, чтобы набрать кукурузы, хранившейся во временке. Почему их так долго нет?

Тревога Зианг Шуа все росла. Так уж повелось, что в минуту опасности мать всегда стремится собрать детей возле себя, словно клуша — цыплят. Мальчишки куда-то запропастились, а тут эти лошади, неведомо чьи, поднимаются в горы, идут и идут без конца...

Появление в горах лошадей всегда означает опасность. Где лошади, там чужаки: солдаты, начальство, купцы, а в доме Зианг Шуа всегда боялись чужих.

И еще: всю жизнь лошади приносили беду Зианг Шуа.

Так случилось и в ту весну, когда ее мужу, пахавшему поле, пришлось бросить плуг в борозде. Разве есть кому дело до урожая на поле простого человека, когда речь идет о господском опиуме? И мужа погнали с караваном — везти в долину опиум, принадлежавший уездному начальнику.

Одна из лошадей с грузом опиума оступилась и сорвалась в пропасть.

Те, кто вернулся домой, рассказывали: когда лошадь покадилась с обрыва, мужу Зианг Шуа удалось было ухватиться за каменный выступ, но слуга пачальника, разъяренный потерей груза, толкнул несчастного в бездну.

Другие же утверждали, будто муж ее в страхе перед начальником сам бросился следом за лошадью.

А третьи объявили, что муж Зианг Шуа был одержим злым бесом и нарочно загубил господское добро, вот почему разгневанный начальник лишил его жизни, бросив в пропасть.

И каждый клялся, будто знает все из первых рук.

Как бы то ни было, плуг так и остался на поле, словно дерево, пустившее корни в борозде, а муж Зианг Шуа не вернулся. И тут пришла новая беда — страшнее смерти: по деревне пошел слух, будто вся семья Зианг Шуа одержима злым бесом.

Сосед, заболевший лихорадкой, кричал в бреду: «Зианг Шуа!.. Меня грызет злой бес Зианг Шуа!» Другой сосед встретил однажды Зианг Шуа в поле и, вернувшись домой, занемог, и люди зашептались: «Эту хворь наслал на него злой бес Зианг Шуа!..» Бедная женщина была едва жива от страха. Временами ей и самой чудилось, что она одержима бесом. Сходяв к ручью, она собрала обкатанные водой камешки и целый месяц продержала их во рту. Еще в детстве она слыхала: одержимый, чтобы избавиться от злого беса, должен продержать во рту камешки ровно тридцать ночей, после чего бес обернется сгустком крови и его можно будет выплюнуть вместе с камешками. Но на камешках, которые она выплюнула на исходе тридцатой ночи, не оказалось ни капельки крови.

Озлобившиеся соседи потолковали между собой и решили так: пусть Зианг Шуа с детьми отпразднует Тет, а там всех их надо прикончить, иначе злой бес изведет всю деревню.

Деревенские ребяташки грозили смертью даже маленькой Ми. Зианг Шуа с сыновьями Тхао Нпа и Тхао Ыхаем и с дочерью Ми уже не смели показываться на улице; день за днем, в дождь и ясную пору сидели они в своей хижине, забившись в угол, и ждали, что вот-вот к ним ворвутся соседи и поволокут на расправу.

Однажды им почудилось, будто перед их хижинкой остановился конь начальника уезда. Впрочем, это мог быть и еще чей-нибудь конь — они ведь слышали только стук копыт. И за плотно прикрытой дверью прогремел грозный голос:

— Злой бес Зианг Шуа! Издохни, бес Зианг Шуа!

Едва стук копыт затих вдали, старая Зианг Шуа и ее дети выбежали из хижины и, не разбирая дороги, кинулись в лес... Кто это кричал? Начальник? Кто-нибудь из односельчан? Не все ли равно? Им грозила неминуемая смерть. Надо было спасаться. Они бежали, не смея оглянуться, все глубже забираясь в чащу, унося с собой из всего своего добра один лишь старый треснувший чугунок.

Так очутились они вчетвером в глухом лесу. Было там тяжело и мрачно. Но лучше уж терпеть ужас одиночества, чем вернуться на опушку и встретить людей. Заметив человека, работавшего на далекой лесной делянке, Зианг Шуа и ее дети, потираливая друг друга, уходили еще дальше, в самую глушь, как мыши, как косули, скрывающиеся от охотника. Целый год они жили так в страхе и лишениях, словно прокаженные, которых соседи относят в лес дожидаться смерти.

Но они не умерли. Они уцепились за лес и выжили. Посеяли кукурузу на делянке, укрытой в лесной глуши, собирали в дуплах мед диких пчел. Да, они выжили, но жили так, словно на всем белом свете, кроме них, не было ни души.

И так не год, не два и не три... Сколько мест сменили они в лесах — и сама Знанг Шуа не упомнит...

Снаружи слышался шорох, затем где-то рядом за стеной ударилось оземь что-то тяжелое — очевидно, большое полено. В хижину вбежал Тхао Нна и, с трудом переводя дух, крикнул: — Сколько там лошадей, матушка! И все поднимаются к Финша...

Ми, семена ножками, обежала остывший очаг. Дрожа и стуча зубами от холода, она спросила брата:

— Лошади? А сколько их? Много лошадей?

Вошел и Тхао Кхай. Мешок за его спиной, притянутый широким поясом, съехал набок — видно, ослабел узел. На пол вывалилось несколько кукурузных початков, кривых и щербатых: то ли зерна сами осыпались, то ли их выгрызли мыши. Початки покатались по полу, но никто не подобрал их. Кхай вопросительно взглянул на старшего брата.

— Это вьючные лошади, — объяснял Нна маленькой Ми. — На них везут товар на ярмарку... Да ты, поди, никогда и каравана не видела! Идет десяток лошадей, при них погонщик, потом снова лошади и погонщик... и каждая лошадь с грузом...

Ми, конечно, ничего не поняла, но громко закричала:

— Знаю, знаю, видела!

Все снова вышли из хижины. Тхао Кхай проговорил, вглядываясь в потемневшие горные кручи:

— Так и есть, матушка... это вьючные лошади. Много их. Вы видели?

— И смотреть нечего, — отозвалась Знанг Шуа. — Отсюда слышать уже...

Какие-то звуки, порой громкие и отчетливые, порой глухие и неясные, долетали к ним: свист, дробный стук множества копыт, тяжкое дыхание и сухой хрип лошадиных глоток.

Дети любят поглазеть на лошадей. Сгрудившись над обрывом, братья с сестрой во все глаза смотрели вниз. Ничего уже нельзя было разглядеть в темноте, но им все чудились длинные вереницы коней, которые без конца поднимаются в гору в лучах закатного солнца и растворяются в тумане, поглощенные вечерним мраком, густеющим под скалами.

Знанг Шуа приподнялась, чтобы поправить мешок за спиной Тхао Кхая, и из мешка вывалился последний изгрызенный мы-

шами початок. «И это все, что осталось?» — хотела она спросить. Но дети увлеченно болтали о лошадях, не отрывая глаз от дороги, и она промолчала. Кукуруза кончилась, и чувство облегчения, охватившее было Зианг Шуа, когда возвратились сыновья, сменилось привычной тоской. Тяжко вздохнув, она снова присела на землю.

— Это караван богатого купца Цина, — пробормотала она. — Значит, наступил Тет.

Давно уже исчезли во мраке вершины гор, не стало видно и дороги у подножья, а несчастной женщине виделись под куполом густого тумана давно минувшие дни, холодные и ветреные — дни праздника Тет, звенящие музыкой кхенов¹, свирелей и гонгов, оглашаемые криками игроков в пао² и воплями шаманов, наполненные веселым шумом деревенской площади, куда односельчане сходились поглазеть на жертвоприношения, попить и повеселиться. В дни праздника в каждой хижине было ключом веселье, и даже маленьким детям давали немного водки.

А у них четверых нет ничего, кроме погасшего очага...

Где-то внизу, на черном склоне горы, замерцала вдруг розовой полосой длинная цепочка зажженных факелов, словно в ночном мраке поползла к ночному небу тысяченожка со светящимися лапками.

Слышно было, как скользят по камням копыта, лошадиное ржание то и дело оглашало пустынную ночь. Сколько надежд и тревог пробуждают в людских сердцах эти диковинные звуки!

Скоро Тет придет и сюда, в эти отдаленные деревни. Но дети старой Зианг Шуа, давно уже жившие в лесу, не знали толком, что это такое — Тет, и мысль о празднике оставляла их равнодушными. Всю ночь они жались к матери, трясаясь от стужи. Огонь разводить они не посмели: боялись, что их заметят люди, идущие с караваном.

* * *

Караван с товарами Ципа добрался до Финша уже ночью.

Сотня факелов поднималась по склону. Потом к ним присоединились еще новые — начальник уезда выслал навстречу каравану своих стражников.

¹ Кхен — многоствольный бамбуковый рожок с широким диапазоном звучания и красивым тембром. Играют на нем только юноши, причем во время игры они нередко и танцуют. Танец этот также называется «кхен».

² Пао (или папао) — матерчатый мячик, иногда украшенный лентами. В дни праздника Тет молодежь обычно играет в пао.

Факелы полыхали багровыми огнями. Дым мешался с туманом, и тяжелые капли оседали на одежде — синей, черной, серой. Лошадиные гривы и волосы людей поседели от влаги. От факелов шел пряный смолистый дух. Туман словно приглушал огни, они опадали и тут же жарко вспыхивали снова.

Окутанные клубами пара и дыма, остро воняющие потом, лошади одна за другой входили во двор крепости Фишша.

Как водится, десяток погонщиков и встречавшие жители деревушки побежали вперед, торопясь к складу под казармой, чтобы принять вьюки с товаром в это временное хранилище.

Багровую мглу, озаренную факелами, прорезал яркий белый свет: к каравану подошли посланные из крепости солдаты с двумя фонарями.

Лошади, весь день прошагавшие по горным дорогам, заляпанные грязью до самых глаз, со свалявшимися гривами, тяжело и громко дышали, дожидаясь, когда их отведут к коновязи и зададут корм. Самых крепких еще горячил хмель — они взбрыкивали и грызлись между собой, а иные, повалившись на спину, катались по земле, то ли от ярости, а может быть, оттого, что зудела шкура. Всполошенные погонщики суетились вокруг них, тянули и дергали за поводья, торопливо снимали вьюки, бранясь и крича, задыхаясь в чаду факелов и в густых испарениях людских и лошадиных тел.

В считанные минуты весь груз был перенесен в кладовые и уложен плотными ровными штабелями.

Отведя лошадей от склада, погонщики тут же воротились и вповалку улеглись на вьюках. Лишь у немногих достало сил собрать хвосту, разжечь костры и, отогревшись, поставить на огонь котелки. Впрочем, едва затрещали и задымились костры, к теплу потянулись и остальные. Лаотяне, тхай и сафанг сбились кучками у огня, ожидая, покуда поспеет варево. Ни брани, ни драк, как бывает обычно, если затевается игра на деньги.

Как только был прибран купеческий груз и все затихло, старый лошадиник Део заткнул кнут за пояс и велел слуге достать из тюка пучок благовонных палочек. Надо было помолиться духам, чтобы лошади... чтобы весь его караван, одолевший такой нелегкий путь, остался невредим и впредь.

Но сперва он направился к коновязи взглянуть на вожakov. Им должны были уже задать по торбе с травой. Безмолвие непроглядной ночи встревожило его. Старый Део уже почти дошел до места, где были привязаны вожаки, а ухо его все не улавливало привычного шума: фырканья, шелеста грив, шороха помахивающих хвостов...

Део протянул руку во тьму... и, лишь споткнувшись о торбу с травой, понял, что лошадей на месте нет. Стряслась беда! Вожаки, умницы, кормильцы старого Део!.. Никогда еще не было, чтобы в час молитвы хозяина они уходили куда-то, оставив нетронутой сочную траву.

Охваченный страхом и тревогой, он все-таки сперва зажег разом все принесенные палочки, укрепил их на верхушке деревянного столба и только тогда бросился на поиски лошадей.

У ворот, где вспыхивал мерцающий свет факелов, слышались крики. Пробежали люди с пылающими сосновыми ветками. В пляшущих отсветах стало видно, как солдаты торопливо тащат камни, наваливая их вдоль выгона, где паслись кони. И вот донеслось дикое ржание и drobный стук копыт, словно табуn лошадей мчался куда-то галопом.

— Скорей!..

— Если они вырвутся, всем конец!

— Да что стряслось?

— Конн взбесились!

Део, внезапно обмякнув от слабости, вглядывался в темноту. И он увидел: тени двух коней возникли в багровом тумане. Они метались из стороны в сторону, затем вздыбились, словно «коши-духи», и Део узнал своих вожаков — головного и второго.

Конн плясали, встав на дыбы, перебирая передними ногами. Испуская дикое протяжное ржание, они лягали копытами ветер. Вот они опустились, но сейчас же вздыбились снова. Они бились головами друг о друга, потом разбежались и вдруг с силой грохнули лбами в скалу; казалось, камень сшибается с камнем.

Один из вожаков снова взвился на дыбы, заржал, шарахнулся в сторону и, ударившись головой о скалу на краю выгона, ринулся прямо на людей. Солдаты, тащившие камни, бросились врассыпную.

Один только старый Део, оглушенный несчастьем, остался на месте. Он был опытный лошадиик и понимал: коней испортили... Давно ли он сам, чтобы заполучить подряд у Цина, своими руками состряпал зелье, загубившее вожаков хозяина Тонга? И вот какой-то злодей напихал сверчков или тараканов в уши его лошадям...

Через уши насекомые заползли в череп, и конн взбесились от ужасной боли, раздражавшей им мозг. Их уже не спасти.

Всякий год в каком-нибудь из караванов, идущих в Финша, гибли лучшие конн. Враждующие лошадиикн старались навредить друг другу и сами постоянно держали ухо востро, так что

дело было вроде привычное. И все же Део никак не ожидал, что кто-нибудь осмелится тронуть его вожаков.

Силы совсем оставили его. Можно было только стоять и беспомощно ждать, пока эти бесценные кони расшибут себе черепа и замертво рухнут на землю. Головы их бились о камень с глухим стуком, словно деревянные песты. Да, вожакам конец.

Старый Део стряхнул с себя оцепенение. Сумятица у ворот продолжалась, но он повернулся и зашагал назад. На ходу он сорвал с себя пальто и швырнул на выючника, скорчившегося у дверей склада. Он не чувствовал холода. Еле сдерживая ярость, он шагнул к погонщикам, сгрудившимся у костра вокруг котелка с чаем. Который из них?

— Эй, вы! — гаркнул он. — Кто тут из семьи Ма?

Бледные пятна лиц качнулись во мраке, растопленном пламенем костра, темные провалы глаз уставились на него.

— Кто тут родня ублюдку Тонгу? — заревел Део, срывая голос.

Люди у костра молча глядели на него. Кто-то снова склонился к огню.

Глаза Део остановились на тощем долговязом погонщике, за плечами которого топорщилась накидка из пальмовых листьев. Он сидел ближе всех к огню, но его била дрожь. Део подскочил к нему, сбил шапку и, ухватив за волосы, поставил на ноги.

— Спрашивал я для виду, — прошипел он в искаженное страхом лицо. — Я же узнал тебя, гадина из рода Ма! Это твоих рук дело, сволочь! Убью!

Он с силой швырнул погонщика в угол каменной ограды и обернулся, выглядывая своих сородичей в свете костра.

— Бей! — крикнул он.

Несколько человек вскочили, схватили сосновые колья и бросились на долговязого. Тот молча рухнул наземь, как полено.

— Бей!

Взлетая и падая, замелькали в воздухе колья. Издалека доносилось хриплое ржание взбесившихся лошадей.

К кольцу людей, сбежавшихся поглазеть на расправу, неторопливо приблизились двое — Цин с фонарем в руке и уездный начальник Муа Шонг Ко.

— Полно, полно, почтеннейший Део, — громко произнес Цин. — Не пора ли нам с вами отдохнуть от трудов и забот?

— Свяжите злодея и бросьте его здесь, — добавил Муа Шонг Ко. — Никуда ему не уйти, а прикончить его успеете и завтра.

Цин поднял фонарь и оскалил в улыбке золотые зубы.

— Нам еще предстоит сегодня, — сказал он старому Део, — посетить крепость и почтить начальство... Где ваше пальто?

Део повернулся и пошел за пальто. Даже в пылу гнева он не забыл, где бросил его. Выучник сидел на прежнем месте, пальто свисало с его головы, закрывая лицо: он не посмел даже поднять руку, чтобы сдернуть с себя хозяйскую одежду.

Натянув пальто, старый Део двинулся было к крепости, но остановился и зашагал к своим людям. Те только что подняли избитого и подтащили к костру.

— Завтра вы все у меня узнаете, как падо служить, — прорычал он. — Только брюхо набивать мастаки... А ну, пошли отсюда, живо! Каждому сиднем сидеть возле своих коней и караулить! Всю ночь!

И они трое: купец, лошадник и начальник уезда — хозяин товара, владелец коней и повелитель земли — неторопливо направились к крепости. Следом родичи Цина потащили свертки с дарами. Никто не знал, что в этих свертках; можно было лишь догадываться, что двое, семенившие по пятам за начальником, несли по медному чайнику с опиумом. Судя по всему, пир наверху затевался на всю ночь.

Едва они отошли на десяток шагов, как фонарь в руке Цина превратился в бледное пятно, еле просвечивающее сквозь туман. Погонщики, трясясь от холода и страха, перебрались к коновязи, кое-как развели новые костры и пролежали там всю ночь на земле, тесно прижавшись друг к другу. Они очень боялись, что еще кто-нибудь задумает известить лошадей. Ведь говорят, здесь, в Финша, есть и такие люди, которые за всю свою жизнь соли не попробовали¹; они ненавидят купцов и только о том и мечтают, как бы стубить их выучных коней.

* * *

Как бы там ни было, а когда начинается ярмарка, в Финша настает самая веселая пора года. Приходит караван богатого купца Цина, и Финша на целую неделю превращается в многолюдное торжище. Даже люди, живущие в нескольких днях пути — у самого Наданга, — выбирают сюда.

Стайками спускаются с гор девушки: заплечные мешки, перевязи, одежда линялая и рваная, будто они не на ярмарку собрались, а на работу в поле. Но глядят они весело, шагают легко

¹ Соль в горные округа завозилась с равнины и потому стоила очень дорого; покупать ее могли только состоятельные люди.

и без конца пересмеиваются. Дойдя до горы, за которой раскинулась ярмарка, некоторые сворачивают в расщелины между скал, достают из мешков душегреи, юбки, расшитые головные платки и пояса и переодеваются.

Те же, что победнее, у кого нет нарядной одежды, идут себе прямо, покуда не встретят незнакомых парней. Тут они останавливаются и, стыдясь своих рваных юбок, не смеют ступить и шагу, не знают, куда спрятать лицо, где бы укрыться, пока не пройдут встречные. А у самого входа на ярмарку подхватывают одной рукой заплечный мешок и робко протискиваются сквозь толпу.

Прежде всех появляется на ярмарке хозяйка питейной лавки. Она приносит длинную бамбуковую скамью, расставляет на ней чашки, затем, сняв со спины глиняный кувшин с водкой, опускает его на землю и подтаскивает к скамье большие плоские камни, укладывая их в ряд, чтобы было где присесть гостям. Покупатели валом валят к ней, спеша пропустить первую чарку.

Идут на торжище и стосковавшиеся по соли старики. Они выпрашивают друг друга, кто нынче торгует солью — начальник из крепости или купец Цин — и долгой ли будет торговля. Иной из стариков ходит на ярмарку всякий год, но так за всю свою жизнь не отведал и крупницы соли. Здесь, в Финша, соли просто так не купишь, многие даже вкуса ее не знают. И все они — и те, кто соскучился по соли, и те, кто уже привык без нее обходиться, и те, кто никогда ее не пробовал, — все тянутся к лавчонке с водкой. Они садятся перед скамьей и, подперев щеку рукою, думают свои думы, изредка пропуская по чарочке.

Под большим персиковым деревом привязывают лошадей. С каждым часом их становится все больше и больше, конские хвосты развеваются, будто в танце. На одних лошадях приехали на базар, других пригнали на продажу.

Курильщики опиума лежат развалясь в шалашах и не спеша толкуют о торговле оружием и о контрабандной переправе серебра в далекую Бирму или в Китай.

Неведомо откуда являются на ярмарку эти торговцы редким и тайным товаром. Они стараются укрыть от посторонних глаз свою трапезу — крутой мясной отвар и лепешки, купленные здесь же на ярмарке, — и никогда не присаживаются к бамбуковой скамье, где продает кукурузную водку старуха из племени мео.

День и ночь они пьянствуют в заведении у китайца. Хозяин-китаец, зазывая гостей, выносит узкогорлый фаянсовый кувшин с водкой. Он наливает немного водки себе на ладонь и под-

жигает ее спичкой. Синий язычок пламени поднимается на ладони, а хозяин скалит зубы в улыбке и выплескивает пламя на землю. Убедившись в крепости напитка, гость, конечно, не отказывается почтить заведение.

Пальба из ружей — на пробу, брань и хохот, крики и плач у лавок продавцов соли, перепевы рожков — все сливается в неясный гул, не умолкающий с утра до ночи...

Ближе к полудню народу становится больше. Особенно много собирается парней и девушек. Юности неведомы заботы и горе. У много парня ни гроша за душой, а все же и он не день и не два отшагал, добираясь до ярмарки. Всего-то и есть добра, что свирель за пазухой, и домой он вернется все с той же свирелью — нечего ему продать, не на что ему купить, но на ярмарке надо побывать непременно.

Каждый находил здесь вещи нужные, полезные или диковинные, радующие глаз, да не у всякого доставало денег на покупку. Люди любовались бутылками, горшками, фаянсовыми кувшинами, ложками, чашками, привезенными из-за границы китайцами и людьми лы. Мастера из синих мео¹ торговали лемехами, мотыгами, топорами. За новый лемех кузнецы запрашивали три старых да два серебряных донга² в придачу, но не всякому это по карману. И возвращался неудачник домой, и снова пахал старым плугом, пока не стачивал его до рукоятки.

Самые лучшие и самые ценные товары предлагали те, у кого хватало денег, чтобы задобрить уездное начальство. Например, контрабандисты, продававшие оружие или менявшие его на опиум. Покупатели, пробуя ружья, палили и ночью. Так что даже кони быстро привыкли к ружейному бою — не вздрагивали, не вздергивали голов, а лишь безучастно помахивали хвостами.

У богатого купца Цина от покупателей отбоя нет. Народ битком набивался в его клетушки, стены которых были принесены и поставлены солдатами из крепости, а люди, не попавшие внутрь, обступали лавки снаружи.

В лавках у Цина продавался привычный и нужный всем товар. Соль, керосин и спички, перец и любые иглы, цветные нитки и ткани — черные, красные, синие, белые в клетку мужские головные повязки — это для покупателей попроще. А к фет-

¹ Народность мео, так же как ман и другие горные народности, делится на ветви, различающиеся по цвету одежды или традиционных вышивок на поясах и головных уборах (синие, белые, красные и пестрые мео).

² Донг — денежная единица во Вьетнаме, равен 10 хао или 100 су.

ровым шляпам, к черным зонтам и ручным фонарикам приценивались уездные и волостные чины; мелкая сошка, всякие там деревенские старосты, могла лишь мечтать о подобной роскоши — редко кому из них удавалось призапять или накопить денег на такую покупку.

Цин не оставался в накладе. Не для того вез он товар сюда, в горы, чтобы забрать у местных жителей их последние жалкие медяки, правда, он и медяками не гнушался. Нет, важнейшей частью его торгового дела был вывоз из Финша драгоценных «даров леса». Не зря же он привел с собой сотню лошадей, из которых многие шли сюда налегке. Больше всего забирал он отсюда опиума — товара легкого и прибыльного. Из рогов коз и оленей, из тигриных костяков, медвежьей желчи и звериных костей тут же, рядом с торгами, варились в особо сложенных печах целебные зелья. А пчелиный мед, шкуры пантер и тигров, льняную кудель, клубни тамтхат¹, кардамон, горечавка... Сколько ни приприсили этого добра на ярмарку жители Финша, Цин забирал все без остатка. После него пусто было в Финша — хоть метлой мети.

Людям не на что было покупать, и они несли к Цину дары леса, хотя за целый костяк тигра или обезьяны он давал однуединственную чашечку соли. Но куда денешься? Ведь на своем веку они не видели других торговцев, кроме богатого купца Цина.

Сам Цин возлежал в доме начальника уезда и весь день курил опиум. Случалось, ближе к вечеру он выходил в одну из лавок, где торговали его сородичи. Но торговаться он брался только с пригожими девицами. Перед хорошенькой девушкой он раскладывал лучшие товары и тут же предлагал ей задаром моток красных ниток. Дело простое — приняла подарок, значит, ступай за купцом, выпей с ним чарку водки.

Девушки боялись этого пуще смерти. Ведь сделать такое — все равно что испить брачную чашу — залог соединения жениха и невесты.

Деревенские девушки, спустившиеся с гор на ярмарку, страшились приблизиться к Цину. И хоть был Цин необыкновенно сладкоречив, хоть и сулил он на выбор самые сверкающие и шелковистые нити, хоть был он сам белолиц и дороден, с полным ртом золотых зубов — истинно богатый человек! — все же редко какая молодка из племени нянг², тхай или лы, чиновни-

¹ Тамтхат — растение, из листьев и корневищ которого готовят лекарства.

² Нянг — народность тибето-китайско-бирманской семьи.

чья наложница или солдатка, поднявшаяся в горы из Иенбая¹, решалась удалиться с купцом Цином и выпить с ним по чарке.

Больше всего в ярмарочной толпе было зевак да голодранцев, тех, кто отродясь не пробовал соли, но немало сошлось и таких, кто скопом, в складчину приценивались к соли, а кое-кто искал лемехи подешевле.

Соль, привезенную купцом Цином, продавали в конце рядов. Днем и ночью вокруг соляной лавки толпились люди, а уж в лавку набивались плотно, как камни в кладке. Крики, брань, слезные вопли оглашали окрестности, и трех дней не проходило, чтобы какого-нибудь бедолагу, сунувшегося за солью, не придавили в толкучке насмерть. Мертвое тело просто-напросто оттаскивали в сторонку.

Многие старики, явившись на ярмарку, ни на что не глядели и ничего покупать не собирались. Они располагались под открытым небом и до одурения накуривались опиума, а дряхлые жепы их, усевшись рядом, прикрывали их от солнца зонтами.

Бродили по торжищу молодчики с испитыми, усталыми лицами и остановившимся взглядом, бродили бесцельно, словно не зная, куда себя деть, но держались поближе к питейным заведениям. Время от времени кто-нибудь из них торопливо вынимал чарку, за ней — вторую и тут же принимался орать до хрипоты, что ему еще не наливали. Опрокинув третью, он тотчас валился наземь и засыпал.

Пьяные валялись повсюду. Жены, покорные и молчаливые, заслоняли зонтами своих непутевых мужей, а те в хмельном бреду бессмысленно размахивали руками — наверно, им казалось, что они тянутся за чашкой с солью... Едва протрезвится такой пьяница, жена спешит купить чашку крутого мясного отвара и, заправив его кукурузной мукой, подает мужу. И только тогда она позволит замешать и себе горсть кукурузной муки и разделить с мужем трапезу.

Всякого нагладишься на ярмарке в Финша: и горького, и смешного. А уж многолюдье какое!

Парни и девушки держатся в сторонке от толпы, прогуливаются себе вольно и беспечно. Тревоги и горести житейские им еще певедомы, они не замечают ни мужчин, упившихся сивухой от безнадежности и отчаяния, ни женщин, что, подобно камням, неподвижно застыли возле них, безропотные и терпе-

¹ Иенбай — город на Красной реке, центр одноименной провинции в горах Северного Вьетнама.

ливые. Нет, молодость свободна и весела, не замечает она чужого горя.

Празднично разряженные, стоят рядком девицы, прислонившись к каменистым уступам, а перед ними раскрасневшиеся от выпивки парни с кхенами в руках выводят «веселый наигрыш». Вот один пустился в пляс по широкому кругу — этот танец называется «гуляние». Вот другой скачет взад-вперед на одной ноге, отплясывая «клубок ниток». Голоса кхенов, то отрывистые, то певучие, звучат все громче. Девушки, расправляя концы розовых головных повязок, с улыбками провожают взглядом парней, умудрившихся в наигрыше и танце показать все три колена «весеннего праздника», а парни рады стараться — все в поту, они продолжают раскачиваться, стуча пятками и подбрасывая обе ноги... Кому не по сердцу такие искусники?..

Но вдруг у входа на торжище возникает какая-то суматоха. Слышатся крики, брань, отчаянные вопли. Несколько женщин зао¹ в испуге схватили свои мешки и побежали прочь. «Бандиты! Бандиты напали!..»

Но бандитов не было и в помине. Это солдаты, ведя в поводу лошадей уездного начальника, пришли собирать налог. Десяток коней с огромными — пока еще пустыми — вьюками врезались в толпу. Стиснутые в толчее люди завывали, закричали, принялись браниться. Ничего не понять: то ли народ поносит солдат, то ли вояки честят толпу...

Солдаты не стеснялись. Кто продавал кукурузные початки, у того брали кукурузу. С десяти лангов² опиума взимался один. У людей лы, торговавших кошельками, отбирали один кошель из трех. Размотав куски полотна, сотканного в деревнях тхай, отрезали от каждой штуки по два шаи³. Старику из племени хани, торговавшему сплетенными из лиан скамейками, пришлось отдать две скамейки. Старухи из племени зао, оробев, сами преподнесли солдатам два свертка дрожжей. С тех, кто торговал овощами, взяли по две вязки капусты и по дюжине-другой пучков лука... Хватали, тащили, заталкивали в тюки. И конечно, себя не забывали. Жрали, пили, брали повсюду, куда могли дотянуться — своя рука владыка.

Где бы ни останавливались солдаты с конями, там немедлен-

¹ Зао — народность тибето-китайско-бирманской семьи.

² Ланг — старинная мера веса, равен 37,3 грамма.

³ Шай — мера длины; расстояние между кончиками пальцев вытянутых в стороны рук.

но поднимался шум, слышались жалобы, вопли и брань, сыпались удары, бежали люди.

Обойдя торговые ряды, сборщики, ведя лошадей под уздцы, вышли на склон горы, где веселилась молодежь. Кто не торгует, тот податей не платит. Но девушки, завидев солдат, в страхе разбежались, да и кое-кто из парней с кхенами, которые только что отплясывали с таким жаром, убрались от греха подальше. Веселье расстроилось.

Но вот солдаты, набив до отказа тюки, ушли. Совсем было улеглась суматоха, как вдруг люди снова бросились врассыпную, вопя что есть мочи:

— Спасайтесь!

— Смерть идет!

— Бесы, бесы!..

На краю ярмарочной площади стояли Тхао Ниа и маленькая Ми.

Ниа был бледен. Длинный шрам, пересекавший его лоб от волос до правого уха, стал еще заметнее от стужи. (В прошлом году, когда мальчик возился возле хижины, из чащи вышел медведь и хватил его лапой по голове. Рана зажила, но на лице у Ниа остался глубокий синеватый шрам.)

Брат и сестра, грязные, нечесанные, с черными джутовыми мешками за спиной, походили на медвежат. Словно два звереныша, которые вылезли из родного леса на гору, где, как они думали, никого нет, дети в изумлении и страхе прижались друг к дружке при виде диких тварей, готовых их разорвать.

Все торжище было охвачено ужасом.

Как же попали сюда Тхао Ниа и Ми?

Мать строго-настрого запретила детям спускаться в Финша. Она боялась, что злые люди убьют их. Она знала: особенно опасно выходить из леса в дни праздника.

Едва начиналась ярмарка, вдоль лесной опушки валил народ из деревень. Затаившись в зарослях, дети слышали говор, пение рожков, позвякивание серебряных обручей па шеях и ногах проходивших девушек. Ниа точно определял эти звуки и объяснял их значение сестренке. Что же касается Тхао Кхая, то его это не интересовало. В свои десять лет он о ярмарке и не думал. Целые дни напролет он копался в земле, отыскивая клубни май¹, или ставил силки и ловушки.

Тхао Ниа был старше, в его возрасте подростки уже играли

¹ Май — лесное растение, разновидность батата; клубневидные корни его съедобны, из них также готовят лекарство.

на свирели¹. И он не хотел отставать от сверстников — смастерил себе свирель, отыскав подходящий бамбук и высверлив в нем дырочки, и частенько подолгу наигрывал в лесу. Но играть для себя одного было грустно. Ему страстно хотелось сходить на ярмарку, взглянуть на людей. Маленькой Ми, которой очень нравились его рассказы о том, как веселятся в Финша деревенские девушки, тоже захотелось увидеть все своими глазами.

Мать предупредила:

— Тебе нельзя ходить на ярмарку, доченька. Если люди увидят тебя — убьют.

— За что, мама?

Мать не сумела или не посмела ответить, и Ми пропустила этот запрет мимо ушей.

В тот день Ниа и Ми сказали матери, что идут на пашню, а сами со всех ног пустились в Финша.

Всю жизнь они прожили в лесу, ярмарки никогда не видели и не знали даже, что это такое. И вот она — ярмарка. Широкая, забитая народом площадь, пахнет дымом и жареным мясом. Все на этой площади необыкновенно и заманчиво.

Ниа очень хотелось присоединиться к девушкам и парням, игравшим на рожках и свирелях. Но он не посмел остановиться у плетеной клетушки, где сородичи богатого купца Цина вываривали тигриный жир и ловко и споро увязывали в тюки вымеченные товары. Любо было глядеть на такую работу: едва заполучишь вещь, глядь — а она уже в тюке.

Но Ниа смотрел не на них. Он глаз не мог оторвать от ярмарочного веселья. Свирель свою он давно уже достал из-за пазухи и держал в руке. А у маленькой Ми в глазах рябило от чудесных ярко-красных нитей в пальцах толстого белолицего человека с золотыми зубами. В нос бил крепкий дух мясного отвара — не подалеку вокруг котла сустились люди, они подкладывали хворост, добавляли в котел соль, черпали и пробовали кипящее варево. На такую еду даже глядеть было сладко. А какова же она на вкус?..

Нет, издалека ничего толком не разберешь. Ярмарка зачаровала детей, и они осмелели. Тхао Ниа и думать забыл, что они — «отродье Зиапг Шуа, одержимой злым бесом», что они — беглцы, укрывшиеся в лесной чаще. Он видел перед собой людей, таких же, как он сам, и... потихоньку подошел с сестрой к ним поближе.

¹ У народностей, живущих в горах, на свирели играют обычно юноши, и не принято, чтобы на ней играли дети.

И тут их заметили. Оборванных, грязных, странных на вид. Заметили и заметались, вопя во все горло:

— Лесные бесы!

— Бесы!

— Нечистая сила!

Вся ярмарка загудела, словно на торговые ряды напали бандиты и воры.

Поначалу Ниа удивился. В чем дело? Ведь они пришли на ярмарку, как все люди. Почему же народ так напугался? Разве пристало взрослым бояться детей?

Но крики становились все громче, все яростней, люди уже надвигались на них, размахивая ножами, грозя убить — точь-в-точь как предсказывала мать.

Ниа схватил сестренку за руку и поволок прочь. Она сердито вырвалась — ей нравилось на ярмарке, озлобленной брани и угроз она не понимала и потому никого не боялась. Ниа прошептал ей на ухо:

— Мама ведь говорила... Они убьют нас!

Вот тогда Ми все вспомнила, и они пустились наутек обратно в горы.

— Держи их! Держи!

— Злые бесы изведут нас! Всех до единого!

— Смерть идет!

— Лови их!

— Бей!

Старики, хватившие водки, орали громче всех. Вопили и курильщики опиума, хотя не могли сдвинуться с места и только хлопали глазами. Кое-как поднявшись на ноги, пьяницы невнятно мычали, тупо топчась на месте.

Вскоре, однако, все успокоилось. Пьяницы вернулись к своей выпивке, и вновь заходили чарки в лад нескончаемым рассказам о сватовствах и свадьбах, о купле-продаже, о долгах и ссудах; собеседники думали и гадали, кто завтра вынесет соль на продажу и где лучше присмотреть лемехи к плугам; завязывались беседы — где уважительные и душевные, а где злобные и гневные, пересыпаемые угрозами. А люди, склонные к раздумчивости, пили молча, подперши щеку рукой. Жизнь ярмарки вернулась в свою колею.

У соляной лавки толчея началась пуще прежнего. Одип из прислужников Цина, продававший соль, громко сетовал на усталость и грозился закрыть торговлю. Само собой, это был просто-напросто способ набить цену. Но люди теперь изо всех сил старались пробиться к прилавку: не успеешь купить соль у купца,

завтра худо придется — иди тогда к начальнику, кланяйся низко да еще и опиума поднеси, иначе он и щепотки не продаст. Все орали и бранились, хрипели и, стиснутые со всех сторон, едва дышали, люди оступались и падали друг на друга, но никто не желал посторониться. Каждый — сам за себя — толкался и лез вперед, рискуя сломать себе шею.

Только один-единственный парень, самый азартный, наверное, остался возле раскрасневшихся девушек и неумоимо отплясывал с кхеном в руках. Девушки, сбившись в кучку, передавали друг другу чашку с водкой и отпивали по глотку, но, когда подошла очередь плясуна и чашку протянули ему, он вдруг остановился, схватился за свою пустую бамбуковую флягу для соли и со всех ног пустился бежать к соляной лавке, там он мигом смешался с толпой и пропал из виду.

Где уж тут было гоняться за «бесовским отродьем Зианг Шуа»!

Убежав с ярмарочной площади, Тхао Ниа и Ми скатились в ущелье и оказались между домом начальника и крепостью. Стены укрепления щетинились каменными зубцами, за ними маячили часовые с грозными ружьями. Огромные каменные глыбы нависали над ущельем, казалось готовые вот-вот обрушиться на детей. А напротив крепости высился дом начальника, величественный, как гора. По дороге к нему взад и вперед сновали вереницы людей — таскали воду из родника. Поднявшись по склону, водоносы разделялись на две цепочки: одни наполняли крепостной водоем, другие — пруд с рыбками во дворе у начальника.

Ниа и Ми остановились в нерешительности. Им хотелось вернуться назад, на ярмарку. Но при виде зубчатых стен и блестящих стволов ружей им стало страшно. Дети снова пустились бежать и вскоре были уже далеко. Впрочем, по дороге домой они не раз останавливались и оглядывались в ту сторону, где осталось торжище. Никак не могли они взять в толк, отчего это люди набросились на них...

* * *

К вечеру в горах поднялся сильный ветер. Желтые, поросшие кустарником кручи сделались вдруг черно-серыми и окутались тьмой.

Порывы ветра несли в лесную глухомань чудесные знакомые звуки, и, прислушиваясь к ним, Зианг Шуа на минуту отвлекалась от тоскливых мыслей, но тут же становилась еще печаль-

нее. Ведь это подумать страшно, чтобы человек вот так, навеки, спрятал лицо свое в лесу. Никогда мео не селились в лесных чащах, испокон веков их предки наслаждались ясным небом над головой. Они и дома свои ставили так, чтобы всегда видеть над собой бездонную синеву.

И когда из-за сгрудившихся гор, оттуда, где были деревни, долетали отзвуки прежней, такой недоступной теперь жизни, бедной лесной отшельнице хотелось слушать их снова и снова. Вот закричал петух, завизжали свиньи... позвякивают колокольцы на шее у буйволов, простучали лошадиные копыта по камням... Кто-то окликнул ушедших на пашню... Алая, как огонь, птица печально поет свою вечернюю песню. Двор вокруг дома вымощен камнями. Среди груш и слив высится персиковое дерево, вьется, поднимаясь по стволам, зеленая плеть бау¹ с едва округлившимися плодами... Разве может забыть старая Зианг Шуа, как там, в родных горах, радость переполняла сердце, как по утрам до света уходила она на пашню и возвращалась домой в сумерки, как они все вместе трудились в поле...

Долго сидела Зианг Шуа, прислушиваясь к далеким отзвукам прежней своей жизни, предаваясь неясным воспоминаниям. Детям легче — все трое, а особенно маленькая Ми, не мыслят себе иного существования. Но молчали и дети, а потом малыши отправились спать. Последним лег старший сын — Ниа. Хижи́на затерялась меж звериных троп, утонула в ночи... Случалось, что лани, убегая от тигра, испуганно жались к ее стенам.

Глубокой ночью ветер донес до слуха Зианг Шуа пение свирели и топот копыт, повелительные крики и громкую брань. Наверное, это богатый купец Цин понукал своих людей, увязывавших тюки с товарами, торопил их, чтобы завтра спозаранку тронуться в обратный путь. Торжищу, видно, конец, богатый купец отъезжает к далекому устью Ван, где отпразднует Новый год у людей тхай.

Тхао Ниа наказал сестренке не говорить матери о походе на ярмарку, но Ми, едва вернувшись домой, выложила все, как было.

Мать была вне себя от страха.

— Не будешь слушать меня — сгниешь заживо и больше никогда меня не увидишь! — сказала она сыну.

Ниа молча потупился. С матерью не поспоришь. Но все же он никак не мог уразуметь, за что их прогнали люди. Еще пуще

¹ Бау — вьющееся растение, разновидность тыквы; плоды бау съедобны.

прежнего терзался он желанием снова увидеть ярмарку, да что толку... Мать ничего не объяснила, а он не посмел расспрашивать.

Очаг давно погас, в хижине стало темно. Мать все еще не ложилась — она сидела у стены неподвижно, и слезы катились по ее щекам. Впрочем, сама Зианг Шуа не замечала этих слез. Слезы никогда никому не помогали... Давно уж она убедилась: как бы ни был плох прошедший день, а все же он лучше грядущего, ибо жизнь человеческая, будто тлеющая хворостина, постепенно, с каждым новым днем идет на нет, пока не рассыплется в пепел и прах.

Никак не могла заснуть и маленькая Ми. Снова и снова вспоминала она увиденное на ярмарке, и ей не терпелось расспросить мать о всех этих диковинках. В конце концов она не выдержала.

— Мама, расскажи про базар купца Цина, — попросила она. — Какой он был раньше?

Зианг Шуа часто рассказывала ей про «базар купца Цина» — так называли ярмарку односельчане. Она описывала разные редкости — обо всем этом она могла только мечтать: штуки синего полотна, красное сукно, цветные нитки для вышивания, повенькие иголки, два сорта черного перца, и перец белый, и еще целебный перец, излечивающий болезни живота, если же роженица съест десяток зерен этого перца, у нее ослабнут боли и будет много молока... Она рассказывала о том, как девушки, которым не по вкусу пришелся мясной отвар, угощались на ярмарке острой похлебкой, которую продавали люди из племени сафанг, заедая варево поджаристыми кукурузными лепешками. Правда, самой Зианг Шуа даже в пору ее беззаботного девичества ни разу не довелось отведать чудесной похлебки...

Бесчисленные истории эти, удивительно похожие одна на другую, Ми слыхала от матери с тех пор, как научилась понимать слова. Однако ей всегда хотелось услышать их снова и снова.

Но на этот раз мать ничего рассказывать не стала, а только сказала сурово:

— Чтобы больше на ярмарку ты не ходила. Немало девушек мео, спустившись с гор на ярмарку, ушли за богатым купцом Цином и навеки забыли свой род и свое племя.

— А потом они вернулись домой?

— Нет. Они больше не хотели быть мео и даже дорогу домой позабыли.

— Жалко их, правда?

— Забывших дорогу к родному дому жалеть нечего,— возразила мать.— Жалеть нужно тех, кто и хотел бы, да не смог вернуться.

— А кто не смог вернуться?

Мать промолчала. Потом, немного погодя, вздохнула:

— Начальник уезда гонит народ в носильщики к богатому купцу Цину. Купец покупает у мео столько добра, что выючных лошадей не хватает, и начальник заставляет людей тащить тюки. Каждый год угоняют нескольких человек...

— Далеко?

— Да.

— А кто-нибудь потом возвращается?..

Бесконечно тянулась долгая ночь. В лесу похолодало.

Зианг Шуа незаметно задремала, и вдруг в отдалении слышался стук копыт. Звук, издавна отзывавшийся в ее жизни зловещим эхом. И вот на каменистом склоне горы, совсем рядом с хижинкой, возник горящий факел.

— Эй, Ниа, ты где?! — проревел зычный голос.

Ниа вскочил:

— Здесь я!

— Ступай к начальнику уезда, живо!

— Это зачем еще?

— Понесешь груз купца Цина!

— Сынок! — в ужасе вскрикнула Зианг Шуа.

— Не пойду,— прижавшись лицом к стене, произнес Тхао Ниа.

— Иди сейчас же!

— Не пойду! Никуда я не пойду!

— Заткнись! Тебе что, жизнь надоела? Пошевеливайся, мне надо найти еще одного парня...

— Малых детей зачем же в носильщики?! — прокричала Зианг Шуа.

— А ну вылезай! Не то перебую всех до единого!

Зианг Шуа знала: это не простая угроза. Ослушаться начальника уезда — верная гибель. Охваченная ужасом, она проговорила:

— Так что же, прямо среди ночи и идти?..

Сдавленный голос ее был едва слышен.

— Эй, вы! — заорал всадник.— У меня догорает факел! Сейчас размечу ваше логово да выберу для света хворостину посуше!

Мать и дети горестно вскрикнули. Ниа выскочил из хижины и побежал по тропе. Всадник с факелом поскакал следом. И дол-

го еще мать, брат и сестра слышали затихающий вдали плач Тхао Ниа и стук подков о каменистую землю.

А наутро Зианг Шуа с двумя оставшимися детьми стояла у обрыва над пропастью.

Караван богатого купца Цина обогнул лес и спустился в узкую, стиснутую горами лощину. Тяжелее, гораздо тяжелее, чем на подъеме, давили на конские спины высокие тюки с товарами. Старый лошадиник Део сжимал в руке кнут, лицо его было серым, как вечерний дождь. Вожаков, прокладывающих путь, больше не было, и Део сам вел караван, восседая на головной лошади.

Кони спускались к подножию горы и исчезали за отрогом, а следом за ними длинной вереницей тянулись люди, навьюченные, как и кони. Замыкали караван солдаты с ружьями — охрана из крепости. Да, в этом году купец Цин увозил из Финша особенно много добра: пришлось согнать в караван чуть ли не четыре десятка носильщиков.

Первые дни, пока дорога спускалась к равнине, невольники то и дело оглядывались назад, высматривая вдали вершины родных гор. А их близким, оставшимся в горах, все казалось, что они различают знакомые силуэты на лесных перевалах. Но дни шли за днями, и ничего уже нельзя было разглядеть в горных далах, кроме клубящихся туч.

II

Не счесть, нет, не счесть старой Зианг Шуа, сколько еще лет укрывалась она в лесу с сыном и дочерью, перебираясь с места на место.

По привычке оглядывая склоны дальних гор, наблюдала она, как люди, выйдя на поля, очищали плугами зеленые склоны, окрашивая их в серый цвет; как через месяц-другой распаханые делянки начинали пестреть цветами опиумного мака... По этим приметам определяла она смену времен года.

Да, прошло немало лет. Родники стекают в ручьи, ручьи впадают в реки... а кому ведомо, куда утекают годы, прожитые человеком?

Как-то Зианг Шуа бродила по лесу, собирая дикие плоды, и вдруг повстречала старую женщину мео. Странная это была старуха, да и одета необычно — в лохмотья... Впрочем, что взять с бездомных бедняков? Бывает, им уж и жить осталось недолго, а приходится перебираться с насиженных мест в поисках не-

тронутой земли в незнакомых горах. Наверное, старуха была издалека и не ведала, что Зианг Шуа вот уж который год живет в лесу одна с детьми, видно, не успела она перемолвиться словечком с соседями, потому и не слыхала про «одержимых бесом».

Они разговорились, и старуха спросила:

— Вы, уважаемая, случаем не слыхали: внизу, в деревушке са, выловили в воде мужчину мео? Его занесло течением из реки Намнгу...

Зианг Шуа в ужасе закрыла голову полами своего платья, словно боясь, как бы страшные эти слова не впились ей в лицо.

— Нет,— пробормотала она.— Ничего я такого не знаю...

И тогда старуха, не замечая ее смятения, рассказала вот что.

В то утро жители деревни са вышли на берег Намнгу ловить рыбу. Видят: стоит у реки женщина мео и глядит в воду. «Ты что здесь делаешь?» — спросили ее. Она ничего не ответила, только рассмеялась и стала показывать рукой на воду. Люди вошли в воду, глядь — на дне лежит здоровенный тигр, само собой, мертвый. Тогда женщина заговорила: это-де ее муж упал в речку и утонул и они, мол, с мужем не люди, а оборотни. Рыбаки поднялидохлого тигра на жерди и потащили в деревню, прихватили с собой и женщину, а потом утопили обоих под домом¹, в яме с буйволиным навозом. Всего два дня прошло, а тигр ожил, уселся, надел на голову нон² и обернулся мужчиной в желтой одежде. И женщина тоже ожила и уселась рядом. Признали они друг в друге мужа и жену, перестали быть оборотнями и принялись кланяться на все стороны — благодарить народ за спасение. Тут кто-то из людей са спросил их:

— Откуда вы родом?

— Я,— ответил муж,— из племени мео, а родом из Финша...

Выслушав рассказ старухи, Зианг Шуа задрожала. Едва шевеля губами, она выговорила:

— Деточка моя...

Старуха пристально поглядела на нее:

— Кто из них? Мужчина или женщина?

— Сынок... — простонала Зианг Шуа.— Тхао Ниа его звали...

— А знаете ли вы, уважаемая,— произнесла старуха,— дорогу к речке Намнгу, что протекает близ деревни са?

И тотчас же, отвернувшись от Зианг Шуа, побрела прочь.

¹ Народности, живущие в горах Вьетнама, обычно строят дома на сваях.

² Нон — широкая шляпа из пальмовых листьев конической формы.

С тех пор, блуждая по лесным чащобам в поисках пропитания, Зианг Шуа все время высматривала эту старуху. Но не встретила ее больше ни разу. Иногда бедной женщине казалось, что старуха сама была оборотнем. Ведь оборотней и бесов носит печистая сила повсюду, значит, и деревня са, о которой она говорила: «у речки Намигу» — где-то далеко отсюда... Не добратся до этой деревни...

А иногда, вспоминая встречу в лесу, Зианг Шуа решала, что все это просто померещилось ей, что сама с собой разговаривала она на лесной тропе... Человеку в лесу тоскливо и одиноко, случается, и заговорит он с собственной тенью — ведь других собеседников у пего нет. Да и вообще старики — что малые дети, любят поговорить сами с собой. А если горюешь да вспоминаешь о ком-то, всякое может причудиться.

* * *

Прошло десять лет.

Однажды офицер, командовавший солдатами в крепости, увел их всех до единого. Куда — неизвестно. Одни говорили — в Лаос, другие — в Юннань, третьи уверяли, будто солдаты ушли в город Иен. Никто ничего не знал наверняка. Знали только, что и уездный начальник Муа Шонг Ко тоже сбежал куда-то. Но спустя немного времени — жители Финша не успели толком обсудить все эти небывалые происшествия — солдаты с начальником вернулись и снова как ни в чем не бывало обосновались в крепости. «Не успел загон отвориться, — говорили люди, — как захлопнулся крепче прежнего...»¹

Но кое-что все-таки переменилось — перестали приходить в Финша караваны богатого купца Цина. Плохо ли, хорошо ли, а прежде караван приходил сюда каждый год. И при виде лошадей, навьюченных товарами, людям казалось, что вот-вот появятся и те, кого угнали на чужбину.

Но годы шли, и ничто уже не наводило на воспоминания о несчастных, ничто не питало надежд. И лица людей стали сумрачны, как лесная чаща. Люди больше не ждали, не вспоминали, не надеялись.

¹ Подобные события имели место во многих районах провинции Лайтяу (Тэйбак), когда японские фашисты, захватившие Вьетнам, низложили 9 марта 1945 г. французскую колониальную администрацию.— *Прим. автора.*

Между тем из-за лесов стали доходить странные слухи. Поговаривали, будто в окрестных землях все изменилось самым необыкновенным образом.

И вот однажды в горный край пришло Правительство¹.

Зимой сорок седьмого года в глубь Тэйбака проникли первые отряды Освобождения. Они создали свои опорные пункты в Лайтяу.

В деревнях вокруг Финша стали появляться партработники и бойцы ударных групп. Отряды Освобождения упорно продвигались к западным границам.

Капитан, командовавший крепостью, со страху потребовал подкрепления. Ожесточась, он перебил множество ни в чем не повинных людей.

Но народ уже поверил в Революцию. Из уст в уста передавались слова: «Правительство идет к нам, и оно, словно заботливые родители, выведет нас на верную дорогу». Никто больше не боялся капитана, на уездную власть не обращали внимания и даже перестали покупать у начальника соль.

Все жили одной надеждой: скоро над головой будет светлое небо и под ногами — свободная земля.

* * *

А Зианг Шуа с двумя детьми по-прежнему укрывалась в глухом ущелье.

И вот однажды к ним пришел какой-то незнакомец. Старая Зианг Шуа повалилась перед ним на колени. Тхао Кхай, не успевший удрать, юркнул в пещеру.

— Господин начальник... — бормотала Зианг Шуа. — Ваша милость...

Она тряслась от страха, как в тот далекий уже год, когда стражник угнал ее старшего, Тхао Ниа. Но незнакомец поспешно поднял ее и улыбнулся:

— Что вы, матушка, какой же я начальник?

— А кто же вы?

— Я — партработник...

Партработник? Зианг Шуа не знала этого слова.

¹ Имеется в виду созданное в сентябре 1945 г. правительство Демократической Республики Вьетнам, возглавлявшее вооруженную борьбу против колониализма. В данном случае речь идет о проникновении в Тэйбак зимой 1947 г. отрядов Народно-освободительной армии.

Тогда он стал рассказывать. Он рассказал много удивительного. Воистину в мире начались необычайные перемены!

— И вот что, почтенная Зианг Шуа,— решительно сказал он под конец.— Довольно вам жить одной. Пойдемте, я отведу вас к людям.

И тут Кхай, который хоть и прятался в пещере, но не пропустил ни слова из рассказа незнакомца, подбежал к нему и схватил за руку.

— И я с вами! — закричал он.— Меня тоже возьмите!

Так Зианг Шуа и ее дети покинули ущелье. Они ушли за человеком, которого прислала Партия. Ушли сами, по своей воле, ничего больше не страшась.

Впервые за много лет очутились они под открытым небом и теперь весь день от рассвета и до заката видели солнце. Поселились они за горами, в партизанском крае.

Здесь все было по-другому, не так, как в старой деревне. Никто не считал, что Зианг Шуа одержима нечистой силой. Никто не разносил сплетен, будто в ее детей вселились злые бесы. Никто не оскорблял их, не бил и не собирался предать смерти. Посланец Революции привел Зианг Шуа к людям и объяснил им, что Зианг Шуа, как и все они, любит родную землю и ненавидит проклятых тэй¹, хочет счастья для своего Отечества и готова вместе со всеми бороться с врагами.

Да, все переменилось в мире. Зианг Шуа поверила: страданиям и горестям пришел конец, началась и в ее жизни счастливая полоса. И в высохшем ее сердце вспыхнула и затрепетала радость, словно ласточка, что вьет гнездо под крышей дома, воротившись в начале года в родные края.

Быстро подрастал Тхао Кхай, вот уже и свирель он носил за пазухой, как когда-то его брат Ниа. Показал он себя отменным пахарем, плуг его вел борозду уверенно и глубоко, и рука лежала на рукояти, пожалуй, тверже отцовской. Он все время старался держаться поближе к людям, присланным Партией, учился у них грамоте и новым песням, не забывая похвастать своими успехами перед матерью. Впрочем, он вообще делился с нею всеми своими мечтами и мыслями, а она радовалась каждому его слову.

Но вот однажды Кхай вбежал в дом, и Зианг Шуа увидела у него за спиной винтовку. Она и рта не успела раскрыть, как он выпалил:

¹ Тэй — презрительная кличка (от вьетнамского tâu — «запад»), так называли колонизаторов, в частности солдат французского экспедиционного корпуса во время войны 1946—1954 гг.

— Мама, я ухожу!

И тотчас умчался. Случалось, он и раньше не заглядывал домой по месяцу. Тогда человек, присланный Партней, говорил ей: «Не тревожьтесь, матушка. Кхай занят по службе...» А теперь партизаны потихоньку сообщили Зианг Шуа: «Кхай ушел с отрядом... Наверняка он теперь в армии».

И Зианг Шуа не встревожилась, не стала убиваться. Значит, так надо, Кхай вместе с солдатами бьет захватчиков. Здесь, в партизанском крае, всякий умел и землю пахать, и сражаться. О боях — близких или дальних — было известно каждому. Но все чаще мыслями возвращалась она к своей прежней жизни, горькой и тяжелой жизни в глухом лесу, иногда не могла сомкнуть глаз всю ночь напролет. И без конца думала о своем Тхао Ниа, своем первенце.

* * *

Настал год, когда произошли события особой важности — события, какие редко выпадают на короткий человеческий век.

Армия Правительства, действуя совместно с партизанами, взяла штурмом крепость Финша и освободила город Иен. Все было кончено за одну ночь. Там, где только вчера была крепость, поднимался к небу столб черного дыма. На месте зловещих стен высились красные груды битого кирпича. Тяжелые каменные глыбы — когда-то, давным-давно, окрестных жителей заставили притащить их сюда, чтобы сложить фундамент для крепостных стен — вывалились из своих гнезд. Уездный начальник Муа Шопг Ко сбежал неведомо куда. Скрылись и вожди племени мео — поговаривали, что они ушли через границу в Лаос.

Народная армия пришла во все округа и уезды. И везде слышалось одно: «Земля теперь наша! Мы ее хозяйева!»

Зианг Шуа вернулась в свою деревню и поставила себе дом в небольшой лощине за травянистым склоном. Новые дома вырастали один за другим, крепкие, ладные, под кровлями, похожими на перевернутые чаши. И тот, кто поднимался в горы, еще издалека, у входа в долину, слышал веселый перезвон колокольцев на шеях у коз, что паслись на каменистых кручах. «Покой и радость пришли к нам!.. Земля и вправду стала нашей!..» Эти слова, ставшие уже привычными, не умолкая звучали в сердце Зианг Шуа.

Однажды ночью ей приснилось, будто время вернулось вспять на десяток лет. Все трое детей рядом с нею, и они вместе

идут далеко-далеко. И вдруг перед ними появляется на дороге старуха из племени са.

— Скажите, уважаемая, — обращается к ней Зианг Шуа, — выйдем ли мы по этой дороге к речке Намнгу?

— Да, — отвечает та и спрашивает в свою очередь: — А правду ли говорят, уважаемая, что небо сотворило людей са и мео братьями в одной семье?

— Конечно, — отвечает Зианг Шуа. — Вот послушайте, какая история случилась в старину. Один человек из племени мео обернулся тигром, а потом утонул в речке Намнгу, и течение прибило его к берегу у деревни са. Тамошние жители вытащили его из воды и оживили. Тогда он снова обернулся человеком племени мео и стал им всем побратимом...

Тут оглядывается она на Тхао Ниа, а тот хохочет во все горло, и шрам на его лбу вдруг пересекли морщины...

В этот момент в сон ее ворвалась утренняя деревенская разноголосица и Зианг Шуа проснулась. И с новой силой овладела ее душой скорбь о Ниа, сгинувшем где-то на чужбине.

III

Шла к концу весна пятьдесят седьмого года.

Более трех лет миновало с тех пор, как были освобождены западные и северо-западные горные округа. Умолкли наконец выстрелы на этой щедро политой кровью земле. Недобитые вражеские банды убрались через границу. Но вечерами у горящих очагов все еще рассказывали о совершенных ими злодеяниях, а иной раз поднимали в деревнях переполох неясные грозные слухи, принесенные откуда-то молвой. Впрочем, страхи быстро исчезали, люди успокаивались, и жизнь снова входила в обычную колею.

Да, наступили дни, о которых прежде можно было только мечтать.

И люди лоло¹ сложили хорошую песню:

Как птица,
на крыльях мечтал улететь,
Но горы и лес
высоки — до небес.
А ныне —
такого никто и не ждал —
Человеком я стал...

¹ Лоло — народность тибето-китайско-бирманской семьи.

Всякий, кому доводилось бывать у людей хани, расхваливал их на все лады: и огороды там хороши, и поля, ступенями лежащие на склонах, и деревни — все у них радует глаз. И только дома, в которых жили люди хани, все ругали в один голос: очень уж в них темно.

Действительно, жилье свое ставят хани на высоком и светлом месте. Дома их под высокими соломенными крышами, ладными и круглыми, издали похожи на пчелиные ульи. Дорога в деревню непременно вымощена камнем, а на крутых местах сделаны ровные ступени. Ключевая вода забрана в водовод из толстостебельного бамбука вау, проложенный под сенью ивовых кущ. Сидят под ивами старики, плетут скамейки из гибких лиан. Усердные девушки молча моют в проточной воде овощи и травы...

Все бы хорошо, да только в домах хани нет ни окон, ни отдушин — ничего, кроме одной-единственной двери, маленькой и узкой, как лаз, и потому даже в самое светлое время дня там темно, хоть глаз выколи.

И ведь не то чтобы хани любили жить во мраке, им, конечно, тоже был по душе веселый солнечный свет, но что оставалось делать? Только благодаря такой вот крошечной двери можно было спастись от стужи да уберечься от воров. Не всякий лиходей осмеливался проникнуть в темное жилище хани, ведь во мраке, не ровен час, недолго и жизни лишиться.

Но так было раньше. А нынче каждый обзавелся теплой одеждой, да и воров не приходится опасаться. И теперь хани строят дома с просторными дверями и окнами, прямо из дома любуются своей деревней и прозрачной водой, струящейся по выложенным камнем водостокам на залитых солнцем дворах. Да, не осталось более тьмы ни в домах, ни в обычаях хани!..

Все, кто побывал в деревнях племени зао, хвалят их за искусно сработанные деревянные изделия и плетеные вещи. А вот хороших домов у зао никогда не было, и ютились они во временках. Вроют кое-как опорный столб, приладят на скорую руку бамбуковые стропила, набросают соломенную кровлю — вот и готово жилье. Да и на что было им ставить добротные дома, когда из поколения в поколение, бросая истощенные поля, кочевали они с места на место в поисках новой земли... да вдобавок испокон веков их грабили и жгли королевские чиновники и стражники. Попадись этим ненасытным грабителям хороший дом — мигом налетят на чужое добро, очистят все до питки.

Зато теперь, когда сгинули навеки и тэй, и королевские чиновники, люди зао возводят дома с деревянными колоннами на

каменных основаниях, с красивыми деревянными дверями, роют у дома пруды и разводят в них рыбу, сажают лимонные деревья, а когда пускают в ход новенькие мельницы с крупорушками, поднимается шум и треск на всю округу!..

И людям мео приходилось прежде не слаще, чем хани и зао, опи тоже кочевали с одной горы на другую, у иного всего и имущества-то было — старый треснувший котел. Зато теперь мео учатся у землепашцев хани разбивать на горных склонах ступенчатые поля, стали жить оседло в добротных домах со стенами из плетеных, обмазанных глиной матов, под крышами из крепкого, прочного дерева...

Нет, не зря поется в хорошей песне лоло:

А нынче —
такого никто и не ждал —
Человеком я стал...

Еще в партизанском крае, в глухих и потаенных уголках горной страны, куда, казалось, не ступала человеческая нога, были созданы первые исполкомы. Деревенский люд начал тогда учиться управлять своей жизнью.

Теперь же общинные комитеты в округе Иен едва успевали поворачиваться. Новым руководителям общин то и дело приходилось спускаться в город, чтобы обговорить свои дела в исполкоме или в Окружном комитете партии. А дорога эта не близкая, из иной общины до города нужно добираться целый день, а то и два дня.

* * *

Итак, весна пятьдесят седьмого года шла к концу. Как раз в это время в Финша открылся первый магазин.

Весть об этом разнеслась по округе за несколько дней. И сразу же стало известно еще одно обстоятельство: с солью и керосином для магазина в Финша прибывает кадровый партиец Нгия.

Конечно, открытие магазина обрадовало всех: окружной центр вовремя позаботился о доставке соли и керосина, ведь как начнется пора дождей, в город за покупками не спустишься. Но еще больше взбудоражило людей второе известие:

— Партиец Нгия здесь!

— Нгия приехал!..

Имя это произносилось просто, как произносят обычно

«А Пао», «А Лы»¹ или имя какого-нибудь другого соседа. Нгиа все знали, Нгиа все ждали, народ шел повидаться с ним ото-всюду, даже люди са из деревушки Надапг, что у самого речного устья, явились в Финша.

Пришла к Комитету и старая Зианг Шуа с дочерью. Всюду стоял веселый гомон, словно во время праздника Тет, когда люди ходят от соседа к соседу, угощаясь в каждом доме.

Зианг Шуа перевалило уже за шестой десяток. Обычно женщины в ее возрасте и в доме еще управляют и в поле работают не хуже невесток и дочерей, но бывшие лишения и горести состарили Зианг Шуа, у нее давно уже болели ноги, и она еле ходила, ковыляя и прихрамывая.

Между тем Тхао Ми вступила в пору девичества. Мало нужды, что одета она была в старенькую линялую юбку и кофту — те самые, которые носила еще в партизанском крае, — все равно при виде ее люди одобрительно прищелкивали языками, признавая ее первой красавицей деревни. У нее было нежное бело-розовое лицо, мягкостью и округлостью черт напоминавшее спелый плод. И она так чудесно пела и играла на данмое².

Ми еще не задумывалась над отрадными и печальными сторонами жизни. Когда мать заводила речь о былом их житье в лесу и вспоминала о старшем брате, Ми тоже с грустью думала о нем, но молодость брала свое — печаль не задерживалась надолго в ее сердце. Да и то далекое время, когда Ниа водил ее на ярмарку, припоминала Ми очень смутно. Гораздо лучше помнила она вторжение тэй. Однажды их с Кхаем послали в лесной дозор. Они караулили с арбалетами³ наготове, но враг так и не появился. Тогда они подстрелили большую лесную мышь, поджарили ее на костре и съели... Да, войну она помнила так, словно это было вчера.

Комитет размещался в маленькой хижине на пустыре, у края каменной осыпи. К тому времени, когда Зианг Шуа и Ми подошли к хижине, партийца Нгиа уже не было, зато вовсю шла торговля солью.

В прошлом и позапрошлом году сильные дожди отрезали жителей Финша от города, соль невозможно было достать ни за

¹ А Пао, А Лы — очень распространенные среди народности мео имена.

² Данмой — губной музыкальный инструмент; на данмое играют только женщины.

³ Арбалет — традиционное оружие горных народностей, в жизни которых важную роль играла охота. Партизаны также нередко пользовались этим оружием.

какие деньги; и теперь, когда Правительство доставило соль прямо на место, раскупали ее быстро и брали помногу — про запас. Люди приходили с флягами из высушенной тыквы на боку, тащили на спине длинные сосуды из толстоствольного — вполобхвата — бамбука, с трудом протискивались в хижину и, красные от волнения, широко улыбаясь, выбирались из дверей с покупкой. Каждый, кто стоял в очереди, непременно отпускал какую-нибудь пехитрую шутку, и из толпы у прилавка с весами то и дело доносились раскаты смеха.

Ми пробралась в помещение. Нгиа не было и там, но она вышла не сразу — задержалась, чтобы поглядеть, как председатель Тоа самолично продает соль. Когда же она наконец вернулась к матери, та засыпала ее нетерпеливыми вопросами.

— Нету его... — виновато ответила Ми. — Не знаю, где он...

— Партиец Нгиа скоро будет, — бросил им на ходу незнакомый человек, державший под мышкой бамбуковый сосуд с солью.

Зианг Шуа оглядела очередь.

— Ладно, подождем здесь... — сказала она.

Они отошли в сторонку и уселись под деревом вонг¹.

А люди все шли и шли.

К полудню те, что пришли издалека, начали понемногу расходиться. Народу стало меньше, на камнях перед входом в хижину белыми пятнами лег солнечный свет, и Зианг Шуа смогла наконец разглядеть, что делается внутри хижины.

Право слово, Комитет сегодня не Комитет, а соляной склад. Вон она соль — большая белая грудa — как песок на речном берегу, и сам председатель Ву Шоа Тоа неумоимо двигается возле весов: то нагнется зачерпнуть соли, то выпрямится и загремит гирями.

Вообще-то не было еще дня, чтобы председателя Тоа удалось застать в Комитете. Даже в присутственные часы его нужно было искать не в конторе, а где-нибудь на огородах. Ведь заготовка продуктов для приезжих и прием гостей тоже входили в его обязанности. Вот и возился он день-деньской на грядках, выхаживая то капусту и горох, то крупную фасоль «конский зуб», то ячмень и кукурузу. А когда в деревнях были организованы бригады трудовой взаимопомощи, дня не проходило, чтобы он не появился в бригадах. Если надо было помочь кому-то, поставить дом, Тоа всегда был тут как тут и первым прини-

¹ Вонг — дерево с мягкой пористой древесиной, крупными листьями и красными цветами.

мался таскать бревна и камни. Нет, не зря говорили люди: «Это наш председатель, поистине наш...»

Тем временем Тоа в который уже раз наклонился к глухому старику, сидевшему, скрестив ноги, перед грудой соли.

— Купите же соли, почтенный Ниа Пао!..

Старый Ниа Пао поднял на председателя глаза и ухмыльнулся беззубым ртом:

— Я не покупать пришел,— прошамкал он.— Мне бы паглядеться на соль...

Это продолжалось уже не один час. Председатель уговаривал старика, а тот упорно твердил свое. Тоа отходил, снова возвращался и кричал старику то в одно, то в другое ухо:

— Купите же соли!.. Купите!..

Ниа Пао продолжал сидеть с каменным лицом и знай себе повторял, что покупать не собирается, а хочет лишь поглядеть. И вдруг добавил — совсем уж невпопад:

— Сколько лет живу на свете, а не съел ни крупинки соли у проклятых тэй!..

Председатель опешил.

— Да ведь эту соль прислало Правительство!

— Ага...— кивнул Ниа Пао, помолчал несколько секунд и снова объявил невпопад: — А когда лошади Део поднялся сюда с караваном, я извел его вожakov... Оба сбесились и издохли в одночасье...

Председатель больше не слушал его. Он схватил пустой мешок, висевший у старика на плече, высыпал в него два совка соли и положил старику на колени. Старый Ниа Пао, словно ничего не заметив, молча свернул мешок поплотнее, поднялся и вышел из хижины. Он шел по каменной осыпи и улыбался.

Тоа — усталое лицо его налилось кровью, высоко закатанные рукава рубашки были мокры от пота — расправил плечи и выглянул за дверь. Глаза его остановились на Зянг Шуа.

— Почтеннейшая! — крикнул он. — А ну, раскошеливайтесь, покупайте соль!..

Он хотел крикнуть погромче, но уже совсем осип. Все, кто стоял поблизости, повернулись к Зянг Шуа и наперебой закричали, подзывая ее. Но старуха молчала, невозмутимо глядя на них.

— Да что же это! — сипло завопил Тоа. — Неужто пынче все старые люди оглохли, как Ниа Пао? — Он поднял два бамбуковых совка, наполненных солью. — Подходите, берите соль! Или вы не слышите?

— Я не глухая,— с достоинством отозвалась наконец Зианг Шуа.— Только дело в том, председатель, что я дожидаюсь товарища Нгиа...

Все расхохотались.

— Ясное дело! Старуха с места не тронется, пока не просватает дочку за партийца Нгиа!..

— Ну конечно!.. Хочет поговорить с ним с глазу на глаз, так оно будет вернее!..

Растерянная Ми повернулась и пошла прочь, от смущения у нее даже испарина выступила на лбу.

Вот тут-то и появился партиец Нгиа. Он был верхом, оба — и конь, и всадник — взмокли после тяжелого, долгого пути по горной дороге. Нгиа с утра снова ездил в город — поторопить с доставкой очередной партии соли и керосина. Он въехал во двор, натянул поводья и спрыгнул на землю.

Во дворе два продавца — оба из народности тхай — катили к ограде бочку с керосином, которую только что привезли из города: на завтрашний день была назначена продажа керосина и соли жителям деревни, что расположена по ту сторону горы. Лошади у коновязи, опустив головы, лизали кожаные мешки с солью. Круглые бока мешков потемнели от влаги. Знойный воздух полыхал солнечным жаром. Яркой зеленью светилась под солнцем высокая трава. Вот из зеленого марева выплыл еще один всадник — какой-то парень из дальней деревни только сейчас выбрался в магазин. У дерева вонг он соскочил на землю, торопливо обмотал поводья вокруг ствола и опрометью кинулся в хижину. Жеребец у коновязи стукнул копытом и громко заржал, ощерив зубы...

— Товарищ Нгиа! — окликнула Зианг Шуа.

Нгиа повернулся, скорым шагом подошел к ней и протянул руку.

— О матушка Зианг Шуа! — воскликнул он.— Смотрите-ка, и Ми тоже здесь... Здравствуйте! Вы за солью пришли?

— Вы ведь издалека воротились... — проговорила старуха.— Не встречали ли где моего сынка Кхая?

Матери казалось, что человек, возвратившийся из дальних краев, где бы он ни побывал, непременно должен был встретить ее сына.

— Но ведь Кхай поехал учиться... — сказал Нгиа.

— Как это — учиться?

— Так вы не знаете? Он теперь учится. Он далеко отсюда...

— Далеко... Когда же он вернется, если учится так далеко? Нгиа улыбнулся.

— Вы не тревожьтесь, матушка,— произнес он ласково.— Кхай учится хорошо и скоро, очень скоро вернется к вам!

Зианг Шуа тоже улыбнулась — одними только блеклыми губами. Глаза ее по-прежнему серьезно и печально глядели на Нгиа.

— Что ж,— сказала она,— раз Правительство решило учить Кхая, пусть он пробудет там сколько надо... Я за него спокойна...

И вдруг она заплакала. Нгиа встревоженно взглянул на Ми. На лице девушки не было печали. Она даже рассмеялась, отвернувшись.

— Отчего ваша матушка плачет? — спросил Нгиа с недоумением.

— Да вот никак не узнает дорогу к речке Намнгу,— объяснила Ми.

Зианг Шуа зарыдала в голос.

— Пожалуйста, Нгиа,— сказала Ми.— Если вы знаете, где эта речка, скажите маме...

— Вы всю страну обошли! — подхватила старуха.— Небось и там побывали... Расскажите, где она!

И тогда Нгиа вспомнил грустную и смешную историю о том, как Тхао Ниа будто бы обернулся тигром, а люди са спасли его и воскресили. Не раз старуха рассказывала эту легенду в партизанском крае, а впервые Нгиа услышал ее, кажется, в тот самый день, когда отыскал Зианг Шуа с детьми в глухом ущелье.

Вспомнил он и слова, которыми обычно отвечал несчастной матери, и медленно покачал головой.

— Нет,— проговорил он.— Сколько я ни ездил, а побывать на речке Намнгу мне не довелось...

— Но если вдруг доведется... вы не забудете объяснить мне дорогу туда?

— Конечно, нет.

В эту минуту на пороге хижины появился председатель Тоа с двумя совками соли. Два совка соли... ровно килограмм. Тоа подошел к Зианг Шуа и протянул ей соль.

— Это вам, почтеннейшая,— сказал он.

Старуха приняла совки, высыпала соль на широкий лист заунга¹, завернула, загнув края листа, и бережно уложила в лежащую у ног торбу. Затем, так и не проронив ни слова, опустила голову, прикрыла глаза и некоторое время сидела тихо и неподвижно.

¹ Заунг — широколистное водяное растение.

Нет, мысли ее не уносились больше к неведомой и далекой речке Намнгу, она думала о соли, лежащей в ее торбе. Целый килограмм соли — белой чистой соли! Разве могла она раньше представить себе, что придет время, и она увидит своими глазами целый килограмм соли сразу?!

Когда волнуешься, лучше помолчать. Прикрыть глаза, ничего не видеть и не слышать... Тогда мысли текут так плавно и легко. Товарищ Нгиа сказал: «Кхай учится очень хорошо...» Зианг Шуа отлично помнила тот день, когда товарищ Нгиа пришел к их убогому шалашу в мрачном лесистом ущелье. С того дня она ощущала в себе необыкновенную силу, кажется, гору могла бы сдвинуть... Пришел товарищ Нгиа, и одержимые злым бесом снова стали людьми, чиновники и стражники провалились в преисподнюю, а Кхай ушел драться с врагами и теперь вот очень хорошо учится, хоть и неблизко от родного дома. Скоро он вернется и навсегда останется с нею... А ведь соль эта побелее речного песка будет! Сколько людей на белом свете, да все ли они видели, чтобы вот так, в одном свертке, в собственной торбе лежал целый килограмм соли!

Когда-то Зианг Шуа уподобляла жизнь человеческую тлеющей хворостинке, что обратится под конец в прах и пепел. Нынче же жизнь представлялась ей очагом, в котором вновь развели огонь, и он с каждым мгновением разгорается все сильнее, все жарче. Поистине ей теперь стоило искать дорогу к речке Намнгу...

Председатель Тоа сказал:

— Через часок прошу ко мне обедать, товарищ Нгиа.

— А сейчас вы куда собрались?

— Да, тут неподалеку, в лес... за мясным блюдом.

Закинув винтовку за спину, председатель вскочил на неоседланную лошадь и с места в галоп погнал ее вниз по склону. Вскоре развевающийся лошадиный хвост скрылся за стволами бамбука.

Нгиа задумчиво глядел вслед председателю. Ми, отвернувшись, спросила:

— Что это вас так долго не было в Финша?

— Занят был очень, — отозвался он. — Работа...

— А тут у нас говорили, что после Освобождения все партийцы вернутся к себе на равнину, разойдутся по конторам, заделаются большими начальниками и не захотят больше подниматься в горы, как в войну. Только я так думаю — это глупости. Нехорошие люди это говорят, верно?

— Верно. Это болтают очень дурные люди. Возьмите, например, меня. Видите, я опять вернулся в горы, буду налаживать у вас торговлю...

— Солью?

— И солью тоже. Это задание Правительства, Ми. Революционное дело. Открою здесь у вас настоящий большой магазин.

— Настоящий магазин? У нас?

— Да, в Финша.

Ми улыбнулась.

— Выходит, теперь вы наш, мео.

— А я всегда был мео! Разве вы не знали?

— Да нет, знала...

Ми улыбнулась снова.

Нгиа тоже улыбнулся. Одна старая история припомнилась ему. В тот год отряды партизан и группы бойцов Освобождения продвигались к границе. В Тэйбак были брошены бригады кадровых парработников — необходимо было спешно создавать опорные пункты и сколачивать из местных жителей новые боевые отряды. Нгиа тогда направили в Тэйбак из Футхо¹, его назначили «начальником станции» — ответственным за транспорт и связь на дороге через Финша. Таких, как Нгиа, было много: кто и когда сосчитает, сколько кадровых партийцев работало в годы войны в Тэйбаке? Дороги в Тэйбак пролегали по следам тех, кто первыми пробивались в горы. Эти дороги вели в обход вражеских укрепленных постов и неизменно приводили посланцев партии к народу. Многие товарищи не дошли — полегли на этом нелегком пути. Когда бригада, с которой шел Нгиа, вступила в Тэйбак, людям пришлось карабкаться вверх по обрывам в слепом тумане, а внизу был лес, затопленный стоячей водой. Один из товарищей не удержался — наверно, у него свело от стужи руки и ноги, — рухнул в пропасть, успев лишь взглянуть напоследок в лица друзей...

Мео не впервой было драться с тэй. Давным-давно, лет сто назад, когда французы вторглись в страну, округ Финша восстал. Вдоль всей границы от Сиенгкхоанга² до Хазианга³ мео поднялись на борьбу против французов. Но не было умелых, тол-

¹ Футхо — город на равнине, в северо-западной части дельты Красной реки.

² Сиенгкхоанг — населенный пункт в Лаосе, близ границы, где также живут мео.

³ Хазианг — провинция и административный центр на севере ДРВ, у границы с Китаем.

ковых людей, которые могли бы объединить и возглавить повстанцев. Они потерпели поражение. Несколько десятков человек тэй убили на месте, в Финша. Множество людей угнали вниз, на равнину, и бросили в тюрьмы. Ни один из них не вернулся. Работая в Тэйбаке, Нгиа немало узнал о вольнолюбивом праве и боевом прошлом жителей Финша.

И тогда он придумал о себе историю, которую частенько рассказывал своим новым товарищам.

«Отец у меня был крестьянином и жил на равнине. Он участвовал в Революции, бился с французами. Однажды его схватили и посадили в тюрьму. Там отец подружился с одним человеком из пародности мео, и они стали побратимами. Когда мне разрешали свидание с отцом, он всегда наказывал мне поклониться его другу, и вскоре я стал приемным сыном этого мео, который очепь тосковал вдали от родных мест... Потом он заболел. Перед смертью он сказал мне: «Сынок! Отец и мать родили меня в далеком Финша. Помни об этом и непременно отыщи туда дорогу. Взгляни на небо Финша и вспомни, что это то самое небо, на которое я взглянул, едва появившись на свет...» Вот почему я помню Финша с малолетства. Когда же я вырос и ушел в Революцию, меня послали на работу в Тэйбак, именно сюда, в Финша. И я словно вернулся к себе на родину...»

Он выдумал эту историю от первого до последнего слова — потому что знал: так ему легче будет сблизиться и подружиться со здешним человеком. И, говоря по правде, он неотступно следовал этой своей прекрасной выдумке. Впрочем, все партработники, действовавшие в Финша, люди самых разных народностей, вдохновлялись той же идеей. И когда Нгиа рассказывал о своем вымышленном приемном отце, ему и самому казалось, будто это случилось на самом деле.

Нет, говоря: «Я всегда был мео», Нгиа не кривил душой.

Ми немного подумала, потом решительно тряхнула головой.

— Конечно, — сказала она, — это, может быть, и так. Но все равно вы с равнины и родина ваша не здесь...

Он попытался объяснить ей:

— Родина кадрового партийца там, где он трудится на благо людей...

— Все равно, — повторила Ми, — жену, например, человек выбирает там, откуда он родом. Ведь не станете же вы сватать девушку там, куда приехали по работе, верно?

— Почему же это не стану?

— Да уж так, не станете...

Нгиа промолчал. Разговор принимал опасный оборот: он

всегда опасался ненароком задеть простодушных и чувствительных горяпок.

Знанг Шуа наконец встала и подошла попрощаться с Нгна.

— Как освободитесь, заходите в гости,— пригласила она его напоследок.

Ми ушла вместе с матерью.

Солнце клонилось к закату, по травянистому лугу протянулись ласковые зеленые лучи. От людей, шагавших по траве, ложились длинные тени, доходившие до самого поля.

Нгна оглянулся на ворота. Знанг Шуа, озаренная вечерним солнцем, медленно удалялась своей старческой, ковыляющей походкой. А где же Ми? Нгна торопливо подошел к воротам. Так и есть! Она стояла тут, за оградой. Ми подняла глаза и прямо взглянула ему в лицо. Нгна отвел взгляд, по чувствовал, что девушка смотрит на него по-прежнему.

— А... а вы что, ждете... кого-нибудь? — спросил он запинаясь.

— Я ждала вас,— отозвалась Ми.— Хотела попрощаться. Всего хорошего, Нгна...

И она побежала следом за матерью, ни разу больше не оглянувшись.

Три года он не был здесь. И вот вернулся и вместо прежней девчонки с зелеными глазами увидел девушку, взгляд которой проник ему в самую душу.

Конечно же, Ми влюблена в него. Она по натуре робкая, по такая простодушная, чувства своего скрыть не умеет... Стоит ему сказать ей хоть слово, и пойдет, пойдет молва по округе: Нгна встречается с Ми, они любят друг друга, он подарил ей косынку, он хранит у себя на память ее зеркальце...

В душе шевельнулось сладостное щемящее чувство. Это была нежность. Но он тут же жестко одернул себя. Да, он не был женат, его никто и нигде не ждал. Но обрести подругу здесь, в горах? Нет, этого он не хотел. Тревожные думы овладели им...

IV

Как-то, выйдя поутру в поле, люди увидали внизу, у подножия горы, крошечное белое пятнышко. Оно близились и росло, и скоро уже можно было разглядеть, что это всадник на белом копе. Был он в фуражке с черным блестящим козырьком, в темном шерстяном костюме, застегнутом до самого ворота, в резиновых сапогах с низкими голенищами, с прямоугольным ранцем

за спиной. И был он молодой, рослый и белокожий. Щеки его, покрытые легким пушком, разрумянились, потому что роса еще не сошла и стояла утренняя прохлада, и большие уши торчком — тоже покраснелись.

Белый конь неторопливо огибал желтые скирды соломы.

Непонятно было, кто это такой. Может, военный из города? Конечно же, военный! Недаром у него такая фуражка и ранец...

Военный доехал до лощины и спешился. Из глубоких расщелин полз густой туман, по горным уступам прыгали, словно бы с неба, ручьи и речки. Дорога с трудом различалась под ногами. Но скалы, громоздящиеся по сторонам, военный видел отчетливо даже сквозь туман и, узнавая их, вслух произносил название каждой. Могучие глыбы испокон веков стояли здесь во весь рост или сидели на корточках по склонам. И конечно же, думал военный, эти глыбы не зря, не без умысла сидели или стояли здесь — каждая на своем привычном месте. Вон у той скалы торчит сбоку, как ухо, широченный выступ: это чтобы укрывать людей, застигнутых непогодой на пашне или по дороге на ярмарку. А у этой скалы в спине пещера: партизаны, когда их в пути заставлял рассвет, забирались туда и отсыпались после бессонной ночи. А у соседнего утеса посередине лика глубокий провал, настоящий колодец, круглый год полный чистой дождевой воды: идешь, бывало, связным, карабкаешься по кручам, измотаешься, и жажда мучит, а заберешься сюда — и пей, сколько душе угодно, прохладную воду, которая, конечно же, куда слаще и свежее застоявшейся, тепловатой воды в бамбуковой фляге. Есть скалы, огромные и могучие с виду, а внутри у них пустота... Старики, взбираясь сюда по кручам, устают до изнеможения. Тогда они берут хворостину и втыкают в землю у основания глыбы — есть скалы, сплошь утыканные палками. Старые люди верят, будто так можно задобрить повелителя гор и он сделает их ноги сильными и крепкими, как камень...

Молчат придорожные скалы, но сколько историй помнит каждая из них! Ходили этой дорогой бесчисленные поколения здешнего люда. Приходили и уходили завоеватели и грабители-купцы. Много разного народа прошло по древней дороге, никогда не знала она покоя. А ведь очень скоро начнутся перемены и здесь...

«Немало изъездил я шоссейных дорог, что уходили ровными лентами к вершинам и перевалам и спускались к равнинам, — думал военный. — Лягут они и здесь, в Финша! Вон как разбежались наши горы — до самого горизонта, и скоро увидим, как опояшут их, пройдут напрямик широкие ровные дороги!»

Он окинул взглядом распаханые поля, которые ступеньками поднимались по диким некогда склопам. В утреннем тумане то появлялись, то исчезали фигурки людей, занятых работой. Он остановился. Конь тоже тотчас остановился и, опустив голову, принялся щипать траву. Военный прислонился к теплему конскому боку и достал свирель.

И полились, улетая вслед за расходящимся туманом, нежные звуки, разнеслись далеко:

Сколько ущелий и гор
На дороге в краю мео!
Сколько безрадостных песен
На дороге в горах высоких...

Это кто же так здорово играет на свирели? Люди, оставив работу, потянулись с полей к лощине. В войну немало парней ушло из Финша в солдаты и партизаны... Может, кто из них возвратился?

С дальних пашен людям не видно было сквозь дымку тумана, кто играет, но свирель говорила и с ними:

На дороге в краю мео
Тысяча ущелий и гор,
Тысяча безрадостных песен...

Люди, сбегавшие к дороге, разглядывали незнакомца и его белого коня. Всем хорош молодец, да, видать, не из наших краев — и одет не так, и этот кожаный ранец... Хотя вот свирель у него повязана красной тесьмой! А кто еще, кроме мео, так повязывает свирель?.. Да кто же он, в самом деле?

Парень отнял свирель от губ и обвел их взглядом.

— Ну как, узнали меня? — спросил он усмехаясь.

— Вспомнили, конечно... — ответили ему.

— Кто ж я, по-вашему?

— Ты — наш солдат.

— Который? Солдат Лаунг или солдат Мань?

— Да нет же! Ты — солдат Тхао Кхай! — крикнул кто-то.

И горы отзывались эхом:

— Тхао Кхай! Тхао Кхай!

На пашне остался один только старый Ниа Пао, глухой как пень. Но и он, заметив, что все люди, кроме него, столпились у подножия горы, поспешил за ними.

А дома Зианг Шуа с дочкой собиралась в поле и запасалась едой на обед. Ми как раз доставала из золы печеные стручки перца, как вдруг за стеной застучали копыта. И все прежние

страхи разом нахлынули на Зианг Шуа, снова, как много лет назад, ее заколотила дрожь.

В дом вошел Тхао Кхай.

— Низко кланяюсь вам, мама! — произнес он громко.

Зианг Шуа оторопела, потом подбежала к сыну, схватила его за руки, жадно взглянула в лицо.

— Кхай, сынок!

В этом крике вылилась вся боль материнской души, все бессонные ночи и долгие дни ожидания. И соседи, ввалившиеся в дом следом за Тхао Кхаем, молча стояли и смотрели, как она, не выпуская его рук, всматривается в лицо сына. Воцарилась тишина вокруг, умолкли даже мельницы, молотившие кукурузу в соседних хижинах.

Никто не смеялся и не плакал — все просто стояли и смотрели на сына с матерью. И было на что посмотреть! Это их земля, земля Финша, произвела на свет такого молодца-солдата, и вот он вернулся верхом на коне. Вернулся и украсил дом и жизнь матери. Мыслимо ли было такое в прежние времена, когда здешняя земля прозябала во мраке и в неволе?

Ми тихонько сказала:

— Мама, Кхай, наверное, проголодался с дороги...

И только тогда Зианг Шуа отпустила руки сына и засуетилась, собирая завтрак. Все расселись. Суетливо пододвигала она сыну то горшок с кукурузой, то чашку с похлебкой, то присоленные стручки перца...

А Кхай сидел и ел спокойно, не торопясь. Отведав блюдо, он предлагал его матери и соседям, и ясно было, что не забыл он прекрасный обычай родного края: если сел за трапезу, всем вокруг предлагай то, что ешь и пьешь сам, и предлагай не раз и не два, пусть все отведают. Ловко, как прежде, черпал он ложкой кукурузную муку и с удовольствием отправлял ее в рот, и все смеялись от радости и изумления, словно никогда раньше не видывали, чтобы кто-нибудь ел кукурузу с таким вкусом, а многие, сбегав домой, воротились со своей кукурузой и строгой олениной и тоже принялись за еду.

Когда сын насытился, Зианг Шуа, как положено, приступила к расспросам.

— Ты вернулся с солдатами, сынок? — осведомилась она.

— Нет, мама, — ответил Кхай. — Просто я кончил ученье и вернулся в родные места.

Он взял свой кожаный ранец, откинул крышку. И все увидели блестящую никелированную коробку с ампулами и шприцем и стетоскоп с двумя резиновыми трубками, длинными и

красными, как цветок зай. Никто не понял, что это такое.

— Я закончил медицинское училище, мама, — объявил Кхай, — и теперь буду лечить больных.

Знанг Шуа широко раскрыла глаза:

— Значит, Правительство назначило тебя шаманом?

Кхай рассмеялся:

— Нет. Правительство назначило меня фельдшером.

— А, знаю! — воскликнула Ми и тоже засмеялась. — Ведь такие штуки я видела в городе у медсестры.

— Верно, — сказал Кхай.

Соседи глядели на него во все глаза. Снова воцарилось молчание, только свиристел и булькал чей-то бамбуковый кальян. Тогда Кхай снова набрал кукурузной муки, зачерпнул подлишки и, смеясь, принялся объяснять всем, как надо ездить верхом и играть на свирели. И соседи быстро уверились, что к ним вернулся прежний Тхао Кхай.

А тут подоспел и председатель Тоа, за ним явился Нгия. Народу в дом набилось — не продохнуть. Бамбуковые кальяны, переходя из рук в руки, шли по кругу, не минуя и тех, кто расположился в самых дальних углах дома. Курильщики, уминая пальцами набивку, приглашали друг друга затянуться, покурить предлагали и молодым женщинам, и совсем старым бабкам. Ребятишки, вскарабкавшись на помост над кухонным очагом, расселись там, свесив головы. Словом, веселье шло полным ходом.

— На работу к нам или в отпуск? — спросил Тоа.

— На работу...

— Кхай берет на себя медицину, — сказал Нгия. — Я — торговлю. Вот вам, товарищ председатель, готовый аппарат. Руководите! Теперь вы довольны?

— Еще бы! — отозвался Тоа. — Нашего полку прибыло! Не то что год назад — никого под рукой нет... А теперь мы — сила!

— Вот мое направление. — Кхай протянул председателю бумагу: — Тут и представителя парткома подпись, и исполкомовская...

— Значит, у нас работать будешь? — снова спросил кто-то, для верности, должно быть.

— Непременно.

Этот вопрос Кхаю задали еще раза два, и он терпеливо отвечал: да, приехал работать, остаюсь здесь.

Председатель Тоа поднес к кальяну зажженную лучину. Лучина уже догорала, а он, видно, все забывал затянуться и раскурить кальян и только бормотал:

— Хорошо... Это очень хорошо...

Старые люди помнили, как когда-то, давным-давно, старики заклинали умерших сородичей помогать живущим. Вот какое это было заклятие: «Живые остались жить, чтобы родить потомство и приумножить род. Пусть же, переходя реку, они не оступятся и не утонут. Пусть куры их, и свиньи их, и копы их тучнеют на добрых кормах, не ведая хвори...» Но теперь народ думал иначе: «Все, кто в войну отдал жизнь за Родину, помогли Тхао Кхаю воротиться домой в добром здравии, в чудесной одежде, с диковинным инструментом, обучили его лечить нас...» О таком раньше они и мечтать не смели.

— Эй, председатель! — громко прокричал кто-то. — Выдал бы замуж за Кхая свою дочку, тогда уж он наверняка остался бы здесь навсегда!..

Дом задрожал от хохота.

V

На собрание в Финша сошлись старосты деревень мео и зао и даже старосты некоторых деревень лы и са, разбросанных внизу, на горных склонах за устьем реки Намма, — а от них до Финша добрых два дня ходу.

Первым выступил товарищ Нгия.

— Каждый год ливни в дождливый сезон размывают дороги и отрезают нас от города. Мы решили построить здесь соляной склад. Тогда любые бури нам нипочем!

— Хорошее дело! — одобрили старосты. Мысль о соляном складе явно пришлась им по вкусу.

— Возвращайтесь в свои деревни, товарищи, — продолжал Нгия, — и приводите людей на стройку...

И все отозвались в один голос:

— Ясно, дело решенное!

Сказали так, словно стройка была уже закончена.

И только Панг промолчал и трижды кряду затянулся из кальяна, а затем подпер щеку рукой и печально поглядел по сторонам. Его явно снедало беспокойство, он то и дело вытягивал шею и смотрел на Нгия, словно хотел и все не мог решиться высказать свои сомнения.

Панг был старостой в деревушке са, где не насчитывалось и десятка дворов — в самой дальней деревушке округа, расположившейся подле речного устья, у границы, за которой кончалась родная земля. Сколько тревог пережили ее жители, и сколько тягот предстояло еще им пережить!

Нгиа говорил с жаром и увлечением и не замечал задумчивости Панга. Давно не встречались старосты с партработником, — да еще знакомым и почитаемым издавна, и они рассказывали наперебой — каждый о своем, — старались разузнать обо всем поподробней: правда ли, что на равнине, в деревнях, где живут тхай, создапы кооперативы, как случилось, что недавно упал в пропасть буйвол... Даже Тоа задавал вопрос за вопросом.

Наконец Панг — не в силах справиться с обуревавшими его заботами — подступил к Нгиа:

— Они говорят: са имеют заслуги перед Революцией; но раз мы бедны и живем за рекой, на отшибе, Революция про нас и не вспомнит.

— Кто «они»?

— Люди, что пришли из Лаоса.

— Ну, и как, правы они, по-вашему? — снова спросил Нгиа.

— Да нет, я и сам не раз говорил соседям: чужаки врут. А сегодня вижу все своими глазами. Раз вы снова вернулись в Финша, значит, все это чушь.

— Погодите, вот соберемся, начнем строить склад. Люди из разных деревень сойдутся сюда и подружатся. Поработаем всем миром на общее благо — вот и будет нам чем гордиться. Люди станут увереннее в себе. Увидите, товарищ Панг, народ поверит нам крепче прежнего. Надо только собрать побольше людей. Идет?!

Но Панг все тревожился о своем:

— А проходимцы из Лаоса толкуют на все лады: Правительство, мол, вас бросило, отступитесь и вы от него, уходите отсюда, мало ли мест получше. Я их клянусь на чем свет стоит, а они знай свое твердят. Мочи моей нет больше.

— Но ведь вы староста?..

— Они и меня попосят: ты, мол, родом не из Наданга, ну и проваливай к себе, в Хуоика, а мы все свои — одна кровь, куда пожелаем, туда и подадимся.

Нгиа, услышав название «Хуоика», переменился в лице, но Панг ничего не заметил.

— А вы сами, Нгиа, помните Хуоика? — негромко спросил он.

Но Нгиа не ответил Пангу. Перед глазами у него вставали наплывавшие откуда-то из прошлого картины нелегких, но славных лет, лица людей, работавших и воевавших в Западном крае.

Он взглянул на Панга. Конечно же, Панг вовсе еще не стар, просто он тощий и сутулый, и оттого сразу не угадаешь его

годы. Зато, глядя на старосту, сразу поймешь: трудно живут еще люди са. Одежда на нем из простого покрашенного полотна — черпо-серая, как земля. Угловатое лицо Папга под повязкой из той же грубой темной холстины кажется особенно бледным...

Люди са испокон веку избегают высоких гор и ставят дома свои в низинах, по берегам рек. Руки их никогда не тревожили землю железом. Есть у них такое предание: «Однажды — было это очень давно — косуля забежала на лесное пепелище и копыта ее оставили в почве глубокие круглые следы. Поглядели на нее люди и стали сами продавливать палкою ямки в земле и сажать в них семена. Косуля эта, видя нужду и бедность, одолевавшие са, пожалела их и обучила земледелию...»

И с той поры са не брали в рот оленьего мяса. Незлобивые и кроткие нравом, они круглый год ловили рачков, рыбачили, собирали плоды и корни, вязали сети, плели корзины, мастерили скамейки из гибких стволов ротанговой пальмы, делали из лиан подносы. Но чаще всего бродили они вдоль ручьев и рек, подстерегая рыбу и избегали людей, удрученные горькой своей судьбой...

— Знаете, Нгиа,— Панг поднял на него свои выцветшие глаза,— я ведь родом из Хуоика...

— Да-да, из Хуоика,— машинально повторил Нгиа.

Хуоика... Маленькая деревушка, в ней не набралось бы и десятка дворов, стояла когда-то на берегу. Синяя речка Намкуои выбегала навстречу людям из тенистого леса; богатая рыбой, кормила она деревни са и тхай, теснившиеся на ее берегах.

В тот год ударные боевые агитгруппы, продвигаясь по тылам неприятеля через Тэйбак, дошли почти до самой западной границы. Но неподалеку от Хуоика их застиг паводок. Вода в реке поднялась и затопила брод, так что переправиться можно было только на лодках.

В этом районе, как назло, не оказалось ни базы, ни связи, ни проводников.

Узнав, что в деревушке Хуоика живет беднота, бойцы решили зайти туда — спросить насчет переправы.

Они вышли к реке и, дождавшись ночи, постучались в дом на краю деревни. Они рассказали хозяевам обо всем: как тэй истязают и обирают народ, как революционеры вместе с народом поднялись, чтобы прогнать тэй. Хозяева слушали их со слезами на глазах и кланялись. На другую ночь в дом собралась чуть ли не вся деревня, люди сидели и, боясь проронить словечко, слушали пришельцев, а те рассказывали им, как надо бить тэй.

Босвая группа переправилась через реку возле Хуоика. В деревне дали им лодки и каждому — по корзине риса и свертку с соленой рыбой.

Но когда бойцы возвращались обратно, деревни Хуоика они уже не нашли. Пропюхав о недавней их переправе, тэй сожгли деревню дотла и перебили всех жителей.

Уцелело лишь двое ребятишек: когда тэй ворвались в деревню, они уходили на реку ловить рыбу...

И хотя сам Нгиа не бывал никогда в Хуоика, не видел сипей реки Намкуои, он почувствовал вдруг, что Панг близок и дорог ему как брат...

— Выходит, Панг, вы и есть тот мальчишка, который тогда чудом уцелел? — спросил Нгиа.

— Выходит, так, — сказал Панг. — Со мной еще была девочка, но она потом ушла вместе с солдатами. А меня спасли и выходили люди из деревни тхай, что стоит возле самого устья. Но добрые люди в ту пору повсюду жили бедно. И я в поисках пищи и крова стал ходить из дома в дом, из деревни в деревню. Пока добрался до речки Намма, вошел в возраст и мог уже сам прокормиться. Вот и осел я в Наданге.

Нгиа прежде никогда не встречал Панга, но, как и все, кто работал в тылу врага здесь, на Западе, он слышал немало подобных историй. Бывая в селениях тхай или зао, мео или лы, он и сам бог знает сколько раз рассказывал людям про мужество и верность са, чьи деревни с начала и до конца войны поставляли связных и проводников и перевозили бойцов Революции на своих лодках через большие реки Черную и Ма и через малые речки. И как бы ни свирепствовали каратели, са держались отважно и стойко. Если же вражьим ищейкам и удавалось схватить кого-нибудь из са на партизанских тропах, человек этот брал всю вину на себя и не выдавал никого. Случалось, тэй истребляли са целыми деревнями, как в Хуоика, но ни один из них не изменил Революции.

В тот давний день, справив поминки по погибшим, боевая группа отправилась дальше, и вместе с нею ушла маленькая девочка, которую бойцы нашли плачущей на берегу. Не зная имени девочки, они называли ее Хуои Ка.

С тех пор прошло лет десять или больше. Говорят, солдаты отдали Хуои Ка в школу, а нынче она будто бы учится в институте в Ханое. Так ли все было или нет — никто не знает.

Но нынче от истоков рек и до самых низовий, в Лайтяу и даже в Шонла, — везде, где живут са, рассказывают, каждый по-своему, необычайную и счастливую историю про «девочку

Хуои Ка, что учится в самой столице». А староста Панг, если, случалось, при нем заходил разговор об этом, всегда добавлял: «В тот день Хуои Ка ловила рыбу вместе со мной, мы ведь одногодки». И всякий раз, встречая кого-нибудь из центра, Панг говорил: «Я родом из Хуоика». И добавлял: «Землячка моя учится в Ханое. Если б односельчане наши, отошедшие к праотцам, узнали об этом, они бы, небось, тоже порадовались». Сам он был человек бесхитростный и, если доводилось ему поговорить с кем-нибудь по душам, расцветал и готов был выложить все без утайки.

Вот и сейчас Панг разговорился.

— Знаете, Нгиа,— начал он,— в Наданге народ, конечно, за нас. Правда, бывает забредет кто-нибудь из Лаоса и станет чернить всех и вся да плести небылицы. Вот людей и начнут одолевать сомнения. И потом партийцы не бывали у нас ох как давно! Давно не слыхали мы правдивого слова. Оттого и несут соседи с чужого голоса всякую напраслину. Дикобразы изроют пашню — виновато Правительство, захворал человек — тоже Правительство виновато, а если у меня самого сын болеет, так это потому, мол, что я стал старостой.

— Ваша правда, партийцы давно не заглядывали в Надапг.

— Поверьте, мне одному не вмоготу.

— Я сам буду у вас и проведу собрание,— вызвался Нгиа.— Думаю, мы поднимем дух у людей...

— Вот здорово! — Панг расплылся в улыбке. Глаза его, прежде печальные и тусклые, заблестели весело и ярко.

— Пожалуй, лучше мне, как председателю, побывать в Наданге,— возразил Тоа.

— Нет-нет, у вас и дома дел невпроворот. Схóдите после, как будете посвободней.

Тоа заспорил было, но потом махнул рукой и улыбнулся:

— И то верно! Продолжим собрание. На чем мы остановились?..

Однако разговор этот не на шутку встревожил Нгиа.

Три последних года, когда он работал на равнине, казались ему однообразными и серыми по сравнению с жизнью в горах, куда он впервые пришел посланцем Революции и где разделял с народом все опасности и лишения. Он не хотел доискиваться, почему годы, прожитые на равнине, оставили его холодным и равнодушным. Конечно, и работать и жить там было намного легче: дороги прямые и ровные, большие базары и магазины, веселое многолюдье, кинотеатры. Но расслабляющая легкость эта грозила войти в привычку.

На днях они поднимались в Финша, и от тяжелого дыхания людей и лошадей, с трудом взбиравшихся на кручи, в холодном воздухе расходились густые клубы пара. Он давно не ездил верхом и потом всю ночь не спал, разбитый усталостью и болью. Как тут не встревожиться?! Прежде, бывало, месяцами из ночи в ночь приходилось карабкаться по горам — и ничего. Он ощутил вдруг глубокое чувство ответственности перед живущими здесь людьми, временами ему казалось, будто всю свою жизнь он провел здесь, в горах.

Да, в общем-то, так оно и было — душою он всегда оставался в Тэйбаке. Он не похож был на тех, пусть и немногих чисто-плюев, которые ехали в горы с опаской и, попав сюда, ни разу не удосужились взобраться на гору — при одном только разговоре об этом чувствовали мучительное головокружение.

Разговор с Пангом напомнил ему о маленьких неприметных деревушках, затерянных на склонах далеких гор и у истоков рек. Встречая посланцев Партии, жители этих глухих мест верили им, привязывались к ним всем сердцем, принимали в названные братья. А если кадровые работники не приходили подолгу, люди обижались, гневались и начинали колебаться.

Эти внезапно нахлынувшие воспоминания заставили Нгиа поторопиться: ведь в Наданге его ждали с нетерпением.

И на другой день он собрался в дорогу.

— Я поехал, — сказал он председателю Тоа, — погляжу, как там идут дела.

— Буду посвободней, тоже приеду, — отвечал председатель.

* * *

Весна уже прошла. Небо над Финша обложили слепые тучи, потом хлынул проливной дождь; он находил шквалом — полоса за полосой. Горы по ту сторону долины весь день были затянуты завесой водяной пыли, с головою скрывавшей редких прохожих.

Когда Нгиа, следуя вдоль русла речушки, спустился к подножию горы, солнце клонилось к закату. Кругом, сколько достигал взгляд, не было ни души. Подняв голову, можно было увидеть лишь пятна высохшей травы на склонах холмов да блекло-серое небо. Вдруг из-за холма на лесной опушке выглянула хижина — точь-в-точь одинокий гриб, выросший на гнилом стволе.

Засветло в Наданг не поспеть... Придется остановиться на ночлег.

Невысокая ветхая хижина на сваях похожа на временку — такие часто ставят на пашнях, но нигде поблизости не было видно вспаханной делянки. Когда-то в таких заброшенных хижинах селились прокаженные или одержимые бесом — те, кого изгоняли из деревень. Не понятно только, кому сейчас могло понадобиться такое жилье?

На краю помоста нагишом сидел старик с повязкой вокруг высокой прически и усердно расщеплял стебли джута, из каких обычно плетут сети. По облику его Нгиа сразу определил: старик этот из племени са. Нож в его руке взлетал кверху, острое лезвие отделяло одно за другим лоснящиеся белые волокна, и они повисали бахромой, точно опущенный полог.

Нгиа поздоровался и спросил:

— Чем это вы заняты, почтеннейший?

Старик высоко поднял седые брови, похожие на пучки джутовых волокон. Рука его, сжимавшая нож — не задержавшись ни на мгновение, — продолжала расслаивать стебель. Вдруг клинок с силой вонзился в джут. Стебель распался надвое. Нгиа невольно вздрогнул. Уж не случилось ли здесь чего? Отсюда ведь до границы рукой подать, вон она — за ручьем...

Хозяин молча встал и ушел в дом. Нгиа услышал, как в дальнем углу хижины, где стоял алтарь предков¹, раздалось мерное позвякивание монет в буйволовом роге². Старик заклинал души умерших. Видно, его встревожил приход незнакомца и он вопрошает духов — к добру это или к худу. Вскоре он вышел и уселся щипать джут. Наверно, ответ духов успокоил его.

Бывая в деревнях, Нгиа нередко встречал таких вот стариков — в общем-то пезлобивых, но одержимых всяческими суевериями. И он решил, что тревожиться не о чем.

Надвигались сумерки, но старик не бросал своей работы. Нгиа сходил нарезал травы, подвел коня и привязал его к свае под домом. Он уже не раз убеждался: люди здесь, в горах хотя и немногословны, но добры и радушны. И он решил располагаться на ночлег.

Когда совсем стемнело, хозяин наконец разогнул спину и встал.

«Может, он прокаженный, — подумал Нгиа. В деревнях рапъ-

¹ Культ предков вообще был распространен во Вьетнаме. В домах стояли алтари с изображением предков, им приносили жертвы и воскуряли благовония. Считалось, что усопшие предки покровительствуют живым своим потомкам.

² На монетах гадали, выбрасывая их из рога. По различным выпадавшим сочетаниям предсказывали будущее.

ше был обычаи забивать прокаженных насмерть, и потому люди, даже если они просто начинали кашлять, из страха перед соседями уходили в лес и жили там в одиночестве. Но ноги старика, крепкие и мускулистые, стоят уверенно и твердо, как у рыбака, бросающего с лодки невод. Нет, старик, конечно, здоров. А может, односельчане изгнали его, заподозрив, будто он одержим бесом и насылает на людей порчу? Ведь стала же когда-то жертвой дикого поверья Зианг Шуа с детьми... Что, если здесь в глуши живы еще варварские обычаи? Так оно, видно, и есть: люди считают его одержимым бесом, и потому он не смеет заговорить со мной. Вот беда-то!.. Надо бы сказать старосте Пангу: пусть уговорит старика перебраться в деревню. Не бросать же его здесь одного...»

* * *

Но Нгиа ошибся.

На самом деле все обстояло совсем не так. Старик вовсе не был уроженцем Финша, не болел он проказой и не слыл одержимым бесом. Просто жил, как все старики бедняки из племени са. Дожив в одиночестве до преклонных лет, они оседают обычно там, куда занесут их нужда и скитания, и никому до них нет дела.

Бог знает, когда поселился здесь этот старик. Вот уж который год, если в Наданге хворал кто-нибудь, его призывали в деревню сотворить заклинание. Конечно, и деревенским старцам ведомы были заклятья, но соседи предпочитали звать человека со стороны.

Людам казалось, будто испокон веку живет он в здешних краях. Да и сам старик мало что помнил. Припоминал лишь: с той поры, как подрос и выучился ловить рыбу, плести шалаши, что ставят на лодках, да мастерить помосты на сваях, прошел он — от верховьев до устьев — три реки, покуда на склоне лет не забрел сюда, к берегам Намма.

Так миновала жизнь — в поисках пропитания прошел человек по трем рекам, но осталось у него все та же горькая доля, та же печальная песня. Пел старик хорошо, его голос так и брал за душу. Когда выходил он на рыбную ловлю и, бредя по воде, затягивал «Жалобу услужающего в чужом доме», люди старались уйти подальше, чтоб не слышать его голоса, но у них не хватало сил уйти; хотелось плакать, хотелось заставить старика умолкнуть, но они сами просили его: «Пойте... Спойте еще про тяжкую нашу жизнь».

В Тэйбак пришла Революция, и деревушки са по берегам ручьев и рек поднялись все как одна. Тэй, понаставившие здесь свои укрепления, дивились храбрости са. И как бы ни свирепствовали они, одинокий старик продолжал работать на Революцию — перевозить бойцов через реку.

Однажды тэй схватили его и увели в крепость.

Офицер стал кричать на старика, а потом толмач перевел его слова:

— Эй ты, пожиратель оленьего мяса, нарушивший закон са! Начальник велит тебе спеть песню!

И тогда старик затынул жалобу — горькую и гневную:

Хозяин из гладкого теса заставил
сложить ему дом;
Щенка потрошит и с банановым цветом
в похлебку для слуг кладет;
Палочками раз загребешь и другой —
мяса не сыщешь,
Очистки одни да шелуха имбиря.
Брюхо пабьешь пустыми клубнями мон¹,
В глотке першит и надсадно поет живот.
Тяжек и жалок жребий слуги
у богатея в Мыонгмуои.
Скрыться бы в Мыонгхоа
боюсь: далеко от родни;
В Мыонгкуай² убежал бы —
Отстану от старших в семье.
Пусть же поднимутся воды
превыше высокого дерева ком³,
Выше вершины высокого дерева зиаузиа⁴.
Сгинут пускай до единого
люди из племени са и из племени тхай.
И пусть издохнет у коновязи оседланный конь
И околеет начальник,
что льет себе в глотку вино⁵.

Когда офицеру перевели слова песни, он стукнул кулаком по столу:

¹ Мон — выращиваемая в горах разновидность батата.

² Мыонгмуои, Мыонгхоа, Мыонгкуай — населенные пункты в провинции Лайтяу.

³ Ком (карамбола) — крупное дерево с сочными, кисловатыми на вкус, съедобными плодами.

⁴ Зиаузиа — разновидность сосны; большое дерево с крупными съедобными плодами.

⁵ Эта песня народности са записана в Ноонглае и переведена на вьетнамский язык поэтом Кэм Биеу. — Прим. автора.

— Ну уж нет! Не бывать этому! Старый ублюдок своими песнями подстрекает всякий сброд.

Но бить старика не стали и не заставили, как прочих пленных, таскать воду. Утром и вечером ему давали поесть, и он спал целыми днями.

Однажды ночью явился солдат, разбудил старика, завязал ему глаза, взял за руку и повел куда-то.

Шли они долго, потом с глаз его сняли повязку. Старик увидел, что стоит у высокого крыльца, освещенного яркими лампами, а в доме на помосте восседает человек — лицо подмалевано белилами, на голове шапка, одеянье расшито драконами¹. По обе руки от него стоят двое — лица зачернены, одеты вельможами, в руках мечи.

Государь — это он восседал на помосте — обратился к старiku на наречии са:

— Небо сжалилось над племенем са и поставило Нас властвовать над здешним людом. Когда-то са и мео имели в каждом роду старейшин, был и у них свой король и свои письмена. Но они из-за злобы и жестокости киней² лишились своего государя и утратили письмена. Ныне же небо прислало к Нам начальников тэй, чтоб сообща искоренить подлые племена кинь и тхай и чтобы са вместе с мео вновь обрели короля, обрели свои письмена. Письмена народа са уже здесь, вон на той горе. Остается лишь вырезать партработников-киней — их ведь не так уж и много, — и письмена спустятся к нам с горы. А ежели кини снова явятся сюда и потребуют лодки для перевоза, сговоритесь меж собой и убивайте их прямо на месте. Когда повстречаешь братьев по крови, передай и им Нашу волю.

Потом государь добавил:

— Всякий, кто верен своему королю, выполнит Наш наказ.

Старик, став на колени, поклонился ему до земли и вдруг увидел выглянувшие из-под расшитого одеянья штаны короля, мятые и обтрепанные, и торчавшие из штанин босые черные, словно поджаренные ступни — точь-в-точь как у него самого.

На другой день старика отпустили домой.

Вернувшись, он все сомневался да прикидывал: виденье то было или явь? То он считал, будто диковинная встреча ему пригрезилась, то вдруг решал: нет, я воочию лицезрел государя.

¹ Дракон у народов Вьетнама издавна был зна́ком королевской власти.

² Здесь речь идет о распрях между горными народностями и их враждебном отношении к жителям равнины (киням), которое искусственно разжигалось феодальной знатью и колонизаторами.

И еще он думал: коль не убьешь партийца, король не примет тебя в свое царство... Но тут он припоминал босые и черные ноги короля, и его снова одолевали сомнения: полно, неужто государь расхаживает босиком по грязи...

Он видел, как партийцы приходили и жили вместе с пародом, разделяя с ним и достаток, и голод, видел, что слово их всегда было верным и крепким. Не однажды хватался он за нож или, переправляя партизанского связного на лодке через реку, примерялся, как половчее ударить его шестом по затылку, но рука не поднималась нанести смертельный удар ни в чем вроде не повинному человеку.

И потому, не зная, на что же ему решиться, он всякий раз, когда партийцы появлялись в округе, старался не встречаться с ними.

Но все равно тот загадочный разговор с государем не давал ему покоя и он маялся в одиночку, не смея ни с кем перемолвиться словом. Долгими ночами старик не смыкал глаз. Все думал и думал и наконец решил потихоньку уйти на другую реку. Люди у той речушки, где старик жил прежде, так и не узнали, отчего и куда он исчез.

В конце концов забрел он на этот дальний берег у Наданга. Было это много лет назад. Давно пришло Освобождение; не раз доводилось ему слышать, что вся страна, как и их округ Иен, теперь свободны.

Иногда он припоминал вдруг партийцев, которых встречал раньше, и — по-прежнему в одиночестве — предавался горьким раздумьям.

И вот партиец Нгиа сидел напротив него и собирался заночевать в его доме. Правда, у Нгиа были какие-то сомнения и он держался настороже, но ему не удалось вызвать старика на откровенность и выведать его мысли.

* * *

Нгиа раскрыл сверток с вареным рисом, отделил половину — для хозяина, — молча положил его долю на полку у очага и начал есть.

Покончив с едой, он уселся у огня и закурил сигарету. В доме по-прежнему царил молчание. Впрочем, так бывало нередко, когда он, едучи по делам, заглядывал переночевать в чей-нибудь дом. Но попадался ли знакомый хозяин или он видел его впервые, был тот немногословен или неразговорчив вовсе — все это были душевные, добрые люди, и Нгиа всегда держался с ними непринужденно и просто.

Затягиваясь сигаретой, он думал о своем. Всякий раз, когда

у него вот так, как сегодня, выдавался свободный час, он мысленно возвращался домой, в Футхо. Давно уже он уехал сюда, в Тэйбак. Отец его и мать умерли, сестры и братья жили каждый своей жизнью, и оттого мысли его о доме были расплывчаты и не связаны ни с кем в отдельности... Холмы, поросшие пальмами¹... Старые листья пальм — сине-зеленые, а молодая листва нежна, как шелк... Холмы, протягивающие навстречу лету белые цветы... В пору созревания ананасов от запаха плодов сладок даже солнечный свет. Но веселее всего уборка чая в начале весны. Колодцы у подножий холмов Футхо славятся своею водой, холодной и прозрачной. «Мутные воды, черные люди» реки Тхао²... Отчего вспоминается все это так явственно? И еще — друзья, сверстники, он помнит их всех до единого.

Старик взял длинную лучину и подошел к очагу. Небось надумал уйти из дома. Полыхавший в очаге огонь осветил их лица. Старик был невозмутим.

Куда он собрался с лучиной в такую ночь? Нгиа вдруг ощутил какую-то смутную тревогу. А ну как бандиты снова перешли сюда через границу и старик решил сообщить им о приходе Нгиа? Им ведь ничего не стоит убить человека — хотя бы ради винтовки. Нет, быть этого не может! Нгиа давно уже знал Финша вдоль и поперек: народ здесь верный и честный. А прихвостни уездного начальника Муа Шонг Ко, который уж год как бежали через границу в Лаос. Но куда же все-таки идет старик? Банды реакционеров иногда переходят здесь границу — староста Панг как раз говорил об этом. Они в лесу одни — он да старик.

— Далеко ли собрались, отец? — спросил Нгиа.

Хозяин взглянул на него, потом притушил слишком ярко вспыхнувшую лучину, уселся, прислонясь к выщербленному столбу, и молча начал плести сеть.

Хворост неярко тлел в очаге. Нгиа задремал, но сон его был тревожен: может, оттого, что он остерегался беды, а может, из-за блох — великое множество их одолевало Нгиа всю ночь. Внизу, в округе Иен, два раза в год все опыляют ДДТ, деревни стоят сплошь белые; зато уж потом ни единой блохи там не сыщешь — спи себе в свое удовольствие.

Первые летние ночи здесь, в горах, прохладны и ветрены — точь-в-точь как в октябре на равнине. А старик все сидел на подстилке из листьев, плел сеть да покуривал кальян. Едва за-

¹ Ко (ливистона) — разновидность пальмы с веерными листьями, их настилают на крыши, из них плетут шляпы, накидки.

² Тхао — название Красной реки в верхнем ее течении к северу от города Вьетчи.

тихלו посвистыванье кальяна, внизу, под домом, завопила лошадь, фыркнула и снова утихла. Тишина окутала лес, еще более плотная и непроницаемая, чем прежде.

Нгиа так и не смог уснуть. Он поднялся, сел поближе к огню и стал слушать, как кричат в ночном лесу косули. Эхо их голосов перелетало с горы на гору, и люди, слышав его, думали: косули идут, значит, близок рассвет.

Хозяин вдруг снова с присвистом затянулся из кальяна и обратился к гостю:

— Товарищ, послушайте...

«Наконец-то! — возликовал Нгиа. — Старик, видно, приглядывался ко мне. Молчал всю ночь, а вот ведь — заговорил все-таки...»

— Да, — отозвался он, — что вам угодно, почтеннейший?

— Известно ли вам, товарищ, почему крик лани предвещает путнику беду? Отчего это, ежели кто увидит диковинную птицу, он должен покинуть землю, расчищенную под пашню? За какую вину Небо прогневалось на людей са и обрекло нас на мученья и страх?

— Да нет, вы неправы. Все ваши страдания и муки — из-за проклятых тэй.

Старик помолчал, потом снова начал издалека:

— Слышал я, тому, кто с кальяном в руке повстречает на дороге тигра, вовсе не надо бежать, лучше протянуть зверю кальян. Тигр сделает четыре затяжки и заговорит человеческим голосом: «Пускай люди кинь подчинятся своему королю, а люди са — своему, только тогда кончатся все ваши беды». Правда ли это?

— Нет, неправда, почтеннейший. Кто наболтал вам подобный вздор?

А старик все говорил и говорил — словно сам с собою, — слова его, тусклые и невнятные, падали одно за другим, как жалобы или заклятья. И чудилось: из мрака, обступившего очаг, выходит на двух лапах тигр, на голове у него нон, в пасти кальян...

Нгиа глядел на старика во все глаза: но лицо его, словно вытесанное из камня, было невозмутимо.

— Мерзавца, нагородившего всю эту чепуху, — голос Нгиа звучал решительно и строго, — надо бы отправить в город да упрятать в тюрьму!..

Старик испуганно озирался.

— Что за реакционер, — Нгиа старался сдерживаться, — внушил вам, почтеннейший, подобные небылицы?

Но старик молчал, не поднимая головы.

Нгиа знал: старых людей — будь они мео, са или тхай — часто одолевают суеверия, они постоянно обретаются где-то меж миром живых и мертвых и принимают за чистую монету даже небылицы о восставших из могил мертвецах. Вот и хозяин его явно из духовидцев. Но Нгиа чувствовал: за словами старика кроется что-то иное. Только понять его, увы, было невозможно. Нгиа недоумевал. Все расспросы и уговоры оказались тщетны — старик не сказал больше ни слова.

Птицы тыкуи¹, всю ночь тревожно окликавшие друг дружку в лесной чаще, уселись на крышу дома; близился рассвет. Первые лучи солнца окрасили желтизной и багрянцем завесу тумана — сперва фиолетовую, потом синюю и, наконец, голубую; и сквозь эту призрачную голубизну засверкали на солнце гребни гор. Каменные склоны и серые скосы покрытых сухой травой холмов, уснувшие вчера в сумерках, пробудились ото сна и вздымались лазоревыми волнами до самого горизонта.

Небо наполнилось солнечным светом. Печали и смутные тревоги, тяготившие почью людей, таяли и исчезали.

Спускаясь по лесенке, Нгиа пощупал новую сеть, висевшую на перекладине, и крикнул весело и громко:

— Эй, почтеннейший! Угостите меня как-нибудь рыбкой. Договорились?.. Ну, всего вам наилучшего!

Он быстро собрался в дорогу. Старик что-то пробормотал на прощанье, потом встал, выдернул из расщелины в столбе нож и, подойдя к лесенке, уставился в спину гостю. Нгиа хлопотал возле коня — тот повредил копыто и неловко ступал теперь, осялаясь па камнях.

Старик воротился в дом, взял буйволоный рог и снова начал гадать. Затем уселся на помост и принялся трепать джут.

Душу его раздирали сомнения. Хорошо бы, конечно, расспросить обо всем партийца: есть ли и впрямь у народа са свой король? И где он, этот король? Был, правда, слух, будто жил он раньше в крепости у тэй, а нынче перебрался к американцам в Лаос... Но старику почему-то не очень хотелось спрашивать партийца об этом. Вернее, хотелось, да только робость и какой-то неясный страх замкнули ему уста. Но теперь, когда гость уехал, старик сожалел, что не поговорил с ним. Кто знает, нет ли у са и вправду своего короля? А может, король всемогущ и всеве-

¹ Тыкуи — небольшая черная птица; ведет ночной образ жизни. Самец и самка разлетаются далеко друг от друга и перекликаются в темноте, а с рассветом возвращаются в гнездо.

душ и это его, государева, воля пресекла опасный ночной разговор?.. Где уж одинокому старику во всем разобраться!..

Прошло немало времени, покуда он поднял голову и увидал рисовый колобок, оставленный ему гостем. Он опустил руку, державшую нож, и тяжело вздохнул. Да, жаль, не поговорил он с гостем. А теперь его уж и след простыл.

К полудню Нгиа добрался до Наданга.

Деревушка ютилась у водопада, прочертившего белые дуги от гребня обрыва чуть ли не к самым кровлям убогих хижин, которые торчали на скособоченных сваях. Вокруг лежало непросыхающее болото.

Вся деревня была в поле. Прополку еще не закончили. Трава и кукуруза вперегонки тянулись вверх и вымахали выше человеческого роста. На распаханной целине ничего пока не созрело, только нестерпимо-яркая зелень стлалась по земле.

С берега над тлевшими еще кострами поднимался дымок. Где-то в тумане брехали собаки. Но людей нигде не было видно. Наверно, все ушли копать клубни май.

Жена старосты Панга воротилась домой.

Корзина, висевшая у нее на боку, была полна доверху клубней кхоай ныок¹, покрытых длинными волокнами. Женщина то и дело отбрасывала волокна со лба, рассеченного синим шрамом, и рукой прикрывала от липких нитей голову мальчонки, привязанного у нее за спиной. Малыш — у него, вероятно, был жар — прижался лицом к ее спине, ножки его болтались, точно плети ботвы. Следом шагал мальчик постарше, он тоже тащил за спиной большую корзину с клубнями. Подойдя к порогу, женщина опустилась на колени, сняла корзину и взяла ребенка на руки. Мальчишка, не снимая тяжелой корзины, повалился прямо на порог.

— Где товарищ Панг? — спросил Нгиа.

— Не знаю, — негромко ответила женщина.

Нгиа дождался, покуда вернулся Панг. Был он в одной набедренной повязке, бледный, словно его вымочили в проточной воде. Он молча сбросил на землю висевшую за спиной тяжелую корзину с лесными бататами и зеленью для свиней и перевел дух, распрямив натруженную спину. С плеча у него свисала сеть. К вечеру все, где бы ни добывали они пропитание, возвращались домой.

¹ Кхоай ныок — водяное растение, растет у берегов озер и прудов; клубни и стебли идут на корм свиньям.

Увидав гостя, Панг засуетился, позабыв даже сбросить сеть.
— Нгиа, это вы? Так быстро собрались к нам!

Вечером уселись ужинать. Ели похлебку из клубней май с цветами банана. Панг в одной руке держал плошку с похлебкой, в другой — лучину, чтоб осветить поднос. Но лучина то и дело гасла, да и проку от тусклого мигающего ее света было мало.

— Вы разве не купили себе керосин? — спросил Нгиа.

— Купил.

— Отчего ж вам не засветить лампу?

Панг встал и вытащил из-за стола бамбуковый кувшин с керосином, обернутый сухим банановым листом — обычно так хранят мед. Он протянул кувшин гостю, чтобы тот почуял запах и убедился, что у старосты в доме и впрямь водится керосин.

Нгиа спиной ощутил, как сквозь щели в стене пробивается ветер.

— Может, у вас нету стекла для лампы? — спросил он у Панга.

Но тут и сам вспомнил, что даже в городском универмаге давно нет стекол. Ведь их везут сюда от самого Ханоя, в корзинах, связками, обернутыми соломой. Но при разгрузке в Йене хрупкие стекла лопаются и бьются; хорошо, если из сотни уцелеет десяток. А вот частники носят на продажу сюда, в горы, ламповые стекла на коромыслах, и ни единого не разобьют по дороге. А потом, хоть они и заламывают втридорога, волей-неволей все идут за стеклами к ним. И он — в который уж раз — подумал: «Надо бы поскорее открыть в Финша хороший магазин, чтоб был любой товар, на выбор».

И еще мелькнула мысль: «Может, Панг не зажигает лампу оттого, что керосин здесь великая ценность. Много ль его у них? А ведь раньше больных растирали керосином, как драгоценным бальзамом...»

Невдомек ему было, что на самом деле в Наданге не зажигают ламп оттого, что прошла молва, будто в керосине Правительства сидит злой дух. И даже Панг не решался пользоваться лампой. У него ведь болел ребенок... Нгиа и в голову не приходило, что Панг просто не осмелился сказать ему правду, боясь загубить малыша...

— Как соседи, вдоволь купили соли и керосина? — снова спросил Нгиа.

— Вдоволь, — ответил Панг.

Больной ребенок заплакал в углу. Панг с женой подошли к нему.

Нгиа спустился в подпол, притащил на плече охапку хвороста и подбросил веток в очаг. Старший мальчик, выронив пустую чашку из-под похлебки, крепко спал, пригревшись у очага.

Малыш вскоре утих.

— Что, народ сейчас очень занят? — спросил Нгиа.

— Да, вся деревня на прополке в поле.

— Ну а сумеем мы провести собрание?

Панг сперва заколебался, но потом, подумав, сказал:

— Ясное дело, созовем людей и проведем.

— Значит, соберемся завтра, — обрадовался Нгиа. — А я пока тут у вас осмотрюсь. Я ведь впервые в Наданге.

Они обсудили, как организовать собрание. Насущные дела и вопросы, о которых Нгиа думал всю дорогу, сейчас вдруг сложились в стройную систему, и он принялся излагать все по порядку. Нгиа почему-то очень волновался и ни разу не взглянул на Панга. А Панг молча слушал его, и на душе у него было тревожно. Наконец он встал, взял на руки больного малыша — тельце ребенка бессильно обмякло, — и Панг еще пуще встревожился.

Нгиа же весь сосредоточился на завтрашнем своем докладе. Едва приехав в Наданг, он сразу понял, как трудно живется здесь людям, да и самому старосте, видно, приходится нелегко. Верно говорил тогда Панг на совещании. Но у Нгиа был на все свой взгляд и своя метода. «Эти проблемы, — думал он, — лучше решать постепенно. Во-первых, дам знать Тхао Кхаю, он должен вылечить младшего сына Панга. В этом году, пожалуй, пора создать в Наданге бригаду трудовой взаимопомощи. Со временем бригады взаимопомощи перерастут везде в кооперативы. К концу года в Финша непременно откроется магазин. Жизнь пойдет на новый лад. Только всему свое время...» Нгиа верил: добрые дела, начатые Революцией ради счастья народа, придутся людям по душе. И он, преисполненный оптимизма, не замечал тревоги и смущения Панга.

Но Панг беспокоился не зря. Конечно, ему было понятно и близко все, о чем говорил Нгиа. Он и сам мечтал о новой счастливой жизни и не жалел сил, чтобы приблизить ее приход. Давно, еще в юности, Панг решил: «Раз я из Хуоика, мой долг идти за Революцией...» Вскоре после Освобождения председатель Тоа спустился в Наданг и объявил: «Теперь мы с вами — хозяева страны!» Многие тогда заколебались. Ходили упорные слухи, будто в Мыонглай¹, по ту сторону границы, тэй по-прежнему

¹ Мыонглай — населенный пункт, находящийся на территории Лаоса.

убивают людей. А многие слышали, как начальник форта, удирая за границу, пригрозил: «Знайте, я уйду ненадолго, мы скоро вернемся. И всех, кто примет сторону Вьетминя¹, вырежем — от мала до велика». Но Панга это не поколебало: раз Революции нужно, он стал старостой в Наданге.

Но он давно уже слышит, как земляки говорят:

— Живем под Правительством который год, а какая опа, новая власть, не ведаем. Кроме Панга, никого и в глаза не видели.

А кое-кто и побаивался:

— А ну как воротятся тэй, кто нас от них защитит?

Панг не сразу находил, что им ответить.

— Нет, видно, худо дело, скоро нам всем конец! — говорили люди.

Он бранил маловеров на чем свет стоит. Но когда у него самого заболел ребенок, пришел сосед и сказал:

— Вот видишь, ты пошел в старосты, оттого и дитя твое хворает.

Панг отругал его.

Но ребенка изводила жестокая хворь.

Иногда Панг и сам поддавался сомнениям. Слухи, они ведь как капли, что долбят камень. Вон поначалу соседи нарадоваться не могли на купленную соль и керосин; но через день-другой восторги поулеглись. Бог весть откуда пошла молва, будто в том керосине — злой дух. Тайные недруги угрожали односельчанам всякими бедами. Злые голоса — а они доходили, само собой, и до Панга — нашептывали: «А ну как заявятся американцы и пайдут у нас эту соль и керосин да притянут к ответу, ищи тогда Правительство, чтоб заступилось за нас...»

— Да ведь Правительство — это я, и ты, и он! Правительство — это парод! — кричал староста.

Но он был не мастак на объяснения и потому мечтал дознаться у кого-нибудь об этих мудреных делах. Да только кого расспросишь здесь, в Наданге, а до Финша, к председателю Тоа, как-никак больше дня ходу.

В тот вечер Панг созвал на собрание всех, кто жил близ устья Наданга. Люди, прежде никогда не встречавшие Нгиа,

¹ Вьетминь — сокращенное название Лиги борьбы за независимость Вьетнама; был создан в 1941 г. на базе патриотических организаций и партий, главной его силой была Компартия (пыне Партия трудящихся Вьетнама). Затем, в 1946 г., был создан более широкий патриотический фронт Льен-Вьет. Традиции их продолжает ныне Отечественный фронт Вьетнама, созданный в 1955 г.

спешили пожать ему руку. Ясное дело, когда человек спозаранку уходит на промысел и весь день остается один в мрачных лесных чащах, его одолевают сомнения и страхи. Но сегодня, сойдясь на собрание, люди впервые поверили в себя и в свои силы.

— Вы к нам по делу, товарищ Нгия? — спрашивали одни.

Другие радовались:

— Наконец-то и к нам опять заглянул партиец!

— Вот здорово! Товарищ Нгия пришел к нам, в Наданг!

— А говорили, что все вы ушли на равнину, заделались там большими начальниками и больше никогда не вернетесь в горы.

— Дурные люди болтают всякое, — улыбнулся Нгия. — Ну да хватит об этом...

Он начал свою беседу: говорил о строительстве новой жизни на Севере, о том, что в горных районах все вступают в бригады трудовой взаимопомощи и кооперативы, а это — первые шаги к социализму. И всем этим руководит Правительство. А на Юге, — говорил он, — народ борется против американских империалистов за освобождение родной земли... Теперь, — продолжал Нгия, — давайте поговорим о наших задачах. Что же нам с вами предстоит сделать?..

Перед Нгия сидело десятка два человек — вся деревня. Они молча внимательно слушали. У Нгия дрогнуло сердце — он вспомнил, как ел вчера вечером похлебку из май с цветами банана в доме у Панга. Разве забудешь, как староста одной рукой держал лучину, чтобы было светло, а другой черпал из котелка варево, наполняя плошки.

В войну парработники разъясняли: «Мы все должны бороться, чтоб отвоевать нашу землю». И люди верили им беззаветно, трудились и сражались с врагом. Теперь же, когда вся страпа свободна, народ ждет ответа на другие вопросы: «Какая нас ждет впереди работа? Какие планы у Правительства?»

«Священные идеалы, за которые мы воевали и приносили жертвы, — думал Нгия, — воплощены в жизнь, стали реальностью, зримой реальностью. Враг изгнан. И теперь Революция требует от каждого из нас — и от меня в том числе — насущных конкретных дел».

Немало прожив среди простых людей и провоевав бок о бок с ними почти всю войну, он хорошо понимал их запросы и чаянья и потому дал согласие, когда ему предложили снова вернуться в горы налаживать там торговлю.

Сколько здесь предстояло горячих дел! Он знал: работать в социалистической торговле — это совсем не то, что быть торго-

шом, умеющим лишь подсчитывать барыши да набивать мошну. Сейчас главная его цель — помочь людям объединиться, научить их работать сообща и вместе одолевать лишения и беды... Надо, чтобы люди не маялись, как Панг, освещавший вчера лучиной их скудный ужин... Чтобы в каждом доме появились хорошие лемехи и мотыги, чтобы люди навсегда осели на хорошей земле, объединились в кооперативы и зажили сытно и изобильно. Тогда они смогут помочь освободить и Юг...

— Что должны мы делать? Уважаемые соседи! Партия нас учит...

Он и сам увлекся, рисуя перед собравшимися, каким станет Финша в недалеком будущем...

* * *

Наутро Нгиа уходил из Надаंगा, и Панг пошел его проводить.

— Собрание прошло с пользой, правда, товарищ Панг? — спросил Нгиа. — Постарайтесь привести побольше народу в Финша, им полезно поработать на стройке.

— По-моему, всем понравилось. Одному только вроде собрание пришлось не по душе.

— Это кому же?

— А вы не заметили случаем старика, что сидел позади всех и помалкивал, не проронив ни словечка.

— Мало ли на свете молчаливых людей?

— Не в том дело. Просто этот молчун, Нгу его звать, водит дружбу с молодчиками из Лаоса.

— Это ваша задача, Панг, вы должны открыть ему, где правда, а где ложь.

Пангу о многом хотелось расспросить Нгиа, пока он еще здесь. А то ведь и оглянуться не успеешь — уедет. Люди небось теперь заходят к старосте со своими вопросами и недоумениями насчет бригад взаимопомощи, кооперативов и недобрых гостей из Лаоса. Да вот беда — он никак не мог вспомнить, о чем же именно должен был перво-наперво расспросить Нгиа.

Дойдя до реки, они остановились.

— Нгиа, — спросил наконец Панг, — а что Правительство далеко от нас или близко?

Нгиа, однако, понял все на свой лад, засмеялся и похлопал его по плечу:

— Наш уездный комитет, к примеру, — это Правительство, и деревенский староста — тоже Правительство, товарищ Панг!

Вот здорово! Ведь не раз в трудных спорах разгоряченный Панг и сам твердил односельчанам: «Правительство — это я и ты, и он, все мы — Правительство». И Нгия говорит то же самое — слово в слово! Конечно же, это обрадовало Панга, но другие вопросы... Вои их еще сколько!

А Нгия, довольный удачным своим ответом, продолжал улыбаться. И тут он вспомнил, что хотел узнать у Панга о старике, в доме которого провел ночь.

— Старик этот — шаман, — сказал Панг.

— Вот оно что! — воскликнул Нгия. — То-то он все толковал про духов да оборотней.

Услыхав о шамане и злых духах, Панг почувствовал, как сердце его опять сжал страх — он подумал о больном сынишке.

Но Нгия уже ушел.

Поднявшись до середины склона, он обернулся и увидел, что Панг все еще стоит внизу и глядит ему вслед.

Нгия был тронут этим молчаливым проявлением преданности.

Потом, отъехав подальше, он задумался о вчерашней беседе. Да, пока еще все его замыслы существуют лишь на словах. А он-то раз мечтался, считая проблемы Наданга решенными раз и навсегда... Впрочем, когда люди отсюда пойдут в Финша строить склад да поработают там вместе со всеми, это должно их приободрить.

Покидая деревушку, он вдруг почувствовал какую-то грусть — совсем как в войну, когда уходил с обжитой базы...

В полдень через Наданг прошли какие-то чужаки. Когда они исчезли, по деревне разнесся слух: «Государь мео вернулся и поднял бунт в Финша!..»

И Наданг, собравшийся было на стройку, вдруг затих. Все опять ушли в поле. Тщетно звал и уговаривал их Панг. Деревушка зарылась в густые дождевые тучи и умолкла — будто вымерла.

А Нгия возвращался в Финша. Весь день за вершины гор цеплялись темные набухшие влагой тучи, потом оседали, изливая один за другим глухо шумевшие дожди. Человек и конь то вымокали насквозь, то обсыхали, потом опять мокли и обсыхали снова. Едва дождь унимался — вспыхивало солнце и всадника с лошастью окутывали клубы пара, густого как дым. Но Нгия упрямо ехал вперед.

Он беспокоился: вот-вот начнутся ливни, нахлынет паводок, а запас соли для Финша на все это дождливое время так и ле-

жит в городе на складе, дожидаясь, когда за ним пришлют выючных лошадей. Надо срочно вывозить соль...

— Ну как, повидал Панга? — спросил председатель Тоа.

Нгиа рассказал ему про Наданг.

— Значит, этот мерзавец опять прячет у себя бандитов из Лаоса! — стал кипятиться Тоа. — Ведь я в прошлый раз выгнал его, выходит, опять вернулся? Придется снова спуститься туда и задать ему жару. Ну а старый шаман — человек безвредный. Живет себе одиноко в лесу. Он примерно раз в году ходит выжигать соду и заглядывает сюда, в Финша.

— Да нет, все в порядке, — сказал Нгиа, — вам, председатель, нет нужды спускаться туда. Вот придет народ из Наданга на стройку, тогда и поговорим с людьми, разъясним все как есть.

Оставалось еще одно дело. И Нгиа отправился к Тхао Кхаю — прямо домой.

— У старосты Панга, — сказал он, — болен сын: жесточайший понос и вдобавок еще лихорадка.

Для верности Нгиа даже сделал пометку в своем рабочем блокноте.

— Еду туда немедленно, — ответил Кхай.

Нгиа улыбнулся, видя такое усердие.

— Понятно. Как говорится, первое боевое крещение!

* * *

Тхао Кхай собирался в Наданг — к больному сыну старосты Панга, а заодно — сделать и еще кое-какие дела.

В городском отделе здравоохранения перед отъездом в Финша ему как раз поручили обследовать всю округу и объяснить населению пользу санитарии и гигиены, а он до сих пор еще не был в Наданге. И потом, надо было рассказать народу про строительство медпункта — первого в Тэйбаке.

А гигиена, лечение и профилактика болезней — все это здесь в новинку. В горах народ веками — из поколения в поколение — жил в страхе, трепеща перед шаманами, оборотнями и духами. Что ни год — едва начинали желтеть кукурузные листья, наступала пора печалей и скорби: люди болели и гибли во множестве.

Революция должна все изменить. Здесь будет свой медпункт. Кхай обойдет и обследует все деревушки — до последней, расскажет людям про медпункт, про санитарию и гигиену, научит предупреждать эпидемии. Он объявит войну болезням и суевериям.

Служба в армии, культура и наука, которую он усвоил, воспитали у Кхая новый подход к жизни — раздумчивый и осторожный, во всем он любил систему, вникал в каждую мелочь.

Кхай снял висевший на столбе кожаный ранец и проверил, не забыл ли он чего-нибудь: коробка с ампулами и шприцем, пузырек со спиртом, стетоскоп и прочие инструменты и лекарства для оказания первой помощи — все было на месте. Он переложил их поплотнее и поудобнее.

— Ты куда, сынок? — спросила Зианг Шуа.

— Да вот, иду в Наданг.

— Ой, сынок! — вскричала Зианг Шуа.

— В чем дело, мама?

— Ты, человек Правительства, и вдруг собрался в Наданг; уж не надумал ли ты примкнуть к королю?

— Я еду лечить больных.

— Люди говорят: там объявился белый олень, стало быть, государь са и мео воротился туда из Лаоса.

Кхай широко раскрыл глаза.

— Кто это вам сказал? Когда?..

Кто сказал? Она и сама не могла припомнить, от кого услышала об этом. Воскрешенье из мертвых, явление государя, бесовские козни, насылающие на человека хворь, тяготы и муки былых времен — обо всем этом любили потолковать старики. Загадочные истории свои они рассказывали, идучи в лес или на пашню — от перевала к перевалу, — чтоб забыть боль в ногах и усталость. А ее, Зианг Шуа, годы были как раз таковы, когда с особой охотой слушают рассказы про чертей да оборотней. Ясное дело, молодежь теперь, после Революции, ни о чем таком и знать не хочет. Но Зианг Шуа, сама натерпевшаяся из-за духов и бесов, отчасти верила этим историям, тревожилась и страшилась. Всякий раз, когда кто-нибудь из соседей нашептывал ей про возвращение короля да про нечистую силу, она — будто кто коснулся острием ее старых ран — замыкалась в себе и надолго умолкала.

Она не ответила сыну. Кто сказал ей об этом? Когда? Она и впрямь не упомнит, кто поведал ей, будто король воротился из Лаоса в Наданг.

— Нгиа недавно был там, — сказал Кхай, — и ничего подобного не заметил.

— Откуда партийцу об этом знать? — возразила Зианг Шуа. — Односельчане говорят только промеж себя. Ну, и нас, стариков, конечно, не опасаются. Они говорят, не надо, мол, нам от Правительства ни соли, ни керосина. У короля са и мео пол-

ным-полно керосина да соли, есть у него и самоход-автомобиль, и двенадцатиглавый самолет.

Видя, что мать снова заладила свое — про чудеса и духов, Кхай сказал твердо:

— Земляки из Наданга поднимались на днях сюда за керосином и солью. Так что вам, мама, нечего бояться.

Но Тхао Кхай ее не понял. Она, в общем, не очень-то испугалась. Просто Зианг Шуа любила сына и хотела с ним поделиться новостью, к тому же она была обеспокоена его уходом. Сейчас, сидя против него, глядя в его ясное, спокойное лицо, она ничего не боялась. Но таков уж стариковский прав — вечно они о чем-то тревожатся и волнуются. Сколько горя и бед выпало на долю Зианг Шуа! Но несчастья не сломили ее. Зианг Шуа дождалась Революции. И сказать по правде, вера ее в Революцию давно уже пересилила страх перед королем и чинами, а заодно и перед нечистой силой.

— Да я вовсе и не боюсь, — сказала Зианг Шуа, — ничего я не боюсь. Но когда ты уходишь, сынок, на душе у меня неспокойно.

В Надапге, случалось, пошаливали бандиты из Лаоса, добравшиеся и до Финша. Они убивали людей. И Зианг Шуа волновалась не зря.

Но Кхай словно не замечал ее волнения.

— Правительство научило меня лечить болезни. — Он хотел, чтоб мать поняла его. — И я не могу допустить, чтоб умирали люди. Ведь сынишка старосты Панга при смерти.

— У Панга болен мальчонка? — спросила она.

— Ага.

— Тогда собирайся поскорее, сынок, — сказала Зианг Шуа.

С той поры как Кхай воротился в Финша, матери и поговорить с ним толком не довелось. Дом что ни вечер был полон гостей. А днем девушки из соседних деревень — шли ли они за хворостом или на дальнюю пашню — непременно делали крюк, чтобы пройти мимо двери Зианг Шуа. Каждой хотелось словно бы пенароком заглянуть в дом пригожего парня, вернувшегося с военной службы.

Скачет ручей с камня на камень.

Чем же, о юноша, лакомилась твоя матушка,

Что ты уродился пригож лицом,
как серебряная монета?..

Зианг Шуа не могла нарадоваться на молодца-сына, приворожившего девушек со всей округи.

Кхай сказал еще несколько слов, чтоб успокоить мать, перебросил через плечо ремень винтовки, взял сбрую и вышел седлать коня. Зианг Шуа глядела ему вслед. Сердце ее тревожно сжалось, на глаза навернулись слезы.

Она мечтала: настанет день и Тхао Ниа тоже вернется домой. Он будет, подобно Кхаю, пригож лицом, словно серебряная монета. И девушки со всей округи, куда бы они ни шли, за хвостом ли или на дальнюю пашню, непременно сделают крюк и пройдут мимо ее дверей, чтобы взглянуть на него хоть краешком глаза.

Над Финша светила луна.

В начале лета по ночам, ярус за ярусом, громоздятся тучи и влажно-золотые полотнища лунного света ложатся на леса, на долины с чужедальними деревнями, на поля, распростерты по уступам гор.

Внизу все утопало в молчании. Казалось, на всей земле только и есть что селенье Финша, забравшееся высоко-высоко, к самому небу. Только свирель какого-то загулявшего парня переливалась в лунном мареве. Сверкающая луна повисла прямо над головой; казалось, протяни руку, и дотронешься до нее — точь-в-точь как в старинных сказках, что рассказывают старики.

Потом вдруг загудел самолет. Парни и девушки — сидя подле дверей, они играли на свирелях и распевали песни — видели, как самолет, словно огромный ворон, пролетел под луной.

Все сразу поняли: самолет этот американский. Люди уже давно наслышаны были про двенадцатиглавую крылатую машину, поэтому никто не испугался — самолеты здесь были не в диковину.

— Эй ты, пугало, — пошутил кто-то, — спустись-ка да присядь на минутку!

А старики, разбуженные гулом моторов, говорили:

— Вот он, враг-то, так и кружит над головой!

И долго еще беспокойно ворочались с боку на бок.

Потом самолет загудел снова. Он возвращался, черной тенью прорезая лунный свет.

Парни разбежались по домам, а там, накинув на себя что под руку попало, бросились бежать туда, где самолет вроде сделал круг.

Ранним утром всей деревней выходили в поле.

Ми услышала, как из тумана донесся чей-то голос, но самого человека не было видно. Да и слова его звучали певнятно. Ми побежала к меже — узнать, в чем дело.

Соседи пропалывали кукурузу. Листья на деревцах жен¹, поднявшихся вровень с кукурузой, уже начинали краснеть. На огуречных плетях распустились не ко времени ярко-желтые цветы. Последние тыквы, медно-красные с алыми пятнами, похожи были на дурные плоды эклон².

Кукуруза в этом году уродилась плохо. Хилые стебли ее совсем поникли. Во втором месяце года буря побила, а местами вырвала с корнем еще не окрепшие ростки: не успели листья разрастись как следует, проливные дожди прибили кукурузу к земле, и она так и не оправилась. Вот сорняки и заглушили ее. Каждая семья, не щадя сил, выпалывала траву и распахи-вала новые полянки под соевые бобы. Мео — народ бывалый, умеют глядеть вперед, земля у них никогда не пустует: кукуруза не уродилась — бобы выручат.

Вскоре Ми вернулась на поле и передала матери диковинную весть: прошлой ночью в деревне, что стоит за горой, поймали диверсанта, сейчас его ведут сюда, в Комитет.

— Диверсант, это кто такой? — спросила Зианг Шуа.

— Диверсант, — ответила Ми, — это враг. Он спрыгнул на парашюте ночью, когда прилетал самолет.

— А-а, верно, ночью и я слыхала шум. Выходит, он вроде как разбойник?

— Это янки, — сказала Ми, — засылают к нам диверсантов, чтоб все здесь разрушить.

— Та-ак, не перевелись, значит, еще разбойники и разрушители? Убить его — и делу конец!

Весть про диверсанта передавали из уст в уста, и сердца людей загорались гневом. Все двинулись к Комитету. Всадники скакали галопом, следом спешили запряженные быками повозки. Ребятишки подхлестывали быков, стараясь поспеть за лошадьми. Колокольцы на шеях у быков громко звенели, усиливая гомон и шум, огласивший горные пашни.

Комитет помещался в доме, где недавно продавали соль.

¹ Жен — невысокое дерево со съедобными плодами; его сажают на горных склонах, где трудно выращивать другие культуры.

² Эклон — дикое растение с ярко-красными плодами.

В одной комнате стоял стол из струганых досок и две длинные скамьи, в другой — расстелена циновка, чтоб дежурному или приезжающим по всяким делам было где переночевать. На стене висел календарь. Из его обложки был склеен незамысловатый «ящик» для писем и документов. В углу, где сходились две плетёные стены, наклеен был присланный недавно из Райотдела культуры большой плакат с изображением девушки в головной повязке и блузе, какие носят белые мео, и широкой юбке с цветастой каймой, как у красных мео. Деревенские жители утверждали: «Барышня эта ни капельки не похожа на наших девчат».

Вокруг Комитета собралась толпа. Опоздавшие, желая узнать, что происходит в доме, старались протолкаться вперед. Вдруг из толпы выбрался какой-то парень, бледный, ни кровинки в лице. Увидав поднимающуюся по тропе Зианг Шуа, он крикнул:

— Послушайте, Зианг Шуа, он говорит: «Я из семьи Тхао!»

— Кто?

— Да он же!.. Он!

— Неужто парашютист? — удивилась Ми.

А парень продолжал:

— Говорит: «Я из семьи Тхао!.. Так и сказал: «Я из семьи Тхао!..»

Наконец крикун убежал прочь.

Ми поддержала под руки мать, вдруг опустившуюся на камень у обочины.

«Кто это?.. Где он? Неужто вернулся Тхао Ниа, ставший после смерти тигром, Тхао Ниа, спасенный и воскрешенный людьми са близ речки Намгу? Но как же он обернулся парашютистом? Нет, не может быть... Или он умирал снова, еще раз? Тут не знаешь, что и подумать...»

Зианг Шуа подошла к дверям Комитета. Люди, столпившиеся возле дома, увидав ее, закричали:

— Зианг Шуа идет!

— Зианг Шуа!..

И расступились. Ми, все так же поддерживая мать, вошла с нею в дом.

На скамье сидели председатель Тоа и товарищ Нгиа. Лица их были серьезны и строги — совсем как у судей. Нгиа быстро взглянул на вошедших, но не улыбнулся им, как всегда. Взгляд его был суров, и Зианг Шуа, сама не зная почему, почувствовала, как сжалось сердце. Вспомнились ей черные дни, когда она с детьми, покинув деревню, бежала от людей в лес.

Перед председателем Тоа и Нгиа на земляном полу сидел какой-то человек. Он как две капли воды походил па тех солдат-парашютистов, что стояли когда-то в здешней крепости. Комбинезон его был раскрашен полосами и пятнами, словно незнакомец натянул на себя сброшенную удавом кожу. Волосы завивались, как ракушки, и кольцами закручивались возле ушей.

Рядом на полу стояли серые холщовые сумки и виселся белой грудой зыбучий шелк парашюта.

Сидевший на земле человек, услышав шум за своей спиной, обернулся.

— Это моя мать! — сказал он, увидев Зианг Шуа. — Мама!..

Судя по выговору, он из белых мео, отсюда, из Финша!

Теперь Зианг Шуа разглядела: поперек лба у мужчины шел старый шрам — след медвежьих когтей. Ну конечно же, это он, ее первепец, Тхао Ниа.

Но было в нем что-то чужое: пожалуй, не только эта дьявольская вражья одежда. Чужим был его взгляд, и глаза матери и сына, когда встретились, остались настороженными и холодными. Всякий раз, когда возвращался домой Тхао Кхай, стоило матери глянуть на него, сердце переполняла любовь к рожденному ею на свет сыпу. А этот... был ли сидевший на земле человек и впрямь ее сыном? При виде его Зианг Шуа ничего не ощутила в своем сердце и губы ее не раскрылись, не назвали сына по имени. Должно быть, когда он умер и стал тигром, душа другого, чужого человека вселилась в его тело.

И, глядя на него, мать заплакала. Вдруг сердце ее пронзила боль за другого Ниа, чей неприкаянный дух скитался столько лет, за того Ниа, что ушел когда-то из дома и не сыскал обратной дороги. И сейчас она скорбела по тому, другому, по своему сыпу. В злую ненастную ночь явился слуга начальника и забрал его в носильщики к богатому купцу Цину. Где он, где ее сын?.. Ниа!.. Ниа!..

Ми стояла молча. Она и вовсе не признала брата. Она видела перед собой лишь диверсанта, пойманного ополченцами. И не было у нее к этому человеку никаких родственных чувств. Она разглядывала холщовые сумки, цветом похожие на серо-зеленых ящериц, пятнистый костюм парашютиста, кучерявую голову и полное, одутловатое лицо чужого, нездешнего человека. Все пробуждало в ней мысли о чем-то злом и жестоком. Вот так же думала она о тиграх и змеях или о тэй — обо всем, против чего люди должны бороться сообща, сражаться с винтовками и грапатами в руках. Ми вспомнила, как они в годы войны рыли «волчьи ямы» — западни для тэй.

А Зианг Шуа все плакала. Диверсант снова сказал — громко, ни перед кем не таясь:

— Мама!.. — И, помедлив, спросил: — Мама, вы помните хижины в чаще леса, откуда ушел я в посыльщики к богатому купцу Цину?.. А ты, Ми, неужели не узнаешь своего брата? А я вот даже помню тот день, когда тайком водил тебя на ярмарку. А Кхай... Где Кхай? Его небось убил Вьетминь!

Диверсант — Зианг Шуа по-прежнему видела лишь мерзкую вражью личину — повел речь о братстве, о кровном родстве. Все, что было с ними когда-то, все мытарства и печали помнил он. Да и говорил он точь-в-точь как ее сын. И Зианг Шуа снова заплакала навзрыд. Ей пришла вдруг на память старая примета: ежели, повстречав человека, заплачешь, прежде чем расспросить его, как положено, — быть беде. Но она не могла удержать слез.

— Эй ты, — обратился к диверсанту председатель Тоа, — а ну-ка говори все без утайки: где был и что делал, после того как ушел из Финша с караваном Цина?

Тхао Ниа заговорил:

— Вот моя мать и моя сестра. Это — чистая правда. Угнали меня силой с караваном богатого купца Цина. Когда мы спустились к подножию, на караван напали разбойники: хозяева лошадей Тонг и Део сводили старые счета. Сам-то Цин на этом ничего не потерял. Ему шепнули заранее, что Тонг нападет на караван, чтоб перерезать Део глотку. Но я не мог уже вернуться домой. И пришлось мне тащить товар богатого купца дальше, в Лаос, а потом в Бирму. Круглый год я только и делал, что погонял лошадей. Цин торговал повсюду, где жили мео, — и в Лаосе, и в Бирме. Однажды он совсем уж надумал было вернуться в Финша, но услышал, что там вроде бунт, и раздумал. А я... меня занесло в такую даль, откуда самому мне не отыскать было дорогу домой. Вот и шел я волей-неволей за купцом Цинем. А через год — случилось это в Бирме, в горах, куда Цин поднялся за опиумом, — на караван напали бандиты. На этот раз они разграбили все дочи́ста и застрелили хозяина Цина.

* * *

Ниа не солгал, купец Цин действительно был убит бандой, промышлявшей одновременно и грабежом, и торговлей — везде богачи из-за денег готовы были перегрызть друг другу глотки.

Тхао Ниа стал погонщиком у нового господина. Только со сменой хозяев у него появилась новая «обязанность»: он теперь не просто погонял вьючных лошадей, но при случае занимался и разбоем. Хозяин его, человек бездушный и злой, торговал, а заодно грабил и убивал. За несколько лет они обошли леса и горы Бирмы и перебрались на север Сиам. В Сиаме их шайка была разбита и разогнана другой бандой.

Но Тхао Ниа уцелел. Он только снова сменил хозяина. Новый владелец тоже промышлял опиумом и грабил на большой дороге, но вдобавок он еще торговал людьми — поставлял рабочую силу на плантации, а также землевладельцам, поднимающим целину. И Тхао Ниа стал кули на каучуковой плантации.

Вскоре он вместе с хозяином плантации, выходцем из Англии, переехал в Корат¹. Американцы строили там большой аэродром. Люди из разных мест потянулись за легким заработком.

Англичанин, владелец плантации, открыл в Корате гостиницу. И Тхао Ниа стал работать у него в ресторане, крутил машину, сбивавшую мороженое.

* * *

— Я все время тосковал по дому, — продолжал Тхао Ниа, — и, куда б ни занесла меня судьба, всюду искал дорогу на родину. Случалось не раз мне в Лаосе слышать от людей, будто где-то поблизости, в горах, есть место под названием Финша². Но, добравшись туда, я видел, что, хоть там и в самом деле живут мео, все это чужие места.

Зианг Шуа слушала его и думала: правду ли говорит Ниа? Горькая судьба! Его застрелили вместе с купцом Ципом, и мертвое тело прибило течением в Намнгу. Он тосковал по дому и верил, будто ищет дорогу в Финша, на самом же деле тело его носилось в речке Намнгу.

— В прошлом году, — сказал Ниа, — я повстречал уездного начальника Муа Шонг Ко.

Зианг Шуа изумилась: «Ну и дела! Он по-прежнему нарекает злодея начальником!»

Люди зашумели:

— Смердящий козел он, а не начальник!

— Смердящий козел!..

¹ Корат — город в Таиланде.

² «Финша» на языке мео означает «ровное место».

В действительности Тхао Ниа кое-что опустил в своей истории. После Кората он пережил еще немало диковинных и страшных приключений.

Вот как все обстояло на самом деле:

Однажды хозяин-англичанин вызвал его и сказал:

— Ты больше не будешь взбивать мороженое для гостиницы. Я отпускаю тебя.— И добавил: — Я отдам тебя этому господину.

Незнакомый господин, стоявший перед Тхао Ниа, был в длинном черном одеянии, белокожий, с голубыми глазами и густой бородой — точь-в-точь как у хозяина-англичанина или как у француза, коменданта крепости в Финша.

Он спросил Тхао Ниа на чистейшем языке мео:

— Ты родился в Лайтяу?

— Я из Финша.

— Вот-вот, из Финша.

Как господин в черном проведаль, откуда он родом? Ниа подумал: «Может, он из тех французов, что стояли у нас в крепости, поэтому знает про Лайтяу и говорит по-нашему? А что, если меня сейчас схватят — ведь я одержим бесом?» Он очень испугался.

Новый хозяин доставил его в Удон¹, что возле границы с Лаосом. С этого дня Ниа больше не погонял лошадей и не крутил машину, взбивавшую мороженое. Он поступил в Духовную школу миссионеров. Там он узнал, что хозяин его священник.

Тхао Ниа случалось сопровождать святого отца, носившего американский военный мундир, за реку в гости к владельческому феодалу Бун У в Шамбатсак². Они курили там опий иногда чуть не по целому месяцу.

Тхао Ниа разгадал тайну, связавшую священника и Бун У: оба они торговали опиумом. Купец Цин был перед ним суций младенец! Опиум, полученный от Бун У, святой отец прятал в чемоданы и отправлял куда-то на самолете.

Не раз Тхао Ниа вместе со священником поднимался в горы, в Сиенгкхоанг. Там они встречались с полковником Ванг Пао, который тоже был из мео, полковник находился на службе у Соединенных Штатов, а в Сиенгкхоанг приезжал, чтобы сбыть святому отцу опий.

¹ Удон — город и река в Таиланде.

² Шамбатсак (вьетнамская транскрипция) — населенный пункт в Среднем Лаосе.

Здесь-то, в Сиенгкхоанге, в доме у полковника Ванг Пао, и встретился Ниа с бывшим уездным начальником Муа Шонг Ко. Но обо всем этом Ниа предпочел умолчать!

* * *

— Американцы,— продолжал Тхао Ниа,— сделали нашего уездного начальника там, в Лаосе, чуть ли не королем. Он каждый день ест мясо, и во всех комнатах у него горит электричество, живет он в роскошном доме, где комнаты поставлены одна на другую, и ездит в автомобиле.

Люди снова зашумели, с улицы тоже донеслись крики:

— Было время, и здесь, у нас, феодалы вместе с тэй жрали мясо да обкуривались опиум! ..

— И мучили народ!..

— Ты, видать, все позабыл, подлец!..

— Смердящий козел и тут набивал брюхо! А мы пухли с голоду!..

— Уездный начальник,— продолжал Тхао Ниа,— сулил, если буду служить ему верой и правдой, у меня только и будет дела, что есть да пить вволю. Он велел мне вернуться в Финша и подбивать людей перейти в Лаос, там, мол, все заживут в довольстве и счастье.

Какая-то старуха спросила с ехидцей:

— А вы-то сами как жили с матерью под прежним начальством? Тоже небось в довольстве и счастье?..

— Я уж попробовал, уходил однажды в Лаос с подонком Шонг Ко! — крикнул председатель Тоа.— Да только бросил его и вернулся назад. Меня он теперь туда не заманит! А тебя, видать, провести вокруг пальца — плевое дело!

Тхао Ниа покосился на председателя, хотел было возразить. Но только и смог пробормотать:

— Я... мне...

Тут председатель Тоа крикнул еще громче:

— А ну, рассказывай дальше о своих преступлениях!

— Американский летчик,— продолжал Тхао Ниа,— привез меня сюда на самолете.

* * *

Но дело обстояло далеко не так просто. Тхао Ниа намеренно умолчал о многом...

Вечером они прибыли на американский аэродром поблизости от Вьентьяна. Взлетная полоса только недавно была вымощена

бетоном. Восемь секретных агентов ожидали вылета на особое задание. Все они переоделись на складе в маскировочные комбинезоны парашютистов. Некоторые под комбинезон надели платье мео. Кое-кто даже нацепил на шею толстые серебряные обручи¹.

Священник из Удона, последний хозяин Ниа, тоже был здесь. Он окликнул каждого из восьмерых по имени, потом спросил:

— Нет ли у вас какой-нибудь просьбы, дети мои?

Никто не промолвил ни слова.

Святой отец обнял их на прощание. Но сердечный жест этот получился наигранным и холодным; казалось, прижимая их к груди, священник обыскивал каждого.

Они молча вышли на поле, где уже ждал их серый самолет «Дакота»² без опознавательных знаков. Он стоял в стороне от взлетной дорожки, которой пользовались рейсовые самолеты, и казалось, будто его нарочно откатили к ангарам, на ремонт.

До трапа их проводили три человека: священник, бывший уездный начальник Муа Шонг Ко и еще один американец.

Странный самолет пересек Верхний Лаос³ и углубился в воздушное пространство Вьетнама. Стояла светлая лунная ночь.

Тхао Ниа вспомнил, как напоследок, когда они уже поднимались в самолет, Муа Шонг Ко напомнил:

— Наверно, подонку Тоа сейчас там несладко! Скажи ему, я ничего не забыл!

* * *

И надо же, чтобы именно Тоа — председатель Тоа — встретил его одним из первых. Он с суровым видом сидел сейчас прямо напротив него. Не мудрено, что Ниа был растерян.

Кто-то из ополченцев сказал:

— Раз ты прилетел сюда на американском самолете, ты такой же враг, как и янки!

Зианг Шуа снова заплакала.

— Но я ведь не янки, — удивился Тхао Ниа, — правда, они дали мне с собой радио, автомат и костюм мео. И американские офицеры научили меня, как спускаться на парашюте в лес. Они

¹ Мео носят серебряные обручи на шее как украшение. Вес одного обруча иногда достигал 1 кг. Случалось, один человек надевал 7—8 обручей, что свидетельствовало о его богатстве.

² «Дакота» — винтомоторный транспортно-пассажирский самолет.

³ Верхний Лаос — северные области Лаоса, граничащие с ДРВ.

велели мне сразу переодеться в платье мео и идти в деревню, а там, кого бы я ни встретил, уговорить их переметнуться к уездному начальнику. А кто откажется, тому пригрозить. Мол, если не я пристрелю, так уездный начальник все одно потом голову снимет. Когда настанет время возвращаться в Лаос или понадобится сообщить что-нибудь американским начальникам, я должен включить передатчик и говорить вот сюда, офицеры по ту сторону границы услышат каждое мое слово. Ну а если господин уездный начальник сам пожелает мне что-нибудь сказать, я должен воткнуть эти штуки в уши и тогда услышу его голос. Могу даже вызвать двенадцатиглавый самолет.

Ниа встал, вынул из гнезда наушники, надел их и прислушался, будто и в самом деле ловил передачу. Потом, опустив наушники, поднял маленький ящичек — приемник. Он покрутил ручку настройки, и вдруг из ящика рванулся пронзительный воющий звук, словно там внутри выгибалась и скрежетала пила.

Довольный, Ниа засмеялся, видно совсем позабыв, что он в плену.

— Ну, как? Чудеса! Страшно небось?..

Председатель Тоа вскочил со скамьи. Он ни разу не видал такого приемника, но одно знал наверняка: все вещи диверсанта вышли из недобрых, вражеских рук, и этого было довольно, чтобы вызвать его гнев.

— Заткни ее, слышишь! Заткни! — в ярости крикнул он.

Но Тхао Ниа, запутавшись вконец, повел себя вдруг весьма независимо:

— А знаете, Муа Тоа, господину-то нашему, уездному начальнику, кузница там, за границей, теперь ни к чему, и лемехи он давно уж не продает.

— Ты, как тигр, угодил в западню и сам ищешь смерти! — Тоа задыхался от гнева, глаза его едва не вылезали из орбит. — Мое родовое имя — Ву! Запомни! Не желаю я зваться именем рода Муа¹ — подлой семьи ублюдка Шонг Ко! Я давно отрекся от имени Муа.

— Ваша правда, господин Тоа...

— Ты что, явился сманивать меня? Думаешь, я буду снова ковать лемехи этому гаду?

— Нет-нет... Вы ведь теперь сами большой начальник...

Тоа, скрипнув зубами, схватил винтовку.

¹ Когда-то у мео и других народностей было принято называть людей, отданных в услужение феодалам, родовым именем хозяина; их собственное имя предавалось забвению.

— Какой я тебе «начальник»? Я — председатель! Понял? Пред-се-да-тель!.. Если твоя машинка сейчас же не заткнется, прострелю ее к чертям!

Ниа торопливо выключил приемник.

А Тоа, положив винтовку поперек стола, сказал:

— Я запрещаю тебе называть Шонг Ко начальником. Ублюдок Шонг Ко — вот его имя. И давай закончим допрос поскорее. Зачем ублюдок Шонг Ко подослал тебя к нам?

Тхао Ниа уставился на председателя. То ли он оцепенел от страха при виде винтовки, то ли задумался о чем-то своем...

— Ну говори! — крикнул Тоа.

Ниа опомнился: ведь он же в плену! Он бросился на колени, побелев и дрожа от страха, и стал отбивать поклоны.

— Кланяюсь вам... господин начальник, — бормотал он. — Я... я сдаюсь... Правительству... С тех пор как ушел отсюда, я все блуждал да маялся... теперь вот... вернулся.

«Бедный Ниа!..» — подумала Зианг Шуа.

— Когда американские начальники, — продолжал Тхао Ниа, — послали меня сюда сманивать народ в Лаос, я очень обрадовался. Я сразу решил: не буду никого зазывать и сманивать, ни в кого не стану стрелять и никогда не вернусь к этим подлецам.

Зианг Шуа тяжело вздохнула.

— Янки, — сказал Ниа, — еще глупее смердящего козла: они сами отвезли меня на самолете домой, к моей матери.

Все расхохотались. Одна лишь Зианг Шуа плакала; слезы лились по ее лицу. «Бедный Ниа, — думала она, — он все время помнил о своей матери».

— Самолет сбросил меня прошлой ночью. Я просидел в лесу до рассвета. Я и не подумал надевать одежду мою, как велели американские начальники, прямо в чем был вышел на поле к людям. Но они, увидев меня, разбежались. Наконец дождался я партизан, они стали расспрашивать, кто я да откуда. Тут я и рассказал им, как янки забросили меня сюда и для чего. Я сам повел их туда, где было мое радио и оружие, и сам все им отдал... А потом попросил их отвести меня сюда к вам... Я сдаюсь, господа начальники... Сдаюсь в плен Правительству...

Все снова расхохотались. Смеялись беззлобно: ну, не потехали — взрослый детина, башка, как котел, а несет ахинею. В прежние времена его бы небось сочли одержимым.

— Да он еще, видать, не проспался, вот и мелет вздор! — говорили люди.

А Ниа по-прежнему ничего не мог понять.

— Я сам сдался вам, господин начальник, — заявил он. — Когда этот олух, партизан, явился в лес, он ведь меня не заметил, я сам его окликнул. Эй вы! Ну-ка подтвердите мои слова! Это я по своей собственной воле сдался в плен, а вовсе не вы меня поймали. Что, разве не так? Если вру, помереть мне на месте и обернуться тигром...

Сердце Зианг Шуа сжалось от страха.

А председатель Тоа, стараясь не дать воли гневу, с сочувственным видом сказал:

— Нам-то, соседи, ясно: раз человек столько лет служил империалистам, мозги у него набекрень. Где ему разобраться, кого величать господином, кого — мерзавцем. Вы уж с него не взыщите. Он ведь раскаялся и сам сдался в плен. Мы не должны его убивать... А ты, — обратился он к Ниа, — ты для нас пока диверсант! Диверсант, а вовсе не наш земляк Тхао Ниа. И обращаться с тобой будут, как с пленным, как с теми тэй, что наши солдаты взяли при штурме крепости. Ополченцы скоро отведут тебя вниз, в город. Там разберутся, велика ли твоя вина. Ежели невиновен — отпустят.

— Куда меня поведут?! — изумился Ниа. — Разве я не останусь дома?

— Пойдешь в город. Тебя допросят в Окружке.

— Но ведь я нарочно сдался вам здесь!

— Как же так? Снова его уводят? — воскликнула Зианг Шуа.

— Не бойтесь, — отозвался кто-то. — Хорошего человека за решетку не упрячут. Правительство во всем разберется; если за ним нет вины — вернется.

— Ты там не мудри, выложи все как есть! — посоветовали Ниа из толпы.

Но сам он молча слушал, как люди в толпе перебрасываются шутками:

— Одолжить бы разок его полосатую шкуру — да на охоту. Тигры небось за своего примут. Подходи к зверю, бери его голыми руками и тащи прямо сюда.

— А голова-то у него в завитушках, словно улитки обсели.

Вскоре привели лошадь, навьючили на нее сумки с передатчиком и приемником, автомат и множество прочего добра — вплоть до удочки с синтетической наживкой и торбы с рисом. Положили и костюм мео, небрежно скомканный и смятый. Палево-синий цвет его отличался от темно-синего, который носили в здешних краях. Сверху груз накрыли белым парашютом.

Ополченцы, конвоировавшие диверсанта, пробирались сквозь толпу под шутки и смех соседей. Всеобщее веселье пришло на смену напряженному молчанию.

Ниа шел спокойно, в сумбуре обуревавших его мыслей виделось ему то лицо состарившейся матери, то картины родного края... Но в невнятном его бормотанье слышалась прежняя путаница заученных слов...

Тхао Ниа спускался в город.

А в сердце Зианг Шуа жила сейчас одна лишь любовь к уходящему сыну. Столько лет ее первенец маялся на чужбине, вдали от родного дома, а не позабыл, какого он роду и племени. Не стал служить врагу и воротился домой, к ней, к матери. А она так и не сказала ему ни слова. Куда же теперь, куда он опять уходит? В душе ее любовь боролась со страхом.

Ми стояла молча. Давние страшные дни, пережитые в лесной глуши, оставили лишь неясный, туманный след в ее памяти. И в этом чужом человеке, одетом в мерзкий пятнистый комбинезон, пересыпающем свою речь оборотами и словами, какие не услышишь теперь от земляков и соседей, Ми не признавала родного брата.

Зианг Шуа глядела вслед уходящим.

— Выходит, Кхай так и не повидал брата.

— Но ведь председатель Тоа объяснил: он для нас пока диверсант, а вовсе не брат, — спокойно ответила Ми.

— Ему-то пришлось потяжелее, чем вам... Бедный Ниа!

VII

Кхай добрался наконец до Наданга.

Конь его резво шел по деревне, от цокота копыт по камням дрожали сгущавшиеся сумерки. Из домов доносился негромкий шум — люди осторожно подходили к дверям и украдкой выглядывали наружу.

Доехав до поворота, Кхай увидел, как небо вдруг потемнело, словно его заслонила крылом огромная летучая мышь. Но нет, это в ближнем доме погас свет. Кхай удивился: чего испугались люди? Почему они так поспешно гасят огонь в очагах?

Он припомнил рассказы матери. В старину, едва начинало смеркаться, люди тряслись от страха перед грабителями, которые так и валили в деревню, словно покупатели на ярмарку. Хозяева гасили огонь и, хотя холод пробирал их до костей, бежали прятаться в лес.

Кхай огляделся: кругом тишина и мрак.

Стрекотали запоздалые цикады, печальные голоса их отдавались в расщелинах. Где-то вдалеке бормотал ручей. Черные скалы дыбились посреди деревни, будто в дикой лесной чаще.

Кхай задумался. Сам он давно избавился от суеверий и страхов, одолевавших его когда-то в детстве. Теперь он считал себя солдатом, пришедшим освободить Наданг, и ощущал необыкновенный прилив сил.

Кхай огляделся снова и, заметив неподалеку мерцавший за стеной огонь очага, решил, что это и есть дом старосты Панга.

Он не ошибся. Панг с женой сидели, застыв недвижно, как изваяния. Услышав шаги на лестнице и увидав незнакомца, они даже не встали, лишь обратили ему навстречу печальные лица.

— Здравствуйте, товарищ Панг,— громко сказал Кхай,— я Тхао Кхай, фельдшер. Мне сказали, у вас болен ребенок. Где он, я должен его осмотреть.

Слова эти вывели Панга из оцепенения. Он раздул огонь и зажег лучину.

При свете ее Кхай разглядел хозяев дома и их сыновей — больного малыша и другого мальчика, постарше; все четверо теснились вокруг очага, поближе к огню.

В последние дни, когда сыну стало совсем худо, супруги Панг решили, что младшенький их не чувствует более привязанности к отцу и матери. Просто он не покидает их, пока не угас жаркий огонь очага. И теперь главной их заботой стало поддерживать это живительное пламя, они без конца подбрасывали в очаг припасенный заранее хворост.

Когда ребенка раздели, Кхай подумал сперва, что жизнь уже покинула это исхудавшее тельце с непомерно большой головой. Сероватый цвет кожи казался еще более темным из-за царившего вокруг полумрака, губы едва заметно шевелились. Старший мальчик спал головою к огню, сложив ладошки между колен, и тихо посапывал.

— Зажгите-ка лампу — распорядился Кхай.— И не волнуйтесь, пожалуйста!

Дом наполнился жизнью. Решительные жесты и громкий голос фельдшера словно придали сил Пангу. Пошарив рукой за столбом, он достал кувшин с керосином и лампу, казавшуюся голый без стекла. На этот раз он решился зажечь керосиновую лампу! Он сделал это, не задумываясь — ведь так велел Кхай. На конце фитиля заплясал яркий огонек, словно готовясь сразиться с окружающей тьмой. Лампа озарила весь дом, свет ее проникал даже за спину дальнего столба.

Яркий свет, бодрый и участливый голос Кхая, его «патрон-таш» (так Панг окрестил кожаный ранец с медицинскими принадлежностями) и винтовка — все эти диковинные вещи из далекого мира как бы вызвали к жизни хозяев дома. Жена Панга, прежде подавленная и безучастная, внимательно следила за Кхаем: держа лампу в руке, он подошел к больному ребенку. В глазах у нее затеплилась надежда.

Панг, словно только теперь увидав Кхая, спросил:

— Выходит, приехали, товарищ Тхао Кхай?

Кхай медленно обвел глазами дом. Взгляд его был сосредоточен и остр, как в те минуты перед приемом, когда он надевал свой белый халат. Прежде всего он перенес старшего мальчика в дальний угол и уложил его на циновку.

— Пускай лучше поспит здесь, — обернувшись, сказал он Пангу. — Не надо класть его рядом с больным.

Потом он достал стетоскоп и подошел к заболевшему ребенку. До сих пор Панг послушно и молча исполнял все указания Кхая, но, когда тот воткнул резиновые трубки в уши и положил руку на тельце ребенка, он произнес негромко:

— Товарищ... Тхао Кхай...

— Успокойтесь, пожалуйста, — сказал Кхай. — Я должен осмотреть мальчика, чтобы узнать, чем он болен.

За спиною Панга всхлипывала жена.

— Мне страшно, — сказал, набравшись духу, староста. Он весь дрожал, казалось, вот-вот заплачет.

Кхай, покосившись на приклеенный к плетеной перегородке бумажный листок и торчавшие рядом огарки благовонных палочек, усмехнулся:

— Шаман молится духам, а я лечу болезни. Кто поднимет больного на поги, тому и поверит народ. Зря вы волнуетесь, все будет хорошо.

— И все-таки страшно.

— Уж кому-кому, — улыбнулся Кхай, — а старосте не к лицу бояться шамана.

Он спокойно наклонился к ребенку, прослушал сердце и легкие, пощупал пульс.

Панг, не проронив больше ни слова, стоял рядом. Хозяйка притихла; она как будто бы пригляделась к лекарю и больше не боялась его.

Когда хворь у ребенка затянулась, соседи в один голос советовали: падо, мол, изгнать беса. Панг отказался наотрез: «Я служу Революции. Не допущу никаких заклинаний, и все тут!» Но как может Революция вылечить ребенка? А соседи все зу-

дели втихомолку: «Злой дух изводит сына твоего оттого, что ты пошел в старосты».

Наконец пришел к ним старик сосед и заявил напрямик Пангу:

— Как смеешь ты отнимать жизнь у одного из людей са! Ты служишь Правительству и не желаешь творить заклятья — твое дело. Тогда мы сами, всем миром позовем к нему шамана. И ты не посмеешь нам запретить...

Пришлось согласиться. Заклинали и раз, и два, но малыш чахнул и увядал, словно цветок мака, вырванный с корнем. Наверно, сыночек сам не хотел оставаться с отцом и матерью. А может, и впрямь он покидал их оттого, что Панг служил Революции?

Но вот в дом явился фельдшер — человек Революции. Даже не поняв еще толком, к чему сводятся приготовления Тхао Кхая, Панг ощутил, что с появлением фельдшера всем его сомнениям и горестям пришел конец. Оказывается, Революция может врачевать болезни! И вера укрепилась в его сердце. Отныне, как бы тяжело им ни приходилось, как бы ни мучила их нужда, в душе у людей са ничто не погасит веру. Да и не мудрено, ведь это они на своих челноках переправляли бойцов Революции через большие и малые реки в Тэйбак.

Кхай выдернул трубки стетоскопа из ушей.

— Ничего, все поправимо. Успели вовремя.

И он начал объяснять родителям:

— У вашего сына желудочное заболевание. Оно заразное. После долгого пописа тело его совсем обезвожено. Сам он, конечно, ничего объяснить не может, но, раз шевелит губами, значит, его мучит жажда.

Он поставил вскипятить воду. Скальпель, ножницы, шприц, щипцы блестели подле флакона с красной жидкостью, белела чистая вата.

Ребенок покорно выпил лекарство. Он совсем ослаб. Готовясь сделать укол, Кхай велел Пангу взять мальчонку на руки и придержать, чтоб он не шевелился. Панг поднял ребенка и отвернулся. Но малыш и так не в силах был шевельнуться. Он лишь чуть заметно вздрогнул, когда игла вошла в мышцу. Кхай ввел несколько ампул лекарства. Потом ребенок задремал на руках у отца, приоткрывая время от времени слипавшиеся веки.

Кхай велел укутать его потеплее.

Панг с женой, старательно исполняя распоряжения фельдшера, постепенно успокаивались.

Малыш лежал молча. Лекарства, по-видимому, начали уже оказывать свое действие. Тяжелое поначалу дыхание ребенка стало размеренней и легче.

Всю ночь снаружи доносился шелест дождя и журчанье воды. Молодой лекарь думал: «Вроде я ничего не упустил, все сделал правильно. Мальчик теперь выздоровеет, и народ уверует в медицину. Молва об этом разнесется далеко». Радостное волнение не давало ему заснуть. Он встал и подошел еще раз взглянуть на малыша.

Ребенок спал спокойно. Он не проснулся, даже когда совсем рассвело. Сложившиеся в улыбку губы его чуть изогнулись, они были уже не такие сухие и бледные, как раньше.

Вдруг малыш открыл глаза. Живые и блестящие, они забежали по сторонам. Мальчик будет жить!

— Ну, дело пошло на поправку,— сказал Тхао Кхай.— Надо только присматривать за ним, покуда болезнь совсем не отступит.

Панг поднял на него глаза и спросил:

— Значит, побудете у нас?

Кхай покосился на старосту.

— Да.

— Сегодня опять придет шаман,— снова заговорил Панг.— Вы не против?

— Шаман? Да нет, ничего.

— А бить вы его не будете?

— Нет-нет,— сказал Кхай,— я просто хочу поговорить с ним. Да и с вашими соседями тоже.

Потом он помолчал и спросил:

— А шаман непременно придет сегодня? Я постараюсь объяснить ему все про медицину и открыть глаза старику. Ведь и это тоже моя работа.

Собственно, он уже все обдумал заранее, еще когда добирался сюда. Надо сделать два дела: вылечить ребенка и растолковать всем про медпункт. В этом смысле разговор с шаманом как раз ему на руку. Кхай не сердился на шамана, он понимал: старики любят погрузиться, помечтать о встрече с умершими. В их представлении все слилось воедино: тот и этот свет. Надо все разъяснить.

Панг повеселел. Может, оттого, что Кхай пообещал не трогать шамана?

— Схожу-ка я нарежу травы,— вызвался он,— да покормлю коня.

— Ну а я пройду по деревне,— сказал Кхай.

Он заглянул в пяток домов. Но там не было ни души.

Злая молва заполонила деревню с той поры, как Нгиа ушел отсюда. Люди послушались Панга, который звал их в Финша покупать соль да керосин. Но, купив керосин и соль, они утрашились слухов, будто в припасах этих заключена нечистая сила. Когда Нгиа сказал: надо, мол, всем миром идти в Финша, потрудиться на строительстве склада, они согласились. Но кто-то опять распустил слух, будто в Финша мятеж и смута. Поначалу никто не принимал на веру недобрые эти вести. Но несправедная молва день за днем подтачивала спокойствие, как вода точит камень... И люди, то вновь обретая веру, то сомневаясь, не знали, как им быть. В одиночестве бродили они по реке, в одиночестве предавались раздумьям.

Вода в реке замутилась. Ливни, выпавшие в лесах этой ночью, нанесли в реку мусор, гнилые стволы и ветки. В паводок рыбы в реке становится меньше. Но и в паводок, и в сушь люди са не покидают реку-кормилицу.

Тхао Кхай тоже пришел к реке, однако и там он не встретил ни души. Хотя и лежавший на берегу продранный сачок, недавно вынутый из воды, и пиявки на стволе дерева, что, почуяв человека, выгнулись, изговываясь к прыжку на берег, и брошенная под кустом плетеная ловушка для раков, и корзина, где шумно трепыхалась рыба, и оставленный на камне бамбуковый кальян, над которым еще вился дымок, — все говорило о том, что люди еще минуту назад были здесь. Наверно, они спрятались в лесу.

Жители деревни сторопились пришельца. Они поклонялись духам (Кхай вспомнил свой недавний разговор с матерью) и страшились, как бы общение с чужаком не лишило их заклинания чудодейственной силы. Да, понять их мудрено...

«Что ж, — подумал он. — Вернусь, спрошу Панга...»

Дойдя до околицы, Кхай услышал прерывистые — то высокие, то низкие — звуки колокольца. У мео и са вошло в обычай сопровождать заклинания колокольным звоном, наливая чарку за чаркой, покуда все не упьются вконец и не начнут кричать и плясать до упаду.

«Нет, — думал Кхай, — с этим больше нельзя мириться!.. Нельзя...»

Тхао Кхай вырос в военные годы. Он, как и многие его сверстники, жившие в партизанском крае, не верил в духов: они пахали землю, работали связными, были солдатами и считали смехотворным невежеством заклятия и молитвы, в которые верили люди постарше. Там, в партизанском крае, где народ вое-

вал с врагом и тяжким трудом добывал себе пропитание, почти все и думать забыли про заклинанья, про колокольцы да хмельные песни. Впрочем, когда Кхай жил еще вместе с матерью в лесу, он не помнил, чтобы она молилась. Знанг Шуа, претерпевшая столько зла из-за веры в печистую силу, отвергла заклятия. Она не желала творить обрядов, которые лишней раз напоминали бы ей о ее горе.

В ту пору Кхай был совсем еще мал и, заслышав долетавшие из дальней деревни перезвон колокольцев, крики и топот — дробный и гулкий, — думал: «Люди начальника гонят куда-то скот». Но Ниа говорил ему: «Нет, это просто в деревне молятся духам». Братья спорили и препирались. Но мать, когда они просили рассудить их, молчала. И Кхай стоял на своем: быков, мол, это гонят — и все тут. Оно и понятно: ведь с утра до вечера братья только и видели что быков, бродивших по склонам, да слышали звон колокольцев, висевших на бычьих шеях. Где уж им было отличить по слуху — быки ль то бегут или молятся люди? Да Кхай и понятия не имел, что такое молитвы, и считал их чем-то вроде выпаса быков...

Дом Панга покосился набок, сваи покосились и легли одна на другую, готовые рухнуть.

Кхай торопливо поднялся по лесенке.

Народу набилось видимо-невидимо. Какой дорогой добрались сюда люди, через деревню ли или прямо с реки? Для чего они собрались здесь? И почему он по пути не встретил ни души?

Творилось великое заклинанье.

Кхаю было невдомек, что люди пришли не только ради таинства — им любопытно было взглянуть и на него, на лекаря, спустившегося из самого Финша, чтобы врачевать, а не заклинять болезни. И хоть никто не обмолвился с ним и словечком и не осмелился ночью заглянуть в дом старосты Панга, всей деревне известен был каждый шаг Тхао Кхая.

Люди, сидевшие у входа, обернулись и с опаской глядели на поднимавшегося по ступеням Кхая.

— Здравствуйте, земляки! — громко сказал он.

Никто не встал. Ни один не нарушил молчания. Все только переглянулись, словно спрашивая, как им быть. И снова застыли.

Шаман даже не шелохнулся, он сидел посередине, скрестив ноги, суровый и строгий. Отсутствующий взгляд, в руке звенит колоколец. Он лишь искоса, совсем незаметно бросил взгляд на чужака и тотчас снова сощурил веки. И загремел колокольцем громче прежнего.

Кхай, не проронив больше ни слова, протиснулся за спинами сидевших на полу людей к больному ребенку. Он наклонился, глянул на циферблат своих часов и осмотрелся по сторонам. А потом весь сосредоточился на больном. Он уже не замечал застывших вокруг него в молчании людей. Снял с плеча ранец и, не торопясь, достал стетоскоп.

Множество глаз, только что следивших за шаманом, теперь были устремлены на Кхая и с любопытством, все более явственным, подмечали каждый его жест, каждое движение лица.

Старый шаман продолжал творить обряд. Но когда люди перестали обращать на него внимание, колоколец в его руке зазвучал прерывисто и неуверенно. Рука старика сбилась с привычного лада — ведь и он тоже исподтишка следил за фельдшером, хотя и старался скрыть это, пряча глаза под нависшими белыми бровями.

Кхай чувствовал на себе эти взгляды и старался держаться непринужденно. Пощупав пульс и выслушав больного, он опустил стетоскоп, повернулся и сказал громко, чтоб слышали все:

— Ну, товарищ Панг, ему гораздо лучше. Скоро мальчик будет совсем здоров!

Он достал котелок, пузырек с красным лекарством, блестящую коробку с иглами и шприцами и разложил все это на аккуратно расстеленном куске брезента. Потом вскипятил воду и тщательно осмотрел инструменты...

Кхай решил сперва сделать укол ребенку, а уж потом поговорить с народом. Пускай сперва увидят его в деле, тогда будет легче растолковать им, что такое медицина.

Вдруг шаман опустил на пол свой колоколец. Звон оборвался. Он встал и, ковыляя, приблизился к Кхаю:

— А-а... Кадровый работник! Знаю, как же... Отродье Зианг Шуа, одержимой бесом... Ну, коли «товарищ» явился сюда со своими бесовскими снадобьями, мои заклинанья ни к чему.

Давно не слышал Тхао Кхай этих слов: «Зианг Шуа, одержимая бесом...»

— Бесы?.. Нечистая сила, говорите?.. Всю эту вашу дребедень давно пора выбросить в реку! — сказал он и рассмеялся.

Старый шаман отвернулся, подобрал колоколец, рассовал погремушки по карманам и, не торопясь, молча сошел по ступеням в дождь.

Ливень тотчас насквозь промочил головную повязку старика. Выцветшая драная одежда его распахнулась, обнажив тощие, лоснящиеся от влаги плечи. Старик обогнул скалу и вскоре скрылся из глаз за плотной пеленой дождя.

Люди зашумели, повставали со своих мест. Если шаман прерывал заклятье — быть беде. Дети, увидев, как матери тревожно озираются по сторонам, попрятались за их юбки и заревели.

— Ребята, полно вам, замолчите, — спокойно сказал Кхай. — Присядьте-ка лучше... И вы, соседки, усаживайтесь поудобнее. Мы ведь одна семья — мео и са. Правительство прислало меня к вам рассказать про науку о здоровье и вылечить больных.

Молодки и старухи, успокоенные, снова уселись на пол. Иные принялись горстями класть на уголья земляные орехи и печь в очаге бататы для ребятишек. С того дня как по деревне разпелся слух про бунт, якобы вспыхнувший в Финша, многие попрятались в лесных шалашах и до сей поры не вернулись. Одни женщины да старики воротились разведать, что да как.

Когда шаман ушел в проливной дождь, старики вначале испугались. Но, видя, как Кхай смеется и болтает с ними как ни в чем не бывало, а главное, узнав, что он сам из здешних краев и прежде был в партизанском крае, все утихомирились; никто и не помышлял больше бежать следом за старым шаманом.

— Вот младшенький мой получил лекарство от Правительства и исцелился, — похвастал Панг.

Малыш и вправду успокоился и повеселел. Он уже улыбался. Каждой матери известно: это верный признак выздоровления, и лица у всех прояснились.

Кхай решил приглядеться к людям: как отнеслись они к его лечению? И увидел, что глаза их ожили и засветились.

Немного погодя он спросил:

— Почему никто из вас не пришел в Финша строить дом для медпункта?

Какая-то старуха сказала чуть не плача:

— Да ведь нам сказали, будто там у вас бунт!

— А разве государь наш не объявился в Финша? — спросила другая.

Но тут в разговор вмешалась разбитная молодка:

— Даже начальнику тэй не под силу вернуться сюда и поставить новую крепость... Где уж там вашему государю!

Кхай поднял руку:

— Не объявлялись у нас ни этот голь-король, ни тэй, и бунта не было никакого!

Все переглянулись. И тут одну из женщин вдруг осенило:

— Послушайте, ведь товарищ приехал оттуда!.. Выходит, бунта и в самом деле не было!

— Верно, я только что из Финша, — улыбнулся Кхай. — Полно вам, земляки, слушать всякие враки!

— Все эти бандиты из Лаоса мутят воду!

Кхай кивнул.

— Товарищ Панг передает вам слово Правительства. Хотите знать правду — слушайте Панга, — сказал он.

Женщины — и молодки, и старухи — каждая, стараясь вставить словечко, спросить о чем-то своем, заговорили наперебой:

— Так и есть!

— Язык бы отхватить этим болтунам!

— Товарищ Кхай, а товарищ Кхай!.. Они говорят: «Революция больше сюда не придет, она бросила людей са на произвол судьбы».

— Нет, неверно это!

— Да они кругом изолгались! — заявила старуха, толковавшая прежде про бунт в Финша.

— Пусть только подвернутся под руку, язык вырвать — и делу конец!

— Вы лучше слушайте правдивых людей, — сказал Кхай, — таких, как председатель Тоа или Панг. И приходите строить соляной склад и магазин, ведь все это делается для нас с вами. И медпункт строят тоже для народа. Дело-то у всех общее!

— Да мы хоть сейчас!

— Завтра общинное собрание, — напомнил Панг.

— Вот-вот, а после собрания всем миром и подадимся в Финша!

Все должны слушать Панга — так сказал Тхао Кхай. А Пангу, когда он глядел на Кхая, чудилось, будто в Тхао Кхае воплотилась вся сила Правительства, будто это само Правительство пришло к ним в деревню. Правда, Панг поначалу встревожился: угораздило же его пригласить шамана! Но теперь всем волнениям конец, он признает одного Тхао Кхая. Раньше, когда Пангу хотелось поделиться своими сомнениями и тревогами с председателем Тоа или с товарищем Нгия, что-то удерживало его да и не всегда находил он слова. А вот с Кхаем он чувствовал себя по-другому. Слушая его, он ощущал в себе какую-то новую силу, голос Кхая словно поднимал его над землей и уносил куда-то вдаль.

— Товарищ Тхао Кхай! — негромко сказал Панг.

Сердце его переполняли горячая любовь и вера.

* * *

Дождь кончился. Вышло солнце, и лучи его, переливаясь, разглаживали длинные и острые кукурузные листья.

Пара сине-зеленых попугаев, весело вереща, пронеслась по небу и опустилась где-то у покосившихся замшелых ворот, прикрывавших нижние ступени лестницы.

Кхай возвращался в Финша. Внезапно он почувствовал, как его волной захлестнула радость, и, сорвав с плеча винтовку, он выстрелил вверх, прямо в зеленую листву над головой.

Грохот прокатился вдаль, эхом отражаясь от скал. Кхаю вдруг показалось, что он на марше со своей ротой. А впрочем, он ведь сейчас и впрямь в походе.

Протяжный гул выстрела докатился по реке до Наданга. Все удивленно повернулись в ту сторону.

— Кто там стрелял?

— Этого гада Нгу не видать уж который день... А ну как он привел сюда разбойников из Лаоса?

— Нет,— спокойно и уверенно ответил соседям Панг.— Это винтовка товарища Кхая.

VIII

Едва рассвело, председатель Тоа отправился в Комитет. Нынче утром — такой был уговор — народ из окрестных деревень сойдется сюда строить медпункт и склад.

У него не шел из ума доклад Тхао Кхая на вчерашнем партсобрании. Значит, снова ползут лживые слухи из Лаоса. Этот подонок Нгу со своими молодчиками опять запугивает людей. Услыхав про трудности, с которыми столкнулся староста Панг, председатель не мог уснуть всю ночь.

И сейчас, завидя Кхая, он сказал:

— Опять эти сволочи повадились к нам из Лаоса сеять смуту! Уж я-то хлебнул там горя. Если кому охота послушать про «расчудесную жизнь» за границей, могу рассказать...

И тихо пробормотал:

— Небось он! Снова он? Черт подери!...

Ворча что-то себе под нос, он прошел в дверь.

Собирались люди из ближних деревень. Тоа присел у очага и протянул к огню руки — крупные, жилистые руки кузнеца, все в мозолях и ссадинах, похожие на комель бамбука. На левой руке не хватало двух пальцев.

— Знаешь,— повернулся он к Нгиа,— многие думают, будто это тэй обкарнали мне пальцы...

И впрямь земляки, особенно те, что помоложе, вроде Кхая, считали, что председатель был ранен в бою. Впрочем, кое-кто думал, что председатель саданул невзначай топором себе по руке, когда рубил дрова. Самого Тоа никто об этом не спрашивал.

Растопырив пальцы, Тоа поднял левую руку и покачал головой.

— Нет, было все по-другому. Черное было дело... Я тэй отродясь и в глаза-то не видел. Они ведь больше прятались по своим норам. А этот подонок, что всю жизнь просидел на пашей шее, остался и продолжал калечить людей...

Кхай весь обратился в слух. Он рано потерял отца и даже в лицо его не помнил. «Кто знает,— подумал Кхай,— не был ли мой отец похож на председателя Тоа. Может, и он вот так же потерял пальцы и так же страдал и ненавидел». Кхай слушал, боясь упустить хоть слово...

* * *

Было это давным-давно. Тоа, едва он подрос, узнал, что вся их семья и вся деревня до единого человека — в услужении у начальника. Говорили, будто их отдали ему в собственность — в наказание за то, что здешние старцы посмели восстать против тэй. Стариков этих, само собой, бросили в тюрьму. А все, кого не упрятали за решетку, до конца дней должны были служить в начальничьем доме, все равно что в рабстве — и дети, и внуки их, и правнуки.

Деревня поставляла начальнику умельцев и слуг. Они исполняли всю работу в его доме: шили, красили, расшивали одежду, варили сахар, делали бумагу, отливали шейные обручи и сережки. Мужчины поздоровее таскали паланкин господина начальника, запасали хворост, пахали землю, собирали урожай, ходили на охоту, выколачивали для начальника рыночные налоги, выжигали уголь, работали на кухне, пасли лошадей и скот...

Семью Тоа еще при его отце начальник заставил смепить имя их рода Ву на свое родовое имя Муа, чтоб уж навеки закрепить их за своим домом. Он перевез их ближе к поместью и определил в кузнецы — мастерить лемехи для плугов.

Тоа сызмальства учился у отца ремеслу, с той поры еще, когда голопузым мальчонкой принаравливался к тяжу кузнечных мехов. Сперва он жег уголь для горна, раздувал мехи, потом, как подрос, носил вместе со взрослыми белый камень с горы Финхо и помогал отцу готовить изложницы для литья. Добрый десяток лет простояв у горна да протаскав формовочный камень,

перешел он к ковке. Для начала ему доверили ножи и мотыги. Так уж принято было: сперва освой дело, которое полегче, а там приноси жертвы духам — проси дозволения выучиться литью да ковке лемехов. И здесь он начал с малого: заливал металл в изложницы, потом разбивал их, стучал по железу, очищая его от окалины, и тащил охлаждать раскаленные докрасна заготовки.

Вот так и передавалось в роду Ву, от отца к сыну, кузнечное ремесло.

Когда ему перевалило за тридцать, Шоа Тоа умел готовить литейные формы не хуже первейших мастеров. Лемехи, выходявшие из них, радовали глаз — широкие, надежные, без изъянов и раковин, гладкие, как кукурузный корж, и острые, с двумя крепкими поперечными крыльями, подрезавшими при пахоте стерню.

Слух о кузнице, открытой уездным начальником, обошел всю округу. Люди горой складывали у его дверей птицу и белое серебро, падали перед начальником на колени, прося дозволения приобрести ножи и плуги. Шоа Тоа выходил припять благовонные палочки и, вернувшись назад, в кузницу, возжигал их подле литейных форм, чтобы поклониться духам вместе с угольщиками, воздуходувами, молотобойцами и формовщиками. На том все и кончалось. Никому из мастеров не довелось отведать курятины с клейким рисом¹, и никто из них в глаза не видывал доставленного покупателями белого серебра.

В положенный срок Тоа женился, и родилась у него дочь Кхуа Ли. Она и сейчас с ним...

Однажды, в веселый праздник Тет, отправился он на пирушку к друзьям, что жили в деревне, по ту сторону горы, да, видно, хватил лишку и захмелел. Помнил вроде, как уходил к себе домой, а проснулся поутру в подземелье, в темнице. Там всегда хватало заключенных, провинившихся перед начальником.

Каждому узнику туго перевязывали веревкой два сустава на пальце. Со временем палец немел и отваливался. Тогда приходил стражник и перевязывал другой палец. Отпадал этот — перетягивали следующий... Это делалось с умыслом: чтобы близкие, жалея сородича, не медлили с выкупом и спешили поднести начальнику опий и деньги. Запоздает выкуп — и человек останется без единого перста. Одних заточили сюда за неуплату дол-

¹ Клейкий рис — сорт риса, зерна которого содержат клейкий сок; он ценится выше обычного, часто употребляется для приготовления пирогов.

га, других — за буйство и драку, но оставались в темнице подолгу лишь те, кто не догадался сразу подмазать кого следует. Узников набивалось в тюрьму — не продохнуть, и, случалось, пачальник повелевал застрелить одного-двоих, дабы число их поубавилось. По таким черным дням изо всех деревень сбегались сюда люди, трепеща и заливаясь слезами, несли опий и белое серебро, без счета, к начальничьей двери.

Шоа Тоа томился в темнице, так и не зная своей вины. Поговаривали, будто он учинил драку с кровопролитием. Он старался вспомнить, как было дело, да только забыл напрочь, за что бился и с кем: хмель все затуманил и спутал! Оставалось каяться. Коль угодил сюда, значит, виновен.

Впрочем, думай не думай, ему все равно бы не догадаться, откуда пришла беда.

А причиной всему была красота его жены. Вот сыновья пачальника и решили ее похитить. И стало быть, даже если б кузнец, возвращавшийся домой хмельным, никого и пальцем не тронул, все равно угодил бы в темницу и томился бы там, дожидаясь казни.

Каждый день жена приносила ему еду и плакала возле тюремной двери: горько ей было оттого, что из-за нее муж припал такую муку. А он, ни о чем не ведая, утешал ее.

— Я ведь из дома самого начальника, — говорил он ей. — Никто не посмеет меня тронуть!

И она, слушая эти слова, терзалась и плакала пуще прежнего, не смея открыть ему правду.

— Я ведь у начальника первейший кузнец, — твердил Тоа, — на меня никто руки не поднимет!

Но вот явился стражник с веревкой перевязать и ему палец.

— Как смеешь ты портить руку мне, мастеру, отливающему плуги для пачальника?! — спросил Тоа.

— Начальник велел.

— Да ведь ты, поди, и сам работаешь в поле, и тебе потребны мои плуги. Пожалей мою руку, как же я буду отливать для вас лемехи? Ладно, вяжи, но только левую да, гляди, начни с мизинца!

Стражник, жалея мастера, так и сделал.

Мизинец омертвел и отвалился, а начальник все не звал для дознания лучшего своего кузнеца.

Вскоре жена перестала носить еду.

Кто-то сказал ему: «Жена твоя съела дурные листья и померла!» А когда он спросил, почему она это сделала, человек ответил: «Ей надоело жить среди людей, и она умерла!»

Потом снова пришел стражник, кузнецу перевязали еще один палец на левой руке, и он тоже отпал.

Вконец обессилев от голода, Тоа совсем уже приготовился было последовать за женой, но тут его вдруг отпустили... Начальник даже милостиво освободил его от «очищения двери»¹. Вскоре рука у кузнеца зажила и он снова взялся за старое ремесло: дробил камень, лепил формы и заливал в них металл на господской кузнице.

Пришла Революция, солдаты освободили весь округ Финша. Уездный начальник и его семья вместе со стражниками, слугами и мастеровыми бежали за грапицу.

Да только Тоа недолго там прожил и вскоре тайком ушел из Лаоса вместе с дочерью и возвратился домой.

— Так-то, товарищ Нгиа! — Председатель поднял левую руку, на которой недоставало двух пальцев.

Кхаю рука эта показалась теперь чем-то чудовищным, не укладывавшимся в сознании — вроде человека, что, стоя на солнце, не отбрасывает тени.

— Да-а, товарищ Нгиа, — помолчав, продолжал председатель, — не был я тогда, конечно, ни глух, ни слеп! Я знал, что им полюбилась моя жена. Знал, но не смел никому открыться. И она, жалея меня, не сказала о том ни слова. Потому и решила принять смерть. Мог ли я оставаться с ее убийцами?! Ведь жребий мео теперь уже не сходен с дорогой, упершейся вдруг с разбегу в отвесный обрыв или с кукурузным зерном, упавшим в расщелину между камнями. Правительство разорвало наши путы и вывело нас на правильный путь...

Искалеченные пальцы его дрогнули. Парни, сидевшие рядом с председателем, глядели на его руку, не отрываясь, словно видели воочию каждый отпавший сустав и живую, излившуюся из них кровь.

А может, все это просто почудилось Кхаю... Он знал: вот так же, как Шоа Тоа, мучились и страдали и его собственный отец, и дед, и прадед — весь народ мео...

— И теперь эта мразь опять тянет сюда свои лапы? Опять он?! — Председатель никак не мог успокоиться. — Если кому в Наданге придется по душе брехня, что заносят сюда молодчики из Лаоса, пусть заглянет ко мне! Я ему открою глаза. Все расскажу, как есть, про это злое дело...

¹ По обычаю мео, человек, приходя к начальнику с просьбой, должен был поднести дары или деньги; это называлось «очищением двери». — *Прим. автора.*

Тут подоспел и староста Панг с односельчапами.

— Какое такое дело, а, председатель? — спросил Панг.

— О-о, староста Панг! — обрадовался Тоа.

И снова начал рассказ:

— Черное было дело...

* * *

Бывало, и раньше люди спускались на заработки в Иен, где сейчас строили дорогу. Но многих отпугивали звенящие удары ломов и кирок и тяжкий громовой гул взрывов, рушивших скалы. Да вдобавок еще злоумышленники распускали черные слухи, так что со временем никто, кроме самых отчаянных смельчаков, уже не решался идти на стройку. Зато те, кто побывали там, убедились: рабочим на стройке живется неплохо — им прилично платят и прямо на строительство приезжает передвижной магазин, доставляет всякие товары. Стоило кому-нибудь из строителей вернуться домой, к нему тотчас набивалась вся деревня — взглянуть, чего он накупил в магазине, да расспросить про дорогу. И хозяин выкладывал для всеобщего обозрения привезенные обновки. Были тут и катушки ниток, и большие чашки с ложками. Каждый мог видеть «выставку» своими глазами, и теперь, если кто и запугивал людей, отговаривал их идти на стройку, ему не было веры. Всякому хотелось спуститься в город — хоть разок.

А возвращаясь, люди рассказывали про расчудесное тамошнее житье. На речке Намиен поставлена водяная электростанция, и электрические лампочки горят у мео в деревне Тхенпа. И даже в пору туманов слышно, как бегают, рокоча, тракторы по землям госхоза. Автомобили свозят народ отовсюду и, подъезжая к Окружпому комитету, громко гудят, оглашая базары и улицы.

Посреди базара стоят магазины и лавки, народ туда целый день валом валит. Одно слово — веселье! Кого только там не встретишь: перед глазами пестрят хвостатые пояса красных мео и расшитые сине-черным по вороту и рукавам одежды белых мео, темно-синие головные платки, душегреи с двойною желтою оторочкой и красные юбки миловидных девушек тхай. А уж под Новый год, когда все стараются приодеться, базары и вовсе похожи на лужайки, усеянные яркими весенними цветами.

Потом в Иен зачастили специалисты, приехавшие изучать здешние земли: где лучше поднять целину и какие здесь, в горах, развивать отрасли хозяйства. Город стал еще оживленнее,

народу на улицах видимо-невидимо... Теперь Иен и не узнать: не то, что в старину. Тогда даже присказку такую сложили: «В Иене лишь желтые мухи, блохи да ветер». Случалось, целыми днями не увидишь тут лица человеческого — одни чины, да стражники или вьючные караваны Тонга и Део — понурые лошади да усталые до смерти, взопревшие, разгоряченные носильщики.

Нет, Иен сегодня совсем не тот, что прежде.

А вслед за ним менялся и Финша.

* * *

Народ из деревень — ближних и дальних — стекался в Финша строить склад, магазин и медпункт.

Нынче, казалось, даже утро поднимается сюда, в горы, позднее обычного, поджидая шагавших по дорогам людей. А они еще до света с шумом и гомоном отправлялись в путь — точь-в-точь как во время жатвы, когда всей деревней спозаранку уходили в поле. Никто не хотел дожидаться, куда староста отрядит его на стройку, шли сами — целыми семьями.

Цокая копытами по камням, прошла лошадь, за нею — другая, третья, четвертая... Они идут вереницей, позвякивая колокольчиками. На спинах у них навьючены мешки с кукурузной мукой, котлы, тесаки, бамбуковые бочонки с водой. Вода выплескивается из бочонков, и лошадиные спины лоснятся от влаги. А на последней лошади едет в клетке багряноперый петух. Его взяли с собой, чтобы криком своим отмечал он наступление утра. Багряный петух с черными ногами и круглыми красными глазами то и дело заливисто кукарекает. И долгое эхо оглашает ущелье.

Неторопливо выступает лошадь без вьюка. На ней восседает парень, колени его касаются лохматой лошадиной гривы, склоненная голова раскачивается из стороны в сторону, руки крепко сжимают кхен.

Клубы тумана, улегшегося было на ночь по склонам гор, проснулись и поплыли наперерез веренице коней.

Шагавшая впереди молодка, разомлев от пьянящих запахов утра, подвернула повыше юбку — словно возвращалась домой с поля.

За спиной у другой женщины болтался притянутый поясом мешок. В нем были уложены кукурузные початки, дыня, персики и поздние сливы, обметанные белым палетом. Сверху лежала наполненная водкой фляга из тыквы.

Следом шла ее малолетняя дочь: ноги девочки до колен были старательно обмотаны матерчатыми лентами, ворот платья обшит красной тесьмой, волосы на висках выбриты; за спиной висела корзина, край ее упирался в затылок — совсем как у взрослых. Лицо девочки было строгим и серьезным — точь-в-точь как у матери.

У третьей женщины, постарше, в заплечном мешке сидел ребенок. Он то озирался, тараща глазенки, то дремал, раскачиваясь в такт ее шагам.

Лохматые псы с выпученными глазами деловито сновали у всех под ногами.

Женщины, играя с шагавшими рядом детьми, старались обогнать друг дружку и ухватиться за лошадиный хвост, чтобы легче было взбираться по крутизне. А собаки, не понимая, в чем дело, яростно лаяли, словно споря, кому из них помочь малышу, сидевшему в мешке: он требовал, чтобы его спустили на землю и тоже дали подержаться за конский хвост.

Из всех горных деревень шли люди.

Говор и смех сливались с негромкими переливами свирели. Брехали собаки. Ехавший в клетке петух, заслышав где-то вдали голоса своих дружков, возвещавших полдень, вдруг тоже громко закукарекал — словно для того, чтобы люди не сбились с пути, ослепленные полуденным солнцем.

Вдали, до самого края лощины, виднелись закругленные уступы полей: заполненные водой, они, словно сверкающие зеркала, поднимались к самым вершинам.

Тхао Кхай, стоявший в дверях Комитета, увидел свою мать и сестру: они как раз начали подниматься по склону. Рядом семенил малорослый конек, навьюченный двумя торбами с поджаренной кукурузной мукой, вязкою льна и — как у всех — бамбуковым бочонком, в котором плескалась вода.

— Вот здорово! — крикнул он и побежал им навстречу.

Но председатель Тоа остановил его:

— Погоди-ка, ты ведь еще не дослушал мой рассказ. Нынешним-то ребятишкам да и вам, молодым, невдомек, что когда-то и мы, старики, вот так же собирались всем миром поработать на общее благо. Был у нас в старину обычай поднимать целину. Мео и са сообща расчищали землю и пахали новь. Мы, старики, любим вспоминать прошлое...

Люди в краю мео, едва родившись на свет, знакомились с нуждой, и она вечно гнала их с одной горы на другую. И не упомнишь, когда все это началось. Старики и теперь еще рас-

сказывают, как скитались они когда-то в поисках земли, что могла бы прокормить человека.

С той поры и повелось в горном краю сообща поднимать целину: люди вырубали тростник, корчевали кустарник и расчищали общее поле. Распаханную новь обсаживали персиками, грушами и сливами, чтоб видно было: у земли этой есть хозяин.

Там сходились и жили вместе лоло и хани, что умели, срезая крутизну, разбивать уступами поля. Земля и вода притягивали людей — так вырастали селенья. В Финша — в какую деревню ни загляни — любая начиналась с распаханной в старину целины.

Но сколько бы ни было возделанных полей мео и пашен са — все в конце концов становилось владениями начальника, и сколько бы ни пролилось на эту землю пота людей са и мео — весь он оборачивался прибылью да богатством в начальничьем доме. И под конец пароду стало не вмоготу. Никто больше и не мечтал о достатке и не стремился в другие края поднимать целину. Люди бедствовали, каждый расчистил себе у подножия скал клочок земли под кукурузу, где едва уместилась бы ступня. Даже слуги начальника, проходя мимо, не прельщались жалкими этими полями.

Когда-то, еще при жизни отца Шоа Тоа, семья их жила за горами, в лощине, они возделывали поля на склонах гор и мастерили плуги на продажу; со всей округи шел к ним народ за лемехами. Но потом объявился уездный начальник и сказал: «Дед твой, старейшина рода Ву и твой отец — бунтовщики и воры и за это брошены в темницу. Ну а сам ты с детьми тоже должен нести наказание за тяжкую эту вину. Хочешь остаться в живых — ступай к нам в имение, будешь делать для нас плуги». Так семья Шоа Тоа сменила исконное имя своего рода Ву на родовое имя начальника Муа и переехала в имение поближе к господскому дому. Круглый год, изо дня в день, мастерили они плуги, а начальник продавал их и выручку забирал себе. С той поры никто уже не слыхал про знаменитые «лемехи кузнецов Ву»...

Тут председателева рука привычно, словно за рукоятью кузнечного меха, поднялась повыше, и голос его зазвучал громче прежнего:

— Мы, мео, мастера на все руки. Испокон веку корчем лес, пашем поля, собираем навоз и бережем влагу; и земля у нас круглый год не пустует. Мы разводим тучных коров и быков. А свиней откармливаем, покуда, ожирев, не слягут без движения, тут-то самое время забивать их на мясо да вытапливать

сало, чтобы на весь год хватило заправлять светильники. Знаем мы, как отыскивать мед горных пчел — дивного вкуса и сладости. Мы и чай выращиваем, и горечавку, и тамтхат — на продажу. Мео искусны в литье и ковке, умеют обжигать известь и делать черепицу. Нету ремесел, что были бы нам не под силу; ни к кому и ни за чем не ходим мы на поклон. Как встарь мы сообща поднимали целину, так и нынче — всем миром пошли в трудовые бригады. Вместе мы одолеем все тяготы и невзгоды.

Тхао Кхай и Панг улыбнулись. Председатель Тоа, Кхай и партиец Нгна со старостой Пангом пошли к воротам Комитета, где шумел и толпился народ.

Старая Зианг Шуа вместе с дочерью тоже была здесь. Никто не звал ее на работу, она сама решила прийти на стройку.

Зианг Шуа поторапливала дочь. Ей не терпелось взглянуть, как земляки из окрестных деревень станут помогать Правительству.

Тхао Кхай с медицинским своим ранцем и винтовкой на ремне, улыбаясь, подошел к матери.

А она, и сама не сознавая смысла своих слов, пробормотала: — Что, если б сегодня и Ниа был с нами...

Вновь пробудились в ее душе опасения и тревоги. Но Зианг Шуа больше не опускала голову. По дороге сюда она, не таясь, говорила о прежнем своем житье-бытье. (Правда, Ми слушала ее рассеянно, увлеченная открывшимся ей зрелищем.)

Недавно Зианг Шуа передали известие о старшем сыне: «Правительство не казнило его». Выходит, его помиловали. С той минуты она повела счет дням. И все ждала, когда сын вернется. Небось Правительство выдаст ему новую одежду. Ясное дело, ему не дадут такого мундира, как у Тхао Кхая, но все равно оденут поприличней — не придется ему больше натягивать на себя прежнюю пятнистую бесовскую шкуру.

Она тешилась этой своей радостью. И чем больше народу проходило мимо Зианг Шуа, тем отраднее становилось у нее на душе.

В прежние тягостные дни Зианг Шуа не смела и помышлять о том, чтобы вырваться из тисков отчаяния и бед. Удел человеческий — представлялось ей — должен день ото дня становиться все тяжелей и горше, и жизнь, на первых порах подобная вспыхнувшей хворостине, тлеет угольями, а под конец рассыпается золою и прахом. Однако довелось и ей увидеть светлое небо над Финша. Угли опять заалели: давай только подбрасывай хворост, и огонь никогда не угаснет.

Выходит, пришло и к старикам облегчение и покой. Так, едва подойдет время сажать рис, возвращаются парами ласточки, улетевшие прошлой зимой, и, твердо помня счастливый дом, снова вьют — не бывает лучше приметы — гнездо под его крышею.

Распластав трепещущие свои хвосты и негромко щебеча, ласточки скользят вдоль стен и порхают меж кусков солонины, что свисают со стропил над очагом. Могла ли старая Зиапг Шуа прежде помыслить — нет, даже не о припасах, заготовленных впрок, а о том лишь, чтоб всякий день есть досыта?.. Вот и дети ее здоровы и полны сил, может, и ей суждено дожить до того дня, когда поставят они новый деревянный дом. Когда кончалась полевая страда, они привозили на коне черепицу для крыши и складывали ее на дворе — пока не возведут бревенчатые стены.

Могла ли она мечтать когда-то о собственном доме с высоким крыльцом, с рисорушкою и очагом на помосте, о доме, где вокруг очага стоят скамейки, лоснящиеся от кухонного чада? Могла ль помышлять о собственном стане для тканья и свертках льняного полотна, о том, чтобы на дворе горою, чуть не до крыши, громоздился конский навоз, сохраняемый, пока не приспеет срок удобрять пашню? Ей и во сне не снилось, чтобы в дождливую пору, когда все сидят в доме, свободные от полевых работ, на стене у нее висел горшок, доверху полный яркой синей краской, которой красят полотно. Поставит она на огонь медный котелок с воском, развернет полотно и примется выводить на нем растопленным воском узоры, какими принято украшать кайму юбок¹.

Для чего ей огромные ворота, такие, как высились перед домом начальника? Ни к чему ей лихие кони, не нужны ни кабальные слуги, ни молодки да вдовы, суется по дому и мельющие на жерновах кукурузу. Ей было бы тошно глядеть на всю эту челядь, что теснилась на длинном господском крыльце! Не собиралась она обзаводиться ни длинной до пят юбкой из двадцати четырех клиньев дорогой ткани, ни душегреей, расшитой цветами на груди, по вороту и обшлагам, — нарядом, в котором хаживала мать уездного начальника.

Ей хватало двух простых юбок; пока одну носишь, другую успеешь и постирать и высушить.

Но, думая о Ми, она понимала: дочь заживет по-другому, лучше, счастливее. С той поры, как пришла Революция, в жиз-

¹ Перед крашением ткани мео наносят рисунок воском; покрытые воском участки ткани не впитывают краску, и таким образом фиксируется узор. После просушки воск удаляется.

ни у женщины что ни день — перемены. И всякий раз, как уберут, бывало, лен и кукурузу, Зианг Шуа настаивала, чтобы дочь купила себе обновки: шелковое платье или туфли, ожерелье или расшитый кушак, а то и головной убор с длинными лентами. Ведь Ми, ее дочка, считала мать, — самая красивая среди девушек мео.

Нет теперь ни тэй, ни начальников. Жизнь у мео пошла совсем по-другому: вон даже старший сын ее, проблуждав на чужбине более десяти лет, воротился домой. Не сегодня-завтра сыновья женятся, и внуков у нее будет, что цыплят на дворе.

Но этими мыслями она ни с кем пока не делилась. Как знать, не взял ли Ниа и впрямь себе жену из Намнгу? А может, и Кхай просватал себе кого там, на равнине? Да и кто знает, в чей еще дом войдет Ми?.. Похоже, ей приглянулся товарищ Нгиа. Придет время — уедет и она с мужем вниз, на равнину. Ну а невестки да внуки, что поселятся в ее доме, как знать: хороши они будут или плохи? В старину считалось так: если у матери у самой лихая судьба — ей и невестка попадетсся дурная. Зря только выкуп заплатишь за молодую. На то и присловье было: «Лучше уж выбросить в пропасть монеты — можно хоть звон услышать...» А может, нынче и здесь все по-иному? Нет, хоть все и клонится вроде бы к лучшему, а волнений и забот не оберешься.

Сомнения и радости не отставали от Зианг Шуа ни на шаг.

Люди, направлявшиеся на стройку, остановились передохнуть у ручья. Каждый старался держаться поближе к родным или друзьям.

А народ все подходил и подходил. Где-то позади слышался нестройный звук кхена. Са из Наданга столпились вокруг бамбукового кувшина с водой. Чуть поодаль уселись женщины лы, и каменные бока валуна совсем не видны были из-под их широких красных юбок. Проголодавшаяся детвора развязала торбы с кукурузной мукой и уплетала ее за обе щеки.

Зианг Шуа поглядела на ближний склон горы и сказала Кхаю и Ми:

— Когда мы сходились поднимать новь, я была как раз в твоих годах, доченька...

* * *

И вспомнила старая Зианг Шуа девичьи свои годы.

Они собирались по весне всем миром, вырубали и выжигали лес, чтобы распахать новь. Потом мужчины ставили хижины с

клетушками для хранения початков — по одной на каждой делянке. А закончив сев, уходили восвояси, оставив сторожей караулить, чтоб зверье не потравило посевы.

На исходе года собирались снова — убирать кукурузу: паломают початков да спесут их в клетушки. Многие селились во временках надолго. Ведь дней, когда наконец-то поешь досыта, дожидались целый год. Над каждой временкой клубился дым очага: повсюду варили, пекли, жарили с утра до ночи.

Парни и девушки из дальних деревень, сходявшиеся сюда на уборку кукурузы, здесь впервые видели друг друга.

Вот так и Знапг Шуа познакомилась с будущим своим мужем.

Председатель Тоа тоже встретил тут свою суженую, они и свадьбу сыграли на новом поле. Всю ночь распевали тогда свирели:

Персика цвет красивый,
Пышно расцвел повсюду.
Я полюбил тебя, милая,
И вот — я пришел к тебе ¹.

Все знали: сюда, на спрятанные за горами поля, не доберутся под Новый год чины или стражники, что обычно рыскали по деревням, отнимая у играющих пао, приставали к пригожим девушкам и затевали драки. Тет на целине праздновали веселее, чем в деревнях.

Парни играли на кхенах, вокруг них люди толпились с рассвета и дотемна, а потом, не желая прерывать веселье, плясали при свете факелов до поздней ночи, так что дрожала земля. Пряный сосновый дым плыл над полями...

* * *

— Сегодня небось народу собралось не меньше? — спросила Ми.

Мать прошептала чуть слышно, словно отвечая кому-то из прошлого:

— Да-а...

Кхай обвел взглядом уходившую под уклон дорогу. Над красными пятнами платьев пестрели черные и белые кружки зонтов. В людском потоке, медленно поднимавшемся меж двумя зелеными склонами, мелькали лошадиные гривы.

¹ Народная песня мео.— *Прим. автора.*

— Нет уж, народу сегодня будет побольше! — сказал Кхай.— Все равно что на митинге в городе!

Зианг Шуа молчала. Прошное вдруг привиделось ей так ясно, словно все это было только вчера, но ей не хотелось говорить о нем. Былые беды и горести она схоронила в своем сердце, пусть они там и останутся. Вон молодежь как веселится. К чему им все эти истории? И Зианг Шуа не проронила ни слова.

...А ведь весело было на целинных полях, право слово, весело! Иной раз уж петухи поют, а они все пляшут при факелах да играют на кхепах.

Жаль только, конец этому веселью вышел печальный. Явились и на целину уездный начальник и волостной со свитой. На то и пословица: «Встретишься с тигром — жизнь потеряешь, начальника встретишь — лишишься всего добра». И каждый, завидя начальство, понял: труд его теперь обернется добром у господ в закромах.

А пачальник объявил: леса и земли повсюду — достояние государя и поставленных им чинов; ежели кто на охоте добудет кабана, должен преподнести начальнику лучшие части; добудет медведя — обязан отдать желчный пузырь, а подстрелит козла или тигра, пусть выдаст стражникам костяк — его положено предъявить на досмотр — целы ли все четыре коленных сустава. Ну а случись, уцелеет кусок мяса — непременно попадет в глотку к шаману.

К нему уплывало все: свиные головы и ножки, куры, и водка, и белое серебро. Ведь, по увереньям шамана, только тот, за кого он замолвит словечко духам, может рубить лес под пашню, не опасаясь диких зверей. Но даже если медведи, кабаны или дикобразы и не потравят поля, шаман со стражниками первым накинется на урожай.

Люди ушли с целины. На другой год поля снова заросли кустами да травами. И только те, чьи делянки лежали подальше от дома, спускаясь за водой к роднику, видели: ото всех положенных здесь трудов сохранились одни лишь чахлые амаранты¹, заостренные красные листья которых тянулись к пебу, как языки пламени...

Зианг Шуа молчала.

Нет, пикогда не узнать дочери, о чем она думает. А та все смотрела на дорогу, усеянную людьми.

¹ Амарант (бархатник) — растение, молодые побеги которого употребляются в пищу.

Финша гудел, будто в праздничный день. Народ заполнил даже ближние деревушки.

Председатель Тоа по привычке зычно, будто выкликая лозунги, говорил:

— Пока не достроим склад — не уйдем отсюда! Будем работать не покладая рук!..

Впрочем, полевая страда с ее трудами и хлопотами уже миновала. Даже самые рачительные хозяева только собирались пропалывать кукурузу. Те же, кто поленивее, лишь недавно закончили пахоту и едва успели унести домой плуги. А теперь, в ожидании жатвы, соседи уговаривались идти строить склад и магазин товарищу Нгиа и медпункт Тхао Кхаю, а там, глядишь, можно и погулять денек-другой.

На том месте, где стояла когда-то крепость и дом начальника, кусты да травы вымахали выше головы. Теперь люди расчищали здесь площадку для стройки.

Всюду громоздились лопаты, заступы и толстоствольный, приготовленный для строительства бамбук.

Из дальнего леса показались буйволы, волочившие огромные бревна.

Женщины, молодые и постарше, с утра расходились по ближним склонам резать сухую траву и тростник. К вечеру они возвращались на стройку; их почти не было видно под огромными тяжелыми вязанками, и казалось, будто это движутся — сами по себе — скирды тростника и соломы.

Нгиа составил план работ. Магазин постепенно обретал зримые черты.

Старики са и зао, искусные мастера, раздевшись донага и отбросив на спину концы обмотанных вокруг головы повязок, ловко обтесывали топорами бревна. «Магазин должен стоять на прямых без изъяна столбах, — говорили они Нгиа, — тогда будет он крепок и долговечен, как наше Правительство. Здесь не годятся кривые ненадежные стояки».

Парни помоложе спустились вниз по ручью, отыскивали подходящие валуны и, перетащив их поближе к стройке, сидели весь день у воды, обтесывая камни, которые намертво лягут в опоры столбов.

Явились и старики мео, известные умельцы-столяры. У каждого при себе был один лишь прямой топорик. Прошло три-четыре дня — и на месте доставленных буйволами огромных бревен высились прилавки, столы, скамейки, короба, ящички для

лекарств, крючья, на каких развешивают товар, стремянки для склада — и все это было вырублено и вытесано топором... Деревянных гвоздей не брали, в дело шли только железные, «чтоб все было крепко и нерушимо, как наше Правительство». Старые плотники, веселые и довольные, готовились ладить стро-пила.

Председатель Тоа, старый кузнец, прямо под открытым небом поставил горн с мехами и плавильную печь, притащил откуда-то сломанные лемехи и дырявые котлы и с утра до ночи ковал гвозди для стройки — прямые и длинные.

Бабки и женщины постарше, усевшись в тени, сучили лен и расшивали душегреи. А детишки, примчавшись сюда следом за взрослыми, сбились вокруг костров, где жарилась на огне ку-куруза.

Снизу, от ручья, и с площадки, где недавно был заложен новый дом, — отовсюду слышен был перестук молотков и топоров, рубивших, тесавших дерево и камень. Из кузницы председателя Тоа весь день доносилось тяжелое дыхание мехов. Буйволы без конца волокли вверх от ручья скрипучие бревна и толстостволь-ный бамбук. С горы, где резали траву, слышались трели свер-нутой из листа дудочки — на таких обычно играют женщины, — негромкие и прерывистые, звуки эти словно повисали в полу-денном небе.

С первых лучей рассвета и до той поры, покуда закатное солнце не затопляло лощины, все вокруг было полно движения и шума. Потом горы — гряда за грядою — засыпали и очерта-ния их таяли во мгле: первыми засыпали ближние горы, за-тем — те, что подальше. Парни, окончив работу, брали в руки свои свирели и выводили протяжные напевы.

Издавна было заведено здесь, в горах: садилось ли солнце или вставало — парни выносили из дому свои свирели и кхены, и тотчас все тяготы и огорчения уносились прочь, и возвраща-лись к людям утехи да радости — так говорили старики.

Неподалеку от Комитета разожгли большой костер. Собра-лось много народу. Здесь были и председатель Тоа, и дочка его, Кхуа Ли.

Председатель затянул песню. Голос у него был не очень вы-разительный, но громкий. Напев то тягучий и плавный, то пре-рывистый, словно дыхание поднимающегося на кручу человека, звучал все выше и выше:

Сколько вершин мы прошли,
Сколько добра потеряли —
не счесть...

За что? По какому праву
Французы-захватчики
грабят наш край?
В земле нашей
золота много,
В земле нашей
много железа ¹...

И как всегда, едва он допел свою песню, парни и девушки начали громко смеяться и хлопать в ладоши.

Председатель молча курил; но потом, видно вспомнив о чем-то, быстро поднялся и ушел. Ох, и непоседливый же у него нрав.— вечно дела да заботы!

— Мех!.. Кузнечный мех!..— бормотал он на ходу.— Совсем позабыл про него...

И Тоа припустил бегом.

А костер возле Комитета горел ярче прежнего.

Зианг Шуа, вернувшись домой, долго сидела одна, и мысли ее блуждали где-то далеко-далеко.

Ночь стояла лунная, было светло, как днем. Всякий раз, когда тот, кого она помнила еще бедным узником, томившимся прежде в начальничьем доме, скрипучим своим голосом заводил, раздувая мехи в кузнице, песню, звуки ее снова возвращали Зианг Шуа к тревогам и радостям отошедшего дня.

Горы Финша — то островерхие, то округлые — были такие же, как раньше. И приграничный перевал, через который шел путь вниз, на равнину, весь год окутанный туманом, высился по-прежнему, закрывая край неба. В ту сторону злая судьба увела ее мужа. Уездные чины и француз, заправлявший фортотом, тоже бежали туда. Оттуда из-за перевала ползет нынче смутная молва про государя да злых духов. Что там? Уж не обитель ли мертвых, откуда приходят к нам одни лишь горести да печали?..

Но тут издалека донеслись переливы кхена. Огоньки в деревнях, что стояли по склонам гор, мерцали, перемешавшись с синими звездами. И вновь возвратились к старой Зианг Шуа нехитрые ее радости. Она стала думать о Ниа, о скором его возвращении...

Прохладная пелена тумана, обычного в эту пору, подползала к кострам из сосновых веток, полыхавшим вокруг шумной, веселой толпы.

¹ Песня народности мео. Во время войны Сопротивления (1946—1954 гг.) она была распространена во многих партизанских районах Лайтяу.— *Прим. автора.*

Какой-то парень самозабвенно дудел на кхене, отплясывая у костра; всякий раз, как он выделял замысловатое коленце, зрители разражались криками одобрения. Гулянье было в разгаре.

И лишь немногие, оставшиеся сидеть в темноте за пределами светлого круга, тихонько играли на кхенах для собственного удовольствия. Иногда музыка вдруг умолкала, и тогда становился слышен печальный, трепещущий напев девушки лоло.

Три подружки: мео, лоло и зао, примостившись рядышком у огня, поджаривали кукурузу. Сидевшая поодаль девушка хани вдруг опустила платок, который прикрывал ее лицо, и оборвала свою песню. Но тут из-под рукава, заслонявшего лицо другой подружки, полились напевы рожка — заунывные, точно жалобы сердца.

Нгиа только что вернулся из лежавшей ниже по склону деревушки и решил было идти спать, но его окликнули девушки, которые шли поглядеть на танцы:

— Неужто, товарищ Нгиа, вам и погулять с нами неохота? — спросила одна.

А другая добавила с усмешкой:

— Товарищ Нгиа небось ни за что не возьмет жену из мео.

Тут уж, хочешь не хочешь, пришлось завернуть к Комитету. Обычно занозистые шутки эти он оставлял без внимания. Но ему не хотелось, чтоб девушки и парни подумали, будто он их сторонится.

Ми решила, что он пришел сюда ради нее. А Нгиа был увлечен собственными мыслями. Строительство близится к концу. Народ не жалеет сил. Кто б мог подумать, что все пойдет так гладко и споро.

И все же, ловя на себе взгляды Ми, Нгиа ощущал какое-то смутное беспокойство. Он знал, что девушка влюблена в него. А ведь тот, кого любят — бьется ли в нем самом ответное чувство или нет, — все одно волнуется и даже грустит. У Нгиа грусть эта была безотчетной и едва уловимой. Он и сам не понимал себя до конца; да и не хотел понять. Но одно ему было ясно: все, даже самая малость сейчас имеет значение и потому нельзя быть безответственным даже в любви. И он был осторожен...

— Товарищ Нгиа вовсе и не собирается жить у нас, в Финша, — сказала Ми.

— Но ведь я же работаю здесь.

— Работать и жить — не одно и то же. А жить вам у нас не хочется.

Туманный разговор этот, который каждый из них понимал по-своему, сопровождался многозначительными взглядами.

— Неправда это.

— Нет, правда.

Ми усмехнулась:

— Вы ведь нездешний, вы родом с равнины.

— Я давно следую за Революцией, не помню, когда уж и был дома.

— Погодите-ка, женитесь — жена вас никуда из дому не отпустит.

— Ну, это еще не известно, — покачал он головой.

— Нет уж, Нгиа, откуда просватаете жену, там и останетесь.

— И вовсе-то вы неправы...

Над ними трепетали и плыли звуки данмоя. Нгиа, прислушиваясь к переливам музыки, словно видел губы девушки, выводящей эту мелодию. И в лад с песней затрепетали сокровенные струны в его душе. Снова слышались ему уклончивые, полные потаенного смысла слова. А ведь и прежде не раз бывало: хотелось ему заглянуть в лицо Ми, заговорить с нею, да духу не хватало...

Где-то вдали чуть слышно запела свирель. Прислушаешься к ней, и кажется, будто в сиянии лунной ночи открывается взору извилистая тропа, никогда не отдыхающая от тяжелых усталых шагов, и перевалы, на которых никогда не умолкала свирель, исполненная любви и веры.

— Нгиа, — спросила Ми, — а вы понимаете, что говорит свирель?

Он промолчал.

— И не догадываетесь?

— Увы, — отвечал он, — нет.

— Она говорит про расставание и проводы:

Мглой дождевою заволокло лес,
Слышна одна лишь свирель —
Твоя, и она говорит,
Что ты не забудешь меня.

— Хорошая песня, — сказал Нгиа.

— Ничего хорошего, — возразила Ми, — больно она грустная. Далекая свирель, казалось, пела о том, что было на сердце у Ми.

Она не промолвила больше ни слова. Боясь, как бы Ми не расстроилась вконец, Нгиа спросил:

— Кто ж это играет так здорово?

— Мой брат Кхай.

— Ну, тогда песня веселая.

— А по-моему,— заупрямилась Ми,— грустная.

Тут подоспел и сам Тхао Кхай. Присев у огня, он снова поднес к губам свирель. Озаренный отсветами пламени, он сидел, поджав одну ногу и сбив на затылок шапку, и самозабвенно выводил свои трели.

Было уже совсем поздно; почти все успели разойтись. Парни, плясавшие с кхенами, уселись затаиться из кальяна лаосским табаком. А один, прижав к себе кхен, и вовсе уснул, прилягавшись к стене и похрапывая.

Свирель Тхао Кхая все пела тягуче и нежно, словно хотела убаюкать всех и унести в затопленный луною лес. Она нашептывала сотни любовных слов, неведомых Нгиа. И он чувствовал, как под переливы свирели в сердце его возникал единственный образ, и это был образ Ми.

А она наклонила голову, так что видны были лишь уголки ее глаз. Нгиа почудилось, будто пред ним вовсе не та Ми, которую он встречал изо дня в день. Эта, другая, Ми, казалось ему, была из его деревни — оттуда, с равнины; на ней длинное белое платье с разрезами по бокам и широкие штаны из черного шелка; длинные волосы, схваченные заколкой, падают на спину¹. И даже в такую темень видны шпильки в ее волосах. Чьи же это глаза поглядывают искоса на Нгиа? Неужто и впрямь Ми родом из его деревни, из Футхо?

Футхо, родная земля... Холмы, поросшие пальмами ко, на которых что ни месяц распускаются опахала молодой листвы. Круглый год солнечные лучи играют в яркой зелени. А к лету заросли чэу² белым-белы от цветов. И во всякое время щедро дарит прохладу вода из глубоких колодцев у подножия холмов. Да только девушки и парни, ровесники Нгиа и давние его друзья, теперь уже не те, что прежде. Когда в страну возвратился мир³ и Нгиа приехал в родную деревню, приятели, узнав, что он еще не женат, решили: «Надо подыскать ему «половину»!»

Слова эти, шутливые и сердечные, взволновали его и обра-

¹ Здесь описаны традиционные костюм и прическа девушки кинь, живущей в деревне на равнине.

² Чэу — высокое дерево, растущее на возвышенностях и равнинах. Обычно цветет дважды — в конце весны и в начале осени.

³ Имеется в виду окончание войны против французских колонизаторов — 1954 г.

довали, и он смущался, точно малое дитя. Но ведь жену, какую ни есть, надо еще отыскать. Ровесницы Нгиа — и соседки, и те, что жили на другом конце деревни, — все уже были пристроены: и многие давно детишками обзавелись. Ну а из девушек, что жили подальше, ни с одной он не был знаком. Да и сам он, каждый раз приезжая домой, ни на что не мог решиться. Никуда не ходил и ни с кем не видался. Так что дело не двигалось.

И все-таки он хотел взять в жены девушку из своих мест и огорчился, потому что вот уж который год мечты и надежды его не сбывались. Рассчитывать было вроде уже не на что, и он казался самому себе неприкаянным, как сиротливая птица в небе, как одинокая рыба в море.

Но надежда, то возникая, то угасая снова, все еще жила в его душе...

Нгиа вздрогнул и огляделся. В розовых отсветах очага блестящие чистые глаза Ми смотрели прямо на него.

— Ми, — сказал он, — вам бы, наверно, пришелся к лицу наряд девушки с равнины.

— Это какой же?

— Белое платье, — сказал он негромко, словно отвечая самому себе, — с карманом вот здесь. Черные шелковые штаны... А в волосах по бокам две блестящие заколки...

— А-а, знаю-знаю! Я видела, девушки, что строят дорогу внизу, в Иене, так одеты. А волосы схвачены сбоку, вот так — блестящим зажимом, верно?

— Да...

— Ну, нет, если я так выряджусь, вся округа сбежится. Люди меня на смех поднимут.

— Почему?

— Скажут, мол, собралась замуж за киня.

Они засмеялись, каждый — своим мыслям.

Нгиа умолк, а Ми начала одолевать его вопросами:

— Скажите, а в ваших краях любят гулять по лесу?..

Он ответил не сразу.

— Девушки у нас в ясные лунные ночи ходят купаться к подножию холмов. Знаете, Ми, там в колодцах вода прозрачная и чистая, как стекло.

— А вы не могли бы взять меня туда погулять да искупаться?

— Договорились...

Вопрос ее и его ответ произнесены были с нарочитой небрежностью, но девушки, сидевшие рядом, посмотрев на них, расхохотались.

Ми чувствовала, как счастье переполняет ее. Она медленно встала. Ей чудилось, будто они — прямо сейчас — выйдут вдвоем и пойдут гулять по лунному лесу. Горячий отсвет костра упал на ее лицо и затуманенные, будто хмельные, глаза.

Она позабыла о глядевших на нее подружках, обо всем на свете и стояла недвижно как изваяние.

Кхай опустил свою свирель и подошел к ним.

— Вы тут, видать, решили всю почь просидеть?! — И повоенному скомандовал: — Разойдись!.. — Потом добавил: — А то завтра для работы силенок не хватит.

— Правильно! — подхватил Нгиа.

Но сам Тхао Кхай, отдав это распоряжение, вдруг опять уселся на пол, а Ми загадочно улыбалась и не двигалась с места.

Потом только Кхай опомнился и снова потребовал, чтобы все разошлись. На этот раз Ми с подружками подчинились.

Уходя, Ми обернулась. Нгиа глядел ей вслед. Там, в ночной темноте, ему снова виделись глубокие, манящие глаза девушки из его родных краев, домовитой и простосердечной девушки из Футхо, в широких шелковых штанах и белом — с разрезами по бокам — платье, длинные волосы свои она гладко зачесала назад, но лицо у нее было округлое, будто плод соана¹, и взгляд пьянящий — точь-в-точь как у Ми.

Появился председатель Тоа с ружьем за спиной.

— Перетацил мехи под навес. Не ровен час, ночью хлынет дождь — все вымочит.

— Ну как, теперь все в порядке?

— Да, хорошо бы только и горн перенести.

— Что ж, пойдём.

В лунном свете, пробивавшемся сквозь туман, видны были могучие вершины; горы, обняв друг друга за плечи, глядели вниз на широкую ровную долину: скоро здесь вырастут медпункт, соляной склад и магазин. Финша, того и гляди, станет поселком городского типа. Вон там, подальше, будет школа, продовольственный склад, почта... А здесь, у ручья, откроем медпункт. Потом выстроим и больницу — уж больно место это удобное: вода под боком, тихо и спокойно, и от жилья и от учреждений далеко...

Так говорил Нгиа, указывая рукою то туда, то сюда. Председатель Тоа внимательно слушал его.

¹ Соан (мелия гималайская) — дерево с яйцевидными плодами. Во вьетнамском фольклоре и литературе издавна бытует сравнение красивого женского лица с округлым плодом соапа.

— Пожалуй, товарищ Нгиа, от кузницы моей уж больно много шуму. Надо бы перенести ее на новое место, за гору. Сразу станет спокойнее!

Потом они — все трое — отправились в Комитет.

Председатель Тоа снял с плеча ружье и на радостях сделал подряд добрых пять затяжек из своего кальяна. Кальян булькал и свиристел, распространяя вокруг крепчайший дух табака. И, вдруг оставив кальян, Тоа вскочил с места и выглянул наружу.

— Что это за факел там, внизу? — слышался его голос, самого Тоа почти не было видно за густыми клубами дыма.

Нгиа с Кхаем тоже выглянули за дверь и, подумав, решили:

— Кто-то идет в деревню.

— Верно, но кто?

— Не по тропе ли в Наданг он идет? — спросил Нгиа.

— Да нет.

— Чей же это тогда факел?

Тоа снова забросил ружье за спину.

— Пойду-ка взгляну, кого там несет в такую пору?

И он зашагал прочь. А ну как опять пожаловала какая-нибудь банда из Лаоса? Коли ты председатель, обязан все знать...

Тоа ушел, а Нгиа и Тхао Кхай стали мечтать — каждый о своем. Кхай, к примеру, прикидывал, на каком берегу ручья удобней поставить лазарет для тяжелобольных.

Потом он снова взял в руки свирель и заиграл.

Переливы свирели поплыли в ночи. Нгиа, задремавший у очага, почувствовал вдруг, что стало прохладно, и повернулся спиной к огню. Пригревшись, он опять задремал, но и сквозь сон слышал призывный голос свирели. Нгиа поднялся и закурил сигарету.

— Кхай, скажи, какой ты сейчас играл напев: веселый или печальный?

Тхао Кхай поднял на него глаза.

— Конечно, веселый! Я вспоминал недавний наш разговор. Помнишь: универмаг, больница, шоссейная дорога в Финша...

— Куда это запропастился наш председатель?

— Знаешь, Нгиа, я ведь играл сейчас для любимой. Свирель мою и в деревне слышать. Я знаю, Кхуа Ли меня слышит...

Белая птица за речку перелетела,

В пору цветенья не вижу я цвета.

Милая три борозды пропахала

И воротилась...

О, погоди, не засыпай!

Тхао Кхай, наклонив голову, самозабвенно выводил:

В пору цветенья не вижу я цвета.

Ты воротилась...

О, погоди, не засыпай!

Вскоре вернулся председатель Тоа. Сняв ружье, он прислонил его к плетеной стене и сразу потянулся за кальяном.

— Ну, что там? — спросил Нгиа.

Вошли еще двое мужчин.

— Знакомьтесь, — представил Тоа, — товарищи из госбезопасности, из окружного центра. Они привели домой этого поганца Ниа.

— А-а...

— Окружной комитет партии решил отпустить его и направил в родную деревню. Теперь за него будет в ответе наша партийная ячейка. Это — распоряжение Окружкома. Соберемся и все обсудим.

Один из гостей обратился к Кхаю:

— Товарищ Тхао Кхай, а для вас есть личное поручение от секретаря Окружкома. Хотелось бы сейчас его и передать.

Незнакомец с Кхаем вышли за дверь. Они пошептались о чем-то, потом Кхай вернулся в дом, взял винтовку и ушел.

Председатель Тоа притащил еще хворосту, подбросил его в огонь — очаг должен был сохранять тепло всю ночь — и снова ушел: кто знает, может, он вспомнил про какие-нибудь дела или решил поохотиться? В помещении Комитета остались ночевать Нгиа и товарищи из центра. А за стеной как ни в чем не бывало похрапывали двое парней с кхенами, уставшие после гулянья.

* * *

Все совпало: Тхао Ниа освободили как раз в ту пору, когда старая Зянг Шуа стала все чаще и чаще вспоминать старшего сына.

Взойдя на порог, Тхао Ниа увидел мать. Она только что поднялась и присела у очага, опершись спиной на плетеную стену.

В доме было темно, в очаге тлел один-единственный красный уголек. Чадный дух очага всегда отличишь от любого другого дымка. Жилища мео вроде глядят сиротливо и хмуро среди покрытых жухлой травой холмов; но пройдешь через сени, где стоит, оттопырив ушастые рукояти, мельница-рисорушка, сту-

пишь в жилой покой, и на душе сразу полегчает; здесь царит тишина. Топят в домах мео по-черному. И дым очага поднимается, курясь, меж большими кувшинами из тыкв с семенным зерном, что стоят на высоких кухонных полках рядом со всевозможными приправами и настоями в сосновых коробах и бочонках, так что все это коптится до черноты сажи. И гость с душевною радостью видит: здесь, под чужим кровом, все выглядит так же, как и у него в доме.

Тхао Ниа молча вошел и сел у очага, рядом с матерью.

Прошло пятнадцать долгих лет, но Ниа почудилось, будто сегодняшний вечер похож как две капли воды на тот давнишний вечер, когда он ушел из дому. И пятнадцать лет показались ему вдруг коротким мгновением. Усталый и растроганный, он едва не зарыдал, опустясь на циновки. Но следом за ним в дом вошли двое работников госбезопасности, доставившие его из города, и потому он сдержался и тихонько сел у огня.

— Матушка Зианг Шуа! — сказал один из провожатых. — Вот ваш сын, Тхао Ниа.

Она встала.

— Выходит, Правительство не казнило его? — громко спросила Зианг Шуа. — Правительство его помиловало?

— Да.

— Ты есть хочешь? — обратилась она к сыну.

— Хочу.

Ниа поднялся и прошел туда, где стояла жаровня для кукурузы, обеими руками поднял горшок с кукурузной мукой, потом достал бамбуковое ведерко со стручками перца и приготовил себе поесть.

Пришел председатель Тоа.

— Правительство, — сказал он прямо с порога, — отпустило вашего сына домой и препоручило его вам, соседка. Наставляйте его и сделайте из него человека. Вы теперь прежде других за него в ответе.

— Хорошо.

— А вас, товарищи, прошу в Комитет — отдохнуть с дороги.

— Пусть сперва у меня перекусят.

— Нет уж, вам в честь возвращения сына надо бы выставить угощение да выпивку! Тут закусками на скорую руку не отделаешься...

— Вы это всерьез? Что, мне и впрямь готовить угощение? — переспросила счастливая Зианг Шуа.

Председатель Тоа только засмеялся в ответ и увел товарищей из города.

По лицу Зианг Шуа текли счастливые слезы. Увидать, что сын твой, долго блуждавший в чужих краях, не позабыл свой дом, как уверенно протянул он руку за чашкой и отсыпал в нее кукурузной муки, как наклонился за деревянной ложкой, — возможна ли большая радость для материнского сердца? Вот и собрались наконец вокруг нее все ее дети. Ведь Ниа — ее первенец, кровное ее чадо. Надо же, как ловко управился с горшком, где хранилась кукурузная мука, с миской крупных бобов, именуемых «конским зубом», и стручками перца... Так, словно это Кхай воротился домой. Ясное дело — ведь он плоть от плоти нашей и кровь от крови...

Давным-давно — и не вспомнить, с каких пор, — не едал Тхао Ниа бобов. «Бобы, тушенные на медленном огне и сдобренные перечной подливкой, — как сладок и неповторим их вкус! Ах, мама, стоило лишь отведать бобов, и почудилось мне, будто я только нынешним вечером отлучился ненадолго из дому... Будто снова я стал подростком, как в тот страшный день, и не было вовсе этих долгих и тяжких лет и мы, как прежде, сидим вдвоем: вы, мама, и я, ваш маленький Ниа. Сумеречный ветер все унес прочь: богатого купца Цина, беспокойный город Корат, мрачную католическую школу на берегу Удона... Мама, прошлое кануло в небытие, от него ничего не осталось. Здесь только мы двое — вы и я.

Но вдруг его кольнуло непрощенное воспоминание. Святой отец наставлял его: «Нет, не мать она тебе, и они — не братья и сестры, а порождения дьявола... Сын мой! Проникнув туда, склони главу свою и храни молчание, словно ты мертв. В смутные времена сынам божьим всегда приходилось таиться и молчать. Но пусть глаза твои остаются открытыми и видят, пусть уши твои будут отверсты и слышат... Знай, отныне в сей жизни лишь двое нас: ты, мое чадо, и я, твой отец. А я помогу тебе узреть истинную твою мать и единокровных твоих сестер и братьев...»

Злые слова искушения снова вторглись в его память. Но ведь сегодня, переступив порог, он увидел свою мать. Вот она — сидит рядом с ним у очага. Неужто она не мать ему?

— Мама, — тихонько позвал Ниа.

— Что тебе? — спросила Зианг Шуа.

Конечно же, это она — его мать...

— Мама, я хотел бы вам рассказать обо всем, что случилось со мной за эти годы...

Зианг Шуа молча слушала его рассказ: как ушел он с богатым купцом Цинем, как потом следовал во всем наставлениям

святого отца... Но куда бы ни заносило его, в какие бы ни попадал он края, матери чудилось, будто ей давно известно все наперед, и, сколько бы ни длился его путь, по каким бы ни пролегал горам, она знала: под конец он приведет сына к берегу Намнгу и в водах ее человек обернется тигром.

Но больше всего тревожилась и сокрушалась Зианг Шуа из-за святого отца. Кем он был: наставником истины, тигром или женщиной, волочившей дохлого тигра к яме с навозом? Нет, скорее всего, он — тигр! А Ниа был тогда околдован и ничего не помнит.

— Это святой отец привел тебя к речке Намнгу? — спросила она. — Он что, торговец, как купец Цин?

— Святой отец... святой отец, он... молится Христу...

Тхао Ниа и сам толком не понимал, чем же на самом деле занимается святой отец. Он, правда, помнил, как ездил со святым отцом в Шамбатсак закупать опий у владетельного Бун У, как они гостили там месяцами и возвращались с чемоданами, полными опия. Помнил, но не сказал ни слова. Не сказал оттого, что ему и в голову не приходило, будто святой отец похож на богатого купца Цина или на англичанина, что построил в Корате гостиницу и бар с машиной для взбивания мороженого. Святой отец носил обычно мундир цвета хаки и темные очки — так одеваются американские офицеры. Нет, не был он похож на прежних хозяев Ниа.

— А кто такой Христос, сынок? — снова спросила мать.

— Христос живет на небесах.

— На небесах вместе с покойниками?

— Да, достойные люди после смерти возносятся на небо.

— А тебе не довелось хоть разок вознестись со святым отцом на небо?

— Нет.

Ниа взглянул на мать. Так на чем же он остановился?.. Вроде он рассказал уже, как попал в Корат и взбивал мороженое у англичанина, а после вместе со святым отцом перебрался в Удон, в духовную школу... Что же дальше? Рассказывать все, начистоту?.. Как святой отец отвел его к американским офицерам, а после повез во Вьентьян... Откровенность, решил он, может ему повредить. Он ведь и в городе никому не говорил всего до конца. Лучше, пожалуй, на этом остановиться...

— А где же Кхай? — спросил он.

— На службе. Он теперь у нас фельдшер.

— Так, а Ми?

— Тоже на работе, она вместе с соседями строит склад.

Ниа не мог взять в толк, что это за служба да работа такая. Одно лишь он понял: здесь это, видно, дела обычные. Но ему они были не по душе. К чему это все его семье? Выдумки коммунистов! А ведь коммунисты могут его убить...

Вернулся домой Тхао Кхай.

Увидев брата, Ниа оробел и не проронил больше ни слова. Этот человек в синем мундире и фуражке был точь-в-точь как те чужаки из города. Что общего у него с Ниа? Маленьких несмышленых оборвышей Кхая и Ми, которых оставил он тогда в лесу, больше не было. Их теперь не узнать...

Ему стало не по себе, светлое чувство, охватившее его, когда они были вдвоем с матерью, погасло. Он замкнулся в себе и умолк. В памяти всплывало все, чему учили его за границей, прежде чем сбросить сюда с парашютом. Больше не стало брата и сына, вернувшегося под родной кров, — теперь это был диверсант и шпион.

— Ты что, недавно вернулся? — радушно спросил Кхай.

— Ага.— И, немного помедлив, Ниа спросил в свою очередь: — А здесь есть опий? Кто-нибудь курит опий, вот ты, к примеру?

— Да у нас, если уж кто одной ногой стоит в могиле, бывает, курит.

Ниа снова умолк. Он стал клевать носом и скоро уснул. Может, утомился после дальней дороги? Нет, он решил прикинуться спящим, чтобы избавиться от пытливых взглядов Кхая. А Зианг Шуа все сокрушалась да жалела сына, пристрастившегося к опию. Ведь опий нынче только и курят что в Лаосе, где заправляют американцы. А отвыкать от курения — дело нелегкое.

На другой день, улучив момент, когда они остались вдвоем, мать спросила Ниа:

— Ты что, к опию пристрастился?

Он пробурчал что-то себе под нос, а что именно — она и не разобрала.

Он лежал дома целыми днями, иногда по месяцу не выходя со двора. И ни в ком ему не было нужды — ни в друзьях, ни в соседях. Мать рядом, — чего же еще желать? Жаль только — она все про новые времена толкует. Ниа это было совсем не по сердцу.

А потом он повадился ходить в лес.

Малорослый конь еле вытаскивал копыта из раскисшей грязи на краю поля. Сухая трава, скрывавшая его с головой, раступилась, и появилась вязанка хворосту — ветки, словно змеи, извивались на спине лошади.

Потом появился Тхао Ниа, заляпанный грязью до самого ворота. Придерживая лежавший на плече топор, он озирался, словно отыскивая дорогу.

Но вот наконец впереди, в просветах между деревьями, показались кровли из пальмовых листьев, настеленные недавно над помещениями магазина. Ниа, увидев их, возликовал, точно это были церковные колокольни. Однако, вспомнив, где он находится, тотчас помрачнел, опустил голову и молча шагал дальше по грязи, порой доходившей ему до колен. Вскоре, ступая след в след за конем, навьюченным хворостом, он повернул к деревне.

Даже соседи, видевшие Ниа в тот день, когда его захватили в плен и он сидел на земляном полу комитетского дома, теперь вряд ли признали бы его. И прежде всего из-за выбритой его головы. От украшавшей его тогда великолепной кудрявой шевелюры осталась сейчас лишь прядь на макушке. Ниа пожелал сделать себе прическу, как у парней мео в прежние времена. Но теперь он и вовсе выглядел белой вороной, потому что мужчины мео еще с той поры, когда перешли в партизанский край, привыкли стричь волосы коротко и никто не отращивал больше длинных косм.

Когда товарищи из госбезопасности доставили Ниа в Финша, Зианг Шуа, растревоженная и взволнованная, спросила:

— Ему разрешили вернуться, чтобы он снова стал моим сыном?

И провожатые, улыбнувшись, ответили:

— Да...

Но никто ничего не объяснил ей подробнее.

Каждый день Тхао Ниа с топором на плече уходил в лес за хворостом. А случалось, он по несколько дней кряду вместе с матерью и сестрой пропалывал кукурузу.

И Зианг Шуа все больше убеждалась, что он и в самом деле Ниа, ее первенец. Она уже и думать забыла про перевоплотившегося покойника из речки Намнгу. Сын, как и прежде, был усерден в работе и терпелив, а это ли не извечные свойства мео? Только вот косырь¹ держать разучился и лезвие его, скользя

¹ Косырь — широкий нож, которым пользуются вместо косы.

по траве, не срезало ни единой былинки. Оно и понятно: сколько уж лет не доводилось ему работать в поле, оттого руки его и ноги сделались слабыми и дряблыми, и кожа на них побелела, а лицом, полным и одутловатым, смахивал он на купца Цина, что приходил сюда когда-то с вьючными караванами.

Ниа был неизменно замкнут и хмур и, случалось, неделями не раскрывал рта. Как-то решил он развлечься — пройтись по ближним деревням, — но, когда люди стали его расспрашивать о том о сем, он отвечал неохотно и уклончиво, а вернувшись домой, вновь замолк, словно онемел. Сожалел ли он о чем или тосковал по оставленной на чужбине жене? Только мысли его, судя по всему, блуждали где-то далеко, и не радовался он семье и родному крову. Верно, тяготели еще над ним какие-то тайные силы. В такие дни Зианг Шуа не узнавала в нем прежнего своего Ниа.

Однажды вечером, оставшись наедине с матерью, он спросил:

— А знаете, мама, в Лаосе мео давно позабыли нужду и лишения.

Она усомнилась в его словах и подумала: «Нет, здесь что-то не так... Я ведь помню, едва пришло Освобождение, народ всем миром кинулся разбирать дом уездного начальника; уносили все — даже камни из основания колонн, и каждый, кого ни возьми, был доволен и счастлив. Прежде начальник прибирал к рукам чужое добро, а нынче все его богатства достались людям. Начальник был свиреп и кровожаден, словно тигр с обрубленным хвостом, который, сожрав коней и быков, бросается на людей. Сколько ведь бились, покуда изгнали его прочь. А в Лаосе, говорят, по-прежнему правят чины да начальники. Как же там люди могут жить безбедно? Вот ведь и председатель Тоа сбежал оттуда. Нет, неправду он говорит!»

Но Зианг Шуа не стала делиться с сыном своими сомнениями и лишь спросила невесело:

— При таком счастье что ж ты там не остался?

— Я тосковал без вас, мама, вот и вернулся.

— Ах, вот как, — вспылила она, — ты тосковал без меня?! Отчего ж ты, вернувшись, не сказал мне ни единого ласкового слова? Да знаешь ли ты, как мучилась и горевала я по ночам с той поры, как ушел ты из дому? И чем вольготней жилось нам, тем сильнее тосковала...

От волнения голос ее прервался.

— Да... да, — пробормотал Тхао Ниа.

Самые разные мысли обуревали его, многое хотел бы он ей сказать, но не знал сейчас, как закончить разговор по-доброму, без ссоры. Ниа не терпелось увести через границу мать и сестру. Он хотел бы забыть наставленья святого отца, забыть все то, чему обучили его во Вьентьяне, прежде чем заслать сюда. Он желал лишь одного: тайком увести из Финша мать и сестру...

— В Лаосе,— сказал он в другой раз матери,— есть люди из Штатов, э-э... американцы.

— Американцы?.. А французы?..

— Да нет, там одни американцы.

— Ох, сынок! — воскликнула в страхе Зианг Шуа.— Ты ведь ушел от нас совсем мальчишкой и столько лет не был дома. Откуда тебе знать, каково нам жилось здесь? Забыл небось, как мы пропадали заживо в лесных чащобах? Могла ль я в ту пору мечтать о таких светлых днях, как нынче? Вспомни, сперва отец твой сгинул на чужбине, а потом и тебя унесло в чужие края...

Ниа растерянно замолчал. Нет, не умел он найти подходящие слова. Да и говорить об этом было ему невмоготу. Он сделался нелюдим и мрачен, и никто не догадывался, что в нем живут два человека: вражеский разведчик, жестокий и холодный, и сын, вернувшийся к матери, под родной кров.

Всякий раз, приходя из леса, Ниа снимал с коня вязанку хвороста и складывал его перед дверью. Потом прислонялся спиной к стене и тер ладонями виски с такой силой, что из царапин и ссадин на руках иногда выступала кровь. «Может, он хочет стереть из памяти горькие мысли иль облегчить тоску по жене, оставленной им в Намнгу?» — думала Зианг Шуа.

И снова ей чудилось, будто он вовсе не сын ей. И она горевала, вспоминая про тигра, обернувшегося человеком. Она не хотела думать об этом и все-таки вспоминала вновь и вновь и горько плакала...

Однажды Ниа тихонько спросил сестру:

— Ми, а ты помнишь, как я водил когда-то тебя на ярмарку взглянуть на товары богатого купца Цина?

— Нет, не помню.

— А знаешь, в Лаосе да и в Сиаме торги и ярмарки повеселей и побогаче будут.

— Неужто лучше нашего магазина?

Ниа ничего не ответил.

— И побогаче ярмарки, где торговал Цин? — снова спросила Ми.

— А сказала, что все уже позабыла!..

— Да нет,— усмехнулась Ми,— не забыла, просто вспоминать неохота... Значит, торгуют там, как в доброе старое время?

— Да.

— Ну, тогда я знаю, какие там ярмарки. Мама вон до сих пор помнит, как стражники самовольничали на торгах. Да и соседи, что вернулись из Лаоса, рассказывали, как там на базарах солдаты, собирая налог, бьют людей смертным боем. Ты послушал бы хоть председателя Тоа.

— Нет-нет, там...

— Ладно уж... слышала я от мамы, как в старину покупали соль у начальника в лавке: изволь сперва подойти к приказчику, стать на колени да сообщить, по какому явился делу. А потом надо поднести ему белого серебра. Раз за границей до сих пор заправляют начальники, значит, народ и сейчас должен им низко кланяться и платить дармоедам за соль белым серебром. Может, скажешь, не так?

— Что ты заладила «начальник», «начальники»? В Лаосе их величают «господин уездный начальник». А ты — «дармоеды»!

— Ты случаем не оставил свои глаза за границей? — расхохоталась Ми.

— Замолчи! — вспыхнул Ниа.

Злоба и страх теснили ему грудь. Он проглотил подкативший к горлу ком и не сказал больше ни слова.

С тех пор Тхао Ниа не раз сидел без сна всю ночь до рассвета, уставясь на горевший в очаге хворост.

Немало времени прошло, прежде чем он заговорил снова, на этот раз с Кхаем.

— А в Лаосе-то все теперь по-другому,— как бы невзначай обронил он.— И немного погода принялся расписывать тамошнюю вольготную жизнь.

Кхай внимательно смотрел на него. «Да, товарищи из госбезопасности верно его раскусили,— думал Кхай.— Чужой он человек, и в голове у него черт знает что. Не знаю уж, чего он там напел сестре... А теперь взялся и меня агитировать: «За границей то... за границей се!...»

И, отбросив всякие церемонии, Кхай напустился на брата:

— Ну а у нас ты ничего нового не увидел? Не помнишь, как здесь народ мыкался в нищете? А теперь гляди: и соляной склад построен, и магазин, и медпункт... Не сидят у нас больше на шее ни тэй, ни уездный начальник. Вот что такое социализм. Так где же переменилась к лучшему жизнь — у нас или за границей?

— Я постарше тебя, да и волос у меня выпало побольше, значит, и в житейских делах разбираюсь получше твоего.

Кхай рассердился не на шутку: «Уж я-то объездил всю страну и знаю в тысячу раз больше, чем такие, как ты!» Но промолчал и, посмотрев в глаза Ниа, мутные, налитые кровью, покачал головой:

— Да, чужое у тебя нутро!

— О чем ты?

— Если тебе так уж люб наш бывший начальник, меняй свое имя на Муа и ступай назад, к подонку Шонг Ко!

— Род Муа, тоже из наших, из мео.

— Врешь, Шонг Ко и все его прихвостни — лютые наши враги.

— Я вернулся. Я сам сдался Правительству и теперь ничуть не хуже тебя! Как ты смеешь позорить старшего брата! Хочешь небось снова упечь меня в тюрьму! — Ниа побледнел, опустил голову и, коснувшись двумя пальцами лба и плеч, украдкой перекрестился и что-то пробормотал.

Его обуял страх. И хотелось выложить все начистоту, и боязно было проговориться. Диверсант, затаившийся в нем, больше не смел поднять голову. Тхао Кхай встал. Голос его, решительный и твердый, лишал Ниа уверенности в себе. Он совсем пал духом.

— Что ты там машешь рукой да бормочешь, — в сердцах спросил его Кхай. — Небось поносишь Правительство?

Ниа поднял голову, огляделся растерянно и прошептал:

— В этой жизни есть кое-кто поважнее, под кем все мы ходим и от кого зависим в большом и в малом... — Он выговаривал слова с трудом, широко разевая рот, как рыба, вытащенная из воды.

— Это от кого же мы зависим в большом и малом? — громко переспросил Кхай. — Уж не от короля ли?

— От того, кто превыше всех нас...

— Да кто же «превыше всех нас»? — фыркнул Кхай. — Король? Или может, империалисты? Да мы, мео, всех их вышвырнули прочь. Ты, видно, просто еще не проспался. Протри глаза, болван!

Резкий тон Кхая как бы отмел прочь ту издавна заведенную у мео почтительность, с какой младший брат обязан был обращаться к старшему. Братских уз между Тхао Кхаем и Тхао Ниа больше не существовало.

Ниа совсем сник и молча опустил голову...

Тхао Кхай, председатель Тоа и партиец Нгиа — весь исполком и партячейка работали не покладая рук.

Однажды председатель Тоа спросил Тхао Кхая о брате.

— Домой, — отвечал Кхай, — возвратилось только его тело, а голова все еще где-то блуждает.

«Ничего, — подумал председатель, — поживет у нас, глядишь — и окрепнет духом. Железо со сталью, и те, размягчась, плавятся в кузнечной печи, а человек ведь помягче железа будет. Революция любого переплавит и выправит». Так подумал председатель Тоа. И больше про Ниа не спрашивал.

Ну а Тхао Ниа по-прежнему каждый день отправлялся со своим конем в лес за дровами. Зима была на носу, и у каждого дома складывали грудями хворост, без которого не обойтись в здешнюю стужу.

Председатель Тоа поспевал всюду: вершил дела местной власти, создавал бригады трудовой взаимопомощи, а чуть выдастся свободный час — пропадавал в своей кузнице. В эту пору, когда поспевает осенний урожай, хлопот не счесть. Рис, высаженный на недавно поднятой целине, спалило солнце. В некоторых семьях со страху стали творить заклинанья. «Духи, — твердили старики, — не желают, чтоб мео сажали рис. Поручить бы заливные эти поля — тогда все обойдется». Попробуй тут отговори людей звать шамана...

Да, дел у председателя Тоа было невпроворот.

Партиец Нгиа наводил порядок в магазине и на складе да еще то и дело ездил в город на заседания. Ему некогда было даже присесть.

Так что за Ниа больше всех был в ответе Тхао Кхай.

Время от времени он отправлялся в город и отчитывался в Окружном комитете партии. И Кхай, и слушавший его человек — оба держали в руках записные книжки. Один читал, другой делал пометки. Всякий раз после доклада Кхая секретарь Окружка говорил ему на прощанье:

— Так и действуйте, товарищ Кхай...

XI

Тхао Кхай объезжал деревни. Работа по плану санитарной пропаганды была в полном разгаре.

Кхай побывал всюду. Не обошел стороной ни малые хутора в две-три хижины, ни одинокие шалаши на пашнях, он посетил

каждую деревушку — от горных вершин до подножий. И везде собирал народ и рассказывал про гигиену и предупреждение болезней, про то, как всех будут лечить в медпункте, который должен вот-вот открыться.

Ему приходилось нелегко. Бывало, заглянет в какой-нибудь дом или встретит одного-единственного человека, а вопросов да сомнений потом не счесть. Нередко Кхай замечал: многое расходится с тем, чему его учили...

В домах у хани темно, хоть глаз коли, а обе двери всегда на запоре. Зао спят на полу в своих землянках, а у изголовья стоят клетушки для кур. Тяжкое прошлое до конца не изжито, оно все еще здесь, рядом. На памяти у людей и холерный мор, что пришел с водою и унес чуть не всех жителей приречных деревень. С водою приходила оспа, и не было от нее спасенья. Сколько пригожих девушек в верховьях ручьев и близ устьев рек обезобразили следы оспы!

Но медик Тхао Кхай был неутомим. Он не раздумывал, удастся ли преодолеть трудности, — он знал: это его работа, а где работа, там и трудности.

Надо начать наступление на комаров — распылить над болотами химикаты... Ликвидировать базедову болезнь. Йод, каждая его капля, поможет изжить ненавистный зоб... Выжечь сухостой на склонах гор, чтоб тигры, пантеры и прочее зверье убралось отсюда прочь...

Свет социализма разгорится ярче, мрак невежества и отсталости отступит и сгинет в конце концов, и люди в любом уголке нашей земли будут здоровы, бодры и веселы.

А потом?.. Потом каждому, кто поднимется сюда, в горы, он будет давать таблетки от малярии. Ведь в Финша малярию скоро ликвидируют, нельзя, чтоб ее заносили сюда со стороны.

Впрочем, и сейчас жизнь в деревнях уже во многом переменялась. Люди привыкают спать под пологом, пить кипяченую воду. Молодежь наперебой раскупает табакерки с зеркальцем в крышке. Всякий рад приобрести кусок ароматного мыла «Пион». В прическах у женщин заблестели заколки и шпильки. У каждого новенькая самописка «Чыонгшон»¹, отливающая коричневым блеском, словно тараканье крыло, портфели, сумки... Право, станешь перечислять полюбившиеся землякам товары.

Пусть сам Тхао Кхай еще молод и лишь смутно помнит ста-

¹ Чыонгшон («Долгие годы») — горная цепь, протянувшаяся вдоль Индокитайского полуострова.

рые порядки, но он не забыл, каково приходилось им с матерью в лесной глуши. И потому для него было ясно: только при нынешнем строе люди сумеют овладеть культурой и заживут хорошо.

Выступая на деревенских собраниях, он говорил:

— Ну-ка пусть каждый курильщик опиума прикинет, во что ему это обходится! Тут и потеря здоровья, и денег это стоит немалых. Если в доме нет достатка, а хозяин вдобавок еще курит опиум, такой семье не обзавестись добрым буйволом. Возьмем, к примеру, двоих мужчин одинакового возраста: один из них не курит опий, он здоров, бодр и живет в довольстве; а другой — курильщик — вечно болеет, силы его на исходе, и семья несколько месяцев в году недоедает. Разве это не правда? Так пусть же все, кто еще держится за эту вредную привычку, выбросят поскорее свой опий и трубки прямо в речку Намма.

После собрания он обходил дома курильщиков и, где урезонивая, а где и припугнув, добивался своего.

Однажды, выслушав его речь, какой-то мужчина из племени зао принялся охать да сетовать:

— Верно, мы, курильщики, сущие покойники, хоть и ходим еще по земле. Работа у нас из рук валится, а есть и пить нормальным побольше да послаще. Бывает, у жены с детишками последнюю ложку сала отнимешь — и никакого стыда. Если Правительство излечивает людей от курения, прошу: немедленно отправьте меня лечиться.

Ну а женщины — и старухи, и молодые, — заслышав грозные речи Кхая, возликовали. Ведь иные всю жизнь страдали и маялись из-за охочих до опия мужей, но боялись их и слова поперек молвить не смели.

Теперь, когда Тхао Кхай подходил к чьему-нибудь дому, ребяташки, завидя «товарища фельдшера», тотчас снимали с полки над очагом котелок и ставили на огонь — чтоб напоить гостя кипяченой водой, да и сами пили только кипяченую воду. На работу в поле многие выходили уже не босиком, а в сандалиях из автомобильных покрышек. Ну а молоденькие девушки, вроде Ми или Кхуа Ли, и вовсе приноровились к новому укладу жизни. У себя в доме они не подвязывали больше длинные полы платьев, а, вернувшись с поля, снимали с ног гетры. Они не выбривали волосы на висках и на затылке и научились стирать с мылом нательные белые рубашки. По утрам они спускались к реке, держа в руках мыльницу с туалетным мылом «Магнолия», зубную пасту и щетку. И если кто-нибудь проходил мимо, когда они чистили зубы, девушки застенчиво улыбались.

Кхай был осмотрителен и чуток. Он говорил: если за сажением хорошо ухаживать, он быстро растет и зацветает в срок — тем более должен расцвести человек.

Где бы, в какой деревне ни объявился больной, Кхай спешил туда и убеждал его принять лекарство, а уходя, оставлял порошки и пилюли. Он вылечил много людей и слава о «лекаре Правительства» разнеслась далеко.

Случалось, человека так прихватывала малярия, что он уж и света белого не видел и родня начинала обрядовать больного в новое платье¹. Но Кхай немедленно появлялся в доме больного, делал ему укол, и через час-другой тот приходил в себя.

Однажды Тхао Кхай явился в далекую деревню как раз в тот день, когда жители ее, схватив человека, «одержимого бесом», связали его и бросили наземь, чтоб учинить пытку, а потом изгнать в лес. Кхай объяснил людям вред суеверий и открыл им глаза. Вспомнив тот день, когда Революция спасла их с матерью, вывела из лесной чащи, он рассказал землякам, сколько горя перенесла его семья, которую так же вот объявили «одержимой бесом».

Молва об этом дошла до самых глухих уголков.

Кхай объезжал постоянно весь район Финша, разъясняя народу, что такое профилактика и лечение болезней, и добился своего, народ понял: хочешь сберечь здоровье — соблюдай все, как велит наука.

Когда приближается заря, первые лучи высвечивают в небе очертания горных вершин, а спустя мгновение все вокруг затопляет сверкающий солнечный свет. «Так и социализм — думал Кхай, — озарит скоро здешнюю землю своим лучезарным сиянием, и никакие суеверия, рознь или злоба не заслонят и не затмят его».

На этот раз Кхай решил прямиком спуститься в Наданг, а потом объехать деревушки по обоим берегам реки. Он знал, что сынишка старосты Панга давно уже выздоровел, и хотел теперь воспользоваться этим наглядным примером — выступить на общем собрании деревни.

Дорога неясной чертой тянулась вдоль берега. Весь день он не слышал ничего, кроме журчанья и рокота воды, а перед глазами маячили давно надоевшие скалы, которые аркой замыкали ущелье.

¹ По древнему обычаю мео, умершего обрядовали в новое платье, чтобы душа его явилась в загробный мир в достойном обличье.

Всюду паводок вступал в свои права, и все выглядело совсем не так, как в прошлую его поездку. Тяжелые, набухшие влагой серые тучи висели на вершинах гор. Непрестанно моросил дождь. Земля и небо насквозь пропитались влагой. Горы и лес окутались серой пеленой тумана, который как паутина оплел ущелья и лощины.

Вышедшие из берегов ручьи и речки с ревом бросались вниз, словно стая бешеных тигров; вздыбаясь, металась она из стороны в сторону, выбелив пеною обрывистые склоны.

Рослый конь Кхая, оседланный им спозаранку, поначалу горячился, взмахивал хвостом, вставал на дыбы, а теперь упирался, переходя вброд вздувшийся ручей, и брыкался, пытаясь сбросить седока.

Пришлось оставить коня и двинуться дальше пешком.

Здесь, в Фангтяй, селения мео едва видны были за блекло-зеленой стеною леса. Но и в этих далеких деревушках люди признали фельдшера Тхао Кхая своим и следовали каждому его совету. Они выложили камнем глубокий колодец, и вода в нем теперь была чистой и прозрачной. Потом они обнесли стеной сад; каждый день, возвращаясь с поля, люди приносили камни и укладывали их ряд за рядом вокруг посадки. Нижние камни успели уже обрасти мхом, а новые белели в стене — высокой и прочной. Когда выпадали солнечные дни, женщины развешивали на ней для просушки свои юбки и синие душегреи, расшитые красными цветами.

Ниже по склону, рядом с полем, окруженным скалами, лежала еще одна деревня; здесь жили вместе мео и хани. Кукуруза на поле стояла низкорослая, но початки были крепкие, а листья зеленые и гладкие.

К подножию холмов, поросших густым кустарником, падали ручьи, словно отсекая землю от неба. Деревня, которую только что проехал Кхай, скрылась за пеленой тумана.

Прошумел дождевой шквал, следом за ним обрушился новый, потом — еще один; перехлестывая через перевал, они с ревом гнались за путником.

В деревнях зао кровли теснились поближе друг к дружке, прячась в лесу. Здесь, в Хотхау, люди были все как на подбор — высокие и дородные. Зао носили блестящие черные шляпы, сплетенные из конского волоса, их долгополые куртки были украшены спереди двумя рядами плетеных пуговиц, делавших грудь шире. И куда бы они ни шли: в поле ли, на базар или на занятия ликбеза, шаг их всегда был решителен и тверд, а звонкий смех слышался издалека.

На дороге Кхаю встретились женщины из племени зао: блестящие волосы их, разделенные пробором, узлом поднимались на затылке. За спиной у каждой висела желтая сумка с дынями. Увидев незнакомца, они наклонили улыбающиеся лица и заспешили дальше. Кто утверждал, будто зао скуповаты и замкнуты по натуре? И выраженья их лиц, и облик их деревень теперь открыты и радушны.

Недавно распаханное по целине поля уходило все дальше и дальше от деревенских околиц. Срезанные полукружьями по высоким межам, удерживавшим влагу, они поднимались чуть не к самым вершинам гор — такие поля бывают лишь там, где люди ведут оседлую жизнь. Пашни оттесняли лес на дальние склоны, чтоб деревням зао было где прокормиться, чтоб они могли обосноваться здесь навеки.

Выглянув было из леса, деревушка зао снова скрылась из глаз. Сквозь полог слепого дождя все вокруг казалось неясным и сумеречным. Тхао Кхай вдруг заметил на дороге следы тигра, четкие и круглые, будто отпечатки бочонка, обведенные синезеленым кольцом примятой полыни, и, наклонившись, почуял резкий запах, смешавшийся с пряным духом полыни.

Кхай шел по просторным ровным лощинам, мимо селений племени лы, что стояли вперемежку с деревнями тхай. Лы переселились сюда из Лаоса бог знает когда. Дома их рядком уселись на склонах там, где начинались пашни. Осенью над окружавшей их редкой бамбуковой изгородью желтели спелые апельсины. В подполе, меж сваями, толкли рис в ступах, и размеренные удары пестов гулко стучались в тишину сумерек. Старики, сидевшие у дверей, торопились, пока не зашло солнце, дошить начатые поутру холщовые сумки. Девушка мыла голову, наклонясь над ручьем. Увидев незнакомца, она неторопливо подняла подол ярко-красной юбки и прикрыла грудь. Потом поздоровалась с «товарищем кадровым работником» и подумала: «Ишь как торопится, видно, по важному делу...»

Прежде феодалы стращали народ: мол, зао и лы, тхай, са, мео и прочие какие ни есть племена только и ждут, как бы затеять резню. Оттого-то Кхай сизмальства привык опасаться чужих. Но потом, когда их с матерью выгнали из деревни в лес, он увидел, что уездный начальник — сам по рождению мео — тиранит и губит своих соплеменников. И с той поры он стал бояться всех и вся.

Но нынче, сколько бы ни шел ты по дороге — день, два или три, — хоть всю страну обойди из края в край, — везде разноплеменный люд уживается и трудится рядом: на одной горе,

у одной и той же реки, близ одного поля на лесной опушке. И нигде он не встретил вражды или розни.

Кхай вспомнил, как председатель Тоа рассказывал: «Девушки черных мео прежде носили синие платья и покрывали головы черным платком, это потом уж они начали надевать расшитые юбки. Ведь в старину мео были единым племенем, да после разделились на разные ветви: черные мео, белые, пестрые... А все оттого, что деды и прадеды наши жили в нужде и лишениях и не знали покоя; спасаясь от королей да чиновников, покидали они исконные свои земли и расходились по разным краям и там заводили свой промысел и одежду. Вот и вышло: единокровные братья, а зовутся по-разному и одеваются несхоже...»

А теперь мео снова стали единой семьей.

То же самое произошло с племенами лы и тхай. Черные тхай, белые... Дома богачей у них стояли посреди пашен, а беднота ютилась по лесным опушкам. Король с начальниками оттягали себе лучшие земли, а простой люд, обнищав вконец, бросал свои скудные поля. Вот и здесь, на речке Намма, тхай поднялись до самых истоков, вырубая под пашни лес и промысляя рыбу, как племена лы или са. Бедняки, они везде одинаковы: повсюду уживаются и работают сообща. Зато начальники — у тхай, у мео или у зао — все кормились из вражеских рук; у каждого вместо брюха бездонная бочка, и все они только одно и знали — натравливать людей друг на друга, затевать междоусобицы и резню, чтобы мео ненавидели тхай, а тхай враждовали с са.

Но вот пришла Революция. Король с начальниками сбежали все до единого. И люди без различия роду и племени подняли голову, пресекли позорные распри и зажили по-новому.

Кхай завернул в деревушку лы поесть и передохнуть с дороги. Здешние жители часто бывали на стройке в Финша и знали его в лицо. К дому, где он остановился, тотчас собрался народ, каждый хотел поздороваться с ним, узнать последние новости.

Отсюда Кхай спустился к самому устью и под неумным ливнем направился в Наданг, где жили са.

Дожди выпадали в горах, дожди заливали лощины и затопляли леса. Они переполнили русло Намма. Белесые стволы сумахов¹, вчера еще высившиеся на берегу, сегодня торчали по-

¹ Сумак — дерево с прямым стволом и прочной древесиной, используемой в кораблестроении и для различных поделок.

среди разъяренного потока. Ревущий водоворот перевернул долбленную пирогу с раздвоенной, как ласточкин хвост, кормою, и она заплясала на волнах, не в силах оборвать веревку, привязанную к стволу сумаха.

Водяные валы, гулко рыча, мчались друг за другом вниз по течению. Едва успевал схлынуть один, как тотчас вздымался новый и с грохотом захлестывал берега, грозя смыть и унести прочь деревенские хижинны вместе с истлевшим на опушке валежником и сухостоем.

Откуда-то из глубоких нор, словно водяные собаки, стаями выплывали длиннохвостые серо-черные выдры. Разевая пасти, они плыли против течения, огибая водовороты, и временами крик их пробивался сквозь гул потока. Потом они все разом ныряли за рыбой в глубину волн, заглушавших своим ревом голоса зверей.

А с верховий снова и снова набегали пенистые валы, прорываясь сквозь заросли сумаха. Брод через Намма был размыт и затоплен; о переправе не могло быть и речи.

Кхай зашагал вдоль берега, держась видневшихся на траве следов, и вдруг вышел к какому-то полю. В густых зарослях арундины¹ кишели пиявки. Раскачиваясь, они тянулись в ту сторону, откуда слышался человеческий запах, и одна за другой лопались под подошвами резиновых сапог.

Пройдя еще немного, Кхай увидел одинокую хижину, прилепившуюся к огромной каменной глыбе.

Здесь жил шаман из племени са, у которого заночевал однажды Нгиа.

Кхай шагнул из зарослей на прогалину и едва не угодил ногой в отпечаток тигриной лапы прямо посередине небольшого песчаного пятачка. Вода только начала затекать в огромный круглый след и еще не заполнила его до краев. Пожалуй, зверь опередил Кхая всего на несколько шагов. Тигр вышел на добычу средь бела дня!

Кхай взял винтовку наперевес. Вдруг под домом раздался громкий треск. Тигр вломился в хлев!

Кхай выстрелил в воздух и кинулся к дому. Хлев, устроенный под настилом меж сваями, был раскрыт настежь. В глубине лежала небольшая свинья. Она не шевелилась — должно быть, уже издохла. Наверно, тигр только успел броситься на добычу, как его спугнул выстрел.

¹ Арундины — похожее на бамбук растение с длинными гибкими побегами, из которых плетут изгороди и маты для стен.

Зверь средь бела дня хватает в хлеве свинью, а близ дома не слышать ни лошадиного ржания, ни собачьего лая. Никто не кричит, не колотит в котлы, отпугивая хищника... Никого не видать. Неужто тигр подстерег момент, когда люди ушли из дома?

Кхай взбежал по лесенке. За дверью было тихо. И вдруг слышался стон. Значит, там кто-то есть. Переступив через порог, Кхай разглядел человека, тот лежал, привалясь к стене, и трясся в ознобе. Увидев Кхая, незнакомец с трудом приподнял голову. Побелевшие глаза его едва не вылезали из орбит. Кхай сразу узнал шамана, творившего заклинания в доме у Панга.

Старик тогда рассердился и под дождем ушел к себе. Теперь он лежал, скорчившись, похолодевший и серый, точно зола в очаге. Руки его были скрючены, как сухие ветки. Он не смог подняться, даже когда тигр задрал в подполье свинью. Тишину нарушало лишь хриплое, надсадное дыхание старика.

Кхай присел подле больного. Одной рукой он взял старика за запястье и прощупал пульс, другой — снял с плеча ранец и вытащил стетоскоп. Старик бредил в забытьи. Его давно трепала лихорадка, и силы были уже на исходе.

Фельдшер Тхао Кхай приступил к своим обязанностям. Он сделал старику укол, но тот продолжал бредить.

Кхай решил заночевать здесь. Он сходил в лес, нарубил толстых веток и загородил хлев, потом в огороде за домом наломал кукурузных початков. Вернувшись, он расстелил свою брезентовую накидку, разжег очаг и стал жарить кукурузу, слушая, как ревет в ночи беснующаяся вода. Иногда сквозь грохот и гул доносился крик голодных выдр, искавших в волнах добычу.

Болезнь старика сама по себе не опасна, просто у него полный упадок сил. Еще бы, ведь во рту у него небось который уж день не было ни крошки.

Кхай отыскал топленое сало и зажег светильник. Старик открыл глаза, наивные и блеклые, как у младенца.

В темноте за стеной шумел дождь.

Старик спросил чуть слышно:

— Что, белохвостый тигр съел мою свинью?

— Нет, не успел.

— В белохвостого тигра воплотились мои родители. Это отец с матерью приходили поесть свинины... Не надо стрелять в белохвостого тигра...

— Лежите спокойно, вам нельзя разговаривать.

Старик повернулся на бок и прошептал:

— Пить...

Кхай налил в чашку горячего чая, бросил в нее сахар и помог старику сесть.

— Ты... должно быть... королевский шаман?..— снова спросил он.— Пришел, напоил меня бальзамом и спас?

— Да пет,— громко ответил Кхай,— я работник Правительства. Лежите спокойно...

Старик выпил чашку сладкого чая. Он пристально вглядывался в лицо Тхао Кхая, словно изумляясь чему-то, потом наконец улегся и затих.

Ближе к ночи дождь перестал, капли не барабанили больше по листве, и оттого шум паводка стал отчетливей и громче. Старик, помолчав, заговорил опять; он то открывал глаза, то снова закрывал их, речь его была сбивчива и бессвязна — не поймешь, говорил ли он сам с собой или с Кхаем... Время от времени Тхао Кхай отвечал старику, не зная, слышит ли тот его. Больному вроде бы чудилось, будто вокруг него собрался целый сонм духов. Когда взгляд его падал на яркое красное пламя, старик как будто приходил в себя, но вскоре ему снова начинали мерещиться привидения. Множество людей, бог знает когда умерших, сидели здесь, толкуя о чем-то и горько вздыхая. И туманные обрывки разговора между бесплотными духами и живым человеком уплывали из светлого круга возле очага в темноту ночи. Слова сплетались в неясный загадочный диалог, и уже невозможно было отличить высказыванья старика от речей его призрачных собеседников...

— О горе! — это вроде сетовал старик.— Мудрые, всеведущие тхай селятся у подножий. Смекалистые и расторопные мео живут на высоких склонах. Одних только са постигла участь бездомной скотины. Лишь обретя своего государя, получим мы собственную землю, но кто знает, когда явится государь...

— Нет,— отвечал ему Кхай,— этот поганый государь никогда уже не вернется. У са и у мео есть теперь свое Правительство. Конечно, янки не терпят снова посадить нам на шею короля с начальниками, но пусть попробуют сунуться — народ их вышвырнет прочь.

— Выходит, ты совсем ничего не знаешь...— сказал старик.— Государь скоро будет здесь. Королевский посланец уже приходил к нам и все объяснил. Когда объявится государь, мрак окутает землю и небо на семь дней и семь ночей... В каждом доме должно быть припасено побольше хворосту, свечей и воску. Настанет конец света... Да, еще надобно каждому своими руками соорудить челн — когда объявится государь, вода поднимется выше самых высоких гор, и в ней потонут все, кто не

соблюдал постов и запретов. А добродетельные люди останутся жить и вслед за королем поплывут в своих челнах... В каждом доме пусть приготовят двенадцать чашек риса на похлебку для государя... О небо, а ведь я не припас ни единого зернышка!.. Кто сумеет раньше всех угостить государя, тому улыбнется счастье. В этот день старцы помолодеют, дурнушки обернутся красавицами, а малорослые отроки при первом порыве ветра вырастут и возмужают... Кликни единожды — и с небес тотчас прилетит всесильный помощник...

— Скажите, почтеннейший, — спросил Кхай, — откуда берутся все эти странные рассказы?

— ...И еще — пусть каждый приготовит заранее по монете белого серебра... Кто поднесет королю монету, того он причислит к избранному своему народу...

— Да неправда все это!

— Нет, правда. Однажды я уже видел государя; но это был вроде самозванец, ставленник тэй. Нынче же, я верю, явится истинный государь. Ты дал мне сок сахарного тростника и оживил меня, значит, ты и есть посланец неба, обладатель счастливой судьбы. Тебе я открою правду. Кто бы другой ни спрашивал меня — кадровый ли работник или солдат, — ничего никому не скажу.

— Запомни, — он перешел на шепот, — если мышь пожирает рис, не стреляй, не ставь на нее ловушек. Мыши эти — государево войско. Чем больше сгрызут они рису и кукурузы, тем раньше объявится государь. Увидишь диких кабанов, топчущих пашню, не трогай их. Не прогоняй медведей, объедающих кукурузу. Они ведь вовсе не травят урожай, а сберегают его для нас впрок. Когда объявится государь, медведи, кабаны и мыши придут на могилы и помогут покойным родителям нашим восстать из гроба... Женщины пусть привыкают к опию, чтоб ублажить родителей. Если отец с матерью будут курить опий, они больше никогда не умрут... Надо забить на мясо всех белых буйволов, белых свиней и белоперых кур. А не то твари эти ослепят очи воскресших родителей — подойдут они к дому и не отыщут входа... И еще надо прирезать на мясо всех коз, они смердят, и родители, учуяв зловоние, не решатся войти в дом. Но не смейте убивать собак. Одной лишь собаке дано говорить с мертвыми, и она поможет нам узнать вернувшихся предков.

— Больно, дедушка, много заповедей! Всего и не упомнишь.

— А ты не поленись, заучи.

— Да кто же вам наговорил все это?

— Государев посланец. Он все растолковал.

— А он-то откуда взялся? Он был у вас здесь, что ли?

— Был... Заходил однажды. Он воротился сюда из Лаоса.

— Так. Выходит, мы должны сами отсечь себе руки и ноги. Без зерна, без скотины как же вести хозяйство? Тогда всем нам конец придет, дедушка.

Но старик стоял на своем:

— Посланец государя сказал: ни о чем не тревожьтесь. Каждая дикая былинка даст три съедобных растения: из корешков ее вырастут бобы, из стебля — кукуруза, из вершков — рис. Едва все съедят, плоды и злаки созреют снова. И человек от одной-единой травинки прокормится всю жизнь.

Кхай, с трудом удерживавшийся от смеха, изобразил удивление:

— Вот уж не слыхал о такой траве. Ну и что же дальше?

— А вот что: человек, наточивший поострее свой нож, получит поле; к тому, кто сколотит добрые ясли, прибегут свиньи. Король наш вернется верхом на двенадцатиглавом самолете. Самую лучшую посуду, одежду и утварь — все доставит нам государь. Да ты ведь еще не знаешь: люди са, зао и мео приведут к нам назад короля из Лаоса, это случится в восьмом месяце года. Пусть никто не уходит в носильщики и в солдаты, а тех, кто работает с кинями, надобно отозвать домой. Если они не воротятся в срок, родители их не восстанут из мертвых.

От страшных речей этих, зловеще звучащих в ночи, наполненной гулом разъяренных потоков, Кхаю стало не по себе.

Но он терпеливо слушал старика, покуда тот не затих, усталый и ослабевший. Кхай не стал прерывать старика, не вышучивал его и не пугал. Но, слушая бессвязные его речи, он чувствовал: это не обычные выдумки про духов и оборотней. Враги затеяли злое дело. Ловко играя на суевериях и невежестве, кто-то задумал снова посеять среди людей междоусобицы и страх. Бедный старик!

— Отчего же, несмотря на соблюдение запретов и долгие молитвы, государь до сих пор не вернулся? — спросил Кхай.

— Да ведь запреты блюлись и молитвы творились не от чистого сердца.

— Выходит, снова надо молиться?

— Пусть сосчитают всех до единой свиней и кур, соберут для закланья и принесут в жертву — тогда закланья обретут должную силу. Может статься, и после всех молитв король не воротится к нам, тогда нужно самим идти в Лаос, ему навстречу. А если кто на пути в Лаос повстречает солдат, стерегущих реку Ма, пусть повернет назад, в лес, и идет другой дорогой,

чтоб не попасться им на глаза. Так учил королевский посланец...

«Нет, здесь и впрямь не обошлось без вражеских козней», — подумал Кхай и спросил:

— Что ж, король боится наших солдат?

Но старик знай твердил свое:

— ...Переправляясь через реку Ма, иди, не останавливаясь, пока не увидишь танцующих прямо посреди дороги двух стариков са, одетых во все белое. Тогда лишь можешь отдохнуть: это король выслал навстречу своих челядинцев. Здесь начинаются королевские владения.

— Неужели вы думаете, почтеннейший, — Кхай решил доискаться до сути, — что король посмеет вернуться сюда и не побоятся Правительства?

Старик молчал. И тут Кхай не выдержал и расхохотался. Смех его заглушил невнятное бормотание старика.

Он понял: шаман — человек одержимый и сам боится того, о чем говорит.

Усталый старик забылся сном.

Кхай решил было расспросить его обо всем поподробней, но потом передумал: ведь старик болен, да к тому же все эти страхи измотали его вконец. Лучше уж обождать до утра — старик придет в себя, и можно будет выведать у него, есть ли и впрямь серьезный повод для опасений, а заодно и раскрыть глаза этому ослепленному суевериями человеку.

Кхай не верил всем этим выдумкам, издавна засевшим в головах стариков, как улитки в раковинах. Но по собственному своему опыту знал: наука, сталкиваясь с темнотой и невежеством, заполонившими сознание людей, иногда побеждает, а иногда и терпит провал. И предвидел, что на медпункте, где будут работать всего три человека, хлопот и сложностей не оберешься.

Погруженный в раздумья, он ворошил тлеющие угли и время от времени, привалясь спиной к столбу, забывался сном.

Небо на востоке постепенно светлело. Утро выдалось на редкость солнечное и ясное для этого времени года. Гребни гор, обступивших хижину, были очерчены отчетливой серо-зеленой каймой. Туман из ущелий сползал вниз, выбелив край лощины. Потоки, злобно бушевавшие ночью, умчались куда-то. Монотонно и негромко журчала вода в речке, струясь меж камнями. И мрачные мысли, которые обычно овладевают человеком в ночной темноте, рассеялись с приближением утра. Ватные облака тронулись в путь навстречу солнечным лучам. Прыгавший по камням черный дрозд затапул свою звонкую переливчатую пе-

сенку. И трель его веселым эхом отдавалась в сердцах. Лицо шамана просветлело. Вся чертовщина, о которой говорил он ночью, исчезла. Перед Кхаем сидел теперь добродушный старик, очень добродушный и очень усталый, он следил за тем, как фельдшер, наклонясь, складывает брезентовую накидку и собирает рюкзак. Лихорадка отступила, лекарство вернуло больному силы, и он, опираясь на руки, приподнялся и сел.

Тхао Кхай снова заварил чай, потом бросил в него сахар. Глоток сладкого чая, столь редкостного и непривычного здесь, напомнил старику о той чашке чаю, что привела его в чувство минувшей ночью.

Государь и чиновники, оборотни и призраки — все сгинуло. Сейчас старик видел перед собой лишь «работника Правительства», который прогнал тигра, пытавшегося утащить свинью, дал ему самому целебное зелье и напоил сладким чаем, короче — спас его от смерти.

— А-а, вы поднялись, почтеннейший, — обрадовался Кхай, — ну, значит, все в порядке.

Старик стал перед ним на колени и поклонился ему:

— О всемогущий дух, ты исцелил меня.

— Да никакой я не дух. Я лекарь, присланный к вам Правительством.

— Пра-ви-тельство... — забормотал старик.

Слово это было ему известно. Он помнил кадровых партийцев, которых перевозил когда-то на своей лодке через речку Намма. И песню про тяжкую долю народа пуок¹, горькую и скорбную, заученную еще с детства, помнил он лучше молитв и заклятий. И теперь, когда, очнувшись после тяжелого забытья, старик увидал в доме Кхая, он понял: это благодаря «лекарю Правительства» не умер он прошлой ночью. Потом он припомнил, что видел уже этого лекаря раньше в доме старосты Панга. И старик проникся доверием к гостю, хотя в глубине души и побаивался его. Но вот в доме стало светлее, не видать было ни короля, ни королевских посланцев. И старик наконец уверовал в то, что они здесь одни — он и человек, который его спас. И вера, скрытая, но глубокая вера переполнила его сердце.

— Послушайте, товарищ, — спросил он, — говорил я что-нибудь ночью?

— Да уж наговорили всякого, — рассмеялся Кхай.

Старик поднял глаза, они все еще были мутны.

¹ Пуок — народность мон-кхмерской группы.

— А ведь я и вправду встречал короля.

Са и зао, по натуре сдержанные и скрытные, обычно хранили в тайне все, что касается их рода, семьи и личных дел. Они издавна славились своим усердием и пытливым умом. Сидя у очага, угольками и палочками выписывали они на земле иероглифы и умудрялись выучиться чтению и письму.

Если в войну Сопротивления кто-нибудь из партизанского края — будь то боец или партработник — попадал в руки врага и был тот человек из племени са или зао, можно было не тревожиться: он ничего не выдаст врагу. Люди зао и са молчали, даже когда вражеский штык упирался им в горло. Но если уж они доверяли кому, то не утаивали и самой малости.

Вот и старик проникся доверием к Тхао Кхаю, который спас его от смерти и сейчас говорил ему слова справедливые и верные, каких он прежде никогда не слышал. Встречал он не раз председателя Тоа, бывал у него и партиец Нгия, но с ними он не решался откровенничать и ничего не рассказывал о себе.

А вот Кхаю он открыл все начистоту. Впервые старик из племени са, настрадавшийся за долгий век, поведал о жизни своей молодому парню из племени мео — человеку не только другого поколения, но и чужой крови. Он поведал Кхаю о долгих и тягостных годах, когда скитался он по дальним рекам с одним лишь ветхим неводом, доставшимся от прадедов. И нынче, на склоне лет, ему, одинокому как перст старику, приходится нырять в речную глубину, чтобы закрепить на быстрине свою сеть. Когда-то он перевозил подпольщиков на своей лодке, делился с Революцией последним початком кукурузы, последней горстью банговой муки. Он верил: скоро настанут светлые времена. Даже когда тэй перебили всю деревню Хуоика, старик не изменил, не дрогнул и только после того, как он сам попал в руки тэй и во французском форте собственными глазами увидел короля — старик так и не понял, законного или самозванного, — его по ночам стали обуревать сомнения. И жизнь его сделалась еще беспросветнее и печальней.

— Давно уж я хочу спросить знающего человека... — Старик вздохнул. — Что же было на самом-то деле? Взаправду ль встречал я партийцев и впрямь ли видел короля? Партийцы обещали когда-то: вот прогоним захватчиков и заживем вольготно и радостно. А я-то, я доживу ли до этих счастливых дней?.. Поди-ка тут разберись. Я ль не творил молитв и заклятий! Отчего же король не пришел спасти меня от бед? Отчего не воскресли мои отец и мать? Да только некого мне расспросить...

— Раз уж, почтеннейший, вы доверились мне, — сказал Кхай, — позвольте, я вам отвечу. Король, которого видели вы у французов, — самозванец. Тэй нарядили его в желтое платье¹, но позабыли надеть на него, как положено, дорогие штаны и башмаки. Оттого-то вы, кланяясь, и заметили его босые ноги и драные штаны. Да вы просто не поняли: скорее всего, это был переводчик, замазавший лицо белилами. Хитрость-то невелика.

Старик был ошеломлен. Он задумался, бормоча что-то себе под нос, потом медленно спросил:

— Желаете ли, товарищ, выслушать меня до конца?

— Да. И что же было дальше?

— А потом я встретил королевского посланца.

— Где? Во французском форте?

— Нет. Я повстречал его здесь совсем недавно.

— Как, королевского посланца? И что же он говорил вам?

— Он сказал: хотите, чтобы государь возвратился, соблюдайте посты и запреты. А если не вернется, отправляйтесь в Лаос ему навстречу. И еще говорил он: когда возвратится король, мео и са заживут счастливо...

Кхай встревожился не на шутку. Наконец-то смысл их ночного разговора начинал проясняться.

— Товарищ, а вы-то ночью слышали мой рассказ?

— Конечно, дедушка, я слушал, и очень внимательно. Мне теперь все понятно. Это враг подстрекает народ снова начать курить опий, оставить работу, бросить свое добро, перебить весь скот, коней и птицу. А потом, когда в деревнях люди начнут пухнуть от голода, он может сделать с ними все, что угодно. Вот в чем тут дело.

— Нет-нет, королевский посланец вовсе не враг. Оп — мео, точь-в-точь такой, как вы.

Кхай вздрогнул. И, словно желая проверить родившуюся у него догадку, быстро спросил:

— А не приезжал ли посланец на малорослом коньке? На лбу у коня еще белая отметина...

— Не помню.

— А откуда, с какой стороны он пришел?

— Воп из того леса.

— Вы не заметили случаев на лице у него длинный шрам от медвежьих когтей?

Старик задумался.

¹ В старину во Вьетнаме, как и в других странах Юго-Восточной Азии, монарх в отличие от своих подданных носил платье желтого цвета.

— У него было ружье... как у вас...— запинаясь, ответил он.— Но я не посмел взглянуть в лицо королевскому посланцу.

— Послушайте, дедушка! — Голос Кхая стал серьезен и строг.— Так уж бывало не раз: враги пробираются сюда, чтоб обмануть, одурачить и сбить с пути всех нас — и са, и мео. Мы не должны верить ни единому их слову. Только люди Правительства говорят правду.

Вода, накануне затопившая лес, спала, обнажив заросли су-маха с беловатыми корнями. Кхай решил завернуть одежду, ранец с лекарствами и винтовку в непромокаемую ткань и, не медля, переплыть на другой берег. Нависшие тучи вот-вот опять разрешатся дождем, и, пока утих ливень и спала вода, надо поскорее добраться до Наданга.

Кхай оставил старику пачку сахара, несколько желтых пилюль хинина и десяток тонизирующих таблеток. Старик понюхал таблетки, запах был непривычный, чуть резковатый.

— Через денек на обратном пути загляну снова,— сказал Кхай,— надеюсь, застать вас уже на ногах.

— Вы, товарищ, теперь все про меня знаете.— Старик был явно испуган.— Боюсь, как бы чего не вышло.

Кхай взял его за руку.

— Запомните, дедушка,— сказал он, отчетливо выговаривая каждое слово,— на свете нет ни духов, ни короля. Правительство наше сильнее всех, его никому не одолеть. А если кто говорит другое, значит, он чужой человек и его не надо слушать.

— Да-да...

Старик чуть заметно шевельнул губами. Он все глядел и глядел на гостя. Всю всколыхнувшуюся вдруг в его сердце теплоту и нежность отдавал он теперь Кхаю. Но сомнения и тревога все же не покидали его. Он похож был сейчас на младенца, только что научившегося стоять на ногах.

А Кхай преисполнился самых радужных мыслей. Как здорово, что шаман внял его словам! Старик отошел было от Революции, а теперь благодаря ему, Кхаю, снова вернулся к прежним убеждениям. Ведь у са и у мео было единственное спасение — Революция. Он вспомнил, как еще мальчишкой был связным в партизанском отряде и земляки са не раз перевозили его через реку, а если попадались навстречу французские патрули, са вели его в обход. Целая их деревня Хуоика погибла во имя Революции. Такова верность и душевная чистота этого народа...

Кхай на прощанье крепко пожал старику руку.

Во время паводка, когда зерно старого урожая было уже съедено, а новый урожай еще не поспел, в Наданг вместе с наводнением нагрянул голод. Лица людей от забот и тревог стали серыми, как напоенное влагой небо. С рассветом все уходило теперь в лес: вдруг посчастливится срубить ствол банга или накопать клубней май.

Одни лишь никчемные плоды коонг, раскрыв свои пять темно-красных долек, беспечально качались над мрачной деревней. Паводок ворвался в селение, и вода бурлила меж сваями домов. Свиньи и куры, спасаясь от наводнения, убежали в горы и разбрелись в поисках корма. Лишь изредка до деревни доносились их визг и кудахтанье.

Кхай направился напрямик к дому Панга.

В протоке, полной воды, плескалась шумная ватага детишек; темные от загара животы и спины лоснились, как речная галька. Они волочили по воде стебли бамбука. Это были их лодки. И лодочники, обгоняя друг дружку, вели свои суденышки через «смертельные» пороги меж торчавшими из воды камнями. Над водой звенел ребячий смех.

Завидя пришельца, один из мальчуганов — с малышом на спине — со всех ног кинулся в лес.

Кхай пригляделся и узнал сына старосты Панга. Он догадался: парнишка, заметив гостя, побежал за отцом. Малыш, которого вылечил Кхай, важно восседал на спине у брата и, обернувшись к оставшимся в воде дружкам, улыбался во весь рот. А те, поглазев на Кхая, вернулись к оставленным «лодкам»: шутили, впереди ждут самые быстрые и грозные «стремнины». Время от времени в протоку течением заносило обломки плота с обрывками канатов и дети встречали их громкими криками.

Им не было дела до забот и тревог взрослых и не нужно было ломать голову над тем, где добыть пропитание. К вечеру вернутся отец с матерью и накормят их молодыми, едва завязавшимися початками кукурузы, а не то и чашку риса дадут — того самого риса, которому теперь не было цены и который в каждом доме сберегали по зернышку, чтоб поддержать малышей в голодную пору. И дети резвились, беззаботные и веселые, как красные плоды коонг.

Панг, воротившись домой, обрадовался неожиданному гостю. Ему, как и всем остальным, приходилось теперь нелегко. Зерна в кукурузных початках едва начали наливаться. Но с того дня, как Панг повстречал Кхая, особенно после исцеления сына, он

знал: Правительство здесь, рядом с ним, Правительство не оставит их в трудную минуту; и он больше не чувствовал себя заброшенным и одиноким. Кхая он встретил точно родного брата.

— Ну, как дети? — спросил Кхай.

— Да вон они, глаз с вас не сводят!

Старший сынишка с малышом за спиной стоял на верхней ступеньке лестницы, и оба глядели на гостя.

— Может, на этот раз погостите у нас подольше? — осведомился Панг.

Вместо ответа Кхай спросил:

— Вы сумеете собрать людей?

— Да мы сами ждем не дождемся встречи с партийцем, — ответил Панг.

— Много ли здесь надежных людей?

— Голод у нас, вот кое-кто и ропщет; позвали шаманов, собираются резать свиней и птицу — встречать короля... Беда с ними, — он улыбнулся, — слушают и наших и ваших! Темные люди.

Слова Панга чем-то напомнили Кхаю рассуждения старика шамана: «Какая ни будет власть, а нам, са...» Это сразу насторожило его, и он снова спросил:

— А в чем же все-таки дело?

— Мы ведь живем в бедности да на отшибе, вот и слушаем всех, всего боимся. Услышим доброе слово от вас или ваших товарищей и запомним его. А там, глядишь, кто-нибудь вроде подонка Нгу распустит злую молву, и люди опять начнут дрожать от страха, сами не знают, чего боятся... А тут еще отребье из Лаоса повадилось к нам, в Наданг. Придут, нагородят небылиц и уйдут. Их уж давно и след простыл, а ты вот толкуй да объясняй, покуда в народе не улягутся сомнения. Лазутчики эти по большей части воры да разбойники; встречаются, правда, и начальничьи прихвостни или людишки вроде купца Цина. Не забыли мы, как они торговали, бывало, ружьями да опием, грабили народ на ярмарках, как убивали или силком уводили людей — вот все и боятся их, точно ядовитых змей.

— Правильно, Панг, верно... Я и сам понял: суеверия и невежество вот так с маху не искоренить. Одними речами делу не поможешь. Надо не только все разъяснить людям, но и жизнь перестраивать заново. Вот тогда «нечистая сила» и выветрится у людей из головы. Враг хочет воспользоваться трудностями голодного времени и снова сбить народ с правильного пути, заморочить ему мозги всякой чертовщиной. Мы должны прижать реакционеров как следует.

— Хорошо бы,— сказал Панг.

— Сегодня же вечером соберем народ,— решил Тхао Кхай.

Узнав о приходе Кхая, все как один потянулись на сходку. В доме на сваях ярко горел очаг, полыхали факелы, освещая людей в серой, как земля, одежде, сшитой из полотна, которым спешили прикрыть наготу, не давши ему впитать и капли ярко-синей краски. Прошлый урожай погиб, да и нынешний был плох. Кукурузные поля отливали сухой желтизной, и лица людей потемнели от горя, от тревоги за каждый кукурузный початок, каждое зернышко риса, от опасений и страхов, рожденных черными слухами, ожиданием смуты.

Люди, прослышав о появлении Кхая, шептались: «Это тот самый работник Правительства, что прогнал шамана. Ему и нечистая сила нипочем...» Народу собралось много, и всех обуревало любопытство, неумное, как предвкушение щедрого урожая.

Кхай рассказал землякам из Наданга про социализм и охрану здоровья, про новый медпункт и строительство больницы.

Люди, успевшие полюбить Кхая, слушали его внимательно, он говорил просто и понятно, и они верили каждому его слову.

Под конец Кхай вдруг спросил:

— У вас в Наданге кто-нибудь творил заклинания и молился о возвращении короля?

Все, словно в рот воды набрав, молчали.

— Не было ли у вас чужаков? Не говорили они: надо, мол, поститься, бросайте работать и молитесь о возвращении короля?

Меж сидящими поднялась долговязая и тощая фигура.

— Не знаем, товарищ! — быстро произнес незнакомец и снова уселся на пол.

Но люди узнали старого Нгу.

— Уж он-то небось знает! — слышались голоса.

Однако смельчаки тотчас спрятались за спины соседей: не ровен час, старый Нгу запомнит кого-нибудь в лицо и потом при случае отомстит.

Тогда снова заговорил Кхай. Он рассказал все, что услышал ночью от старого шамана.

Многие в изумлении переглядывались: откуда партийцу все известно? Чудеса — да и только!

— Реакционеры подбивают нас бросить работу,— говорил Кхай,— перерезать скот и птицу, чтобы потом, когда нужда схватит нас за горло, мы покорились им, отступились от Правительства и следом за ними ушли за границу. Пусть же никто из нас не будет доверчив и глуп! Не поддадимся на их уловки!

— Да у нас таких дураков и нет! — сказала какая-то женщина. — Жаль только, есть между нами выродки, позабывшие свое племя и род.

— Правительству известны имена злоумышленников — все, до единого! — Голос Кхая зазвучал громче. — И вы их не слушайте. Слушайте, что говорит товарищ Панг. Надо всем сообща идти в лес и на реку, копать клубни, ловить рыбу. Вместе мы одолеем голод, вырастим добрый урожай, и тогда всего у нас будет вдоволь.

— Нет! — Панг поднял над головой кулак. — Нам ни к чему ждать короля. Мы ждем только прихода социализма! А строить его нас учит Правительство.

Люди разошлись. В опустевшем доме остались только двое.

— Почему это, — спросил Кхай, — на мои вопросы одни отвечали «знаем», а другие — «нет»?

— Как раз тому, кто сказал «не знаем», все известно. Это подонок Нгу, он у нас грабил раньше опий для купца Цина. Потом исчез куда-то, а недавно снова объявился в Наданге. Соседи опасаются, как бы он не прирезал кого. Вся деревня знает, что он связан с засевшей в лесу бандой. Они повадились приставать к людям на дальних пашнях, а Нгу как раз распал себе поле на отшибе.

— Вы боитесь его, товарищ Панг?

— Да нет, не боюсь, никто его не боится.

— И правильно делаете...

— Я побывал внизу, в городе Иен, — раздумчиво произнес Панг, — и убедился: дела идут на лад. Я знаю, Правительство никогда не бросит наш народ. Оно доставит сюда буйволов, научит людей из племени са пахать землю и разбивать большие поля. Только когда са научатся пахать и орошать землю, они позабудут нужду и голод. Так говорит Правительство, и это правда. Вот мы голодаем и бедствуем, бродя вдоль рек в поисках рыбы да ковыряясь на своих огородах. А все оттого, что нету у нас ни буйволов, ни плугов, ни просторных заливных полей.

— Если все жители деревни проникнутся вашей убежденностью, тогда любое дело нам будет под силу...

Кхай знал: если хочешь изжить подозрения, суеверия и страх, надо работать, работать много и упорно. Это ведь как земля, которую раз, и другой, и третий взрежешь плугом, прежде чем станет она рисовым полем. И все-таки деревня уже совсем не та, какой была во время его первого приезда.

Взять хотя бы старосту Панга: испытания и трудности закаляли его, и теперь он вполне достоин быть членом партии. Вот здорово! Он будет первым партийцем в Наданге. И Кхай решил поговорить об этом с Нгиа и с председателем Тоа.

* * *

Когда Кхай вернулся в Финша, оказалось, что Нгиа уехал по делам в город. Но Тхао Кхай настоял, чтобы срочно было назначено собрание партячейки. Он подробно доложил о положении в Наданге, о том, как выросла сознательность Панга и окреп его революционный дух — особенно по сравнению с тем временем, когда Нгиа впервые побывал в Наданге.

Из его доклада все поняли, что на границе, возле Наданга, назревают какие-то тревожные события.

— Да-а,— возмущался Тоа,— шаман этот — крепкий орешек. Столько раз я видел его, а он и словом не обмолвился. Нет, что ни говори, понять людей нелегко.— Потом добавил встревоженно: — Ну коли так, я сам должен спуститься в Наданг.

Как только возникала опасность — пусть даже самая пустяковая,— председатель Тоа горячился, как конь на скаку, и его невозможно было утихомирить. Он подробнейшим образом обсудил с Кхаем все, что предстояло ему сделать в Наданге: повидать старого шамана, встретиться со смутьяном Нгу, наметить с Пангом дальнейшие планы...

Паводок спал, и председатель тотчас отправился в путь. По дороге он завернул к дому старого шамана. Хлев все еще был загорожен ветками, но в доме царило запустение: нигде ничего — ни выщербленной чашки, ни хотя бы драной сети или треснутого кальяна. Уж не помер ли старик? Нет, не может быть. Что же тогда стряслось? Может быть, он по совету Кхая перебрался в деревню, к старосте Пангу? Пожалуй, так оно и есть...

Но он ошибся.

Через несколько дней после ухода Кхая старик выздоровел, вспомнил, какую сокровенную тайну открыл он Кхаю, и преисполнился страха. Он сидел один-одинешенек в своей хижине, а опасенья его и тревоги росли день ото дня. «Бывало ль такое, чтобы человек выдал государевы секреты чужаку из другого племени, да еще партработнику? Разве предатель не обречен быть растерзанным тигром или ужаленным змеей?»

Вечерами старику чудилось, будто тигры и змеи уже у самой двери... Он ждал: вот-вот вернется королевский посланец и отомстит ему... Ведь королевский посланец знает дорогу, он при-

едет сюда и убьет его. Старик страшился тигров и змей и опасался встречи с Кхаем — он боялся всех и вся!

И старый шаман решил скрыться, уйти в лес и найти себе новое пристанище где-нибудь у берегов другой реки...

Одинокая цикада, схоронившаяся на время паводка где-то между камнями, вдруг завела свои печальные трели. Черно-серый — после дождей — утес, нависший над хижинкой, рассекали трещины, сплетаясь в злобную шутовскую личину.

Тучи, переползавшие через вершины, волочили сюда новую стену дождя. Долина Наданг, стиснутая скалами у речного устья, вновь утонула в водоворотах ливня, в омуте человеческих страхов и надежд.

Когда председатель Тоа спустился в деревню, Панг сообщил ему:

— Старый Нгу неделю назад исчез без следа.

ХІІІ

Миновала пора дождей. Начинался девятый месяц.

Небо над Финша стало выше и как бы невесомей. А горы словно раздались вширь долгими сине-зелеными полотнищами.

Ручьи, смирные и подобревшие, вернулись в свои русла, и тихое их журчание звучало ласково, как колыбельная песня: «А-а... Па-а-ой... Спи... сыночек... мой...»

На шеях буйволов и быков, направлявшихся к выгону, позвякивали колокольцы. Черные и рыжие быки шагали неторопливо и важно, а белые козы резво скакали вокруг них по кручам.

Девушки, проходя по полю, срывали упругие листья и, свернув их в рожок, дудели, скликая дружков. Время от времени одна из них останавливалась, настороженно слушая обступившую ее тишину. Потом, отломив пустой кукурузный стебель, не давший початка, жевала его, чтобы освежить соком горло, и принималась снова играть на рожке. Иной девушке вовсе некого было звать, и она обращала свою песню к неведомому, но желанному другу.

В предвечернем воздухе очертания ближних и дальних гор сливались в темно-зеленую стену, высившуюся над лоснящейся желтизной кукурузных полей.

Парни и девушки, покуда не началась жатва, сговаривались друг с дружкой и отправлялись из дальних деревень на базар, а там, не жалея ног, шли на другой, по соседству. Любители пти-

чьих боев силками ловили соловьев в бамбуковых рощах. А усердные и рачительные хозяева уже распахивали ближние полянки, готовя их под осенние посадки сои.

В Финша пришел караван — сотни вьючных коней с первым товаром для нового магазина. Вместе с караваном вернулся Нгиа.

Он немедленно отправился на поиски Кхая.

— Нет его дома, — сказала Зианг Шуа, — он на работе.

— А он ничего не передавал мне? — спросил Нгиа.

— Нет.

Но Ми сказала, улыбнувшись ему:

— Кхай просил, когда вы объявитесь, зайти к нему на медпункт.

— Тогда я пошел, — заторопился Нгиа.

— А меня с собой не возьмете?

Нгиа, усмехнувшись, промолчал. Но Ми как ни в чем не бывало зашагала за ним следом. Она частенько заглядывала на медпункт. Там с первого дня отбою не было от любопытных. Люди приходили, усаживались и, покуривая табак, глядели, как Кхай делает уколы и исцеляет больных.

Народ валил на медпункт спозаранку — одни за лекарством, другие на прививку; очередь огибала весь дом. Да и само здание медпункта с побеленными известкой стенами и распахнутыми окнами, где развевались цветные занавески, было людям в диковинку. На стене за дверью приколоты плакаты с изображениями детей: один ребенок сладко спал, а другой улыбался во весь рот — оба упитанные, круглые, как тыквы. Правительство может вылечить любую хворь — теперь это знали все. Жаль только, больным, что жили далеко в горах, трудно добираться сюда по плохим дорогам. Хорошо бы устроить на тропе из Тхенфанга лестницу; там без ступеней по скалам не пройти. Вот и ходят пока на медпункт лишь жители ближних деревень, но все равно от пациентов нет отбоя. Люди привыкли к лекарствам, особенно им полюбились уколы. «Вколешь лекарство, — говорили они, — и сразу поправишься».

Кхая на медпункте не оказалось. И никто не знал, где он. Возможно, он снова спустился в деревушки, стоящие внизу, на реке, чтобы закончить опрыскивание малярийных болот.

Даже председатель Тоа не знал, где Кхай. Он сам только что вернулся — ездил на несколько дней в деревню лы. Обернувшись к Ми, стоявшей в дверях медпункта, он спросил:

— Ниа дома?

— Ушел за хворостом.

— Говорят, какая-то банда снова перешла границу и засела в лесу возле Наданга,— сказал председатель, обращаясь к Нгиа.

— Откуда это стало известно?

— Панг сообщил. И подонок Нгу исчез куда-то.

— Да-а, дела...— задумчиво протянул Нгиа.

Он как раз собирался обсудить с председателем и Тхао Кхамом, как наладить рекламу открывающегося в Финша магазина. Но вот в Наданге кто-то опять раздувает слухи и подстрекает народ «копить белое серебро в подарок новым начальникам, они-де вот-вот явятся вместе с государем». Нгиа почувствовал, как сердце его тревожно сжалось...

Вот уж который месяц люди сходятся в Финша на строительство магазина. Скоро уже и открытие. То-то будет праздник на всю округу! Но раз из Наданга пришли дурные вести, спокойным оставаться нельзя. Партячейка уделяет Надангу особое внимание. Нгиа и сам не раз бывал там. Тхао Кхай вон сумел даже старосту Панга вовлечь в партийную работу.

Хотя Нгиа поручили наладить торговлю в Финша, он принимал близко к сердцу любое дело, как прежде, когда руководил партработой в общине. Из памяти его никогда не изгладятся те дни, когда он впервые ступил на землю Тэйбака. Он пришел сюда тайными тропами подпольных связных — через Черную реку и реки Тхао и Ма и кружной дорогой добрался до Финша. Целый год пробирался он по вражеским тылам. Здесь Нгиа впервые встретил людей мео и са и сразу нашел с ними общий язык. Они давно уже ждали встречи с Партией.

Однажды отряд карателей напал на опорный пункт, где находился Нгиа. Сам он успел скрыться в лесу, но заблудился. После долгих скитаний, изможденный и больной, он не в силах был идти дальше и забрался в пещеру, неприметную в лесной чаще. Уездный комитет все время разыскивал его, но не нашел. За долгие недели, проведенные в пещере, Нгиа оброс бородой. Он лежал на камнях, не в силах сдвинуться с места. Шаря вокруг себя рукой, он обрывал мох и листья и жевал их; иногда удавалось поймать улитку, и он съедал ее. Когда Нгиа немного оправился, он выполз из пещеры и побрел по лесу. Лишь повстречав людей, он поверил, что остался жив.

В самые тяжелые и опасные дни народ укрывал Нгиа, кормил его и прислушивался к каждому его слову. Вот почему он непоколебимо верил в здешних людей. Подчас он склонен был кое-что упрощать. Руководствуясь лишь собственными субъективными взглядами, Нгиа не вникал в суть событий и, более того, даже не думал, что тут нужен какой-то анализ происходя-

щего. Но таковы уж были навыки у того поколения кадровых работников, которые сражались в годы Сопротивления здесь, в Тэйбаке...

Итак, взволнованный и обеспокоенный, Нгиа направился в Наданг.

XIV

— Внемли мне, сын мой, и я открою тебе суть свершившихся событий. Враги отпустили тебя на свободу, но знай, они дено и ночью следят за тобою, чтобы изобличить и убить тебя. Берегись, будь всегда начеку. Знай: первым, кто вонзит в тебя нож, будет твой младший брат, который стал лекарем у коммунистов. Ежели ты, сын мой, не будешь осторожен и скор, враги господа бога убьют тебя. Главное — не упусти подходящий случай. Будь осторожнее, будь зорче, смелее и усердней молись богу.

А теперь я поведаю тебе отрадные вести, они — благодарение господу — идут отовсюду. Внизу, в округе Мок¹, тысячи людей готовы к выступлению и только ждут сигнала. Точно так же обстоят дела на реке Ма и — до самого Баола в Хоабине² и Кишона, что в Нгеане³. Тысячи и тысячи людей прозрели и идут по стезе, указанной господом богом. Ежели здесь у тебя, о сын мой, все готово, это хорошо. Восстание вспыхнет разом по всей границе.

Братья твои во Христе, что спустились с тобою вместе на парашютах, все как один преуспели в делах своих. А те, кто пока остался дома, вседневно возносят за тебя молитвы и верят: ты сподобишься небесной благодати...

— Тяжело мне здесь.

— Помнишь ли, сын мой, каково было в Корате?

— Помню. С божьей помощью я спасся и стал человеком.

— Не забывай же, ты — человек божий и эти подонки, коммунисты из Финша, вовсе не родня тебе; нет у тебя здесь ни матери, ни сестер, ни братьев.

— Да, отец мой.

— А помнишь ли ты владетельного Бун У из Шамбатсака?

— О да, святой отец.

— Господь бог поставил владетельного Бун У государем над

¹ Мок — город и округ на юге Тэйбака, на дороге № 6.

² Хоабинь — провинция и город в предгорьях и горных районах к западу от Ханоя.

³ Нгеан — провинция Центрального Вьетнама, расположенная на территории ДРВ.

мео и са. Мы должны собрать как можно больше народу и увести к законному государю. Внемли же моим словам: в ближайшие две недели ты, сын мой, обязан внести свою лепту в общее дело — увести за собою побольше людей от коммунистов в землю, удобную господу богу.

— Святой отец, я помню все ваши наставления.

— Уездный начальник Шонг Ко ожидает тебя.

— Я знаю.

— Не забудь же благодеяний твоего духовного отца. Не осрами меня перед престолом всевышнего. Ты ведь давно идешь истинною стезей, указанной мною. Я верю в тебя, сын мой.

— Я постараюсь, отец.

— Вот и прекрасно.

— Только вот мой младший брат...

— Говорю тебе: не брат он твой вовсе. Ну а что старуха с дочкой?

— Я хотел бы взять их с собой в Лаос.

— А этот безбожник, который ушел когда-то с господином Шонг Ко, а теперь стал начальником у коммунистов, он еще не ступил на путь истинный?

— Председатель Тоа?..

— А ты разве не говорил с ним, сын мой?

— Святой отец...

— Неужто ты не пытался открыть его помыслы?

— Нет, я...

— Жаль, это — твое упущение. Будь же осмотрительней, будь еще осторожнее, чем прежде, и молись, молись...

XV

После разговора со святым отцом Тхао Ниа оживился. Он снова решил попытаться сманить мать с сестрой за границу.

Однажды, приведя из лесу коня, навьюченного хворостом, он сказал Зианг Шуа:

— Послушайте, мама, сейчас мы не работаем в поле, не хотите ли сходить со мной и с сестрой поразвлечься?

— Это куда еще?

— Уйдем подальше в горы. Глядишь, отыщем родню да погуляем денек-другой.

— А председатель Тоа разрешил тебе?

— Да ведь мы ненадолго; повеселимся, попируем и назад!

— Ну а брата ты спросил?

У Ниа глаза налились кровью.

— Он моложе меня! Я не обязан у него отпрашиваться.

— Нет,— спокойно и веско сказала Зианг Шуа,— тогда нельзя.

— Но раз мне разрешили вернуться сюда из города, значит, я отбыл свое наказание и могу теперь жить, как все.

— Неправда! — вскричала Зианг Шуа.— Ты чужой еще нам человек!

— Выходит вы, мама, снова хотите упрятать меня в тюрьму?

— Нет, по сперва займись полезным делом, как Кхай, а там уж и заживешь, как все люди.

— Ладно... Ладно,— хмурился Ниа. Но потом снова завел сладкие речи: — А знаете, мама, в Лаосе мео живут припеваючи, ей-богу. Сестре там должно понравиться.

«Выходит,— изумилась Зианг Шуа,— он по-прежнему расхваливает американцев, дескать, богаче их нету! Нет, все-таки чужой он нам...»

Сердце матери обожгла боль. Но она сдержалась и, стараясь казаться спокойной, спросила:

— А как же Кхай? Ты и его возьмешь с собой?

Обрадовавшись, что мать заговорила всерьез, Ниа ответил:

— Да ведь он у нас вечно занят. Вон у него сколько дел, где же ему отлучаться? Вы ему лучше ничего не говорите, ладно?

— Ну а ты всерьез надумал идти в Лаос?

— Да.

— Выходит, к американцам решил податься?

— А вы с сестрой тоже пойдете?

— Куда?

— Да в Лаос, куда же еще?

Зианг Шуа потеряла власть над собой, и голос ее задрожал:

— Нет!

Ответ прозвучал резко, словно хлопок лопнувшей веревки. Оба застыли в растерянности.

Зианг Шуа поднялась и вышла за дверь.

А Ниа, обуреваемый невеселыми мыслями, остался сидеть у очага. Он откинулся назад, прислонясь к столбу, неподвижный и безмолвный. Так сидел он долго, и ему казалось, будто он никогда уже не поднимется на ноги. Хитрость и злоба в раздвоенной его душе отступали перед тревогой и болью сыновнего сердца.

Словно бы два потока виделись ему: один прозрачный и тихий, другой бурливый и мутный. Сколько бы раз за все эти годы ни захлестывали его свирепые, мутные волны, на дне души его

не иссякала память о горных вершинах, о людях мео, которые, одолевая нужду и усталость, кочуют со старым котлом на спине весь свой век в поисках доброй земли. Он не забыл, не мог забыть ни сердечности и ласки, ни волнений и боли, что знавал здесь еще ребенком.

Но набегал другой поток, взбаламученный и шумный, унося прочь все его добрые чувства...

И всякий раз, едва отступали черные мысли, просыпалась давняя привычка к опию. Он уходил в лес, где у него было спрятано курево. И тогда само собой оживало прошлое, оно властно напоминало о себе.

Тхао Кхай толком и не пытался понять, что происходит с братом. Наверно, за все эти годы они отвыкли друг от друга. Да и Ниа предстал перед ним совсем не таким, как рассказывала о нем мать: он явился в отвратительном обличье диверсанта. Кхай не мог скрыть своей неприязни и за все время ни разу не сказал Ниа доброго слова. Он был поглощен делами, своей работой и совсем не думал о брате.

Вот как случилось, что в минуты сомнений и отчаянья Ниа оказался совсем одинок.

В последнее время он стал особенно подозрительным и скрытным. Когда Зианг Шуа поняла, что Ниа задумал увести ее в Лаос, сердце ее переполнило боль. Он любит мать, любит... Даже лесным оленям ведомы сострадание и нежность. И ее сыну, Ниа, как никому другому, нужны сейчас сочувствие и жалость, он один страдает и не знает покоя... Она любила своего первенца, но даже ради него не могла бы свернуть на несправедную дорогу.

А может, сказать обо всем Тхао Кхаю?

Но ежели Кхай узнает про их тайные разговоры, Тхао Ниа уже не будет покоя. Глядишь, его снова упрячут в тюрьму, а то и казнят. Зианг Шуа долго колебалась и наконец решила ничего не рассказывать Кхаю.

Не раз, когда Кхай возвращался с работы и усаживался рядом с ней на циновке, она готова была заговорить с ним, но не решилась.

Так он ничего и не узнал.

Возвратившись из Наданга, Кхай долго не мог забыть слова старого шамана: «Королевский посланец вовсе не враг... Он такой же мео, как вы...» И всякий раз Кхай с содроганием думал о брате.

А может, вовсе не Тхао Ниа был тем королевским посланцем? Но разве испытывал он благодарность к людям, которые

сохранили ему жизнь и вернули на родину? Что, если он лишь для отвода глаз уходил в лес за хворостом, а сам тем временем ездил к старику шаману? И чем дольше размышлял Кхай, тем более убеждался: нет у Ниа ничего общего с земляками. Не брат он им, не сородич. Пусть отпустил он длинные волосы, как носили мео когда-то в старину, он даже свирель взять в руки не умеет. А ведь мать рассказывала: прежде, когда они жили в лесу, он так здорово играл на свирели, что даже девушки с дальних пашен из-за горы приходили взглянуть на него тайком.

Но теперь никто не желал его видеть. Никому не был он люб. И сам он день ото дня все заметнее отдалялся от людей. Словно сердце и глаза свои Ниа оставил на чужбине. Он поклялся, что порвал с янки, что не хочет быть диверсантом. Он говорил, будто очень тосковал по родной земле, потому и вернулся. И все же понять его было мудрено. Нет, не похож он на человека, который добровольно сдался, чтобы вновь обрести утраченную родину.

Каждый день уходил он в лес за хворостом, Кхай только диву давался: отчего он так усердствует? Может, ему дом опостылел и он ищет предлог, чтобы уйти куда-нибудь? А может, надеется повстречать в лесу какую-нибудь пригожую девицу и завести с ней пашни? Да нет, дело, кажется, не в этом. Так думал Тхао Кхай...

* * *

В то утро Ниа, как обычно, вывел коня и прицепил к поясу топор.

— Куда ты? — спросила Зианг Шуа.

— Схожу в лес за хворостом, — ответил он.

И, взяв коня под уздцы, медленно вышел со двора.

Кхай подождал немного и потихоньку отправился следом за ним.

Лес шумел ярко-зеленой листвой. В переплетенье высоких крон порхали птицы. Небо нахмурилось и потемнело, но Кхай не боялся сбиться с дороги. Здесь, в Финша, ему был знаком каждый камень, каждый, даже самый глухой и заброшенный уголок, куда, казалось, никто никогда не заглядывал.

Лесом вдоль склона шагал Тхао Ниа.

Чуть выше шел за ним следом Тхао Кхай.

Вскоре лесные чащи огласились гулким стуком топора — Ниа повалил здесь в прошлый раз несколько деревьев и теперь принялся обрубать ветви, чтобы потом увязать их и навьючить на лошадь. Дело у него спорилось.

«Да нет,— подумал Кхай,— видать, он и вправду ездит за хворостом». Он поднялся, еще разок глянул вниз и уже собрался было домой. Но тут он заметил, как Ниа, осмотревшись по сторонам, помедлил минуту и скрылся между камнями.

Там за лощиной, позади скал,— непроходимая чаща. «Куда это он?..» Кхай растерялся на мгновение, потом сообразил: «Коня-то он оставил. Подожду здесь, рано или поздно он сюда вернется. Другого пути нет...»

Лесные заросли безмолвствовали.

Но для Кхая в лесу не было тайн; заметив, как вдали над деревьями поднялись птицы, он понял: кто-то пробирается через заросли.

Потом, как и ожидал Кхай, вдалеке появился Ниа. Он шел, не останавливаясь, то исчезая в чаще, то вновь выходя на прогалины. Наконец он добрался до того места, где оставил коня, и был теперь на виду. Засунув топор в середину вязанки, он нагнулся, поднял одну за другой тяжелые вязанки и приторочил их к бокам своего коня. Малорослый конек тронулся шагом, отсюда, издалека, из-под груды веток видны были только стоявшие торчком острые уши.

Ниа направлялся к опушке.

Кхай, держась за выступы камней, быстро спустился вниз и обогнул скалу там, где только что прошел Ниа. Путь ему преградили густые заросли. Здесь стоял влажный и душный полумрак. Кхай шел в ту сторону, откуда взлетели потревоженные птицы. Временами он находил совсем еще свежие следы — кто-то проходил тут недавно. Но наметанный взгляд замечал и тянувшиеся рядом старые следы: то ли несколько человек прошли здесь, то ли кто-то ходил этим путем изо дня в день. Местами трава была сильно примята, стебли совсем поникли, но, видно, кто-то пытался распрямить ее и расправить. Тхао Кхай помнил, когда-то, в войну, партизанам тоже случалось таким способом заматывать свои следы. Ветер не проникал в эту чащобу, значит, траву примяли люди. Куда же они шли?

Кхай, как бывалый следопыт, нагибался к земле, отыскивая следы, и шел дальше. В лесу становилось все темнее. Пробивавшиеся сверху редкие солнечные блики похожи были на светляков, ползавших по ковру из листьев, в котором утопала нога. Даже люди из племени зао, что ходят в лес собирать пахучие грибы, никогда не решались забираться в такую глушь.

Дорогу вдруг преградила отвесная каменная стена, поросшая поверху густым черным мхом. Из-под мха, словно щерба-

тая челюсть, торчал широченный выступ скалы. Кхай щелкнул зажигалкой и осветил небольшую пещеру. Он снял винтовку и стал тыкать стволом в каждую расщелину. Сперва металл позвякивал по камню, потом послышался глухой гулкий звук — винтовочный ствол наткнулся на дерево.

Кхай просунул руку между камнями и вытащил покрытый лаком серый деревянный ящик, похожий на ларец, в каком уездный начальник храпил когда-то принадлежности для курения опиума. Потом он достал несколько коробок поменьше и диковинный пистолет, должно быть бесшумного боя — легкий и маленький, величиною с ладонь. Пистолет был завернут в кусок зеленого нейлона.

Кхай знал, что это за ящики — во время боев в Тэйбаке, в Верхнем Лаосе и потом, под Дьенбьенфу¹, он видел не раз походные рации, разобранные и упакованные в деревянные коробки. В штабе его полка возле такой же рации сидел радист и с утра до ночи крутил рукоятки.

Кхай поднял голову. Откуда-то издалека донеслось протяжное мычание: запертый в хлеву буйвол звал хозяев. Стукнула по камням мотыга: где-то на горной делянке высаживали кукурузу; потом заскрежетала тяпка, видимо, кто-то окучивал кукурузные побеги, срезая сорные травы. Послышалась грустная песня и переливы свирели. Давно уже ставшие привычными голоса деревенской жизни, той самой обыкновенной жизни, которая показалась сегодня Кхаю особенно близкой сердцу.

Он нагнулся снова: нет ли здесь еще какой дряни?

Вдали горная речка вела неумолчный свой разговор. Ручей, питавший ее, бежал под ногами у Кхая. Он проводил взглядом убегающий поток — там, вдоль ручья вилась тропинка, спускавшаяся прямо в Наданг. Когда-то этой потаенной тропой ходили еще партизаны. Не здесь ли прошел враг?

Он скрипнул зубами.

— Сволочь! Диверсант!..

Безотчетным движением направил дуло винтовки на деревянные ящики, словно это и были вражеские лазутчики, но стрелять, конечно, не стал. Кхай решил вначале идти в город, но потом подумал: «Нет, нельзя оставлять его без присмотра. Поговорю-ка сперва с председателем...»

И заторопился назад.

¹ Дьенбьенфу — город и район в Тэйбаке; здесь весной 1954 г. части Народной армии разгромили крупные силы французского экспедиционного корпуса.

Но оказалось, что председатель Тоа поехал по делам в деревню лы и еще не вернулся.

И Нгиа тоже уехал в город. Правда, вернувшись в Финша, он заглянул по просьбе Кхая к нему на медпункт. Но разминаясь с ним и, не дожидаясь встречи, поспешил в Наданг.

XVI

А внизу, в Наданге, уже поспевал рис. Среди зеленых лесных просторов желтизной отсвечивали поля. Урожай зрел добрый.

По берегам реки Намма вдруг снова разнеслась весть: скоро объявится государь. Кое-кто тотчас начал резать белых собак, белых коз, белых и пестрых кур. Одни угоняли в лес буйволов, другие уговаривали народ забивать скотину на жертвенное мясо.

Нашлись и такие, что бросили свои поля на произвол судьбы. Дикие свиньи пожирали рис и бобы на пашнях. Кое-где народ уходил в лес целыми деревнями.

Староста Панг решил отправиться в Финша и доложить обо всем председателю Тоа. Но тут очистились воды, река стала прозрачной — началась путина, и Панг так никуда и не собрался.

Однажды утром он, перекинув через плечо сеть, пошел на реку. Но едва миновал он пороги, навстречу ему попались люди мео, странные на вид — в черных одеждах, какие носили обычно пришельцы из Лаоса.

А ведь граница отсюда неподалеку, за старым лесом; правда, дороги там нет, но пройти и через лес нетрудно.

Панг понял, что они «оттуда», перебросил сеть на грудь и стал поперек тропы, чтобы остановить и расспросить их. Но тут лазутчики сами окружили его со всех сторон.

— Есть кто-нибудь в деревне? — спросил один.

Панг глянул ему лицо и вместо ответа спросил сам:

— А у вас есть пропуск?

— Ты кто такой?! — заорал незнакомец.

— Я — Панг, здешний староста, — отвечал он спокойно и неторопливо.

— Сволочь! — Незнакомец снова сорвался на крик. — Ты что, не слышал про запрет? От берегов Ма и до Черной реки запрещено ловить рыбу и работать в поле!

— Нет, не бывать этому. Правительство говорит: надо развивать производство...

— Ах ты! Язви тебя змей! Ты лучше брось своих партийцев, не то отец с матерью воскреснут, а дороги домой не найдут.

Но Панг не испугался угроз. Теперь, когда он поверил Тхао Кхаю, он не боялся больше нечистой силы. Но знал: у нарушителей границы есть оружие. И решил уйти.

Тот, что стоял ближе всех, схватил его за руку.

— Ты один выискался такой подонок на всю округу! Вот тебе и невдомек, что государь вернулся уже сюда, в горы. Ему надо лишь убедиться, что мео и са едины — все до последнего человека. Тогда он поведет нас на племена кинь и тхай и мы отнимем у них землю и каменные дома, соль и белое серебро. Мы все заодно. Не будь тебя, гадина, мы уже сегодня могли бы встречать короля...

Нет, неправда! Панга такими речами не запугать! Недаром ведь он родом из Хуоика. Он видел солдат Народной армии, видел, как удирали и подыхали тэй, как потом пришло Правительство и народ взял землю в свои руки. Слышал он и о «повелителе» здешнего края Муа Шонг Ко, что сбежал в Лаос к янки и теперь промышляет там разбоем. Подонок! Землякам в горах не хватит и нескольких жизней, чтобы поведать о всех его преступлениях! Кому он со своей сворой нужен?!

Лицо Панга было по-прежнему невозмутимо. Тогда один из бандитов подошел к нему и вытащил пистолет. Панг почувствовал, как холодное дуло уткнулось ему в позвоночник.

— Иди! Не останавливайся!

Не зная, как быть, Панг перехватил покрепче сеть. Кто-то снова толкнул его в спину. Они погнали его перед собой, вброд через ручей, потом вверх по крутому берегу, в сторону границы.

Наконец Панг увидел под горой в усеянной камнями лощине толпу каких-то странных людей. Одни щеголяли в платье с красной оторочкой и вышитыми на спине знаками чиновных отличий; на других болтались длинные шаманские балахоны; третьи ходили голые до пояса — в одних штанах из синей ткани или неокрашенного холста — старых и драных. Среди них были как будто и зао, и мео, и са с речки Намма. Обличье их казалось Пангу знакомым, но ни одного в лицо он не узнал. Были они бледные — до синевы — то ли от выпитой водки, то ли от страха. Может, их тоже пригнали сюда силой? Одни слонялись по лощине, другие стояли молча, удрученные и поникшие.

Несколько человек в расшитых платьях, обступив улегшихся на землю мео, поили их водой и водкой. Сами изрядно уже захмелевшие, они расплескивали воду и водку на лежащих людей, ожидая, что в тех вот-вот вселятся вещие духи. Кто знает,

который день льется здесь вода с водкой, растекаясь большими лужами, как буйволиная моча на пастбище. Слышны были протяжные крики и гулкий стук рогов. Люди, став на колени, молились вполголоса. Дым от курящихся благовоний густыми серовато-белыми клубами поднимался к небу — словно от подожженной травы. На разложенных по земле банановых листьях валялись куски вареного и жареного мяса, над ними жужжали рои слепней и зеленых мух.

То и дело раздавались сильные голоса:

— Пей!..

— Пе-ей... до дна...

— Пей!..

Кто-то, приподняв с земли одуревших духовидцев, пытался уложить их повыше. Один из них — ему только что плеснули в рот водки — вскочил, заметался, нелепо размахивая руками, и рухнул, грохнувшись головой о камни. Соседи сунулись было поднять его, но они и сами были пьяны и, нелепо растопылив руки, тоже повалились наземь.

Рядом, дожевывая кусок мяса, улегся еще один духовидец, и ему начали наперебой заливать в глотку хмельное и воду. Благовонный дым стлался густой пеленою, словно здесь выкуривали комаров. Снова раздался гулкий стук буйволиных и бычьих рогов. А люди все лили и лили водку в отверстые рты духовцев, распростершихся в ожидании вознесения и встречи с государем.

Кто-то ткнул Панга в бок. Он обернулся: старый Нгу... тот самый, что на собрании на вопрос Тхао Кхая отвечал: «Не знаем».

— Начальник сказал, — обратился он к Пангу, — среди нас есть еще дурной человек, и из-за него мы не можем идти встречать государя. Ты как, очистил уже душу? Надеюсь, ты больше не староста?

— Не знаю...

— Выходит, из-за тебя вся задержка?!

— Кончай агитацию разводить!

— Надо бы тебя прикончить, да ладно уж, по доброте своей пожалею соседа. Но смотри у меня! Ступай помолись государю, чтоб даровал тебе жизнь!..

Кто-то из толпы протолкался поближе и забубнил:

— Хватит... Надоело... Пора в Лаос...

— И то верно, — подхватил другой, — государь ждет не дождется нас у самой границы на реке Ма.

— А разве все уже в сборе? Было ведь сказано: ждите, пока соберется побольше народу?!

Люди говорили все разом.

— Когда выступаем?

— Ну что, наконец-то уходим?!

— Точно...

— А скоро ли за нами явится королевский посланец?

— Говорят, вот-вот будет.

— Значит, больше ждать не станем?

— Хватит, заждались!

Лица их осунулись и пожелтели от бессонных ночей, от пересудов и бесконечных сомнений. Когда же уйдут они наконец к верховьям реки Ма, где ожидают их давно обещанные радости и блага? Многие ведь зарезали последнюю курицу, чтоб прорицатель, посмотрев на пожки ее, смог отыскать благие приметы...

Сколько полей осталось несжатыми! Мыши и дикобразы травили рис, и зрелые зерна дождем осыпались наземь. Сколько домов заброшено! И хозяева не смели вернуться назад: страх и стыд удерживали их. Но каково придется им здесь, в горах, без вещей, без пищи и крова? Чего им теперь ждать, на что надеяться, как не на приход государя, который сулит им изобилие и покой? А если государь не пришел до сих пор, значит, надо идти ему навстречу... Надо — и все тут...

Какой-то старик, прихрамывая, подошел к Пангу и пригласил его присесть.

— Откуда вы, дедушка? — спросил Панг.

— С речки Тангао.

— И вы добирались сюда от самой Тангао?

— Да... Слух был, будто здесь объявился королевский посланец, вроде он учит творить заклинания.

— А урожай-то небось не убрали?

— Говорят, сынок, государь вернется и тогда у нас будет всего вдоволь.

Да что это они все заладили одно и то же! Сперва Панг даже растерялся. Потом нахлынули ярость и гнев. Мозг сверлила одна мысль: «Они ведь и впрямь готовы податься через границу! Готовы предать родину!..» Нет, раньше он никогда б не поверил, что слухи, пусть даже самые назойливые и ловко состряпанные, могут сорвать с места этакую прорву народу: вон, всю гору облепили! Но ведь его, Панга, назначило сюда Правительство. Он должен остановить их! Остановить — даже ценой собственной жизни!..

Он заметил стоявшего у ручья шамана. Тот поднял к лицу сложенные ладони и заискивающе кланялся какому-то человеку в долгополой черной одежде — наверно, одному из главарей.

Да, это же старый шаман из Наданга! Значит, и он заодно с ними. А старик, все с тем же подобострастным видом, приблизился к Пангу. Панг в сердцах отвернулся от него и вдруг услышал за спиной у себя шепот:

— Нет-нет, я не изменник... Я не предал Правительство...

Он обернулся. Но старик уже затерялся в шумной толпе. И все же никто другой не мог произнести этих слов. Теперь уж Панг и вовсе ничего не понимал.

К нему подступил тот самый — в черном. Пьяное лицо то бледнело, то багровело снова. Ноги выписывали замысловатые вензеля. Одежда его, утром еще целехонькая (это он встретил Панга на берегу), теперь свисала клочьями. Видно, упившись, от долго валялся на камнях, надеясь вознестись на небеса.

— А-а, вот ты где?!

В лицо Пангу ударил хмельной дух. Незнакомец скрипнул зубами и заорал:

— На колени, сволочь!

Панг тоже побелел от ярости:

— Нет!

Красные, вылезшие из орбит глаза уставились ему в лицо.

— У-у, козел смердящий!.. Убью... чтоб государь наш поскорее вернулся!

Эхо подхватило его пьяный крик: «Убью!.. Убью!..»

Панга пробрал озноб. И тут его охватил страх.

— Убьешь... меня... — произнес он.

Пьяный замотал головой:

— Ладно, — он кивнул, — раз ты боишься меня, живи. Отпускаю тебя домой, чтоб всю деревню привел, до последнего человека!

— Не пускайте его в Наданг! — крикнул кто-то. — Приведет солдат, и всем нам крышка. Лучше кончить его на месте!

Пьяный вытащил пистолет и навел его на крикуна, потом повернулся к Пангу:

— Иди!

Панг сделал несколько шагов.

Вдруг из-за скалы до него донеслись приглушенные голоса:

— Ступайте-ка следом за ним в Наданг да прихватите оттуда парочку свиней. Принесем жертву, выпьем, закусим на славу — глядишь, и ночь пройдет. А на рассвете — в путь.

— Значит, завтра выступаем?

— Да, теперь уж недолго ждать.

— Так двинем в Лаос?

— Не выпускайте этого гада. Держите его, держите!

— А может, не стоит посылать его за земляками? А ну как он дунет напрямик в Финша да вернется сюда с «хвостом»!

— Что, завтра и вправду уходим в Лаос? Не будем никого ждать? Или еще подойдут люди?

— Решено, завтра выступаем!

— А если Панг приведет солдат?

— Не бойся, его все время держат на мушке. Просто нам свининки захотелось, вот его и послали...

Панг не дослушал до конца. На тропу спрыгнули откуда-то человек пять или шесть. Он пригнулся и быстро зашагал прочь. Потом оглянулся: люди шли следом. Их вроде стало больше. Да они, пожалуй, уволокут всех свиней из деревни.

И вдруг он ощутил непривычную легкость на плече и понял, что потерял сеть. А ведь основа ее — вплетенные по краю сто железных колец — передавалась у них в роду из поколения в поколение. И вот он потерял ее! А может, какой-то ублюдок стащил сеть у него из-под носа? Он даже не мог сообразить, когда она исчезла. Лишь выйдя на освещенную солнцем опушку, Панг окончательно пришел в себя. Он вспомнил о своем долге, о том, что поставлен здесь самим Правительством.

Спускаясь по каменистому склону, он лихорадочно думал, как быть: вернуться домой или, отделавшись от провожатых, бежать в Финша?.. Но ведь у них оружие наготове!.. Что делать?..

Он еле волочил ноги от усталости. Мысли его путались, и он не мог ни на что решиться.

XVII

Нгия спустился в Наданг, и берега реки Намма показались ему почему-то не такими, как прежде. Рисовые поля, казавшиеся с высоты не больше ладони, пестрели вдоль кромки леса.

Бушевавший здесь наводок подмыл глинобитные стены деревенских кухонь. Проросшая плеть тыквы успела уже вытянуться вверх по камням. Следы нелегкого времени, когда человек единоборствовал здесь с наводнением и грозами, видны были и на прохудившихся крышах, залатанных на скорую руку пожелтевшими листьями бананов.

С ближнего поля, где стояла давно созревшая кукуруза, слышался шелест — казалось, будто шуршат на ветру подсохшие листья. Но, увы, то были мыши, они взбирались по стеблям и обгрызали початки. Сторожевой шалаш, поставленный здесь еще с прошлой жатвы, покосился и рухнул. Никто даже не стал подправлять его — шалаш был пуст.

Нет, прибрежные деревушки явно выглядели не так, как всегда. Они и прежде были печальными и безотрадными, но здесь обычно ощущалось присутствие людей. Теперь же не слышно ни стука пестов, дробивших в ступах рис, ни кудахтанья кур, не видно пугливых коз, что, едва завидя людей, убежали прочь, потешно взбрыкивая задними ногами.

А вот и дом старосты. Нгиа стремительно взбежал по ступенькам и сразу же увидел Панга. Тот стоял у стены. Нгиа вдруг почувствовал, что дом словно оцепенел от страха. Услышав шаги у двери, дети тотчас нырнули за вязанку хвороста и забились в угол между кучей тряпья и бамбуковым бочонком с семенами. Малыш, не понимавший еще, что такое опасность, выглядывал из своего укрытия. Мальчик постарше лежал, скорчась, уткнув лицо в ладони. В промежутке между вязанкою и стеной сидела мать, загородив детей, как клуша своих цыплят. Отец стоял впереди, бледный, решительный, словно ожидая врага, который с минуты на минуту должен нагрянуть в дом. Семья приготовилась защищаться до конца!

Панг смотрел на Нгиа, явно не узнавая его.

...Покуда есть силы, надо держаться! Надо драться до последнего! Он, Панг, в своем доме, здесь жена его и дети... Что за тварь, что за нечистая сила вздумала выгнать их и заставить идти за королем и королевскою сворой?! Он не сделает отсюда ни шагу! Будет стоять насмерть... Пусть попробуют сунуться!..

— Товарищ Панг! — громко окликнул его Нгиа.

Панг не шевельнулся — в правой руке он зажал нож, левой опирался на грудку хвороста, за которой прятались дети.

Нгиа снова окликнул его. Лицо старосты постепенно смягчилось, рука, лежавшая на сушняке, медленно сползла вниз.

— Это я, Нгиа!.. Что случилось, товарищ Панг?

— Нгиа... вы?..

Панг шагнул было к двери, но плетеная циновка закрипела у него под ногами, и он, выставив вперед руку, замер, готовый к отпору. Нгиа стащил с плеча винтовку, прислонил ее к столбу и, подбежав к Пангу, чуть не силой усадил его на пол у очага.

Огонь давно угас. Нгиа чиркнул спичкой и зажег хворост. Хозяйка не тронулась с места. Но дети выползли из своего убежища. Разглядев гостя, они поняли, что бояться нечего, и подобрались поближе.

Теплый дух очага поплыл по дому, словно смягчая смятение и тревогу.

— Так это вы, Нгиа...

— Что здесь у вас происходит?

— Плохо дело, товарищ Нгиа.

— Что такое?

— У нас тут бандиты орудуют... реакционеры... Весь народ попрятался в лесу. Один я остался. Вот и попал к ним в руки. Уходите. Уходите поскорее, товарищ Нгиа, вам нельзя здесь оставаться!

— Какие еще реакционеры? Не может быть...

— Здесь они, рыщут по дворам, уводят свиней. Слышите?..

За дверью незаметно сгущался мрак. Оттуда, из темноты, слышался какой-то зловещий шум. Он приблизился, проник в дом, пополз вдоль стен...

— Кто идет? — крикнул Нгиа.

Он схватил винтовку и наклонился раздуть поярче огонь.

Шум слышался снова. Кто-то вырвал винтовку у него из рук, и она со стуком упала. Пошатнувшись, он плашмя бросился на пол и потянулся за винтовкой, но пальцы хватали лишь скользкие прутья плетенки.

В дом ворвались какие-то люди. Нгиа вскочил. Но руки его тут же схлестнула веревка. В дверях мелькнули новые тени. Пришельцы обступили его плотным кольцом.

Крики и брань вырвались за дверь. Там, внизу, столпились те, кому в доме уже не хватило места.

— Бей их насмерть!..

— Сволочи!.. Нигде ни единой свиньи!

— Это все Панг!.. Он подбил народ уйти из деревни!..

— Он! И еще партработника вызвал!

— Бей их! Чего смотреть!

— Стойте! Вы что, забыли: нельзя проливать кровь перед возвращением государя.

— Верно! Убьем партийца — нагрянут солдаты, будут мстить за него!..

— А чего нам бояться! Мы-то небось будем уже в Лаосе...

Панга связали по рукам и ногам, потом выволокли за дверь жену и обоих сыновей. Мальчишки отбивались, цеплялись за перекладины лестницы, потом провалились куда-то в темноту. Детский плач резанул слух, постепенно стал отдаляться и стих.

XVIII

Выйдя из леса неподалеку от Наданга, человек бежал по берегу Намма вверх, в Финша. Он бежал всю ночь, минуя деревни зао и са, лы и тхай, и на рассвете добрался до Финша.

Человек был стар. Пробираясь в белесом тумане, затопившем поутру лощину, он оступался и падал. Он смертельно устал. В затуманенном мозгу билась одна-единственная мысль: «Надо... надо найти Правительство!..»

Народ из окрестных деревень собрался в Финша закончить работу и навести порядок к приходу каравана с новогодними товарами.

На складе и в помещении Комитета, на медпункте и в школе — всюду царило оживление. Старики за о и са, искуснейшие умельцы, как всегда, взялись за дело первыми.

Стучали топоры, обтесывавшие бревна, горели костры меж огромными белыми грудками коры и стружки, и дым, расплываясь, обволакивал пряным теплом ближний лес.

Старик, добежав до стройки, остановился, с трудом поднял голову и огляделся. Он едва не падал от голода и усталости. Всю ночь бежал он из мест, где воцарились насилие и смерть, сюда — в обитель покоя и радости. Слезы полились у него из глаз, он покачнулся и рухнул наземь.

Плотники подбежали к нему, подняли и отнесли поближе к огню.

Когда женщины, ходившие за водой на речку, вернулись к кострам и увидели лежавшего на земле старца, они стали громко причитать, решив, что этого бедного старика са нашли мертвого в лесу.

Председатель Тоа, узнав новость, — кто-то прибежал к нему в кузницу, — тут же поспешил на стройку.

— Будет вам! — прикрикнул он на женщин. — Никто не умер: жив он, жив!

И, переводя дух, сказал:

— Это ведь старый шаман из Наданга. Давненько его не было видно. Хотел бы я знать, что с ним стряслось?

Старик очнулся.

— Партийца схватили в Наданге! — крикнул он вдруг.

— Кого?! Кого схватили? — заволновались люди. — Кто это был? Нгия?

— Не знаю.

— А не Тхао Кхай?

— Нет, не он.

— Значит, Нгия, больше некому быть!

— Они... они схватили его и связали...

И старый шаман, запинаясь, стал рассказывать председателю и обступившим его землякам обо всем, что случилось в Наданге: как народ попрятался в лесу, как некоторые ушли к бан-

дителям из Лаоса и даже помогли им схватить партийца, как люди побросали свои дома и собрались на горе у границы встречать короля, а увидев, что он не приходит, решили сами идти к нему в Лаос...

Все заволновались.

— Враг в Наданге!

— Бандиты ворвались в Наданг!

— Опять они сядут на шею мео и са!

Прибежали плотники, тесавшие бревна в лощине, они так и стояли — с топорами в руках.

— А старосту Панга вы случаем не видали? — спросил председателя Тоа. — Что с ним?

— Они схватили и Панга...

Как все переменялось за одну ночь! Ведь он сам на днях был в Наданге и, после того как скрылся старый Нгу, заезжал туда снова. Ездил он в Наданг по делу: надо было обсудить с Пангом, кого тот пришлет учеником в кузницу. Ведь прежде у са не водилось ни плугов, ни борон. А теперь и к ним придет на помощь железо. Тоа и Панг быстро договорились обо всем. Панг превосходный человек. Прав был Тхао Кхай, когда рекомендовал его в партию.

А что, если Панг убит?!

Старик, еле ворочая языком, рассказывал какие-то подробности, но слова его тонули в гомоне взволнованной толпы. Да и как могли люди оставаться спокойными, услышав новость, что принес старый шаман. Никто не усомнился в его словах.

— В Наданг! — Зычный голос Тоа перекрыл шум толпы. — Мы должны их остановить!

Люди на секунду умолкли. Потом крик рванулся снова, точно ринувшаяся с гор вода.

— В Наданг!..

— В Наданг!.. Сейчас же, немедленно!..

Председатель Тоа забросил за спину винтовку и вскочил на коня. Внезапно у него мелькнула догадка, и, сделав крюк, он заглянул к Зианг Шуа. Не найдя Тхао Ниа дома, председатель больше не сомневался: в Наданге случилась беда. Он послал человека в Иен сообщить обо всем в исполком и партийный комитет.

А люди ринулись в Наданг. Никто не помышлял об опасности, каждый знал: надо спешить на помощь во что бы то ни стало.

Дочка Тоа, Кхуа Ли, подбежала к коновязи позади дома, набросила на спину лошади подвернувшееся под руку вьючное

седло, вскочила на коня и, ударив его пятками, пустила в галоп.

Из домов, прикорнувших на горных кручах, выбегали люди и, оседлав коней, мчались вниз, в лощину.

Старики вспоминали, как прежде, едва разгорится вражда меж королем и князьями или между чиновною знатью, власть имущие натравливали друг на друга племена и селенья. Деревня или род, оказавшиеся послабее, бросали свои земли и уходили прочь. А те, что одержали верх, убивали, грабили и жгли без зазрения совести. Шрамы от ножевых ран и увечий, оставленных топорами, как бы переходили из поколения к поколению, жизнь, полная насилий и убийств, у каждого оставляла эти свои отметины. И потому старцы, призвав сыновей и внуков, внушали им: «Вставайте! На нас снова напали разбойники и лиходеи. Они совсем рядом — в Наданге! Идите и убейте их, не то они завтра будут здесь, в Финша! Этого нельзя допустить!..»

Молодежь горячилась: «Сами видим, империалисты спелись с королем и его сворой и решили опять схватить нас за горло! Головы долой смердящим козлам!..»

У одних за спиною висели винтовки, у большинства же не было ничего, кроме тесаков, какими рубят лианы в лесу. Но, исполненные решимости, люди шли и шли в Наданг.

Всадники горячили коней, и они брыкались и становились на дыбы.

Зианг Шуа и Ми, снедаемые тревогой, торопились что было сил. У матери болели ноги, она не поспевала за дочкой, и скоро они потеряли друг друга в толпе, где люди сновали взад-вперед, словно ткацкие челноки. Зианг Шуа, оглушенная этим шумом и толчеей, была сама не своя от страха. И оба сына, как на грех, запропастились куда-то. А что, если Кхая схватили бандиты? Он ведь часто теперь ездит в Наданг...

Кратчайший путь, выбранный людьми, пересекал гряды нависших скал, похожих на космы лошадиной гривы. По этим уступам и впадинам никогда не ступала человеческая нога. Те, что шли впереди, оставили на камнях — там, где удобнее было утвердить ступню — отчетливые следы. Но никто даже и не приглядывался к следам, люди преодолели гряду единым духом, словно несущийся через перевал ураган.

Зианг Шуа еле плелась и, стараясь перекрычать толпу, звала: — Тхао Кхай!.. Кха-ай, где ты?..

Иногда ей хотелось позвать Ниа. Но что-то удерживало ее. Слова не шли из сердца.

Кхуа Ли нагнала ее.

— Тетушка, а где Ми?

— Мы давно уже с ней потеряли друг друга,— отвечала она.

Какие-то люди помогли ей взобраться на коня Кхуа Ли, а дочка председателя спрыгнула наземь и повела коня под уздцы. Зианг Шуа тронула доброта девушки.

— Тхао Кхай! — кричала она в тревоге.— Тхао Кхай!..

Кхуа Ли, вытянув шею, тоже озиралась по сторонам.

ХІХ

А Тхао Ниа отправился в лес за хворостом. Как всегда, он притянул широким поясом висевший за спиною мешок, из которого выглядывало топориче. Впереди трусил рысцой малорослый конек. Следом неторопливо шагал Ниа, одной рукой держась за конский хвост.

Но сегодня он шел в лес вовсе не за хворостом. Сегодня он направлялся к дальнему лесу, что за Надангом; там, на горе у границы, собрались люди из разных мест. Он должен увести их всех в Лаос. Раз уж они не смогли бесплотными духами вознестись навстречу государю, надо идти к нему в Лаос. И сейчас они ждут не дождутся государева посланца.

Каждый шаг давался Ниа с трудом, ноги будто прирастали к земле, а на сердце легла тяжесть.

— Ты опять собрался за хворостом? — спросила его перед уходом мать. В вопросе этом ему почудилось недоверие. Он взглянул на мать, и сердце его стиснула жалость. Ему захотелось упасть на пол прямо здесь, в средишнем покое — священном месте в доме мео, где положено лежать только умершим. Ему захотелось упасть ниц и закричать в голос: «Матушка! Я ухожу из дома. Когда-то пришлось мне уйти за купцом Цинном, а нынче проданся я святому отцу и должен слепо исполнить все, что он ни прикажет. Не знаю, смогу ли когда-нибудь снова вернуться домой! Всю жизнь я тосковал по родным местам, вернулся и вот ухожу опять...»

Но он не посмел броситься на пол. Не отважился вымолвить ни слова. Сколько раз хотел он заговорить, но так и не смог. Отчаяние и страх овладели им.

«...Может, одна только мать осталась мне родной. Ведь даже Финша, моя родина, отвергает меня. Да и мать уже не любит и не жалеет меня, как бывало. Я давно заметил это. Если она узнает всю правду, мне не избежать кары. Правда, коммунисты вовсе не зверствуют, как говорили янки, но стоит теперь мне со-

знаться: «Люди добрые, я по-прежнему работаю на американцев», — не знаю, что они со мною сделают... Скорее всего, прикончат. И мать меня не спасет. О господи! Как же быть? Что, если мне открыться? Как тяжело...»

Святой отец всегда и везде незримо следовал за ним. Ниа неотступно думал о рации, спрятанной в лесу и о таблетках опия, к которым давно пристрастился.

«Сегодня, — сказал святой отец, — день славы божьей, ибо великое множество народа отреклось от коммунистов и уходит искать истинную свободу. Узнай же, сын мой: тысячи людей из других мест уже двинулись в путь. Да будет и над тобой благословение господне. Поторопись же, не медли, сын мой!..»

«Сколько народу уходит сегодня! — подумал Ниа. — Но тех, кто мне близок и дорог, меж нами не будет... Председатель Тоа. Мать с сестрой. Разве их уговоришь? Конечно, оттуда, из Лаоса, все выглядит легко и просто!..»

Ниа остановился и стал смотреть на Финша.

Почему-то вспомнились ему давным-давно собиравшиеся здесь торжища. Припомнил он и день, когда спустился с сестренкой на ярмарку. Он не понимал тогда, отчего люди ополчились против них и гнались за ними. Не понимал и злился. Но потом, уже на чужбине, побыв в услуженье у хозяев караванов и у англичанина, он понял: те, у кого деньги и власть, любят мучить и унижать других, а поняв это, опечалился и загрустил пуще прежнего.

«...Куда мне теперь податься? Все пути отрезаны. Остался один выход — смерть, только она сулит мне утешение и покой. Здесь, в земле Финша, лежат мои предки. Сколько лет я скитался, и сердце точила горькая дума, что после смерти тело мое сгниет на чужбине. Теперь хоть лягу в родную землю, рядом с предками. Вот оно, мое счастье...»

Ниа почувствовал облегчение, мысли его как будто бы прояснились.

И, поминутно спотыкаясь, он зашагал дальше, по-прежнему держась за хвост малорослого конька, тащившего его за собою.

Так миновал он ближний лес и пересек каменную гору. Стук дятла гулко отдавался меж невысокими скалами. Долетавшие откуда-то из дальних деревень собачий лай и перезвон бычьих колокольцев тонули в густом белесом тумане, не в силах нарушить стоящую вокруг тишину. Вдруг небо прояснилось. Горные склоны засверкали, вобрав в себя солнечный свет, и лес на склонах лощины — недавно еще черно-серый — сделался ярко-зеленым.

Конь остановился и, задрав голову, принялся общипывать с кустарника молодую листву. Ниа направился к зарослям. Он уселся рядом с конем на землю и просидел так довольно долго, ни разу не шелохнувшись. Потом он встал, подошел к скале и, цепляясь руками за не приметные выступы и щели, взобрался на вершину, точь-в-точь как ящерица на дерево. Там он выпрямился во весь рост и повернулся лицом к Финша.

Он долго стоял, глядя на знакомые горы, потом, как и в прошлый раз, спустился по противоположному склону.

Кхай, притаившийся на седловине горы, тотчас начал спускаться следом. Он решил взять диверсанта живым. В мгновение ока он очутился в лощине. Конь, хворост, топор — все было на месте, под деревом.

Кхай перелез через скалу — в том самом месте, где только что перебрался Ниа.

Каменный выступ нависал сверху, как оттопыренное словное ухо. Кхай осторожно заглянул в пещеру — внутри было темно. И вдруг он разглядел свисающие сверху босые ноги в заляпанных грязью черных штанах.

Тхао Ниа повесился в пещере.

Кхай перерезал веревку, привязанную к толстым корням фикуса, пересекавшим каменный свод. Потом опустил тело на землю, рванул ворот рубахи Ниа и стал делать ему искусственное дыхание.

Вскоре Ниа открыл глаза.

— Не надо!.. — закричал он. — Я не хочу жить! Я не достоин быть мео!.. Пристрели меня!.. Убей!..

Он закрыл глаза. По ввалившимся щекам его потекли слезы.

* * *

Тем временем люди, подоспевшие из Финша, ворвались в Наданг. Те, кто первыми поднялись в дом Панга, нашли привязанного к столбу Нгиа.

Его развязали.

Никогда раньше Нгиа и в голову не приходило, будто он может вот так угодить в руки врагов и что уцелеет лишь потому, что они сами не пожелают его убить. Событие это, оставившее у него глубокое чувство горечи, отражало, как он теперь понимал, некий разрыв между ним и живущими здесь людьми. Ведь он не раз и не два бывал в Наданге в то самое время, когда туда проникали враги, но ничего не знал о них. Пожалуй, сейчас, в мирные дни, ему не хватало в работе именно боевого за-

пала, готовности встретить врага лицом к лицу, как это было когда-то, в войну. Не потому ли все и случилось?

Люди, освободившие Нгиа, шумно выражали свою радость, но сам он никак не мог отделаться от чувства стыда и горечи, и от волнения не в силах был вымолвить ни слова.

Впрочем, он скоро пришел в себя и тотчас принялся обсуждать с председателем Тоа дальнейший ход операции. Было решено послать группу партизан¹ вброд через реку, на вершину горы, чтобы они прочесали лес в той стороне, куда ушли вчера бандиты и где проходил кратчайший путь к границе.

Партизаны быстро обнаружили лощину, где люди столпились кольцом вокруг лежавших на земле духовидцев — те все еще надеялись вознестись на небо, навстречу государю.

Перепуганная женщина из красных мео, в драной юбке, швырнула на землю вытащенного из заплечного мешка здорового взъерошенного петуха. Тут разом вскочили и сбились в кучу все: и те, что возились с курятиной да свиной и отдирали мясо с буйволиных костей, и те, что, преклонив колена, молились и отбивали поклоны или, сбросив одежду, разверзли рты для водки и распростерлись на земле в ожидании чуда.

Пришедшие из Финша спрашивали:

— В чем дело?..

— Что у вас тут творится?..

А те, кто подоспели попозже, даже бранились:

— Ай да умники!.. Извели и скот и птицу!..

— Вы б заодно уж и руки себе поотрубали! Работать-то больше ни к чему!

Вдруг старик мео, тощий и долговязый, — тот, что пришел от самой речки Тангао, надеясь встретить государя, приблизился к Нгиа и рухнул ему в ноги. Трудно было понять, к кому обращался он — к человеку или к земле, слышно было лишь неясное бормотанье:

— Государь явится... спасет отцов и матерей наших... Они воскреснут из мертвых... Государь сказал...

— Как бы вы сами, валяясь здесь, на камнях, в ваши-то годы, не померли! — крикнул в сердцах Нгиа. — Здорово реакционеры заморочили вам головы!

— Нет, нет... — бубнил старик, уткнувшись лицом в землю. —

¹ После окончания войны в 1954 г. действовавшие в ряде районов ДРВ партизанские отряды существовали еще долгое время как подразделения народного ополчения (несли охрану дорог, складов и т. п.).

Нет... Королевский посланец велел нам... дожидаться здесь... Государь вернется... пожелует и свиней, и птицу... и буйволов, и коров... Кукуруза станет родить рис, а тростник — бобы и опий... Съешь все — и они народятся снова... Одного-единого стебля человеку хватит на всю жизнь...

Потом он поднял глаза и сказал — теперь уже спокойно и вразумительно:

— Королевский посланец был у нас и велел ожидать его здесь.

Послышался шум. Все обернулись и увидели торопливо взбегавшего по склону Панга. Следом за ним поднялись другие пленники, которых бандиты угнали к реке.

Подоспел еще народ из Фишша.

— Глядите-ка, Панг!..

— Эй, Панг!

— Как дела, староста?!

Панг огляделся: вроде бы все земляки палицо, все в сборе. Осунувшийся и бледный, он крикнул, срывая голос:

— Чего ждете?!.. Надо взять сволочей живьем! Они прятались там, в лесу!

Но пока люди вслед за Пангом спустились с горы, бандиты успели скрыться. В лесу не было ни души. Тогда все толпой бросились им наперерез, огибая опушку.

Даже те, кто который уж день дожидались здесь короля, услышав крик Панга, словно очнулись от дремы. Они вспомнили окружных и уездных начальников со старейшинами и свирепую свору стражников и челядинцев. Вспомнили, как молодчики в черных одеждах с плетеными застежками наискосок через грудь и с ружьями за спиной — вражьи прихвостни, контрабандисты, разбойники — тайком пробирались через границу и подбивали доверчивый люд идти сюда со всем добром. Теперь-то расчет их стал ясен: мол, люди съедят все дочиста, а там уж ничего не стоит увести их в Лаос.

— Вы-то сами откуда? — спросил у тощего старика председатель Тоа.

— С Тангао.

— А вы случаем не знакомы с семейством Зианг? Они отливают лемехи у вас на Тангао.

— Да я и сам из семьи Зианг.

— Вот здорово! Зианги — отменные кузнецы... А сюда, к нам зачем пожаловали?

— Пришел вот — встречать государя.

— Несуразный вы человек! Раз уж добрались в такую даль,

отыскали бы в Комитете председателя Тоа да потолковали лучше о кузнечном деле, чем мыкаться по лесу, ожидая, покуда явится этот ваш государь. Враги нагородят небылиц, а вы и уши развесили. Самую малость еще — и сгинули б на чужбине... Да будет вам, поднимитесь!

Но едва обманутый люд начал приходить в себя, с вершины горы вновь послышался шум и вдали замаячили чьи-то неясные тени. И, сбитые с толку, люди опять оробели — одни пали ниц, другие грянулись на колени. На лица их снова тенью легла тупая покорность и страх.

Старик с Тангано тоже взглянул вверх. И вдруг, испуганно вскрикнув, стал кланяться во все стороны, заметался и замер, прикрыв глаза.

— В чем дело? — спросил Нгия. — Что случилось?

— Идут, — еле слышно ответил старик. — Государев посланец идет...

Слова эти были у всех на устах — у мео и у са. Загадочные и страшные, они прошелестели среди людей и меж холодными застывшими камнями. Недавние плясуны, виночерпии и духовидцы, что умолкли было, робко теснясь друг к другу, воспрянули вдруг, снова заплясали и запели.

Те, что пришли из Финша, кричали им: «Да тише вы!..» «Замолчите!..» «Уймитесь!..» Но окрики эти не могли заглушить пения, рыданий и плача суеверных людей, вновь впавших в иступление.

Однако чудо не совершилось.

Вместо пышного шествия королевских гонцов, которое привиделось старику, с горы спускался Тхао Ниа, за ним — с карабином наперевес — шагал Тхао Кхай.

Воцарилась мертвая тишина.

— Это я, фельдшер Тхао Кхай! — крикнул Кхай во весь голос. — Не бойтесь!

Но старик с Тангао, а с ним и остальные — те, кто дожидались здесь государя, уткнулись лицом в землю и не смели поднять глаза. Председатель Тоа схватил старика за руку и поднял его силой. Но другие, испуганно жавшиеся поодаль, увидав Тхао Ниа, не вставали с колен. Кто-то в страхе даже отполз назад.

Кхай, подняв карабин, закричал снова:

— Этот гад — диверсант, прихвостень янки! Никакой он не королевский посланец. Никаких посланцев и в помине-то нету. Слушайте, люди меня! Я — человек Правительства и пришел сюда, к вам.

Нгиа подбежал к Тхао Кхаю и тоже крикнул:

— Не бойтесь, люди! Не бойтесь!

Пришельцы из Финша, выхватив ножи и подобрав с земли камни, стеной двинулись на Ниа.

— Сволочь! — закричал Панг. — Вот он, виновник всего! Главный реакционер!

Кхай и Ниа приблизились к толпе. Оглядев лощину, Ниа понял: деваться ему некуда — и решил рассказать все, как есть. Его слушали Нгиа и председатель Тоа с Пангом, и обступившие их пришельцы из Финша.

— Земляки! — обратился Кхай к людям, все еще лежавшим на камнях. — Вставайте! Вставайте, не бойтесь! Я — работник Правительства. Этот мерзавец — диверсант! Притворился, будто добровольно сдался в плен, а сам тайком подбивал народ бросить работу, отколоться от Правительства и уйти через границу. Я раскрыл все его козни. Я схватил его и привел сюда, к вам.

— Матушка!.. Мама! — вдруг зарыдал Тхао Ниа. — Я виноват перед вами!..

— Ну как, земляки, видите сами? — спросил Кхай.

Люди подбегали к лежащим на земле, тормошили их, старались поднять.

— Бей диверсанта! — кричали в толпе.

— Смерть гаду!..

— Это он с дружками надумал убить Нгиа и председателя Тоа!

Старик с Тангао, словно очнувшись после кошмарного сна, подошел к председателю Тоа, и, взяв его за руку, сказал дрогнувшим голосом:

— Стало быть, вы и есть плужный мастер Шоа Тоа из Финша?

— Да-да, «председатель», и «председатель Тоа», и «кузнец Шоа Тоа из Финша» — это все я.

— Беда, я тут совсем очумел.

— Хорошо, хоть опамятовались. Только теперь не давайте сбить себя с толку.

Зианг Шуа давно уже была здесь, просто в суматохе никто не заметил, как Кхуа Ли помогла ей в сторонке сойти с коня.

Она видела все. Зианг Шуа опустилась на камень, закрыла лицо руками и молчала. Молчанье глухой стеной отгородило ее от всех. Будто вернулась и тяжким бременем легла на плечи ее прежняя жизнь. Сколько обид и горестей всколыхнулось в ее

памяти! Руки и ноги ее вдруг налились свинцовой тяжестью.

Но вот она отняла от лица ладони и, словно очнувшись от сна, поднялась и пошла к людям, спотыкаясь и прихрамывая. Вот они, ее дети — все трое: Кхай — ее сын, доченька — Ми и... этот... Зианг Шуа, рыдая, упала на землю. Потом поднялась и подошла к Ниа.

— Ты мне сказал как-то, — она говорила спокойно, отчеканивая каждое слово, — что больше не имеешь касательства к семье Тхао. Теперь лишь я поняла, что ты вовсе не был пьян. Да, мой сыночек Тхао Ниа, мой первенец умер — умер в тот самый день, когда проклятый Шонг Ко заставил его тащить вьюки богатого купца Цина. Лет пятнадцать уже минуло, как душа его вернулась, воплотилась в тигра и утонула в речке Намнгу, а потом обернулась человеком из племени са. Только ведь беда никогда не приходит одна — с той самой поры короли да начальники из кожи вон лезут, чтобы погубить остальных моих деток. Ой, сыночек!.. Нет... Нет, не сын ты мне... ты — ди-вер-сант, вражий прихвостень!.. Он не сын мне! Не наш он, не мео! Не знаю уж, какую «матушку» он звал. Я ему не мать!..

Зианг Шуа медленно подошла к Кхаю и, опустившись на колени, обняла его ноги:

— Сыночек мой! Сыночек, виновата я перед Правительством. Чувала я, знала — вражье у него нутро; да не сказала тебе, сынок. Каюсь, вина моя перед Правительством велика...

Она повалилась ничком наземь. Ми подняла мать и усадила ее, прислонив спиной к большому камню.

— Убейте меня!.. Убейте!.. — надсадно кричал Ниа, отворачивая лицо и закрыв глаза.

И люди, которых сюда заманили обманом, глядя на «королевского посланца», поняли, на чьей стороне правда. Да и сам этот «посланец государя» был плюгав и неказист с виду, бледный и изможденный, точно мертвец, — хоть сейчас заворачивай в саван. Одутловатые щеки, отвислые губы, на шее — багровый кровоподтек. Прежде они только слышали о нем, но почти никто его не встречал, а если и встречал, все одно — не смел поднять глаз. Ну а теперь все открылось: загадочный человек этот — диверсант!

А тем временем у подножия появились какие-то люди в желто-пятнистых накидках, должно быть солдаты. Они поднимались в гору.

Солдаты вели бандитов, которых не удалось догнать старосте Пангу. Пленники так и шли в расшитых своих платьях, с пестрою оторочкой на полах, с пятицветной бахромою у ворота и

красными четырехугольниками на спине. Но куда подевалась былая спесь? Лица их были бледны — ни кровинки. Меж ними, сгорбясь и опустив голову, ковылял старый Нгу.

Ниа широко раскрыл глаза. Двое из пленных были сброшены вместе с ним на парашютах в ту давнюю ночь. На них были те же серебряные обручи и платье начальников мео.

XX

Тхао Ниа поднял голову.

— Мама! — тихонько позвал он.

Зианг Шуа закрыла лицо руками.

— Мама! — снова позвал он. — Мама, может ли человек, сгинувший на чужбине, воротиться домой?

Она подумала: утонувший в речке Намнгу лет пятнадцать назад может еще вернуться. Наверно, вернется. Но как узнать: его ли, Ниа, душа вселилась в утопленника? Его ли душа в обличье Ниа воротилась домой?

Но горькая мысль эта не воплотилась в слова. Зианг Шуа молча плакала, спрятав лицо в ладонях.

Ниа обернулся к Кхаю:

— Станем ли мы когда-нибудь братьями, как прежде?

— Ты сам разрубил мост между нами.

— Позволь же мне поставить этот мост запово.

— Что за чушь? — вспыхнул Кхай.

Ниа заговорил вполголоса. Кхай подозвал председателя Тоа, и они оба стали внимательно слушать.

* * *

В полдень отряд партизан и группа сотрудников госбезопасности вместе с Тхао Кхаем, Нгиа, председателем Тоа и Пангом поднимались на одну из вершин у самой границы. Они торопились. Река Намма отсюда казалась тонкой белой нитью, протянутой между горами.

Тхао Ниа подвел их ко входу в пещеру. На каменном полу толстым слоем лежали мягкие белые опилки. Нехитрый тюфяк этот, казалось, еще сохранял очертания и тепло человеческого тела. Рядом валялся перевернутый деревянный ящик и серый бидон из пластмассы.

— Ушел, — разочарованно произнес Ниа, оглядев пещеру.

— Кто?

- Да он самый...
- Подонок Шонг Ко?
- Нет, — пробормотал Ниа.
- Янки? Шпион?
- Мой учитель истинной веры...
- Куда же он мог деваться?
- Не знаю.

По привычке рука его поднялась было для крестного знамения и тут же упала как плеть. Ниа в ярости пнул ногой бидон так, что он вылетел из пещеры. Следом полетели пустые коньячные фляги с наклейкой «Samus 1863».

Ниа рухнул наземь. Надежды его не сбылись, и сердце снова заledenело от страха.

Тхао Кхай и Нгиа еще не успели понять до конца, что же, собственно, произошло.

Председатель Тоа, который поднимался последним, уловил обрывок их разговора и крикнул:

— Что, проморгали?! Янки-то смылся из-под носа!

Но Кхай в эту минуту уже не думал об «учителе веры», не обращал он внимания и на Ниа, лежавшего на земле, — он пристально глядел на Панга.

Того колотила дрожь. Лицо Панга, смуглое от природы, побелело. Зубы выбивали дробь.

Кхай подошел к нему, взял его руку и нащупал пульс. Он опасался, как бы Панг не лишился чувств.

Но нет, староста уже пришел в себя.

— Самый-то главный опять удрал! — громко сказал Панг. — Жаль!..

Председатель Тоа поднял Ниа и усадил его под скалой.

— Не бойся! Не бойся, говорю тебе!.. Хочешь стать человеком, ничего не бойся...

Кхай подозревал председателя Тоа и Нгиа.

— Товарищи! — произнес он. — Я рекомендую товарища Панга в партию...

На вершине горы, усталые после недавней схватки, стояли плечом к плечу четверо друзей.

XXI

Кукуруза на полях начинала желтеть, растрепанные листья ее отвисали книзу. Но каждый увядающий стебель взрастил в своем изможденном теле окутанный покровами большой округ-

лый початок, в котором день ото дня все полнее наливались зерна.

На краю поля поднимались старые амаранты. У подножия кукурузных стеблей на длинной извилистой плети уцелела перерзлая тыква — отсвечивая желтизной, она возлежала меж пошедшими в рост побегами фасоли. Едва поспевала кукуруза, поднимались бобы — всему свой срок; одни амаранты круглый год приносили съедобные листья и семена. Буйволы и плуги мео сильны и неутомимы. Народ мео трудолюбив и усерден, и на полях его во всякую пору кипит работа.

В войну враг выжег Финша дотла. Селенья и пашни укрылись тогда в лесных чащах.

Нынче же все по-другому. Если перед началом полевых работ встать у околицы и глянуть вокруг, можно увидеть, как неторопливые белые тучи отражаются в чистых зеркальных водах, наполнивших округлые чаши полей, что ступень за ступенью поднимаются к вершинам, увенчанным зелеными шишаками: здесь оставлен травяной покров, чтоб не иссякли источники влаги.

Люди из племени хани, вняв доводам Комитета, перебрались в деревни мео и зажили вместе с ними одной общиной, помогая соседям разбить на склонах ступенчатые поля. Кооператив в нынешнем году выделил особую бригаду, чтобы расчистить подходящие земли.

Всем уж давно известно: лишь на поливных землях, где из года в год зреют добрые урожаи, может осесть человек; тут ему не придется кочевать с места на место, корчюя и выжигая лес под недолговечные пашни. Доброе поле — конец скитаньям. Но кому было прежде под силу расчистить, выровнять и обработать землю на здешних склонах? Теперь же поля поднимаются уступами к самым порогам домов. В деревнях мео, хани и зао весь путь от дома до пашни не длиннее ста шагов. Женщины, собравшись косить траву на межах, неторопливо шагают по ближним тропам с детьми за спиной, прикрываясь от солнца зонтиками. Покуда они работают, дети играют в тени под зонтиками, а прибежавшие следом за людьми собаки рыскают вокруг за полевыми мышами.

Каждый, кто бывал в Финша прежде, теперь изумляется:

— Э-э, да тут все идет по-новому!

Дорогу в город Иен, которая раньше узкою лентой лепилась по кручам, огородили и привели в порядок; в прошлом году народ со всей округи вышел на дорожные работы: были расширены узкие участки и наведены мосты там, где паводок обычно пре-

граждал людям путь. Хозяйственный отдел прислал из города специалистов; они расставили вдоль дороги путевые знаки, провели съёмку, наметили план «поэтапного расширения полотна». Плетеные времянки дорожников и геодезистов забрались на самую седловину перевала. В деревнях люди говорили: «Скоро небось и мы услышим гудки автомобилей...» И никого это не удивляет — так и должно быть, потому что в Финша строится социализм. По дороге везут кукурузу и соль, доставляют всевозможные товары и даже... кино; дорога принесла людям многое, о чем они прежде только мечтали. Новая жизнь пришла в каждый дом.

Нет, край этот, право же, не узнать!..

Наверно, и нам с вами, читатель, стоит приглядеться к переменам, совершающимся повсюду — от Наданга до Финша.

В Наданге, к примеру, создан партизанский отряд. Контрабандисты и лазутчики из Лаоса больше не смеют здесь появляться.

Земляки со всей округи, из деревень мео и лы, тхай, зао и са прислали в Наданг — на обзаведенье хозяйством — рис, ткани, тыквы, бамбуковые бочонки с салом и семенами. Староста Панг передал односельчанам пожеланье Правительства, чтобы в деревне их была создана бригада трудовой взаимопомощи.

Если соседи станут работать сообща, нужда и голод уйдут из каждого дома. Свыкнутся земляки в бригаде с коллективным трудом, а там, глядишь, и организуют кооператив, как в соседних общинах...

Трудовая бригада собрала уже два урожая. И наконец к людям пришел достаток.

А ведь са и не знали прежде, что такое достаток. Они всегда жили в бедности; поколения сменялись одно за другим, но нищета оставалась неизменной. В домах у са было пусто — ни добра, ни запасов, — одни лишь детишки, изможденные — кожа да кости. А нынче у всякой семьи свой буйвол, свой плуг, бороны и мотыги. В прошлом году приезжал сюда агроном и научил их возделывать хлопок. Древние обычаи запрещали племени са возделывать хлопок и лен, как это делали мео. Но нынче, едва паступает седьмой месяц года, всюду во дворах сушится лен и серебристые волокна кружатся повсюду и залетают в дома, точь-в-точь как в деревнях, где живут тхай и мео.

Заглянешь со двора в любой дом: на полке за столом торчит бутылка с керосином, а на стене висит новехонький черный зонт. И так повсюду — и в доме у старосты Панга, и у любого из соседей. За стропилами полным-полно рису, и простого, и клейко-

го — только успевай обмолачивать. Идешь вечером по деревне и слышишь: между сваями под полами домов гулко стучат песты — это рушат зерно в ступах.

В Финша открылась начальная школа с тремя классами. И дважды в год идет набор на курсы ликбеза, что открылись в доме, на высоком холме, как раз на месте старого французского форта. Кадровые работники, которые учатся на курсах, говорят: вот, мол, дожили до седых волос, ни разу не заглянув в книжку, а теперь Правительство и нас усадило за парты.

По утрам слышно, как дети читают в классе параспев:

Му-а Да-анг тя-о ке-е...¹

Красное знамя с желтой звездой посередине развевается во дворе перед школой на высоком шесте, окруженном ярко-лиловыми цветами, что зовутся «десять часов»², и — небывалая в здешних местах редкость — кустиками роз: учитель, ездивший в отпуск домой, в Киенан³, с тысячью предосторожностей привез их сюда с равнины.

Тихими вечерами моросящий дождь лакирует бока холмов, над кровлями вьется дым очагов, а на дороге у ярмарочной площади перед дверью магазина стоят кони — целая вереница. Крыльцо завалено товарами, ждущими погрузки. Все они закуплены у населения: корзины с чайным листом, тюки льна, мешки с содой и даже пара живых обезьян в двух здоровенных бамбуковых коробах, а рядом — свернувшийся кольцами удав. Завтра чуть свет караван увезет все это в город.

Три здания магазина, пристроенные друг к дружке, стоят посреди площади. Товары на любой вкус: тут тебе и теплая стеганая одежда, и цветные нитки, чугунные котлы да сковороды, фарфоровые чайники, алюминиевые ложки... В продовольственном отделе соль и перец, сахар, бобовая лапша, лаосский табак⁴, сигареты «Чыонгшон»... А заглянешь в третий отдел и увидишь: на полках и в ящиках — мотыги да тяпки, плужные лемехи, длинные ножи с загнутым концом, молоты, секачи, железные основы для сетей, гвозди...

Отдельно в кладовых сложены удобрения: фосфатные и азо-

¹ Первая строка стихотворения:

«Партия указала путь,
и все народы трудятся сообща...»

² «Десять часов» — народное название цветов, распускающихся в вечернее время.

³ Киенан — город неподалеку от Хайфона.

⁴ Лаосский табак — выведенный в Лаосе крепкий табак; им обычно набивают кальян.

тистые. Ну и, конечно, инсектицид «666», он хранится рядышком со складом, где председатель Тоа держит чугуны для своей кузницы.

Под широким навесом закупочного отдела — четвертого по счету — стоят большие рычажные весы, и тут же еще пара подвесных весов. А чуть поодаль громоздятся бамбуковые бочонки с воском, семенами бальзамки¹ и горного тунга², свернутые шкуры леопардов и чешуйчатые кожи панголинов³, связки там-хата, тюки льна, короба с содой, персиковыми косточками и всякой всячиной.

В конце двора — коновязь.

Ниже по склону поставлены два склада: в одном хранятся дары леса, в другом — соль. К соляному складу пристроены амбары: первый полон кукурузы, второй — риса.

Строения эти возводились постепенно — сперва одно, потом другое, точь-в-точь как перемены, случившиеся здесь, в Фишша: что ни день прибавлялось что-то новое. Первое время все отделы и склады помещались в одном-единственном здании. Теснота была страшная. Случалось, отловят, чтоб вывезти за границу обезьян, белок-летяг или питонов, а то и тигров; и все это зверье, дожидаясь перевозки, томились в том же самом доме, где за тонкой перегородкой ночевали продавцы.

На первых порах в магазине работали трое: Нгиа, парень, присланный городским отделом торговли, и недавно демобилизованный местный житель из красных мео. Но парень из города здесь не прижился. Он не умел ходить по горам, да и сама работа была ему не по душе. И он добился перевода обратно на равнину. Потом магазин разросся, и работать в нем начали местные жители. Нгиа учил их всему — и грамоте, и тому, как надо обращаться с товарами, как оберегать припасы от грызунов и плесени. Сперва он ставил их к прилавку, где было полегче: отпустить соль, керосин, котлы, сковороды — все, что нетрудно сосчитать и отмерить. Потом поручал товар посложнее: иголки, кнопки с пуговицами и прочее — то, что требовало быстрого счета и сноровки, особенно когда люди закупали всего помногу.

Ну а теперь в магазине работает гораздо больше народу.

¹ Бальзамка (бальзамное яблоко) — вьющееся растение; плоды его, покрытые колючей кожурой, имеют ярко-красную сердцевину, их варят на пару с рисом.

² Тунг — разновидность сосны.

³ Панголин (чешуйник) — млекопитающее, живущее в Южной Азии. Верхняя часть тела его покрыта чрезвычайно твердыми роговыми чешуйками, спасающими его от хищников.

И все-таки Нгия, хоть он и заведующий, занят всегда дотемна. Обычно он и сам подолгу стоит за прилавком. Общение с людьми, по его убеждению, главное звено социалистической торговли. Только каждодневно общаясь с покупателями, торговый работник может повысить свой политический и деловой уровень и до конца понять, какой идейный заряд заключен в каждой иголке, каждом килограмме соли, в каждой пачке бумаги или тюке льна. Ведь магазин — это не только место, где покупают, продают или обменивают нужные вещи и где работают — от такого-то и до такого-то часа — любезные и проворные продавцы. Товары на прилавках магазина — все равно что цветы, раскрывшиеся в ожидании пчел. Магазин — это как бы средоточие человеческих чувств, помыслов и чаяний; он стал и впрямь всеобщим достоянием и отрадой.

Магазин определяет течение жизни людей и весь ход их дел, особенно в дни ярмарки.

Когда начинается ярмарка, служащие магазина встают ни свет ни заря, а закрывают двери лишь поздним вечером. Оно и понятно — ведь основная работа магазина приходится на пять ежемесячных базарных дней. Нгия со своими людьми еще затемно раскладывают по красивее на прилавках каждую штуку материи и перетаскивают со склада мешки с солью. К открытию торговли белая гора соли должна выситься вровень с чашами подвесных весов.

Не раз уж в базарные дни магазин торговал черной и цветной диагональю и сатином. Женщины и девушки мео наперебой раскупают эти ткани на платья. У прилавков с материей покупатели и любопытные не переводятся. Нгия отмеряет и режет ткань, выписывает чеки, считает деньги и улыбается покупателям. Отовсюду только и слышится:

— Товарищ Нгия!.. А товарищ Нгия!..

Чтобы не выстраивалась очередь, Нгия встал к прилавку вместе с двумя продавцами. Мог ли он допустить, чтобы люди, приехавшие издалека за покупками, зря теряли время?! «Народ одновременно и покупатель и хозяин». Эту фразу он вычитал в какой-то книжке и переписал в свой блокнот.

В базарные дни всегда так: сосчитаешь выручку, глядь, а на дворе уже ночь. И когда еще поставишь у изголовья винтовку да уляжешься спать...

Нгия был избран членом бюро Окружного комитета партии. И теперь, чтобы оправдать оказанное ему доверие, он старался работать лучше прежнего, стремился поставить дело по-новому, чтобы народ не знал ни в чем недостатка.

В разгар уборочной страды, когда люди, занятые в поле, не могли выбраться сюда, на базар, вьючные караваны доставляли товары первой необходимости в каждую деревню.

Вот и сегодня работник магазина, который торговал медикаментами — он был из народности зао, — подошел к дверям, ведя в поводу вьючную лошадь. Позади маячили еще несколько человек: один ехал верхом, другие вели коней под уздцы. Они развозили товары по деревням, спускались в Наданг, доезжали до устья Намма, не пропустив ни одной общины мео, лы, тхай, зао и са...

Девушки мео, пупиео¹, лоло, проходя мимо магазина в поле, привычным движением срывали упругий лист кукурузы и, свернув его в рожок, играли на нем, скликая дружков. Чтобы освежить рот, они обламывали пустой без початков стебель и жевали его. Потом снова дудели в рожок.

Одна из них окликнула Нгия:

— Что небось ездили с товаром в Наданг?!

Нгия помахал ей рукой:

— Да нет, я собрался в город.

— Едете в такую даль. А вы там случаем нашу красавицу Ми не забудете?

Подружки рассмеялись.

— Заказов в город не будет? — громко спросил Нгия.

Девушки, обнявшись, тихонько засмеялись и ничего не ответили.

XXII

Пора дождей давно миновала. Рассвирепевшая было речка Намма стала снова тихой и кроткой. В Наданге гидрологи навели через реку мост из лиан. Канаты, на которых они подтаскивали и устанавливали свою «железную рыбу» — водомер, определявший высоту паводка, все еще не срезали, и концы их болтались и раскачивались, обвиваясь вокруг крестовины из бревен. В сухие ночи голоса неведомых птиц сливались в немолчный шум, напоминавший рокот воды, и путник со страхом думал: уж не новый ли это паводок гонится за ним по пятам? Но нет, вода оставалась низкой, и речку Намма можно было в любом месте перейти вброд.

Как обычно, в конце года стояли погожие тихие дни. Жен-

¹ Пупиео — народность тибето-бирманской группы.

щины разостлали у подножий скал только что сотканые льняные полотнища — отбеливали их на солнце, готовясь шить новогодние обновы. Хозяйки, отправляясь на базар, брали с собой кудель, и, пока они расхаживали меж торговых рядов, пальцы их привычными движениями сучили бесконечную нить. Случалось, женщины в деревнях и за полночь трепали лен, и даже на улице слышен был перезвон браслетов, украшавших их запястья. Если надумал сшить обнову — поторопись и не вздумай лениться!

Вновь, как всегда в конце года, зашумели базары — средоточие надежд и чаяний всей округи. И каждый, собираясь на ярмарку, думал о своем заветном.

Старики са из Надапта дожидались торгов, чтобы купить в магазине мотыги и склепанные из стальных колец осповы, к которым крепится сеть...

Ми, соскучась по Нгиа, считала на пальцах дни, оставшиеся до ярмарки. А вдруг он вернется с совещания из города и сразу уедет в отпуск к себе на равнину...

А Кхуа Ли ждала Тхао Кхая. Он тоже спустился в город на совещание. Успеет ли Кхай вернуться к открытию ярмарки?..

Дни ярмарки... Парни и девушки давно дожидались их и готовились. Сколько влюбленных мечтали увидеться здесь! Сколько намечалось деловых встреч!

Явился и Виен — гидрограф, недавно приехавший сюда с равнины и прослышавший о веселых базарах в Финша. Работники деревенских санбригад пришли на ярмарку закупить ДДТ. Были здесь и изыскатели-дорожники, и учителя, и геологи: ярмарка в горах Западного края, по их мнению, ничуть не уступала воскресным и праздничным базарам внизу, на равнине. Женщины в окрестных деревнях ожидали открытия ярмарки с особенным нетерпением: прошел слух, будто в магазин завезут ткань цвета индиго с белыми набивными цветами — покрасивее домотканых холстов, раскрашенных по восковым узорам. И еще говорили под Новый год вроде должны доставить черную диагональ намдиньской выделки, сатин разных цветов и зеленое полотно.

Старики, держа в одной руке зонт, в другой кальян, шли на ярмарку повидать друзей. Усядутся, бывало, с приятелями, поговорят о том о сем, выпьют стопку водки и снова затеют разговор, степенный и обстоятельный... Детвора тащила клетки с пернатыми — готовились птичьи бои...

Что ни день приходили караваны с товарами для магазина. Малорослые лошадки отправляются в путь по горам, покинув

свои коновязи, что кольцом окружают сваи у входа в дома мео. Выносливые и резвые, кони эти везут по шестьдесят килограммов груза, не считая веса седел и вьюков. Бывает, и три, и четыре дня подряд поднимаются они по кручам, но копыта их все так же бодро стучат по камням, по-прежнему блестят зоркие глаза, чутко насторожены уши, и хвосты развеваются, как па смотру.

Окрестный люд валом валит на ярмарку.

По издавна заведенному обычаю раньше всех несут на торги свой товар старики из племени хани. Огарки благовошпых палочек — их возжигают, чтобы задобрить духов — густыми, словно рассада, пучками щетинятся поутру вдоль кувшинов с винными дрожжами и мешков, набитых завернутыми в листья медовыми коржами. Старики сваливают наземь кипы травяных циновок, скамейки и подносы из лиан и распрямляют сильные плечи. Один старец — он притащил на голове огромный чан, в каких гонят обычно водку, — становится на колени и опускает свою ношу наземь. Чан — в нем спокойно улегся бы человек — слишком велик, и сбыть его с рук мудрено. Ну кому нынче взбредет на ум гнать этакую прорву водки? Обычно к концу ярмарки, когда все товары уже раскуплены, остается непроданным только этот чан. И хозяин уносит его домой, чтобы снова притащить на следующие торги.

Разложив позаманчивей свой товар, старики хани степенно оглядывают базарную площадь: в этот ранний час она пуста и безлюдна. Явились пока одни лишь «железоискатели» — геологи в зеленых штанах и рубашках и новеньких широкополых шляпах. Они явились на ярмарку со всем своим добром: теодолитом, треногой, вешками. Ну, да и покупатели они никудышные — наберут волокнистого табаку у стариков зао — вот и весь сказ!

В универмаге настезь распахнуты двери — словно четыре ярких плаката, что присылает из города отдел пропаганды. За каждым прилавком — продавец. Двое из них — девушки лоло, круглолицые, белокожие и румяные — улыбаются во весь рот. Одна торгует галантереей, другая — тканями. По базарным дням они щеголяют в нарядах своего племени — облегающие душегреи с косыми застежками и вышитыми на груди ярко-красными цветами и черные юбки: обернутые вокруг бедер квадратные полотнища плотной переливчатой ткани.

Рядом, в продовольственном отделе, молодой парень из племени мео старательно регулирует подвесные весы, на которых развешивают соль. Весы надо срочно отладить: скоро нагрянут

покупатели. От пересыпавшейся здесь изо дня в день влажной соли почернел деревянный прилавок.

Площадь, как всегда, в базарные дни, полна народу.

Всюду продаются кукурузные лепешки и коржи из клейкого риса, и покупатели жуют их на ходу. Торговцы этой расхожей снедью, собрав прямо на площади плоские камни, сложили из них очаги и, раздувая опахалами красные уголья, пекут на них пузырящееся тесто.

Но бойче всего идет торговля крепким мясным отваром. Покупатели толпятся вокруг шумящего на огне котла. Когда в него бросают кости, куски сала и жилистого мяса, над густым варевом клубится тяжелый жирный чад. В котле кипят куриные лапки и коровьи ноги, козлятина и собачина. Продавец из мео поднимает над котлом козью голову — глаза павыкاته, зубы торчком, кажется, вот-вот заблеет, и с маху бросает в бурлящую похлебку.

Рядом стоит питейный ларек, на прилавке стопами громоздятся чистые чашки. Тут собрались старики — за спиной у каждого зонт, в руках кальян. Едва придя на базар, они спешат сюда опрокинуть чашку водки. Хозяйка ларька, зная обычаи их и повадки, наполняет каждому пол-литровую флягу. И вот уже какой-то старец наливает до краев две стопки и одну подносит другу из дальней деревни, откуда не во всякий базарный день выберешься в Финша. А потом, само собою, начинаются пескончаемые беседы: о трудовых бригадах и кооперативах, о дурных и хороших невестках, о том, каковы подковы в председателевой кузнице, о письмах из армии от сыновей, о «двенадцатиглавом самолете» янки, про который пришельцы из Лаоса уши всем прожужжали... Разгораются жаркие споры о новом чудодейственном средстве от комаров и прочего гнуса.

Но сегодня тема разговора другая — все ждут товаров к Новому году. Пересуды и толки о скором прибытии каравана взбудоражили Финша.

На скамье у питейного ларька сидел старик. Как-то неестественно вывернув шею, он словно хотел уловить, о чем говорят спорщики. Не расслышав чьих-то слов, он громко переспросил:

— При чем тут купец Цин?.. — Похихикал язвительно, опрокинул стопку и снова спросил: — Ну а партиец Нгиа что?..

Спорщики на дальнем конце скамьи разошлись не на шутку. Хотя, говоря по правде, никто и не помнил толком, из-за чего разгорелись страсти.

— Правительство, — кричал один, — открыло здесь магазин, да как же у вас язык поворачивается!..

Сосед его зажегший было кальян, притушил его пальцами.

— Кто сосчитает,— крикнул он в голос,— сколько народу задавили в старину при покупке соли!

И старики зашумели громче прежнего. То ли они разъярились, вспомнив о черных делах пришедших начальников тэй и своих, из племени мео, то ли возмутились, услышав, что кто-то посмел сравнить богатея Цина с партийцем Нгиа.

Но были здесь и такие, что сидели молча и лишь опрокидывали стопку за стопкой. Позвякивал о край бутылки черпак, и звонкой струей текла из горлышка водка.

Старец, который обронил задевшие всех слова, насупясь, бормотал что-то себе под нос, а громко бранившийся заводила все никак не мог успокоиться.

— Кое-кому, я вижу, не по душе,— кричал он,— что стражники не хватают нас больше за горло, выколачивая налоги! Забыли, как они пили здесь на дармовщину нашу водку да еще и кувшины с собой прихватывали?! Вы-то, хозяйка, небось помните? Начальству с каждого кувшина причиталось по два литра. Может, кто-то горюет, что нет больше в крепости тэй и люди не давят друг друга насмерть перед соляной лавкой начальника?!

— Да будет вам...— улыбнулся сосед, навлекший на себя его гнев.— Да пропади он пропадом ваш начальник.

— Ну вот, и начальника помянули! — засмеялся кто-то.— Уж не сбегать ли за куриными лапками — погадать: жив он или помер там, в Лаосе?

— Про него надо гадать на вонючих козлиных ножищах!

Вдруг старец, сидевший на другом конце скамьи, сердито вскочил, выкрикивая бранные слова. И подвыпившие старики опять загалдели.

А люди спокойно расхаживали по ярмарке, выбирали товар, приценивались, покупали, продавали, а то и просто прогуливались возле питейного ларька, не обращая на перепалку никакого внимания. Одни лишь старухи сбежались — узнать, не учинили ль чего спьяна их благоверные. Молодежь, обступившая было спорщиков, с хохотом разошлась.

И тут неожиданно-негаданно встал старик, сидевший молча, и выпалил единым духом:

— Эй вы! Вам что, память отшибло?! Забыли уважаемого Ниа Пао? Не он ли каждый год изводил коней у купца Цина? Вся деревня тогда объедалась кониной. А однажды Ниа Пао ухитрился затолкать сверчков в уши вожакам старого Део. Припоминаете?.. Да Ниа Пао за всю свою жизнь не съел и крупичицы

соли, хоть и прожил на свете немало лет. Жаль только, небо лишило его слуха. Как вы смеете порицать его и бранить?! Пусть кто попробует еще его обидеть, двину кульяном в морду! У Ниа Пао перед Революцией большие заслуги!

Тут захмелевшие старики признали наконец Ниа Пао. А сам Ниа Пао, за всю жизнь не попробовавший соли и ненавидевший вьючных коней богача Цина, сидел себе молча и словно прислушивался к каким-то неведомым звукам, наклонив голову и уставившись в чашку с желтой кукурузной водкой.

Вдруг послышался крик:

— Эй!.. Караван идет!..

Тут все: и старцы, только что препиравшиеся у питейного ларька, и продавцы кукурузных лепешек, и старик из племени нунг¹, торговавший циповками, и девушки с парнями, игравшими на кхенах, кинулись к дороге. Даже любители птичьих боев — и стар и мал, — примостившиеся у самого крыльца Комитета, побросали свои клетки и побежали вместе со всеми.

Но тревога оказалась напрасной.

Это приехали сельские старосты и командиры общинных отрядов ополчения, короче, вся «выборная власть» из деревень по ту сторону Намма. Они торопились на совещание — в Директивный комитет². С ними было и несколько женщин, спешивших на ярмарку за покупками. Впереди всех скакал почтальон с туго набитой сумкой. Так уже было заведено: по базарным дням работники с мест собирались в Финша — доложить о своей работе. Ну, и «корреспонденции» в такие дни поступало и отправлялось особенно много. Базарные дни в горах — это и время деловых встреч, и часы веселья и отдыха! Общинный и Директивный комитеты в Финша по базарным дням были похожи на вокзал: с утра до ночи приезжали и уезжали люди.

Кони с берегов Намма, малорослые и неказистые с виду, бодрой рысью поднялись по кручам и теперь спокойно стояли, помахивая хвостами, в ожидании хозяев, которые ушли, небрежно перебросив поводья через косматые гривы.

Кто-то из ополченцев второпях высыпал под ноги своему коню целую плетенку персиков. Поздние плоды эти, побитые градом, он, видно, купил за гроши, а может, и выпросил где-ни-

¹ Нунг — народность тайской группы.

² В 1954—1971 гг. высокогорные местности Автономной зоны Тэйбак (тогда она называлась Автономная зона Тхай-мео) не были разделены на провинции; там существовало шестнадцать округов, где были созданы специальные органы местной власти — Директивные комитеты высокогорных районов. — *Прим. автора.*

будь. Но едва конь начал жевать корм, откуда-то набежали поджарые тощие свиньи и, выхватывая персики из-под самой лошадиной морды, громко захрумкали косточками.

Только улеглось волнение, как вдруг кто-то опять закричал: — Гляньте-ка! Уж не караван ли это с товаром?!

По дороге вереницей поднимались всадники.

Увы, и на сей раз ожидания были обмануты: это ехали на ярмарку крестьяне из Наданга. Они с нетерпением ждали теперь базарного дня, и с каждым разом их приезжало все больше и больше.

Веселей всего было глядеть на парней в высоких головных повязках и травяных лаптях. Молодые люди — откуда бы они ни были родом — из Наданга или из Финша, из какого б ни вышли племени, знакомятся без труда и сразу находят общий язык. Стоит им съехаться на ярмарке, они тотчас слезают с коней, протягивают друг другу руки и, достав табакерки с зеркальцем, угощают один другого табачком, передают из рук в руки кальян. А там снова садятся в седло и скачут дальше.

Люди в нетерпении глядят вниз, на дорогу и всякий раз, завидев верховых, волнуются: не караван ли это из города...

Вот снова начался было переполох. Но оказалось, что это везут на заготовительный пункт соду. Нынче повсюду стояла великая сушь, и соседи, сговорившись, тащили в пещеры котлы, несли кувшины с водой — выжигать соду. Промысел этот давал изрядный доход. А на вырученные деньги покупались фонарики с батарейками в медном корпусе или термосы, расписанные красными цветами, причем никто не покупал один термос, все брали по два.

Показался какой-то парень, согнувшийся под тяжестью здорового мешка. Из мешка торчала голова с лоснящимися на затылке волосами, большим краснотубым ртом и вытаращенными глазами. Голова медленно поворачивалась во все стороны, и трудно было заподозрить, что у владелицы ее — крупной обезьяны, засунутой в мешок, руки и ноги крепко стянуты веревкой. Ополченцы из Наданга поймали обезьяну и притащили на ярмарку, чтоб продать живьем в магазин.

Да, народу из Наданга было сегодня побольше, чем в прошлый раз.

Явился и старый шаман из племени са. Он шел с целой ватагой парней, многие из них собирались купить основы для сетей, а кто же лучше старика знал в этом толк. Были и такие, что шли учиться: кто в кузницу — мастерить плуги, а кто на курсы счетоводов, чтоб потом, вернувшись в свою деревню, по-

мочь землякам сколотить кооператив и вести сообща хозяйство.

— Вы уж, сынки, постарайтесь! — говорил им старик. — Нам ведь кузнецы нужны. Помню я, как тэй твердили, будто само небо не пожелало дать нашему племени добрых полей и определило до скончанья века скитаться, выжигая лес под недолговечные пашни. Но это неправда, скоро мы увидим своими глазами, как люди из племени са делают основы для сетей, куют мотыги и лемехи для плугов.

Старик все никак не мог забыть один случай. В прошлую путину он поднялся сюда, в магазин, купить леску. И вдруг, даже сам не подумав прежде, спросил продавщицу, девушку лоло:

— Хорошо, что Правительство продало мне леску, а нет ли у него случаев основы для сети?

Продавщица тотчас выложила на прилавок целый набор новеньких основ, отливавших сотнями стальных колечек. Старик легонько гладил их рукой, и пальцы его вздрагивали. Он не верил своим глазам: неужто перед ним и вправду новая основа? Да, так и есть! А ведь железной основе у людей са не было цены: потерявший ее обрекался на голодную смерть — и сам он, и весь его род. Сети ветшали и раздирались в клочья, но основу берегли как зеницу ока. Как без нее ловить рыбу — главное пропитание са?! Случалось, отец с матерью оставляли детям кое-какое наследство, но не было вещи дороже основы для сети. Ему самому основа досталась от предков, хранивших ее вот уж которое поколение. С нею он исходил немало рек, и вот на восьмом десятке впервые довелось увидеть новехонькую основу.

— Вы не поверите, товарищ, — сказал он продавщице, — в первый раз на своем веку вижу такую новую основу.

— Что вы, дедушка, — засмеялась продавщица, — их нынче в кузнице у председателя Тоа делают видимо-невидимо.

— Неужто?..

Голос старика был подобен шелесту ветра. Он обратил лицо к небу, а пальцы перебирали металлические кольца. Вот она — заветная вещь, о ней испокон веку мечтали бедняки из племени са! А нынче она лежит преспокойно на прилавке, и в кузнице у председателя Тоа их сделают еще, сколько потребуется; да, в председателевой кузнице вам могут смастерить все, что угодно!..

Вот почему сегодня старик направился на «предприятие Ву Шоа Тоа» вместе с парнями, что пришли учиться на кузнецов и литейщиков.

В прошлом году сюда доставили на продажу из города плуги, какими пахут обычно поля в деревнях народности тхай. Но в здешних горах земля была тверже и злее, и лемехи для нее оказались совсем непригодными. Тем, кто купил их, пришлось нести лемехи в переплавку. Нгиа тогда провел скупку негодных лемехов и предложил завозить сюда из города чугун, чтобы наладить выпуск плугов на месте.

Вот когда по-настоящему развернулось кузнечное дело. «Завод» семьи Ву работал полным ходом. И весть об этом с радостью приняли повсюду. Председатель Тоа вместе с другими опытными кузнецами обучал людей ремеслу. Со всей приграничной округи — от берегов реки Ма и до верховьев Намкинъ и Намма — к ним слали парней на выучку и тхай, и лы, и зао.

Председатель Окружного комитета сказал:

— Вы уж, товарищ Тоа, помогите наладить производство и обучите молодежь, чтобы к концу года было кому передать кузницу. У вас ведь и в Комитете работы невпроворот.

Что правда, то правда: старый Тоа занимался кузницей куда больше, чем своими председательскими делами.

Кузница стояла на вершине холма, сразу за рыночной площадью. И с утра до ночи шумно, точно разлившийся ручей, дышали мехи. Помещения кузницы, широкие и просторные, примыкали одно к другому — как в домах племени зао, где селятся вместе несколько семей.

Больше всего учеников было в литейной. Одни очищали изложницы, другие зарывали для охлаждения извлеченные из форм лемехи в груды опилок. Новые плуги были сложены перед дверью кузницы двумя ровными рядами; цветом металл был похож на багровый от жара кукурузный корж, прямо хоть пробуй на вкус.

Председатель Тоа перевернул лежавшую кверху дном изложницу. Несколько учеников тотчас подхватили ее, приподняли ковш с расплавленным багрово-алым чугуном и, сняв корку нагара, быстро залили форму. Пламя выстреливало искры в длинные, ниже колен, фартуки из тигровой шкуры. Чугун в форме принимал очертания лемеха, изогнутого, словно долька ярко-красного плода коонг.

Тоа пожал старику руку и сказал:

— Жду не дождусь пополнения из Наданга!

Старик, обернувшись, указал на стоявших позади парней:

— Какое бы нужное дело ни затевало Правительство, мы, люди са, тут как тут. Вы, председатель, не извольте беспокоиться.

Тоа громко засмеялся и привычным движением поднял руку — словно вытаскивая из печи раскаленную болванку.

— Да я и не беспокоюсь. Теперь жизнь идет на лад: вон, поглядите-ка сами.

Внизу, на площади, ярмарка была в разгаре. Зонты, черные и синие, колыхались среди махавших хвостами коней.

...И впрямь все нынче идет по-другому. Под густыми зелеными кронами деревьев тянутся друг за другом обнесенные темными изгородями здания: Исполком, магазин, почта, школа, медпункт на десять коек.

У входа в школу висят клетки с птицами. Со двора доносится струнный перезвон — школьники играют во дворе на да-нах¹. Над учительским столом висит наклеенный на картон лист бумаги с затейливо выведенной надписью «Молодежь строит новую жизнь в горах...»

* * *

Внизу, на дороге опять вереницею замелькали кони. Они были ясно видны меж ярусами ступенчатых полей, среди полукружий залитых водой пашен, что словно обручи охватили горные кручи, на фоне взрезанной плугом земли, где борозды красной волнистой рябью взбегали вверх по склонам.

Старика из племени са так и подмывало затянуть песню. Но он вспомнил, что знает одну лишь единственную — о страданиях и горестях своего народа, а она была явно не к месту.

— Вон те лошади на дороге и есть караван с товаром! — громко сказал вдруг председатель Тоа. — Сойдем-ка вниз, узнаем, не приехал ли Нгия?

Навьюченные кони — здесь их была не одна сотня — казались пестрыми пятнышками на зеленом пологе трав, одевших молчаливые горы. Обрывы и кручи, поднимавшиеся к ярмарочной площади, то ясно очерченные, то таявшие в туманной дымке, плавно кружась, раскатывали вдруг по ближнему склону красную полосу недавно расширенной дороги; и она, извиваясь, убегала тотчас за видимый глазом предел.

На сей раз ошибки не было: караван с долгожданном грузом приближался к Финша.

Настороженный слух людей ясно улавливал тягучие перебивы песни, доносившиеся из-за речки. Хрипловатый голос звучал высоко и протяжно, потом вдруг умолкал, отмечая паузу

¹ Дан — здесь: струнный музыкальный инструмент.

между куплетами. Это пел погонщик из племени тхай, он восседал на коне, шагавшем впереди каравана.

Караван с товаром подходил все ближе и ближе. Парни и девушки сбежались со всего рынка. Даже торговец засахаренным арахисом, старик из племени сафанг, что просидел все утро, невозмутимо перебирая в кошельке монеты, соизволил глянуть в ту сторону. Другой старик, выходец из зао, перестал резать сухие табачные листья, сунул за головную повязку свои небольшие весы, обернулся и уставился на дорогу. Народ всполошился. В ряду, где продавали с пылу, с жару кукурузные коржи, тростниковые веера в руках у старых хозяек заходили быстрее прежнего над раскаленными угольями. И дымок, что поднимался над подпекавшимися коржами, стал густым и терпким.

В начавшейся суматохе неподвижными оставались одни лишь мешки да выюки, набитые зелеными и желтыми грушами, которые сняли с веток недозрелыми, ярко-красными поздними персиками, ярко-желтыми лимонами и черно-фиолетовыми поздними сливами, обметанными белым налетом: надкусишь одну, и рот наполнится сладостью — того и гляди, проглотишь косточку вместе с мякотью. К мешкам этим и выюкам, плотно уложенным наподобие стены, еще не подходили покупатели. Лишь дети, снующие по базару, ни у кого не спрашивая, угощаются плодами.

Девчонки из красных мео, в своих черных юбках и красных душегреях, выглядели ничуть не хуже взрослых девушек. За плечами у каждой мешок; с видом серьезным и деловитым они проворно сучат на ходу льняную нить из кудели, лежащей в сумке у пояса — точь-в-точь как матери и старшие сестры. Только вот девчонкам очень хотелось есть, и, едва явившись на ярмарку, они достали ножики и очистили по груше. А потом начали бегать вприпрыжку вокруг девушек и женщин, что уселись у края обрыва и ели сливы. Глядя вниз, на дорогу, они весело переговаривались и спорили: что там за кони виднеются и что они везут: то ли выюки с товарами для магазина, то ли цемент для ирригаторов, строящих колодцы, может, перевозят добро геологов и гидрологов, а может, и вовсе идут порожняком за кукурузой в поле. Истомясь ожиданьем, они приняли было за выючных коней желтобоких волов, неторопливо и важно шагавших среди тростниковых зарослей.

Девушки пришли на базар с самого утра. Вот идут подружки из белых мео — в расходящихся колоколом белых юбках, вырезных сине-черных кофтах с темно-красной вышивкой по во-

роту и бортам и в сандалиях из черной автомобильной резины. Концы их ярких головных повязок бьются на ветру, и кажется, будто за плечами у них порхают нестрые бабочки.

Постепенно вокруг девушек, высматривающих с обрыва караван, собираются парни.

Вон на камнях примостились ребята из ополчения: у каждого — клетка с птицей и кальян. Сидят себе, наигрывают на свирелях, а за плечами торчат дула новеньких винтовок, присланных из города.

Парни с кхенами изощраются друг перед другом в прыжках и подскоках. Народ обступил их кольцом. Печали свои и радости мео всегда изливали в звуках кхена. Ну а нынче, когда ни челядь начальника, ни стражники не нарушают спокойствия и веселья ярмарок, звучат одни лишь радостные напевы. Зрители то и дело отходят к питейному ларьку — чтобы поднести лихим плясунам чарку водки. Когда же настал черед замысловатейшего колена, именуемого «прогулкой», один из старцев принес заранее чашку пахучей и сладкой кукурузной водки и уселся ждать, когда можно будет вознаградить лучшего танцора. Но как ни увлечены зрители, они не забывают поглядывать на дорогу. Веселье — весельем, а на уме у каждого — караван с новогодними товарами.

Вот он уж виден совсем хорошо. На каждый десяток коней — один погонщик, он восседает поверх вьюков, свесив ноги. Все ближе слышится песня, протяжные повторы ее словно долгая дорога. Так поют тхай. Голос певца летит вдоль ручьев и вместе с водою, звеня, убегает к подножиям гор. Песня робко открывает взгляду береговые пески, где купаются по вечерам деревенские девушки; песня тхай — нескончаемая, трепещущая, возвращающаяся к людям издалика ясным переливчатым эхом...

И вот караван наконец в Финша!

Кони резво прошли долгий путь от Иена, что стоит на знойной равнине, до здешних вершин, где царит прохлада. Ручейки пота, минуту назад еще блестевшие на лошадиных мордах, испарились от жаркого дыхания толпы. Горячий терпкий дух лошадиного пота привычен для мео — у них в деревнях вокруг каждого дома стоят кони. Площадь наполнилась радостным ржанием, лошади, с которых сняли тяжелые вьюки, весело машут хвостами, бьют копытами, щерят зубы; самые изголодавшиеся подбирают с земли груши, которые бросает им набежавшая детвора.

Конец томительному ожиданию, догадкам и спорам: караван прибыл!..

На площади, и без того многолюдной, народу прибавилось. Пение свирелей и кхенов сливается с гулом недавно отведенной сюда речки — на ней будут строить гидростанцию. В лад торопливым девичьим шагам позвякивают цепочки, бренчат серебряные браслеты. На высокой груди девушек пуниео нежно звенят серебряные колокольчики, словно поет загадочно и еле слышно ветер из далеких неведомых стран.

Ми давно уж сидела у обрыва вместе с подружками.

Она грустила. А девушки, словно и не замечая этого, шутили и смеялись, прикидывая, какие им предстоят покупки: сколько нужно взять ткани и катушек с нитками, не забыть бы новое зеркальце, и самописку «Чыонгшон», и ручной фонарик...

Конечно, у каждой были свои сокровенные тайны, да только об этом не дано знать никому.

— Ну а нашей Ми ничегошеньки не надо, — сказала Кхуа Ли, — приехал бы только товарищ Нгиа!

— Ты-то сама, кого поджидаешь? — тотчас спросила ее соседка.

И подружки весело зашептались. Звонкий задорный смех их понесся над скалами, обгоняя идущих вереницей коней, на спицах которых колыхались вьюки с красным сатином, синей тканью намдиньской выделки и зеленым полотном; коробки с черными и красными зонтами и резиновыми сандалиями, корзины с тарелками, чашками и ложками.

Подъехав к магазину, всадники соскочили наземь — сперва погонщики, молодые парни из племени тхай, потом счетовод Управления торговли, кинь по происхождению, он приехал из города на ревизию. Нгиа среди них не было.

Из-за скалы, заслонявшей дорогу, вдруг появился Тхао Кхай, он изо всех сил погонял трусившую впереди вьючную лошадь.

— Эй, Кхуа Ли! Наконец-то! — закричали девушки.

— Кхуа Ли, гляди-ка, скорее!..

Но ее нигде не было видно. Она заметила Кхая еще внизу, в ущелье — раньше всех. И, успокоясь, спряталась в толпе.

— ДДТ!.. Есть ДДТ!.. — кричал Кхай, указывая на большой мешок из сыти, возвышавшийся на спине первой лошади.

Народ зашумел.

— Вот это да!

— Теперь нам порошка хватит!

— Здорово!

...А ведь когда в первый раз начали опрыскивать дома ДДТ, люди возмутились и сломали распылитель. Правда, скоро они убедились: всюду, куда попало хоть немного порошку, клещей

и мух — как не бывало. И теперь многие сами приглашают сандружину опрыскивать белым порошком не только стены и пол, но даже алтарь предков. А три буквы — «ДДТ», поначалу чуждые и непонятные, — стали уже привычными...

Увидав председателя Тоа, Кхай сказал:

— Окружком согласен выделить средства на расширение нашей больницы до двадцати коек. Вы довольны, председатель?

— Председатель, говоришь? — переспросил кто-то.

— Да зови его просто тестем! — посоветовал другой.

Все расхохотались.

Едва лишь Ми подошла к брату, Кхай, не дав ей и рта раскрыть, объявил во всеуслышанье:

— Нгиа еще не вернулся из отпуска!

— Да уж он небось дома доброе винцо попивает, — засмеялся кто-то, — никак не оторвется!

Насмешки и шутки вконец смутили Ми. На глаза у нее навернулись слезы. Благо никто этого не заметил, всем было не до нее: сгружали новогодние товары!

— Бумага пришла, — сказал Кхай сестре, — тебя направляют в медицинское училище.

— Неужели правда? — переспросила Ми.

И непонятно было, радуется ли она предстоящей поездке или волнуется, почему Нгиа еще не вернулся с равнины.

XXII

Так уж бывает испокон веку: едва стемнеет, расправляют крылья ночные птицы и разлетаются, самец и самка — в разные стороны. Всю ночь окликают они друг дружку в лесных чащах, и лишь на рассвете стихают их голоса.

Мео имеют обыкновение угадывать по птичьим голосам свою судьбу.

Ранним утром, когда невестка ставит на очаг глиняный котелок с отверстиями в донце варить кукурузу на пару, слышно, как под крышей у двери тихонько шепчутся птицы. Это чета ласточек хлопочет в своем гнезде; словно приплясывая, они выставляют наружу то голову, то хвост, приминая торчащие соломинки. Пение ласточек, не говоря уж о гнездах, что лепят они под стрехой, — доброе предзнаменование для дома. И каждый, кто слышит поутру их голоса, проникается радостью и надеждой.

Меж гроздьев ярко-красных цветов протяжными голосами распевают черные дрозды — всего три или четыре малые птицы,

а криком своим пересполошили всю округу. Черные дрозды вечно пререкаются и громко судачат — точь-в-точь женщины на ярмарке. И лишь изредка можно услышать голоса небольших черно-белых птиц титьтьое, трели соловья или прозрачную песенку певчих дроздов.

Птичий гомон звенит не умолкая.

Но едва яркий солнечный свет разливается по небу, наступает тишина. Прилетают откуда-то стаяй удода, пунцовые с яркими высокими гребнями, они, точно факелы, рассекают плену редющего тумана.

В эту пору обычно за дверьми готового к открытию магазина раздается негромкий, похожий на птичий щебет звук — словно проныры воробьи или ласточки пытаются заглянуть в притворенную дверь внутрь помещения.

Нгиа уже знает: там — первые покупатели, а может, люди принесли что-нибудь на заготовительный пункт. Женщины заглядывают в щели между дверными створками и тихонько болтают, дожидаясь начала торговли. А когда солнце поднимается повыше, начинают сходиться — по одному, по двое — покупатели из дальних деревень. Сегодня день не базарный — обычные будни.

Солнце стояло уже высоко, когда двое незнакомых людей — мужчина и женщина — вошли в магазин. Были они молоды. На ногах у обоих — одинаковые сандалии из автомобильной резины. Нгиа опустил расходную книгу, глянул на них и сразу попял: молодожены. Молодые всегда приходят вместе покупать обновки.

Щегольским своим нарядом они затмили здесь всех и вся. На жене — черная шелковая кофта и цветастая юбка в складку, открывающая икры ног, обтянутые новенькими синими гетрами. Муж ее красовался в короткополой куртке, именуемой тапу, с высоким воротом, расшитым в косую клетку. Он был коротко подстрижен, и серебряных обручей на шее у него не было. «Наверно, учится где-нибудь, — подумал Нгиа, — может, будущий учитель, а может, работает в Молодежном комитете? Молодые ведь нынче не отпускают длинных волос, и ни один не наденет шейных обручей или платье, какое носили в старину, — оно открывало живот и стягивалось сзади красным кушаком. Никто даже не покупает материю, из которой шьют старинные наряды... С первого взгляда и не поймешь, кто он, этот парень?..»

Женщина пощупала красную материю — целая штука лежала на прилавке, — помяла в ладони сатин и, обернувшись,

поглядела на мужа. Щеки ее вспыхнули румянцем: новобрачные обычно стеснительны. Раньше женщины мео брили головы, оставляя волосы лишь на темени, но молодежь давно отказалась от этого обычая.

Молодожены купили двуспальное красное одеяло намдиньской работы, и, когда Нгиа протянул им сдачу, на лице у жены появилась нерешительность. Нгиа быстро защелкал костяшками счет и понимающе улыбнулся:

— Вы можете взять на эти деньги еще десяток чашек. Пожалуйста, последняя новинка...

Муж кивнул и взял связанные в две стопы чашки — их завезли с равнины, из Хайниня.

— Могу предложить табакерки с зеркальцами. Очень красивые.

Они купили две штуки; молодежи вообще полюбились эти табакерки. Их можно было даже носить как украшение на куртке или за головной повязкой.

— Пожалуйста, английские булавки...

Они взяли десяток. Потом купили кусок туалетного мыла «Белая роза», бутылъ керосина, две мотыги и полтора метра красного нейлона на дождевик...

Муж выложил на прилавок пять донгов, и снова осталось немного денег. Жена рассматривала пестрый детский костюмчик, висевший возле самого прилавка. Костюм ей явно понравился, и она протянула было за ним руку.

— Да будет вам, купите в следующий раз, — засмеялся Нгиа.

Тут только молодожены остановились.

Нгиа едва не добавил: «Кукуруза еще не созрела, а вы уж и свадьбу сладили. Куда торопитесь?..» Но промолчал; на сердце у него кошки скребли, и было ему сейчас не до шуток.

Он все вспоминал случай, приключившийся на строительстве дороги, неподалеку от Наданга — месяц назад поженились девушка из Тхайбиня¹, приехавшая в горы поднимать целину, и парень, выходец из мео. Всюду только и разговоров было что об этом браке. Оба — и жених и невеста — работали в Молодежном комитете. Там они познакомились и полюбили друг друга. Свадьбу сыграли прямо на стройке. Потом муж отвез молодую знакомиться со свекровью и свекром. Жена, желая уважить мужа, сменила обычное свое платье на наряд мео, и оказалось, он очень пришелся ей к лицу. Старики, увидав, что невестка,

¹ Тхайбинь — название города и провинции ДРВ, расположенной на берегу Тонкинского залива, к юго-востоку от Ханоя.

хоть родом она и из чужих мест, обличем вылитая мео. На радостях они позабыли обычай и сами вышли навстречу молодым.

Рассеянно припоминая забавные эти подробности, Нгиа подумал: «А ведь если здесь женишься, придется небось ехать на свадьбу к жениной родне, нарядившись горцем... Впрочем, мужчине одолжить или сшить костюм легче, чем женщине...»

Настроение у него было довольно унылое. Тет он отпраздновал на родине, в Футхо. Перед праздником получил от брата письмо: «Постарайся приехать к Новому году. Теперь-то уж непременно тебя окрутим...» Но надежды брата не сбылись. Не суждено, видно, ему обрести свое счастье в родных местах — а ведь казалось, вот оно, у него в руках. Иногда, как, скажем, сегодня, он старался не вспоминать об этом: личные дела, в общем-то, мелочи. Но избавиться от грустных мыслей не удавалось, и они возникали снова и снова, как родник, пробивающийся из-под камней.

На партийной конференции Тхао Кхая избрали в бюро Окружного комитета партии; он оказался самым молодым членом бюро. Когда голосовали за Кхая, Нгиа вспомнил, как тот совсем еще подростком пришел в партизанский отряд; он был тогда одних лет с Вы А Зинем¹ и так же находчив и смел. А теперь вон как далеко пошел! «Это хорошо,— думал Нгиа,— что мео вошли теперь в руководство партии. И Кхай будет в бюро как раз на месте. Недавно, во время заговора самозванного короля, «старые кадры» вроде меня оказались не на высоте...»

А ведь, бывало, Нгиа смотрел на Тхао Кхая, как на зеленого юнца, не отдавая себе отчета в том, что тот уже вырос и стал отличным работником, завоевавшим доверие и уважение земляков.

Да, недочетов и промахов у Нгиа было немало — он и сам признавал это. Партия, посылая коммунистов в горы Тэйбака, напутствовала их: «Пусть земля эта станет вашей второй родиной». И Нгиа без малого пятнадцать лет следует ее наказу. Он и жизни не пожалел бы ради высокой своей цели. Нерасторжимые узы связали его со здешним краем. Отчего же его одолевает тоска и тревога?..

А молодожены, приторочив свои покупки к седлам, успели

¹ Вы А Зинь — мальчик из народности мео, который во время войны Сопротивления был партизанским связным. Врагам удалось схватить Вы А Зиня, они подвергли его зверским пыткам, но он не выдал своих и умер геройской смертью. В 1952 г. правительство ДРВ посмертно наградило его.

отъехать уже довольно далеко. Только яркое женское платье переливалось еще вдали на солнце. Но Нгиа казалось, будто он видит их обоих, словно они все еще стоят у его прилавка. Только на месте незнакомой женщины чудилась ему Тхао Ми — он видел перед собой ее блестящие глаза, ее румяные щеки.

Любовь непостижима, ее нельзя измерить и выразить с помощью чисел, как исчисляют, скажем, высоту самых высоких гор. И все-таки Нгиа пытался определить, уточнить и проверить свои чувства. В общем-то, его колебания сводились к одному-единственному вопросу: исполнил ли он до конца свой партийный долг, сумел ли обрести здесь, в Западном крае, вторую родину?

Он давно понял, что Ми любит его, и готов был ответить на ее чувство. Потому что полюбил и сам. И все-таки колебался. Он колебался и не мог ни на что решиться.

Раздираемый противоречивыми чувствами, он глядел на гребни гор.

— Коня-то еще хорошо видно! — раздался вдруг чей-то голос у него за спиной.

Он обернулся:

— О, Виен! Здорово, ты откуда?

— Та-ак,— протянул Виен,— конь остановился. Жена небось достает из коробка данмой. Усядутся рядышком на камень и затают дуэт... Теперь до завтра домой не доберутся!

— Говоришь-то ты складно. Да только покупатели мои давно уж перевалили за гору. Это другая лошадь, она, наоборот, приближается к нам.

— Да нет, это скакун новобрачных!

— Хочешь пари?

— Давай!

— По рукам!

Виен продолжал с победоносным видом:

— Я с этим счастливым мужем знаком, он работает в Молодежном комитете.

— Уж не он ли женился на девушке с равнины? — спросил Нгиа.

— Нет, с чего ты взял!

Нгиа смущенно умолк.

— Если б та парочка со стройки заявила сюда,— не умолкал Виен,— ты бы их все равно не узнал. Красотка из Тхайбиня в новом наряде — вылитая мео и на данмое играет — заслушаешься. Вот так-то!

Виен здесь без году неделю, а знает всех и вся!

— Виен,— помолчав, вдруг спросил Нгиа,— а ты из каких краев будешь братъ жену?

— Милый мой,— Виен расхохотался,— да какая разница, откуда жена родом, главное — любовь! Кого полюбишь, на той и женись — вот мой принцип. Но женюсь я не раньше, чем будет освобожден Юг. А ты-то сам, что думаешь?

— Я, в общем... как и ты.— Нгиа принужденно улыбнулся. Слова Виена разбередили ему душу. Ему стало не по себе, словно его только что пробрали как следует — и за дело.

Виен окончил техникум и приехал сюда с гидрологической экспедицией; работал в Хангтоме, потом поднялся в Мьонгте, опять спустился в низины Шинхо к реке Намма, а недавно, во время паводка, перебрался в устье речки Наданг.

Теперь, когда гидрологи построили здесь свой лагерь, кончилась первобытная, дикая жизнь Наданга. Рекой занялись люди. Отныне — и в половодье и в мелководье — объем воды, расход ее и скорость измерялись и вычислялись с помощью точных приборов. Виен хотел заставить ручьи и реки служить народу.

До того как он поднялся сюда, на Запад, Виен никогда не видал ни леса, ни гор. Его поколение выросло уже после Революции, и сверстники Виена восприняли многие черты нового времени. Их воспитали не только семья, но и школа, коллектив товарищей, весь уклад жизни и, конечно, книги — хорошие книги, пробудившие в душе у Виена любовь к родной земле, тягу к дерзаниям и дальним дорогам, к большим и серьезным делам.

По натуре своей Виен был склонен к прекраснодушию и мечтательности. Но сама работа — тяжелая и вроде на первый взгляд чересчур приземленная и однообразная — научила Виена правильно понимать задачи, поставленные Революцией, решать практические дела. Два нелегких года пробыл он с экспедицией в лесах Нампо, а оттуда вместе с гидрологами перебрался в здешние края. Виен за это время очень переменился, теперь романтическая окрыленность у него сочеталась с деловитостью и расчетом, а будничная текучка не заслоняла далеких радужных горизонтов.

Кончался паводок, и возле лагеря гидрологов в Наданге уже не видать было серых выдр, пыравших с берега за добычей. Река оставила на берегу вывороченные потоком валуны, кустарники и деревья. Солнечный свет расстилался по воде ровной, отливающей золотом гладью. Сойдя на мостки, гидрологи подтягивали поближе «железную рыбу» — водомер, отмечавший напор и скорость воды.

В полдень свет солнца бывал особенно прозрачен и ровен. С молчаливых полей долетал запах созревших ананасов.

Но ясные дни в горах длятся недолго. Зима нагоняет к лесным опушкам серые тучи. И тогда уж не различить изда- лека маленький лагерь гидрологов на берегу Наданга. А Виен и его друзья на утонувшей в тумане станции как ни в чем не бывало продолжают работать и учиться и даже умудря- ются таскать на деревенские огороды золу для удобрения почвы.

Проходит зима, за нею весна, потом — лето и осень, а рабо- та у Виена тянется неизменной, нескончаемой чередой: в мел- ководье сидишь себе спокойно и делаешь замеры да выводешь столбики чисел, зато в половодье приходится круглые сутки быть настороже и ежечасно сверяться с приборами. Человек обязан сохранять спокойствие и уверенность перед лицом из- менчивой грозной природы...

Нгиа всегда с уважением думал о Виене и его сверстниках, о тех, кто пришел работать сюда, в горы: учителя и медики, ирригаторы, животноводы, агрономы, счетоводы, плановики, работники торговли... Пускай они не сталкиваются с теми труд- ностями, которые выпали в войну на долю Нгиа, но и сегодня, когда в быстро меняющихся условиях особую важность приоб- ретают проблемы идеологии и экономики, на их плечи легла огромная ответственность. Вклад молодежи в построение социа- лизма здесь, в горах, очень и очень велик.

«Поколение двадцатилетних,— думал Нгиа,— повинуюсь ве- лению сердца, шагнуло во все концы страны. И если наши де- вушки и парни узнают, ценою каких усилий и жертв народ отстоял и преобразил горные склоны Финша или устье Хуоика, не приметную деревушку Наданг и речку Намма, если молодежь поймет, как преданы новому строю люди мео и са, зао, хани и лоло...— она будет считать свой труд во имя будущего этого горного края делом чести. Надо,— решил Нгига,— рассказать ребятам о славных традициях прошлого. Начать с создания здесь партизанской базы, потом сказать, как жили люди Финша в войну и после Освобождения, когда началось строительство. Ну и, конечно, остановиться на происках американских импе- риалистов: вспомнить, как проводились диверсии, как разжи- галась кровная вражда, распространялись провокационные слу- хи, как пытались переманить народ за границу... Я, хоть и про- работал здесь пятнадцать лет, все-таки не смог до конца понять душу здешних людей и не сумел раскусить хитрости врага. Вот об этом-то и надо поговорить с молодежью...»

— Решил погулять в выходной день на базаре? — спросил он Виена.

— Да откуда у нас, у гидрологов, выходные? Для нас воскресенье — те же будни, работа... Я на собрание Союза молодежи.

И, помолчав, Виен добавил:

— Когда же ты наконец расскажешь нам историю Финша? Раздразнил, а теперь все кормишь обещаниями. Мы ведь здесь новоселы...

Нгиа только успел хмыкнуть в ответ, как Виен выбежал навстречу своим приятелям. Вместе с Кхуа Ли, секретарем здешней ячейки, они, весело болтая, направились к школе, где должно было состояться собрание. Оживление, охватившее было Нгиа, тут же улетучилось, и в магазине стало вдруг пусто и неуютно.

— Эй, Виен! — крикнул Нгиа ему вдогонку. — Ну, кто был прав?

— Твоя взяла.

К магазину подъехали три всадника. Из-за них-то и разгорелся спор.

Нгиа узнал заведующего Окружным отделом торговли. Транзистор, висевший на ремне у него за спиной, заливался во всю мочь. Следом за ним ехала женщина.

Виен быстро обернулся. Нет, он и не думал сейчас о пари; ему не терпелось узнать, кто эта женщина — маленькая и хрупкая, — так ловко спрыгнувшая с коня. На ней был костюм цвета хаки намдиньской выделки, какие носят обычно кадровые работники. От холодного горного воздуха щеки ее разрумянились. Волосы, собранные узлом, стягивала зеленая косынка, концы которой торчали в разные стороны. Так носили косынки в нынешнем году ханойские девушки, и мода эта почему-то называлась «ГДР».

Гостья подошла к парням и девушкам и каждому подала руку. Виену — тоже. Здраваясь с нею, Виен смутился и покраснел.

Нгиа еще несколько дней назад узнал, что заведующий торгов отделом объезжает все магазины и торговые точки близ границы.

Они были давно знакомы друг с другом и тотчас разговорились.

— Кто это приехал с вами?

— Да все свои, старые знакомые...

— Вроде есть и новые лица.

— А-а, попали в точку! — громко засмеялся заведующий. — Сейчас я вас познакомлю... Товарищ Хуои Ка, наш новый специалист по разведению чая. Вот приехала в Финша изучить ваш дикорастущий чай. Я уж ей рассказывал про заботы и сложности «магазина товарища Нгиа»... А это и есть товарищ Нгиа.

Растерявшийся от неожиданности Нгиа забыл даже представить гостям набившихся в магазин людей. Он не мог опомниться: Хуои Ка!.. Деревня Хуоика!.. Люди племени са... Ясноглазые худенькие дети с поблекшей темной кожей, которая цветом напоминает мутную воду... Неужели это та самая девочка, которую — одну из всей деревни — спасли когда-то солдаты? Неужто перед ним Хуои Ка — живое олицетворение светлого будущего всего племени са?..

— Скажите,.. — запинаясь, начал Нгиа, — не вы ли...

— Да, я из той самой деревни, — отвечала гостя. — Солдаты рассказали мне потом, как геройски погибли все наши односельчане и почему назвали меня таким именем.

— Значит, вы и есть та самая Хуои Ка?

— Да, я Хуои Ка.

— А вы не помните Панга?

— Как же, ведь только мы двое тогда и уцелели — мальчик по имени Панг да я.

— Стало быть, не забыли.

— Нет, и никогда не забуду.

Они помолчали.

— Вы к нам надолго? — спросил Нгиа.

— Да вот, пока не обследую заросли чая.

— Знаете, — вмешался в разговор Виен, — туда надо ехать мимо устья Наданга, где как раз и живет товарищ Панг.

Виен, пожалуй, один держался как ни в чем не бывало.

— А вы сами, видно, работаете там? — спросил Хуои Ка.

— Да, в Наданге стоит наша гидрологическая экспедиция.

— Вы гидролог? Вот здорово!

— Милости прошу к нам в гости.

— Спасибо, непременно заеду.

Виен так и сиял. Нгиа вспомнил недавние его слова: «Какая разница, откуда жена родом, главное — любовь!..» И вдруг обрадовался: «А что если Виен влюбится в Хуои Ка? Может, и она его полюбит... Очень даже возможно...»

И ему почудилось, будто он снова слышит вопрос Виена: «А ты-то сам, что думаешь?..» Ответ готов был вырваться из сердца.

Наступил полдень. Заведующий вместе с Хуои Ка ушел совещаться с местными властями. Нгиа остался в магазине. Им овладело какое-то смутное предчувствие, томительное ожидание... Но чего?.. Непонятное, необъяснимое волнение...

Кто-то прошел мимо. Похоже, что Тхао Ми... В каждой женщине теперь ему чудилась Ми... Нет, не она... Но он знал наверняка: она придет на собрание.

Нгиа был сам не свой. Никогда еще, думая о Ми, он не испытывал такого смятения. Наверно, сегодняшняя их встреча принесет что-то очень важное.

Вдруг в дверях появилась Ми. И хоть он ждал этой минуты и даже заметил девушку издали, Нгиа растерялся вконец.

— Вы на базар, в такую рань? — спросил он невпопад.

— Да нет, я на собрание.

— А если не на базар, зачем вам заплечный мешок? — снова спросил он, сознавая, что вопрос его лишен всякого смысла.

— Да ведь он пустой, — ответила Ми.

Она наклонилась и раскрыла мешок. На самом дне лежали две общие тетради и белая блузка, аккуратно сложенная, чтобы не смялся отложной воротник.

«Ми, — сказал ей однажды Нгиа, — вам бы наверняка пришелся к лицу наряд девушки с равнины...» Вот тогда-то она и сшила себе белую блузку и принесла в магазин — похвастаться. Но Нгиа не видел ни разу, чтобы она надела обновку. И вдруг его дернула нелегкая — именно сегодня — спросить у нее об этом...

— Вот поеду на равнину, — засмеялась она, — тогда и надену.

Совсем обескураженный, Нгиа умолк. Потом спросил, надеясь поправить дело:

— Может, купите что-нибудь?

— Нет-нет. Я просто зашла поздороваться. Ведь я скоро уеду учиться. Далеко...

— А-а... Это по вызову?

— Ага. Знаете, я, наверно, буду учиться в самом Ханое.

Нгиа почувствовал, как сердце его сжалось от волнения и тревоги. И почему-то ему снова стало очень грустно.

— Пожалуй, — сказал он, — через несколько лет мне придется величать вас «фелдшерица Ми», либо «фармацевт Ми», или «доктор Тхао Ми»...

— У вас столько знакомых по имени Ми?

— Я не шучу...

Он замолчал, не зная, что еще сказать.

Пришли покупатели и попросили показать ткани. Нгиа хлопотал у прилавка. Ми улыбнулась и не торопясь вышла из магазина. Подняв голову, он мельком глянул ей вслед, наклонился к прилавку, отмерил ткань и с треском оторвал от рулона кусок. Потом принялся выводить цифры в учетной книге. Покупатели удалились.

Солнечные лучи ударили наискось в дверь. На мягкую зелень травы легли переплетенные тени деревьев.

На залитой солнцем красноватой дороге ни души. Ручей прыгал вниз с камня на камень. Мимо проплывали изящные белые завитки облаков. Ми так и не показалась на дороге.

Нгиа вдруг вспомнил, как он впервые привез сюда соль, ее тогда продавали еще в Комитете, и Ми пришла за солью вместе с матерью; потом они распрощались и ушли, но на дороге он увидел одну Зианг Шуа. «Ми,— подумал он тогда,— наверно, стоит за воротами...» И догадка его оказалась правильной. Вроде вчера это было, а сколько уж лет прошло...

Не задумываясь, он шагнул к воротам.

Да, она стояла там, прислонясь спиной к бревенчатой ограде.

— Ми,— чуть слышно сказал он.

Красные цветы бле алели меж листьями, точно изогнутые огнецветные дольки тыквы¹ посреди подноса со сваренным на пару зеленоватым клейким рисом.

Пахучие белые лепестки цветов маму, кружась, опускались наземь.

Девушка подняла голову и взглянула на него.

— Отчего вы стоите здесь? — спросил он и понял: вопрос его снова не к месту.

— Жду вас,— ответила Ми.

И вдруг все тревоги его и сомнения улетучились разом.

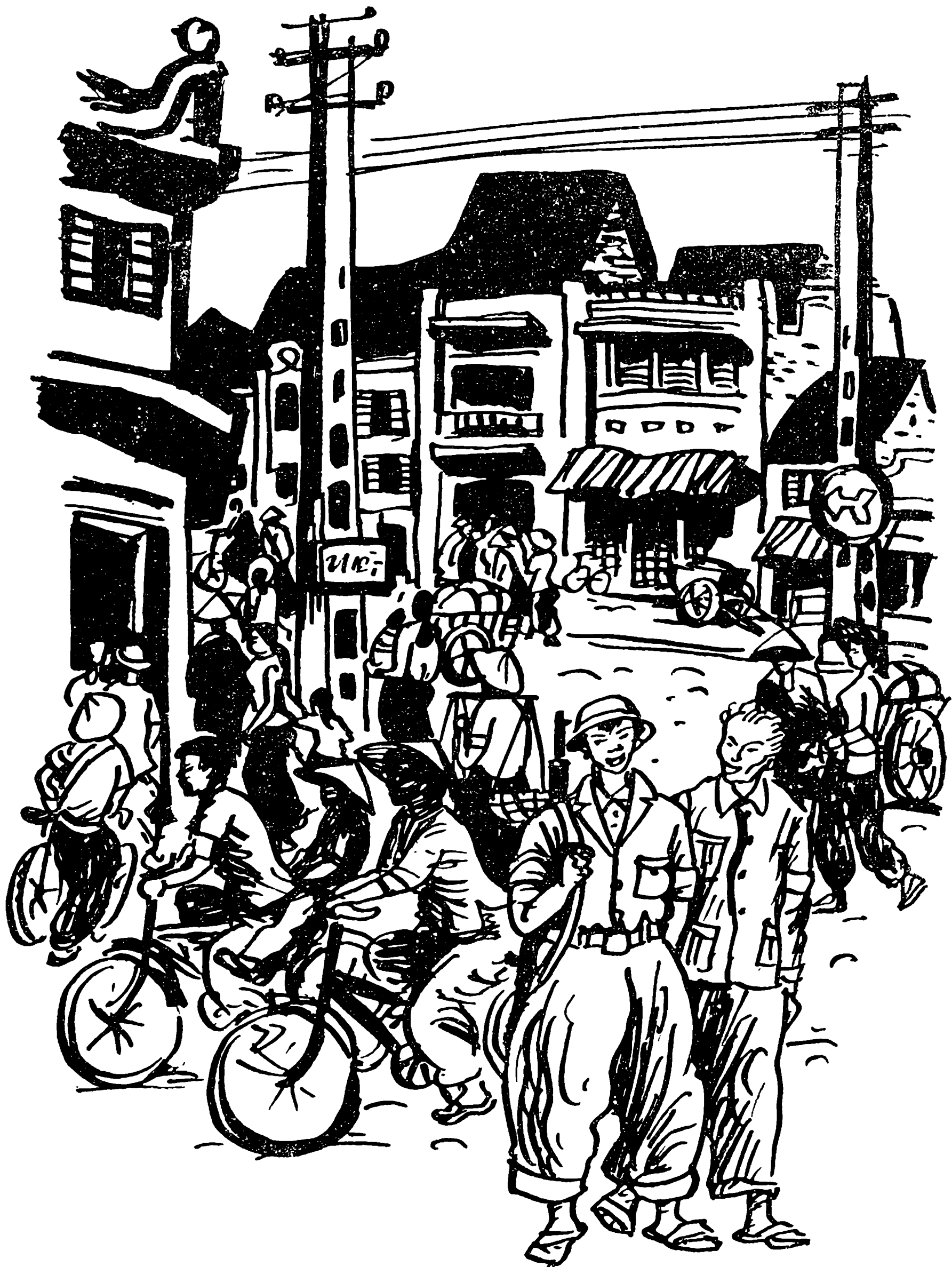
А весенний лес затопил горы робкой еще зеленью. Близился срок, когда надо высаживать рис на поля, и над землею, над расселинами скал поднимался терпкий сладостный дух.

Донгван, 1964

Шинхо, 1965

¹ В оригинале речь идет о ползучем растении гэк из семейства тыквенных: покрытые шипами плоды его с красной сердцевинкой кладут в приготовленный на пару клейкий рис.

РАССКАЗЫ



Редактор М. Финогенова

СБОРЩИК ДОЛГОВ

I

Коммерсант Кхе был толстый и круглый, как плод хлебного дерева. Повязку на голове он завязывал особым узлом, так что концы ее торчали наподобие буйволиных ушей. Малые дети, те, к примеру, считали, будто на голове у него растут рога. Ходил он всегда в одном и том же одеянье — длинной коричневой блузе и штанах из такой жесткой и плотной ткани, что собаки могли обломать об нее зубы. Подпоясывался он красным кушаком, старым и драным, а в руке обычно держал трость из дерева хео, украшенную облезлой красной кистью.

В то утро, когда Кхе шествовал по каменным ступеням общинного дома в деревне Нгиадо, было еще совсем рано, и туман только начал расходиться. А случилось это двадцать девятого числа двенадцатого месяца, в последний базарный день года.

По дороге, что вела сюда из Бака, в обход лежавших за деревней полей, тянулся на базар народ. И на деревенской улице маячили силуэты людей, направлявшихся к рыночной площади: детишки, несколько женщин и какой-то старик, тащивший на продажу пса. Пес всячески противился и упирался, но цепь на ошейнике была крепкая, и хозяин, напрягши силы, волочил пса все дальше и дальше, торопясь на базар. Увидав степенно шагавшего коммерсанта Кхе с тростью под мышкой, старик припустил по дороге со всех ног.

— Коммерсант Кхе пожаловал! — крикнул он так громко, что его услышали даже ушедшие вперед женщины.

— По чью ж это душу он явился? — спросила одна из них. И старик отвечал с видом знатока:

— К Каю небось идет, к кому ж еще? Он с него теперь не слезет!

По всей округе имя коммерсанта Кхе вызывало у людей такой же суеверный страх, как уханье совы на крыше; и особенно у тех, кто был должником Ба Кхоана из Бака. Коммерсант Кхе выколачивал деньги из должников Ба Кхоана, его так и величали «сборщиком долгов». Непонятно только, откуда взялось прозвище Коммерсант, ведь Кхе никогда ничем не торговал. Он уж не первый десяток лет служил у Ба Кхоана, и в последние дни года хозяин всегда посылал его взимать долги и проценты. Кхе обходил окрестные деревни со своей неизменной тростью, которая служила символом его высокой миссии.

Коммерсант Кхе, пройдя по деревне, свернул в переулок, где стоял дом Кая.

У дома не было ни ворот, ни забора. Кхе обозрел двор: нигде ни души, потом обошел весь дом и даже заглянул под топчан. Никого. Топчан оказался старый, весь источенный жучком, а под ним термиты изрыли пол, нагромоздив кучи земли. Кхе для порядка постучал тростью по стенам, вдоль которых белела осыпавшаяся известка, и вышел во двор. Вокруг дома росли низкие кусты дурнишника, усыпанные желтыми цветами. Здесь небось никто не ходил уже целый год.

Кхе набрал в грудь побольше воздуха и заорал во всю мочь: — Ка-ай! Эй, Кай!..

Скрипучий голос его облетел всю деревню. Но Кхе надсаживался напрасно. Хозяева словно сквозь землю провалились. Лишь меж ветвями гибискусов, стоявших живой изгородью позади дома, выглянули и тотчас исчезли две или три детские рожицы с вытаращенными глазенками, а потом донесся стук босых пяток.

Кхе вернулся в дом, положил свою трость поперек высокого столика, на котором обычно раскладывают книги и принадлежности для письма, и уселся на топчан. Он потянулся и несколько раз широко зевнул. Зевал он с самого утра. Прошлой ночью он допоздна играл в карты, и сейчас его одолевал сон, веки отяжелели и закрывались сами собой.

Он огляделся, нет ли поблизости циновки... Но циновки в доме не оказалось. Тогда он поднял лежавшую на полу соломенную подстилку, расстелил ее на топчане и улегся, похожий в полутьме на говяжью тушу. Через минуту дом огласился могучим храпом...

Из года в год в последний базарный день Кхе являлся в дом Кая взыскивать долг. Должок был изрядный: больше десяти донгов серебром. Кай не занимал их у ростовщика, это его мать когда-то одолжила деньги у отца Ба Кхоана. Перед смертью старуха в присутствии сына и займодавца наказала: «Я не из тех, кто может присвоить чужое добро. Вот мой сын, он выплатит все до последнего гроша. Слышишь, сынок! Запомни мои слова...» Так это неписаное долговое обязательство перешло на Кая. Кабала стала как бы судьбою его самого и всей семьи. И даже в те годы, когда Ба Кхоан забывал напомнить коммерсанту Кхе о долгах Кая, сборщик долгов и сам — так уж издавна повелось — заглядывал сюда спозаранку.

Он знал наперечет каждый кирпич на дорожке посреди переулка и мог бы найти дом Кая с закрытыми глазами. Кай с женой очень боялись коммерсанта Кхе: а ну как он под горячую руку огреет их тростью или, того хуже, ославит на всю деревню. И всякий раз, увидав, как к ним в переулок неторопливо сворачивает Кхе, жена Кая начинала приветливо улыбаться и кланяться...

— Вот и вы к нам пожаловали. Милости просим...— А потом заводила речь, вкрадчивую, как молитва: — Увы, в этом году торговля шла из рук вон плохо. Вы уж сделайте милость, скажите почтенному Ба Кхоану: мы, мол, уповая на его доброту, просим отсрочить уплату еще на год. Времена ведь меняются, и все вроде идет к лучшему. И потом...

А Кхе, наклонив голову, похожую на черпак из кокоса, созерцал два серебряных хао, белевших на ладони хозяйки. Затем он щепотью брал монеты, опускал их в свой кошелек, а кошелек заворачивал в пояс.

И ему не было никакого дела до того, изменятся ли времена к лучшему и вернет ли заемщик долг через год.

II

Когда Кхе проснулся, солнце уже клонилось к закату.

Косые лучи его, пробиваясь сквозь дыры в стене, падали на земляной пол. Кхе потянулся разок-другой, восклицая «О-о небо!» Такая уж у него была привычка: потягиваясь, непременно взывать к небу.

Он удивленно обвел глазами дом. Хозяева до сих пор не вернулись. Кхе в недоумении присел на топчан и, прикрыв глаза, погрузился в размышления.

Семья Кая — что-что, а уж это Кхе помнил отлично — всегда старалась приветить его. Собирая долги для своего хозяина, он стучался в сотни ворот и про любой дом держал в памяти все — от каменного пса, поставленного в начале улицы, до щербатой чашки на посудной полке. Как правило, люди старались задобрить его и угостить. Ну а если он видел, что денежки в доме водятся и хозяева-скареды просто не желают с ними расстаться, он устраивал там свою «резиденцию» на день, на два, на неделю, пока ему — с подобающей вежливостью — не подносили деньги. Тогда лишь снимал он осаду и возвращался во свояси. Но здесь, в этом доме, конечно же, не было денег, чтоб расплатиться с почтеннейшим Ба Кхоаном. На сей счет у коммерсанта Кхе давно уже не осталось ни малейших сомнений. И, являясь сюда из года в год, он даже не заговаривал, как всюду, о долгах, платежах и сроках, а просто получал от хозяйки мзду, именовавшуюся для приличия «подарком» — никак не меньше двух хао. Нет, Кай и его жена были не из тех, кто бежал и прятался от него.

А нынче они почему-то не пожелали с ним видеться. И где их только носит нелегкая с самого утра? Может, они на базаре? Но ведь и с базара рано или поздно люди возвращаются домой. Уж не отправились ли они куда-нибудь далеко? Только кто же, скажите на милость, в канун Нового года, надумает покинуть дом?! Куда же они все-таки запропалились?

В проеме двери он видел солнце, потускневшее и совсем круглое, оно повисло над самой землей. Дом был по-прежнему пуст, да и вся деревня словно вымерла. Только где-то на берегу пруда громко переговаривались женщины да шелестели на пальмах ко не опавшие еще листья. А издалека доносился похожий на прерывистые вздохи гул многолюдного торжища.

Кхе поднялся и встал ногами на доски топчана. Дряхлые козлы жалобно заскрипели, и топчан заходил ходуном, точно утлая лодка. Он без стеснения задрал штанину и помочился прямо на пол.

Близился вечер. Становилось прохладно, хотя северный ветер вроде еще не поднимался. Над землей неторопливо плыл туман. Умолкли голоса и смех женщин, промывавших рис у пруда; затих и шелест листвы. Их сменил шум перебранки соседей — ведь сегодня полагалось сводить счета за весь год, возвращать долги и выполнять обещанья. Громыхали первые, робкие еще хлопущки. Одним словом, близилось тридцатое число, последний день года, шумный, разпоголосый день новогоднего праздника.

Коммерсант Кхе ждать больше не мог. Ясно, хозяева решили спрятаться от него. Ну, и он тоже не останется в долгу: узнают они теперь, каков он во гневе. Кхе соскочил на пол, и доски толчана тотчас обрушились вниз, как дверца мышеловки, а колченогий столик для книг с угрожающим скрипом закачался из стороны в сторону.

Выглянув во двор, Кхе увидал за кустами дурнишника желтого пса, жалкого и тощего, ребра — все наперечет — так и выпирали.

— Ишь ты, — пробормотал он, — у них даже пес слюной исходит с голодухи. Хорошо, если я еще найду, чем поживиться. Прихвачу барахло — и ходу!

Вечерние тени начинали сгущаться. А ему, прежде чем отправиться домой и начать приготовления к празднику, надо было еще явиться к почтеннейшему Ба Кхоану и доложить все, как есть.

Кхе снова, на этот раз цепким деловым взглядом, обвел дом, ища хоть какую-нибудь стоящую вещь. Трухлявый топчан, хромоногий столик, алтарь предков с маленькой чашкой для благовонных палочек. Со стены свисает на небрежно затянутом шнуре бамбуковый футляр, в каких обычно хранят запись поминок и годовщин предков. Ни тебе благовонной палочки, ни «золота»¹. Во всем доме не было даже картинки с петухом², которые так любит детвора. Словно бы Новый год вовсе не собирался заглянуть сюда, в это царство запустенья и нищеты.

Но Коммерсант Кхе был деловым человеком: взяв с алтаря чашку, он вытряхнул из нее песок, потом снял со стены бамбуковый футляр, прихватил его в одну руку вместе со своей тростью и, сунув под мышку фаянсовую чашку, вышел за ворота.

Дойдя до начала переулка, он остановился у изгороди, окружавшей соседний дом.

— Эй, хозяин! — крикнул он. — Выйди-ка на минутку!

Из-за изгороди выглянула женщина.

— Не скажете, куда это Кай запропастился?

— Наверно, пошел на базар.

— Что же они с женой так и торчат там с утра?

¹ Речь идет о бутафорских золотых монетах из фольги или бумаги, которые принято было в дни поминок возлагать на алтари предков; считалось, что предки тогда в загробном царстве обретают настоящее золото.

² Имеются в виду лубочные картинки, которыми вьетнамцы украшают дом в канун лунного Нового года. Изображение петуха — один из самых распространенных сюжетов лубка, обычно сопровождается благожелательными надписями.

— Да тетушка Кай вот уже месяц, как па том свете, — усмехнулась соседка. — Выходит, он торчит на базаре один.

Не выказав ни малейшего удивления, Кхе помолчал немного, потом сказал:

— Я попрошу вас, когда он вернется, передайте, мол, заходил Коммерсант Кхе и изъяс бамбуковый футляр и чашку. Если б я ничего не взял у него в счет старого долга, вышло бы, что он нарушил свою клятву. Боюсь, предки его не пожалуют тогда в гости на Новый год.

И Кхе зашагал по улице.

Вдруг он споткнулся обо что-то и, приглядевшись, увидел знакомого уже ему желтого пса, который, как видно, приняв Коммерсанта Кхе за вора, настиг его и вцепился ему в ногу. Шерсть у пса стояла дыбом, глаза налились кровью, а из пасти белыми клочьями падала пена.

Кхе замахнулся и что есть силы стукнул пса тростью по голове. Пес подпрыгнул, хватил его за руку и кинулся наутек, поджав хвост и свесив чуть ли не до земли длинный красный язык.

Коммерсант Кхе, оскорбленный в своих лучших чувствах, выругался и стал осматривать раны: зубы пса едва задели кожу на руке, да и нога, благодаря знаменитым штанам, была лишь слегка оцарапана, на месте укуса выступила крохотная капелька крови.

Вечер был прохладный, и Коммерсанта Кхе пробрал озноб.

III

Когда Кай явился домой, было уже совсем темно.

На спине он тащил сынишку. С тех пор как умерла мать, с ним не было сладу.

По правде говоря, Кай вернулся с базара уже давно, но, войдя в переулок, услышал доносившийся из дома громкий кашель Коммерсанта Кхе и пустился наутек. Ведь у него не было ни гроша, чтобы задобрить Кхе, и он страшился пресловутой трости с кистями.

Войдя в дом, он почуял какой-то мерзостный запах и побежал к соседям за лампой, — ее вместе с горшком риса и кальяном в предвидении визита Коммерсанта Кхе он перенес к соседям. Кай зажег фитиль и отправился домой. Ему не впервой было прятать добро у соседей; и они, возвращая ему вещи, передали слово в слово все, что сказал Кхе.

Услышав, что сборщик долгов взял и футляр и чашку, Кай судорожно всхлипнул, но не промолвил ни слова. Понурясь, побрел он домой. Но вскоре вернулся и сообщил соседу:

— Знаете, он загадил весь дом. И кроме футляра с чашкой, уволок моего хворого пса.

— Экая жалость.

— Да нет,— вдруг вмешалась соседка,— собаки я вроде при нем не видела.

— Помолчи! — сказал ей муж.— Кто же еще мог увести пса?

— Вот беда-то,— вздохнул Кай,— остались мы с сыном на Новый год без мяса...

IV

На седьмой день нового года, когда валят праздничные шесты¹, Коммерсант Кхе напился вдрызг. Он наорал на сына, обругал жену и, повалившись на циновку, тотчас же захрапел...

Но, поспав самую малость, он вдруг проснулся. Голова была тяжелой, словно к ней привязали каменный жернов. Никогда еще хмель не ударял так ему в голову. Опершись на руки, Кхе привстал, но руки подломились, и он снова рухнул на циновку. Внезапная судорога обожгла его болью. Потом повторилась еще и еще раз. Кхе кричал и выл от боли. Он весь обливался потом, хотя вечер был прохладный.

Жена попробовала растереть его водкой с имбирем. Но стоило ей прикоснуться к нему, как он забился в судорогах и оттолкнул ее прочь. Кожа его покрылась пятнами, он не давал никому дотронуться до себя, даже воображаемое прикосновение ветра заставляло его биться в конвульсиях.

— Закрой сейчас же двери! — кричал он жене.— Закрой, слышишь! Этот проклятый ветер меня доконает!..

Он весь горел как в огне. Судороги становились сильнее; нелепо вывернутые руки и ноги тряслись в чудовищной пляске.

Жена, обезумев от страха, металась по дому; она то и дело, сама не зная для чего, выскакивала во двор и тотчас возвращалась назад. Она не смела обратиться к соседям за помощью: кому охота в праздник бежать к больному.

¹ Праздничный шест — длинный бамбуковый шест, который в канун Нового года ставят перед деревенскими домами, к шесту привешивают гонги в форме полумесяца, изображения рыб и зверей из обожженной глины.

Лицо у Кхе — до самой шеи — побагровело, а руки сделались иссиня-красными. Глаза, помутневшие и налитые кровью, едва не вылезали из орбит. Он извивался и корчился, как разрубленный надвое червь. Сизый распухший язык вывалился изо рта. Он напоминал чем-то желтого пса, напавшего на него во дворе Кая.

К вечеру жене стало неважно глядеть на его муки, и она, выбежав на базарную площадь, отыскала лекаря.

— Ай, какая беда! — покачал головой лекарь, выслушав ее рассказ, и, помолчав, добавил:

— Вашего мужа, наверно, укусила бешеная собака. Идемте скорее, посмотрим, может быть, я и ошибся.

Но когда она вернулась домой, муж ее был совсем плох. Ничем, даже самой малостью, не был он похож на прежнего Коммерсанта Кхе. Обезумев, он разорвал на себе одежду и остался голым. Но холода он не чувствовал. Увидев жену, Кхе бросился на нее; она едва успела выскочить за дверь. А он, поскользнувшись, с грохотом рухнул на пол, точно кокос, сорвавшийся с пальмы. На другой день он умер. Умер в беспмятстве, разодрав себе горло руками.

Жена и сын боялись войти в дом и только изредка заглядывали в дверь.

Никто не посмел навестить их. Почтеннейший Ба Кхоан, услышав о смерти Кхе, пожаловал вдове деньги на дешевый гроб.

В день похорон четверо носильщиков, взвалив на плечи гроб, понесли его за деревню. Следом за гробом шла, тихонько всхлипывая, вдова. Рядом брел паспех одетый мальчик. Он обещал стать таким же рослым и дородным, как отец, но пока был худой и тонкий, как зубочистка.

МАЛОЛЕТНИЕ СУПРУГИ

Они были женаты с прошлого года.

Свадьбу справляли в десятом месяце. В третьем месяце их просватали, а в десятом уже встречали невесту в мужнином доме. Семьи жениха и невесты закололи свинью, забили быка и даже сумели залучить на праздник музыкантов. Свадьба вышла на славу!

А вот как получилось с музыкантами. В день свадьбы лицедей — в руках у него был дан — вместе с певицею явился в невестину деревню. Подойдя к столу, на котором перед алтарем курились благовония, они затянули молитвенные напевы, чтоб показать свое благочестие и усладить слух уважаемых хозяев. Родичи и гости, понятно, пришли в восхищение.

Впрочем, только родичи с гостями и радовались музыке, угощению и выпивке. У жениха же с невестой были свои радости и огорчения.

Жених был доволен, весел и счастлив, в душе у него, как говорится, реяли победные стяги. Все эти дни в доме стояли шум и суета и всюду, куда ни ткнишь, толпился народ. Забили быка. По вечерам у дома пускали шутихи. Друзей к жениху пришло столько, что они заполонили весь двор и сад. Даже те, кто раньше враждовал и ссорился с ним, тоже явились на угощение. Ну а жених великодушно не стал вспоминать прошлое. Он улыбался всем и украдкой позвякивал монетами в своем

кошельке. Подбирая с земли неразорвавшиеся хлопущки, он прыгал, кричал, то и дело бегал взглянуть, как разделявают и жарят говядину.

Да и что ж тут удивительного — ведь он был совсем дитя, ему только-только исполнилось десять лет. Многие так и звали его по привычке «малец Фук». Отец Фука был должностным лицом в здешней общине. Это они с матерью просватали Фуку жену. Звали ее Нгой. Она была из прекрасной семьи — ее отец служил деревенским старостой. Жене Фука было двенадцать лет.

Впрочем, по поводу их возраста никто особенно не задумывался. Выяснили, что они примерно одногодки, и вскоре разодетая сваха явилась в дом Нгой с подносом чая. Чай был особенный — крупнолистный, засушенный вместе с почками. С того дня все стали звать Нгой «супругой мальчика Фука». Соседские дети часто дразнили ее. Нгой ссорилась с ними и плакала. Но вот в один прекрасный день в дом набежали соседи, начались шум и суeta. Родичи отправились на базар — за быком и свиньей. Нгой по пятам ходила за матерью, помогала промывать и рубить лежащую в плетенках свинину и овощи.

Подоспел день свадьбы.

Жених и родичи его пришли с носилками за невестой в самую пору — едва прокричали первые петухи и еще не разошелся прохладный утренний туман. Нгой надела красивое новое платье и вдруг заплакала, спрятав лицо в ладонях.

Подружки невесты, Нгэй, Би и Дао, помогли ей нарядиться и вывели на крыльцо. Тут она заревела в голос, стала звать маму, а потом кинулась наутек. Благо подружки успели удержать ее. Казалось, она боится за свою жизнь. Пришлось подружкам крепко держать ее за руки, а не то невеста убежала бы на край света. В новом красивом платье она горько плакала посреди веселой свадьбы, которую не смогли омрачить даже не растаявшие еще ночные тени.

А жених резвился и хохотал в шумной толчее. Он щекотал своего соседа справа и исподтишка тузил соседа слева. Ночью он выспался на славу в скирде соломы, сложенной у кухонного очага. Хорошо еще, что его отыскали там и вытащили за ухо, когда собрались идти за невестой. Со сна он долго тер глаза, сдирая с век беловатую корочку. Но, услышав, что у невесты всех ждет угощение, обрадовался и заторопился, да так, что забыл прихватить туфли. Он вспомнил про них уже возле самого дома невесты и чуть было не кинулся со всех ног обратно, но, к счастью, его удержали старики, понимавшие, что возвра-

щаться с пути — дурная примета. Один из шафёров согласился идти босиком и отдал жениху свои туфли.

Все утро, весь день и всю ночь три подружки, Нгэй, Би и Дао, оставались вместе с невестой в доме жениха. Попробуй они уйти — невеста тотчас в слезах побежала бы следом за ними. Первую ночь после свадьбы подружки проспали вместе с молодой на одной кровати. Они играли в пуговицы. Отец жениха подарил каждой по несколько монеток, чтобы игра шла веселее.

Ну а жениху было не до них. Он выпил немного водки, глаза его блестели, язык заплетался. В конце концов он снова забрался на скирду соломы и устроил там возню со своими друзьями.

Но на другое утро подружкам Нгой хочешь не хочешь настало время разойтись по домам. Она осталась одна в мужнином доме и, видя, что никто ее не неволит и не собирается резать на куски, смирилась со своей участью и успокоилась. А потом она в любое время могла навещать своих родителей.

Вот и вышло, что у нее теперь стало целых два дома, два отца и две матери. И еще появился у нее новый приятель — законный муж. Они очень даже пришлись по душе друг другу, вместе бегали, играли, часто прогуливались по деревне и, как добропорядочные супруги, почти не ссорились.

Дни проходили за днями, зима отошла, и наступила весна.

* * *

Весна пришла в начале второго месяца. В деревнях зашумели веселые праздники.

В садах и на обочинах дорог тощие белокожие деревья соан, скорбно тянувшие прежде к небу свои обнаженные руки, начали одеваться свежей шелковистой листвой. А там среди совсем еще молоденькой листвы повисли и гроздья бутонов. Они дожидались первого дождика, чтобы раскрыть свои лепестки. Но цветы соана, едва распустившись, тотчас начинают осыпаться, роняя в весепнюю синеву лиловые блики.

В деревне Нгиадо, разумеется, тоже гуляли и праздновали, как и всюду. У ворот общинного дома развевались пестрые стяги. Детишки без устали колотили в барабан, и гулкий голос его громыхал от зари до зари.

Утром двенадцатого числа господин Фук — так его, человека семейного, величали теперь соседи — вместе с женой собрался в гости к тестю. Оба они нарядились, как на Новый год. Рос-

том Фук уступал жене и выглядел более щуплым. А в общем, супружеская чета похожа была на двух маленьких мышек.

Господин Фук увенчал себя головной повязкой из тонкого черного шелка, выглядела она великолепно, да жаль, то и дело съезжала ему на лоб. Длинная прядь волос, свисавшая с макушки, растрепалась и напоминала темный хвост белого коня, потому что обритая только вчера голова господина Фука, белоснежная и гладкая, похожа была на лошадиную ягодицу. Он надел длинную блузу из наилучшего газа, сотканного, как говорится, в три нити, жаль только — рукава свисали чуть не до кончиков пальцев, а концы кушака из ярко-алого крепа почти волочились по земле. Он шагал вприпрыжку, то и дело запуская руку в кошелек и пересчитывая новенькие монетки, потом трубно сморкался и лицо его озарялось улыбкой, обнажавшей щербатые черные зубы. Господин Фук был совершенно счастлив: кто еще мог похвастаться столь великолепным нарядом? И кому еще мама дала столько блестящих денежек? Благо, он не замечал, что супруга затмевала его по всем статьям.

Госпожа Нгой тоже разоделась в пух и прах. Но в отличие от мужа полы ее блузы, ладно схваченной кушаком цвета желтой лилии, были расправлены и разглажены, а концы кушака развевались на ветру. Ветер играл и широкой юбкой из переливчатого шелка, когда она степенно переступала своими маленькими ножками. Голову госпожа Нгой повязала темной сатиновой косынкой, а поверх нее надела большущий нон. На затененном лице ее алели омытые бетелем губы, а за ними поблескивали зубки, окрашенные в цвет тараканьего крыла. Она плавно размахивала руками и старалась не поворачивать головы, но ветер все-таки умудрился сдвинуть привязанный лентой нон ей на спину.

Муж шел впереди, ему не терпелось поскорее добраться до места. Время от времени он доставал из-за пазухи туфли и, надев их, пускался во всю прыть, но вскоре, запыхавшись, останавливался и поджидал жену.

Солнце только что поднялось и светило ласково. Дорога была чистой и не пылила. У обочины распустились дикие розы, и цветы их розовели на фоне свежей зеленой травы. Бабочки порхали, переливаясь яркими красками в лучах солнца.

Дойдя до околицы, муж посмотрел на общинный дом и залюбовался пестрыми стягами, но, увидев, как туда сбегается детвора и вместе со взрослыми окружает игроков в кости, заторопился.

— Ну, поставим на кон в складчину? — спросил он у жены.

— Чего?

— Смотри, там играют в кости!

Она скривила губы и сказала обиженно:

— Нет уж! Играй на свои. А не повезет — наворуешь еще.

Муж засмеялся, обнажив щербатые зубы. Было дело, он как-то свистнул у нее деньжата. Случилось это на Новый год, он играл в пуговицы и проигрался. Той же ночью он взял пояс жены и стащил оттуда два хао. Остановись он на этом, она бы так ничего и не узнала. Но его погубила жадность. Он снова полез за поясом, и тут она проснулась. Она схватила его за руку, и они стали драться и пинать друг друга прямо на брачном ложе. Ему досталось тогда изрядно, но две монетки, зажатые в кулаке, он ей все-таки не отдал.

Так что он не очень-то и рассчитывал на женины деньги. Свернув к воротам общинного дома, он крикнул:

— Ступай вперед! Да скажи отцу с матерью, что я иду следом! Поняла?

И Фук начал проталкиваться сквозь толпу любопытных. Он стал рядом с «банкиром», хозяином игры, и бросил одно хао на циновку в ту клетку, где выведены были цифры «3—4». Он надеялся сорвать куш. «Банкир», сидевший на циновке, взял в руки белое фаянсовое блюдо, стал покачивать его. Шестигранный костяной кубик, постукивая, закружился по блюду и замер. На верхней грани ярко краснел сиротливый кружочек — единица.

Фук проиграл.

У него даже уши покраснели. Он бросил еще монетку — на «1—2». Выпала шестерка.

Опять проиграл.

Он растерянно взглянул на окружающих, как бы вопрошая, куда подевались его деньги, и снова сделал ставку. Игра шла крупная, у Фука заалели не только уши, но и щеки.

Очень скоро он спустил весь свой капитал — шесть хао. Уши его, щеки, нос и даже ладони пламенели багрянцем. Повязка съехала на лицо, обнажив голову, круглую и белую, как тыква, с торчащим посередине пучком мочала.

Люди, обступившие «банкира», видя, что Фук стоит разинув рот, закричали:

— Эй, нам тут зрителей не надо!

— Ну-ка, малец, уступи место!

— Давай, давай...

Они начали толкать его и постепенно вытеснили из круга.

Только сейчас Фук вспомнил, что шел он, собственно, в гости. Он вытащил из-за пазухи туфли, надел их и, стуча подметками, побежал в деревню.

Навстречу ему, распахнув створки деревянных ворот, вышла жена.

— Что, продулся? — ехидно спросила она.

Фук не ответил ни слова и, печально понурясь, прошел во двор. Увидав тестя с тещей, он тотчас с самым невозмутимым видом сложил на груди ладони, поклонился и произнес нараспев, как лицедеи в представлении тео¹:

— Бью челом вам, батюшка! Бью челом, матушка!

— Ну, наконец-то, — засмеялся тесть, — господин Фук явился выпить со мной. Что же это, дорогой зять, головная повязка висит у вас на шее?

Фук поднял руку и обнаружил у себя под подбородком кольцо черного шелка. А он-то впопыхах ничего и не заметил.

Одна из сестер старосты спросила:

— А сколько тебе лет, племянничек?

Не успел он сосчитать, как жена выпалила скороговоркой:

— Я старше его на целых два года. А мне двенадцать.

Тут все громко расхохотались.

Поев и выпив водки, Фук разругаясь, только затылок и темя по-прежнему были белыми. Стоя на террасе, он ковырял пальцем в зубах. Он увидел на кухне свою жену, и тут его осенила прекрасная мысль. Подмигнув жене, он вызвал ее в сад.

— Послушай, — вкрадчиво начал он, — если ты при деньгах, одолжи мне парочку хао. Послезавтра базарный день, продам несущины яйца и сразу верну долг.

Но она покачала головой:

— Да я лучше в речку их брошу, чем отдам такому, как ты. И не стыдно тебе?

Фук сердито поджал губы и, глянув в упор на жену, угрозил ей кулаком.

— Ладно, так уж и быть, подожду. — Он задыхался от злости. — Вернемся домой, я тебе покажу...

И господин Фук, повернувшись к жене спиной, поднялся в дом попить чаю.

¹ Тео — жанр традиционного вьетнамского театра, сочетающий элементы музыкального и драматического представления.

МЕСЯЦ, КОТОРЫЙ НЕ УМЕЛ РАЗГОВАРИВАТЬ

— Присядь, милая.

— Говори, я слушаю тебя. Некогда мне рассиживаться. Мужчина криво усмехнулся.

— Опять начала свои штучки? Ничего, выйдешь замуж — станешь как шелковая.

Девушка помолчала. Потом вдруг заговорила:

— Хватит меня изводить. — Голос ее звучал еле слышно. — Сколько раз просить тебя об этом?

Мужчина опять засмеялся. Хриплый, скрипучий смех словно раздирал ему горло.

— О чем ты просила меня? Ах я, бессовестный, все как есть позабыл.

— Полно тебе, не притворяйся.

— Да я и не думаю притворяться! Может, присядешь все-таки?

Девушка, покорившись, уселась на каменную кладку колодца. Месяц стоял прямо над головой, чуть наклонясь над спящими полями. К ночи очертания его обозначились резче — из полного лунного диска была выщерблена маленькая долька.

Девушка села, и мужчина придвинулся к ней поближе. Поглядев ей в лицо, он хотел было что-то сказать, но смолчал и вместо этого, понурясь, уставился в колодец. Там стоял непроглядный мрак. Он поднял голову. На лице его застыло надменное выражение, какое бывает обычно — без всякого повода — у подвыпившего человека. Он хмыкнул, и девушка ощутила холодок на своем затылке. Она обернулась: в небе висел месяц и,

казалось, внимательно к ним приглядывался. А впереди на земле лежали две тени, почти сливаясь воедино. И вздохи в ночной тиши звучали гулко, как новогодние хлопушки.

Мужчина тяжело вздохнул.

Девушка прикрыла лицо рукой.

— Ужас! Сивухой от тебя разит...

— Ну уж, прямо и разит! Опрокинул стопку.

— А может, полторы? Представляю, как обрадуются жена с детками.

Сердце у него болезненно сжалось. Горечь комом подкатила к горлу. Его вдруг одолела икота. Само собой, от пьяницы мало радости и жене, и детям. Да только нет у него никакой семьи. Который уж год любит он ее, ее одну, и мечтает на ней жениться.

Но вот по деревне прошел слух, будто она собирается замуж, и с женихом вроде бы уже все сговорено. Он спрашивал ее об этом при каждой встрече, но она отрицалась, все отрицала. И он тщетно ломал голову, как бы ему узнать наверняка, что у нее на уме.

Вот она сидит рядом. Лицо ее залито лунным светом. Глаза ярко блестят. Глаза эти сводят его с ума. Пожалуй, больше всего ему нравились ее глаза. Как часто тихими ночами, терзаясь бессонницей на своей одинокой лежанке, он видел их перед собой. Глубокие, черные, сверкающие — словно меж длинными ресницами живая вода блестит. Он жаждал выпить эти глаза. Но ни разу еще не прикоснулся к ним губами. Он мечтал, когда женится на ней, испить до дна таинственную влагу ее глаз. О небо! Когда же, когда?!

Он взял ее за руку.

— Милая, — голос его был печален, — это правда, что ты скоро выйдешь замуж?

Глупо держать любимую за руку и задавать такие вопросы. Конечно, она вырвала руку.

— Нет-нет... — Он решил настоять на своем. — Скажи мне правду. Я ведь и так все знаю. Если решила выйти замуж, за чем же дело стало? Не пойму только, для чего нужно устраивать из этого тайну? Каждый живет сам по себе, а захочет — может соединить с другим свою судьбу. Кто ему запретит?

Она ничего не ответила, лишь искоса глянула на него. Губы его дрогнули, он собрался было что-то сказать, но почему-то промолчал. Увидав уголок ее глаза, блеснувшего в лунном свете, он смутился и закусил губу. Девушка засмеялась. И он улыбнулся невольно.

— Сколько же лет,— голос его звучал глуховато и мягко,— сколько же лет мы любим друг друга?

— Не помню.

— А я помню: с позапрошлого года. На новогодней ярмарке...

Она встала.

— О чем же ты хотел поговорить со мной?

— Я... Да ты садись.

— Уже поздно.

— Нет. Погляди, как высоко стоит месяц.

— Кажется, бьют в барабан. Кончилось представление? Да, так и есть.

— Ошибаешься, милая.

Где-то вдали мерно гудел барабан.

Месяц не спеша опускался над полем, а с земли навстречу ему плыли запахи трав и весенних всходов.

Девушка вздохнула. Она снова уселась на край колодца и, прикрыв рот ладонью, шепнула:

— Послушай...

— Да?

— Если мы не поженимся, значит, такова воля неба.

— Не поженимся — умрем вместе! При чем здесь небо?

— Чепуха!

— Нет, правда.

— Ну, зачем попрекать друг друга.

— Стало быть, ты выходишь замуж?

Она вдруг заплакала.

Сердце его тревожно сжалось. Но взволновали его даже не слезы ее, в сущности означавшие признание собственной вины, ему почудилось, будто он завтра должен уехать отсюда куда-то далеко-далеко и там, на чужбине, ждет его тяжкая, безысходная доля. А женщина, сидящая рядом,— это его жена, и она плачет перед разлукой, провожая его в путь.

Он провел пальцами по ее векам. И на кончиках его пальцев повисли слезинки. Он поднес их к губам. Его мучила жажда. В горле пересохло.

Она плакала тихонько, как плачут притворщицы, и слезы ее вскоре кончились, словно дождик из маленькой одинокой тучки. Она вытерла глаза полой своего длинного платья. Шелковистая ткань, зашуршав, упала.

Она встала.

— Мне пора.

— Нет, подожди.

За живой бамбуковой изгородью снова слышалась барабанная дробь.

Он вздрогнул.

— Кончилось представление? — всполошилась она.

— Да нет же. Закончилась первая пьеса и начинается вторая.

— Мне все равно надо идти.

— А в прошлом году ты сидела со мной, пока не скроется месяц.

— Но теперь не прошлый год.

— Такова небось воля неба?

Голос его был полон горечи. Он засмеялся — сухо и хрипло. Она отвернулась.

— Я ухожу.

И пошла прочь, бросив обоих — месяц, висевший в небе, и убитого горем мужчину.

Он бросился за ней, схватил ее за платье.

— Неужели ты уйдешь?

— Да.

Он закусил губу, потом сказал:

— Если уйдешь, знай, я умру здесь.

Она зашагала дальше.

Он, пошатываясь, двинулся за нею.

Месяц глядел им вслед и словно подталкивал вперед шагающие рядом тени.

Он схватил ее за руку. Белая рука ее была гладкой и крепкой, как стебель сахарного тростника; казалось, сожми ее зубами, и рот наполнится сладким соком. Сердце его колотилось так сильно, что чудилось, будто стук его слышен в ночной тишине. Будь он не так взволнован, он бы, наверно, дернул ее за руку и, подставив ногу, повалил на траву.

Но он, нахмурясь, крикнул ей прямо в лицо:

— Мне все известно! Я и спрашивал-то просто так — для виду. Знаю, через месяц, двенадцатого числа, твоя свадьба! Подлая тварь!

Глаза его загорелись злобой.

Она вскрикнула, оттолкнула его и побежала в деревню.

Он был силен и крепок. Но хмель кружил ему голову, и он, зашатавшись, рухнул лицом в траву. Руки его тянулись ей вслед.

Но когда он приподнялся и сел, ее уже не было видно.

А месяц опустился к самой меже, и колоски риса впились в его округлые бока.

Он не пошел за нею в деревню. Не поднимаясь, он подполз обратно к колодцу, ухватился руками за край и прижался лицом к плоскому, ноздреватому камню. Так пролежал он довольно долго. Хмель совсем затуманил ему голову. Мысли его смешались в какой-то невообразимый сумбур. Временами он злобно хихикал, потом лизал шершавый камень и тер его ладонью, как бы стирая с него чью-то тень.

В голове мутилось. Одно лишь он помнил совершенно отчетливо: ему хочется пить. Пересохшее горло его горело, вязкая слюна наполнила рот.

Он опустил руку в колодец и пошевелил ладонью. Из глубины доносился плеск — это лягушки гонялись в воде друг за дружкой. Вода звенела и булькала.

«Ага! Там внизу — вода!..»

Он сунул голову в колодец. Дыханье его шелестящим эхом отразилось от круглой каменной кладки. Он пробормотал что-то, прислушался к хриплым звукам своего голоса и засмеялся.

Он все-таки дотянулся пальцами до воды, попытался зачерпнуть ее горстью, но перевесился слишком низко и рухнул в темную гудящую глубину. Согнутая нога его, зацепившись за край колодца, вырвала из кладки большую каменную глыбу. С громким всплеском и человек и камень исчезли в глубине.

Вода заволновалась, потом утихла.

Залитые светом месяца, убегали вдаль широкие поля.

* * *

Через месяц, двенадцатого числа, справили ее свадьбу и она перебралась в дом мужа.

А он нашел свою смерть в колодце той ночью, когда у ворот общинного дома шло представление тео.

Два происшествия эти никто не связывал между собой.

Но люди сожалели о нем, потому что у него было доброе сердце; он слыл человеком неразговорчивым, но усердным и работающим, и все его уважали.

Никто не знал причины его смерти. Правда, если бы кто-нибудь дал себе труд проследить за нею, когда она из дома своего мужа шла в гости к родителям, многое, возможно, бы прояснилось — она всегда шла в обход, полевыми тропами, лишь бы не проходить мимо колодца, хотя именно здесь пролегал самый короткий путь. Да только никому до этого не было дела...

Один месяц оказался всему свидетелем.

Но ей не о чем было беспокоиться — месяц не умел разговаривать.

СУПРУГИ А ФУ

Всякий, кто приходил сюда издалека и заглядывал по делу в дом уездного начальника Па Ча, видел молодую женщину; она сидела за воротами, у большого камня, возле самой конюшни, и прядла лен. Опущенное лицо ее было всегда печально — прядла ли она свою пряжу, нарезала ль траву для коней, ткала ли полотно, колола дрова или поднималась по крутому склопу с кувшином воды. Люди, увидев ее впервые, говорили друг другу: «В доме у начальника Па Ча много добра и слуг, тэй из крепости дают ему соль на продажу, и он богатеет день ото дня, вон сколько у него земли, серебра да опия — богаче его нет никого в округе. Отчего же его дочь от зари до зари все в трудах и заботах, отчего ведомы ей одни лишь печали?» Но, расспросив соседей, узнавали, что женщина эта вовсе не дочь начальника, а жена А Шы — его сына.

Вот уж который год миновал с тех пор, как Ми вошла невесткой в дом Па Ча. Сама она давно потеряла счет времени, да и люди уже позабыли, когда это случилось. Но бедняки в Хонгнгае и по сей день рассказывают историю о том, как Ми попала в семейство Па Ча.

Давным-давно, когда отец Ми надумал жениться на ее матери, у него не хватило денег на свадьбу, и он взял их взаймы у тогдашнего начальника, у отца Па Ча. Начальник, само собою, дал ему деньги в рост, и отец Ми должен был каждый год отдавать ему урожай кукурузы с целой делянки. Родители Ми

так и состарились, не вернув долга, потом мать умерла, а долг за отцом все оставался.

Когда Ми подросла, отец нарадоваться не мог на свою дочь. Но однажды Па Ча явился к ним в дом.

— Отдай-ка мне дочь в невестки, и я спишу твой долг,— сказал он.

Старик подумал о том, как тяжело из года в год отдавать богачу урожай с целой делянки. Кукурузу, конечно было жаль, но еще больше жалел он дочь. Старик не знал, что и ответить.

— Отец,— сказала Ми,— я умею выращивать кукурузу. Я сама буду работать в поле, чтобы заплатить долг, только не продавайте меня богачу!

Подоспел праздник Тет, и выдался он в тот раз веселый и шумный на диво. Парни и девушки играли в пао, крутили волчок, а вечерами зазывали друг дружку на гулянье. В домах, где были пригожие девушки, родители всю ночь не могли заснуть. До рассвета расхаживали под окнами парни со свирелями и собаки лаяли до хрипоты. А стену, за которой спала Ми, ухажеры отполировали ладонями до блеска.

Однажды ночью Ми услышала стук в стену. Этим условным стуком обычно вызывал ее возлюбленный. Ми тихонько подсунула руку под бревенчатую опору и нащупала в щели чьи-то пальцы, на одном пальце было надето кольцо. Как раз на этом пальце носил кольцо ее возлюбленный. Она тотчас же приоткрыла деревянный ставень и, опершись на подставленную ладонь, спустилась на землю.

Но тут на нее набросились какие-то люди, заткнули рот, завязали глаза, взвалили на спину и потащили неведомо куда.

Лишь наутро она узнала, что находится в доме уездного начальника и что ее заперли в одной из комнат. За стеной слышались звуки музыки: там молились духам предков, под ногами танцующих скрипел пол.

В тот день А Шы пришел к отцу Ми и сказал:

— Отец, нынче ночью я похитил вашу дочь и представил ее предкам моей семьи¹. Теперь вот пришел известить вас об этом. Отец мой говорит, что свадебный выкуп он вам уже отдал.

¹ У народности мео был обычай «похищения жены». Жених, чаще всего по сговору с невестой, похищал ее, уводил в свой дом и представлял духам предков, после чего брак их обретал законную силу. Затем жених извещал о случившемся тестя. «Похищения» значительно облегчали молодым свадебные расходы; чаще всего они происходили в дни праздника Тет.

А Шы ушел, и старик сразу вспомнил о том, как Па Ча предложил ему когда-то: отдай, мол, мне дочь в невестки, и я спишу твой долг. О небо! Выходит, давние долги родителей приходится нынче платить детям. И тут уж ничего не поделаешь!

Шел месяц за месяцем, а Ми все плакала по почам. Как-то раз она тайком прибежала домой, глаза ее были красны от слез. Увидев отца, Ми бросилась на колени, уткнулась лицом в землю и зарыдала. Отец тоже заплакал — он догадался, что у нее на уме.

— Ты ведь пришла поклониться мне перед смертью? — спросил он. — Если ты умрешь, мой долг останется и они снова потребуют с меня деньги. Подумай, дочка, кто поможет мне вырастить кукурузу, чтоб расплатиться с ними? Меня, старика, хворь извела, работа мне уже не под силу. Прошу тебя, доченька, не делай этого!

Ми плакала, спрятав лицо в ладонях. Она вытряхнула из рукава ядовитые листья нгон, горсточку листьев — она сорвала их в лесу и припрятала. Теперь они ей ни к чему, она не должна умереть. Ведь если она наложит на себя руки, отцу придется во сто крат хуже, чем теперь. И Ми вернулась в дом Па Ча.

А годы все шли и шли. И когда умер отец, Ми больше не помышляла о том, чтобы съесть ядовитые листья нгон. За долгие годы лишений и мытарств она притерпелась и привыкла. Она самой себе казалась рабочей скотиной — а что же страшного в том, что кобылу или буйволицу переведут из одного стойла в другое, — всюду ей суждено одно: жевать траву да работать без отдыха.

Она не поднимала головы и не помышляла ни о чем, кроме своей однообразной и нескончаемой работы, унылой череды дел, следовавших одно за другим из года в год, из месяца в месяц. Отойдет праздник Тет — пора подниматься в горы, собирать опийный мак; в середине года надо замачивать и трепать лен, а потом настанет время идти в поле ломать кукурузные початки... И всегда, во всякое время, шла ли она за хворостом, варила ли кукурузу, чтоб не дать отдыха рукам, она должна была прядь из кудели бесконечную льняную нить. И так год за годом, всю жизнь. Буйвол или лошадь, отработав положенное время, ночью отдыхают и жуют свою жвачку, но женщины в доме Па Ча хлопочут и днем и ночью.

Ми становилась день ото дня все молчаливей и уходила в себя, как черепаха в свой панцирь. Комнатуха, где она спала, была душная и темная, с одним-единственным оконцем величиной с ладонь. Оно всегда тускло белело: не поймешь, что там за ним —

туман или солнечный свет. Ми думала: видно, ей суждено до самой смерти глядеть в эту квадратную дыру.

На горных делянках уже собрали рис и кукурузу, и урожай был надежно спрятан в закрома. Ребятишки отправились собирать тыквы; озуоруя, они поджигали оставшиеся на полях шалаши и грелись у огня. В Хонгнгае издавна заведено праздновать Тет сразу же после жатвы, не принимая в расчет, какой нынче месяц и день. Да так оно и удобнее: после праздника можно успеть, пока льют весенние дожди, распахать новь.

В этом году Хонгнгай справлял праздник Тет в дни, когда неумемный ветер гнул к земле пожелтевшие тростники и травы и на дворе стояла стужа.

В деревнях красных мео цветастые юбки, сушившиеся на камнях, пестрели издалека, будто крылья огромных бабочек. Цветы опийного мака — белые поначалу — порозовели, потом окрасились багрянцем и, наконец, сделались фиолетовыми. Молодежь с нетерпением ждала праздника. Очень уж хотелось покрутить волчок да повеселиться во дворе у дома.

Где-то в горах переливались звуки свирели, они манили из дома. Ми прислушалась к звонким трелям, и что-то шевельнулось у нее в душе. Она повторяла про себя слова песенки, которую играл на свирели парень:

У тебя есть и дочь, и сын
Вот и ступай в поле.
А у меня ни сына, ни дочки,
Пойду-ка искать любимую...

Наступили весенние ночи, полные любовного томления.

За околицей каждой деревни есть просторная ровная площадка для новогодних игр. Парни с девушками и детвора сходятся туда покидать пао, повертеть волчок, поиграть на свирелях и кхенах да поплясать всласть.

Все семейство уездного начальника было в сборе. Только что кончилась праздничная трапеза, которую освятили своим присутствием духи предков, получившие свою долю. Звенели колокольцы заклинателя, который прыгал, дрожа всем телом. После трапезы предстояла выпивка у кухонного очага.

Под Новый год Ми разрешалось выпить водки. Она тайком наклоняла кувшин, наливая себе чашку за чашкой. А захмелев, сидела с каменным лицом, глядя на прыжки одержимых духами, громогласных певцов, но душа ее жила где-то в прошлом. В ушах у нее все еще звучала свирель, вызывавшая друзей за околицу. Когда-то и она хорошо играла на свирели. Бывало,

весною, сидя дома у очага, выпьет водки и начнет выводить на свирели замысловатые коленца. А то поднесет к губам свернутый трубкой зеленый лист, и звук получается не хуже, чем у свирели. А сколько парней влюблены были в нее, день и ночь играли в ее честь песни и ходили за нею следом — с одной горы на другую.

Водка копчилась. Все давно уже разошлись, но Ми, ничего не замечая, все сидела одна-одинешенька посреди дома. Наконец она поднялась и, не выходя на улицу, откуда доносился шум праздничного веселья, прошла напрямик в свою комнату.

А Шы не разрешал ей гулять на Новый год, да ей и самой никуда не хотелось идти.

В такие вот вечера она усаживалась на лежанку и молча глядела в квадратное оконце, светящееся призрачной белизной лунного света. Но сегодня вдруг что-то оттаяло в душе и она ощутила внезапную, ничем не объяснимую радость, как бывало в дни праздника Тет, когда-то давным-давно. А ведь она молода... Она совсем еще молода. Многие замужние женщины гуляют вместе со всеми под Новый год... И вообще почему она и А Шы, если они не любят друг друга, должны жить вместе? Будь у нее сейчас под рукой ядовитые листья нгон, Ми отравилась бы, чтоб никогда больше не вспоминать о прошлом!

А призывные звуки свирели по-прежнему переливались за стеной.

Милая, я тебе бросил пао,
но ты его и ловить не стала;
Не любишь меня ты, вот отчего
пао упал наземь...

Вдруг откуда ни возьмись явился А Шы. Он стал собираться на гулянье: надел новую рубаху, повесил на шею еще два серебряных обруча и обвязал голову белой повязкой. Случалось, он гулял и неделю подряд. У него было намерение присмотреть и умыкнуть еще нескольких девушек себе в жены. Ми обычно не спрашивала его ни о чем. Вот и сейчас она, ни слова не сказав мужу, взяла в углу горшок с салом и добавила жиру на блюде, где плавал горящий фитиль. В доме стало светлее.

Ми чудилось, будто в ушах у нее все еще звенит свирель. Она решила тоже пойти погулять и начала собираться: уложила волосы, сняла со стены цветастую юбку. А Шы, выходявший уже из дома, вдруг обернулся на пороге и с удивлением посмотрел на нее. Увидев в руках у нее нарядную юбку, он спросил:

— Да ты, никак, на гулянку собралась?

Ми ничего не ответила. Он тоже не стал ее больше спрашивать, молча схватил жену и связал ей поясом руки. Потом притащил целую корзину веревок и привязал Ми к столбу, подпиравшему крышу. Волосы ее, рассыпавшиеся по плечам, он скрутил жгутом и тоже обвязал вокруг столба, так что она и головы повернуть не могла. Затянув веревки, он повязался синим кушаком, погасил светильник и вышел, закрыв за собою дверь.

Ми молча стояла в темноте, словно не чувствуя, что она связана. Хмель еще не прошел, и ей казалось, будто она под звуки свирели гуляет вместе с веселой толпой.

Не любишь меня ты, вот отчего
пао упал наземь.
Кто твой любимый, скажи, чей пао
ты на лету поймала?..

Она рванулась было следом за песней, но резкая боль обожгла связанные руки и ноги. Ми не слышала больше свирели. Кругом было тихо, только в копышке лошади иногда ударяли копытами в стену. Они отдыхали и жевали траву. Ми, сдерживая рыдания, подумала, что ей, в сущности, живется хуже, чем скотине.

Где-то вдали залаяли собаки. Должно быть, уже за полночь. В эту пору парни подходят к домам и стучат в стену, приглашая своих возлюбленных прогуляться по лесу. Ми перестала плакать. Сердце ее сжалось от волнения и тревоги.

Всю ночь простояла она у столба. Веревки врезались в тело. Но иногда боль отпускала Ми, и тогда ее снова, как волны, захлестывали воспоминания. По дому плыл тяжелый, хмельной дух. С улицы доносились звуки свирели и собачий лай. Временами Ми теряла сознание, потом снова приходила в себя. Наконец забрезжил рассвет, и она не заметила даже, как вокруг стало светло.

Когда Ми очнулась, весь просторный деревянный дом был залит светом. Стояла непривычная тишина. Не трещал огонь в очаге, на котором в эту пору обычно кипело варево для свиней. Дом словно вымер. Не поймешь, куда подевались другие жены А Шы и жены его брата и вообще все жепщины, которых злая судьба привела в дом Па Ча... Может, они гуляют, а может, связаны, так же как Ми? У женщины, вышедшей за богача, здесь, в Хонгнгае, нет иного выбора, как бежать всю жизнь за хвостом мужниного коня. Ми вспомнила вдруг старую историю о том, как один из родичей Па Ча бросил дома связанную жену и гу-

лял где-то три дня и три ночи, а на четвертый день нашел жену мертвой.

Ее охватил ужас. Она попыталась шевельнуться, словно проверяя, жива ли еще сама. Запястья, голова, ноги, прикрученные к столбу, болели так, словно их раздирали на части.

Вдруг снаружи послышался шум. И тотчас в дом ввалились люди, много людей. Ми услышала, как Па Ча, сойдя с коня, приказывал слуге отвести его в конюшню. В дом приволокли не то свинью, не то связанного по рукам и ногам человека — что-то тяжелое рухнуло на пол, послышалось надсадное, прерывистое дыхание.

В комнату, покачиваясь, вошел А Шы. Одежда его была разодрана, запятнанная кровью белая головная повязка сползла на лоб. Он повалился на лежанку. Минуту спустя появился сам уездный начальник Па Ча, следом вошли его подручные, старосты и слуги — все, кто обычно сопровождал начальника; вместе с Па Ча они обжирались, пьянствовали и курили опий в его доме.

Они увидели Ми, привязанную к столбу, но, не обратив на нее внимания, столпились вокруг А Шы.

Па Ча, все еще сжимавший в руке хлыст, вышел за дверь. Ми закрыла глаза, не смея глядеть на людей. Вдруг ей послышалось, будто свекор кличет ее со двора.

Она приоткрыла веки и увидела входившую в комнату жену свояка, молодую еще женщину, сгорбившуюся от тяжелых вьюков, которые ей приходилось таскать круглый год. Подойдя к столбу, женщина развязала Ми, и та, едва ослабли путы, стягивавшие ее ноги, повалилась на пол.

— Эй, Ми,— зашептала ей на ухо женщина,— пойдём-ка соберем целебные травы для твоего мужа!

Ми попыталась встать, но ноги не держали ее, ей пришлось обнять жену свояка за плечи. Так вдвоем они и вышли из дому.

Покуда они искали в лесу целебные травы, подруга по несчастью рассказала Ми, что А Шы пробили голову на гулянье.

Вчера около полуночи он вместе с дружками заявился в деревню и по звукам свирелей и кхенов отыскал веселившихся за околицей парней; весь день они — и здешние, и пришедшие из соседних деревушек — развлекались музыкой и играми. Парни только что распили в соседнем доме кувшин водки и теперь никак не могли угомониться.

Но когда явился А Шы с дружками, дом уже опустел — хозяева со своими чадами и домочадцами улеглись спать, хотя возле дома все еще толпился народ.

А Шы, видя, что погулять всласть не удастся, рассвирепел и стал подбивать друзей на драку: мол, надо бы отвадить чужаков, а то они никому не дают проходу.

Кто-то из дружков А Шы швырнул камень в стену дома. Вышел хозяин и отругал их. Но забияки не унимались и снова стали бросать камни. Тогда хозяин вошел в дом, взял ружье и дважды выстрелил в воздух. Гулянье, понятно, расстроилось.

Парни, пришедшие из соседних деревень, решили заночевать здесь у знакомых, чтобы завтра поутру снова собраться и поиграть в пао с девушками. Да только А Шы с дружками и здесь не оставил их в покое: с утра пораньше он явился к околице вместе с приятелями и начал ко всем придирааться. На шее у него красовался серебряный обруч, украшенный красно-синими кистями, какие носят только отпрыски знатных родов. Когда А Шы вышел вперед, чужаки, сбившись стайкой, зашумели:

— А-а, это те подонки, что сорвали вчера гулянье!

— Где же А Фу?

— Эй, А Фу, вздуй-ка его по-свойски!

Из толпы выбежал огромного роста детина и, размахнувшись, бросил тяжелый волчок прямо в лицо А Шы, тот едва успел прикрыть глаза руками. А Фу кинулся на начальничьего сынка, ухватился за шейный обруч, пригнул А Шы к земле и, разорвав на нем рубаху, стал бить. Деревенские, услышав крики и шум, высыпали из домов. Завидя их, чужаки разбежались по лесу. Однако А Фу удалось догнать. Его схватили и связали по рукам и ногам. Тут-то и подоспел сам уездный начальник Па Ча. А Фу дотащили на жердях до начальничьего дома и бросили на пол.

Когда Ми возвратилась с целебными травами, в дом набилось полно народу. Во дворе у персикового дерева были привязаны чужие лошади. Заглянув тайком в большую комнату, она увидела в углу здорового парня, стоявшего на коленях, и поняла, что это и есть А Фу.

Со всего Хонггая собрались к Па Ча начальники на суд. Тут были и его подручные, и деревенские старосты, и прочий чиновный люд, — в шляпах и цветных повязках, с палками в руках, они съезжались, чтобы разобрать тяжбу, а там и попить вволю.

В большой комнате были поставлены пять подносов с горящими лампаками и прочими принадлежностями для курения опия. Клубы опийного дыма тянулись к распахнутым оконцам — синие, как дым очагов. Прибыли начальники и из деревни, где жил А Фу. Чины и старосты расположились вокруг подносов

с опиумом. Лишь несколько молодых парней, друзей А Фу, которых тоже вызвали в суд, остались сидеть в углу, скрестив руки на груди.

А судьи со свитой, — всех набралось человек тридцать или сорок — курили и курили, с полудня до самого вечера. Первым по чину и званию был Па Ча — уездный начальник, и потому он выкуривал подряд пять трубок; потом, соблюдая черед, курили другие, пока трубка не доходила до посыльных, ездивших созывать начальство на суд. Одни лишь женщины, — они сидели поодаль или глазели из дверей на судилище и стоявшего на коленях преступника — не были допущены к этому ритуалу.

Едва трубка с опиумом обошла круг, Па Ча поднялся, сел, поскреб ногтями обритую голову и, перебросив с темени на лоб длинную прядь волос, хрипло прокричал:

— А Фу, поди-ка сюда!

Тот, не вставая с колен, выполз на середину комнаты. К нему подскочили прислужники. Сложив на груди ладони, они низко поклонились Па Ча, а потом начали избивать преступника. А Фу переносил побои молча, застыв неподвижно, как каменное изваяние.

И всякий раз, когда трубка завершала свой круг, А Фу выползал на коленях на середину комнаты и его снова били. Лицо его вздулось, губы кровоточили. Иные, утомясь, уже не били А Фу, а только поносили его последними словами. Потом они снова принимались за курение. Клубы синего дымаплыли за окна. Па Ча снова и снова приглаживал волосы и сипло окликал А Фу...

Судилище длилось весь вечер и всю ночь напролет. И чем больше накуривались они опиума, тем больше свирепели и тем злее били и поносили А Фу.

А в соседней комнате Ми тоже не спала всю ночь, без конца прикладывая к ранам и синякам мужа целебные листья. Она едва не падала от усталости и то и дело передергивала плечами, отгоняя сон; ссадины, оставленные веревками, горели, как ожоги. Ночью ее все же сморил сон, но стоило ей уронить голову на грудь, как А Шы ударил ее ногой в лицо. Она очнулась, собрала упавшие листья и начала растирать мужу спину. А из-за стены доносилось кряхтенье курильщиков, похожее на скрип древоточцев, чьи-то всхлипывания, брань и глухие звуки ударов.

Наутро суд и расправа закончились. Судьи громко захрапели рядом с подносами. Слуги поставили на огонь большой медный чан и сливали в него воду из чайников, готовя новую порцию

опия, чтобы не кончалось курево у гостей: ведь им еще предстояло гулять на пиру.

Уездный начальник Па Ча открыл свой ларец, достал сто серебряных донгов и, разложив их на крышке ларца, сказал:

— Эй, А Фу, ты избил человека, и суд приговаривает тебя к денежному возмещению за обиду — ты должен уплатить двадцать донгов. Затем ты должен заплатить начальству за хлопоты — пять донгов, каждому из младших чинов — по два донга, каждому гонцу, созывавшему судей, — по пять хао. Кроме того, ты обязан еще заплатить за опий, который мы курим со вчерашнего дня, и за свинью весом двадцать кэнов¹ — ее сейчас заколют, приготовят и подадут уважаемым судьям. А Фу, ты посмел поднять руку на сына начальника, за это карают смертью, но мы всем миром решили помиловать тебя и ограничились лишь возмещением убытков. Все вместе это составит сто серебряных донгов; само собою, у тебя нет таких денег, и мы по доброте своей решили дать тебе в долг сто донгов. Потом ты будешь отрабатывать их в нашем доме, а если разживешься деньгами и вернешь долг, ступай на все четыре стороны. Но до тех пор ты будешь вьючной скотиной, буйволом, конем в нашем доме. Это продлится, я думаю, до конца твоей жизни, до конца жизни твоих детей и внуков и закончится только в тот день, когда будет выплачен долг. Приблизься же и возьми депьги, которые мы ссужаем тебе.

А Фу, с трудом разогнув распухшие колени, встал, приблизился к начальнику, поклонился и прикоснулся рукой к серебряным монетам на крышке ларца. Па Ча зажег благовонные палочки и забормотал, призывая духов в свидетели долговой сделки. Пока начальник молился, А Фу собрал все до единой монеты и снова положил их на крышку ларца. Па Ча спрятал деньги назад в ларец.

Свинья, которую А Фу должен был преподнести начальству, хрюкала во дворе.

С той минуты, как были отсчитаны деньги, А Фу разрешили подняться с колен. Он взял нож и, медленно ковыляя, пошел помогать соседям разделять свинью. В доме по-прежнему булькали трубки курильщиков опия.

Вот так и стал А Фу кабальным слугою в доме уездного начальника. Он выжигал лес, пахал и мотыжил землю, охотился на диких быков, ловил в западню тигров, пас коней и скот. Круглый год бродил он один-одинешенек по лесистым склонам. А Фу был в самом расцвете сил. И работа, и охота — все у него

¹ Кэн — мера веса, равная 604,5 г.

спорилося. Только некогда было ему сходить в свою деревню. Да и что ему было там делать.

Ведь он вовсе и не был родом из этой деревни. Отец с матерью родили его на свет в Хангбла. Когда-то в деревне Хангбла случилось поветрие оспы. Умирали и дети, и взрослые, вымирали целые семьи. Братья А Фу и его мать с отцом тоже умерли. И остался он один на белом свете. В обезлюдившей деревне начался голод, и тогда сосед тайком утащил А Фу вниз, на равнину и сменял на рис в деревне, где жили тхай.

В ту пору мальчику исполнилось десять лет, но был он упрям и отважен. Он не желал оставаться внизу, на равнине, и убежал в горы. Однажды забрел он в Хонггай и нанялся там в работники. Зимы сменялись веснами, вслед за летом наступала осень, и А Фу скоро подрос и возмужал; он выучился отливать плужные лемехи и мотыги, стал умелым пахарем и бесстрашным охотником.

Он был очень силен, бегал резво как конь. Деревенские девушки заглядывались на него, а соседи говорили: «Тот, кто получит А Фу в зятя, не прогадает. Парень этот в хозяйстве — все одно что добрый буйвол — вмиг разбогатеешь». Но чего стоили хмельные их разговоры перед непреложными обычаями деревни! Разве мог А Фу просватать невесту, если не было у него ни отца с матерью, ни земли, ни денег. А ведь он вошел уже в тот возраст, когда хочется и погулять и приволокнуться за пригожей девушкой. И потому, едва наступал Тет, А Фу хоть и не мог нарядиться в новое платье, а на шее был у него лишь один подаренный кем-то обруч, но все же и он вместе с другими парнями отправлялся по деревням искать возлюбленную, прихватив для развлечения свирель с кхеном, волчок и пао.

Вот как вышло, что он ввязался в драку в Хонггае.

Случился в тот год голод в лесу. Тигры и медведи повадились на поля таскать лошадей и быков. Ну а в копияне у уездного начальника всегда было полно лошадей, меж сваями под домом едва умещались буйволы и быки, а вокруг дома лежали и бродили козы, собаки и свиньи.

Изо дня в день скотину — десятки голов — выгоняли на пастбище, и А Фу приходилось теперь присматривать и за стадом, и за конским табуном. Он поставил шалаш на краю поля и жил там месяцами, сгоняя на ночь скотину к самому шалашу.

Как-то, себе на беду, А Фу увлекся ловлею дикобразов и почти целую неделю не пересчитывал стадо. А тут попался в лесу ему на глаза тигриный след. А Фу тотчас пустил коня в галоп, согнал все стадо в кучу, пересчитал и увидел, что не хва-

тает одного быка. Он считал и пересчитывал несколько раз — одного быка не было. Тогда он бросился по следам тигра и нашел под невысокой сосной наполовину обглоданную бычью тушу. Он собрал все до кусочка и потащил остатки туши к хозяйскому дому.

«Тигр-то небось здоровенный,— думал А Фу,— вон следы какие. Возьму-ка я в доме ружье, выслежу его и застрелю».

Подойдя к дому, он сбросил остатки туши у ворот, под персиковым деревом. Па Ча вышел ему навстречу.

— Сколько быков потерял?

— Я пришел за ружьем,— спокойно ответил А Фу,— хочу застрелить тигра. Зверь, видать, крупный.

Па Ча погрозил ему кулаком:

— У, разбойник! Погубил нашего быка! Где А Шы? Пусть возьмет ружье и убьет зверя!.. А ты, ублюдок, тащи сюда бревно да моток веревки покрепче. Мы привяжем тебя к бревну. Будешь стоять у столба, пока охотники не вернутся с тигром. А не добудут зверя, так и сдохнешь на привязи!

— Пустите меня, я сам убью зверя! — А Фу повысил голос.— За такого тигра можно выручить куда больше денег, чем за быка.

— Тащи бревно и веревку! — заорал Па Ча.

А Фу, не промолвив больше ни слова, покорно, как буйвол на аркане, принес на плече бревно, потом сходил наверх, в кухню, и притащил веревку, сплетенную из крепких лиан. Он сам вкопал бревно в землю. Па Ча толкнул А Фу к столбу, заставил его обхватить бревно руками и привязал, обмотав веревкой от ступней до плеч — лишь шея и голова оставались свободными от пут, так что А Фу мог поворачивать голову.

Женщины, жившие в доме, проходили мимо А Фу, потупясь, не смея взглянуть в его сторону. Люди боялись шепнуть ему хоть словечко.

За ночь А Фу, судорожно выгибая шею, ухитрился перегрызть две веревочные петли, и путы на одной руке ослабли. Но на рассвете явился Па Ча осмотреть узника и затянул новую петлю у него на шее. Теперь А Фу не мог даже голову повернуть.

А Шы с челядинцами зря проходил по лесу — тигр им так и не попался. День за днем стоял А Фу, привязанный к столбу возле дома. В кухне варили кукурузу, и красное пламя очага озаряло весь дом. Дважды на дню все домашние собирались там и усаживались за еду. А Фу же днем и ночью стоял во дворе, закрыв глаза.

Зимние ночи в горах тоскливы и долги, и, если бы не жаркое пламя кухонного очага, Ми, пожалуй, умерла бы с горя. Каждую ночь она вставала и, раздув тлевшие в очаге угли, грела руки и спину. Поднявшись с первыми петухами, она долго сидела у очага, дожидаясь, пока встанут остальные женщины, подбросят дров в огонь и поставят на пего кукурузу и варево для свиней. Вот так и дремала она у огня от зари до зари.

Каждую ночь, услышав, как в кухне раздувают очаг, А Фу открывал глаза. Ми, когда пламя разгоралось поярче, поглядывала в его сторону и, заметив, как А Фу с трудом разлепляет веки, догадывалась, что он еще жив. Но она оставалась у очага, грея над огнем руки. А Фу же казался издали мертвецом, окоченевшим у столба. И так каждую ночь. Ми поднималась с лежанки, шла к очагу, раздувала огонь... Она и знать ничего не знала, кроме живительного пламени очага. Однажды ночью А Шы внезапно вернулся домой и, застав Ми на кухне, ударил ее, да так, что она упала без памяти в дверях. Но на другую же ночь она снова пришла погреться у очага.

Был поздний час. В доме все спали. Ми встала и, как всегда, принялась раздувать огонь в очаге. Наконец пламя ярко запылало, высветив из темноты столб с узником, и она увидела, как слезы катятся по его щекам, оставляя на почерневшей коже влажные следы. Она вдруг вспомнила, как год назад А Шы вот так же привязал ее к столбу и она простояла всю ночь. Слезы так же заливали ей лицо, затекали в рот, а она не могла их стереть. О небо, эти звери способны замучить человека до смерти! Ведь и она сама могла кончиться у столба. А разве не умерла когда-то здесь, в доме Па Ча, женщина, прикрученная к столбу веревками! Изверги, кровопийцы! Ведь человек этот погибнет следующей ночью, умрет от голода, жажды и стужи. Меня, женщину, украли, заставили припести обеты духам этого дома, и теперь остается лишь ждать, пока я не рухну замертво наземь... Но этот человек, почему он должен умереть?.. А Фу... Мысли эти бередили ей душу.

Угли в очаге потемнели, но Ми не раздувала больше огня и не двигалась с места. Она вспоминала свою жизнь... И вдруг подумала: если бы А Фу чудом удалось бежать, Па Ча с сыном взвалили бы вину на нее: это она, мол, его отвязала. И пришлось бы ей занять его место у столба и умереть в тяжких мученьях. Но она почему-то не испугалась...

В доме было совсем темно. Ми тихонько подошла к столбу. Глаза А Фу были закрыты, но ей казалось, что он слышал ее шаги... Она достала нож, которым, как серпом, срезают рис, и

разрезала узлы на веревках. А Фу открыл глаза и вздохнул полной грудью, еще не понимая, сон это или явь. Наконец с узника спали путы, и Ми, вздрогнув, прошептала чуть слышно:

— Беги же... Беги...

У нее захватило дух. А Фу, обессиленный, повалился на землю. Но перед лицом неминуемой смерти он нашел в себе силы подняться и бросился бежать.

Ми осталась молча стоять в темноте.

Потом и она кинулась прочь со всех ног.

Ночь была темная, хоть глаз коли. Но Ми бежала, не останавливаясь. Она догнала А Фу, и они побежали вместе, спотыкаясь, падая и снова подымаясь. Они спустились по круче на дно лощины.

— А Фу!..— Ми с трудом переводила дыхание на резком студенном ветру.— А Фу!.. Можно я с тобой...

Не успел он ответить, как она заговорила снова:

— Здесь мне все одно конец...

Тут лишь А Фу осознал, что эта женщина, бросившая мужа, спасла ему жизнь.

— Пойдем вместе,— сказал А Фу.

И они, поддерживая друг друга, стали спускаться по склону горы.

Они шли и шли больше месяца, пробираясь по гребням самых высоких гор. Где-то внизу различали они очертания крыш, красноватые пятна полей и белые прозрачные речки; казалось, до них рукой подать, но на самом деле ходу туда было не день и не два.

Из Хонгнгай они спустились в предгорья. Здесь, в Мыонгкуае, разбили свои поля и поставили деревни тхай; потом через Нэмкат беглецы дошли до Тьонгтия; оттуда, миновав низину Лунгтюнфунг, повернули к Черной реке, вышли на берег и оказались в округе Фунен, а затем перебрались в округ Маншон. Отсюда было уже недалеко до освобожденных районов и партизанского края, где жили народности тхай, зао и мео. Переправившись через реку, А Фу и Ми пробрались в глухие деревушки красных мео. Край этот назывался Финша. Ничего не скажешь, ушли они очень далеко, уездному начальнику Па Ча здесь их не достать.

Они добирались сюда почти полтора месяца, питаясь лесными травами, корнями нау и древесными грибами. Когда они достигли Финша, уже кончилась пора дождей.

Зато уж здесь никто и зпать не знал, что А Фу — кабальный слуга уездного начальника, а Ми — его невестка, что ее взяли в

дом начальника за долги. Люди считали их мужем и женой из многолюдной семьи, что жила в деревне за низиной Лунгтунг-фунг. В таких семьях обычно мало земли и много ртов, потому-то небось пришельцы и пустились на поиски земли, чтобы хоть как-то прокормиться. Люди считали их супругами. А они и вправду стали мужем и женой, когда шли по горам и лесным чащам.

Тогда лишь Ми и поняла, каково это — быть женою при муже. Правда, иной раз она вспоминала еще о духах дома Па Ча, скрепивших ее брак с А Шы, но страхи ее были недолги. А потом она не только перестала бояться духов, но и вовсе о них позабыла. Здесь, в Финша, все называли их супругами А Фу.

А Фу построил хижину на вершине поросшего кустарником холма. В ясные дни отсюда были видны река и поля, веером расходившиеся вокруг селения Банпе, где был французский форт.

Однажды А Фу вдруг заметил в Банпе красное пятно — будто термиты натаскали груды красной глины. Не понимая, что это такое, А Фу сходил в ближнюю деревню, расспросил людей и, вернувшись, сказал жене:

— В крепости Банпе тэй раскопали землю, чтобы построить новый дом. А земля-то красная, вот ее отсюда и видно.

Тэй, считал он, все равно что богатые купцы, торговавшие солью, тканями, нитками и иголками в устье Ван за Черной рекой. (Сам-то он никогда не бывал в устье Ван и о купцах знал с чужих слов.) «В общем,— думал А Фу,— тэй заняты своей торговлей и до нас им нет никакого дела. А значит, и нам они ни к чему...»

Селенье Банпе и река были ясно видны с холма, но кто знает, сколько туда дней пути. Да и думать об этом было некогда. Сколько дел делалось сразу и сколько их предстояло еще впереди! На первых порах соседи выручили А Фу и Ми — одолжили ножи и мотыгу. Конечно, если в доме есть буйвол, он делает половину всей работы, но у них буйвола не было, они сами делали всю работу.

Урожай выдался па славу, и кукурузы им должно было хватить надолго. На одной делянке они посадили лен, чтобы было во что одеться.

Ми, сидя у дверей, ткала полотно. Она теперь не прятала лицо, как прежде, а спокойно следила за челноком, проворно двигая рукою моток пряжи. Рядом в хлеву хрюкали два изрядно подросших поросенка.

Супруги А Фу надумали поставить себе деревянный дом: здесь, паверху, тростниковая хижина была плохим убежищем

от шквальных ветров, которые в восьмом месяце года были так сильны, что могли унести не то что человека, но и тростниковую крышу вместе со стенами. А деревянному дому буря нипочем. И супруги А Фу начали исподволь готовить все для стройки, как это делали обычно их земляки. Всякий раз, отправляясь за дровами, А Фу находил в лесу подходящее дерево, валил его, обрубал ветки и тащил домой — на столбы, стропила или доски. У него набралось уже с десятков заготовок. Значит, года через три дом будет готов.

В этом добротном деревянном доме они надеялись скоротать жизнь и оставить его детям и внукам. Рядом они собирались поставить подведенную под крышу конюшню. Перед домом и позади него они посадят персиковые деревья, а у ворот, очистив землю от камней, разобьют огород и обнесут его деревянной изгородью. В сухое время года высадят там капусту и крупную фасоль, что зовется «конским зубом». На больших валунах вокруг дома Ми сможет сушить свои юбки и мужнину одежду. Соберут урожай, а там, глядишь, подоспеет и Тет. Заколют они вместе с соседями откормленную свинью, наедятся досыта, выпьют водки, а натопленного сала хватит, чтобы освещать дом круглый год. Обо всем об этом любили они помечтать на досуге.

Как-то А Фу ушел в поле. Вернувшись домой в полдень, он увидел целую орду солдат — это были люди из племени тхай, служившие под началом французов. Солдаты выволокли из хлева свиней, связали их веревками и бросили у ворот. Приди А Фу позже, они утащили бы свиней.

Изумленный, А Фу прямиком припустил к ним.

— Вы что, хотите забрать моих свиней на мясо?

Солдаты поглядели на него с презрением и не ответили ни слова.

— Это староста прислал вас за моими свиньями? — снова спросил А Фу.

Солдаты молча указали ему на выходивших из-за деревьев французов; непонятно, что им понадобилось там, в лесу. Впервые в жизни А Фу увидал тэй; в испуге он бросился было бежать, но тут взгляд его упал на свиней и он позабыл свой страх. Он ведь по-прежнему считал, будто тэй похожи на богатых купцов, торгующих солью, тканями и иголками с нитками в устье Ван.

— Значит, вы хотите купить моих свиней? — спросил он в третий раз.

И тогда один из солдат, кивнув головою, ответил:

— Да, начальник покупает твоих свиней. Ты должен помочь отнести их к нему домой; ступай-ка вместе с нами.

Солдаты заставили его привязать свиней к жердям. А Фу боялся тэй и солдат с ружьями, но очень уж ему не хотелось отдавать задаром своих свиней. Он не успел поест, не успел даже позвать с поля жену и вместе с тремя солдатами потащил свиней на жердях впиз, в крепость Банпе.

Прошло пять дней, десять, двенадцать, прошло полмесяца, но А Фу все не возвращался.

Ми каждый день выходила на край поля и смотрела вниз, на Банпе; там по-прежнему виднелось красное пятнышко — крепость, похожая на термитник.

Наконец он вернулся, испуганный и угрюмый, все в той же своей рваной черной одежке, но почему-то обритый наголо, а ведь прежде волосы у А Фу длинной прядью падали с темени до плеч.

Соседи пришли расспросить его, и вот что он рассказал им, пересыпая слова проклятиями:

— Сукины дети, эти тэй! Я помог им дотащить свиней до самой крепости, а они связали меня и бросили на два дня вместе со свиньями. А потом начали придирааться: я, мол, скрывал у себя и кормил кадровых работников и за это меня надо бросить в тюрьму. Ну да я стоял на своем: знать не знаю никаких кадровых работников, никого я не скрывал и не кормил. С тех пор как живу здесь, впервые вижу чужих людей в моем доме. Вы взяли моих свиней, выходит, вас я и кормлю. Они били меня до полусмерти. Потом обрили мне голову: сняли, гады, прядь волос, что оставили на макушке еще отец с матерью. И заставили таскать камни и воду... Сукины дети! Я не выдержал и сбежал, бросил свиней — пропали нй за грош!

С тех пор когда уходили прочь тучи и ветры, и внизу видна была красная, как термитник, французская крепость, А Фу снова и снова принимался рассказывать о своих злоключениях и, распахнув рубаху, показывал зарубцевавшиеся раны — следы побоев. И речь свою он пересыпал проклятиями. Теперь он глядел на крепость не безразлично, а с опаскою и тревогой. Жаль было уходить с насиженного места, бросать землю, в которую вложено столько труда, но и здесь сердце его с утра до ночи точил страх: того и гляди, не только потеряешь все нажитое, но и жизни лишишься.. Как тут быть?

Однажды, когда А Фу и Ми работали в поле, они услышали как где-то возле их дома заиграла свирель:

...Вот земля.

Где же борозды пашни?

Вижу дом,
но не вижу людей...

Кто-то, видать, пришел к ним и по старинному обычаю призывает хозяев домой, наигрывая на свирели. Супруги А Фу поспешили домой и увидели гостя. Незнакомец был в облегающей черной одежде, с головы у него свисала длинная прядь волос, а слова он выговаривал так, как говорят белые мео. И А Фу решил, что незнакомец — из белых мео, они ведь часто приходят сюда из-за гор выменивать соль.

А Фу, как положено, обратился к гостю:

— Сыт ли ты? Отведай нашей еды.

И пригласил гостя на кухню. Они положили — каждый в свою чашку — по две-три горсти кукурузной муки, потом добавили вареного мяса и капусты: Ми только что принесла ее с огорода.

За едой они разговорились.

— Ты откуда пришел к нам? — спросил А Фу.

— Из-за гор.

— А из каких мест?

— Из партизанского края.

А Фу от неожиданности даже привстал и пролил на землю похлебку. Явно волнуясь, он позвал жену и, снова обернувшись к гостю, спросил:

— Ты что, кадровый работник?

— Угадал. Я — работник Правительства. Говорят, тэй таскали тебя в крепость, вот я и пришел поговорить с тобой.

А Фу побледнел. Ми — она собиралась поесть во дворе — прибежала на зов мужа и застыла в дверях.

— Он — кадровый работник! — скороговоркой выпалил А Фу, топнул ногой и выругался.

Гость по-прежнему невозмутимо держал в руке чашку с едой.

— Ненавижу тебя! — крикнул разъяренный А Фу.

Гость улыбнулся:

— За что же, А Фу, ты ненавидишь меня, работника Правительства?

— Я раньше никого из вас и в глаза не видел, но тэй пристали ко мне, придумали будто я кормил такого, как ты. Они били меня, обрили голову!

Гость глянул прямо в лицо А Фу.

— Да они просто хотели отнять у тебя свиней, вот и обманули тебя. Я и мои товарищи — такие же люди, как ты, А Фу,

как любой вьетнамец,— у нас одни мысли, мы пьем воду из одной реки, живем на одной земле. Мы все — одна плоть и кровь.

Он подошел к А Фу и взял его за руку.

— Вот смотри, и наши руки и сами мы во всем схожи, и говорим мы на одном языке. Мы братья, А Фу. Тэй, они просто наврали тебе, чтоб не платить за твоих свиней.

А Фу задумался: и в самом деле, ведь кадровый работник говорит по-нашему, и волосы у него длинные, как у нас, и руки такие же, как наши, и пищу нашу он ест и знает наши обычаи. Нет, кадровые работники не похожи на тэй, их не за что ненавидеть. Тэй, видно, сказали неправду...

А Фу повернулся к жене и что-то прошептал ей. Она отвечала ему тоже шепотом. По отдельным долетавшим до него словам, по жестам хозяев и выражению их лиц гость догадался, что на него больше не держат зла. А Фу принялся за еду, а Ми внимательно приглядывалась к гостю.

Дождавшись, пока ховяева кончат разговор, гость спросил А Фу:

— Сколько дней они продержали тебя в крепости? И как тебе удалось бежать?

А Фу распахнул рубаху, показав свои шрамы и рассказал, как французы били его, как обрили ему голову и бросили в темницу, как заставляли таскать камни и воду... Поведал, как томился он, вспоминая жену и дом... И однажды, улучив минуту, перепрыгнул через изгородь и убежал.

Закончив свой рассказ, А Фу спросил:

— Они били меня за то, что я будто бы кормил кадрового работника. Но ведь вы такой же человек, как и все. Боятся они вас, что ли?

Гость улыбнулся.

— Да, боятся. Они боятся работников Правительства, боятся всех, кто прячет нас и помогает нам, и потому бьют и мучают людей.

С этой минуты гость стал своим в доме. А Фу проникся к нему самыми дружескими чувствами.

— Мы, мео,— сказал А Фу,— всегда ненавидели лжецов и грабителей и как своих принимали тех, кто жил с нами душа в душу. Ты, кажется мне, как раз такой человек. Или, может, я неправ?..

Когда солнце стало клониться к закату, А Фу вместе с гостем разобрали хлев и стали вытесывать из бревен доски. Гость тесал доски быстро и ровно — сразу видно, есть у него сноровка.

Стуча топором, он спросил А Фу:

— Скажи, а почему бы тебе не поставить новый хлев? Сви-ней-то ведь надо где-то держать.

— А потом явятся тэй и сожрут их. Нет уж, с меня довольно.

— Да можно все сделать по-другому.

— По-другому? А как?

— Ты, брат, видпо, не слыхал про деревню Фунюнг, ну про ту, что в Лайтяу? Там теперь у каждой семьи по два дома: один в лесу, в самой чаще, другой стоит, как обычно, на виду. В лес-ных домах там держат свиней, хранят кукурузу, тыквы — одним словом, все добро и запасы. А в деревенских домах пусто. Пусть французы приходят и видят: здесь поживиться нечем. Там и поля разбивают подальше от деревни, в укромных местах сажа-ют кукурузу, бататы, капусту. Тэй и хотели бы опустошить те поля, да не знают, где они.

— Хорошо бы и нам выстроить два дома, как в Фунюнге, — сказал жене А Фу. — Жили бы тогда, не опасаясь грабителей.

На другой день А Фу вместе с гостем перенесли в чащу леса доски и бревна, бочонки для воды, бататы и кукурузу. Потом выстроили там временку для жилья и хлев, поставили печь, чтоб варить кукурузу. На работу ушло у них три дня. А Фу от радо-сти был прямо сам не свой. Он привел гостя на край поля и по-казал вниз, на Банпе:

— Что ж, пусть теперь тэй пожалуют сюда, нам все нипо-чем. Уйдем в лес и переждем, сколько надо. Давай-ка с тобой обойдем все дома в Финша, пусть и остальные перебираются в лес. Вот будет здорово!

— Да все уже давно перебрались. Ты, брат, у нас последний.

— Это ты научил их?

— Я.

И они отправились ночевать в лесную временку.

А Фу стал расспрашивать гостя, откуда он родом, из какой семьи, и тот рассказал:

— Родился я на равнине. Там тоже тэй грабят народ, как и у вас, в горах. И людям точно так же приходится прятать свое добро. Мои земляки сколотили партизанские отряды, чтоб за-щитить от врага свою жизнь и свое достояние. Я знаю, как лучше прятать имущество от жадных глаз тэй, сам я ведь дол-го воевал в партизанах, вот Правительство и послало меня к вам — научить вас бороться с тэй. Теперь ты знаешь, откуда я родом и для чего поднялся к вам, в горы. А семьи у меня нет, враги убили всех моих родичей.

А Фу приподнялся, сел на лежанке и крепко сжал обе руки гостя в своих ладонях.

— Раз уж судьбы наши так схожи, мы с тобой должны стать побратимами!

А Фу рассказал гостю о себе, о своей жене, о том, как бежали они из дома Па Ча, как добрались сюда и поженились.

Гость слушал его с сочувствием. Полночь давно миновала, а они все никак не могли уснуть.

— Я хотел бы, А Фу,— сказал гость,— дать тебе клятву в верности и стать твоим братом.

А Фу был счастлив.

— Тебя зовут Кадровый работник? — спросил он.

— Мое имя — А Тяу¹.

— А Тяу!

— А Фу!..

— Ну теперь мы с тобой все равно как родные братья. Если Правительство пошлет тебя в другое место, ты непременно напиши мне на бумаге, где тебя искать. Когда завоюем независимость, я с этой бумагой приду на равнину, отыщу твой дом и мы снова встретимся.

На другой день, вернувшись домой, А Фу поймал на дворе петуха, принес его и положил посреди хижины, чтобы совершить обряд братания по древним обычаям мео.

А Тяу повесил на стену красный флажок с желтой звездой — он на рассвете сходил за этим флажком к партизанам в селенье Финша. А Фу зажег благовонные палочки. Пряный дымок поплыл по дому, и запах его напомнил А Тяу давние годы, поминки в родной деревне, там, на равнине... Ему, коммунисту, которого Партия послала в горы поднимать живущие здесь народности против империалистов и феодалов, было и смешно и неловко участвовать в этом феодальном обряде. Но он не сказал ни слова и с самым серьезным видом поправил флажок, висевший над благовонными палочками у самого очага.

А Фу, бормоча что-то, вышел на середину дома, помолился у алтаря предков, потом повернулся, подошел к очагу и склонил голову перед флажком и благовонными палочками.

— Я — Вы А Фу — представляю духам моего дома брата Вы А Тяу и клянусь до самой смерти быть ему верным и преданным братом, жить с ним всегда в мире и согласии — и сейчас, и потом, когда мы завоюем независимость. Я клянусь, что никогда не выдам его проклятым тэй. А если я нарушу клятву, пусть небо покарает смертью меня и жену и истребит весь наш род.

¹ В имени А Тяу первый слог типичен для народности мео, а второй слог — имя, распространенное среди собственно вьетнамцев (кипей), живущих на равнине.

А Тяу поднял руку.

— Я, А Тяу, клянусь перед знаменем Родины до самой смерти быть верным братом А Фу. Если кто-нибудь нападет на А Фу или обидит его, я клянусь мстить вместе с ним его врагам, бить вместе с ним тэй. Никогда не брошу его ни в горе, ни в радости. А если я нарушу клятву, пусть покарает меня моя Партия.

Когда оба принесли свои клятвы, А Фу ножом перерезал горло петуху, нацедил полчашки крови и, став на колени, выпил половину. А Тяу тоже опустился на колени и допил другую половину.

А Тяу опорожнил чашку двумя глотками, не ощутив ни вкуса крови, ни ее запаха. С той минуты, когда он услышал голос А Фу и увидел лицо его, сосредоточенное, исполненное веры, когда он и сам поклялся быть верным и преданным братом А Фу, а значит, и всему народу мео, — с той самой минуты А Тяу видел в этом наивном и навеянном суевериями обряде лишь воплощение идеалов дружбы и братства. И ощутил искреннее волнение и радость.

Ми давно уже прибежала в дом. Женщинам приносить обеты не положено, но она, услышав клятвы побратимов, не могла усидеть на кухне и после мужа и гостя тоже преклонила колена перед флажком и огоньками благовонных палочек. Вдруг Ми уткнула лицо в ладони и горько заплакала. По щекам А Фу тоже текли слезы. Они вспоминали свою прежнюю жизнь, полную горечи и боли.

— Когда наш народ завоюет независимость, — сказал А Тяу хозяйке, — обязательно приезжайте вместе с А Фу ко мне в гости. Каждый сможет тогда ездить, куда захочет, люди заживут наконец спокойно, будут без помех пахать землю и собирать урожай, торговать, строить дома и машины. И все будут счастливы.

Слушая гостя, супруги А Фу подняли на него глаза, еще влажные от слез, и старались представить себе, какой же она будет на самом деле, эта прекрасная и счастливая жизнь. Наверно, они поставят здесь, на холме, деревянный дом, обзаведутся буйволами и лошадьми, народят сыновей и дочек и дети их будут играть у ворот, под персиковыми деревьями... Одним словом, исполнится все, о чем они мечтали с тех пор, как обосновались в Финша.

А Тяу теперь частенько заглядывал в дом А Фу. Каждый раз, собираясь куда-нибудь по своим делам, он говорил на прощанье:

— Ну, счастливо оставаться. Я скоро вернусь, ждите меня. И супруги А Фу ждали...

Через год в Финша был создан партизанский отряд. И когда французы из крепости Банпе снова поднялись в горы, чтобы отнять у мео скот и кукурузу, вся деревня укрылась в лесу, а партизаны обстреляли их из засады и прогнали прочь. Долго еще после этого тэй не смели и носа сюда сунуть. Они поняли: люди мео — не тупое, бессловесное стадо.

Каждая семья распахала землю в лесу и поставила там временку. В тот день, когда Общинный комитет провел торжественную присягу партизан, в Финша пришли представители подпольного райкома и командиры Народной армии. После митинга народ долго не расходился. Молодежь веселилась, играла на свирелях и кхенах, плясала и пела.

Теперь каждый боец в партизанском отряде имел ружье, были у них и кони. Правда, ружья они раздобыли старые, и после каждого выстрела приходилось шомполом забивать в дуло порох, пыжи и пули. В ясные дни партизаны проводили учебные стрельбы. Мишенями им служили зеленые листья.

А тем временем в горные деревни мео снова пришла весна. Само собою, теперь в партизанском крае Тет отмечали без трезвона колокольцев и многолюдных молений духам. Но на бескрайних холмах ветер, как и прежде, волновал пожелтевшие травы. И, как всегда в эту пору, небо словно опускалось ниже над сжатыми полями. Лысые склоны холмов перечеркивали красные зигзаги протоптанных в глине дорог, и по ним, оттесняя прочь застоявшуюся стужу, шел не спеша несущий тепло и радость Новый год.

Все отдыхали после полевых работ. Из кухонь плыл запах смолистых сосновых дров. Над вершинами холмов по ночам разливались напевы свирелей. В каждом доме толкли в ступах рис, кололи свиней, готовили угощение. На этот раз парни с девушками решили не устраивать гулянье на площади за околицей: а ну как звуки свирелей и песен растревожат тэй внизу, в Банпе. Они уговорились пойти в горы и веселыми ватагами допоздна гуляли под луной. Дома остались лишь малые дети да старики.

Вот уж который год люди обходились без обновок, и все-таки к празднику многие исхитрились принарядиться. Девушки из красных мео щеголяли в расшитых юбках, цветных накидках и пестрых платках с бахромою, а те, что были из белых мео, выбрили виски и накрутили вокруг головы белые тюрбаны — ровнехонько, без единой складочки. Парни надели короткие черные рубахи, затянули синие кушаки и повязали вокруг головы белые платки.

В доме А Фу тоже толкли рис на пироги. Впервые в жизни к

Новому году были у них в доме мясо и водка. И потому они встречали праздник веселые и счастливые, как дети.

Поутру парни и девушки из деревни поднялись в гости к А Фу — поздравить хозяев и угоститься. Чашка с водкой ходила из рук в руки вокруг очага, где тлели пахучие сосновые дрова; отхлебнув глоток, гость отдавал чашку соседу, а едва она опустеет, по кругу идет уже новая.

А потом все запели:

Не любишь меня ты, вот отчего
пао упал наземь...

Когда туман стал расходиться, парни и девушки отправились в горы.

Они ушли, но их песни и смех, звуки свирелей и крепкий дух водки, казалось, все еще наполняли хижину. Ми и А Фу остались одни. Хмель ударил им в голову.

Ми сидела у очага, щеки ее покраснелись; она, молча помешивая угли, пекла коржи. Ей вспомнилась вдруг пора ее девичества, давние дни, когда она, впервые отведав водки, вот так же ворошила угли в очаге, а вокруг парни с подружками — ее одноклассники — играли на свирелях, смеялись и пели. Семья их была очень бедной, и Ми досталась от матери одна только юбка, латаная-перелатаная, да старая душегрея. Но все равно она чувствовала себя счастливой. Только девичьи годы ее оказались недолгими, промелькнули, и нет их — как солнечный зайчик. А потом угодила она в дом Па Ча... Тяжко... Нет, не желала она вспоминать те мрачные годы! Но и по сей день виделось ей иногда злополучное квадратное оконце, за которым она изо дня в день, из года в год видела лишь зыбучий белый туман. Ми глядела на огонь и думала, думала...

А Фу обвязал бечевкой завернутые в листья коржи, подошел к очагу и сел рядом с женой.

— Пойдем погуляем, — предложил он.

— А может, дождемся А Тяу и прогуляемся все вместе? — И, помолчав, Ми добавила: — Сколько уж лет мы с тобой не играли в пао, не брали в руки свирель. Люди небось засмеют...

— Вот еще, никому и в голову не придет смеяться над этим.

Ми знала, он прав, но все-таки спросила:

— У тебя даже нет серебряного обруча, да и я вся пообносилась, прилично ли так выйти на люди?

— Да при чем здесь это? — А Фу рассмеялся. — Мы живем теперь в партизанском крае, власть у нас народная, и праздники тоже не такие, как в Хонгнгае. Здесь под Новый год никому и

в голову не придет бахвалиться нарядами, затевать драки или умыкать девушек.

Сердце у Ми дрогнуло, и она заплакала. Но это были слезы радости и облегчения. Она протянула руку к свирели, приколотой на груди А Фу; не вытирая слез, поднесла свирель к губам и заиграла любовную песню. Она не играла ее уже лет десять с лишком, но помнила каждое слово:

Я полюбить бы тебя хотела,
Только тебе до меня нет дела.
Ах, как не хочется мне домой,
Все равно буду твоей женой!
Что же мне сделать,
чтоб стал ты моим мужем?

А Фу взял в руки кхен и встал.

...Милая, срок гуляния вышел.
Шьешь ты искусно иглой, я слышал.
Если ты любишь, спокойна будь
И отправляйся в обратный путь.
Ночь проведем мы потом
вместе с тобою.

Мимо дома прошла ватага парней и девушек. Они громко окликнули хозяев:

— Эй, А Фу!.. Вы что, решили одни резвлекаться дома?

Кто знает, слышали ли их супруги А Фу? Они с увлечением играли на свирели и кхене. Парни с девушками не стали их дожидаться и отправились дальше, а вслед им летела песня.

Потом А Фу вдруг опустил кхен и вышел из дома.

— Все вроде ушли гулять,— сказал он.— Пойдем-ка и мы. Может, там, на горе, и встретим А Тяу.

Ми взяла связку коржей, перебросила через плечо, и супруги, выйдя из дома, двинулись по тропе в горы.

Ми шла впереди, играя на свирели. А Фу шагал следом и распевал во все горло. Протяжный напев плыл над бескрайними холмами. День выдался солнечный и ясный. Внизу была отчетливо видна огибающая подножье белая дуга реки.

Они подошли уже к самой опушке, когда А Фу, прикрыв от солнца глаза ладонью, поглядел вниз и вдруг медленно произнес:

— Сукины дети, тэй! Вздумали испортить людям праздник!.. Вош опи, валом валят!

А Фу положил кхен на камень и со всех ног кинулся к дому. Минуту спустя он вывел из ворот лошадь и передал Ми поводья:

— Скачи в горы, сообщи обо всем партизанам.

Ми вскочила в седло и умчалась. А Фу тем временем вытащил спрятанное под камнем ружье и напрямик по заросшему тростником склону побежал в Финша.

Парни и девушки, гулявшие в лесу, узнав о приближении неприятеля, тотчас разошлись, как положено: каждый к своей боевой группе.

Но когда отряд подоспел к деревне, солдаты уже ворвались туда и перекрыли все тропы. Нельзя было ни устроить засаду, ни подобраться к врагу поближе. Тогда партизаны забрались на торчавшие вокруг скалы, стали стрелять оттуда и сбрасывать камни. Женщины подносили им боеприпасы.

Солдаты выследили нескольких женщин, окружили их на опушке леса и схватили. Вместе с другими попала в руки врагов и Ми.

Карательная операция в Финша продолжалась три дня.

В первый день солдаты выволокли из домов все добро: женские юбки, деревянные бочки, ручные мельницы с каменными жерновами и свалили все в кучу посреди деревни. Потом они согнали в стоявший поблизости дом всех стариков и детей, которые не успели бежать из деревни.

На второй день они подожгли деревню, прогнали табун лошадей по полям, засеянными овощами и кукурузой, согнали пойманных в лесу буйволов, коров, лошадей и коз, а потом подожгли лесные временки. Но тут партизаны открыли по ним огонь, и тэй убрались назад в деревню.

На третий день солдаты, прочесывавшие окрестные горы, собрались в деревне и, захватив с собой конфискованный рис и кукурузу, двинулись в обратный путь. Они увели с собой детей, стариков и женщин, угнали весь скот, унесли раненых и убитых.

Спуск занял у них весь день. В узких ущельях за нависшими скалами поджидали их партизанские ружья, и неприятелю приходилось отстреливаться на каждом шагу. Во время одной из перестрелок нескольким женщинам удалось бежать, среди них была и Ми.

Она вернулась к лесной временке, но там все сгорело дотла. К счастью, Ми повстречала партизанского связного, и он отвел ее на базу, в соседний лес. Случилось так, что и А Фу явился на базу за патронами. Ми бросилась к мужу, крепко обняла его за плечи и зарыдала, не обращая внимания на обступивших их людей.

Партизаны стали расспрашивать ее. Ми сперва отмалчивалась, потом заговорила, но голос ее прерывался и по щекам текли слезы.

— Жена и сын А Те погибли в самом начале пути, и смерть их была ужасна. Она ведь была на сносях, а тут ей пришлось тащить на себе мальчонку. Она упала, и у нее начались схватки, но солдат стал бить ее прикладом, заставляя идти дальше. Так она и скончалась посреди дороги... Малыш — ему было всего три года — не поспевал за нами, и тогда солдат ухватил его за руку и поволок, как куль, по камням, потом он тащил малыша за волосы, пиная его ногами... Мальчик упал и больше уже не встал... О небо, какое горе!..

Она опустилась на камень. Глаза ее были красны от слез, лицо побледнело. Ми не в силах была вымолвить больше ни слова. У нее перехватило дыхание, она не могла даже плакать.

Люди, стоявшие рядом, рыдали и выкрикивали проклятья.

— Ты шла всю ночь и очень устала, — сказал А Фу. — Хватит, не надо больше вспоминать эти ужасы.

Он поднял ее, взвалил к себе на спину и понес через лес туда, где стояла их временка. Он уложил Ми на единственную уцелевшую доску, и она сразу забылась сном.

Проснувшись, Ми почувствовала, что силы возвратились к ней. Она повернулась на бок и увидела А Фу. Перевязав лианой кусок бычьего мяса, он пек его на огне. Заметив, что она проснулась, муж подошел и сел рядом с нею.

Ми опасливо огляделась вокруг.

— Слушай, — зашептала она, — мне страшно. Я не хотела вчера говорить при всех: уездный начальник Па Ча теперь живет там, внизу, в Банпе, он заодно с тэй. Я видела, как он вышел встречать солдат.

А Фу выслушал ее спокойно, словно новость эта несколько его не удивила. Только голос его, когда он заговорил, дрожал от гнева:

— Ублюдок Па Ча вовсе не мео! Ему самое место там, вместе с врагами. Не бойся! Мы не страшиться должны его, а ненавидеть. Или ты забыла?..

— Нет... Но мне страшно. Если мы попадем к ним в руки...

— Ты что, спятила?! — закричал он. — Это тебе не Хонггай! Мы живем с тобой в Финша, в партизанском крае. И не забывай, твой муж — командир партизан.

Не слушая больше жену, он забормотал проклятья. Отведя душу, А Фу сказал:

— Сама подумай, раньше нас мучил Па Ча, а теперь грабят и мучают тэй. Нет, говорю тебе, Па Ча — не мео! Он — выродок, в нем чужая кровь...

А Фу встал приглядеть за мясом и, присев у огня, снова зашептал что-то.

Видя, как решительно он настроен, Ми успокоилась.

Но едва А Фу замолчал, ее страхи и опасения проснулись вновь. Да и могла ли она вот так, сразу забыть все, что пришлось ей вынести за эти несколько дней. И еще ее мучила мысль о том, что они остались без крова, без кукурузы и риса. Теперь снова надо в поте лица обрабатывать землю, чтобы не умереть с голоду. Сколько придется намучиться. И еще не известно, будет ли от этого прок... Может, лучше уйти отсюда? Мысль эта то и дело приходила ей на ум, Ми старалась прогнать ее, но она возвращалась опять, мешаясь с воспоминаниями о черных днях в доме Па Ча, об ужасной смерти жены А Те. Ее раздирали сомнения и страхи, и она не знала, на что решиться.

А Фу, дожарив мясо, принес его и положил на доску.

— Ну,— сказал он,— провиантом мы обеспечены, можно идти выручать наших из крепости.

Ми хотела поделиться с ним своими опасениями, но промолчала. И лишь потом, после долгих колебаний, спросила, не лучше ли им перебраться отсюда куда-нибудь подальше.

А Фу помрачнел.

— Так, значит, стоило тэй продержать тебя день в плену, и от всей твоей храбрости ничего не осталось... Знай же, у меня теперь есть брат, и я никогда его не брошу. А Тяу сказал, что мы должны удержать в наших руках дорогу во что бы то ни стало, по ней пойдет Народная армия. А ты заладила: уйти, уйти подальше.

Услышав имя А Тяу, Ми словно опомнилась. Ведь у нее раньше только и было близких людей что отец с матерью, но оба они давно умерли... Благодаря А Фу и его брату А Тяу она поняла, что есть на земле хорошие, добрые люди.

Ми больше не заговаривала об уходе...

Она встала и принялась помогать А Фу. Вдвоем они разделали бычью тушу и нажарили мяса впрок, чтобы партизаны были обеспечены провиантом.

— Завтра пойдем на собрание,— сказал А Фу,— надо обсудить, как нам лучше ударить по Банпе, чтоб освободить стариков и детей.

— Я больше ничего не боюсь,— засмеялась Ми.— Конечно, пойдем завтра вместе.

На другой день супруги А Фу отправились на собрание. По дороге А Фу поделился с женой последними новостями:

— Знаешь, в Хонгнгае тоже организован партизанский от-

ряд. Только Па Ча с сыновьями остались верны тэй, пришлось хозяевам выручать семейство Па Ча и под охраной доставить в крепость. Сейчас, куда ни пойдешь, всюду партизаны.

Ми спокойно выслушала его. Она больше не боялась Па Ча и его сыновей. «Вот бы узнать,— подумала она,— что случилось со всеми женщинами из дома Па Ча... Может, ушли в лес с партизанами и теперь свободны как птицы...»

Она спросила об этом А Фу. Но тот промолчал. Он не отрывал глаз от пепелищ, черневших на месте соседних деревень...

Прежде в Финша теснились дома и хижины, на травянистых склонах паслись буйволы и коровы, лошади и козы. Нынче лишь изредка можно было увидеть на пепелищах людей; они пытались откопать из-под развалин уцелевшую, быть может, утварь: посуду, мотыги, лемехи. Стаи ворон кружили над кровавыми лужами, где валялись брошенные грабителями свиные и бычьи головы. В воздухе висел тяжелый, удушливый смрад.

И долго еще кружилось над горами воронье.

УЛИЦА

Пожалуй, улица никогда не выглядела столь оживленной, как в конце дня, когда зажигались огни. Домишки и комнаты, отделенные друг от друга лишь тонким простенком или картонной перегородкой, а то и воображаемой чертой, пролегавшей между двумя кроватями, едва вспыхивал электрический свет, как бы сливались воедино и казались каютами плывущего по морю большого корабля.

Не умолкавшая в любое время дня, улица становилась при фонарях особенно шумной. Здесь собирали ужин в комнате, там всем семейством располагались прямо на кухне. Вернулся с работы известный тут всем и каждому паромщик. Молодая женщина, прислонив к стене велосипед, вошла в ясли и, выйдя с сынишкой на руках, взяла свой «экипаж», посадила малыша на плечи и не спеша двинулась по тротуару, а соседи, прозвавшие сына ее Кутенком, глядели, как он щурился на уличные фонари. Одни, второпях дожевывая ужин, выбегали из дверей, сегодня ведь понедельник — день занятий на общеобразовательных курсах. Другие целой компанией собирались в кино. Говорят, в «Восточной столице» идет новый музыкальный фильм. У дверей появились топчаны, бамбуковые скамейки; старики с блюдечками бетеля, с кальяном и лаосским табаком устраивались где попрохладней. Ребятишки, подтащив к краю тротуара плетенки с отбросами, пока, в ожидании мусоровоза, как заправские футболисты, гоняли по улице круглый бумажный ком. А когда крики их внезапно умолкали, слышно было,

как бившая под напором струя из водопроводной колонки звонко ударяла в железные днища ведер, выстроившихся цепочкой до самого дерева.

Как раз в эту пору и возвращался обычно домой дядюшка Бао. Чужой человек при виде всей этой суматохи и толчеи решил бы, что он стал свидетелем грандиозного скандала, и лишь потом, приглядевшись, понял бы, что во всем тут есть свой порядок и у каждого свое обличье и повадки, свой особенный образ мыслей, своя манера прищелкивать языком и не похожая на все другие улыбка.

Бао сворачивал за угол, и с каждым шагом служебные дела его отступали куда-то, становились все неприметнее и оставались где-то далеко. Уличный шум был ему ни о чем, он шагал молча, невозмутимо, давно привыкший ко всему. И оборачивался, лишь услышав слишком громкие голоса у водопроводной колонки — это означало, что там назревает ссора, — и, уж конечно, останавливался, когда на перекрестке сталкивались велосипедисты. Подобные происшествия были его прямым делом — он ведь состоял в уличном комитете.

Но в последние дни у него появилась новая забота. Он старался отвлечься, забыть о ней, однако тревожные мысли вновь и вновь бередили душу. Сын его, Минь, который ушел в армию еще в конце прошлого года, недавно получил увольнительную и провел целый день дома. Он сказал, что скоро ему предстоит дальняя дорога. Бао не стал его расспрашивать ни о чем, он понял и сам: сын собирается на фронт. Так уж повелось с тех пор, как янки захватили Юг и начали бомбить Север: если солдата отпускали домой и он заводил с родными разговор о дальней дороге, каждому было ясно: жди теперь от него вестей с фронта. Оно и понятно: место солдата на фронте. Сам Бао двадцать лет назад тоже воевал. И Ван, старший его сын, вот уже третий год на передовой. Думал же он вот о чем: отпустят ли Миня еще хоть разок домой. И каждый вечер, сворачивая на свою улицу, он первым долгом смотрел, не стоит ли у дома велосипед. Хорошо бы, конечно, если б сын заглянул до отъезда. Здорово было бы войти в дом и увидеть белозубую улыбку сына, сидящего за подносом с едой...

Ребятишки, давно поджидавшие Бао, заслышав бречанье старого велосипеда, с криком бежали ему навстречу.

— Эй! Дядя Бао! Дядя Бао!

— Дядя Бао, дайте, пожалуйста, коробок спичек!

— Сколько? — смеясь, переспрашивал Бао. — Сколько вам надо коробков?

— Два...

— А мне — четыре!

— Нет, шесть! Шесть!

Бао останавливался, опершись на раму велосипеда, и детвора обступала его плотным кольцом.

В это время обычно возвращалась с работы тетушка Бао. Глядя на них, она восклицала:

— Что, никак не расстанетесь?

И проходила мимо не останавливаясь. Кто знает, шутила она или сердилась... Войдя в дом, она тотчас вытаскивала из-под топчана мангал, засыпала в него опилки, совала бумагу и поджигала растопку. Все движения ее были легкими и плавными. Нет, скорее всего, она сердилась на мужа не всерьез.

Сказать по правде, не было еще случая, чтобы старый Бао дал кому-нибудь из малышей коробок спичек. Хотя он каждый раз исправно, загибая пальцы, подсчитывал, сколько кому обещал коробков... И ребятишки, и сам Бао вовсе не имели в виду обыкновенные спичечные коробки; для них эти никогда не появлявшиеся на свет спички означали нечто диковинное и загадочное, не имеющее ничего общего с будничными изделиями из бумаги, лучинок и серы.

У Бао была привычка не завтракать по утрам. С возрастом привычек и странностей у человека становится больше и больше. И тетушка Бао сетовала на то, что эта привычка поститься по утрам была разорительней нескольких трапез.

Судите сами: каждое утро старик выкуривал по две сигареты — да не какие-нибудь, а ароматные. Курение свое, объяснял ей муж, он подчиняет строгому правилу: первой сигаретой он затягивается сразу после умывания, вторую закуривает, выводя за дверь велосипед. Она и сама давно уже знала этот его распорядок и, честно говоря, никогда не задумывалась об убытках, но по привычке — а у кого их нет — продолжала ворчать и жаловаться.

Когда в раскрытые настежь окна на нечетной стороне улицы доносился щекочущий поздри запах ароматного табака, каждый знал: старый Бао идет на работу. И, даже не глядя на часы, можно было держать пари: сейчас ровно шесть пятнадцать утра — если на дворе было лето, или семь пятнадцать, если это было зимой. Год за годом, из месяца в месяц, изо дня в день все повторялось без изменений.

Бао имел также обыкновение, возвращаясь с какого-нибудь заседания, намекнуть соседям, какие именно важные вопросы решались сегодня. Все понимали: если он, проходя мимо ста-

рой стены, хранит молчание, значит, речь шла о делах военных — секретных. Иначе Бао заговорил бы, не обращаясь ни к кому в отдельности, так, как читают вслух газету:

«Рис теперь в продмаге будут продавать не по четвергам, а по воскресеньям — с утра и до вечера. Так народу удобнее. Значит, мы выполняем заветы Дяди Хо. Продавцы-то у нас молодежь, вот они всей бригадой и надумали насчет воскресенья...»

«Да, в табачный отдел завезли сигареты...»

«Кто у нас отвечает за чистоту и порядок? Лето уже на носу. Надо опрыскать все, иначе от комарья не спастись. Опрыскать каждый уголок...»

«Скоро нашим ополченцам выступать на районном смотре!..»

«Помните, убежища не захламлять! Ячейки накрыть крышками, чтоб мусор и земля туда не попали. Мало ли что сейчас перемирие, от янки всего можно ждать! Так сказал Нгуен Ван Чан, товарищ Чан, секретарь горкома...»

«Сегодня я был на совещании вместо начальника... Наша бригада бытовых услуг скоро приобретет машину для выделки лапши. Если учесть вклады за этот месяц, нужно лишь взять небольшой краткосрочный кредит — и машина наша! Тут уж у нас на улице не останется ни одного безработного, прямо хоть праздник устраивай...»

А кончались эти его речи всегда одинаково:

— Конечно, вы здесь, сорванцы? Небось, опять спички вам подавай... Тебе сколько коробок? Сколько? Ну, говори! Подойди-ка... Так, пять коробок... Зачем тебе столько? Ладно, пять так пять... А тебе, озорник? Только три? Маловато, давай прибавим одну, бери четыре...

Бао был очень занят. Но как бы ни уставал он после рабочего дня, усевшись на свой велосипед, он никогда не ехал прямо домой, а, свернув на плотину, подъезжал к Часовой башне. Здесь ближе к полудню открывался травяной рынок. Шли за травой и те, у кого был свой скот, и те, кто держал пекинских гусей, прожорливая птица эта в один миг сводила траву на лужайке — почище серпа. И едва торговцы успевали сложить под высокими фикусами траву, как ее раскупали всю — до последней былинки.

Бао травы не покупал. Он сам нарезал несколько охапок зелени, подпимавшейся на краю площади. Маленький серп и холщовая сумка были всегда привязаны у него к багажнику. Бао держал четырех кроликов — они жили у него в выкрашенном зеленой краской двухъярусном деревянном загопчике, красивом и чистом, как клетка для птиц.

Когда со всеми делами было покончено, оставалось еще одно, самое последнее — разговор о спичках с мальчишками, обступившими его у перекрестка, и, наконец, Бао ставил свой велосипед у дверей. Жена сидела на корточках под самым окном. Справа от нее тлели в мангале опилки, слева пыхтела керосинка. Обе руки жены были заняты делом — точь-в-точь как у ткачихи, склонившейся над своим станком. Бао каждый раз хотелось спросить у нее: «Что, Минь не приходил?» Но он молча проходил напрямик во двор, набирал воды из бочки и, смыв с себя пыль и пот, возвращался в комнату. Там на подносе его уже ждал ужин.

Казалось бы, садись да ешь себе спокойно. Но тут-то и наплывали дела и заботы, они катились потоком, как дождевая вода по звонкому желобу, и сплетались в густую сеть.

С тех пор как Минь ушел в армию, старикам казалось — да так оно и было на самом деле, — что они стали теплее относиться друг к другу, а это довольно редко случается в преклонные годы. Тетушка Бао ласково поглядывала на мужа, а он, положив себе в чашку рис, наливал суп из водяного вьюнка, сваренного, чтоб был покислее, с травой тюаме, и, съев суп, подливал себе еще. Тогда она опускала свою чашку и начинала обмахиваться веером из бамбуковой дранки, давая мужу понять, что, мол, есть надо не спеша, со вкусом. А то привык делать все на скорую руку и думает за едой бог весть о чем, вон пустые палочки несет ко рту. Ну вылитый командир здешних ополченцев, тот тоже вечно торопится. Так думала тетушка Бао... Муж, считала она, слишком уж неразборчив в еде и издерган. На самом же деле старый Бао любил поест и был вполне уравновешен и спокоен.

Он поднял на нее глаза, словно догадываясь о смешных ее подозрениях, и сказал:

— Съем-ка я еще для порядка.

Снова подлил себе супу и принялся шумно жевать кусок малосоленного баклажана — но ел он, по мнению жены, все равно без должной выдержки.

Ага, так и есть. Легок на помине — в комнату вошел командир ополченцев. Этот всегда был, как говорится, на взводе; и все дела у него были важные и срочные. Когда янки бомбили Ханой, человеку незнакомому могло показаться, будто командир теряется во время налета. Но он был вообще человек беспокойный и суетливый. Товарищи частенько подшучивали над ним, однако он был неисправим — и, слушая, как он разъяснял

какое-нибудь неотложное задание, все, бывало, покатывались со смеху.

— Товарищ Бао! — воскликнул командир.

— Что случилось?

— Срочное дело.

Бао положил палочки на поднос и усмехнулся:

— Ну, если срочное...

— Да-да. Вы ешьте, ешьте, а я пока вам все изложу. Близятся праздники, и надо составить программу — как обеспечить порядок и безопасность...

— Да как обычно, чего тут мудрить!

— В этом году надо бы начать подготовку пораньше. Вода прибывает, сами знаете.

Красная река и впрямь поднялась высоко, впервые за долгие годы уровень ее достиг двенадцатиметровой отметки. Была объявлена готовность номер три. Горожане, облепив точно муравьи оба берега, укрепляли и насыпали повыше дамбы, а внизу, грозно рокоча, неслась красноватая от ила вода.

Да, порядок и безопасность — дело нешуточное. Конечно, думал старый Бао, заботы эти общие для всей улицы, и надо бы привлечь побольше народу, наладить пропаганду, чтобы цель мероприятия дошла до каждого. Само собой, все делается на добровольных началах, но отлынивающих да отсиживающихся по углам быть не должно.

Время теперь другое, не то, что до революции, когда люди и в одном-то доме жили, как бойцовые петухи — каждый в своей клетушке, только отвори дверцу — перья так и полетят. Никому не было дела до того, жив ли, помер ли сосед за стеной. Бао ведь сам родом отсюда, как говорится, столичная косточка, ему ли не знать всех «прелестей» старого Ханоя. Ну да все это кануло в прошлое — и навсегда! А праздники — Новый год, День Республики или другая славная дата, — они теперь все-народные. Надобно чтить их и отмечать, как положено, по издавна заведенным обычаям, но и о порядке не забывать. Тем, кто не знает этого, придется объяснить, чтобы поняли все до конца, а кто не прислушается к мнению народа, тех надо вовремя и как следует пробрать. Бао был мастер по этой части, уж если примется за кого, пощады не жди. Молодежь, хоть и побаивалась его, любила присутствовать при «разносах»: Бао и тут не обходился без шутки, а посмеяться каждому охота. Случалось, он и с детворой в игры пускался, забыв о своем почтенном возрасте...

— Вы приходите к нам на собрание, — сказал командир на-

последок, — обменяемся мнениями, прикинем, что и как. Только постарайтесь быть к началу. А мне еще надо сбегать к соседям, на ближнюю улицу, одолжить несколько касок, так что я могу немного опоздать.

— Ладно.

Бао открыл записную книжку и написал в конце страницы: «Собрание ополченцев — распорядок дежурств и патрулирования». Лишь теперь, сделав заметку в своей книжке, Бао был спокоен: тут уж он ничего не забудет (хотя, что греха таить, случалось и забывал).

Сегодня вечером у него не было никаких заседаний, и он решил воспользоваться свободным временем, чтобы покончить с делами, накопившимися с прошлой недели. Перво-наперво надо найти помещение для старшей группы детсада — приготовишки должны же где-то заниматься. Может, пусть учатся пока в комнате медпункта? Но там ведь скоро поставят машину для выделки лапши. Медсестра небось взбунтуется: мол, там, где мучная пыль, нельзя делать прививки. А уж дети за какую провинность должны целый день дышать этой пылью! Что же делать? Нерешенные вопросы всюду, куда ни кинь. Люди шли с просьбами, с жалобами. Иногда ему снилось, будто он лежит на топчане рядом с соседями и пытается натянуть на себя хоть краешек циновки, а она — узкая и короткая — на всех одна. В молодости дни казались ему долгими, не знал, куда и время девать, а вот нынче времени всегда в обрез...

Не успел он выйти из комнаты, как с улицы послышался чей-то голос:

— Дядюшка Бао, дядюшка Бао!..

Кто-то однажды сказал ему в шутку: «Если к твоему имени приставить хвостик — две буквы «в» и «е», сразу станет понятно, что народ тебя выбрал пожизненно в Комитет самообороны¹. И еще люди, видя, как он хлопочет с утра до ночи, пустили о нем такое присловье: «Кто должен слоновую кость таскать, не поевши спокойно дома? Работники Исполкома». Но Бао не желал слушать пессимистические, на его взгляд, высказывания. Сколько бы ни было этой тяжелой «слоновой кости», уж он-то ее донесет куда надо. Он входил в Комитет самообороны, был зампредом выборной комиссии Общественного контроля. Не отказывался от любой работы. Ведь эта «слоновая кость» — ноша, возложенная на него революцией. Значит, подставляй плечи!..

¹ Игра слов: если к имени «Бао» прибавить слог «ве», получится слово «баове» — по-вьетнамски «оборона», «защита».

Он сунул в рот зубочистку, потом, достав зажигалку, прикурил только что свернутую сигарету и открыл дверь.

Город утопал в лучах фонарей и лунном свете. С высокого гребня окутанной мраком дамбы, за которой угадывалась вздувшаяся стремительная река, наплывало молчание, и его разрывали лишь голоса играющей детворы да звон струи, падавшей из крана в гулкие ведра.

Кто-то подошел к двери. Бао вздрогнул, ему показалось, что это Минь. Увы, страстное желание повидать сына подвело его, а ведь зрение у него было еще хоть куда.

— А-а, это ты, Хай! — громко сказал он.

Только теперь, разглядев гостя, Бао вспомнил, что встреча эта давно уже помечена в его записной книжке; но краткая, как всегда, пометка, очевидно, затерялась среди бесчисленных записей, и дело вылетело у него из головы. Этот Хай — сын старого Ты, который раньше тоже был в Комитете самообороны. Парня уволили с завода, и он хотел посоветоваться с Бао, как ему быть дальше. Впрочем, это вовсе не сам он решил — старуха, мать Хая, не зная, что делать с сыном, надумала обратиться к старым друзьям мужа. Хай, по натуре парень робкий, не сразу решился прийти к дядюшке Бао. Увидев его, Бао сразу все вспомнил. И тотчас подумал о Мине, ведь его сын и Хай были ровесники. Бао давно уже пришел к твердому убеждению: молодой парень, кем бы он ни был, должен непременно отслужить в армии. Военная служба любого сделает человеком. И Хай тут не исключение. Так-то...

— Жаль, — сказал он, — времени у меня мало. Ну да, мало ли, много ли — не твоя забота! Пока не выслушаю тебя, никуда не уйду.

— Ага...

— Ты почему раньше не приходил?

— Я ездил в деревню, к родичам.

— А не врешь?

— Разве могу я вас обманывать...

— Тогда у меня такой вопрос: что там стряслось у тебя на заводе? Да ты проходи. И не волнуйся.

Хай поглядел на хозяина и, сам не зная почему, опустил голову. Парень он был открытый и честный; но сейчас колебался: поверит ли ему дядюшка Бао. Последние события убедили его, что даже мать, не говоря уже о чужих людях, не очень-то верит его рассказам. И он не знал иногда, как ему быть, какие найти слова, чтобы люди поверили ему. Безысходность эта порой выводила его из равновесия.

Но сегодня Хай постарался все обдумать заранее. Он верил: дядюшка Бао сумеет ему помочь. Сам не зная почему, но с того дня, как Минь ушел в армию — а он видел: Минь собирался на войну так же спокойно, как ходил каждый день на работу, — с того самого дня обуревали его разные мысли — когда радостные, а когда и невеселые. Ему казалось, будто в доме старого Бао все дышит каким-то особым теплом и сердечностью, вот почему, собираясь к дядюшке Бао, он был во власти доверия и самого радостного предчувствия — совсем как в те годы, когда он мальцом вместе с приятелями поджидал дядюшку Бао у перекрестка, чтоб попросить у него спичечный коробок... один коробок... три коробка... Однако, услышав жесткое: «А не врешь?..» — Хай ощутил, как в душе его поднимается бог знает откуда взявшаяся отчужденность и даже злость. Наверно, он побледнел. Хай плотно сжал губы и почувствовал, как спина взмокла от пота. Но дружелюбный взгляд старого Бао успокоил его, и к нему вернулось ощущение душевной легкости. Ему захотелось снова сродниться, срастись со всем, что окружало его в этом доме. Он чувствовал неодолимое желание рассказать старому Бао все, все как есть. Конечно же, Бао пошутил, он верит, верит ему.

И вдруг дядюшка, словно читая его мысли, сказал:

— Да ты не волнуйся, я верю тебе, верю каждому твоему слову.

— Дядюшка Бао, — спокойно произнес Хай, — я по глупости связался с ними.

— Это ты украл рюкзак у человека, задремавшего в парке?

— Я.

— А потом с дружками затеял драку ночью в кафе. Не так ли?

— Да.

— Зачем ты воровал?

— Они... они сказали, каждый должен внести деньги в общий котел, иначе ему не гулять со всеми...

— А тебя, брат, жадность одолела?

Хай, склонив голову, пробормотал:

— Ага. Раньше было...

— Почему же ты, когда тебя на дирекции разбирали, всех клеветниками обозвал?

— Да потому что эти гады и вправду меня оклеветали! — Хай вдруг сорвался на крик. Он резко вскинул голову.

Бао тоже встрепнулся, вскочил и хлопнул записной книжкой по ладони.

— Оклеветали, честное слово, дядя Бао.— Хай говорил уже спокойнее.— Все, какие есть за мной дела, они ведь в прошлом году были, когда я и на заводе еще не работал. Спасибо, ребята из Молодежного комитета помогли, дали пропуск на выставку про борьбу с хулиганами и тунеядцами, поговорили по душам. Поглядел я и стыдно стало самого себя. Покончил я с этим — раз и навсегда. Еще в дневнике у себя в тот день записал, что для меня как бы солнце взошло и началась новая жизнь. Все повернулось на сто восемьдесят градусов. Я даже голову обрил и поклялся, что ноги моей больше не будет в злочных местах. Загнал свою «люксовую» куртку, выбросил дубинку и больше со шпаной не водился.

— Порвал, значит, с ними?

— Да. Знать их больше не желаю. А они, чтоб отомстить, нарочно меня «заложили»: Хай, мол, снова влип на краже и его «замела» милиция на вокзале... И еще наплели... Вранье все это! Я забыть напрочь хочу эту дрянь, так что же мне ее все время так и будут под нос совать?

— Вот в чем, выходит, дело,— засмеялся Бао.

Хай поднял повыше рукав рубашки, и на запястье его стал виден буроватый круглый шрам величиной с монету в пять су.

— Видите,— сказал он,— это еще когда я с «братвой» водился, они наколку мне сделали — птицу. По-ихнему: «Умная птица летает по ветру». А потом, когда одумался, зло меня взяло. Да и мать, как увидит наколку, сразу в слезы. Я сперва руку перевязывал — вроде болит она у меня. Говорят, разными отварами птичку эту можно бы вывести. Но я-то решил сделать по-другому — так, чтоб от нее вроде и следа не осталось и чтоб на будущее, если взбредет на ум что плохое, памятка была. Вот и выжег на том месте кожу.

Глаза Хая заблестели. Он широко улыбнулся. Нет, он ничего не скрывал от Бао. Да и вообще ему больше нечего скрывать. Он ведь порвал с прошлым бесповоротно.

Бао встал, положил руку ему на плечо и произнес фразу, изумившую Хая:

— Я помогу тебе вступить в наш отряд ополчения.

И, поглядев на Хая, прибавил:

— Дядюшка Ты когда-то...

— Знаю,— выпалил Хай,— отец тоже был ополченцем.

— Хорошо, что ты помнишь об этом. Ну, значит, считай, у тебя все в порядке...

Бао машинально скрутил сигаретку, достал зажигалку, закурил и вышел на улицу.

Пришлось пробираться сквозь лабиринт стульев и плетеных скамеек, перегородивших тротуар. Ветер затих. Пряный дух табака ниточкой вился за ним вдоль улицы и оставлял ощущение свежее и бодрящее, словно запах туалетного мыла, исходящий от только что умывшегося человека.

В Комитете самообороны Бао рассказал о своем разговоре с Хаем. И тотчас градом посыпались возражения.

— Нет, это — дело темное!..

— Он, подонок, чего хочешь наобещает. Да кто ж ему поверит?!

Больше всех кипятился среди ополченцев один старик из бывших торговцев — редкие отвислые усы придавали ему удивительное сходство с сомом. После того как вышла Директива восемьдесят девять¹, соседи не раз замечали, что жена Сомы приторговывает конвертами, марками и разным ходким товаром. Но, само собой, они были ни при чем, когда ее забрали в привокзальное отделение милиции и держали там, пока Комитету самообороны не разрешили заплатить за нее штраф и взять ее на поруки. Она потом долгое время не смела даже голову высунуть за дверь. Немало было после этого директив и разных кампаний — и летом, и осенью, но никто не напоминал Соме о неприглядной истории, приключившейся с его старухой в прошлом году. А теперь, подумайте только, этот Сом оказался самым непреклонным. Новый наш строй, утверждал он, самый прекрасный и справедливый и потому подонкам, вроде Хая, в ополчении не место.

— Наш долг, — заявил он в заключение, — оберегать заслуженный отдых народа после трудового дня. А Хай со своими дружками нарушал порядок и не давал людям спать.

— Прошу слова...

Многие просили слова. Обычно на этих собраниях уже третий оратор сбивался на середине своего выступления, терял, как говорится, нить и начинал повторяться. Сегодня же все было иначе. Даже те, кто возражали против предложения Бао, были немногословны и сдержанны. Они сочувственно слушали Бао, когда он говорил: «Дядюшка Ты много лет был среди лучших наших работников. Имеем ли мы право бросать его сына на произвол судьбы? Охаять человека — это ведь проще простого. А вот помочь...»

¹ Имеется в виду Постановление № 89 Городского Исполнительного комитета Ханоя о мерах по пресечению незаконной торговли товарами ширпотреба. — *Прим. автора.*

Да, отца Хая помнили все...

Это теперь долгими летними днями яркое солнце золотит на их улице чистые белые стены. И зеленая тень деревьев, посаженных на тротуарах, дотягивается уже до вторых этажей домов. А дядюшка Ты поселился здесь одним из первых, когда на улице поднимались только первые хибарки. Было ему лет за пятьдесят, и стал он «монополистом» — единственным среди соседей рикшей: сперва таскал ручную тележку, потом пересел на вслоколяску. Тележка его разъезжала здесь еще с той поры, когда железнодорожная ветка доходила лишь до мощепной камнем дороги у ворот в начале улицы Кхэмтхиен и там путь перекрывал шлагбаум. В прошлую войну, когда французы оккупировали город, в коляску к дядюшке Ты уселся однажды пьяный в дым тэй и потребовал отвезти его к церкви Лиенуэуэ. Дядюшка Ты догадался, что тип этот из охраны — в церкви была устроена камера пыток. Те, кто попадали туда, редко оставались в живых. Подъехав к безлюдному темному месту за Слоновым загоном, рикша вышвырнул пьяного из коляски, пнул его несколько раз ногой в затылок, потом приподнял коляску и проехал колесом по его шее. А сам потом налег на педали и умчался к Северным воротам.

Неизвестно, что стало с тем типом. Но если, по милости неба, он не издох, то, уж наверно, остался на всю жизнь калеккой. Расправляясь с мерзавцем, дядюшка Ты был весь во власти охватившего его порыва, однако назавтра, пораскинув мозгами, он забеспокоился и решил бросить свой промысел. Он не возил пассажиров до того самого дня, когда наше Правительство освободило Ханой¹.

После восстановления мира дядюшка Ты заявил, что нынче настали другие времена — прекрасные и славные, точь-в-точь как те дни, когда Ты Хай вернулся с победой и всех, кто обидел жену его Киеу², покарал, а тех, кто был добр к ней, достойно вознаградил. И жизнь, мол, теперь пошла другая — никто не сидит у тебя на шее, и эти гады тэй не шлятся больше по улицам... Разъезжай себе сколько хочешь.

Дядюшка Ты стал руководить Уличным комитетом, а потом до самой смерти работал в Комитете самообороны. На похоронах его были даже представители райкома.

¹ Части Народной армии, освободившие Ханой от французов, вошли в город 8 октября 1954 г.

² Ты Хай и Киеу — персонажи романа в стихах великого вьетнамского поэта Нгуен Зу (1765—1820) «Стенания истерзанной души».

Из года в год в канун Дня провозглашения Республики, на каждой улице создавался оргкомитет, чтобы подготовить и провести этот большой праздник торжественно, весело и без происшествий. Но в этом году вода в Большой реке¹, несмотря на позднюю пору, держалась высоко, и потому жители города должны быть особенно бдительны. Прежде всего это касалось, конечно, ополченцев.

Дежурство Хая начиналось в одиннадцать вечера и кончалось в час ночи. Днем обычно дежурили женщины или пожилые мужчины.

Дежурство не сравнишь ни с каким другим делом. Едва повязав на руку красную повязку Комитета самообороны, Хай проникся совершенно особым чувством, он как бы реально ощутил ложившуюся на его плечи ответственность.

Влюбленные коты гонялись друг за дружкой по крышам. И Хай подумал: этак они перебьют немало черепицы; а теперь ведь самые дожди, и в домах потекут крыши. Вон там, за прикрытым окном, горит лампа. Чего это они жгут так поздно свет? Неужели ссорятся до полуночи? А может, в семье кто-нибудь заболел или собирается на вокзал? По неглубокой сточной канаве прошлепала, не торопясь, старая крыса. Ишь ты, и как только она уцелела после всех кампаний по борьбе с грызунами? Небось на старости лет поумнела? И тут в темноте со всех сторон зазвенели будильники, одни умолкали, и тотчас захлеб начинали звонить другие. Пора собираться в ночную смену — здесь во многих домах жили рабочие с фабрики. Заскрипели двери, слышались прерываемые зевотой голоса не проснувшихся еще толком людей, гулкий стук деревянных сапдалий, перезвон чашек, котелков и бутылок.

Створки закрытых дверей печально темнели, словно глаза слепцов. Кто знает, спят ли там люди или просто не подают признаков жизни. Но вдруг ни с того ни с сего двери приоткрывали веки, красные от падавшего изнутри неяркого света, — и облик дома сразу преображался. Не так ли и люди — иной раз человек, добрый и приветливый по натуре, выглядит суровым и мрачным. В одном из окон яркий свет лампы окрасил багрянцем полотняную штору. Это счастливая комната: такая уж завелась верная примета — если под окном сложены аккуратной пирамидой дрова, значит, люди, живущие в доме, пекутся о своем очаге, о детишках, о семейном достатке.

¹ Большая река — одно из названий Красной реки, главной водной артерии Северного Вьетнама.

Поздней ночью, когда на улице не появлялись больше прохожие, она казалась серьезнее и как бы задумчивее, чем днем. У нее была своя ночная жизнь. Дома в два и три этажа стояли, прислонясь друг к другу, и всюду, под каждой крышей, жили люди. Облик каждого дома был как бы приметой и памятью разных возрастов Ханоя. А привычки и вкусы живших в домах людей несли на себе отпечаток их переменчивой жизни и всей истории города.

Коренные горожане твердят в один голос: пусть жизнь кое в чем и оставляет еще желать лучшего, Ханой нынче такой город, где можно достойно жить и трудиться. Какую семью ни возьми — все взрослые работают. В часы пик — перед началом и после окончания рабочего дня — велосипеды катят по улицам рекой, кажется, весь город крутит педали. На перекрестках, случается, велосипедисты сталкиваются и даже падают, но в отличие от «доброго старого времени» дело теперь обходится без драк и скандалов.

«Да, — думал Хай, — как все меняется и не углядишь...» Ведь он вырос здесь, на этой улице. А сверстников его судьба увела отсюда в разные концы страны. Они разлетелись как птенцы из гнезда по небу, осененному знаменем Родины. Есть, правда, среди его одноклассников и другие, похожие, скорее, на навозных мух, — вот вроде него, Хая. Да только мало их, можно по пальцам пересчитать, а если по-честному, на этой улице только он один такой и есть.

Здесь мысли Хая вдруг остановились с разбега, словно человек, застывший перед входом в зловонный и грязный проулок, не решаясь двинуться дальше...

Он принялся снова размышлять о своей улице. Но память упрямо возвращала его в детство с его радостями и печалью, с его неповторимыми волнениями. Хай увидал себя десятилетним мальчиком — почему-то от той поры самым ярким воспоминанием остался длинный шест, стоявший в углу двора. На конце шеста торчали два железных крюка...

Вся улица от дома до школы была обсажена деревьями: тамариндами, фыонгами¹... Хай с приятелями давали им разные имена в зависимости от того, на каком углу росло дерево и что прятали мальчишки в дупле. Каждое дерево служило им и складом продовольствия, и зоологическим садом, каждое было полезным и нужным. На первый взгляд деревья вроде все оди-

¹ Фыонг, по-вьетнамски «феникс», — высокое дерево с яркими оранжево-красными цветами, похожими на хвост сказочной птицы.

наковы: у любого есть ствол, ветви и зеленые листья. Но если приглядеться, среди зелени можно увидеть сухие ветви. Одни источил жучок, другие надломил ветер, третьи сами засохли, непонятно отчего. Ну, да как бы там ни было, а стоило Хаю с дружкой увидеть сухую ветку, они тотчас волокли шест с крюками и, обломав сушняк, стягивали его на землю. Вот у них дома круглый год и не переводилось топливо для очага.

Многие из тогдашних его дружков сейчас на фронте. Один вот недавно хвастал в письме: «Когда-то, в школе,— писал он,— я все жаловался на нашу математичку, одолела, мол, задачками. Теперь же, на войне, я понял, как нужна математика. Тот, кто в ней силен, быстрее рассчитает траекторию ракеты. Я ведь ракетчик. На марше мы несем ракеты и технику на своих плечах, но, как только встретимся с неприятелем, сразу ставим пусковое устройство, «угостим» врага парочкой залпов, и, пожалуйста, путь свободен...» Может, он загнул, кто знает, но все равно это здорово: мужчина непременно должен быть солдатом...

Хай вдруг почувствовал прилив отваги, словно и сам был ракетчиком, а вовсе не «отсталым элементом», позорящим всю улицу. Мысли похожи на отражения в кривых зеркалах — одни веселые, другие мрачные. Сейчас Хай был весел: еще бы, ведь он обходил дозором улицу и казался себе пограничником, охраняющим покой родной земли.

Дойдя до перекрестка, патрульные — их было двое — разделились. Напарник Хая свернул в переулок, а сам он вышел на набережную. Они условились встретиться после обхода в Комитете. Хай окинул взглядом терявшуюся в темноте дамбу. Вдоль нее, словно светляки, мерцали электрические фонари. Влажные испарения, поднимавшиеся над рекой, окутывали их пеленою тумана. Город казался отсюда таинственным и незнакомым. Выемки в гребне дамбы, по которым раньше спускались к берегу пешеходные дороги, были заложены мешками с песком. Две женщины-ополченки с соседней улицы сидели на дамбе — лицом к притаившейся во мраке реке. Вода не была видна отсюда, но какое-то внутреннее чутье подсказывало людям, что она поднимается все выше и выше, как бы оттесняя нависшую над рекою ночь. Спина женщины в белом платье была перечеркнута висевшей на ремне винтовкой. Под деревьями коровы — наводнение прогнало их с затопленных луговых низин, — потряхивая ушами, жевали траву. Над самой рекой пролетел патрульный вертолет. Мерный рокот мотора заполнил тихое небо и молчаливые улицы.

Откуда-то появились двое парней в одних трусах; рубашки и брюки были переброшены у них через плечо. Наверно, спускались с дамбы поглядеть на отметку водомера. Обычно в конце дня начиналось паломничество к реке — всех беспокоил паводок.

Увидев Хая, парни крикнули:

— Эй, Хай, Свисток!

Они показались ему знакомыми. Имен он, конечно, не помнил, но по жестам и длинным волосам, перепелиным хвостом свисавшим на затылке, он узнал их сразу. Так уж было заведено у братвы: своих признавали по прическе, по жестам и покладке — вызывающей и драчливой — точь-в-точь бойцовые петухи.

— Куда это ты, Свисток, собрался? — спросил один из парней. — Гляди-ка, красная повязка! Да ты никак в бригаде «нового быта»? Шуруете по паркам, чтоб нигде ни-ни?..

— Я ополченец, — сказал Хай.

— «Кино крутишь» или взаправду?

Хай насупился. Один из дружков расхохотался и сразу заговорил о другом:

— Ладно-ладно. Ты, видно, брат, от шуток отвык. Начальство мы уважаем. Только вот глаза у тебя красные, небось спать охота? Хочешь курнуть разок? Сон как рукой снимет.

Он подбросил вверх сигарету, сверкнувшую в лучах фонаря. И Хай вдруг ловко поймал ее на лету. Прямо как когда-то в шалмане! Клево! Он и сам не понял, то ли встреча с дружками всколыхнула его душу, то ли и впрямь захотелось с помощью курева разогнать сон.

Нет, дело, скорее, было в куреве. Парни рассмеялись, увидев, как Хай подхватил сигарету. Они поманили его пальцем. Но Хай не двинулся с места. И тут один из парней, сунув в рот два пальца, пронзительно свистнул, и они оба исчезли в одной из улиц.

Хай даже головы не повернул. Он уселся на оцинкованный бочонок из-под пива, они составлены были у входа в кафе, и задумался.

Кафе выходило в маленький сквер.

Кафе... сквер... Сколько тут было всего — и не вспомнишь! На круглых газонах зеленела подстриженная трава. Под деревьями хонгби¹ стояли каменные скамейки, затененные ветвями с большими белыми соцветиями.

¹ Хонгби — дерево из семейства цитрусовых с мелкими сладкими плодами.

Хай снова вспомнил, как в десять лет сквер этот казался ему огромным загадочным лесом, в котором можно было играть с утра до ночи. Летними вечерами мальчишки сбегались сюда и кланчили у продавщиц кусочки льда, оставшиеся на дне пивных кружек. Пососешь, бывало, звонкую льдинку, потом потрешь ею щеки: холодит — лучше не надо! А лицо становится чистым-чистым — прямо блестит, как у школьника, получившего на уроке «десятку»¹.

Но годы летели, Хай подрос, во многом переменился, и сквер тоже стал другим.

И в военное время, и в мирные годы к Ханю сходились дороги со всех концов страны. Но — чего не бывало прежде, — когда янки начали бомбить город, скверы и парки у вокзалов и автобусных станций стали залами ожидания. Под покровом зеленых ветвей днем и ночью находили приют тысячи людей, собравшихся на поезд или ждавших рейсовые машины.

Со временем в скверы перекочевали продавцы чая; расставили свои подносы и чайники с чашками, в самодельных плетеных «термосах» урчал и посвистывал кипяток. Парикмахеры вколотили гвозди прямо в стволы деревьев и развесили, будто в салоне, свои зеркала. А когда вой сирены возвещал воздушную тревогу, ополченцы отсылали народ в убежища, заставив парикмахеров снять зеркала и положить лицом на траву, хотя они вроде и без того висели прикрытые листвой. Столовая, киоск с мороженым и лавка универмага тоже перебрались сюда. Но все равно трава в скверах и парках оставалась зеленой и чистой. По ночам там стоял шум и суета. Выбирая уголки потемнее, сюда собирались и воры, рассчитывавшие на поживу. Однажды вместе с братвою пришел и Хай...

Детские воспоминания сразу поблекли. Закрыв глаза, Хай тотчас увидел себя таким, каким был он в ту ночь, когда, забравшись на дерево, старался подцепить рюкзак, хозяин которого уснул, привалясь к стволу... Хай вздрогнул. Нет, этого уж не сотрешь из памяти. Десять месяцев отучился он на технических курсах, но на завод его все равно не взяли. Казалось бы, он покончил с прошлым, но возмездие настигло его именно теперь.

Что же, теперь все опять начнется по новой? Нет! Нет, это не повторится. Ему всего восемнадцать. Он вступит в Союз²...

¹ В старой вьетнамской школе была десятибалльная система оценок.

² Имеется в виду Союз трудящейся молодежи Вьетнама имени Хо Ши Мина.

А почему бы и нет? Он будет работать, бороться!.. Ну вот снова раз мечтался... Нет, это все будет. Всем, кто не верит в него сегодня, придется поверить. Сегодня вся улица видела, что он служит в ополчении... На самом деле патрулирование, которое велось лишь по особо ответственным дням, было внове и для самого Хая. Когда он собрался вечером уходить, мать спросила его:

— Ты куда?

— В ополчение,— небрежно ответил оп.

— Как в ополчение? — переспросила она.

— Да, я иду в ополчение! — сказал он как можно громче. Слух о том, что Хая приняли в ополчение, сразу разошелся по всему дому. Вон, значит, как дело-то обернулось...

Ополченец, дежуривший вместе с Хаем, вернулся обратно.

— Ну, вот,— сказал он,— и делу конец. Пойдем в Комитет, сдадим повязки.

Хай встал и отшвырнул прилипший к пальцу окурок.

Они зашагали по улице.

— А кто это разговаривал с тобой? — спросил вдруг его напарник.

— Да так, знакомые,— угрюмо процедил Хай сквозь зубы.

Фраза эта самого его растревожила. Он снова беззвучно пошевелил губами. «Зна-ко-мые... Зна-ко-мые»... Неслышные слова, словно мошки, подхваченные ветром, полетели вдоль спящей улицы.

Хай взглянул на своего спутника. Это был пожилой уже мужчина. Он жил в самом начале улицы, работал кузнецом в авторемонтных мастерских. Кто знает, может, он задал свой вопрос без всякого умысла, но Хай виновато понурил голову. На душе у него было тяжело. Всякий, кто пострадал однажды, обычно недоверчив и мнителен.

* * *

Жизнь всякой улицы, как и человеческая жизнь, делится на годы и месяцы, у нее есть свой собственный календарь; все здесь имеет свой особый смысл и, несмотря на кажущуюся путаницу и суету, подчинено непреложному порядку. Летом, едва вечерет, улица словно сбрасывает с себя одежды. Дверные створки, снятые с петель и положенные на козлы, становятся лежаками, а марлевые пологи дотягиваются до самых деревьев.

Бао сегодня возвращался домой поздно. Вот такая история приключилась... Впрочем, если б ничего и не случилось, Бао, как всегда, пошел бы на собрание и все равно вернулся бы поздно. Ведь важные события происходили чуть ли не ежедневно. В пачале каждой недели Приозерный райисполком рассылал уличным комитетам план работы, так что на любой день падало не меньше двух-трех дел. И дела эти поджидали дядюшку Бао, как говорится, «на дому».

Но сегодняшнее происшествие было и впрямь чрезвычайным. И случилось оно как раз в ту ночь, когда дежурил Хай, и в том самом кафе, возле которого он сидел на пустых бидонах. Вырезанная из цельного стекла дверь шкафа, в котором хранились продукты, оказалась разбитой вдребезги. Случилось это среди ночи, и свидетелей поблизости не было. Милиция обследовала место происшествия и опросила всех ополченцев с обеих выходящих к реке улиц. Никто ничего не знал. Каждый строил догадки: одни считали, что продавщицы, уходя домой, забыли запереть дверь, ночью была гроза, и ветром разбило стекло; другие предполагали, что здесь приложили руку злоумышленники; третьи...

Как назло история эта произошла именно в те дни, когда весь город вышел на дамбы, чтобы укротить разбушевавшуюся реку, и дел у всех было по горло.

А уж ополченцам и вовсе некогда было дух перевести. Повсюду торчали бамбуковые шесты с красными, как цветы капока¹, флажками — шли противопожарные учения. Правда, янки вот уже больше года не смели бомбить Ханой, но в военное время боевая готовность есть боевая готовность и директивы нужно неукоснительно выполнять. Ведь директивы — это не чьи-то досужие домыслы: такое решение подсказывал опыт, нажитый потом и кровью. Несколько раз американские самолеты сбрасывали бомбы вдоль Красной реки, и ополченцы спускались на берег тотчас, едва умолкали взрывы, помогали соседям спасти засыпанных в развалинах людей и тушить пожары.

Народ лишний раз убеждался: не зря в инструкциях сказано, что при отражении воздушных налетов имеет значение каждая мелочь. Все должно быть отработано до совершенства: вынос и отправка раненых, разборка развалин, земляные работы, хранение пищевых продуктов, вентиляция... И на учениях люди теперь не жалели сил, старались всему научиться, во все вникнуть. Лишь побывав под огнем, начинаешь толком понимать,

¹ Капок — разновидность хлопчатника.

что такое бомбежки. И после каждого налета ополченцы с еще большим рвением относились к занятиям по противовоздушной обороне.

Смотр отрядов ополчения двенадцати улиц района вступил в завершающую фазу. Страсти накалились до предела. Каждый вечер на перекрестке устанавливали макеты из жердей и досок. Их немедленно окружала плотным кольцом детвора. Учебные тревоги стали праздником для всей улицы. Динамик гремел: «Алло! Алло!» — точь-в-точь как на киносьемках. Всякий раз, когда ополченцы «стреляли» струей из брандспойта по мишеням, шипение хлещущей под напором воды и крики зрителей позволяли даже тем, кто остался сидеть дома, точно определить результаты. Пожарные тревоги, когда приезжали автоцистерны и ополченцы в касках разбегались по своим местам под треп свистков и вой сирен, пользовались наибольшим успехом. В такие вечера даже дети не ходили смотреть фильмы про войну и про шпионов, которые прямо на набережной показывала кинопередвижка.

Дядюшка Бао, как всегда после ужина, поцелкал во рту зубочисткой и погрузился в ворох дожидавшихся его дел. Он больше не ждал сына. И не потому, что голова его была забита делами. Просто, считал он, Минь сейчас уже далеко от дома. А где именно — военная тайна. Старший сын воюет на западе, и письма оттуда идут целый месяц. Может, младшего послали еще дальше, вот и нет от него пока вестей. Так он говорил себе.

Бао встал. Проглядев список предстоящих дел, он вспомнил, что сегодня смотр. В отряде у них тридцать восемь ополченцев, все они, в общем-то, люди крепкие, только вот не хватает восемнадцати касок. Хорошо бы их где-нибудь раздобыть! Хотя уже и то, что им удалось достать два десятка — здорово! Но вот, скажем, вчера разыгрывали тушение пожара, тут уж каски нужны были всем. Отделения — одно за другим — врывались в горящий дом... Пусть пламя было воображаемым, но вода из брандспойта хлестала самая настоящая, мокрые каски так и блестели! Зрелище впечатляющее, ничего не скажешь. И слова команд из динамика звучали, точно музыка. Бао остался доволен. Здорово! Просто здорово! У него был свой критерий для оценки любых воинских учений; главное, считал он, показательная сторона, наглядность — все должно впечатлять, оставлять ощущение мощи и силы. Вот почему во что бы то ни стало надо одолжить где-нибудь полторы дюжины касок. Он записал это в книжку под рубрикой «Самое важное».

Ну и, конечно, весь отряд должен быть в сборе. Смотр — дело нешуточное. Тут каждый человек — на вес золота. Ночные учения — первостепенное мероприятие.

Сегодня Комитет самообороны и ополченцы собрались в доме у Бао. Люди уселись на лежанке в его комнате и сразу перешли к делу. Многие думают, будто им нравится заседать. Но это неверно; просто всегда набирается уйма дел, и, если каждому уделить хоть пяток минут, уходит масса времени. Может, те, у кого дел немного, и обожают заседать, но тут было вовсе не так.

Дежурный перечислил присутствующих. И как только он называл чье-то имя, Бао тотчас заносил его в свою записную книжку. Он выводил буквы старательно, словно слышал все эти имена впервые, хотя ему уже не раз приходилось записывать их в эту самую книжку и он давно уже знал всех наперечет. Потом он пробежал еще раз список.

— В третьей группе отсутствует Хай.

Командир ополченцев махнул рукой:

— Ладно-ладно. Сами знаем!

Бао, слегка встревоженный, обвел взглядом своих товарищей. Многие, так же как и Бао, занимались общественной работой на этой улице еще с того времени, когда был освобожден Ханой. Хая, наверно, тогда не было и десяти лет, и по вечерам он вместе с другими мальчишками дожидался, пока Бао вернется с работы, чтобы попросить у него спичечный коробок. Здесь никто не таил зла против Хая, ведь все знали его с детства. Характер ребенка складывается с годами. Дети не рождаются на свет злыми или испорченными. С тех пор как умер дядюшка Ты, все соседи почувствовали, что и они тоже в ответе за Хая. Да только словами чужому горю не поможешь.

Бао задумался. Он как-то весь подобрался и посуровел. Впрочем, он всегда становился таким, когда дело касалось работы — здесь ли, в уличном комитете, или у себя в исполкоме. Какой бы ни разбирался вопрос и какое бы ни принималось решение, спорили люди или отмалчивались, для Бао все это было важнее, чем любые житейские дела.

Другой на его месте, узнав о неблагоприятном поступке Хая, встал бы и начал разглагольствовать о мерах наказания и тому подобных вещах, но Бао был не таков. Да и вообще, о каждом молодом парне Бао всегда думал так: а что, если бы он оказался на месте Миня, моего младшего?.. Каким бы он стал?.. Его воспитательный метод был самый простой — душевность, человечность и терпимость к чужим недостаткам. Он помнил Хая с

самого рождения, как и других соседских ребятишек; многие из них выросли, возмужали и заняли достойное место в обществе: этот ушел на фронт, двое других уехали учиться за границу — в Москву и в Софию, а тот работает на стройке... Нет, Хай не плохой и вовсе не пропащий парень! Таковы уж были жизненные принципы Бао: глубокая вера в людей, доверие к молодежи помогали ему вопреки, казалось бы, очевидным фактам увидеть хорошее в Хая. У каждого ведь свои привычки и принципы. Есть люди, которые привыкли видеть все в черных тонах. Ну а Бао старался во всяком отыскать положительное, доброе начало. Люди его поколения, разменявшие уже шестой десяток, помнят и французов и японскую оккупацию, всякого навидались, и, наверно, немногим удалось сохранить ту наивность и чистосердечие, которые отличали старого Бао.

Сом, когда-то возражавший против приема Хая в ополчение, пошевелил усами и возгласил:

— А что я говорил! Сами теперь убедились!

— Вы об этом ночном происшествии? — громко спросил Бао. — Головой отвечаю, Хай здесь ни при чем.

Все зашумели:

— Позвольте, у меня вопрос. Как же так выходит: другие вон сколько раз ночью дежурили и ничего, а тут с первого раза...

— Почему не опросили продавцов? Может, они забыли запереть дверь как следует?

— Спрашивали. Они не виноваты.

— Да, уж конечно, кто признается в такой промашке!

— Так-то оно так, да только напарник Хая на обратном пути видел, как он сидел на пивных бочонках возле этого кафе и дымил сигареткой.

— Ну, допустим, курил, но стекло-то он не бил. Вы, товарищи...

— А с чего это вдруг они сигаретами перебрасываются, как ковбой ножами? Напарник его сам это видел, своими глазами.

Все рассмеялись, но, заметив огорченный вид Бао, сразу смолкли. Бао пользовался всеобщим уважением. Он подумал, не выступить ли снова, но как ему их переубедить... И все-таки он хотел сделать хоть что-нибудь для Хая. Парень ведь неплохой. Нет, не может быть, чтобы он разбил стекло в кафе, да еще во время дежурства. Однако на лицах соседей, сердитых и недовольных, Бао прочел: «Кто его знает, а может, Хай и виноват?..» Нет, сегодня никто не поддержит его, как на прошлом собрании, когда Хая приняли в ополчение.

И все-таки Бао остался при своем мнении. Тоже довольно редкая черта. Бао отнюдь не был упрямцем. Наверно, его работа выработала у него это качество.

— Так что ж мы решим? — спросил он громко, как бы подытоживая прения. — Допустим его к пожарным учениям или нет?

Командир отряда и оба его помощника, поглядев на Бао, улыбнулись и покачали головами, что, впрочем, можно было истолковать как угодно. Но потом командир обычной своей скороговоркой произнес:

— Не будем об этом, ладно, товарищ Бао?

— Давайте-ка повременим немного, — сказал помощник командира.

— Ну, наше мнение ясно, — подхватил другой, — а там — поступайте как знаете.

Бао поднял руку:

— Хорошо, подчиняюсь мнению большинства.

Народ разошелся по домам.

Тетушка Бао, расставляя на полке вымытые чашки, посмотрела на мужа и возмущенно вздохнула.

— Что? — рассмеявшись спросил он, не дав ей и рта раскрыть. — Снова небось заладишь про мою работу да про «слоновую кость»?

— Угадал. И никто ведь с тобой не согласен, а ты все на своем стоишь...

По правде сказать, все это время она прислушивалась к разговорам в соседней комнате. Обычно она соглашалась с мужем, что бы он ни говорил, и всегда считала его правым. В разговорах с соседками тетушка Бао неизменно принимала сторону мужа и потому слыла женщиной редкостного характера.

Но сегодня, слушая жену, Бао почему-то вдруг разволновался. Во второй уже раз выбрали его в Комитет самообороны. Каждый день, вернувшись с работы и наспех поужинав, он отодвигал чашку, клал на поднос палочки и тут же принимался за общественные дела. Вот и разбери тут, где кончается личное и начинается «слоновая кость»... Он знал только одно: при нынешней новой жизни все это — единое общее дело: и служба, и заботы его улицы. И не отделял общественных своих обязанностей от государственных проблем.

Ночь стояла тихая. Свет фонарей, серебристый и мягкий, похож был на лунное сияние. Где-то ближе к полуночи стало прохладнее. Колченогие скамейки и дощатые топчаны давно уже скрылись за дверями.

Бао подошел к дому, где жил Хай. Дверь была заперта. Улица уже спала. Лишь на мостовой плясали серебристые блики.

* * *

На другой день Бао снова зашел к Хаю. Только что стемнело, но Хай успел уже куда-то уйти из дома.

На перекрестке, как всегда, при большом стечении народа шли учения ополченцев. И когда кому-нибудь из бойцов удавалось, взобравшись по шаткой пожарной лестнице, точно направить струю бранспойта в круг, обозначавший охваченный пламенем высокий этаж, зрители — в основном это была детвора — разражались восторженными криками.

Куда подевался Хай? Обычно в это время, когда начинало темнеть, он сам заглядывал к Бао. С того дня как Хая перестали назначать на дежурство, единственным человеком, у которого он мог узнать обо всех уличных новостях, был Бао. И Хай нередко навещался к нему. Но сегодня он почему-то не пришел... и дома его не было... Наверно, узнал, что на собрании решили вывести его из ополчения. А может, дошли до него разговоры о том, будто это он, Хай, разбил дверь в кафе и он в сердцах решил не ходить к Бао... Что он подумал? Где его теперь искать?

Сегодня была очередь Бао идти на ночное дежурство. Приняв во внимание, что он перегружен делами выше головы, его назначили в первую смену — с девяти до одиннадцати вечера.

Было еще рано. Бао зашел в исполком, но там было полно посетителей, ожидавших временной прописки, и он не спеша отправился на набережную, где стало чуть прохладней.

Вода все прибывала. На горизонте, с северной стороны, полыхали зарницы. Там шли дожди, питавшие паводок. Город перед наступлением ночи был объят непривычной тишиной. В небе, усеянном яркими звездами, слышался мерный гул летевшего над рекой патрульного вертолета, и можно было различить темный его силуэт — казалось, вращающийся винт вихрем кружит крошечные звезды. Едва ощутимый порыв ветра пролетел над дамбой и затих в удушливой жаркой мгле, как всегда поднимавшейся над рекой во время паводка.

Бао глядел на гребень дамбы. Насыпь казалась черной, как и поднявшаяся почти вровень с дамбой река. И только смех девушек-ополченок, веселый и звонкий, как-то смягчал это ощущение напряженности и тревоги. Потом зазвучала свирель — ополченцы устроили на дамбе целый концерт.

Бао зашагал к насыпи. На скате, у самой воды, стоял плавающий транспортер. Так вот она какая, амфибия! Рядом на дамбе толпились солдаты. Они, наверно, только что прибыли и ставили брезентовые палатки, собираясь здесь заночевать. Судя по раздавшемуся где-то неподалеку стуку и приглушенным голосам, девушки-ополченки помогали солдатам вбивать колышки и ставить палатки.

Он подошел поближе. Значит, здесь, как и на остальных ханойских дамбах, будет дежурить амфибия. Бойцы мотопехоты готовы сразиться с наводнением. Да, в нынешнем году против паводка брошены самые современные средства.

Вдруг Бао замер. С берега послышалась чья-то песня и обрывки разговора.

— Эй, товарищ Минь! Ну как, командир дал тебе увольнительную?

«Минь!.. Какой Минь?» — мелькнуло в голове у Бао.

— Ага! — отвечал другой голос.

— Что «ага»?

— Командир помнит, где я живу. Он так и сказал: «Знаю, твой дом здесь, неподалеку, сразу за Часовой башней». Месяц назад он ездил в командировку в Ханой и был у меня дома, виделся с отцом.

— Вот здорово!

— Оборудуем все для отдыха, и я схожу домой...

Точно, это был Минь, его Минь! Бао никак не ждал встретить сына здесь. Он стоял молча. «Так-так, значит, Минь еще в Ханое... Радость-то какая!.. Скоро придет домой... Нет, не буду подходить к нему; ни к чему это — только смущать парня... Посижу лучше, подожду его в сквере... Он все равно пройдет мимо...»

Усевшись на каменную скамью, Бао почувствовал вдруг смутную тревогу: что-то осталось несделанным сегодня... Само собою, все дела были занесены в записную книжку, и, когда какой-нибудь вопрос решался окончательно, Бао доставал авторучку «Чыонгшон» и, поднеся книжку поближе к глазам, находил соответствующую запись и вычеркивал ее всю до последнего слова. Незачеркнутыми остались лишь несколько строчек — дело Хая, и они стояли перед ним немым укором.

Фонари, прикрытые колпаками затемнения, бросали на землю неяркий круг света у самого кафе. Минуту назад здесь еще толпился народ, но, как только продавщица выдернула пробку из бочки, — жест, означающий, что пиво кончилось, — люди мгновенно разошлись. Они зашагали вдоль улицы, надеясь най-

ти место, где торгуют пивом до поздней ночи.

Опустевшая набережная притихла. В темноте мерцали, как светляки, лишь несколько огоньков в собранных на скорую руку домиках переселенцев, поднявшихся сюда из затопленной паводком низины. У каждого дома привязан был к дереву бык или корова. Хруст травы, которую усердно жевала скотина, был единственным звуком, тревожившим тишину.

Издалека, с Улицы кувшинов и Улицы рыбного соуса, где теснились разномастные дома, долетал перезвон ведер у колонки и гул бьющей в дно струи — привычные звуки ночного Ханоя, слышные в тишине по всему городу.

Бао откинулся на спинку скамьи. С дамбы, где ставили палатки солдаты, по-прежнему доносились разговоры и смех. Наверно, Минь еще не освободился. Бао думал о сыновьях, служивших в армии, и рассеянно поглядывал в сторону переулка Фатлок. В сорок шестом старший сын вступил в Отряд защиты отечества и сражался, обороняя Первую зону, в самом центре Ханоя. Больше двадцати лет прошло с тех пор, как Столичный полк дрался в районе Серебряного ряда с красными беретами¹, прошла, можно сказать, половина жизни. За эти годы враги не раз приходили на землю Ханоя, но народ выгонял их вон. Казалось, сама здешняя земля, словно гигантский фильтр, отделяла и исторгала прочь все лишнее, все чуждое и злое. А может, и время было таким фильтром или — сами люди, не случайно ведь дожили они до сегодняшнего дня и живут при новом строе.

Потом мысли Бао сами собой перешли к Хаю. Что же с ним делать? Как научить его обдумывать наперед свои поступки? Тогда и в коллективе он найдет свое место. А иначе проку не будет. Сунется туда-сюда, а его отовсюду вышибут. Нет, теперь самое время сказать ему в лицо: «Кто ты? Чужой, конечный человек или?..» Узнать бы точно, не он ли разбил это злополучное стекло? Да нет, не может быть... Надо наставить парня на правильный путь. Пускай сам, своим умом поймет, что такое преданность делу и чувство долга. И где это он пропадает второй вечер подряд? Уж не связался ли снова со старыми дружками? Много еще шляется по улицам всякой шпаны. Да, дело это, как говорится, сложное. Хай сейчас как бы на перепутье. Надо чуть позже заглянуть к нему еще разок.

На другой скамье лежал какой-то человек. Трудно было издали его разглядеть, но, судя по песенкам, которые он напе-

¹ Красные береты — отряды особого назначения во французской армии.

вал себе под нос, это был молодой парень. Вдруг он умолк. Наверно, заснул. Бао, собственно, только сейчас, когда кругом воцарилась тишина, понял, что незнакомец пел. Он снова взглянул на него. Небось какой-нибудь приезжий решил переждать здесь до утра, чтоб быть первым за билетами у кассы. Правда, в отличие от прошлого года, когда из столицы эвакуировалось гражданское население, теперь автостанции и вокзалы не размещались больше в парках и скверах, но многие по-прежнему устраивались здесь на ночлег в ожидании утреннего автобуса или поезда. Со всех концов страны люди ехали в Ханой, как к себе домой. Приезжие разгуливали по столице, словно где-нибудь у себя на деревенской ярмарке. Оно и понятно: Ханой принадлежал всем. Вот и этот парень дожидается, верно, первого автобуса, который ходит от Известкового ряда. Решил отдохнуть пока на прохладе. Лежит себе и песни распевает. Да, Ханой нынче принадлежит всем.

Бао засмеялся своим мыслям. Сам он всегда беспощадно ругал тех, кто понимал свободу по-своему: торгуй себе вволю чем душа пожелает, выбрасывай мусор где попало... Все это не имеет ничего общего с настоящей свободой, и Ханой не тот город, где можно допускать подобные безобразия.

Парень на соседней скамейке снова запел. Песенка была явно игривого свойства.

Как человек, обязанный заботиться о порядке и спокойствии на улице, Бао встревожился: какой-то тип разлегся ночью посреди сквера и распевает всякую ерунду! Дело здесь явно не чисто. Ну а вдруг это кто-нибудь из соседских ребят просто вышел подышать на ветерке?

Терзаемый сомнениями, Бао встал, подошел поближе, и вдруг голос «певца» показался ему знакомым.

— Хай! — окликнул он парня.

Тот сразу поднялся. А Бао, разглядев густую шевелюру, понял, что не ошибся. Ну и дела! Небось некуда деваться от скуки, вот парень и прохлаждается в сквере, распевая модные песенки. А кругом все двери закрыты, все спят.

Бао вконец расстроился и даже почему-то почувствовал себя виноватым. Он подошел к скамейке. Хай сидел согнувшись, упершись локтями в колени. В неясном свете фонаря, заслоненного зелеными ветками, Бао не мог разглядеть его лица; но он знал, что лицо у Хая сейчас печальное и хмурое, как эта тяжкая жара, как река, безмолвная и темная.

Старый Бао вдруг показал рукой куда-то вдаль и задал Хаю совершенно неожиданный вопрос:

— Скажи-ка, что за стена там торчит у самой дороги?

— Это переулок Фатлок.

— Верно, переулок Фатлок. Именно там когда-то Столичный полк вышел из окружения под носом у красных беретов. Больше тысячи солдат ушло из вражеского кольца, а тэй — словно они оглохли и ослепли — ничего не заметили...

— Они потеряли бдительность, — вдруг подхватил Хай. Он убрал локти с колен и распрямился. — А сколько еще славных подвигов совершили в ту ночь бойцы Авангарда! И все это произошло на небольшом участке дороги от здешней низины до Тэм-са. Верно, дядя Бао? Самый опасный момент был, когда наши бойцы пробирались между быками моста Лаунгбиен. Ведь солдаты Иностранного легиона охраняли проезжую часть моста, а быки и пролеты обтянули сетью, на которой развесили пустые консервные банки, и достаточно было одного неверного движения, чтобы бапки загремели и противник, пристрелявшийся заранее, открыл огонь...

Бао молча слушал его и радовался, как будто слышал историю эту впервые.

Но потом он не выдержал и спросил:

— Выходит, ты тоже знаешь про Столичный полк?

— А как же! — с гордостью ответил Хай. — Вы ведь сами столько раз рассказывали нам о его подвигах. Помните Бая и Хоа? Нам тогда, как и Миню, было лет по десять. Мы слушали вас, а потом спорили до хрипоты, кто из нас, когда вырастет, станет бойцом Столичного полка.

— Да-да, припоминаю. Бай, Хоа и этот еще, как его... Бан...

— Бан теперь воюет на Западном фронте.

Так, слово за слово, завязался разговор. Грозным голосом вторила им во мраке река. И словно совсем рядом громыхали ведра в переулке Фатлок. К полуночи вода в реке поднялась еще выше. Но город спал спокойным, тихим сном.

Оказывается, Хай запомнил историю Столичного полка именно так, как рассказывал ее дядюшка Бао — слово в слово. И они, перебивая друг друга, вспоминали славные подвиги сыновей Ханоя.

Хай родился на свет два года спустя после того, как Столичный полк вышел из вражеского окружения. И, становясь старше, он узнавал продолжение той давней истории: как полк ушел тогда в Свободную зону, а потом, в годы войны с французами, дрался на разных фронтах, участвовал в штурме Дьен-бьенфу и с победой вернулся в Ханой. А сегодня... Сегодня Столичный полк тоже сражается с врагом.

- Хай! — вдруг сказал старик.
— Да, я вас слушаю, дядя Бао.
— Я завтра работаю вечером. Значит, утро у меня свободное, и я сам отведу тебя на завод. Я им объясню...
— Дядя Бао!
— Нет-нет, помолчи, сынок. Мне все ясно.
— Но я не хочу, чтобы вы ходили на завод.
Бао наклонил к нему ухо, чтоб лучше слышать.
— Как так «не хочешь»? Это еще что!
— Вы лучше сходите, прошу вас, в военкомат, уговорите их взять меня в армию. Я решил стать солдатом!
— Вот это здорово! — воскликнул Бао.

* * *

Старик положил руку на плечо Хая, потом вдруг заторопился, подошел поближе к фонарю и раскрыл свою записную книжку. Страница за страницей шли перечеркнутые строки. Старые вопросы, решенные дела... Призыв в армию — имена в алфавитном порядке... Директива восемьдесят девять... Собрание по пропаганде санитарии и гигиены... Он снова и снова перелистывал книжку, пока наконец не нашел запись с именем Хая — в списке дел на прошлый месяц.

Бао зачеркнул ее и на странице, помеченной сегодняшним днем, сделал новую запись: «Решить вопрос с Хаем», затем подумал и приписал сбоку: «Переговорить в военкомате». И, прищелкнув языком, посетовал про себя: «Совсем я обленился. Кучу дел наметил, а результатов не видать. Не время сейчас раскачиваться! Надо быть собраннее!»

Мимо фонаря прошел солдат. Бао глянул ему вслед, но тот уже исчез в темноте. И все же Бао был уверен: это Минь.

Любители прохлады еще лежали на выставленных за дверь топчанах — уж очень душная была ночь. Лишь изредка налетал чуть заметный ветерок, даже не ветерок, легкое дуновение. Бао подумал: вот соседи сейчас увидят солдата Миня. Да и жена, должно быть, не спит еще. Пусть тогда сварит им по чашке имбирного чая.

РАССКАЗ О СОБЫТИЯХ, СЛУЧИВШИХСЯ НА БЕРЕГУ ЛОТОСОВОЙ ЗАВОДИ У ХРАМА БРОНЗОВОГО БАРАБАНА ¹

Храм Бронзового барабана стоял, прислонясь с северо-запада к городской стене.

Был он невелик, но поражал стройностью и красотой, как Пагода на одной колонне ², что стоит у входа в селение Иенкуанг. В храме имелись, как должно, главные ворота и ворота, ведущие в святилище, боковой и задний входы. Створки ворот, коими проходил в свои покои сам дух-повелитель, украшали изображения драконов, а на воротах его пресвятой супруги вырезаны были девятикратно колючие листья зягай ³, напоминавшие, сколь труден доступ на женскую половину дворца.

Старики рассказывают: в древние времена, когда еще толь-

¹ Храм Бронзового барабана стоял в древности на одноименной горе в округе Тханьхоа; главной святыней его был бронзовый барабан, отлитый якобы во времена династии Хунг (II—I тысячелетия до н. э.). По преданию, дух храма помог королю Ли Тхай То (годы царствования 1010—1028) одержать победу над врагом, и король построил в столице новый храм Бронзового барабана. Впоследствии вплоть до конца XIV в., вельможи и чиновники присягали здесь на верность государю. В более позднее время в храме приносили обеты влюбленные.

² Пагода на одной колонне построена в 1049 г. в форме поднимающегося на стебле из озера цветка лотоса; ныне находится в центре Ханоя.

³ Зягай — растение, достигающее 3—4 м высоты, листья его, растущие пучками на концах побегов, по жилкам и на краях усеяны колючками.

ко начинали возводить храм, здесь работали четыре артели мастеров, выходцев с Севера. Соразмерив и обтесав колонны, стропила и балки, они соединяли их резными замками. И ежели все сходилось, как должно, мастера на радостях угощались водкой, а если что-нибудь становилось вкривь и вкось, принимались за исправленья, отнимавшие месяц, а то и два, и три... Работа их затянулась не на один десяток лет...

Мальцы, поступившие в первые годы к мастерам в обучение и умевшие поначалу лишь разжигать стружки да кипятить для плотников чай, к тому времени, когда торжественно ставили черепное бревно и сводили конек крыши, щеголяли уже в креповых кушаках, к коим привешены были тупечницы с кистями. Стоя на вознесенных над землей балках, они подавали — таков был давний обычай — поднявшемуся на самый конек голове артели ветвь благословенного дерева тхиентуэ¹, обернутую квадратным полотнищем алого шелка. И веселые деревенские девичьи, пленившиеся некогда юными артельщиками, прижили уже детишек.

Ну а если вспомнить совсем уж стародавние времена, храм здешний, говорят, отлит был из чистого золота. Но однажды ночью налетел вихрь с дождем и золотой храм исчез. Молва гласит, будто человек, совершенный обличем и духом, может, угадав чудодейственный час, увидеть тот храм, поднявшийся из глубины вод. Предание это переходило из уст в уста, и люди уповали на то, что доброму человеку хоть единожды в жизни да улыбнется счастье. Но, само собою, до сей поры никто так и не видел золотого храма.

Когда из дена² Укрощенного слона несли к храму Бронзового барабана изваяния и святыни, шествие каждый год украшали носилки, за небывалую скорость передвижения прозванные «летающими». Носилки «летели» через поля Тхуле, затем ползли к пределам Конгви, а оттуда неторопливо двигались к воротам храма.

Там ожидали их четверо древних старцев из рода Ли; меж теми, кто поклонялся духу храма, они были наипервейшими. Старцы будто и не замечали носильщиков, опустившихся на одно колено и державших на весу носилки; надменные и стро-

¹ Тхиентуэ — дерево с перистой листвой, его сажают обычно для украшения храмов и пагод.

² Ден — поминальный храм, где поклоняются духам героев, покровителей страны или данной местности, повелителей стихий и пр. Речь идет об одном из старейших храмов столицы, построенном в первой половине XI в.; здесь чтили память легендарного полководца принца Линь Ланга.

гие, хранили они молчание — старцы дожидались отроков из богатых домов.

Наконец, утомленные долгой дорогой, носильщики садились на землю, а отдохнув, поднимались и становились по обочинам дороги, оправляя свои набедренные повязки.

Здесь отроков различали строго: по происхождению и достатку. Достигнув границы, за которой лежали поля и откуда начиналась ровная прямая дорога, носильщики уступали свою ношу юношам, умудренным книжной ученостью. И все, кто шел по этой ровной дороге рядом с носилками, держа расшитые шелковые зонты и балдахины, опахала, золоченые мечи и святые реликвии, были отпрысками богатых семейств.

После привала в Конгви носильщики менялись.

Когда же вдали у городской стены появлялся храм Бронзового барабана, пресвятая супруга ликовала и радовалась. Носилки ее сворачивали в сторону и то «лётком», то «ползком» пересекали поля. На этой холмистой и трудной дороге носилки опять принимали на свои плечи простолюдины.

Прямоугольное основание носилок имело по шесть длинных расходящихся веером ручек на каждом углу; двадцать четыре носильщика, чью наготу прикрывали одни лишь набедренные повязки, несли носилки на своих плечах. Они неподвижно глядели перед собой и держались прямо, точно борцы перед схваткой.

А тем временем из деревни навстречу им чинно и стройно выступали девушки с корзинами на головах. В корзинах лежали катыши вареного риса — самого лучшего риса, именуемого «соан», зерна которого — мелкие, но чистые и пахучие — созревают в восьмом месяце, а кроме того, мелко нарубленная постная свинина и коржи из поджаренных зерен клейкого риса, коими славится деревня Ваунг. И носильщики, прежде чем снова подставить плечи под свою ношу, воздавали должное угощению.

Ха была среди девушек, что подносили в корзинах рис и прочие блюда.

Ты, один из носильщиков, вместе с другими деревенскими парнями дожидался угощения, которое выставляли им верующие со всей округи. Ели носильщики, сидя на земле у обочины.

После трапезы парни выстраивались подле носилок. Ты в одной лишь набедренной повязке, с прямоугольным красным полотнищем на плече и пестрым веером, воткнутом в высокую прическу, стоял первым среди носильщиков, вытянувшись в ряд, — прямой, как черта, означающая единицу.

Носилки приходили в движение, они плавно поворачивались на ходу и были хорошо видны охочему до зрелищ народу, сбегавшемуся со всей округи.

Сверкала позолота и красный лак, развевались цветные завесы.

Заслышав гулкую дробь барабана — его за ручки, приделанные по бокам, песли в середине процессии, — все двадцать четыре носильщика опустились, точно вьючные слоны, на колени и поползли по склону холма. Их крепкие торсы, служившие опорой носилкам, оставались по-прежнему прямы.

Носилки ползли, покачиваясь на поворотах дороги, а кругом, на пригорках и межах, стоял народ. Толпа, словно паводок, прибывала с каждой минутой. И зрители не скупились на похвалы, провожая взглядами каждого из двадцати четырех молодцов.

А к вечеру лицедеи ставили неподалеку от храма три балагана и до самого утра разыгрывали представления тео...

Кто знает, давно ли, недавно ли Ха полюбила носильщика... Может быть, они впервые приметили один другого, когда она с подружками несла на голове корзины со снедью? А может, глаза их встретились в тот миг, когда носилки «пролетели» мимо нее, или два сердца потянулись друг другу навстречу, когда он, преклонив колено и, точно сказочный богатырь, не сгибаясь под тяжестью носилок, замер в ожиданье у подножия холма?

Кто знает...

Любовь их могла вспыхнуть и в ту самую ночь, когда лицедеи при луне и звездах давали представление тео и грохот барабанов волновал воду у берегов реки Толить.

Кто знает...

* * *

Ночь была темная, как всегда на исходе седьмого месяца.

Светильник, прибитый к шесту, угас. Масло вытекло из плошки и расплылось по земле круглым, как блюдце, черным пятном.

Опустел помост, где разминали бумажную массу и заливали ее в сита, ходившие ходуном, чтоб отжать воду; умолкли вальки работниц, да и сами они давно разошлись по домам, освещая себе факелами дорогу.

Одна лишь Ха осталась на берегу, снедаемая тревогой.

Теперь, когда сита замерли и вода не стекала более на по-

мост, стал слышен долетавший с Западного озера¹ стук пес-
тов — это толкли в ступах кору дерева зюо², и размеренный
гул их, казалось, ударял в лунный диск.

Войдя в хижину, Ха взяла приготовленный заранее соло-
менный трут, разожгла огонь и пошла к озеру.

Лотосовая заводь, лежавшая перед храмом Бронзового бара-
бана, соединялась с рекою Толить; и от самой деревни можно
было проплыть к каналу До и попасть в Западное озеро. Вдоль
берега вереницей тянулись хижины, где жили рабочие и масте-
ра-бумажники со всей округи.

Ха подошла к самой воде и принялась размахивать горящим
трутом. Не успела она разжевать свой бетель, как вдруг лежав-
шие на воде листья лотосов закачались, потом появилась раз-
двигавшая их носом небольшая лодка. Длинный шест, уходя
в воду, задевал сухие листья, и они громко шуршали. Наконец
лодка выбралась на чистую воду и причалила к пристани. Сто-
явший в лодке мужчина поднялся на берег, следом за ним плыл
душистый запах лотосов.

Ха схватила Тыы за руку и заплакала:

— Знаешь, его плоты с корой зюо спустились уже по реке.

— Чьи? Богатея Эна?

— Да. Они за пристанью Тем.

Слушая жалобный, словно молящий о спасении голос де-
вушки, Тыы понимал, он должен как-то успокоить, утешить ее.
Но что может он сделать? И он решился:

— Убью подлеца Эна, иначе этому не будет конца!

— Мне страшно. Ведь за убийство...

— Пусть только явятся за здешнею девушкой, — зловеще
засмеялся он, — ноги отсюда не унесут. Я ему так и сказал.

Ха зарыдала в голос.

Она знала, убийство. — страшное преступление, его не
загладить, не избыть. Оно сулит лишь новые страхи и муче-
ния.

Назавтра Тыы, прихватив длинный тесак, среди бела дня
вышел за деревенские ворота. Был он в одной лишь набедрен-
ной повязке — словно собрался нести храмовые носилки.

Он прямоком, через поля, отправился к пристани Тем — по
вечерам купец Эн всегда пьянствовал здесь с друзьями. Тыы

¹ Западное озеро, находящееся ныне в черте Хаоя, было когда-то
местом охоты и прогулок короля и знати, на берегу его стояли деревни
рыбаков и ремесленников.

² Зюо — невысокое деревце, из волокнистой коры которого делают
бумагу.

на ходу то и дело вытаскивал тесак, словно примеряясь, как половчее с маху рассечь глотку купца и швырнуть его в реку.

Скорее всего, купец завалился в дом к какой-нибудь из певичек тут же, рядом с пристанью, но Ты решил, что отыщет его и там отрубит купцу голову. Нет, Ты не простишь купцу тяжкой обиды! И отмщение близко, потому что враг где-то здесь, рядом.

Из года в год купцы сплавливали плоты с корою зию поближе к общине Быои и продавали ее мастерам, делавшим бумагу. Долог был путь их с верховьев реки Тхао до здешней пристани Тем. Тут вязанки коры складывали в огромные груды — никак не ниже известняковых гор, что высятся близ селений Иентхай, Донг или Хо.

Давным-давно искусные мастера-бумажники, выходцы из Дайты¹, откуда они переселились на землю Быои, основали здесь деревеньку Ван и взялись за прежнее свое ремесло. Хижины их лепились возле огромных груд коры, из которой варят бумагу.

Когда приходит пора сплава, на пристани Тем с утра до ночи шумят и рядятся хозяева плотов и перекупщики коры. Звонкая дробь фатья² порой заглушает голос певички, наливающей гостю хмельную чарку. Веселое заведение подле самой пристани живет щедротами корабельщиков да купцов, а они здесь появляются от срока до срока. Время сплава коры для заведения самое прибыльное — у владельцев плотов полна мощна, и гуляют они, не зная удержа, каждый старается переплюнуть всех и вся. Музыка и песни для них — не услаждение души, а пустая забава. Случается, нанимают они певичек на все время торгов и, приказав запереть двери, днем и ночью пируют под перелпвы старинных песен, заливая водкою глотки, а не то засядут за игру и просаживают целое состояние.

Деревце зию хоть и невелико, а в разных местах имеет свое, особое название. К примеру, зию, что растет в лесах Люкиена, именуется «фо»; кора его суховата, мало в ней клейкости, да и самый луб короткий и неширок, ибо деревья там растут низкорослые. Оттого-то плоты из Люкиена хозяева торопятся сбыть оптом. В Нгпало дерево это зовется «лэм», у коры его луб пошире, но тоже коротковат. За один только вечер в веселом за-

¹ Дайты — название старого уезда; ныне уезд и город в провинции Бактхай, около 80 км севернее Ханоя.

² Фать — ударный музыкальный инструмент, сделанный из бамбуковой пластины, на которой играют двумя деревянными палочками.

ведение, а бывает, за один-единственный кон игры плоты из Нгиало не раз и не два переходят из рук в руки, от хозяев к перекупщикам и снова к хозяевам, и цена на них то и дело меняется, как переменчивый ход плывущей по реке ряски. Лучше всего кора с берегов Тхао, луб ее и долог, и широк, и шелковист. Владельцы плотов с реки Тхао привередливы и цену запрашивают высокую, словно отцы, у которых на выдапье красавицы дочери. А люди наперебой расхватывают их товар, набивают цену и, не успев сторговаться на пристани, торопятся следом за торговцами на постоянный двор в Хангхоа.

Среди тех, чьи плоты приходили с реки Тхао, богаче всех был купец Эн. Он всегда предлагал кору наивысшего качества. Да оно и понятно: под свой промысел он захватил все лучшие земли — вверх по течению от Хахоа. У кого еще было столько «товару с верховьев»? Каждый год причаливали к пристани вереницы его плотов, и богатство купца росло и множилось, как растут поднимающиеся до небес клубы дыма над малой вязанкой дров.

Уже смеркалось, когда Ты подошел к пристани. Глянув вниз, он увидел целую череду плотов — на каждом, точно огромные скирды соломы, высились груды коры. Ее не выгружали на берег, потому что не успели еще назначить цену. Возможно, сам хозяин еще не прибыл.

Расспросив людей, Ты узнал, что купец Эн и в самом деле пока не появлялся, прибыли лишь плотовщики, пригнавшие плоты с корой.

Жаль было возвращаться ни с чем. Да и гнев еще не остыл. Ты стоял, не зная, как быть дальше. Вдруг он заметил горящий над водою светильник. А ну как это купец Эн подплыл и не успел еще объявиться на пристани? Нет, здесь надобно самому поглядеть. Сжимая в руке тесак, Ты взобрался на плот бесшумно, как ящерица на стену.

Привалясь к вязанкам коры, челядинцы Эна распивали водку, усевшись вокруг ярко горевшего светильника на высокой ножке. Они и ухом не повели, когда Ты вырос у них за спиной. Хозяина не было и здесь — Ты сам в этом убедился.

Сходя на берег, он сузил тлевший соломенный трут под пальмовые листья, накрывавшие шалаш плотовщиков, и молча пошел прочь. «Сожгу плоты! — решил он. Может, хоть на душе полегчает...» В темноте Ты никого не боялся. Он обрубил якорные канаты; и плоты вместе с людьми на них, медленно вращаясь, поплыли по течению. Испуганные крики понеслись над водой в ночном мраке. А еще через мгновение ветер раздул тлев-

ший потихоньку огонь, и алые языки пламени заплясали над плотами.

Ты не вернулся домой ни на следующий день, ни к концу недели.

Напрасно Ха выходила по вечерам к Лотосовой заводи и раздувала поярче соломенный трут. Немало длинных соломенных жгутов извела она, а Ты все не появлялся.

С Западного озера по-прежнему доносился стук пестов, то размеренный, то сбивчивый и торопливый.

* * *

Всю ночь Ты шагал вдоль Большой реки. Его обуревали мрачные мысли.

— Толчешь, толчешь эту проклятую кору,— бормотал он,— а живешь впроголодь. Где уж тут накопить хоть малую связку монет. Нет, нашим ремеслом не прокормиться.

На рассвете он увидал впереди густые клубы пыли. Это скакал по дороге гонец с почтовой станции Тытонг, торопясь доставить утренние депеши.

И вдруг при виде гонца все ночные сомнения и колебания Ты вмиг исчезли.

— Пускай! — вскричал он. — Пускай я нищ и не обучен грамоте, но здоровья и силы мне не занимать. Неужели не смогу я вынести всех трудов и лишений, выпадающих на долю гонца, чтобы потом стать важным чиновником. Случалось с людьми и не такое!

Он поднял было руку к небесам, собираясь принести обет, но промолчал. И лишь про себя подумал: «Мне самому тогда и рук марать не придется, пошлю стражников с кинжалами, они Эна и прикончат...»

Однажды люди, собравшиеся посреди базарной площади Быои, увидели на дороге, что шла вдоль реки Толить, всадника, во весь опор мчавшегося к деревне. Клубы красной пыли из-под копыт вздымались выше городской стены и долго не оседали на дорогу.

Здесь, в общине Быои, с давних пор обосновавшейся неподалеку от города, никогда и не слыхали конского топота. Поди догадайся, с чем пожалует незванный гость... Народ всполошился. А ну как это чиновник едет, от них ведь добра не жди.

Те, кто оказались поближе к дороге, совсем оробев, украдкой выглядывали из-за бамбуков, живою изгородью окружавших деревню.

Но все догадки и подозрения оказались далеки от истины. На коне ехал не кто иной, как Ты, еще недавно подряжавшийся здесь толочь кору.

Вот уж кого не ждали они увидеть в таком обличье! Не этот ли парень, бывало, в одной набедренной повязке гнул спину от зари до зари, поднимая и опуская в ступу тяжелый пест — день за днем, год за годом. Даже по праздникам, когда он нес храмовые носилки, Ты оставался все в той же простой повязке. Нынче же он был в длинной до колен коричневой рубахе цвета коровьей шкуры с плетеными пуговицами. И пояс его, некогда ярко-алый, а теперь потемневший и цветом напоминавший сухие листья хюйетзу¹, был все же лучше прежней повязки; всякому сразу становилось ясно — такой пояс вправе надеть лишь служилый человек. Серый конь шел скорой рысью, развевался наброшенный на плечи всадника плащ. Под повязкой — концы ее торчали на затылке наподобие собачьих ушей — узлом были стянуты черные волосы.

Да, красный пояс, пусть даже ветхий и рваный, — вещь непростая, значит, Ты достиг своего и определился на службу.

Женщины начали потихоньку обсуждать новость. Какой-то старик, приглядевшись, громко сказал:

— Служит на посылках, а корчит из себя важную птицу.

— Ах-ах! — затараторили девушки. — Неужели это Ты?

— Быть не может...

— Да когда же он умудрился стать гонцом?

— Эй ты! — несмело окликнула его одна из подружек и захихикала: — Неужто свататься прискакал? Небось Ха зажда-лась тебя!

Но вскоре выкрики и насмешки стихли — всадник, слышав их, даже не обернулся, да и зевакам глядеть на него при-скучило.

Влюбленные встретились возле самого храма.

— А у меня, — похвастался Ты, — есть ружье! Вот погляди-ка...

Сбросив плащ, он снял с плеча длинноствольное ружье.

Да, ничего не скажешь! Здесь, в округе, даже важные чины, отправляясь по делам, имели при себе лишь тесак с длинной рукоятью, болтавшийся на боку поверх широченного шелкового кафтана. У самого окружного начальника не было ружья. А вот Ты, хоть и был простым гонцом, ружьем обзавелся.

¹ Хюйетзу — невысокое дерево с темно-красными листьями.

Ха, впервые в жизни увидевшая ружье, и страшилась и ликовала. Она глядела на Ты с надеждой и верой,— так человек, унесенный течением на середину реки, смотрит на торчащее из воды спасительное бревно. Возлюбленный, державший в руках ружье, представлялся девушке могучим и непобедимым. Сердце у Ха затрепетало от предчувствия близкого счастья.

Но на самом деле Ты не был владельцем ружья. Гонцу поручили доставить его учителю До.

Учитель открыл школу в общине Хо, и учеников у него было великое множество. Нравом своим и поведками До заметно отличался от прочих конфуцианцев¹, из коих одни, сторонясь мирских треволнений, занялись землепашеством, другие отправились в столицу² и, кое-как перебиваясь, надеялись в конце концов преуспеть на службе. Учитель До был не таков: столкнувшись с вольнодумцами из соседних земель, он втайне готовился поднять мятежное знамя и выступить против тэй.

В эту смутную пору многие гонцы государевой почты, державшие сторону повстанцев, разъезжая из одной общины в другую, часто сообщали своим единомышленникам новости. А кое-кто из гонцов и вовсе ушел к повстанцам.

В деревнях к югу от столицы начались волнения. Народ, ненавидевший тэй, собирал оружие, бросал в подземелья католических попов. Ну а коли уж заварилось такое дело, его на полдороге не остановишь! Область Шоннам³ вновь поднялась против католической веры. Всюду хватали и предавали смерти ненавистных миссионеров. И само собой, у повстанцев появился повод сойтись поближе к Ханюю.

Развозя депеши, Ты с друзьями, всякий раз прихватывали патроны и ружья для повстанцев; случалось ему тайком провозить под конским брюхом целый десяток ружей, завернутых в листья арека.

Вот и сегодня он вез ружье учителю До.

Ха вдруг заплакала. Ты нарочито громко сказал:

¹ Речь идет о людях, получивших традиционное образование, в основе которого лежал конфуцианский канон; еще со средних веков в каждой провинции и в столице проводились конкурсные экзамены, и лица, выдержавшие экзамены, получали право занимать государственные должности или преподавать.

² Столица Вьетнама после прихода к власти новой династии Нгуен была перенесена из Ханоя в Хюэ (1804 г.). Ханой остался административным центром Северного Вьетнама, где находился королевский наместник.

³ Шоннам — область, включавшая в себя и Ханой.

— Если этот мерзавец Эн посмеет сюда сунуться, я ему ноги отрублю. Мне теперь бояться некого.

Слова его поначалу встревожили Ха, но потом она успокоилась.

Впалые бока серого коня, на котором прискакал Тьы, ходили ходуном, с него белыми клочьями падала пена, тонкие ноги нервно подрагивали. Но даже этот тощий одер, поднявший пыль на дороге, потряс здешних жителей, никогда прежде не видевших лошадей. И тотчас от дома к дому полетела молва: Тьы теперь человек служивый, с ним шутки плохи, он даже верхом на коне разъезжает.

Ха совсем успокоилась. Провожая возлюбленного, она подарила ему на прощанье кусок переливчатого шелка — в такое полотнище, собираясь в дорогу, заворачивают одежду и вещи.

И Тьы снова уехал.

* * *

Кто бы ни шел из города через ворота Донглэм или же, наоборот, направлялся в город, к воротам Донгмак, все непременно проходили мимо почтовой станции «Рыбий хвост», что стояла к югу от Ханоя.

Вообще-то настоящее ее название было Хамаи, но все давно уже привыкли называть станцию «Рыбий хвост», потому что ограда ее причудливо извивалась вдоль перекрестка. Сложена она была, как тюремные стены, из крупных камней, а пазы между ними забиты щебенкой. Проезжающим гонцам приходилось ночевать в крытых тростником хижинах, вытянувшихся рядом позади конюшни.

Окнами станция смотрела на озеро Линьдьюнг. По правую руку была Большая река, воды ее текли в сторону Тханьчи.

Настали беспокойные времена: какой округ ни возьми, повсюду повстанцы выступили против тэй; и дел — неотложных и важных — у властей было без счета. На станциях дожидались депеш сотни гонцов и десятки коней. Сменяясь на этапах, нарочные мчались словно стрелы, пущенные из лука. Гонцы маялись до рассвета словно ночные птицы, подстерегающие добычу. Пора стояла горячая, и наказания сыпались на гонцов градом.

Ночью верховые со срочными донесеньями то и дело заезжали на станцию и тотчас мчались дальше. Согласно установленьям, усердие гонцов вознаграждалось и все было давно расписано, за какие перегоны и сроки какое следует вознаграждение — первое, второе или третье. Но пока еще никто не видел

награды от начальника станции — он лишь помечал время в подорожной. Зато на палочные удары он не скупился, и опоздавший гонец мог быть твердо уверен, что положенные три десятка палок он получит сполна. А за задержку сверхсрочного донесения иной мог и головой поплатиться. Если обнаруживалось опоздание, палач иногда прямо у ворот на бревне отсекал виновному голову.

В полдень хижины у станции «Рыбий хвост» пустовали и очертанья их расплывались в жарком мареве. Возле конюшни валялись бамбуковые жерди от носилок. Кони все были в разъезде. Лишь ближе к ночи слышался на дороге drobный стук копыт. Станция оживала поздно, когда уже смеркалось; со всех сторон спешили сюда скороходы, шум и суeta длились за полночь.

Солнце, клонившееся к закату, выбелило береговые тростники. Мимо станции прошли длинными вереницами рыбаки с озер Линьдыонг и Шет, тащившие свой улов на базар, к воротам Донгмак; они шли нагишом, а одежонка их, старая и драгая, болталась, развешенная для просушки, на длинных рукоятках сачков. Обезлюдившая дорога словно укорачивалась на глазах, утопая в тумане.

Когда на станции начинали зажигать фонари, в ворота вбегали один за другим скороходы из уездов, лежавших дальше к югу. Покрытых потом и пылью гонцов встречал дымный чад горевшего в фонарях масла чэу.

Те, у кого была припасена фляжка с водкой, тотчас подносили ее ко рту, осушали единым духом и лишь после этого вешали сумку с депешами на колышек, торчавший из стены над бамбуковой плашкой с названием уезда. Завтра другому скороходу останется лишь протянуть руку и снять со стены сумку. И хоть ни один из них не знал грамоты, не бывало еще случая, чтобы кто-нибудь спутал колышек или взял чужую сумку.

Слышался плеск воды и голоса: это в пруду за оградой купались люди. У хижин, где ночевали гонцы, заплясал огонь в очаге, забурлила вода в котелке с рисом.

Верховые гонцы не все еще были на месте.

Начальнику станции «Рыбий хвост» недавно вышло повышение — он получил чин девятой степени. Станцией этой он управлял вот уже более десяти лет и слыл человеком, которому по плечу любое самое мудреное дело. Наконец-то и высокое начальство оценило его по заслугам. Шла молва, будто он был когда-то учителем и потому, искушенный в книжной премудрости, легко разбирался в записях и деловых бумагах.

Теперь он вошел в служилое сословие, а чиновник, пусть даже стоящий в дни торжеств на самом дальнем конце дворцового крыльца, все едино — человек, облеченный властью. И, осознав это, начальник стал еще ревностней и свирепей прежнего.

Как всегда, ближе к ночи, светя себе пылающим просмоленным факелом, он подошел к двери и крикнул:

— Гонец из Тханьчи на месте?! Есть кто из Тхыонга?

— Нет пока.

— У вас что, ядра меж ног привешены? Еле плететесь, твари! Всем вам головы снесу!

От злости его даже дрожь прошибла. Вот уж который день срочные депеши летят стаями, как бабочки по весне.

Одних лишь гонцов к наместнику скачет за день чертова прорва! Отовсюду приходят вести о расправах с католическими священниками. Базары, харчевни и пристани обезлюдели. Народ напуган. А ну как столичные вельможи, что водят дружбу с тэй, надумают выйти из города и снять смертную жатву? Всем тогда конец!

Начальник стал снова выкликать гонцов. И в эту самую минуту в ворота вбежал скороход. Побагровевшее от водки лицо его было залито потом. Черной, словно вымазанной сажей, рукою он повесил сумку на колышек.

Ни о чем не спрашивая — он давно знал тут всех в лицо, — начальник склонился над книгой и отметил время возвращения гонца. Ежели скороход возвратился в срок, то получит дозволение искупаться и поест, за опоздание же его тотчас растянут на земле и всыплют палок.

Подоспело время переклички. Начальник принес фонарь и водрузил его на высокий столик для бумаг. Перво-наперво он стукнул тростью по топчану — для острастки. Гонцы, их было человек тридцать или сорок, разом вскочили со скрипучих досок. Они даже и во хмелю помнили — лучше, чем день отцовых поминок, — что ровно в полночь начальник начнет выкликать их по именам и каждый обязан предстать пред его очи.

Начальник стоял посреди дома, с наслаждением прислушиваясь к свисту палки, гулявшей по спине нерадивого гонца, и бормоча что-то себе под нос, словно духовидец, ждущий озарения у алтаря; одной рукой он то и дело открывал заслонку фонаря, другой — поднимал трость и тыкал ею в лоб каждого из гонцов.

Деревянный барабан в крепости Чунгдо, неподалеку от станции, пробил первую стражу.

— Кто из скороходов был в Тханьчи? — выкрикивал начальник. — Где гонец из Кэутиена?.. Кто из Фусюйена?.. Куда подевался скороход из Зе? Не вижу его! Этот ублюдок вечно плетется как черепаха... Ну что, на месте он или нет?! Вы, я вижу, опемели, подонки! Всех выпорю!..

— Да... ваша милость... так и есть...

Начальник ткнул тростью в лицо говорившего.

— Что, «так и есть»?.. Ну, говори!

— Э-э, так и есть... он еще не вернулся...

— Хватит вздор молоть, скотина! Небось глаза еще не продрал... Вотогрею палкой!..

Он поднял трость.

— Книгу сюда! Запишу этому ублюдку из Зе опоздание! Он у меня попляшет!..

Не успел он умолкнуть, как в дверь просунулась чья-то лохматая голова. Человек дышал надсадно, со свистом; съехавший ему на спину потрепанный нон похож был на птичий хвост — такой шляпой и макушку-то не прикроешь.

— Я здесь, ваша милость!

Но начальник уже вошел в раж, глаза его побелели от злости.

— Ты кто? — заорал он.

— Скороход я, из Зе.

Начальник медленно поднял руку, разгладил усы и взялся за трость.

— Ты что, не слыхал барабана?

— Слыхал.

— У, подонки! Я уже занес тебя в книгу. — Он сорвался на крик. — Сейчас из тебя хмель выбьют! Ты у меня научишься возвращаться в срок...

Провинившийся гонец, махнув рукою, сказал:

— Да что вы, ваша милость. Небом клянусь, у меня и капли водки во рту не было с самого утра. Из придорожных деревень народ разбежался кто куда. Говорят, войско господина Лю¹ снова сюда идет. Все боятся: после убийства попов из столицы пошлют солдат, и они...

¹ Речь идет об одном из руководителей отрядов «Черных флагов», участников происходившего в Китае восстания, которые в 60-е годы XIX в. перешли из китайской провинции Гуанси в Северный Вьетнам. В 70-е годы, когда происходит действие рассказа, «Черные флаги» вместе с вьетнамцами участвовали в борьбе против французских колонизаторов. В то же время они нередко грабили вьетнамское население.

— Заткнись! — крикнул начальник.

Отрывистый возглас его прозвучал как сигнал к началу наказания.

Скороход понурился, подошел к начальнику и молча растянулся на земле. Начальник бросил трость, обтянутую бычьей шкурой, стоявшему поблизости гонцу, и приказал:

— Всыпь-ка ему десяток ударов!

Вообще говоря, прежде чем подвергнуть человека наказанию, ему связывают руки и ноги, веревкой за волосы притягивают голову к вбитому в землю колу; да и вообще для подобных дел обычно отводится особое место. Но здесь, на станции, времени всегда в обрез и виновных карают без соблюдения положенных правил.

Гонец поймал трость, держа ее обеими руками, подошел поближе, зажмурил глаза и замахнулся. Темнота, обступившая его, вдруг отозвалась горестным криком. Он и сам не ведал, куда попадают его удары — по спине ли, по ягодицам или по голове распростертого на земле человека.

И вдруг его остановил резкий, как свист бича, окрик:

— Стой!

Выхватив трость, начальник оттолкнул гонца и крикнул:

— Ложись!

И недавний «палач» рухнул наземь рядом со своей жертвой, — тяжело, словно подрубленный ствол банановой пальмы.

Начальник привычным движением разгладил усы, занес трость, шагнул раз, другой, пританцовывая, будто барабанщик с поднятой палочкой в праздничном шествии, и вдруг с силой обрушил трость на голову упавшего. Тот судорожно изогнул спину и затрясся.

— Встать! — закричал начальник и снова протянул гонцу трость. Вот так и бей! — приказал он. — Попробуй у меня бить не глядя. Привяжу к кольям и сам на твоей спине покажу, как надо орудовать палкой.

Гонец вскочил. Теперь он бил с оттяжкой, наклоняясь следом за тростью, и без промаха попадал по голове. Бедняга сперва корчился, потом затих, словно умер, и, даже когда удары прекратились, не шелохнулся.

Начальник, не удостоив его взглядом, поднялся к себе, вытащил повыше фитиль из наполненного маслом светильника, раскрыл лежавшую на столике книгу и записал провинность и наказание в графу станции Зе.

А внизу гонцы, едва дождавшись конца переклички, молча

повалились на плетеные лежанки, которые всем им были коротковаты, и минуту спустя дом огласился громоподобным храпом.

Близилось время второй стражи.

В доме стояла крошечная тьма.

Вскоре гонец из Зе медленно приподнялся и сел. Потом забрался на лежанку, снова уселся и, наклонив голову, стал шарить пальцами в складках кушака, словно ища насекомых. Нащупав наконец кошель, он извлек оттуда небольшую фаянсовую флягу с водкой, вытащил пробку, но пить не стал, а поставил флягу рядом с собой на лежанку, хмуро огляделся и вдруг ухмыльнулся неведомо чему.

Сосед его храпел во всю мочь, но, почуяв хмельной дух, проснулся. Да и не мудрено: водка была не простая, а особой чистоты и крепости — если взболтать ее, на свету засереблятся пузырьки, — такую гонят лишь в деревушке близ моста Тиен, на дороге меж Фули и Ханоем; понятно, что и дух у этой водки особый. Сосед поднял голову и принялся:

— Ай, молодец, уберег фляжку.

Лицо скорохода из Зе тронула слабая улыбка.

— Да я ее животом накрыл. Чтоб разбить ее, пришлось бы рассечь меня пополам.

Всюду, куда достигал водочный дух, умолкал храп, люди начинали вздыхать и ворочаться с боку на бок. Человека три или четыре встали и перебрались поближе к скороходу из Зе.

— Ну, чего оробели? — усмехнувшись, спросил он. — Мне надо глотнуть хорошенько, чтоб полегчало, а вы допивайте остальное и — спать, скоро пробьют стражу...

За станцией на сторожевой башне, в деревне Хоангмаи, барабан возвестил вторую стражу.

Земля и небо утонули в беспробудной тишине. И станция «Рыбий хвост» спала во мраке, словно и ее утомили печали, тяготы и радости прожитого дня.

Не спал лишь начальник у себя наверху, размышляя о безрадостной своей судьбе: вот у него больше полусотни гонцов и скороходов, а велики ли корысть да почет... Ни свет ни заря вставай, торопись расписать, кто из гонцов куда и с каким отправится делом.хлопот и волнений не оберешься. А к ночи непременно кого-нибудь надо наказывать: опоздает ли, упьется ли до беспамятства, все одно — бей, пока руки не отваяются.

На исходе второй стражи начальник, держа огромный с человечесью руку ключ, спустился и запер ворота...

Ему удавалось лишь подремать немного; едва успевал он

заснуть, как били новую стражу. Прежде чем барабаны ударяли в четвертый раз, поднимались гонцы. Промыв рис, они принимались готовить еду. Приходилось вставать и ему, он торопился вниз, едва успев на ходу продеть руки в рукава и обернуть повязкой стянутые на затылке волосы.

Усевшись за столик, он раздавал гонцам новые депеши. Времени до утра оставалось менее одной стражи...

Сегодня ему удалось прижать разболтавшегося спьяну гонца и отнять у него водку — начальник ведь и сам был не промах выпить и даже завел обыкновение трижды на дню заглядывать в рюмку. Вот и сейчас он тряхнул головой, словно отгоняя докучливые мысли, достал длиннгорлую фаянсовую флягу и отхлебнул изрядный глоток. Затем, взяв очищенную сердцевину бэк¹, бросил ее вместо нового фитиля в плоскую светильника и как был — в одежде и головной повязке — задремал, привалясь к высокому столику.

Небо в преддверии утра чуть посветлело. Звезды, ярко блестящие прежде, померкли, словно намереваясь покинуть небесную твердь и приблизиться к земле.

Откуда-то издалека послышался звук, напоминавший потрескивание разглаживаемой бумаги, он приближался, становясь все отчетливей и громче. Всякое занятие вырабатывает у человека определенные навыки, и начальник станции даже сквозь сон узнал в этом звуке конский топот. И в самом деле, вскоре поблизости раздалось конское ржанье, звонкое, будто сигнальные колокольцы. В наступившей затем тишине слышался беспокойный шелест лошадиного хвоста, словно кто-то невидимый в ночи перетягивал шуршащий канат.

Еще один гонец вернулся на станцию...

Начальник, по-прежнему не открывая глаз, подумал: кто-то из нарочных опять опоздал... Пусть теперь ночует за воротами, всыпать ему палок он успеет и утром... Начальнику до смерти не хотелось вставать — когда годы перевалили на шестой десяток, холод и сырость осенних ночей отзываются болью в ногах и во всем теле. Даже добрая водка не приглушила ее, напротив, в горле появился саднящий зуд. И вдруг он спохватился: а ну как там срочная депеша! Если так — за проволочку всем им не сносить головы. И он встал.

Небо прояснилось, словно кто-то, не пожалев труда, чисто вымел его. Кругом царил непривычная тишина. Едва смолк

¹ Бэк — многолетнее травянистое растение; пористая сердцевина его легко пропитывается влагой и потому использовалась в качестве фитиля.

сигнальный барабан, на горизонте забрезжил неяркий свет, возвещавший приближение дня.

Огромный ключ, звякнув, опустился наземь. Начальник, не доставая покуда трость, осмотрительно спросил:

— Кто там?

— Ваша милость, это я, Тьы.

Деревянный засов, выхваченный из скобы, гулко ударил в каменную стену. Тьы толкнул створку ворот, сколоченных из железного дерева, и вошел внутрь. Он потерял где-то свой нон, и растрепанные волосы падали ему на лицо и на плечи. Был он весь мокрый от росы и пота. Влага пропитала даже прилежавшую к телу сумку.

Тьы одолел за ночь два перегона. Дешеш с пометкой «молния» не ждут, а сменных гонцов и коней почти не осталось, и потому останавливаться на малых станциях не имело никакого смысла. Футляр с «молниями» вручают гонцам за воротами станций, и начальники, стоя посреди дороги, помечают в книге время и номер. Всю ночь не покидал Тьы седла, дорожная пыль толстым слоем покрыла его спину и плечи.

Войдя в дом, Тьы резким движением повесил сумку на колышек, вытер лоб и пошел назад к двери.

Начальник развернул подорожную, подошел к фонарю, записал время и, вернувшись назад, крикнул:

— Эй, Тьы!

— Ваша милость, я торопился...

— Оно и видно. Небось торопился к мосту Тиен выпить с друзьями!

— Я ведь отмахал два перегона. Еле дышу...

— Сам знаешь, что опоздал!

— Простите, ваша милость...

— Хватит!

И, не меняясь в лице, начальник, как всегда, медленно разгладил усы и сорвал висевшую на стене трость. Он решил самостоятельно покарать виновного.

Но высоко занесенная трость не успела еще опуститься, как Тьы вздрогнул, распрямился, глаза его сверкнули...

— И ты, тварь, смеешь еще замахиваться на меня! — крикнул он. — Пну разок промеж ног — и душа из тебя вон! Только и знаешь, что бумагу марать своей поганой кистью! Изводишь всех ни за что ни про что... Я старался, всю ночь ехал без передышки, даже в ушах звенит. Да ты обязан мне исхлопотать награды! Какого черта тычешь в меня своей палкой!? Наплевать мне на тебя! Выходи — сразимся!

Слова его прозвучали, словно зловеющий свист клинка.

Гонцы, пробудившиеся ото сна, толпились за дверями у очага, на котором закипал рис.

Они зашумели:

— Это кто там дал жару начальнику?

— Ты!

— Молодчина!

— Пойду-ка подсоблю ему...

— Стой, куда ты!

— Лучше не связываться...

Ни один не подошел к двери, но вдруг из толпы кто-то крикнул:

— Эх, оборвать бы усы «его милости»! За такое и пострадать не жалко...

Вдалеке снова слышался стук копыт.

Начальник застыл с поднятой тростью и прислушался.

Лошадь шла шагом: значит, это не гонец. Скорее всего, едет важный чиновник — только гонцам да чиновникам разрешалось въезжать в город верхом.

Небо совсем посветлело.

Запоздавшие на кормежке выжи поднялись с затянутого туманом озера Линьдьюнг и пронесли над землей, точно подброшенные кем-то вверх пучки вымолоченных колосьев.

Копыта цокали уже у самых ворот.

Во двор заглянула чья-то голова в ноне с железным навершием. Это был стражник, из тех, что палками расчищают путь перед выездом вельможи.

— Кто там поставил клячу поперек дороги?! — заорал он. — Вам что, жизнь надоела?

Один из гонцов выбежал из ворот и привел за узду коня, на котором приехал Ты. Конь шел понурясь, грива свисала мокрыми космами. Гонец завел его в конюшню, тщательно привязал возле ясель и, взяв в углу охапку травы, бросил ее коню.

Мимо ворот проехали два стражника.

И дорога снова опустела — чистая и гладкая, как бумажный лист.

Но вот тишину нарушил шум шагов. И в проеме ворот на фоне серого неба показались крытые носилки, задернутые шторами цвета лепестков оранжевых лилий. Медленно прошли четыре носильщика, следом за ними шагал стражник с рупором в руке — мимо станции «Рыбий хвост» проезжал сам королевский наместник.

Ты выбежал за ворота и кинулся ничком на дорогу прямо перед носилками.

Начальник станции глядел на него из дверей. Оробев, он не знал, на что решиться. Будь его воля, он приказал бы скрутить смутьяна и надеть на него колодки, но сейчас это было рискованно. Ты вздумал жаловаться наместнику, а тому ничего не стоит стереть в порошок какого-то там начальника станции. Начальник пошатнулся и ухватился за дверной косяк, трость его упала наземь.

Ехавшие впереди стражники, услышав за спиною шум, обернулись. Но туда уже подоспели солдаты, что шли позади носилок. В блестящих нонах из ананасовых листьев и кафтанам с ярким кантом, угрюмые и злые, они шагали, держа наперевес свои палаши.

Собравшиеся у ворот гонцы, оторопев, глядели на эту процессию.

Вдруг из носилок раздался усиленный рупором голос:

— Кто ты? Зачем лег на пути?

— Ваше сиятельство! — вскричал Ты. — Позвольте недостойному припасть к вашим стопам.

— Мы слушаем, — отозвался рупор, — говори.

Ты, не поднимая головы, заговорил громко, чеканя слова:

— Ваше сиятельство, взгляните просвещенным взором... Я вез «молнию», старался из последних сил, устал смертельно, а он избивает меня...

Голос из рупора перебил его:

— Дозволяем тебе встать!

Ты, поднявшись с земли, выпрямился во весь рост.

— Лживый бес! — закричал голос. — Ты здоров как буйвол, а лжешь, будто с ног валишься. Тебе до смерти еще далеко! Государь поставил начальников блюсти закон и порядок, и челобитные подаются предписанным свыше путем. Как смеешь ты самовольно заступать нам дорогу? Смотрителя сюда!

Начальник, кивая и кланяясь, выбежал из ворот.

— Схватить наглеца! — вновь загремел голос. — Отсчитать ему пятьдесят палок и отправить к командующему войсками, в уезд! Пускай пошлет его служить в горы!..

На дороге в этот ранний час не было ни души, но стражники, ехавшие впереди носилок, гарцевали и размахивали палками, словно расчищая путь в многолюдной толпе. Солдаты, положив палаши на плечо, снова зашагали по обе стороны носилок. Стражник, принявший рупор, с почтительным поклоном приподнял шторы носилок, чтобы наместник мог видеть, что происхо-

дит снаружи. И посылки двинулись дальше, мимо ворот станции, где начальник, встав на колени, отвешивал земные поклоны. Один лишь Ты успел заглянуть за занавески, но в темноте не разглядел ничего, кроме кафтана из красной парчи, меча да нога с серебряным павершием. Мгновение спустя шторы опять опустились.

Едва наместник проехал, начальник, громко крича, созвал гонцов и приказал им схватить Ты. Его не стали связывать и растянули на земле прямо посреди дороги. Один гонец держал его за шею, двое за руки, еще двое за ноги. И на распростертое тело посыпались удары, порой заглушавшие даже голос, отсчитывавший единицы и десятки. Начальник старался вовсю, дабы его сиятельство имел удовольствие слышать, как неукоснительно выполняются его повеления.

Ты отделали на совесть. Но когда его доставили в уезд и бросили в темницу при доме воинского начальника, гнев и ярость бессилия терзали его сильнее, чем боль от побоев.

Через день конный гонец из города прискакал в общину Быои. Ни одна душа здесь, конечно, не ведала о событиях, приключившихся на станции «Рыбий хвост», люди полагали, что это их земляк Ты снова приехал по важному делу. Когда же ветер унес пыль, они разглядели, что на коне сидит другой, никому не известный парень.

Гонец передал деревенским старостам письменный приказ собрать с общины подать, причитающуюся на содержание почтовых станций, и доставить деньги в уезд. Когда прочли список гонцов, поставленных на довольствие, деревенские старосты не слышали среди них имени Ты. На все расспросы нарочный отвечал, что Ты исключен из списка.

Вручив старостам бумаги, гонец выехал за деревенскую изгородь и направился к помосту, где месили и промывали бумажную массу. Там он отыскал Ха. Слушая его певучий выговор, Ха подумала, что он, наверно, родом из Нгиадо. И не ошиблась.

— Сам я,— сказал ей гонец,— из соседних краев, из Нгиадо. Ты просил, если вы любите его, хранить верность и ждать его год, а может, два или три. Он непременно вернется.

Потом гонец опустил свою сумку, сбросил накидку и снял с плеча ружье.

Опять ружье!..

— Ты велел отдать это вам,— продолжал гонец.— Он просил вас никому не говорить про ружье, даже под страхом смерти, и сразу отнести его учителю До. Увидите учителя — пере-

дайте, что через месяц ему привезут еще. Мне самому нельзя видаться с ним, так что, прошу вас, сходите к нему этой же ночью.

Итак, Ха снова увидела ружье. Она сама понесет его учителю До, пойдет к нему вместо Ты. Она и знать не знала, какие дела бывают у мужчин, воюющих против тэй, но ружье и связанная с ним тайна обретали в ее глазах особую важность. Ведь от них зависели ее любовь и будущее счастье.

* * *

Как всегда, во втором месяце года готовились к празднику в храме Бронзового барабана.

Невесело начался этот год. Наместник приказал согнать тысячи людей и снести городские стены — от западного угла в Хангхоа до Кхотхана и Конгви. Люди работали день и ночь, ломая укрепления и разбирая кирпичи. В городе сносили старые здания королевских ведомств и палат и самые большие храмы. Кирпич отправляли затем в новую столицу, где по высочайшему указу возводили цитадель Фусуан.

С тех пор как еще при Зиа Лаунге¹ столица была перенесена на землю Тхыатхиена² и до царствования нынешнего государя Ты Дыка³, высокородные господа из дома Нгуен с опаской и неудовольствием поглядывали на Тханглаунг⁴. Они не доверяли вольнолюбивым жителям Севера и потому разрушали старую столицу, каждый в меру своих сил и возможностей. Теперь решено было сровнять с землей городские степы.

В тот же злосчастный год по повелению наместника сожгли знаменитую бамбуковую изгородь у ворот Лаунг, что тянулась на сотни локтей — от округа Хо до Тхюи.

Опустел и слоновий загон у пагоды Бадань. Пять могучих боевых слонов — господин Эт, господин Киеп, господин Кыопг, господин Венъ и господин Ку — тоже ушли из города. Погонщики получили приказ доставить слонов в Тхайнгуен, откуда они

¹ Зиа Лаунг — тронное имя Нгуен Аня, основателя династии Нгуен (1802—1945).

² Тхыатхиен — округ, а ныне провинция в Южном Вьетнаме, где находится город Хюэ.

³ Ты Дык — государь династии Нгуен (годы царствования 1848—1883).

⁴ Тханглаунг («Взлетающий дракон») — древнее название вьетнамской столицы, основанной в 1010 г.; в 1831 г. город был переименован в Ханой.

должны были таскать бревна для постройки новой столицы. Ни один из слонов не вернулся назад.

Но праздник в храме Бронзового барабана отмечали, как было принято испокон веку, потому что в этот день оживали погребенные под повседневными горестями и заботами надежды людей на лучшее будущее.

Среди тех, кто нес сегодня носилки, не было Тьы.

И среди девушек, выносивших угощение носильщикам, не было видно Ха.

А потому и незачем вести подробный рассказ о праздничном шествии...

Сразу после Нового года прошел слух, будто купец Эн вернулся сюда погулять и повеселиться.

Вот уже несколько поколений его семейства торговали с мастерами, делавшими бумагу, что жили, как говорилось тогда, «в трех деревнях Иентхая, четырех деревнях Нгиадо». Какую только здесь не выделявали бумагу! Глянцевую и тщательно отбеленную — ее из деревни Нге поставляли для императорского двора; дешевую, сероватую — из Иентхая и Хо, — ее продавали в Ханое, в Веревочном, Квасцовом и Бумажном рядах. И каждая община старалась заполучить побольше коры с реки Тхао, которую доставлял купец Эн. А потому, если девушка из здешних выходила замуж за торговца корой, брак этот считался полезным и выгодным для всей общины. И многие семьи, где были дочки на выданье, мечтали заполучить в зятя купца.

Сперва отец с матерью уговаривали Ха. Она плакала, вспоминая Тьы. Ведь он обещал вернуться. Когда же он наконец придет с ружьем, спасет ее и заберет отсюда?

Но время шло, а Тьы все не являлся. И Ха решила расстаться с жизнью.

Она пришла к Западному озеру. Только сейчас, стоя на берегу, Ха поняла, что давно уже наступила весна. Южный ветер приносил с озера запах недавно распустившихся лотосов; листья их колыхались на воде, словно рассыпанные кем-то зеленые монеты.

В памяти Ха неожиданно всплыло предание о золотом храме. Тихая, грустная мечта о призрачном чуде, о далеком несбыточном счастье овладела всем ее существом. Она встала, подобрала подол юбки и вошла в воду. Зыбь, колыхавшаяся вокруг ее ног, играла золотыми бликами, а в темной глубине ей виделся все ближе и ближе сверкающий храм. И она, околдованная мерцающим видением, брела все дальше и дальше от берега.

Когда мать хватилась Ха и выбежала на берег, она увидела дочь, бредущую по воде.

— Доченька! — заголосила она. — Остаковись!.. Неужто ты причинишь нам такое горе?!

Ха, услышав ее голос, повернула назад.

Она очнулась от грез. Дочерний долг и любовь к родителям удержали ее от самоубийства. Но с того дня Ха не произнесла больше ни слова, словно навсегда лишилась дара речи. Глаза ее стали сухими, а взгляд — спокойным, но холодным и отчужденным. И тогда родители и соседи решили, что блажь ее прошла. Ха отвели к реке и посадили в большую лодку. Люди, толпившиеся вокруг, шумели и кричали, словно тащили купленную для праздника свинью. Так вышла Ха замуж за богача и уплыла с ним вверх по реке.

Плаванье это длилось дольше чем жизнь. Лодка — ее тащили волоком не менее полусотни кули — ни днем, ни ночью не останавливалась и ни разу не приставала к берегу. Кули, в одних набедренных повязках, дочерна сожженные солнцем, похожие на полевых лягушек в пору великой суши, разбились на пары и, сменяясь, тянули канаты, упираясь в крутой берег. Тягучие их напевы были то веселы, то печальны.

Из дверцы, что на корме,
 выхожу я, согнувшись...
• Вижу любимую,
 реку она по мосту переходит...
Если любимая
 спустится к пристани,
Волны смеются...

К вечеру над самою крышею лодки загоралась звезда. Каждую ночь лодка проплывала под этой звездой. Человек, даже если горе иссушило слезы в его глазах, не хочет, не смеет расстаться с надеждой, как не теряет ее гребец, высматривающий пристань.

Но сердце Ха все сильнее сжимал страх. Она сидела на корме и сквозь оконце величиною с ладонь видела колени сидевшего на палубе купца Эна и поднос с выпивкой. Стоя на деревянной крыше, лодочник с шестом, тяжело дыша, сгибался и разгибался в неизменном, размеренном ритме. А в другом оконце виделись лишь вода и небо, сливавшиеся друг с другом. Ха сидела, спрятав лицо в ладонях. Ах, как далеко уплыла она от дома; Ты не найти, не спасти ее теперь. Да и мать с отцом, наверно, не так, как прежде, огорчатся, если она умрет.

Однажды ночью она вышла на корму и долго сидела там,

глядя в темноту. Вокруг царило безмолвие. Звезды, мерцая, падали с неба, как слезы.

Лодка приближалась к пристани. Ха думала о том, что и ее путь подошел к концу, ведь ей больше незачем жить.

Она зажмурилась и соскользнула за борт.

И тотчас река от берега до берега огласилась криком: «Воры! Держи! Воры!..»

Оказалось Ха угодила прямо в привязанный к корме плетеный челнок, в котором устраивался на ночь один из лодочников — караулить добро от воров.

Итак, смерть снова обошла ее стороной.

Однако купец Эн встревожился не на шутку. Кто знает, о чем думал он раньше, но, выйдя на пристань, он сказал главному из своих мастеров — заготовщиков коры:

— Нынче под Новый год я вывез артель вниз, на равнину. Товар разошелся весь, без остатка. Я наградил тебя и даже оставил полюбоваться праздником цветов. Вот и выходит, что в новом году звезды подарят тебе разом счастливый переезд, мужскую красоту и силу, деньги и достаток. А я жалую тебе девицу, первую красавицу в земле Быои.

Мастер не стал раздумывать над тайными побуждениями купца, он был рад даром заполучить еще одну жену.

А Ха думала: «Нет, видно, смерть мне заказана судьбой. А коли небо велит жить, может, мне еще повезет и я буду счастлива...» И снова воскресла надежда: а ну как Ты придет сюда за нею с ружьем и спасет ее. Теперь она знала, что ей делать.

Она стала третьей женой главного мастера. Старательно выполняла она выпавшую на ее долю нелегкую работу, а в сердце ее воцарились спокойствие и уверенность.

Отныне она вела счет дням по цветению и росту дерева зию.

В третьем месяце прорастают его семена. Весною ростки выдергивают из земли, отсекают верхушки и корешки и высаживают на делянки. А там к первому месяцу нового года пущенные саженцами побеги одеваются листвой. Время летит быстро. Еще через два месяца молодые деревца подрастают, и с них можно сдирать кору.

И вот на холмы высыпают сотни людей. Идущие впереди срубают деревца под самый корень; те, что идут следом, подбирают их, обрубают ветки, а стволы складывают в кучу; и, наконец, трети остро заточенными ножами надрезают кору и обдирают ее, точно с человека снимают подпоротое платье. Содраный луб слоится, словно тонкие одежки.

А в девятом месяце по всему лесу забелеют гроздья цветов зио, похожие на ажурные праздничные фонарики, и над холмами поплывет пряный цветочный дух.

В первый раз, учась обдирать кору, Ха заболела и едва не умерла. Смолистый сок зио разъел кожу на лице и на руках; руки распухли и посинели. От резкого запаха коры у нее перехватывало дыхание, лицо отекло и стало круглым, как гонг.

Но куда шел сбор коры, Ха поправилась, освоилась с новым делом да и к жизни здешней притерпелась. Больше она уже не помышляла о смерти. У нее была теперь своя тайна. По ночам ей по-прежнему снилось, будто Ты явился за нею с ружьем и увозит ее домой.

Кора, снятая в двенадцатом и первом месяцах, пропитана влагой дождей и туманов, нередко упорные капли насквозь точат луб. Сколько времени и сил уходит на то, чтобы просушить кору, иначе ее ведь в вязанки не сложишь.

Едва управятся люди на одних делянках, подходит время идти на другие — брать кору пятого месяца. А пока ее обдерут, просушат и сложат, наступает пора осеннего сбора.

Круглый год сборщики коры ходят черные от смолы.

Ха превозмогла все тяготы, потому что человек сильнее и крепче железа и камня, и работала она теперь не хуже самых умелых мастеров.

А время летело, и вновь над землей плыл пряный дух цветов зио. Случалось, иные, одурманенные цветочным запахом, даже бредили. Эти цветы словно привораживали людей к здешней земле, отнимавшей у них последние силы.

Ха подумала: «Вот и опять распустились цветы...»

И все-таки вера ее оказалась сильнее чар, таившихся в цветах. Однажды она решилась...

Ночью она тайком пробралась на один из плотов, груженных корою.

На переднем и замыкающем плотах каравана перекликались деревянные барабаны, точно ухали совы, неведомо как очутившиеся на реке. Посреди широких плотов, связанных из стволов ныа, высились груды коры. На переднем плоту краснел огонек фонаря, а следом за ним, извиваясь точно огромный змей, плыл по реке караван, то обведенный белой чертою пены, то вновь исчезающий во мраке.

Ха спряталась в грудке коры на среднем плоту. Она совсем ослабла в дороге от голода.

Наконец через несколько дней караван подошел к пристани Тем.

Из пригорода, иногда ненадолго затихая, доносился лай собак. Наверно, грабители где-то подожгли дом? Или скачет по дороге гонец со срочной депешей? А возможно, чье-то войско подступает к городу; нынче ведь всех военачальников и не упомнишь. Или, может статься, кто-то стащил у солдат ружья?

Ни одной ночи не спали люди спокойно. А ежели вдруг ненароком и воцарялась тишина, шум непременно начинался снова и опять просыпались опасенья и страхи.

Ветер шевелил засохшие плети лотосов, круглые пластины листьев шуршали и шелестели, и запах их долетал до самых ворот храма.

Ха стояла на берегу. Она старалась разглядеть во тьме хижины общины Хо. Целых три года не видела она Западного озера. Неожиданно все закачалось и поплыло у нее перед глазами, и она прислопилась спиной к колонне храма. С другого берега, как и три года назад, донесся размеренный стук пестов. Сердце Ха вдруг наполнилось сладкой истомой, как в тот далекий вечер, когда она впервые смотрела представление тео. В тот вечер Ха охватило предчувствие какой-то радости, чего-то неизведанного и прекрасного, и оно не обмануло ее. Ха и сейчас еще помнила все жесты лицедеев, их пение, каждое их слово...

Ей казалось, будто она сама совсем не изменилась с тех пор, а этих трех лет, безрадостных и мрачных, будто и не было вовсе. Молча прислушивалась она к глухому стуку пестов. Ожидание встречи с любимым стерло из памяти все страдания и беды.

На небо вышла лупа.

Ха глядела на утопавшую в туманном мареве деревню. Она узнавала каждую хижину, каждый навес у околицы под сенью бамбуков, где соседи толкли кору. Вон там стоят на земле плоские каменные ступы, в которых кору толкут пестами с бамбуковыми рукоятями. А вот и знакомый навес: Тьы в своей набедренной повязке толчет, как всегда, волокпистый луб; он нагибается, поправляет покосившуюся ступу, и спина его блестит от пота. Потом он распрямляется, и руки его снова — уверенно и крепко — ложатся на рукояти песта. Пест поднимается и падает в каменную ступу... Тум! Тум!.. Тум! Тум!.. Гул от его ударов несется далеко-далеко, к самому горизонту.

Ха наклоняется, раздувает соломенный трут. Солома вспыхивает. Распрямившись, Ха поднимает над головой ярко горящий трут и машет им в темноте. Огонь должен быть виден на другом берегу.

За озером вдруг умолкает один из пестов. Привычный слух Ха сразу улавливает эту перемену. Это Ты, как всегда, заметил поданный ею знак.

Ха поправляет косынку. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Она медленно опускается на землю у тройных ворот храма. Да, так и есть! Ты увидел ее огонек и понял, что она вернулась. Вот он сбегает к лодке и плывет сюда, ей навстречу. У нее перехватило дыхание, и, откинув голову, она привалилась к колошце.

На озере зашуршали лотосы; казалось, там, в темноте, выжи преследуют свою добычу. Потом появилась лодка, она пересекла полосу чистой воды и причалила к берегу.

Лодочник прыгнул на берег и торопливо взбежал по откосу. Вот он уже во дворе перед храмом. Ха силилась разглядеть его в темноте. Он подошел к ней и громко спросил:

— Это вы, Ха? Значит, вернулись...

Человек этот был ей незнаком.

Лунный свет серебрил капли, сбегавшие по его широкой спине; не понятно, пот ли это был или туман, клубившийся над лотосами, оседал на коже.

И тут Ха узнала его: конечно же, это тот самый гонец из Нгиадо, что привез ей когда-то привет от Ты и ружье для учителя До! Она вспомнила и этот голос, и необычный говор.

— Ты велел мне, как вернетесь, передать вам это. Он сказал, что вы непременно обрадуетесь.

И лодочник протянул ей шелковый платок, в какие обычно заворачивают пожитки и одежду для дальней дороги. Это был ее подарок. Она дала платок Ты, когда тот приезжал в деревню верхом на коне. Ты сохранил его...

Она опустила голову. Сколько же бед и несчастий может вынести человек за отпущенный ему судьбою недолгий век?!

— А где же Ты? — спросила она, глотая слезы. — Что с ним?

Парень показал рукою в сторону городской стены:

— Он пошел в город за ружьями. Денька через три вернется. Ха снова понурилась и умолкла.

— Мы стараемся раздобыть побольше ружей, — сказал он. — Иногда каждый день прибавляется по ружью, а не то и по несколько штук сразу. Мы решили больше не связываться с пачальниками да с чиновниками, они только и знают что книжную свою премудрость, а до настоящего дела руки у них не доходят. Да и не поймешь, что у них там на уме. Наговорят с три короба, заварят кашу, а сами потом снова зовут тэй. Сволочи!..

Вся эта братия, что в столице, что у нас здесь, — одного поля ягоды. Не на кого нам теперь рассчитывать, только на самих себя. — Он вдруг засмеялся. — В прошлое полнолуние я тоже ходил в город. Вернулся с хорошей добычей. Этих тэй в юбках¹, что караулят склады, прикончить проще простого.

Да, многое изменилось здесь. Ха слушала, как приятель Тьы рассказывал про ружья, патроны, про вражьих солдат, вельмож с чиновниками да про всякие смертоубийства — дела, прежде ей вовсе неведомые, — слушала и не удивлялась, будто речь шла о чем-то привычном.

Она знала: нрав у Тьы остался прежний — горячий и пылкий, а сердце — верное и неизменное.

И все-таки Тьы переменился, да оно и не мудрено: где только ни довелось ему побывать; чего только ни повидал, и знал теперь, что за околицей, где стоит его шалаш с пестом и ступой, простирается огромный мир и в этом мире есть множество дел поважнее былых его забот и трудов. Сколько перевидал он голодных и нищих деревень! И всюду народ говорил: хорошо бы одной веревкой связать начальников со стражниками и тэй, затянуть покрепче да и бросить в реку, чтоб унесло их куда подальше. Вот тогда народ заживет по-человечески.

Вернувшись домой, Тьы помог учителю До уйти из-под самого носа начальников уезда, которые нагнали солдат и окружили всю деревню, намереваясь схватить вольнодумца. Учитель переправился тогда через реку и стал предводителем повстанцев.

Тьы ездил в Донгчиеу закупать кору дерева кань. Из нее варят бумагу на запалы для шутих и хлопушек, которыми торгуют под Новый год по всему Парусному ряду. Но Тьы и учитель До не зря были выходцами из «бумажной» деревни — они придумали делать из этой коры, волокнистой и клейкой, фитили для ружей. Вместе с земляками Тьы доставлял кору в общину Быои, а здесь привычные руки умельцев делали из нее бумагу для фитилей. По ночам бумагу эту переправляли за реку в оружейные мастерские повстанцев...

— Знаете, Ха, — снова заговорил приятель Тьы, — войска наши сошлись отовсюду и заняли все деревни на том берегу. По ночам даже здесь, на пристани Тем, слышно, как за рекою кричат в рупор, собирая солдат. Отряд под командой Кыонга

¹ Дважды захватывая Ханой (в 1872 и 1882 гг.), французы использовали североафриканских стрелков. Солдаты эти, арабы по национальности, закутывались в широкие полотнища черной ткани, и потому их называли тогда в Ханое «тэй в юбках». — *Прим. автора.*

подошел уже к самому храму Генъ, учитель До, мой земляк, со своими бойцами стоит у пристани Боде¹; оттуда видны даже шапки на головах у тэй, что заняли Донтхюи. Скоро мы заживем по-новому!

Ха глядела вниз, на Лотосовую заводь. Лунный свет играл на воде золотистыми бликами. И ей вдруг снова привиделся золотой храм. Во второй уже раз является к ней это виденье! Выходит, и ей суждено обрести счастье и радость!..

Она подумала: в тот самый день, когда возвратится любимый, сбудутся наконец ее мечты. А ведь он должен скоро вернуться!

Следующей ночью повстанцы опять собрались в Ханой добывать ружья, и Ха пошла вместе с ними, надеясь встретить Тьы...

Наступил второй месяц. Подошло время праздника в храме Бронзового барабана.

На этот раз уже не было «летающих» носилок — оказалось, что тащить их некому. Ученым-конфуцианцам да отрокам из богатых и чиновных семей не под силу было нести, как положено, носилки от Конгви до самого храма. А деревенские парни в набедренных повязках, таскавшие их прежде, ушли в войско учителя До. Теперь у них была другая поша — ружья, похищенные у тэй, — и лежала она, эта новая поша, не на раззолоченных носилках, а в плетеных коробах. И деревенские парни доставляли их повстанцам, установив на жердях, как носят с базара свиней.

Но древние старики из рода Ли, возжигая в храме благовонные палочки, не сетовали на то, что праздник утратил свое благолепие и торжественность. Покачивая головами, они говорили: «В смутное время место мужчины — на поле брани...»

¹ Боде — старинная пристань на левом берегу Красной реки, откуда переправлялись обычно на правый берег, в Ханой.

СКАЗКИ



Редактор М. Финогенова

ЖИЗНЬ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ПОДВИГИ СЛАВНОГО КУЗНЕЧИКА МЕНА, ОПИСАННЫЕ ИМ САМИМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я пачинаю жить самостоятельно с самого раннего детства.— Прodelки и проказы, в которых я раскаивался потом всю жизнь.

С самого раннего детства я живу самостоятельно. Так уж ведется издавна у нас, у Кузнечиков. И Мама всегда говорила нам: «Дети, вы должны с первых же дней приучаться к самостоятельной жизни. Очепь плохо, когда Кузнечик долго сидит на шее у родителей. Значит, он всегда будет чьим-то нахлебником и не совершит ничего путного». И у нас в Роду матери, едва лишь дети появляются на свет, начинают сразу заботиться о том, чтобы устроить для каждого из детей свой отдельный дом.

Нас родилось трое братьев, и мы провели под родительским кровом всего два дня. На третий день Мама вывела нас из дому, и мы зашагали за нею — след в след, радуясь и в то же время печалась. Она поместила каждого в отдельный домик у самой Межи, что по ту сторону Большой лужи.

Уж не знаю, когда и как умудрилась она выкопать, надстроить и изукрасить наши жилища!

Я был младшим из братьев, и, понятно, самым маленьким. Поэтому Мама, легонько втолкнув меня в домик, оставила у входа десяток сладких листочков, чтобы на первое время, покуда я не наберусь ума-разума, у меня была Еда.

Потом она спокойно ушла.

Сказать по правде, я не очень-то опечалился. Напротив, я даже обрадовался, что стал единственным владельцем такого дома, красивого и прохладного. Я тотчас отправился осматри-

вать его; налюбовавшись вдоволь, вышел наружу, поднял голову и стал глядеть на небо, синевшее между высокими травинками. Душа моя переполнилась гордостью, я расправил свои крылья, увы, едва достигавшие мне до подмышек, и громко застрекотал.

Так начался мой Жизненный Путь. Откуда я мог тогда знать, буду ли счастлив в будущем, суждены мне удачи или, напротив, одни огорчения? Но я не очень-то ломал над этим голову. Сознание собственной Независимости доставляло мне величайшую радость.

Мой день начинался теперь с трудов и усовершенствований в доме. Я копал и утапывал землю, чтобы сделать его просторнее и уютней, и, можно сказать, запово соорудил себе спальню с роскошным ложем посередине. Затем — с дальновидностью, свойственной обычно более зрелому возрасту, — я прорыл два Запасных Выхода, на случай опасности. И, решив, что дом мой отныне должен называться Дворцом, я объявил об этом всем соседям и родственникам.

Когда солнце пачинало клониться к закату, я, отдохнув немного, выходил на прогулку. Я встречался с молодыми кузнечниками и кузнечихами, и мы играли на данах и пели вечерние песни, провожая заходящее солнце. Ну а едва ночь вступала в свои права, все, кто жил на Нашем Лугу — даже старички-кузнечики и ветераны-бакланы, — веселые и довольные, выходили из своих домов, сойдясь посреди Луга, ели сочные травы, запивая их прохладной росой. Наевшись, те, кто были наделены Талантами, бряцали на струнах, играли на свирелях, плясали и пели, покуда небеса на востоке не начинали серебриться. А едва поднималось солнце, оглядывая строгим оком пробуждающуюся землю, мы расходились по домам.

И так изо дня в день, из ночи в почь, каждое утро и вечер. Эта праздная жизнь, безусловно, достойна сожаления. Правда, она увлекла меня поначалу, но потом я в ней разочаровался.

Ел и пил я в меру — не много, но и не мало, трудился, сколько положено, и потому рос очень быстро и, не успев оглянуться, вымахал в плечистого и крепкого юпошу. Длинные ноги мои округлились и налились упругой силой, а щетинки на них стали твердыми и острыми. Время от времени, желая испытать их смертоносную мощь, я поднимал ногу и что есть силы ударял по стеблям травы. Травинки падали наземь, словно подкошенные острием ножа. Крылья мои, прежде совсем короткие, теперь, подобно длинному одеянию, окутали все тело вплоть до хвоста. Раскрывая их, я всякий раз слышал приятный низкий

гул. Когда же я шествовал по земле, тело мое, раскачиваясь из стороны в сторону, ласкало взгляд переливами оливкового цвета. Голова моя выросла, стала больше чуть ли не вдвое и сидела на плечах высоко и гордо. Черные блестящие челюсти без устали двигались взад-вперед, словно лезвия механической косилки. Длинные усы лихо загибались кверху. Я очень гордился ими перед соседями и соседками и при каждом удобном случае, как бы невзначай, расправлял и поглаживал то правый, то левый ус.

Походка у меня стала степенной и величавой. Я звонко печатал шаг, качая в такт усами. «Пускай,— думал я,— соседи с соседками видят, какова она, настоящая Рыцарская поступь!..» Упоенный собственной удалью и красотой, я что ни день затеивал с соседями перебранки и свары. В конце концов, стоило мне застрекотать, пробуя голос, все тотчас же умолкали и на мои песни никто не откликался: меня уже знала вся округа. Пожалуй, соседи не разговаривали со мной и не подхватывали мои песни не из робости или страха — просто мои повадки были им не по душе. Но я-то вообразил, будто передо мной трепещут все и вся, и мнил себя молодцом — хоть куда. Ах, как часто спесивцы и сумасброды приписывают себе несуществующие Таланты и Подвиги!..

Я бранил и обижал юных саранчих Каокао, что жили на краю Нашего Луга, и, едва завидев меня, они прятали свои округлые, как плоды соана, личики за листьями травы, украдкой выглядывая из своих укрытий. Подкараулив у Пруда водяного жука Гаунгво, когда тот, весь вымазанный в иле и обалдевший от усталости, выбирался на берег, я пинал его и поносил последними словами. И конечно, воображал себя при этом могучим и славным героем, достойным в ближайшем будущем стать Первым среди всех живых тварей.

Откуда мне было знать, что подобные выходки и повадки доказывают лишь мое собственное невежество? Ах, как скоро мне пришлось убедиться в этом, заплатив за знания дорогой ценой! Теперь, когда все уже позади, я не устаю каяться и буду каяться вечно. Но, увы, исправить последствия злых дел, пускай совершенных по молодости и недомыслию, никому не дано!..

Вот моя первая выходка, достойная всяческого осуждения — воспоминания о ней терзают меня до сих пор.

Неподалеку от моего Дворца жил в норке кузнечик по имени Мозгляк. Собственно, это я сам прозвал его Мозгляком — в знак презрения. Был он, пожалуй, моим ровесником, но от рождения хил и слаб, и потому я его ни во что не ставил, а он боялся меня

как огня. Тощий, голенастый и какой-то расхлябанный, на вид — точь-в-точь курильщик опия, худой, изможденный и хилый. И хоть он, как говорится, вошел уже в возраст, куцые крылышки его едва прикрывали ребра, поэтому издалека казалось, будто он, раздевшись донага, напялил на себя жилетку. На его ножки, коротенькие и толстые, как культишки, противно было смотреть. Вместо усов у него болтались какие-то обрывки. А впрочем, к такой тупой роже другие усы не подошли бы. Пробавлялся он по мелочам — чем бог пошлет, да и жил в убогой норе — мелкой, чуть ли не вровень с землей, далеко ей было до моего глубокого и просторного Дворца с многочисленными входами и выходами. Сосед мой все время болел, и Настоящее Дело было ему не по силам; но тогда я этого не понимал.

Однажды я заглянул к нему и, глядя на царивший в его доме ужасный беспорядок, сказал:

— Что же ты, братец, так захламил свой дом? Да разве это жилище?! Всякий, кому не лень, заберется сюда в два счета, и тебе крышка! Сам погляди: вот ты залез в свою дыру, а спина, как ни пригибайся, торчит над землей. Даже оттуда, из-за травы, видно, улегся ли ты на покой или расхаживаешь по дому. А ну как тебя заметит Ястреб! С высоты-то он может на тебя и польстится, клюнет прямо в спину, и нет тебя! Жаль мне тебя, хоть плачь: вроде немало на свете прожил, а ума не нажил...

По правде говоря, я произнес эту речь без всякого умысла, лишь бы язык почесать. До сокрушенных вздохов Мозгляка мне не было никакого дела. И вообще в то время я больше слушал себя сам, мне этого было достаточно; и я не очень-то заботился, внемлет ли моим словам хоть кто-нибудь еще.

— О уважаемый Мен,— печально отвечивал мне Мозгляк,— хотел бы и я жить разумно и осмотрительно, да только ничего не выходит. Едва примусь за дело — сразу одышка и в глазах темно. Где уж мне копать или строить! Хорошо, если за ночь соберу себе поесть... Я ведь и сам понимаю: жить в таком доме очень опасно. Но где взять силы? Вот который месяц ломаю голову, а все напрасно. Есть у меня, правда, одна мыслишка, по... Если позволите, я... я скажу...

И он от волнения стал переминыться с ноги на ногу. Жалкое было зрелище! «Лучше уж пусть говорит»,— подумал я и ответил:

— Ладно, выкладывай, братец, да поскорее.

— Раз вы мне так сочувствуете,— тут он поднял на меня глаза,— не выроете ли для меня подземный ход прямо к вашему Дворцу, чтобы я в случае чего...

Не дослушав его до конца, я щелкнул челюстями и возмущенно зашипел:

— Ишь ты, шваль! Подземный ход к Нашему Дворцу?! Больше ничего не хочешь?! Да ты, поганец, смердишь, как Сыч! Ведь Нас с тобой рядом просто тошнит. Смотри, как расчувствовался... Утри-ка сопли! Сам вырыл свою дыру — и подыхай в ней!

Повернулся и как ни в чем не бывало отправился восвояси.

Однажды под вечер я, по своему обыкновению, стоял у дверей, любуясь закатом солнца.

В последние дни было много дождей. Окрестные пруды и озера слились с большими лужами и образовали целое море. Оно блестело прямо передо мной. В высокой воде кишмя кишели рыбы, раки и крабы. Ну а за ними, само собою, пожаловали с оскудевших речных побережий голодные цапли и журавли, выпи и бакланы, чирки и птицы Шэмкэм, что клюют в северных чащах чудесный корень жень-шень, пеликаны и разные утки. С утра до ночи они кричали, свистели и крякали, яростно споря из-за каждой крохотной креветки. Иные цапли, из тех, что помоложе, день-деньской топчутся в иле, буравят его клювом, да так ничего и не сыщут для своих отощавших желудков. Глянешь на всех этих птиц — прямо беда: худющие, еле ноги тащат! Хлопочут бедные, бьются, а живут впроголодь...

Так стоял я у двери, вызолоченной отражавшимися от воды бликами заката, и размышлял о превратностях жизни, чувствуя какое-то смутное беспокойство и тревогу.

Вдруг я увидел, как над водой поднялась пожилая Бакланиха и, подлетев к берегу, опустилась рядом с моим Дворцом, в двух шагах от меня. Судя по всему, ей перепал недурный кус: едва приземлившись, она отыскала местечко попрохладней и начала охорашиваться, чистить перышки, прочищать клюв.

Надо сказать, нрав у меня был в ту пору озорной и пакостный. И хоть Бакланиха эта ничем меня не задела, я решил устроить ей какую-нибудь каверзу и окликнул Мозгляка:

— Эй, братец! Не хочешь ли позабавиться вместе с Нами?

— Позабавиться, а как?.. У меня вообще приступ астмы... Кхе-кхе...

— Да забава-то пустяковая.

— Кхе-кхе... А в чем дело?

— Давай-ка подденем вон ту старуху Бакланиху.

Мозгляк выглянул из своей дыры, покосился на птицу и спросил:

— Эту почтенную пышнотелую Бакланиху, что стоит у моего дома?

— Ага.

— Нет уж... Кхе-кхе... Увольте. Припадаю к вашим стопам всеми шестью лапками... Кхе-кхе... Вы лучше ее не трогайте. Как бы она вас...

— Она Нас — что?.. — заорал я, выпучив глаза. — Да как ты смеешь? Мы — кузнечик Мен! Мы — самый главный! Мы никого не боимся!

— О дорогой Мен, вы... Кхе-кхе... Позвольте тогда мне бояться за двоих. А вы, пожалуйста, развлекайтесь без меня.

Я отчитал Мозгляка как следует.

— Эх ты, олух! — сказал я в заключение. — Смотри, как Мы сейчас допечем эту старую тушу.

Дождавшись, пока Бакланиха отвернулась от моего Дворца, я запел язвительно и звонко:

Тири-ри! Тири-ри!
Птиц у нас не две, не три!
Журавли, нырки, баклапы...
Нет, не сосчитать;
Все жирны. Кого, скажите,
Первым ощипать?
Мы Бакланиху поймаем,
Перья миглом ощипаем,
И отварим,
и зажарим,
и съедим!

Бакланиха решила, будто голос раздался прямо из-под земли, сперва растерялась, а потом взмахнула крыльями и чуть было не улетела, но через минуту пришла в себя, вылупила глазщи, угрожающе растопырила крылья и, раскачиваясь из стороны в сторону, двинулась к моему Дворцу.

— Что там за дрянь, — приговаривала она на ходу, — поносит Нас?.. Что за дрянь поносит Нас?..

Я тотчас юркнул во Дворец, прошествовал в спальню и улегся, скрестя руки и ноги на роскошном ложе. «Сердишься, старая туша, — думал я с удовольствием, — ну и сердись на здоровье! Хоть расплющи свою тупую башку, а во Дворец тебе не пролезть...»

Но тут случилась беда — себялюбец, каким я был тогда, конечно, не мог ее предвидеть.

Не заметив меня, Бакланиха углядела зато Мозгляка, торчавшего у своей норки.

— Ты что сказал, мерзавец? — заорала она.

— Полно вам, почтешнейшая, я ведь и рта не раскрыл.

С этими словами он кинулся в порку.

— Отпираешься, да? Вот тебе!.. Вот тебе!..

И после каждого «вот тебе!» Бакланиха клевала Мозгляка в спину. А клюв у нее был как железное шило — хоть землю насквозь протыкай. Она двумя ударами перебила Мозгляку кости, и он заверещал от нестерпимой боли. Даже я в подземной своей спальне съежился и не дышал от страха. Ну а Бакланиха, отведав душу, почистила перышки, взлетела и опустилась на воду, нимало не задумываясь о содеянном зле.

Когда она улетела, я осмелился выползти из Дворца. Увидав меня, Мозгляк заплакал навзрыд.

— Что случилось? — задал я нелепый вопрос. — В чем дело?

Мозгляк не в силах был даже подняться. Он лежал пластом. Я опустился на колени и приподнял его голову.

— Ах, — сетовал я, — кто же мог знать, к чему приведет невинная шутка? Я раскаиваюсь! Я от души сожалею! Неужели вы умрете из-за моего безрассудства?! О, как искупить мне ужасную эту вину?!

Ответ его, признаюсь, ошеломил меня.

— Чего уж там, — сказал он чуть слышно, — я все равно был больной и хилый, потеря невелика. Но прежде чем закрыть навеки глаза, я хочу предостеречь вас: знайте, бессердечность, невежество и себялюбие рано или поздно бывают наказаны. И вам...

Тут он испустил дух... Я очень жалел о нем. Жалел и раскаивался. Ведь не вздумай я задирать Бакланиху, с Мозгляком бы ничего не случилось. Да и меня самого, честно говоря, спасла лишь резвость ног; не скройся я вовремя во Дворце, мне бы несдобровать. Вот уж всем глупостям глупость!

Я похоронил Мозгляка на пышной зеленой лужайке. Насыпал над ним высокий могильный холм и долго еще стоял в молчании у его надгробья, размышляя над первым уроком, который дала мне жизнь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Нежданные приключения. — Я становлюсь забавою ребятишек. — Жук Сиентаук дает мне новый урок.

Я привыкал взвешивать заранее свои поступки. Мне ли было не знать, как важно вовремя уяснить себе градь между какой-нибудь безрассудной выходкой и тщательно обдуманым поступком. И я чувствовал, как на меня снисходит покой. Увы,

эти безмятежные дни продолжались недолго; правда, сейчас я затрудняюсь назвать какой-то определенный срок. А потом словно вихрь нагрянули, закружили меня и унесли прочь самые невероятные приключения.

Это случилось в начале лета. Как-то поутру я завтракал недалеко от Дворца свежей молодой травкой. Вдруг в конце Нашего Луга показались двое мальчишек, один нес длинную палку, второй — ведерко с водой. Я пригнулся и, стараясь слиться с травой, добрался до Дворца и скрылся.

Почти тотчас над головой у меня загрохотали шаги, и я услышал разговор мальчишек:

— Та-ак... Есть!

— Ну как?

— Здесь мы не прогадаем. Вон гора свежей земли.

— Ага. Ишь, сколько земли нарыл. А следов-то, следов! Прямо все истоптано. Ну-ка, давай сюда нож. Я расковыряю нору, а ты лей воду, вон туда. Быстрее, пошевеливайся!

Я услышал скрежет железа, земля содрогнулась, и потолок стал осыпаться мне на голову. Предчувствуя беду, я двумя прыжками забрался повыше и притаился в одном из запасных выходов. Минутой позже вниз с шумом хлынула вода. Мальчишки решили, залив Дворец, выгнать меня наружу. Но всякий раз вода, едва достигнув моих ступней, спадала. Не зря потрудился я заблаговременно вырыть этот крутой переход и множество боковых ходов. Теперь вода не застаивалась и уходила вниз.

Да вот беда — мальчишки попались ужасно настырные: никак не хотели уйти, все шумели и топтались вокруг. Оставленные мною следы, к сожалению, были весьма красноречивы: «Здесь есть Кузнечик!..» Особенно усердствовал старший, по имени Ньон. Бе, в который раз заливая воду и не видя от этого никакой пользы, предлагал поискать другое место, но Ньон был непреклонен:

— Спорим: он там! И кузнечик здоровенный — первый сорт. Водой такого сразу и не возьмешь: его зальет так, что и усов не видать, а он все терпит. Бывает, и час отсидит, и два, пока не вылезет на солнышко. Давай-ка, заткнем все боковые ходы! Вода сразу поднимется, и ему некуда будет деться: не хочешь задохнуться — вылазь.

Сказано — сделаю. Вскоре во Дворце стало совсем темно. О небо, они законопатили все входы и выходы! Открытым оставался лишь Главный ход, но именно там караулили мальчишки, готовясь схватить меня за горло. Вода теперь больше не уходила, напротив, она поднималась все выше и выше...

Она сомкнулась над моею спиной, потом накрыла меня с головой. Только усы качались еще над волнами. Но вот и они ушли под воду. И все-таки я, из последних сил удерживая дыхание, не двигался с места. «Ничего,— думал я,— еще не все потеряно! Вода высока, но она вот-вот впитается в землю, почва-то здесь песчаная. Я пережду...»

Сначала вода и впрямь стала уходить в землю. Но всему на свете положен предел: почва насытилась влагой, и вода начала подниматься снова.

«О ужас! — воскликнул я про себя... Придется теперь вылезать наружу — на верную смерть... Что еще ждет меня там?! Мальчишки схватят меня и скормят своим бойцовым петухам, соловьям или желтоклювым дроздам — конец один! Любой из этих рабов небось не побрезгует таким лакомым кусочком... Но и здесь, под землей, я тоже погибну, стану холодным и мокрым утопленником...»

И хоть я ничего еще пока не решил, но с каждой новой струей воды продвигался все ближе и ближе к двери. Вот уже голова моя вынырнула из воды. Я хватил изрядный голоток воздуха, и мне сразу полегчало. Теперь, гонимый течением, я все быстрее приближался к выходу.

О горе! Я позабыл, что, жадно вдыхая воздух, с каждым шагом подвергаюсь все большему риску. И когда новая волна хлестнула меня по ногам и подтолкнула вперед, я услышал ликующий крик:

— Вон он, смотри!

— А башка-то какая здоровенная...

Мальчишки, заглянув в Главный ход, заметили меня. Я бросился назад, но было уже поздно! Теперь они ни за что не уйдут. Вода хлынула с новой силой. От топота их и возни земля содрогалась у меня над головой. Задрожал и я. Я попробовал было опять задержать дыхание, но напор воды становился все сильнее. В душе я еще крепился, однако ноги сами несли меня к выходу. Вдруг за спиной у меня раздался шум, подобный грому. Я оглянулся: вонзенные в землю бамбуковая плашка и лезвие ножа преградили мне путь назад, в глубь Дворца.

Ничего не скажешь, мальчишки — не промах. Догадались, что вода оттеснила меня к самой двери, и отрезали мне отступление. Хорошо еще, их ножи и бамбуковая дощечка не угодили в меня — рассекли бы пополам! Ах, может, это было бы еще не самое худшее?! Ничего не успев понять и даже толком не испугавшись, я вдруг почувствовал, как этот проклятый бамбук толкает меня к выходу. Так оно и было: Ньон своей плашкой

просто-напросто выгребал меня из земли. А Бе колотил что есть мочи по пустому ведерку и вопил «держи-держи», словно ловил не меня, Мена, а какого-то мелкого воришку.

Видя, что положение мое безвыходное, я напряг все силы и одним прыжком выскочил наружу.

— Братцы! Вот так кузнец!

— Хо-хо! Кузнечик-великан!

— Да он побольше четырех твоих цикад!

— Это — царь кузнечиков...

Ньон схватил меня, я укусил его за палец. Он заорал. Я укусил его снова, и он уронил меня наземь. Пользуясь случаем, я прыгнул в траву. Но мальчишки — с плетенкой и ведром — бросились следом. И вот я уже барахтаюсь на дне плетенки, в ярости пытаюсь перегрызть крепкие ячеи. Но мальчишки перетянули дно плетенки тряпкой, плотно спеленав меня по рукам и по ногам. Я еле дышал. А Бе с Ньоном, подобрав ведрок и прочие принадлежности, пошли к труду — умываться. И меня попесли с собой.

Ах, как они ликовли на обратном пути, как весело приплясывали, смеялись и пели!

Лежа в плетенке, я бросил последний взгляд на свои родные места. Колыхались под ветром молодые зеленые травы, серебрились бескрайние воды. Солнце играло в кронах деревьев золотыми бликами. Сердце мое пронзила острая боль, и слезы ручьем полились из глаз. С каждым шагом мы уходили все дальше и дальше. И вот уже, оглянувшись назад, я не увидел больше Нашего Луга. Он исчез, скрылся из глаз. Я был близок к смерти!..

Мальчишки, давно оставив позади Луг, пошли по дорожке, петлявшей вдоль живой бамбуковой изгороди, потом свернули на узенькую тропку, которая привела их к воротам. Ньон забежал в дом оставить там снаряжение, при помощи которого они добывали из-под земли нас, кузнечиков. Бе опустил наземь плетенку и остался ждать его во дворе.

Поняв, что сейчас решепа будет моя участь, я затрепетал и все три пары моих ног похолодели: не успеешь оглянуться, как станешь птичьим лакомством!.. Правда, нигде не видать было ни клеток с соловьями, ни красногребенчатых бойцовых петухов. И на душе у меня стало полегче.

Накопец Ньон вышел из дома.

— Давай-ка, — сказал ему Бе, — отпесем этого кузнеца нашей любимой утке, пусть поест сладепького.

Я затрясся от ужаса: «О небо!..»

— Да ты что, спятил? — замахал на него рукой Ньон. — Такие кузнечики попадают раз в сто лет...

«Вот это понимающий человек», — отметил я, несмотря на все свои страхи.

— ...Он ведь у них, — продолжал Ньон, — все равно что у нас, у людей, самый главный генерал! Помнишь, Тхинь хвалялся, будто его кузнечик сильнее всех на свете! Посадим-ка нашего в клетку да отнесем к Тхиню. Пускай сразятся!

Он раздул щеки и задудел как на рожке: «Ту-ру-ру-ру!..» Потом запел:

Чем кончится бой,
Наперед не узнать никогда.
Тра-та-та...
Военное счастье —
Та же речная вода.
Ту-ру-ру...

«Ни слуха, — подумал я, — ни голоса. На Нашем Лугу его бы никто и слушать не захотел.»

— Ура-а! — захолопал в ладоши Бе. — Вот будет потеха...

Итак, от скорой смерти я избавлен. А ведь поначалу я и на это не рассчитывал!

Мальчишки засунули меня в бамбуковую клетку, просторную и удобную, но... с крепким запором на дверях. И я решил, будь что будет, разумней всего прилечь, отдохнуть в ожидании перемен — попробуй только, догадайся, каких именно... Одно лишь я знал наверняка: мне предстоит сражение. И при одной мысли об этом у меня чесались руки. Я даже на время забыл, что нахожусь в неволе и что для узника главное — Свобода. Во мне пробудился снова мой прежний драчливый и вздорный нрав.

В полдень меня, как и было решено, повесили на «турнир» с соседским кузнечиком. Мне не терпелось увидеть этого пусто-голового забияку (как будто я еще не насмотрелся на самого себя?!)

Ньон остановился у ворот и крикнул:

— Тхинь! Эй, Тхинь!

— Чего тебе?! — спросил тот, выбежав из дома.

— Смотри, какой у нас кузнечик! А ну-ка, неси своего, пусть сразятся. Что, испугался?

Тхинь усмехнулся презрительно, сходил домой и вынес клетку с кузнечиком. Все общество направилось в Сад, к старому раскидистому дереву Нян. Ах, как хороши плоды Няна: под бурой кожицей сладкая белая мякоть, а в середине черное семеч-

ко. Но мне тогда, сами понимаете, было не до лакомства. Да и мальчишки, как оказалось, тоже думали о другом. Их манила густая прохладная тень под деревом. Там они улеглись на траву и крепко соединили — дверца в дверцу — обе клетки, как сцепляют — крытым переходом — вагоны в поезде. Потом выдернули створки, чтобы мы могли перейти из одной клетки в другую.

Соседский кузнечик тотчас прыгнул в мою клетку. Был он поменьше меня ростом, но заносчив и самоуверен невыносимо. Этаким сморчок, а выступает спесиво и нагло, словно все на свете, кроме него, и даже я, Мен,— просто отбросы... Я как завижу таких, сразу выхожу из себя!

Поглядев на меня, он расправил свои куцые усы и закричал: — Ай-ай, ну и рожа у тебя, ну и стать! Боюсь, пнешь тебя вполсилы и невзначай зашибешь насмерть. Хотя, может, ты и выживешь?

Каково мне было все это слышать! Разъярился я ужасно, однако — сам не знаю как — сдержался и отвечал пристойно (уж очень, наверно, я его тогда презирал).

— Послушайте,— сказал я,— к чему весь этот шум? Тот, кто поумнее, никогда не бахвалится заранее. Почему бы нам с вами не обойтись без крика и брани?

— Заткнись! — взвизгнул он и скрипнул зубами.— Если не трусишь, выходи... Хватит болтать.

Кровь во мне закипела, я думаю, что это слышно было даже на расстоянии. Но мы здесь сошлись не на словесном ристалище! Я подскочил к нему, и поединок наш начался под смех, крик и аплодисменты троих мальчишек. Иногда они от восторга опрокидывались на спину и, задрав ноги, болтали ими в воздухе. Уже после первой схватки мне стало ясно: биться со мною этому хвостуну не под силу. И я оказался прав. Едва я провел свой любимый прием — удар правой задней,— он рухнул навзничь. Я нанес еще один лишь удар — и черные челюсти моего противника залила кровь. Перебитая лапа бессильно повисла, и он забился в судорогах. Не испытывая ни малейшего желания продолжать бой, я наклонился к самому его уху и холодно произнес:

— Это будет тебе уроком. Вот к чему приводит хвастовство и невежество. Одумайся лучше, букашка.

Он не вымолвил ни слова и только дрожал всем телом.

Но если соседский кузнечик и решил оставить свои дурные замашки, то сам я, увы, ступил в тот день на пагубный путь. Мне, словно заразная болезнь, передалось чванство и злонравие

моего соперника: я поступил дурно лишь потому, что кто-то другой захотел дурно обойтись со мной.

Как же я мог так низко пасть?! Должно быть, на самом деле я не изжил ни гордыни, ни безрассудства. О, я прекрасно умел распознавать зло в других, но не искоренил его в собственной душе, и зло это снова пустило свои побеги. Когда я поверг соседского кузнечика наземь, когда бранил его, я мысленно произносил также речи: «О, как я силен, как умен и искусен!.. Поистине я превзошел всех и вся... Одним лишь движением я поверг в прах этого недомерка...»

Я знал, что прославлюсь теперь, самое меньшее — по всей деревушке. И нос мой — сам по себе — задрался еще выше...

Я не ошибся: скоро ребятишки со всей деревни наперебой спешили «вылить», откопать, наловить кузнечиков и несли их сражаться со мной. Я стал известен как непобедимый воин. И репутация моя вовсе не была дутой: стоило мне провести знаменитый удар правой задней, и любого противника выносили вперед ногами. Я был тогда в расцвете молодости и сил и, увы, в расцвете самых дурных склонностей. Никого, кроме себя, я вообще не считал за Кузнечиков. Наверно, если б кто-нибудь поставил меня тогда перед безупречно отполированным зеркалом, я увидал бы в нем не свое отражение, а точный портрет соседского кузнечика. И теперь все упреки и укоризны, которые я высказал ему, могли быть с еще большим основанием обращены ко мне. Я ходил, разговаривал и бранился, точь-в-точь как он.

Поскольку из любой схватки я выходил победителем, мои хозяева, Ньон и Бе, очень меня полюбили, дорожили мною и берегли как зеницу ока. Стоило мне повергнуть очередного врага, я тотчас получал Награду: охапки свежих, прямо-таки таявших во рту зеленых травинок.

Едва на землю опускалась ночь, мои дорогие хозяева приглашали меня на жердь, увитую Базиликой, испытать прозрачной и сладкой росы. Это так и называлось у нас — «Променада с выпивкой на Базилике». Правда, во время своего променада я был привязан за ногу. Перекусить привязь для меня было плевое дело, но я этого не делал. Я выпивал сверкавшие на листьях Базилики капли росы и затягивал — позабыв о привязи — горделивые песни. Ах, я не только смирился с неволей, но даже находил в ней все большую сладость! Желая уважить мальчишек, я в свободные дни с утра до ночи разгуливал вокруг спичечного коробка, перестроенного под мою спальню, не отходя ни на шаг в сторону. Время от времени сердце мое загоралось вдохновением и я, перебирая ногами, начинал стрекотать: «Ти-ри-ри...

Ти-ри-ри...» Увы, я не признавал тогда, что стал забавой, игрушкой в чужих руках! Обжорство и чванство ударили мне в голову и помutilи рассудок.

Но вот в один прекрасный день... О как благодарен я этим неожиданным переменам, открывшим мне наконец глаза! Хотя вы ведь еще ничего не знаете. Расскажу все по порядку:

День за днем я тешился, выходя на Арену, словно продажный вояка. Все разыгрывалось как по нотам: меня приносили на ристалище, я начинал бой и сразу же побеждал! Но вот в один прекрасный день жребий свел меня с совсем зеленым Кузничиком. Куцые крылышки его не прикрывали даже поясницы, и ростом был он вдвое меньше меня.

Едва мы стали в позицию, он заверещал и заплакал от страха:

— Ой, дяденька, умоляю вас!.. Дяденька, падаю вам в ножки... Вы такой большой! И зубы у вас такие страшные! И ноги сильные! А я совсем еще маленький, мне ведь от роду нет и недели! Мама только вчера отвела меня в отдельную норку...

Я был невозмутим. На лице моем застыло привычное свирепое выражение. Прodelав свои обычные Устрашающие приемы, я ринулся в бой. Впрочем, боем это можно было назвать лишь на словах. Соперник, обливаясь слезами, стал бегать от меня по клетке. Мальчишки, следившие за поединком, чуть не лопнули от смеху. Я наподдал еще...

Вдруг откуда-то с неба прилетел жук Сиентаук и жужжа опустился неподалеку — на ветку старого Няна. Усевшись поудобней, он тоже уставился на Арену. Потом поднял свои грозные изогнутые рога и крикнул:

— Эй, Мен! Ты что, спятил! Прекрати сейчас же это душегубство!.. Башка у тебя здоровенная, да пустая. Стыдно бить маленьких!

Я поглядел вверх: да-а, Сиентаук был могуч и силен. Тускло поблескивал панцирь из темной закаленной бронзы, грозно сверкало оружие. Но мне вся его боевая мощь была нипочем. Куда ему против моих дорогих хозяев. Что он может? Только грозиться издалека. Начхать на него!

Я презрительно скривился и крикнул:

— Заткнись, козавка!

И снова погнался за моим недоноском. Опередив его, я заступил ему путь и (ах, отчего я тогда не одумался, не остановился вовремя?!) провел удар задней правой. Он упал, дернулся и потерял сознание. Мне была неведома жалость. Гордо поправ

ногой поверженного неприятеля, я упивался восторгом моих дорогих хозяев и их гостей.

Сиентаук, видя, что я не только презрел его слова, но вдобавок забил малыша до полусмерти, скрипнул зубами, опустил свои рога и закричал:

— Ну, подлец, не послушался Нас! Теперь берегись!..

Я тоже не совладал с собой и показал зубы:

— О-о, герой!.. Может, спустишься вниз, а?

Я не стал больше тратить на него время: тут как раз подошла Награда за сегодняшний Триумф, а у меня к тому же и аппетит разыгрался — до разговоров ли тут! Сиентаук в ярости затряс рогами и загремел челюстями, но хозяева и гости все еще были тут, и пришлось ему убраться ни с чем. Я даже не заметил, как он улетел. Силен он, ну и пусть силен, зато руки у него короткие! Да и сам я не какая-то букашка: ноги, и зубы, и крылья — все на месте. И какие ноги, какие зубы и крылья — Рыцарские!..

Ночью, как повелось, мои дорогие хозяева пригласили меня на Променады с выпивкой. Погода была великолепная. На небе ярко светила луна. Легкий ветерок шевелил длинные острые листья бамбука, и они темными полосами пересекали лунный диск.

Я потянулся, распрямил ноги, расправил крылья, репетируя Неотразимые Боевые Приемы, и застрекотал, глядя в озаренное луною небо. Вид у меня был, наверно, самодовольный донельзя.

Стоя так — словно памятник самому себе, — я услышал вдруг какой-то грозный гул, похожий на рокот мотора. Гудение приближалось, становилось все громче. И тут откуда ни возьмись прямо передо мной на Базилику опустился жук Сиентаук. Я невольно вскрикнул. Оцепенев от ужаса, я не в силах был сдвинуться с места. Этого я никак не ждал. Увы, здесь некому было за меня заступиться! Я был перед ним один как перст, совершенно незащищенный. В клетке меня ограждала хотя бы бамбуковая решетка. А тут еще эта привязь! Нет, на сей раз мне не вывернуться. С Сиентауком шутки плохи! Вон какие у него челюсти — словно железо, а шипы на могучих лапах острые и длинные, как ножи... Я один, вокруг ни души. Это конец!

Как ни старался я стиснуть покрепче дрожавшие челюсти, у меня ничего не выходило, руки и ноги тряслись, стуча друг о дружку. Сиентаук покачал рогами и усмехнулся:

— Ну-ка, повтори все, что ты наговорил Нам днем!..

Я молчал.

— Что, память отшибло? — спросил он. — Сам говори, какой ты достоин кары?

— Падаю в ноги...

Встрепанный, дрожащий, я был, наверно, смешон и жалок. И Сиентаук не стал марать об меня свой меч. Он лишь наклонил рога и, поддев мой нос, потрянул его раз-другой.

— *Да ты никак онемел?* — спросил он снова. — *Запомни, притеснять себе подобных — это последнее дело!.. Спорить с чужаками — еще куда ни шло. Да и то...*¹ Ладно уж, пожалесм тебя на этот раз. А ты в награду одолжи-ка Нам свои усы. Впредь, когда тебе в голову взбредет какая-нибудь блажь, пощупай на лбу корешки своих бывших усов и сразу вспомнишь Сиентаука.

Он щелкнул челюстями и одним махом перекусил оба моих уса. Острая боль пронзила меня с головы до пят. Но я не посмел и рта раскрыть.

Ах, Жизненный Путь наш тернист и непрям, и уроки, которые нам преподносит судьба, несхожи один с другим. Тому, кто способен задуматься над происшедшим, эти уроки пойдут на пользу. Ну а пустоголовые... с ними может случиться то же, что и со мной. До сих пор над моим лбом торчат куцые корешки усов — они больше так и не выросли. Да, этот урок, поучительный и болезненный, я не забыл и никогда не забуду.

Я как бы очнулся от кошмарного сна. Душа моя проснулась. О небо! Выходит, с того самого дня, как мальчишки заточили меня в темницу, я только и делал, что дрался им на потеху. Я стал всеобщим посмешищем. И, сам того не ведая, творил зло. А ведь все избитые и обиженные мною, не говоря уже о моих родичах, близких и дальних — одним словом, все Кузнечики, повторяю, все, были Живыми существами — частью единой семьи, населяющей наш мир!

Из груди моей вырвался тяжкий вздох. «Не так уж давно, — с болью подумал я, — я каялся в своих ошибках и проступках, и вот опять натворил дел... О, как я ничтожен и жалок! Счастье еще, что дядюшка Сиентаук сжалился и не убил меня на месте... Ах, отчего я так поздно понял простую Истину: никто не имеет права навязывать другому свою волю? К примеру, сам я побивал тех, кто слабее меня, однако сыскался бы и на мою голову сильнейший, кто колотил бы меня и тиранил... Но полно, полно! Отныне мрачным тягостным снам конец!..»

¹ При первом издании сказки, в 1941 г., французская колониальная цензура подвергла текст сокращениям. В настоящем издании я восстановил по памяти эти купюры. Здесь и далее восстановленный текст дается курсивом. — *Прим. автора.*

Мысли эти немного утешили меня. Но я понимал: чтобы покончить с постыдным образом жизни и дурными замашками, надо порвать — раз и навсегда — с мальчишками. Ведь они просто откармливают меня себе и дружкам на потеху. О горький, позорный жребий! В ушах у меня звучало все громче: «Побег!.. Побег!..» Да, только вырвавшись отсюда, я смогу обрести былую свободу, зажить так, чтоб и многие годы спустя я мог сказать, не краснея: «Вот она какова, моя жизнь!..»

Загоревшись этой идеей, я решил тотчас же привести ее в исполнение. Увидев, что дверца клетки закрыта не наглухо, я стал выбираться наружу. И надо же было именно в эту минуту появиться обоим мальчишкам!

— Эй!.. Эй, ты куда?! — заорали они.

Бс ухватил меня за шиворот и сунул обратно в клетку. Кляп-путь, никогда не испытывал я большего унижения!

Теперь меня начали стеречь строго и неусыпно. Вечера я, как и раньше, проводил на Базилике, но... в клетке. А что это, скажите на милость, за Променад, если ты не можешь видеть пеба над головой и любоваться звездами — пусть даже и на привязи? Словом, меня лишили даже тех маленьких радостей, которыми я пользовался прежде.

«Неволя» — самый звук этого слова омерзителен и ненавистен. А каково мне было изо дня в день, из ночи в ночь терпеть рабскую долю узника?! Мысли мои были заняты только одним — Побегом. Я ждал удобного случая...

Ожидание, оно всегда томит нас и гложет, и вот я впал в безысходную тоску. Смерть казалась мне иногда желанным избавлением. Я раскаивался в содеянном зле. Я разочаровался в жизни — молодость моя была уже на исходе, а я до сих пор не совершил ничего, даже отдаленно напоминающего Доброе Дело. Одни заблуждения и безрассудства! Я потерял аппетит, не в силах был сделать и шагу, не мог даже стоять на месте. С утра до ночи лежал я пластом, испуская долгие вздохи.

Мальчишки, видя мое бедственное состояние, окружили меня вниманием и заботой. Но теперь даже заботы их были мне в тягость. Ведь я понимал: они ждут не дождутся моего выздоровления, чтобы продолжить прерванные забавы. И я отвергал Еду и Подарки. В конце концов им наскучило возиться со мной.

Ведь детям вообще довольно скоро приедаются игры и развлечения. Сперва, не зная истинной причины моей хандры, не ведая обуревавших меня мыслей, они решили, будто я болен, и заподозрили у меня расстройство желудка. Мне подавали теперь траву только самых высших сортов.

Но, видя, как я от всего ворочу нос, они отступились и бросили свои хлопоты. А еще через день-другой я увидал, как они, прихватив ведро, бамбуковые плашки, нож и прочее снаряжение, пошли ловить другого кузнечика. Оно и понятно: разве все мы, пресытись старыми, давно уж известными забавами, не ищем других утех — повеселее, а главное — поновее?

Тем временем я от горьких, безысходных раздумий расхворался не на шутку: меня начал одолевать кашель, потом заложило нос и голова раскалывалась от боли. Пробовали было носить меня на турниры, но я стоял неподвижно на своей половине Арены, а противник не смел подступиться ко мне. Тут уж мальчишки разочаровались вконец: им теперь и похвастаться стало нечем. Да я и сам пал духом, не было у меня больше желания пострелять, и я не приветствовал песнями восход и закат солнца.

Однажды, в один, как говорится, прекрасный день, Ньон, видя, что я провалялся до самого вечера, сказал, обращаясь к Бе:

— Да нет, желудок у него в порядке. Просто он слишком много дрался, вот и нажил себе чахотку. А это — гиблое дело. Кормить его больше не стоит; давай отпустим генерала на волю.

— Ни за что! — заявил Бе. — Отнесем его на Пруд и угостим нашу утку, пусть поест сладенького.

Я весь похолодел, даже зубы заломило.

— Скажешь тоже, — отмахнулся Ньон, — к чему эта роскошь! Самое лучшее — сыграть на него в футбол. Представляешь: «Команде-победительнице будет вручен приз — знаменитый кузнечик Мен...» Вот это да!

И они побежали по деревне — созывать друзей на футбольный матч. Вместо Золотого кубка наградой победителю назначался я — кузнечик Мен... Впрочем, добавлю я, почему бы лучших из нас не ценить на вес золота? Но дело, конечно, не в ценности той или иной личности: увы, я снова становился игрушкой, чем-то вроде товара, переходящего из рук в руки.

Не прошло и четверти часа, как мальчишки вернулись, ведя за собой десятка полтора приятелей. И они, захватив меня вместе со спальней, отправились на лужайку. Покуда они делились там на две команды, кто-то из мальчишек сбегал в Сад и притащил упавший с дерева Грейпфрут (он заменил им мяч).

Я был торжественно водружен на крышку новехонького спичечного коробка, который в свою очередь возвышался на расколоте пополам оранжевом кирпиче. Ньон, став рядом со мной, приосанился и торжественно открыл состязание.

— Команде, которая первой забьет три гола,— сказал он.— будет вручен приз — знаменитый кузнечик Мен!

Так как свистка у них не было (да и быть не могло, потому что не было судьи), Ньюн крикнул:

— Аллэ!..

Игра началась.

Я стоял на своей трибуне, делая вид, будто весь поглощен и восхищен игрой. Футболисты, не чуя никакого подвоха, старались всячески заслужить одобрение своего Единственного зрителя. Но сам в это время думал совсем о другом: «Вот он — шанс для Побега!..»

Игроки, гонявшие Грейпфрут по лужайке, пришли в необычайный азарт. Правда, техника их явно оставляла желать лучшего, темп был замедленный, да и атлетическая подготовка хромала. Ну что это, скажите на милость, за форвард: в который уж раз замахивается для удара и бьет мимо мя... простите, Грейпфрута да при этом еще валится как куль наземь. А защитники... защитники! Ни тебе отбора мяча, ни подката. Стоит игроку пробиться к воротам, они хватают его за рубашку или за штаны. Вон, нападение уже все в лохмотьях. Но от этого накал страстей лишь возрастает. Шум стоит и крик — как на настоящем стадионе.

Впрочем, я сразу понял, что судьба привела меня сюда вовсе не ради футбола. И пока мальчишки бегали как одержимые по лужайке, я без лишнего шума покинул трибуну, направился в Сад и там, скрывшись в высокой траве, кинулся прочь со всех ног. Остановился я, лишь достигнув зарослей диких Ананасов — далеко от лужайки-стадиона.

Поэтому я не могу вам сказать, с каким счетом кончился матч и как отнеслись футболисты к исчезновению приза. Но сам я, едва вырвался на волю, почувствовал, как все мои слабости и недомогания улетучились прочь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Новообретенная Свобода.— Путь домой.—
Мимоходом караю несправедливость и совершаю
Доброе Дело.— Моя дорогая Матушка.

Остановившись перевести дух в Ананасных зарослях, я прислушался к еле слышным крикам мальчишек и понял: опасаться мне больше нечего. Я расправил крылья, распрямил плечи и

вздохнул полной грудью. Потом заморил червячка — поел свежей травки. Ведь я последние дни, не желая выходить на Арену, притворялся вконец обессиленным и хворым и отвергал пищу. А недоедание — даже ради Возвышенной Цели — плохо отражается на здоровье. Перекусив, я улегся на землю, скрестил руки и ноги и уснул сладким сном.

Когда я проснулся, далеко вокруг царила дремотная полуденная тишина. Мальчишки, наверно, вернулись уже в деревню.

Я стал размышлять, как быть дальше. Я оказался во власти противоречий: меня манили Дальние Странствия и в то же время хотелось побывать дома.

Сказать по правде, у меня созрела Прекрасная Идея: я решил увидеть Свет — многоликий и необъятный. Ведь Наш Луг, Пруд, Межа и Поле за нею — это отнюдь не весь мир! Кто знает, быть может, именно неволя, тесные стены темницы пробудили во мне мечту о бескрайних и светлых просторах? Пусть я томился и изнывал в плену у мальчишек, укравших мою свободу, по зеленые горы и доли, текущие и спокойные воды взывали ко мне, жаждали встречи со мною, а самому мне хотелось обойти всю землю, принадлежащую тысячам и тысячам живущих на ней существ. Нет, не достоин назваться юношей или мужем тот, кто не стремится — на крыльях ли или пешком — странствовать и познавать мир! Жизнь его тускла и безрадостна!..

В конце концов я решил, прежде чем отправлюсь в чужие страны, побывать дома. Увы, с того дня, когда мальчишки захватили меня в плен, я долгое время был вдали от дома. Наверно, Матушка вскоре после постигшей меня беды заглянула ко мне во Дворец... Полно, к чему эти старые бредни! — Матушка заглянула ко мне домой и, найдя в моей спальне опустевшее ложе, долго, наверно, лила слезы. Ах, как я тосковал по Маме, как хотел ее увидеть! Ведь я был у нее самым младшим, и она, любя и жалея меня, положила у входа в мой Дом десяток сладких листочков...

Итак, я возвращался домой. Я наметил себе такой План: увижусь сперва с Мамой, пусть она убедится в том, что я жив и здоров, и сердце ее успокоится, а там уж я вместе с друзьями подробнейшим образом разработаю маршрут и программу Дальних Странствий...

Раздвигая высокие травинки, я отыскивал дорогу к Дому... Да, путь оказался неблизкий!..

Как-то шел я сквозь заросли травы Сыюк мимо качавшихся на ее стеблях колючих цветов и вдруг услышал негромкий плач. Прислушавшись, я определил: плачут где-то здесь, поблизости.

Сделав еще десяток шагов, я увидел юную бабочку Ньячó. Она сидела, покурясь, возле круглой обкатанной гальки.

Ростом она была невелика, хрупкая и слабенькая, вся в мелких пятнышках — словно только что родилась на свет. Ее длинное черное платье кое-где отливало золотыми блестками, а плечи и рукава были надставлены из другой материи — как у всех хлопотуний и тружениц, которым приходится постоянно носить тяжелые коромысла. Крылышки ее, тонюсенькие, как у мотылька, были совсем короткими. Думаю, вряд ли она ими часто пользовалась. Впрочем, на таких крыльях, будь они и покрепче, все равно далеко не улетишь. Потому-то бабочки Ньячо и порхают всю жизнь вокруг деревенских домов. В общем, она показалась мне довольно-таки милой, эта Ньячо, плакавшая в три ручья.

Ну а где слезы, там всегда обида или злое дело, поэтому я участливо спросил ее:

— Что случилось, сестрица? О чем ты так горько плачешь посреди большой дороги?

Она подняла лицо, залитое слезами, и вежливо поклонилась мне. Ньячо издавна славятся своей обходительностью.

— Доброго здоровья, Кузнечик. Присядьте, прошу вас.

— Некогда мне рассиживаться! — выпалил я. — Так отчего же ты плачешь?

— Ах-ах!.. — зарыдала она — Дорогой Кузнечик, спасите меня, пожалуйста... Ах-ах!..

— Кто?! Кто посмел тебя обидеть?

— О дорогой Кузнечик, это Пауки... Они... Ах-ах!..

— Какие еще Пауки? — возмутился я. — Ну чего ты опять плачешь?.. Слезами горю не поможешь. Расскажи-ка лучше все по порядку, иначе я не сумею тебя спасти.

— С давних пор, — начала Ньячо, — одолевает нас нужда и голод. И пришлось моей Маме взять у Пауков в долг немного Еды. А потом Мама умерла и осталась я одна-одинешенька. Ни сил у меня, ни здоровья; как тут свести концы с концами, ешь и то не досыта! Из года в год маюсь и бедствую, где уж мне вернуть мамин долг? Паукам ждать надоело, вот и решили взыскать с меня все до крошки. Уж они и бранились и колотили меня не раз. А сегодня натянули поперек дороги свою сеть и грозятся поймать меня, оборвать мне руки и ноги и съесть. Как я теперь попаду домой?

Я расправил свои крылья и воскликнул:

— Не бойся! Я провожу тебя. Злодеи не смеют притеснять малых и слабых! Не бывать этому.

И я повел Ньячо по дороге.

Один поворот, другой... И вот мы уже у Паучьей заставы.

Ничего не скажешь, здорово они сплели свои сети. Ячейки крепкие и частые — не пролезть даже самому маленькому комарику. А посреди дороги стоит на часах здоровенный молодой Паук. Ему поручено, едва лишь появится Ньячо, бить тревогу, чтоб подоспела вся банда, сидевшая в засаде у обочины.

Когда я подошел к Паутине поближе и оглянулся, у меня в глазах зарябило: за каждым камнем, в каждой расщелине — паучье... Паучихи-мамы с ребятами-паучатами, пауки-старики и пауки помоложе... Водяные Пауки и Бегуны со стены, Пауки Древесные, Ядовитые и Ничем не знаменитые... Они торчали отовсюду, неподвижные и безмолвные, как камни, и вид у них был — страшней не придумаешь.

Бедная Ньячо спряталась за моей спиной и, дрожа, прильнула ко мне. Пауки ее, как видно, и не заметили.

— Эй, кто в этой банде главный?! — закричал я. — Выходи! Надо поговорить.

Тут из какой-то щели выползла на согнутых лапах Паучиха, огромная, толстая, а по бокам — два Паучка поменьше. Она оказалась Повелительницей всего Паучьего племени. Морда у нее была тупая и наглая. С такой, понял я, словопрения бесполезны, здесь надо показать свою силу. Ну что ж... Я молниеносно развернулся и нанес ей удар правой задней прямо по голове. Толстая Повелительница завопила, съежилась и принялась бить земные поклоны — словно рис пестом молотила: так и так, мол, она кается, а в чем — небось и сама толком не сообразила.

— Как вы посмели, — голос мой гремел как гром, — притеснять сестрицу Ньячо, такую слабую и беззащитную? Мало у вас, что ли, добра и богатства? Вон как отъелись — поперек себя толще! И вы еще смее сдирать с бедняков грошовые долги?! Мы запрещаем вам впредь даже напоминать Ньячо об ее долге. Ей и себя-то не прокормить, вы пожалели бы лучше ее, помогли ей. Главное в жизни — любить друг друга! Ну какой вам прок от этого злодейства? Пораскиньте-ка лучше мозгами. Вот вы притесняете слабых и малых, и они волей-неволей все терпят, но Мы, Мы сильнее вас, стоило пнуть Нам разок эту тушу, и она сразу одумалась. Или, может быть, Мы неправы? Кто-кто, а уж Мы повидали мир, и жизнь научила Нас отличать Истину от неправды. И вы должны соглашаться с каждым Нашим словом! Поняли, Пауки?!

И Пауки — и те, которые торчали на виду, и те, кто успел попрятаться между камнями, — закивали и зашептали, подобно шелесту ветра:

— Поняли...

— Мы поняли...

— Ваша правда...

Тогда я отдал приказ:

— Сейчас же порвите сети! Сожгите все до единой долговые расписки! Отриньте злобу! Отриньте мелочность! Извольте-ка без промедления стать Добрыми и Великодушными!

Пауки тотчас послушались меня, развеселились и пустились в пляс прямо на дороге. Они разорвали в клочья свою паутину, и в мгновение ока открылась дорога к дому сестрицы Ньячо. А жила она — я опишу для полноты картины ее дом — на ворсистом стволе дерева Мўа, под большим лиловым цветком. Пауки — сосчитать их не было никакой возможности, — кивая, приплясывая и подмигивая, обступили Ньячо, обнимали ее, пожимали ей руки и, наконец, закружились вместе с нею в шумном веселом хороводе.

Потом они решили устроить Пир На Весь Мир в мою честь. Но я отказался, сославшись на спешные дела. Правда, зная, что Пауки — непревзойденные кулинары, я обещал заглянуть к ним попозже.

Я стал прощаться с ними и с сестрицей Ньячо. Растроганная, она обняла меня и все никак не могла со мною расстаться, проводила меня довольно далеко. Я ликовал: «Вот оно — мое Первое Доброе Дело! Я явно меняюсь к лучшему...»

Дней через пять я возвратился на Наш Луг.

Мой Дво... Мой Дом стоял покинутый и опустевший, вход совсем зарос зеленым мхом. Но зато на другом конце Луга я нашел свою Матушку — по-прежнему здоровой и полной сил. Обрадованные встречей, мы смеялись и плакали.

Я рассказал Маме обо всех выпавших на мою долю испытаниях и невзгодах, начиная с несчастья, которое приключилось по моей вине с нашим соседом Мозгляком.

Выслушав мой рассказ, Мама обняла меня и прижала к груди, совсем как в ту пору, когда согревала меня, новорожденного, у своего сердца.

— Ах, сыночек, — сказала она, — как я за тебя рада. Преодолев все опасности и испытания, ты умудрился вернуться домой. Но самое главное — ты ступил на прямую и прекрасную дорогу. Ты возвысил и закалил свой Дух и достоин теперь называться Настоящим Кузнечиком. Ты хочешь побыть дома, со мной, недельку, а потом отправиться в Дальние Странствия? Я согласна, отныне я за тебя спокойна. Это прекрасно, что ты научился мечтать и мечты твои улетают далеко за пределы будничных

мелких забот! Да и нынешняя наша жизнь обретает особую, непреходящую ценность, когда мы умеем предвидеть, что ожидает нас завтра, умеем представить себе воочию иные, неведомые пока небеса, которые осенят нас в будущем. Знай, сыночек, ты повзрослел, возмужал, поумнел. Мне не придется больше за тебя тревожиться...

Матушка все говорила и говорила, утирая счастливые слезы. А я, выглянув украдкой за дверь, обвел взглядом округу, где появился на свет и рос, и понял: да, я и в самом деле стал взрослым!

— Верьте, дорогая моя Матушка! — воскликнул я. — Никогда, никогда не забуду я ваших слов. Заветы ваши я сохраняю в глубине своего сердца. Не сегодня-завтра я отправлюсь в Дальние Странствия. Клянусь быть усердным, великодушным и смелым — таким, каким видите вы меня в своих помыслах. Клянусь быть достойным вас!..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мои Братья — Старший и Средний. — Я неожиданно нахожу верного друга и побратима.

Итак, как вы помните, я вернулся в родные края, чтобы увидеться с Мамой и подыскать себе друзей для Дальних Странствий.

Свидание с Матушкой состоялось.

Значит, пришло время искать друзей и попутчиков. Но разве вот так, сразу узнаешь, кто из жителей этой обширной округи твой единомышленник и друг? Подружиться с кем-нибудь — дело нелегкое, а найти верного друга, который не дрогнет, не подведет в минуту опасности, устоит перед искушениями и соблазнами, не ожесточится после лишений и тягот дальней дороги, — найти такого Друга нелегко вдвойне.

Скоро, скоро отправлюсь я в путь!.. Дальние Странствия... На каждом шагу перед вами открываются новые, неведомые картины. Вы шагаете по дорогам далеких диких стран, которых ни вы, ни близкие ваши ни видели и во сне, но даже неясные слухи о них заставляли сильнее биться ваше сердце.

Ах, что может быть печальней, чем в юные годы, когда каждый из нас отважен и тверд, когда кровь бурлит в жилах и сердце полно желаний, вести жизнь унылую и однообразную: днем копать в своей норе, а вечером наедаться и напиваться до отвала и отплясывать с соседями танцы ваших бабок и дедов! По-

добная жизнь пуста и никчемна! Нет, я не желаю, чтоб перед тем, как навеки закрыть глаза, я раскаивался, так и не узнав, что же находится сразу за Нашим Лугом, кто обитает там и какова их жизнь? Нет и нет, прозябание не по мне!..

Тут я вспомнил о своих Единокровных Братях. Когда-то, в один и тот же день, Мама вывела нас в свет и поместила каждого в отдельное жилище. К кому как не к Братьям должен был я в первую очередь обратиться, ища друзей и попутчиков?

И я направился к Среднему Брату.

Увы, еще издали заведев его Дом, я ощутил разочарование: тесный и неудобный вход утопал в грязи, словно здесь жил какой-нибудь червяк, а войдя внутрь, я пребольно стукнулся головой о торчавшие из потолка корешки. Впечатление было такое, будто я угодил в нежилую, заброшенную нору. И чем дальше, тем глубже я увязал в раскисшей плесени и тем сильнее удивлялся царившему вокруг запустению.

Увидев Брата, я вздрогнул. Мне долго пришлось приглядываться к нему в темноте, пока я наконец узнал его. Он был ужасно тощ — кожа да кости. Пожалуй, я мог бы одним пинком отшвырнуть его на пятнадцать чыонгов или, говоря по науке, метров на пятьдесят.

А он, заслышав мою тяжелую поступь, вскрикнул, задрожал, засуетился и, трясая руками, ногами и усами, забежал по своему жилищу, не зная, куда деваться от страха. Долго пришлось мне убеждать его, что это я, его Младший Брат, но в конце концов он успокоился и замолчал, лишь усы его тихонько вздрагивали. Но тут он разглядел, как я могуч и огромен (а в его тесной норе я похож был на колонну старого дома, закопченную и лоснящуюся — это тускло отсвечивали мои доспехи), и, разглядев, снова затрепетал от страха. Усы его дрожали, словно тонкий бамбук на ветру. Ей-богу, и смех, и грех!

— Дорогой Брат, что с вами? — спросил я. — Вон как исхудали, уж не больны ли вы?

Он поморщился:

— Прошу тебя, братец, потише. У меня от твоего голоса в ушах звенит. О чем это ты спрашивал?.. Ах да... Я, братец, не болен, просто у меня такое телосложение. Где это ты пропадал? Тут у нас злые языки поговаривали, будто ты давно умер.

— Ну, — засмеялся я, — до смерти мне еще далеко! Я побывал в дальних краях. Там, дорогой Брат, очень интересно. Теперь вот вернулся домой ненадолго — повидать Маму и вас и уговорить тебя с братом отправиться в Дальние Странствия.

Он опять испуганно вскрикнул и переспросил:

— Куда-куда?

— В Дальние Странствия! — шутки ради крикнул я во всю мочь.

У него расшались нервы. Усы отвисли до земли, ноги поломались в коленках, и он рухнул на пол бормоча:

— Дальние... Странствия... Это... Это — верная смерть...

О горе! Откуда у него такая мания страха? По поводу и без повода пугается чуть ли не до смерти. Нет, болезнь его не врожденная. Ведь мы в детстве, все трое, отличались отменным здоровьем. Приободрившись, Брат — слово за словом — рассказал мне историю этого недуга.

Вот она: «Однажды, вскоре после того, как он зажил своим домом, Брат вышел прогуляться в Огород. Облюбовав местечко под огромным раскидистым кочаном Капусты, он вдруг увидел прямо над собой птицу Титътьое, склевывавшую червей с капустных листьев. Кто знает, нарочно ли, нет ли, но Титътьое справила нужду прямо на спину Брату. Брат расправил крылья, взлетел и начал ругать на чем свет стоит... неизвестно кого. Он и впрямь не ведал, кто виновник случившегося: ведь в ту минуту он глядел не вверх, а вниз. А Титътьое как ни в чем не бывало тотчас полезла за добычей в самую глубь кочана, наружу торчал лишь ее хвост.

Но, услышав бранные слова, она глянула на землю, увидела Брата, и началась перебранка между Кузнечиком и Птицей. Пострадавший обвинял виновницу в осквернении своей спины, а она утверждала, будто он возвел на нее напраслину. (Брат не сумел предъявить никаких веских улик; он, прежде чем затевать тяжбу, очистил свою спину.)

И поскольку ни одна из сторон не шла на уступки, дело можно было решить лишь Поединком. Титътьое была птица не из последних — величиною с косточку в сердцевине плода хлебного дерева Мит, перья у нее черные с белыми отметинами, ноги высокие и тонкие, как благовонные палочки, клюв острый, изогнутый, будто лапшинка. Впрочем, и мой Средний Брат тоже был молодец хоть куда: зубы острые как ножи, на ногах смертоносные кривые шипы, полоснешь такими по шее — и головы как не бывало. Долго бились они на равных, потом Птица все-таки стала брать верх. Брат втянул голову в плечи и побежал. А Титътьое погналась за ним следом. Брат бежал изо всех сил, он боялся, что сердце вот-вот выпрыгнет у него из груди. Но Птица летела над ним и долбила клювом по голове. Брат совсем потерял голову от страха, то и дело спотыкался и падал. А Титътьое, не зная пощады, гналась за ним и клевала его. Време-

нами Брату казалось: вот она, смерть, настигла его посреди дороги. Он вконец обессилен и еле волочил ноги, но Птица и тут не отстала. Она клевала и била его, покуда он не дополз до дома. Укрывшись наконец под землею, он увидал, что истекает кровью, а перебитые ноги его висят как плети.

Он рухнул без чувств, а когда пришел в себя, не мог понять, сколько дней провалялся в беспамятстве. С тех пор, стоит ему услышать за дверью шум ветра, он забивается в угол от страха, думая, будто это Титътое прилетела по его душу. Днем он не смеет выходить из дома. И, как бы ни терзал его голод, он лишь с наступлением темноты решается, высунувшись за дверь, пожевать торчащие рядом жухлые травинки. От всего этого здоровье слабеет. С каждым днем он чувствует себя все хуже и хуже...

Брат так волновался, рассказывая свою историю, что ему сделалось дурно. И я грешным делом подумал: если ничего не изменится, дни его сочтены, и смерть для него, пожалуй, будет избавлением от всех страданий и мытарств.

Наконец ему вроде бы полегчало. Я же, признаться, не знал, что сказать ему, развлечь его шутками я уже не надеялся — того и гляди, опять упадет в обморок или еще хуже...

Я вышел на Луг, нарвал самой свежей и сочной травы, связал ее в сноп и отнес Брату. Потом, подобрав в уме подходящие к случаю утешительные слова, дождался, пока он совсем не пришел в себя, успокоил его и стал расспрашивать о подробностях Поединка:

— Почему же вы, дорогой Брат, не легли тогда на спину и не пустили в ход могучие задние ноги? Отбиваясь ими от Птицы, вы могли бы оставить неприятеля с носом!..

Кажется, он даже не слышал меня и лишь из вежливости покивал головой.

Молча покинул я его жилище. Признаться, я не знал, что и думать. Нет, какой из него спутник для Дальних Странствий, если его пугают просто сказанные во весь голос слова! И кем сказанные — его же Младшим Братом!..

Я пошел к Старшему Брату.

Вот у кого был прекрасный дом. Еще издали он радовал глаз. Впрочем, я издавна знал за Братом тягу к роскоши, к изысканной кухне и дорогой утвари, к торжественным церемониям и чиновничеству — короче, ко всему, что дает нам Богатство и Знатность.

Я, как положено, поклонился Старшему Брату. Но лицо его оставалось сердитым и хмурым.

— О дорогой Брат,— сказал я,— простите, но мне после долгой разлуки очень хотелось повидаться с вами. Вы ведь еще не знаете, сколько опасностей и преград поставила на моем Жизненном Пути судьба, укоротившая мои усы. Я вернулся издалека и сразу явился засвидетельствовать вам свое почтение. Отчего же вы холодны и неприветливы, как камень?

— Ишь ты, златоуст! — язвительно отвечал Брат.— Пришел, говоришь, засвидетельствовать свое почтение?

— Да,— сказал я,— и все эти годы всюду, куда ни заносила меня судьба, я помнил о вас, моих Единокровных Братях.

— Ха-ха-ха! — расхохотался он.— Отчего ж ты, малявка, явился сперва не ко мне, Старшему, а к этому паралитику... гм-гм... К Среднему Брату? Неужели у тебя память отшибло и ты позабыл закон Старшинства и всякие приличия? Берешься за Важное Дело не с головы, а с хвоста!

О небо, он сердится из-за того, что я пренебрег законом Старшинства! И рожа такая надутая — ну прямо куль с песком. Я совсем уж собрался ответить ему как следует. Сами понимаете, мне ли, повидавшему Свет, столько пережившему и совершившему, вдаваться в подобные мелочи — кто, кому и когда должен нанести визит?! Но, вспомнив, что я пришел сюда поговорить по поводу Дальних Странствий, я подавил в себе обиду и отвечал вежливо, как ни в чем не бывало:

— О мой дорогой Старший Брат, я помню правила и приличия. Ведь наш дорогой Средний Брат тяжело болен, да и живет он рядом со мною, поэтому я заглянул к нему раньше. Надеюсь, вы мне простите невольную эту обиду?

Но он ничего не простил и был по-прежнему мрачен.

— Где ты болтался все эти годы? — спросил он меня с раздражением.

— Я путешествовал.

— А-а, стало быть, торговал в чужих краях. Ну и как, много нажил денег?

— Что вы! — улыбнулся я.— При чем здесь торговля? Путешествуют, чтобы увидеть дальние страны. Это расширяет наш Кругозор и обогащает Ум.

Он снова расхохотался:

— Ну и ну! Тащиться за тридевять земель и не урвать куска пожирнее — зря только ноги бить. Если все вот так разбредутся — кто куда,— кому же тогда оберегать могилы предков, кто будет воскурять им благовония и приносить жертвы? И что за время такое?! Каждая личинка норовит податься в чужие края!

Все перевернуто с ног на голову! Хоть записывайся в рачье семейство; они, хотя и носят на башке собственное дерьмо, да, может, еще чтут родственные обычаи?! А ты, ты знаешь кто? Выскочка и болтун!

Я возмущился, но виду не подал, лишь усмехнулся презрительно. Добро бы еще все это говорила моя Матушка. Но она-то меня понимает и только порадовалась, услышав о моем решении. Да и наши предки, уверен я, отвергли бы Кузнечика, который всю жизнь сидьмя сидел на своем пятачке земли, палец о палец не ударив во имя благоухающей Славы. Ведь Настоящая Слава становится достоянием и украшением всего рода. Старший мой Брат еще молод, а говорит и мыслит как дряхлый старец, стоящий одною ногой в могиле.

Нет, я должен был высказать свое мнение! И я сказал:

— О мой дорогой Старший Брат, я знаю все, что знаете вы. Но мне известно и то, о чем вы не имеете ни малейшего представления. Я знаю, всякий, кто хочет развить свой ум, должен, не жалея ног, странствовать по Свету, все постигать и всему учиться. Не зря наши предки говорили: «Кто день в дороге провел, ума нажил». Вовсе они не завещали нам сидеть по своим углам. И еще я знаю вот что: у тех, кто торчит безвыходно в своей норе, тускнеет и притупляется ум, они вечно несут околесицу, пустословят, корят всех и вся. Поэтому я и пришел пригласить вас отправиться вместе в Дальние Странствия.

— Да ты что, поучать меня вздумал?! — заорал Брат. — И как у тебя только язык повернулся?!

Он подскочил ко мне и давай размахивать руками перед самым моим носом. Но я знал, сколько бы он ни кипятился, а ударить меня не посмеет, потому что я был вдвое, если не втрое сильнее. Так и случилось: он лишь легонько постучал по моему лбу пальцем и застыл, вытаращив глаза.

Тут уж я вышел из себя, но напряг всю свою волю и сохранил равнодушный вид. Это холодное спокойствие означало презрение и решимость никогда больше не видеться с Братом, порвать родственные узы.

Гордо подняв голову и не прощаясь, я повернулся к нему спиной, выражая крайнее пренебрежение. Так расстался я с моим Старшим Братом, спесивцем и стародумом.

Он небось весь посинел от злости. Но гнаться за мной не осмелился. Пускай себе ярится и чахнет от зависти, видя, как Младший Брат его, гордый и смелый, странствует, покрывая себя Настоящей Славой!

Я попытался найти себе друзей среди Кузнечиков, которых

помнил еще с отроческих дней. Увы, на поверку все они оказались тупеядцами и лежебоками.

Одни, подобно моему Старшему Брату, повторяли на все лады, что, мол, кроме них, в семье никого не осталось и потому им никак нельзя покинуть родные места, да и вообще, те, кто болтается по чужим краям, похожи на гулящих девок — помапи ее, и она побежит куда угодно.

Другие, едва услышав о Дальних Странствиях, бледнели и кланялись шестикратно, сложив руки на груди.

Третьи, словно сговорившись, все как один задавали нелепый вопрос:

— Если уйдем в Дальние Странствия, вернемся ли мы завтра Домой?

Отвечать им мне не хотелось...

Помню однажды вечером я стоял на берегу Пруда, любуюсь, как под закатным солнцем отсвечивает разлившаяся вода. Зрелище это всегда пробуждало во мне неугасимую страсть ко всему далекому и неизведанному.

Вдруг я услышал у себя за спиной шум. Я обернулся: там шел жестокий бой. Какой-то Кузнечик (из черных Кузнечиков Чуи) бился с двумя толстыми жучихами Муом. Жучихи насккивали на Кузнечика и орали во всю глотку, призывая родню и соседей. Кто-то из мудрецов — не помню сейчас его имени, говорил: «Ворует и грабит, и сам же тревогу бьет». Теперь я понял, что, собственно, он имел в виду.

Склочницы Муом, подняв лапы, выставив длинные острые челюсти, вдвоем паседали на Кузнечика Чуи. Но он хладнокровно парировал их выпады и сам напосил «крюком» искусные удары. Ноги его так и мелькали, грозные и тяжелые, как бронзовые палицы.

Я наблюдал за ним с восхищением. Правду сказать, я раньше не очень-то высоко ставил Кузнечиков Чуи, долговязых и неотесанных, круглый год ходивших в одном кургузом жилете. Но сегодня, глядя на этого Чуи, могучего и ловкого воина, я вновь убедился: судить о ком-нибудь только по наружности, пусть даже и неприглядной, опрометчиво и глупо.

Чуи бился один против двоих и — вот что значит Отвага и Мастерство! — оба его противника стонали от тяжких ударов. Однако Жучихи голосили не зря, крики их услышали друзья и родичи, кормившиеся неподалеку на Рисовом Поле. И вот десятка три Муомов явились на выручку. Чуи, сразу оценив грозившую ему опасность, вырвался из вражеского кольца, бросился в воду и переплыл на другой берег. Уверенный в своей безопас-

ности, он остановился у самой воды, грозя через Протоку бесновавшимся Жукам.

Но Муомы вдруг совершили неожиданный маневр: они взлетели и, громко жужжа, понеслись над водой.

Чуи никак не думал, что они летают так быстро. Он едва успел изготавиться к бою, подняв лапы и выставив зубчатые круглые челюсти, как на него обрушилось разом бог знает сколько зубов и лап. Чуи зашатался и упал на колени. Муомы облепили его, решив забить насмерть.

Но тут вмешался я. Жуки с криками ужаса разлетелись кто куда.

Чуи валялся на земле вверх ногами. Он был без чувств. Я перенес его в мой Дом, уложил на ложе и брызнул в лицо ему холодной водой.

Вскоре он очнулся и застонал. Тело его от ударов распухло и посинело.

Однако Чуи нашел в себе силы рассказать мне свою историю. Вот она:

Раньше Чуи вместе с другими Кузнечиками жил возле Дальнего Поля. Дошел он как-то до Протоки, остановился, закусил с дороги и видит: травы здесь очень уж хороши! Тогда он решил перебраться сюда насовсем. Задумано — сделано. Все хорошо бы, да только здесь жили Муомы, и развелось их видимо-невидимо. Жуки тотчас заволновались, как бы чужак не объел их, не извел всю траву, которую небеса якобы выращивают только для них, Муомов. Дня не проходило без того, чтобы Жуки не завязывали с ним ссору; они даже черед установили: кто и когда начинает ссору с Чуи. Ну а где ссора — там без драки не обойтись. Они дрались с утра до ночи. Но Чуи был не из тех, кого легко запугать, хоть Муомы не раз угрожали ему смертью.

Кузнечик ничего не спускал Жукам. Если кто бранил его, он отвечал тем же, а с забияками разделялся по-свойски. И как ни кичились Муомы, сколько ни хвастались, никак не могли справиться с Чуи. Под конец стычки и перебранки тянулись с утра до вечера. А сегодня разыгралось генеральное сражение. План его Муомы составили заранее. Они послали двух здоровенных Жучих в авангард — завязать бой и сковать неприятеля. А там уж должны были подоспеть Главные Силы.

И как это я оскандалился, сочтя их бой просто случайной дракой?..

Растроганный и взволнованный, Чуи благодарил меня. Я предложил ему остаться у меня до полного выздоровления.

Вскоре раны его затянулись.

А я, покуда Чуи жил в моем Доме, убедился: характер у него веселый, жизнерадостный. Он любил шутки и смех. Но больше всего мне понравилась в нем любовь к Дальним Страпствиям. В этом мы с ним были схожи. Он гордился тем, что в свои юные годы успел уже кое-где побывать и немало повидать. Я раскрыл перед ним свои замыслы и предложил путешествовать вместе — вместе искать Смысл Жизни. Там, за далеким горизонтом, убеждал я его, мы наверняка найдем этот Смысл. А Новизна, она ведь всегда пьянит нас и манит. «Нет,— говорил я Чуи,— незачем возвращаться назад, к своим луговым травам...»

Чуи с радостью дал согласие.

И мы тут же побратались не на жизнь, а на смерть.

Чуи остался жить у меня. Он называл меня Старшим Братом, а я его — Младшим. Мы стали готовиться в дорогу.

Осень была уже на исходе, когда мы с Чуи отправились в путь. В тот день вода в пруду стояла прозрачная и синяя. Влажная трава была прохладной и приятной на вкус. В небе толпились белые тучи. Легкий осенний ветерок звал путника вдаль.

Во второй уже раз я покидал родные места.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Глупость, едва не стоившая нам жизни.—
Местоположение, жизнь и нравы Грязного
острова.— Как и почему мы с Чуи спаслись
от смерти.

Позади моего Дома находилось Большое Поле. Заберись хоть на самый высокий стебель тростника, все равно не увидишь, где кончается это Поле — казалось, оно тянется до самого края земли. По нашему плану первый этап путешествия включал в себя переход через Большое Поле и Пустошь.

Днем мы шли, а по ночам отдыхали. Мы глядели вокруг во все глаза и обменивались восторженными впечатлениями. Ах, сколько глубоких и ценных мыслей осеняло нас во время путешествия. Повсюду, куда ни придешь, своя, особенная природа, свои обычаи и законы. На каждом шагу нас ожидали новые чудеса!

Нет, дорогие друзья, околавываясь день и ночь на лужайке возле дома, не понять, как огромна земля и как безбрежно небо,— куда и откуда стремятся дороги и реки!

Третий день нашего путешествия подходил к концу. Мы с Чуи так увлеклись, что даже не заметили, как стемнело. Вскоре на небо не спеша поднялась серебристо-белая луна.

Ночь была очень светлая. Мы посоветовались и решили воспользоваться этим и по прохладе двинуться дальше, не останавливаясь на привал. Но в полночь вдруг хлынул ливень. Мы укрылись под широким листом Банана, и до рассвета над нашими головами барабанили звонкие капли.

Проснувшись утром, мы сразу глянули на небо. Оно было ясным и чистым. Я опустил глаза и прямо перед собой увидел воду. Ее было столько, что я решил сперва, будто это Море! Но это оказался Река. Она неторопливо и плавно текла, извиваясь между поросшими травой берегами. Просто вчера в темноте мы ее не заметили.

Я сказал Чуи:

— Посмотри-ка, Река, по-моему, течет в ту самую сторону, куда направляемся мы с тобой. За эти дни мы уже достаточно находились пешком. Давай-ка теперь спустимся на воду и отправимся в плаванье. Как ты думаешь, братец, не настало ли время нам стать моряками?

Чуи сразу же согласился со мной. Он предложил, чтобы каждый плыл на отдельном судне из сухого листа Лотоса. В этом году дожди запоздали и, куда ни глянь, всюду качались на воде Лотосы — словно покинутые птичьи гнезда. Посреди каждого листа возвышалось круглое, как яйцо, засохшее основание черенка, сидеть на нем было удобно и мягко, не хуже, чем в кресле. Чуи неплохо придумал, но я, конечно, развил его мысль и предложил вот что: «Плот!.. Нам нужен не какой-то там крошечный челнок, а большой и просторный Плот. Скрепим несколько листьев вместе, и Плот готов. На Плоту можно плыть вдвоем, это куда удобней...»

Задумано — сделано. Вскоре Плот был готов и спущен на воду. Вот уж он раскачивается на волнах.

Осенняя вода была настолько чиста и прозрачна, что мы различали даже белые камешки на речном дне. Прибрежные пейзажи смеялись, радуя глаз. Все было незнакомо, все новые — деревья и травы, ближние селенья и дальние горы. Водяные жуки Гаунгво, черные, тощие и долговязые, провожали нас восхищенными взглядами. Крабихи Кень таращили на нас свои пленительные глазки, в которых ясно читались преклонение и восторг. Длиннохвостые рыбки Шаншат и пестрочешуйчатые Тхэузэу стайками гнались за нашим Плотом (да только куда им!), и приветственные клики их долго еще звучали над водой.

Каждый день, где-то после полудня, Чуи опускал в воду ногу и греб ею, как веслом, направляя Плот к берегу. Мы причаливали и высаживались на берег поестъ травы. Из-за этих остановок мы теряли немало времени. Тогда мы решили уйти в многодневное плаванье и до конца его не приставать к берегу. Но сперва надо было загрузиться травой. Мы облюбовали подходящее место, причалили, и вскоре Плот был полон свежей молодой травы. По нашим расчетам, ее должно было хватить не меньше, чем на две недели. Но когда находишься в плаванье, все вокруг тебя движется и ты тоже движеешься, а движение, как известно, возбуждает зверский аппетит. Через двое суток нам пришлось снова пристать к берегу и пополнить запасы провианта. Но все равно мы плыли теперь намного быстрее.

В ту ночь небо было черным, как тушь. Усевшись поудобней, я грезил под журчанье воды, и мне чудилось, будто это поют не речные струи, а струны неведомого инструмента, звучащего где-то в глубине под нашим Плотом. Сам не помню, как я уснул.

Когда я проснулся, уже рассвело.

Я огляделся. Что это? О ужас! Обернувшись, я увидел, что Чуи тоже застыл в растерянности и усы его тревожно вздрагивают.

Наш Плот не плыл уже больше по красивой Реке, меж берегами, поросшими превосходной травой. Мы качались на волнах, а вокруг — ни малейших признаков берега. Да, видно, мы попали в Открытое Море!.. Наверно, течение вынесло нас сюда среди ночи. Ах, какие еще неожиданности готовит нам судьба?

Я обшарил весь Плот в поисках хоть какого-нибудь предмета, который мог бы сойти за весло. Но на Плоту не нашлось ничего, кроме обглоданных черенков и маленькой кучки травы. Чуи попробовал было грести сразу двумя ногами. Но Плот бросало то ввѣрх, то вниз, и проку от его усилий не было никакого. Чуи разочарованно вздохнул. Да, ситуация создалась безвыходная. Оставалось лишь положиться на волю ветра: авось он пригонит нас к берегу. Для нас это было бы спасением. Но пока что, увы, ветер нес Плот в Открытое Море, где нас не ждало ничего, кроме голодной смерти. А ветер крепчал и крепчал!

Грустные, улеглись мы на плоту, ожидая перемены погоды.

Волны вздымались все выше и выше. Даже поднявшись на цыпочки, можно было увидеть вокруг одни лишь волны, высокие, как горы, набегавшие гряда за грядою. Плот наш то взлетал на пенистый гребень, то скатывался в бездну, и временами нам казалось, будто он погружается под воду. Счастье еще, что Плот, сработанный на совесть, был легок на плаву, и, как ни

бесились, ни бушевали волны, они ничего не могли с ним поделать.

Но, дорогие друзья, имелось еще одно обстоятельство, о котором я пока не успел вам рассказать. Мы, Кузнечики, вообще любим поест, а тут, понимаете сами, довелось выполнять тяжелый труд мореходов, — короче говоря, желудки наши восстали и требовали пищи. Обычно я не наедался, если ел лишь три раза в день. А тут прошло дня два или три и трава у нас кончилась. Вокруг по-прежнему простиралась вода — нигде ни клочка суши. Чуи поглядывал на меня с тревогой и грустью. Я старался быть спокойным и веселился как ни в чем не бывало. И, следуя моему примеру, Чуи тоже прибодрился. Я стал трещать крыльями, размахивать руками, потом заплясал и запел шуточную песню. Чуи и вовсе развеселился и пошел плясать вместе со мной. В трудную минуту находчивость и юмор — великое дело!

Но прошел еще день и даже я пал духом. Каждый раз, когда я открывал рот, внутренности мои, казалось, готовы были выпрыгнуть наружу. Чуи попробовал было глотать края сухих листьев Лотоса, короче говоря — питаться нашим Плотом. Но это было все равно что грызть старые доски. Желудок этой пищи не принимал. Голодные и усталые, мы не решались смежить веки, боясь, что, если уснем, упадем с Плота или будем смыты волной. Ведь ставший игрушкой волн Плот мог в любую минуту перевернуться. Какая-нибудь зловредная Рыба или Черепаха могла смахнуть нас с Плота и шутя проглотить.

Третий день: кругом, куда ни глянь, вода.

Четвертый день: по-прежнему, куда ни глянь, вода.

Пятый день: кругом вода.

Шестой день: кругом вода.

Седьмой день: ...кругом...

Девятый день...

Десятый...

На одиннадцатый день нас обоих окончательно покинули силы. Жестокий голод сковал, одну за другой, все части нашего тела. Мы лежали скрюченные и неподвижные. Время от времени один из нас пытался подняться, но колени подламывались, и мы снова падали ничком на палубу. Лишь изредка мы с трудом переползали с места на место.

— Да, дорогой брат, — вздохнул Чуи, — это конец.

— Не бойся, — ответил я. — Видишь, небо затянуто тучами, ночью ветер обязательно переменится. А потом я заметил на горизонте какую-то зеленую полосу. Вон она, погляди. Скорее

всего, это берег. Ветер вынесет нас к этой земле, и мы спасены.

Но Чуи сказал, что он ничего не видит. Наверно, в глазах у меня рябило и мне померещился вдали воображаемый берег. Силы иссякали с каждой минутой. К вечеру мы могли говорить друг с другом, лишь прислонясь голова к голове: голоса были еле слышны, словно шелест слабеющего ветра.

Чуи то и дело косился на меня украдкой. Я понял, его что-то гнетет и спросил:

— Ты хочешь поговорить со мной?

Он покачал головой. Но спустя минуту сказал:

— О мой дорогой Брат, я думаю, нам не спастись от смерти, и мне...

— Не желаю и слышать об этом,— оборвал я его,— нечего зря тоску нагонять!

Но он продолжал:

— Вы можете ругать меня как угодно, но я все-таки скажу... Я потерял всякую надежду. Тьма застилает мне глаза...

Он помолчал немного и добавил:

— Я с вашего разрешения, думаю вот что: от смерти все равно не уйти. Но глупо умирать обоим, надо найти... придумать такое...

— Что ты хочешь сказать?

— Я хочу... Я думаю...— Чуи вдруг стал запинаться.— Нам... мы должны найти какую-то пищу, чтобы выжить... У меня есть руки... вы...

— Довольно,— перебил я,— мне ясно, куда ты клонишь. Ты думаешь, смерть будет вдвойне бессмысленна, если погибнем мы оба, ты считаешь, что один из нас должен уцелеть. Решил, что я должен съесть тебя, решил пожертвовать собой, чтобы спасти меня. Такая преданность, братец, сама по себе достойна всяческой похвалы. Но ты позабыл, дорогой братец, что наши жизни, твоя и моя, равноценны, каждая неповторима и по-своему важна. И не нам с тобой делать подобный выбор. Да и вообще, почему ты решил, будто мы непременно умрем голодной смертью здесь, в море? Что б ни случилось, никогда нельзя падать духом...

Но Чуи упирался и протягивал мне свои руки. Он убеждал меня, уверяя, что они ему ни к чему, ему, мол, без них будет даже легче. Он якобы знал когда-то Кузнечика, прекрасно обходившегося без обеих рук. Пришлось мне на него даже прикрикнуть. В конце концов мы обнялись и заплакали! Чуи как будто успокоился и воспрянул духом.

Ночью подул ветер. Здесь, на воде, он был особенно силен.

Сразу похолодало. Мы пытались согреться, прижавшись друг к другу. Чуи, вконец обессилив, откинулся на спину: он потерял сознание. У нас, Кузнечиков, лишь тот, кто обречен и чувствует близость смерти, ложится на спину, и потому я очень встревожился. Я пощупал его лоб, положил ему руку на грудь, чтобы узнать, теплится ли еще в нем жизнь. Потом стал трясти его, звать. Как бы в ответ на мои старания, Чуи очнулся. А ветер все громче свистел и завывал над волнами. Я обрадованно прошептал:

— Может быть, этот ветер унесет нас к берегу. Может быть... Может...

Сам не помню, как заснул. Но во сне я видел, как мы с Чуи пристаем к берегу.

Утром где-то совсем рядом раздался оглушительный шум, похожий на гром. Я с трудом открыл глаза. Меня ослепил солнечный свет. Я повернул голову, и шея заболела так, словно по ней провели пилой. И вдруг — о чудо! — я увидел берег и высокую зеленую траву. Выходит, наш Плот — уж и не знаю когда — подплыл к берегу. Значит, это было не Открытое Море, а просто-напросто большая заводь. А гром, который я услышал при пробуждении, был вовсе не гром — это перекликались, болтали и ссорились местные жители, наслаждавшиеся ясным солнечным днем.

Я подполз к Чуи и попытался растолкать его. Но он, не шелохнувшись, лежал застывший и бездыханный словно мертвец. Пришлось выстукивать его грудь, чтобы уловить хоть малейшие признаки жизни. Да, он еще дышал. Я набрал в рот воды и прыснул ему в лицо. Чуи чихнул раз, потом еще трижды. Очнувшись и даже еще не открыв глаз, он сразу заголосил и запричитал. Но тут я указал ему на зеленый берег. Чуи уставился на него, вытянув шею, потом испустил торжествующий вопль. Вот оно — наше спасение. Мы тотчас почувствовали себя бодрее.

Однако лишь в конце дня Плот наш пристал к берегу, и мы смогли высадиться на сушу. Я ухватился за нависший над водою стебель и перебрался на берег. Чуи последовал моему примеру. Мы расставались с водной стихией без всякого сожаления.

И вот мы оба стоим на твердой земле. За спиною у нас опустевший Плот, легонько покачиваясь, плывет себе дальше по воле ветра и волн. Ах, наш Плот, наш верный корабль, прощай навсегда!..

Я поклонился и начал щипать траву. Чуи уже давно уткнулся в зеленые листья. Сейчас, даже если бы небо обрушилось на землю, он бы этого не заметил. Здешние травы, увы, были из

тех, что растут у самой воды — жесткие, жилистые и горьковатые на вкус. Раньше я и глядеть бы на них не стал, а теперь казалось, будто вкуснее нет ничего на свете. Да, поистине с голоду и землю начнешь грызть!

Покуда мы ели, уже стемнело. Осторожность, как говорится, — сестра Мудрости; мы решили отойти подальше от берега: неровен час хлынет дождь или случится прилив, и нас смоеет в воду. Лишь взойдя на высокий холм, поросший травой, мы почувствовали себя в безопасности и тотчас уснули мертвым сном.

На другое утро я забрался на колючий цветок травы Сьюк — надо было обозреть с высоты окрестность и определить, куда занесла нас судьба. Итак, мы попали на Остров; был он, правда, довольно большой, но весь покрыт грязью и илом. И росла здесь одна лишь болотная трава. Впрочем, к середине Остров слегка повышался, и там было вроде посуше, но рос там, увы, только Дурнишник с яркими желтыми цветами. Островитяне жили в топкой грязи, да и было-то их совсем немного. Семьями, насколько мог я судить, обзавелись одни Жабы. Прочие оставались холостыми и незамужними: молодцы-лягушки Эньюонги и Тяутянги, длиннопогие прыгуны, квакша Няйбен, величая лягушка Ком и змееныш Маунг. Может, кроме них, там был и еще кто-нибудь, да только они так извозились в грязи, что казались все на одно лицо — поди разбери, кто где — да еще с первого взгляда!

Остров, в общем-то, находился не так уж и далеко от материка. Попасть туда можно было, переправившись через Болото и неширокую Протоку. Но местным жителям дорога эта казалась очень длинной и трудной: никто из них никогда не покидал Острова, и сюда ниоткуда не доходили даже самые запоздалые новости. Целыми днями здешние земноводные болтали, переливая, как говорится, из пустого в порожнее, или сотрясали воздух бесконечными спорами о том, скоро ли пойдет дождь. Всю жизнь они только и ждали дождя. Да и не мудрено — ведь в дождь земля и ил размокают, и тогда в этом месиве легче добыть себе пропитание. У каждого было, понятно, свое мнение, и все говорили разом, никто никого не слушал, никто ни с кем не соглашался, гвалт стоял ужасающий. Кто не слышал их, тому никогда не понять, что такое настоящий галдеж. Взять хотя бы здоровяка Эньюонга: он как раздует брюхо, разинет пасть да гаркнет — у всей округи в ушах звенит, а сам считает, будто беседует вполголоса.

Мы с Чуи, решив обойти Остров, давно уже двинулись в путь; со всех сторон доносились до нас голоса его обитателей,

по до сих пор мы так никого и не встретили. Наконец на глаза нам попался змееныш Маунг. Он тоже нас заметил. Точнее, он сам выполз на нас из травы. Он весь извивался и бил по земле хвостом, но все равно испугаться Маунга мог разве что младенец. Общеизвестно ведь, что Маунги не опасней соломенного жгута. Никто никогда не слышал от Маунгов ни слова, иные даже считают их немыми, но они просто немногословны. Целыми днями они плещутся в воде, подкарауливая добычу, и стоит лишь зазеваться какому-нибудь Комарику или жучку Бео, как Маунг тотчас проглотит его. Но случается этим змеям месяцами жить впроголодь. Вот и сейчас Маунг был явно голоден. Услышав наши шаги, он сперва подполз поближе, а потом высунулся из травы и изготовился к броску. Но, увидав, как велики мы ростом, какие острые шипы у нас на ногах, какие могучие челюсти, короче — поняв, кто мы такие, он убедился, что мы ему не по зубам, и, скромно потупясь, отвернулся и уполз прочь.

Затем нас увидел Няйбен. А они все неизменно расторопные, и этот Няйбен, конечно же, не являлся исключением из правила. Он тотчас велел Эньюонгу, который был у них за глашатая, обойти весь Остров и кричать во всеуслышанье, что, мол, в их Земноводном царстве объявились диковинные пезнакомцы.

И началось. Они притащились все как один. Глядя на их волочившиеся по земле пустые животы и осоловевшие голодные глаза, я сразу понял, зачем они пожаловали. Дело было вовсе не в любопытстве и, уж конечно, не в гостеприимстве. Они хотели узнать, во-первых, нет ли у нас какой-нибудь Еды и, во-вторых, не годимся ли мы сами в пищу. Но, видя, как мы сильны и отважны, оценив наши крепкие панцири и грозное оружие, они расползлись кто куда.

Здесь давно уже не выпадали дожди, и стали пересыхать их лужи и топи. К тому же вода у берегов, если долго не бывает дождей, становится чистой и прозрачной как слеза. На вид-то это, конечно, красиво, да только никакая живность в чистой воде не водится, и потому здешний люд вконец изголодался. Так уж всегда бывает: нужда и бедность наводят нас на мрачные мысли и ожесточают сердца. Островитяне не знали, на ком бы им отыграться. До неба далеко, да и как его заставишь пролить дождь? Правда, однажды, давным-давно, в палящую засуху некая Пресветлая Жаба добралась, как нам достоверно известно из сказки, до самых Небесных чертогов и учинила там, требуя дождь, такую бучу, что сам Властелин Неба перепугался, объявил ее своей тетушкой и обещал по первому ее требованию посылать на землю дождь. Отсюда-то и пошла примета: если Жабы

с Лягушками поднимают крик, жди дождя. Хотя, конечно, случается даже им кричать впустую.

Вот и сейчас потомки той самой Пресветлой Жабы напрасно драли глотки. Они кипятились и спорили друг с другом, придираясь к каждому слову. Брань и крики на Острове не умолкали: тут заимодавцы честили своих должников, там сплетники перемывали чужие косточки, рядом лентяи и трусы сами пели себе хвалу — все кому-то о чем-то кричали, били себя в грудь, топали, плевались, размахивали руками. В конечном счете все крики и споры сводились к одному: когда же, когда наконец пойдет долгожданный дождь? И само собою, они ничего не могли решить...

Разглядев нас, как я уже говорил, все разошлись. Остались лишь две или три Жабы. Одна из них, мечтательно сощурясь, причмокивала, словно никак не могла забыть последнего съеденного ею Комара. Другая вдруг шагнула в нашу сторону и заговорила на каком-то тарабарском книжном наречии (Жабы вообще славятся своими книжниками, вспомните знаменитый лубок с изображением Жабы-учительницы и ее учеников).

— О достославная чета Рыцарей, чему обязаны мы появлением достославной четы в уединенном нашем селении?

Ясное дело, у Жабы этой полон рот слов, смысла которых она сама не понимает. С трудом удерживаясь от смеха, я решил отвечать ей в той же шутовской манере:

— О досточтимая, мы, с вашего дозволения, странствуем по Свету.

— Ква-квак! ...Как?.. Странствуете с моего дозволения?.. Ква-квак!.. Итак, странствуете... сиречь путничаете по градам и весям и ведаете, кто над кем превознесен... Ква-квак!.. Коль так, позвольте почтительно спросить, отверзла ль чета Рыцарей свой слух правдивой молве, гласящей, что я, недостойная, пусть и взысканная Добродетелями, но все же земная тварь — есть не кто иная, как Тетушка Неба?.. Ква-квак!.. Так... Постигаю: чета отверзла свой слух, ей ведомо, чья я родственница. Но, недостойная, я вопрошаю вновь: не встречала ль чета где ни на есть во вселенной моего племянничка... сиречь «Небо разрази меня гром»?

Чуи заулыбался и ткнул меня в бок. Я подмигнул в ответ: мол, все понятно, только не подавай вида. Как бы нам не испортить все дело с этой свихнувшейся высокоученой Жабой. Потом я разгладил несуществующие усы и скромно, но не без достоинства отвечал:

— О досточтимая, вы прямо как в воду глядели, ибо мы с

братом однажды встречали где ни на есть во вселенной вашего племянника — Властелина Неба.

— Ква-квак!.. Вот оно как!.. Сие весьма прискорбно, поелику недостойная не успела прежде открыть вам сокровенного смысла. Но ежели впредь чете попадется где ни на есть во вселенной племянничек недостойной, спросите: отчего он столь долго не проливает благодатных дождей? Уж не прирастил ли он к низменным утехам, каковы суть карты и кости, и не помutilи ль они его светлую память? Ужели не бережат ему душу еженощные призывы и укоризны любезной его тетушки, которая вопиет громогласно, аки Большой барабан, но вопли ее, увы, остаются втуне. Боюсь, от оных громогласных стенаний у недостойной рассыплются зубы!..

Я чуть не расхохотался во все горло. Это же надо — поверить, будто мы и впрямь видели ее племянника «Небо — разрази меня гром»!.. Чуи же, потрясенный жабым красноречием, не выдержал роли:

— Не всякий роднится с кем попало! Вот, скажем, земля с небом или мы с братом — тут истинное родство. А то ведь иные, стоит им проголодаться, сразу же тянут руки к небу и давай голосить. Да надрывайся хоть до тех пор, пока и зубы, и челюсти не развалятся, все равно, как говорится, плоды с высокого фикуса Шунг сами собой тебе в рот не упадут...

Жаба слегка опешила. Впрочем, намеков Чуи она не поняла. Но тут я оборвал его и почтительнейшим голосом произнес:

— Простите меня, о досточтимая, я запомнил... Бывает же такое... Ведь мы, хоть и не получили от вас наставлений, сами спросили у Неба, почему это в поднебесном мире нет дождя? А он, как сейчас помню, замахал на нас руками и говорит: занят мол, занят Важными делами и ему не до какого-то там дождя. Некогда ему. Уж не скажу, какие там у него Дела, я, недостойный, оробел и ни о чем не посмел спрашивать.

Жаба удовлетворенно заквакала:

— Ква-квак!.. Ах, так!.. Недостойная уразумела! Недостойная все уразумела! Племянник мой занят, как постигаю, поглощен державными заботами. И недосуг ему убоготворить тетушку небесною влагой. Племянничек занят! Ква-квак!.. Вот ведь как! Ну, ежели так...

И она расселась в грязи, бормоча что-то и толкуя сама с собой. А вокруг нее прыгали взад-вперед другие Жабы и вторили:

— Ква-квак!.. Вот оно как!..

— Ква-квак!.. Ну, если так...

— Ква-квак!.. Так-так!..

Видно, рассказ мой им всем пришелся по сердцу.

А мы с Чуи зажмурились, зажали носы и начали потихоньку выпускать из себя смех. Когда мы раскрыли глаза, Жабы уже не было. Вместо нее перед нами торчал молодой Няйбен — тощий, долговязый и голенастый. Надетый на нем спортивный костюм в обтяжку и с продольными полосками делал его еще длиннее. Мы собрались было снова расхохотаться, но вдруг обратили внимание на обличье незнакомца. У всех Няйбенов лица бесцветные и бездумные, но резкие темные черты, лица этой квакши выражали строгость, я бы даже сказал, суровость. Я не сомневался, молодой Няйбен прискакал сюда неспроста.

Так оно и было. Мы не учли общеизвестной Истины: Жаба Жабе рознь. Одна безответна и безобидна, как ком глины, — поноси ее последними словами, а ей и горя мало. Зато другая... О, с такой лучше не заводить! Не зря ведь говорят: «Жаба с багровой печепью». Такие обычно жестоки и коварны.

Вот и до ученой Жабы тонкие наши шутки с намеками не дошли. Но когда мы расхохотались ей в глаза, печень ее побагровела от гнева и она отправилась по всей округе бить тревогу: мол, чужестранцы, объявившиеся на острове, — люди педобрые и подозрительные.

Однако, друзья мои, я немного отвлекся... Итак, перед нами возник молодой Няйбен. Он подпрыгнул, приземлился прямо перед нашим носом, моргнул и сказал:

— Великий государь Земповодной державы, Ком Единственный, требует вас!

Мы отправились следом за гонцом, дошли до куста Марсии, свернули в низкий и душный проход под ее побегами и вскоре увидели Лягушку Ком или, как пышно именovala ее квакша, Кома Единственного. Он восседал на кирпиче, служившем ему тронem и ложем. Поза его была исполнена величия и торжественности. В выпученных глазах его я не уловил отблесков разума; да и откуда у Лягушки блеск мысли! Руки его покоились на брюхе, ноги поджаты крест-накрест. Грудь и брюхо отливали белым гляncем — ни дать ни взять одеянье, которое в старину носили законоведы. Они вздувались, опадали, вздувались снова и снова, как будто Ком вот-вот изречет какие-то очень важные и нужные слова. Но он молчал. На затылке у него, на воротe и на спине зеленели пупырышки, точь-в-точь расплюсценные поджаристые зерна молодого клейкого риса; по назвапью этого блюда и нарекли Лягушку — Ком.

Пожалуй, в этом царстве голода Ком Единственный был самым толстым. И я бы не удивился, узнав, что он именно поэтому захватил власть и объявил себя Великим государем. Только нам с Чуи было все равно — «великий» он там или не «великий», да и вообще безразлично, кто у них «государь». Я сразу понял: толстый Ком тоже из тех свихнувшихся книжников, которые сотрясают воздух пустыми словесами. Бахвальства и спеси у Лягушек (если это возможно) побольше еще, чем у Жаб. И стало быть, они чуть-чуть поближе к Небу. Ну а Ком Единственный вообще слушал только самого себя и не слышал никого другого. Я даже сперва пожалел его, думая, может, на него случайно наступила Корова и он повредился в уме. Но, оказалось, Корова здесь ни при чем.

Когда мы приблизились к кирпичу, Ком спросил (а может быть, наоборот, сообщил нам):

— Вы — торговцы жемчугом и направляетесь в Черепаший край, к подножью горы...

— Позвольте,— ответил я,— мы...

— Мы знаем... Мы все знаем... Вы доберетесь до Черепашьего края к следующему базарному дню, то есть через неделю... Когда-то Мы сами...

Чуи, прервав его, крикнул:

— Да нет же, нет! Мы вовсе не собираемся в Черепаший край.

— Мы знаем... все знаем. Когда-то Мы сами бывали в Черепашьем краю, у подножья гор... Да-а, когда-то Мы сами... бывали... Когда-то...

От него только и можно было услышать: «Мы знаем» и «Когда-то Мы сами» — хоть сам он ровным счетом ничего не знал и нигде никогда не был. Ох уж мне эти всеведущие невежды! Я лишь теперь до конца понял смысл старинного присловья: «Лягушка судить обо всем берется, сидя на дне колодца...»

Не знаю, найдется ли в целом свете кто-нибудь способный долго выносить общество такого спесивца и тупицы. Ну а Чуи, как известно, правом горяч и вспыльчив. Потеряв терпение, он начал перебивать Кома, возражать ему и перечить. Все напрасно!

— Эй, вы! — крикнул он в исступленье. — Если уж спрашиваете, дайте хоть нам с братом ответить! Нечего за других расписываться! А то заладили: «Мы знаем, мы знаем»... Ничего вы не знаете! Вы и есть та самая Лягушка, что сидит на дне колодца. Это я, Кузнечик, вам говорю. Запомните: «Лягушка на дне колодца!» Видите крохотный кружочек неба, а толкуете

обо всей вселенной. Ну и потеха! Ха-ха-ха!.. Лягушка на дне колодца! Смотрите на нее, смотрите! Только не лопните от смеха.

Ком ужасно разгневался, затрясся, закричал и стал гнать Чуи прочь. А Чуи хладнокровно замахнулся на него лапой. Ком, конечно, не посмел прибегнуть к насилию. Мы же с братом, не унижая себя дальнейшими объяснениями, повернулись к Лягушке спиной и с достоинством удалились. Понятно, подобные выходки до добра не доводят, но тогда мы были очень довольны собою.

Ком Единственный тотчас созвал всех своих подданных на Совет. И они начали думать, как лучше нас покарать. Мы с Чуи чуть животы не надорвали от смеха: Совет у них был Чрезвычайный и Тайный, но вопили и спорили они так, что нам — а мы пахнулись довольно далеко — было слышно все слово в слово. Каждый твердил свое, стараясь перекрычать остальных. Они клялись в лютой ненависти к нам и обещали бить нас смертным боем всюду, где ни увидят. Мы, мол, оба проходимцы, явились невесть откуда, и вид у нас разбойный и вороватый, а потому надо нас проучить, чтоб неповадно было впредь соваться в Земноводную Державу.

Выслушав их, Великий государь Ком Единственный велел выступить против нас Эньюонгу и Тяутянгу. Но они отказались, сославшись на давнюю болезнь живота, а она-де могла подвести их в бою.

Тогда Ком вызвал ученую Жабу. Казалось бы, ей первой надлежало сразиться с нами. Но она отвечала, что прежде всех вступила с нами в общение, и потому меж нами и ею уж существуют Узы Вежливости; да и потом она как человек ученый и книжный более привычна к тушечнице с кистью, а знание боевых приемов — это, мол, удел особ заурядного ума.

Потом подошел черед Няйбена. Потянувшись до хруста в костях, отчего ужасающая худоба его стала еще более явственной, он возопил, что, мол, слишком тощ да и легковесен и любой, дунув посильнее, свалит его наземь, а неприятелей как-никак двое.

Змееныш Маунг начал доказывать, что он только на днях сменил кожу и его кости и мышцы не достигли еще толщины и мощи, позволяющей надеяться на Победу.

Наконец, все как один — и Жаба с Эньюонгом, и Няйбен, и Тяутянг, и змееныш Маунг — предложили Великому государю Кому Единственному покинуть на время трон, хотя и настало уже время зимней спячки, и выйти на поле боя. Сами же они

покаялись идти на врагов за его спиной. Но Ком раздул свое брюхо, выпятил губы, вытаращил глаза и воскликнул:

— Нам, ли, Великому государю, взысканному добродетелями и славой, биться со столь ничтожными врагами?!

Так они и разошлись ни с чем. Каждый занялся своим привычным делом. Жабы с Маунгом отправились подстерегать Комаров. Няйбен залез на дерево. Тяутянг затянул какую-то слезливую песню. Ну и прочие снова начали сетовать и браниться, чтобы хоть как-то убить время. А Великий государь Ком Единственный остался восседать без движения и без дела на квадратном своем кирпиче; ему полагалось сидеть и сидеть вот так всю зиму.

Мы не хотели затевать с ними войну и вовсе не собирались задерживаться здесь, на этой невеселой и скудной земле. Если Просвещенный Мир и вспомнит о ней когда-нибудь, то я уверен, лишь в связи с тем, что мы с Чуи, пристав к здешнему берегу, спаслись от неминуемой гибели...

Ну а пока мы, ни о чем не думая, устремили свои стопы туда, где за стеной Дурнишника с желтыми цветами поблескивала на солнце Протока. Оттуда намечали мы переправиться на материк. А заодно надеялись найти там траву получше, подкрепить свои силы и отдохнуть день-другой.

Едва мы вышли на берег, Чуи тотчас кинулся в воду и поплыл. Плавал он, надо сказать, весьма недурно и вдруг ушел под воду; даже усы скрылись в пучине, словно кто-то внезапно дернул его под водой за ноги. Вскоре он вынырнул на поверхность, в ужасе озираясь пазад и оглашая криками всю заводь. Я пригляделся и увидел, что за ним по пятам мчатся какие-то белые буруны. Из пены торчали лишь пятицветные хвостовые плавники. О ужас, за ним стайей гнались рыбы Шаншат! Это они едва не уволокли Чуи под воду. Насилу ему удалось от них отбиться.

Лишь теперь я догадался окинуть взглядом всю реку. Повсюду так и кишели рыбы Шаншат, хвосты их, как яркие флаги, реяли среди белой пены. Они кружились на одном месте, преграждая нам путь.

Да, наверно, не все услышали мы из того, что говорилось на Тайном и Чрезвычайном Совете, заседавшем у квадратного кирпича. Здесь явно видна была обдуманная стратагема. Кто-то сообщил Шаншатам о месте нашей переправы, и они заняли позицию вдоль берега, у самой кромки. Они ждали нас! Об отдыхе не могло быть и речи. Надо было срочно, немедленно отступать с Острова. Неужто безмозглому чванливому Кому принадлежит этот коварный план?!

Вскоре подоспели и рыбы Зиэк. Округлые белокожие толстухи, они степенно плыли против течения. Хвосты их и плавники плясали над водой. За ними, вспенивая воду своими длинными чешуйчатыми телами, появились дядюшки Нгáо; выпученные глаза их налились кровью, широкие пасти непрерывно распахивались и захлопывались снова.

Малейшее промедление грозило нам смертью! Чуи явно растерялся. Ах, кто вмиг распаляется, тот быстро падает духом! А до дела ведь еще не дошло.

— Спокойнее, спокойнее,— сказал я,— суетливость никому еще не помогла.

Но он закричал:

— Глянь-ка, новая банда пожаловала!

Я посмотрел вверх по течению. Оттуда приближались Банановые рыбы. От них зарябила речная гладь. Их белые зубы, торчавшие частоколом, были похожи на пилы. Когда они проплывали мимо нас, вода потемнела, словно небо перед дождем.

Пора разработать порядок отхода!

Прикинув на глаз расстояние до противоположного берега, я подумал, что, если соберусь с силами, пожалуй, сумею до него долететь. А здорово было бы пролететь прямо над головами врагов! Но что делать с Чуи — его коротким крылышкам не преодолеть этот путь...

Времени у нас оставалось в обрез. Того и гляди, Банановые рыбы подкрадутся по топкой грязи и, щелкнув челюстями, отхватят нам ноги. А не то какой-нибудь разбойник из Угрей выползет на берег...

Вы спросите, друзья, отчего все это произошло? Потом уже, долгое время спустя, беспристрастной мыслью вникая в те памятные события, я понял: причиной всему была наша злонамеренная шутка и пренебрежение к окружающим. Не скажу вам, когда и как, но подданные Земноводной державы, конечно, связались с Рыбьим царством, обрисовали нас сущими чудовищами и условились о совместных действиях...

Но к делу! Времени у нас, как я уже говорил, оставалось в обрез. Я подумал и, само собою, нашел выход. Вот он, путь к спасению! Я опустился на колени и велел Чуи усесться мне на спину. Потом, стиснув челюсти, напруг все свои силы, поднялся в воздух и полетел над рекой. Только вот набрать высоту я так и не смог и летел над самой водой.

Рыбы, спеша и толкаясь, плыли за нами следом. Они били хвостами, поднимали фонтаны брызг, пытались сшибить нас в воду. У меня промокли крылья, вымокли голова и живот. Но

если бы я замедлил взмахи крыльев, мы совсем потеряли бы высоту, рыбы схватили бы меня за ноги и от нас обоих косточек не осталось бы. Мне чудилось, будто на спину мне навалилась каменная гора.

Я напряг все силы. Не сдаваться!.. Только не сдаваться!..

Наконец река осталась позади, под нами была суша. Я рухнул без сил на лужайку. Чуи свалился с моей спины за секунду до этого.

Поднявшись на ноги, мы глянули на другой берег и обомлели: там толпились сбежавшиеся отовсюду островитяне. Правда, Кома Единственного я среди них не увидел. Зато прибыло подкрепление: четыре огромных черных Краба, похожих на броневики! Они потрясали здоровенными клешнями. Попади я в такие клешни — быть бы мне перекушенным надвое, несмотря на мой панцирь.

К счастью, нас разделяла теперь река. И бьюсь об заклад, никакие рыбы не смогли бы сюда добраться, так что преследование нам не угрожало. Но не зря дается нам Воинский Опыт! — я вспомнил, как во время сражения Чуи с Муомами жуки неожиданно перелетели через Реку. Истинный Стратег должен принимать в расчет все возможные обстоятельства. Вот почему я тотчас предложил Чуи отправиться в глубь материка. Он согласился со мной, и мы молниеносно скрылись.

Но прежде чем удалиться, мы дали неприятелю почувствовать свое Превосходство: мы оба, Чуи и я, подняли повыше руки и прострекотали Победную песню. Потом Чуи лихо расправил усы (здесь я, увы, не мог составить ему компанию) и показал кукиш окаменевшим от горя врагам. Они не успели даже ответить нам, я быстро увлек Чуи прочь и мы совершили стремительный бросок до самой Рощи, ярко зеленевшей вдаль.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Славный Поединок с Рыцарем Богомолем.—
Мы становимся Верховными Правителями
государства Тяутяу.— Клятва в верности
до гробовой доски.

В Роще, которую мы заметили с берега, росла трава Май. Наступила как раз пора ее цветения, и мы шагали под пушистыми соцветиями. Кругом до самого горизонта качались белые, серебристые, серые цветы Май. Потом, увы, вместо цветов на

ней появятся колючие плоды, цепляющиеся за платье прохожих, словно пришитые намертво, потому-то называется эта трава «Май» — «портновская».

В рощах, среди пушистых цветов Май, раскинули свои селенья Стрекозы.

Со Стрекозами мы, Кузнечики, давние соседи. Мы живем обычно на лужайках и по берегам прудов и озер. А Стрекозы, как известно, любят садиться на высокие травинки у самой воды. И потому художники, рисующие летние пейзажи, на фоне спокойной воды и высоких гор всегда изображают Кузнечика со Стрекозой: она качается на верхушке травинки, а он восседает внизу, на земле. На опушках обычно припекает солнце, но Стрекозам жара нипочем, и мы с утра до ночи увлеченно беседуем с ними о житейских делах, особенно о Дальних Странах.

Здесь жили все, какие ни есть Стрекозы: Королевские — на вид суровые и важные, но, приглядевшись, вы убедитесь, что глаза у них очень добрые; Стрекозы Нго, похожие на кукурузный початок — самые быстрые летуны, взмахнут разок крыльями и только их и видели; Стрекозы Паприки по имени Эт — в переливчатых пупцовых платьях, заметных издали под ярким летним солнцем; Стрекозы Тыбнг — с двойными раззолоченными крыльями в черную крапинку, которые в ясные дни низко парят кругами над луговыми травами; Стрекозы-Иголки Кимким — качающиеся на лету, как томные барышни, крылышки у них хрупкие и слабые, тело длинное и тонкое, точно игла или зубочистка, а глаза огромные, больше самой головы.

Обычно Стрекозы разлетаются в поисках пропитания Куда Глаза Глядят, но, едва начинает портиться погода, снова возвращаются в цветущие рощи Май, под сенью которых всегда можно укрыться от дождя. Мы шагали по рощам, а у дороги под пушистыми цветами суетились и галдели разодетые во все новое Стрекозы. Они явно собирались куда-то.

Я спросил, куда они направляются, и они ответили: «На Великий Турнир». А в небе порхало столько Стрекоз, что крылья их застилали солнце. Одни лишь Кимким пристроились пониже, но и у них вид был озабоченный и праздничный.

Я снова спросил: «Что, если и мы с братом пожелаем взглянуть на Великий Турнир?» И они отвечали любезно: «Пожалуйста».

Итак, мы следом за Стрекозами отправились на Турнир. Только они летели по небу, а мы шагали по земле. Время от

времени и я расправлял крылья и тоже взлетал — просто для собственного удовольствия ну и, сами понимаете, на радость всем окружающим. По дороге нам встретилось несчетное множество народу, все торопились на Турнир. Всюду царило веселье. Даже водяные жуки Ниэнгниэнг, которые круглый год невылазно торчат под листьями Лотосов, и те, почистив свои блестящие черные платья, выбрались на праздник.

История Великого Турнира такова:

В тех краях каждый год, едва раскроются белые и серебристые цветы Май, наступает Всеобщее Торжество. Но в прошлом году правивший этим краем старый мудрый Богомол отошел к праотцам. И потому решено было нынешнее Всеобщее Торжество сочетать с воинским ристалищем, дабы, определив сильнейшего и достойнейшего, вручить ему всенародно Бразды Правления. Таков древний обычай.

И вот меж багряными стволами Май, под сверкающими белизной соцветиями, была сооружена величественная Арена — высокая, вся из отборного Тростника цвета слоновой кости и старого золота. Она стояла на краю Большого Луга, и отовсюду ее было прекрасно видно: нарядный крепкий помост, кресло Судьи, тенистый навес из благоуханной Медовой травы, качавшиеся на ветру гирлянды желтых цветов Дурнишника.

В первые дни проходили Отборочные состязания. Не счесть, сколько совсем еще зеленых саранчуков Тяутяу вошло на Арину. Про таких говорят: «Жеребенок лягает ветер...» Они ведь и в силу еще не вошли: замахнутся разок-другой и уже еле дышат; ударят врага, а сами с ног долой. Конечно, юнцы эти мнили себя заправскими бойцами, но зрители, глядя на них, зевали, рискуя вывихнуть челюсти. Они предпочитали этой зеленой скуке праздничное гулянье.

Но прошло еще два-три дня, и Турнир привлек к себе всеобщее внимание: слабые бойцы сброшены с Арены, в Финал вышли двое Рыцарей — Жук Муом и Богомол, первейшие воины и храбрецы здешних мест.

Понутру, прежде чем отправиться на Турнир, я пошел прогуляться и поглядеть на народ, кишевший на Лугу, точно полова вокруг ступы.

Юные саранчихи Каокао, забывшие на время ради Турнира тишайшие сельские будни, в изящных красных и синих платьях смиренно и скромно выступали шажком, и были они очень хороши собой.

Малорослые саранчуки Тяутяума в коричневой одежде, изобразив на своих туповатых лицах любезность, останавливали

хорошеньких Каокао и приглашали их зайти развлечься в заросли свежей травы, заменявшие здесь придорожные харчевни.

Почувствовав в желудке голодную истому, я тоже свернул в харчевню и позавтракал сочной травкой. Там было полно посетителей: Тяутяу, Каокао, Муомы, Богомолы то и дело входили и выходили, пили чай и закусывали.

Вдруг несколько саранчуков Тяутяума, которые увивались вокруг хорошеньких Каокао, пуская им пыль в глаза, торопливо отошли в сторонку. В заведении смолкли разговоры и шум. И я увидел вошедшего с превеликой важностью молодого Богомола. В общем-то, не было в нем ничего особенного — обычный болван и дубина. Но манерами своими и повадками смахивал он на тупого служаку и солдафона. Ходил он, высоко задирая погы, не сгибая колен и вытягивая носок — сущий фашист. Шею вытягивал так, будто намеревался головой прошибить небо. Лоб у него был узкий, подбородок квадратный. А глазами он вращал с таким видом, словно у окружающих только и было дела, что на него любоваться. Оба меча с зубчатыми, как у пилы, лезвиями он держал наизготовку — выставив вперед у самой груди, как бывалый воин, всегда готовый к нападению и защите.

Все это, может, и производило сильное впечатление, но только не на меня. Я-то знаю таких хвастунов: на вид — герой хоть куда, а как дойдет до дела — не знает, куда бы поскорее спрятаться. Небось этот самовлюбленный Богомол вызубрил с грехом пополам азы Воинского Искусства и теперь раздулся от важности. Да стоит ли он вообще моего внимания? К чему мне это сбежавшее с шеста огородное пугало! Я остался стоять у дверей харчевни, словно не замечая входившего Богомола. Разумеется, ему и в голову не пришло посторониться, и он бесцеремонно стукнул меня мечом по темени. Боль, признаюсь, была довольно сильна.

Я ловко отскочил влево и произвел свой знаменитый сдвоенный пинок — обеими ногами. Но негодяй успел уклониться от удара и снова занес свои мечи.

При виде начавшейся драки посетители харчевни разбежались кто куда. Молоденькие Каокао так торопились, что иные порвали даже свои яркие платья. Но хуже всех пришлось почтенному пожилому Жуку Кáнькáтю: большой и дородный, он зацепился за что-то полою своего мешковатого длинного одеянья и рухнул наземь, неловко подвернув ноги и смяв крылья, громко взывая о помощи к небесам и земле.

Богомол, однако, не стал продолжать боя. Он только наставил на меня мечи и сказал:

— Если ты такой смелый, поднимись-ка попозже на Арену!

— Почту за удовольствие,— отвечал я с подчеркнутой вежливостью.

Богомол злобно ухмыльнулся и удалился, все так же печатая гусиный шаг. Едва он вышел, посетители начали возвращаться, и вскоре харчевня снова была полна. Теперь все обступили меня, а дядюшка Канькать — он успел уже подняться — задрал свой острый нос и тяжело вздохнул.

— Эх, братец! — сказал он. — Что же ты начудил? Ты небось явился сюда издалека и не знаешь сам, с кем связался? Это ведь Рыцарь Богомол, законный племянник Его Высочества Старого Богомола, покойного правителя государства. Здесь у нас никто не смеет тронуть даже пушинку на его ноге. Сегодня он должен одержать победу на Великом Турнире, и тогда к нему перейдут Титул и Власть покойного деда. Теперь, когда ты все узнал, мой тебе совет — уноси поскорее отсюда ноги, и как можно дальше.

— Благодарю вас,— был мой ответ. — Но я никогда еще в жизни не отступал перед угрозами, не отступлю и сегодня.

Долго еще дядюшка Канькать сетовал на мое упрямство, приговаривая: «Эх, братец, не жилец ты теперь на этом свете...» Я вышел из харчевни. Невмоготу мне было слушать столь малодушные речи. Я удалился в Рощу взглянуть на цветы Май, трепещущие под ветром. Зрелище это меня успокоило.

Когда я вернулся, на Арене уже заканчивались приготовления к Турниру.

Какого же, представьте, было мое удивление при виде брата Чуи, готовящегося к Поединку с Жуком Муомом! Значит, Чуи питал еще в своем сердце ненависть к этому роду и не мог позабыть ту смертельную схватку с жуками! Должно быть, при виде здешнего вовсе ему незнакомого Муома в сердце у храброго Чуи вновь проснулась былая вражда, и он тотчас вскочил на Арену.

Рыцарь Муом победил перед тем в поединках нескольких противников и был в упоении от собственной славы. Нет, этот Муом отнюдь не был легким соперником. И рост его, и стать говорили о мощи и силе. На руках его и ногах перекачивались мышцы. За плечами высился твердый как камень горб: зеленые надкрылья железным панцирем прикрывали все тело вплоть до самого хвоста, где торчало грозное изогнутое лезвие меча. Надо лбом качались белоснежные усы, а под ними вра-

щались выпученные, как у рыбы, глаза. Черные челюсти Муома были необычайно остры. Если б не Чуи, Муому пришлось бы в Финальном Поединке сразиться со спесивым Богомол, оспаривая звание Победителя и Титул Главы государства.

Итак, противники разошлись по своим местам.

Судья, почтенный Тяутяу, уселся в кресло. Он был стар и сед, лоб его пересекали глубокие морщины.

По заведенному издавна обычаю оба Рыцаря, чтобы дать зрителям представление о своем искусстве, показали два-три Боевых Приема.

Затем на какое-то мгновение они замерли, приглядываясь друг к другу, наконец выставили вперед руки, грозно взмахнули усами, и бой начался.

Чуи ловко владел своими конечностями. За время наших Дальних Странствий он выучился у меня многим приемам и ловко применял их. Муом, напротив, не затруднял себя сложными выпадами, он уповал на одну лишь грубую силу, тыча куда попало мечом и щелкая челюстями. Чуи был подвижней и легче и потому без труда уклонялся от его ударов.

Двигаясь впустую вокруг Арены, Муом заметно устал. И тут Чуи стал действовать в полную силу. Он распрямился и прыгнул, ноги его тяжкими палицами обрушились на голову соперника, расколов вдребезги защитные очки на глазах Муома. Затем он провел еще один удар, и Муом рухнул на спину. Раз пять или шесть Жук пытался встать на ноги, но тщетно.

Почтенный Судья сошел на Арену, отвел Чуи в сторону от поверженного Муома и объявил:

— Победа присуждается Рыцарю Кузнечнику Чуи!

Весь Большой Луг загремел приветственными кликами. Но к торжеству примешивалось недоумение: ни одна душа здесь не знала, кто такой Рыцарь Чуи...

Подождав немного, почтенный Судья снова поднял свой длинный рупор из листьев Рогульника и объявил:

— Рыцарь Кузнечик Чуи победил Рыцаря Жука Муома! Кто из собравшихся здесь знаменитых воинов желает сразиться с Рыцарем Кузнечиком Чуи?

Голос его, усиленный рупором, прокатился над Лугом, и все, замолчав, прислушались.

Вдруг из толпы прозвучал чей-то голос:

— Мы!.. Мы желаем сразиться!

И на Арену прыгнул спесивый Богомол, с которым я едва не подрался сегодня в харчевне.

Для Чуи это могло плохо кончиться. Он выглядел очень ус-

галым. Вдобавок при виде длинношеего верзилы я вспомнил нашу утреннюю стычку, и кровь во мне закипела.

— Погодите-ка! Погодите! — крикнул я. — Вы сами раньше бросили вызов мне!

Я старался соблюдать приличия, ведь мы как-никак на Турнире. Но Богомол, понятившись, пробурчал только:

— А-а... Ну вылазь!..

И выставил вперед свои мечи. Весь облик его и жесты выражали крайнее презрение.

Как я уже говорил, перед Поединком было принято, чтобы каждый боец представился публике.

Богомол прошелся, весь извиваясь и вращая мечами. Клинки так и мелькали в воздухе, и казалось, будто их не два, не три и не пять, а множество — целый веер, напоминавший издалика пушистые кисти цветов Май. Он выглядел непобедимым.

Ну а я не стал щеголять своей выучкой и ловкостью, просто принял боевую стойку, наклонился вперед и раз-другой взмахнул ногами. Поднялся ветер и едва не оборвал полы красных и синих платьев у стоявших неподалеку девиц Каокао. Да, был я тогда силен!

Из-за своего высокого роста Богомол в начале схватки получил некоторое преимущество. Он с силой обрушил мечи на мою голову. Но голова моя была, как говорится, из Железного дерева, и удары эти были мне ни о чем. Я же старался улучшить момент и снизу нанести удар правой задней Богомолу в брюхо. Я выжидал, пока он промахнется своими мечами и потеряет равновесие.

Однако Богомол, видя, что расколоть мою голову ему не удастся, решил изменить тактику. Теперь он стремился вонзить меч в щель между моим шлемом и панцирем и перерубить мне шею. Увы, шея и впрямь оставалась у меня незащищенной, и точным ударом отсечь мою голову ничего не стоило. Заметив грозящую мне опасность, я удвоил удары, потом быстро нагнулся и сомкнул челюсти на шее Богомола. Обезумев от боли, он рванулся, подпрыгнул и очутился прямо у меня за спиной. Этого-то я и ждал! Удар-пинок могучими задними ногами — коронный прием Кузнечиков! Я вложил в него всю свою силу и ярость. Удар пришелся Богомолу прямо в лицо. И наш непобедимый Рыцарь, вскрикнув тонюсеньким голоском, взвился в поднебесье и рухнул наземь далеко от Арены, прямо в толпу зрителей.

Да, Победа была полная!

На Большом Лугу, закипели страсти. Шум стоял оглушительный: шутка ли, Рыцарь Богомол, законный племянник Его

Высочества покойного Богомола, сильнейший боец в государстве, побежден в поединке!.. И кем — каким-то Кузнечиком Менем, чужестранцем, бог весть откуда явившимся!.. И как побежден — наголову! Теперь небось на всю жизнь останется калекой!..

Волнение еще не улеглось, когда почтенный Судья, старый Тяутяу, с важностью поднял свой рупор и воскликнул:

— Кто из собравшихся здесь знаменитых воинов желает подняться на Арену?! Кто хочет сразиться с победителем?!

Он повторил свой призыв трижды.

Толпа безмолвствовала, и тогда он возгласил:

— Объявляется Финальный Поединок. Рыцарь Кузнечик Чуи сразится с Рыцарем Кузнечиком Менем!

О небо, я должен драться с Чуи? С моим Братом? Я взглянул на Чуи. Он тоже с недоумением глядел на меня. Неужели мы явились в эту чужую страну после стольких страданий и мытарств для того, чтобы драться из-за пустых Титулов и Наград? Я невольно шагнул навстречу Чуи, протянул к нему руки, обнял его за плечи, и, приблизившись к краю Арены, мы посмотрели вниз, на Большой Луг. Там, под сенью соцветий Май рукоплескали нам тысячи и тысячи зрителей.

Я обратился к ним с речью:

— О досточтимые и уважаемые! Мы с Братом совсем недавно прибыли в ваши края. И поверьте, мы вовсе не собирались добиваться здесь никаких Званий и Наград. Не зря говорят: «На доброе место и птица охотней садится». Вот и мы, узнав про ваш прекрасный обычай, явились к вам на праздник. Так уж случилось — мы и сами этого не ожидали, — герои со Всех Четырех Сторон Света повергнуты впрах, уступив нам с братом право в последнем решающем Поединке определить судьбу почетных Титулов и Наград. Но, простите великодушно, Поединок между нами невозможен! Надеюсь, вы и сами понимаете почему? Победителю Турнира предназначен высокий государственный пост, но, простите нас снова, занять его мы не смеем. Оба мы по натуре скитальцы, жадные до новизны, нам по душе одни лишь Дальние Страствия. Иногда нас может, конечно, пленить красота какого-то уголка и мы остаемся там, но на время, а потом все равно уходим дальше. И у нас нет намеренья остаться где-нибудь навсегда. Мы с братом просим понять нас и простить нам невольную нашу вину.

Не успел я договорить свою речь до конца, как снова начался невообразимый шум: одни требовали, чтобы мы с Чуи сразились, как положено, к этому, мол, обязывают тысячелетние обычаи; другие возражали им. Тем временем на Арену взошли Ста-

рейшины здешних племен — дряхлый старец Тяутяу, древний Богомол, почтенный Канькаты, старик Каокао, пожилой Ниенгниенг.

— Почтеннейшие Рыцари, — обратились они к нам, — вы сами изволили вспомнить о том, что на доброе место и птица охотно садится. Но где же, скажите, где, как не здесь, у нас раскрылись столь блистательно, столь великолепно ваши Дарования и Таланты? Поистине никто на свете не достоин сравниться с вами. Это ли не величайшая честь для нас и величайшее счастье! Ежели вас, о почтеннейшие Рыцари, связывают братские узы и вы к тому же соратники и единомышленники, Поединок меж вами, само собой, невозможен. Но власть над нашей землей и попечение об ее судьбах один из вас должен взять на себя. Таково всеобщее наше желание и таков Закон. Вот уж которое поколение именно так, а не иначе мы избираем себе Правителя. Другого пути нет!

Я отказывался как мог. А Чуи молча стоял рядом. (Только потом я понял, что означало это его молчание.) Пришлось мне в конце концов согласиться.

Не передать вам, какое тут началось ликование. Обоих нас тотчас поставили Главами государства: меня — Верховным правителем, а Чуи — моим Помощником.

Кто-то в одно мгновение соорудил Паланкин, народ поднял нас и понес на своих плечах под белыми цветами Май. Праздник вылился в торжественное Триумфальное шествие.

Девушки Каокао, подняв свои очаровательные личики, провожали нас долгими восторженными взглядами. Толпа забрасывала нас листьями и цветами, пела и плясала. Все взялись за руки — Канькаты с Тяутяу, Каокао с Муомами — и закружились в шумном и радостном хороводе. Отовсюду из норок и гнезд, с веток и листьев выходил, выбегал, вылетал народ, и все торопились сюда, на Большой Луг, в поля, где соцветия Май белели до самого горизонта.

Дошло до того, что я поднялся на Арену и, ловко изгибаясь, размахивая ногами и крыльями, исполнил одну очень славную песенку. Но счастливее всех явно был Чуи. Только теперь я понял, отчего он молчал, когда я отказывался от власти: он боялся, что меня так и не сумеют уговорить. А едва я дал свое согласие, он сразу пустился в пляс, застрекотал и запел, подбивая на всякие озорные выходки простодушных и робких Канькатей, опасавшихся, как бы Второе лицо в государстве с самого начала не сочло их безправственными!..

Прошло немного времени.

Меня начали томить тревога и огорчение. Ах, если б нам не всучили эту высокую власть! Я по-прежнему мечтал лишь об одном: как бы дать волю моей страсти к путешествиям; мне ничего больше не нужно было для полного счастья. Чуи в отличие от меня был очень доволен. Он появлялся повсюду, озаряя подданных благосклоннейшими улыбками и наклонив усы к земле, наигрывал на них, как на струнах, веселешькие мелодии.

— Не думай,— сказал я ему однажды,— будто праздность ведет к Добру. Но пагубнее всего предаваться праздности в молодые годы; это ничуть не лучше, чем прозябать всю жизнь на дне своей норы. Ах, Чуи, не забывай, как прискорбно оборвалась здесь наша дорога, увлекавшая нас все дальше и дальше в поисках Смысла Жизни. Не допускай, чтобы праздность приковала нас к месту. Жизнь сложна и пелегка, и случается в ней всякое...

Само собой, в ту же зиму произошли важнейшие события.

На обочинах дорог пропала трава Май. Отощавшие коровы в кровь стирали об землю носы, выискивая хоть засохшие корешки. Люди вышли из деревень в Поля — убирать Рис. Они шли по золотистым полотнищам созревшего Риса с серпами в руках, связывали срезанные стебли в снопы и на коромыслах уносили их во дворы. На бескрайних Полях осталась лишь сухая стерня.

Наступили студеные дни. В Поле теперь почти никого не встретишь. Хмурое серое небо сливалось с безрадостной серой землей, а меж ними днем и ночью завывал ветер. У ребятишек, выбегавших в Поле, мерзли уши и краснели носы. От холода даже у взрослых коченели ноги. Оставаться в жилищах посреди открытого Поля было уже невозможно. Хочешь не хочешь, а приходилось идти искать убежище от стужи.

Зимовать под открытым небом — все равно что обречь себя на гибель. И потому с давних пор у всех тварей, живущих в этих краях, было заведено: с наступлением холодов покидать скованные стужей Поля и всем миром отправляться на поиски теплого жилья. Случалось, его надо было отвоевывать силой: зимой многие, так же как Тяутяу, искали себе убежища потеплее.

— Ну, кто был прав? — спросил я Чуи. — Таков уж наш мир — здесь долго не усидишь на месте с блаженной улыбкой на устах. Жизнь состоит из забот и треволнений. Сам видишь, сколько народу собралось в путь искать пристанища на зиму. Это еще полбеда, а в холодных странах бедные малые птицы замерзают на лету и мертвые падают в снег. Думаешь, зря Журавли или Аисты улетают отсюда осенью на другой конец Све-

та, в теплые страны. Погляди, какие дуют студеные лютые ветры. На что Муравей неприметная тварь, и тот своими лапками толщиной с волосок умудряется вырыть себе жилище под землей, чтоб обогреться ее теплом. Помпи, пришла зима и скоро начнутся лютые холода!

Потом я собрал наших подданных и сказал:

— В полях уже свирепствует стужа. Сейчас, по-моему, самое время отправляться на поиски теплых жилищ.

Вскоре под открытым небом не осталось ни души. Первыми исчезли Стрекозы. Они знали: их тонким крылышкам не справиться с зимними ветрами; особенно торопились укрыться в тепле болезненные и хрупкие Кимкимы. Жуки Ниенгниенг зарылись поглубже в ил, рядышком со своими сородичами Гаунгво, с Жабами и Крабами, которые, прячась от стужи вдоль берегов озер и прудов, торопливо возводят целые глиняные горы.

А Тяутяу, Каокао, Богомолы, Муомы и прочие имеют обыкновение укрываться между листьями диких Ананасов. Ведь на зиму одни Ананасы сохраняют свои зеленые листья, которые, словно настороженные уши, устремлены к низкому серому небу. Основания листьев у самого стебля образуют глубокие щели, в которых очень удобно лежать, оставив снаружи лишь самый кончик хвоста и презирая ветер и дождь. Здесь можно спокойно пролежать до первых весенних дней, пока согретый солнцем воздух не обласкает вас, тронув за плечи, и веселый щебет Корольков не известит о смене времен года. Вот тогда милости просим — выходите и спускайтесь на землю.

Мы выступили на поиски зимних квартир.

Какой год ни возьмите — найти жилье на зиму всегда хлопотно и трудно. Ведь так, увы, не бывает, чтоб всюду, куда ни глянь, ждали тебя тепленькие, а главное, никем не занятые местечки. Напротив, каждое племя старается обосноваться в самом лучшем месте. И тогда, понимаете сами, неизбежны противоречия и столкновения, которые, случается, переходят в кровопролития.

В небе клубились черные тучи, дул резкий безжалостный ветер, холод пробирал, как говорится, до самой печени. В такую погоду никому не хотелось ступить и шагу. Но надо было идти, идти вперед и вперед, потому что мы еще не нашли себе пристанища. На каждом дереве, под каждым листочком кишмя кишели разные твари, чьи одеянья совсем не защищали от зимней стужи, и им приходилось искать убежища где попало.

День за днем шли мы и шли по дорогам, коченея от холода и каждое утро оставляя на обочинах трупы замерзших ночью

друзей. Страдания наши трудно было измерить, но цель оставалась по-прежнему далека.

«Нет, видно нам не избежать кровопролития!.. Если уж речь идет о жизни и смерти, нет ничего зазорного в том, чтобы силой добыть для себя жилье!..» Эти и подобные им мысли с каждым днем все сильнее овладевали умами.

Вскоре, в один прекрасный день, мы подошли к Плотине, поросшей дикими Ананасами. Всех охватило волнение. Пять или шесть Муомов со всех ног кинулись на разведку: надо было установить, не заселены ли уже эти заросли.

Разведчики вернулись и доложили: «Во всех Ананасах полным-полно Тяутяувои!»

Все, кто стояли за моею спиной, разразились горестными воплями. Они не хотели да и не могли уже идти дальше. Колеблясь, я помолчал немного, но потом, слыша горькие стоны и крики, воскликнул:

— Вперед! Лучше погибнуть в бою, чем заоченеть от стужи на чужом Поле!..

Мы бросились вперед и, окружив Ананасы, пошли на приступ. Мы взбирались наверх, к основаниям листьев и, не обращая внимания на торчавшие по краям шипы и колючки, вцеплялись зубами в хвосты Тяутяувои и выволакивали их из щелей.

Закипела битва. Пришлось Тяутяувои — всем до единого — вылезти наружу. А мы разделились надвое: одни торопились занять Ананасы и закрепиться там, другие бились с Тяутяувои, чтобы не дать им вновь овладеть зарослями.

Да, силой Тяутяувои небо не обидело! Были они дородны, могучи и надменны; не зря к племенному имени Саранчи — «Тяутяу» у них добавляется кличка «Вои», то есть «Слон»...

Но я отвлекся, а тем временем один из Тяутяувои напал на меня. Огромный, твердолобый, весь изумрудно-зеленый, на сутулой спине высится острый горб, усы торчат вперед, как два гвоздя, мощные ноги велики, намного толще моих, и узловатые мышцы сплошь утыканы острыми шипами.

Чтобы понять, насколько мы слабее их, не требовалось сложных расчетов, это было видно на глаз: каждый из наших противников был в несколько раз больше обыкновенного Тяутяу. Но мы не испугались. Мы дрались, не щадя себя. Бой — с переменным успехом — продолжался до вечера. Стемнело, но все еще было неясно, на чьей стороне Победа. Наши оставили Ананасы, опасаясь ночной вылазки неприятеля. И мы снова расположились под открытым небом, на холоде, пробиравшем до мозга костей.

Но я ничего не замечал, объятый тревогой и тоской: мой брат Чуи попал в плен к Тяутяувой. Ах, он всегда был слишком горяч и нетерпелив! Вот и сегодня, сражаясь в первых рядах, он чересчур увлекся и оказался один в самой гуще неприятельского войска. Всю ночь я терзался и не сомкнул глаз.

Едва рассвело, мы, стянув все силы — несколько тысяч бойцов, — окружили заросли плотным кольцом. Главной нашей задачей было выручить Чуи. Но разведчики, посланные к Ананасам, не обнаружили там ни души. Вот это удар! Тяутяувой ушли и даже неизвестно, когда...

Возможно, их испугало наше численное превосходство или наша отвага и презрение к смерти, и они отступили под покровом ночной темноты. Впрочем, как бы там ни было, зимние заботы теперь отпали! Но меня не радовала Слава Победителя и не прельщали уютные теплые жилища: отступая, Тяутяувой увели за собой всех наших пленных! Кто скажет, где теперь мой брат? Где мой помощник в державных трудах, где спутник по Дальним Странствиям — где мой Чуи?!

Мы расселись по Ананасам. Снаружи ветер свистел и завывал всю ночь и весь день, но в наших домах было тепло и спокойно.

Когда все устроились на новых местах, я собрал своих подданных и сказал:

— В недавнем сражении мой брат, к несчастью, попал в плен, и Тяутяувой увели его неведомо куда. Когда-то мы с ним поклялись друг другу в верности до гробовой доски. Могу ли я после всего случившегося сидеть здесь сложа руки? Я должен искать брата. И я найду его, хотя бы для этого мне пришлось идти на край Света! А когда я отыщу его, мы оба, даю вам слово, вернемся сюда, к вам.

Они упрашивали и отговаривали меня, но я был непоколебим. Братские чувства и узы дружбы слишком много значили для меня. Да и мне, признаться, давно надоело сидеть на одном месте.

Поняв, что им меня не удержать, подданные мои огорчились и стали наперебой просить меня, чтобы я непременно вернулся, как только найду Чуи.

— Не волнуйтесь, о досточтимые, — сказал я, — мы с вами обязательно увидимся.

Прощаясь, они все никак не могли со мною расстаться. Я тоже был очень растроган. Нет, я не плакал, но сердце мое болезненно сжалось. Впрочем, так всегда бывает перед разлукой.

Итак, вещи, как говорится, увязаны и дует попутный ветер. Я снова пускаюсь в путь. Пора цветения Май давно отошла. На полях и лугах уныло серела солома и торчали корешки травы, оборванной ребятишками; они складывали из нее костры и грелись, выгоняя буйволов на пастбища. С земли поднимались столбы зеленоватого дыма и, тая на ветру, печально расплывались в небе. У Тяутяу и прочих от зимней стужи дрожали усы, но все они — кто шагом, кто скоком — проводили меня далеко за Ананасовые заросли. Они прошли два или три зама (а в каждом зама, да будет вам известно, более четырехсот метров!) и только тогда согласились повернуть обратно.

Я начал погою за Тяутяуои. Я высматривал их следы, спрашивал встречных, искал очевидцев.

Я шел на север, обшаривая все попадавшиеся мне на глаза заросли и рощи, оголенные зимними холодами. А время покуда шло и шло; и вот уже кончилась зима и наступила весна. А потом, шагая по дальним дорогам, я незаметно вступил в лето с его прозрачными синими ночами, озаренными яркой луною и множеством звезд. Ах, каким одиноким и бесприютным чувствовал я себя в эти прекрасные ночи! И, подняв лицо к небу, я громко взывал:

— О брат мой! Где же ты, братец?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Сердечные тайны разочарованного в жизни дядюшки Сиентаука.— Причины, побудившие меня снова отправиться в путь.

Времена года сменяли друг друга не помню уж сколько раз. Но о Чуи по-прежнему не было никаких вестей. Чем дальше я уходил, тем сложнее и запутанней делались мои поиски и тем сильнее становилась тревога.

Я прошел множество стран и встречал на дорогах множество путников, но никто ничего не знал про Тяутяуои. Они словно провалились сквозь землю.

Ах, даже Дальние Странствия приедаются, если странствуешь в одиночку! Когда вы вместе с другом, дорогим вашему сердцу, вам кажутся прекраснее красоты и загадочней чудеса! Все печали и радости вы делите с ним поровну, находя в нем опору, и без труда сохраняете твердость духа даже в самых тя-

желых испытаниях. А счастье, если вы вместе, жарче греет сердца.

Увы, одинокий брожу я по долгим дорогам, и за мною плетется лишь моя сиротливая тень. О как безысходна моя тоска! Иногда я вспоминаю наш Плот, затерявшийся в безбрежных водах, и словно вижу воочию моего братца Чуи: он протягивает мне свою руку, просит съесть ее, желая спасти меня от голода... Слезы льются ручьем из моих глаз...

А время не стоит на месте. Подходит к концу еще одна зима. И вновь наступает весна. Птицы поют и щебечут на ветках. Солнце шелковым пологом ложится на зелень травы, земля из края в край одевается в зеленый цвет. Весенние травы сладки на вкус, словно сахарный леденец.

В один прекрасный день я остановился на берегу ручейка и залюбовался цветами дерева Зо, похожими на ароматные фонарики, развешанные по всему лесу. Вдруг я услышал какой-то неясный шум. Нет, это не было монотонное жужжание пчел, летающих от цветка к цветку в поисках нектара. В шуме этом ощущался свой лад и ритм, он звучал то ниже, то выше, то веселее, то заунывней. Я понял: где-то рядом поет хор.

Взобравшись на большой камень, я глянул через ручей. На другом берегу в свежей и мягкой мураве вели свой хоровод Бабочки. Здесь были Желтые Бабочки, Белые и Пестрые и Разноцветные Мотыльки. Они пели.

Я разобрал даже слова и — представьте себе мое удивление! — узнал отрывок из давным-давно сочиненной одним чужеземным поэтом песни «Четыре времени года». Оказывается, ее перевели на наш язык.

Вот что пели Бабочки, прославляя весну:

День так ясен и хорош —
Явь? Картина ль?
Не поймешь...
Тронул Персика уста
Ветер шаловливый,
Вьется Бабочек чета,
Бровь согнула Ива.
Желтой Иволги летят
Над кустами трели,
Под стрехою звонко, в лад
Ласточки запели...

Чуть поодаль рядом стояли молодцы Цикады Шэу (их зовут «Шэу» что значит — «печальный», но я думаю, здесь больше подошло бы слово «занудный»). Пятнистые бородавчатые физиономии их неуклюже торчали из высоких воротников но-

веньких, сшитых на старинный манер платьев. Наклонив голову в сторону хоровода, они извлекали из спрятанных под крыльями барабанчиков протяжную заунывную дробь, сопровождавшую веселый хор.

Наверно, они устроили Пир На Весь Мир в честь прихода весны. Ведь начало весны всегда и повсюду отмечают радостным праздником. Я почувствовал, что и у меня в душе дрогнули какие-то струны. Я тотчас забрался повыше, чтобы лучше слышать песню.

Теперь я разглядел рядом с Бабочками и Цикадами Шэу еще один хоровод. Весенняя песня звучала прозрачно и звонко, словно переливы ручья, бегущего вдалеке под зеленым покровом леса.

Посреди этого второго хоровода восседал почтенный дородный Жук Сиентаук. Каждой из шести своих конечностей он обнимал молоденькую Белую Бабочку. Они дружно взмахивали крыльями в такт песне, словно подбрасывая в воздух лепестки цветов. А когда Сиентаук наклонил голову, чтобы извлечь из висевшего у него на шее музыкального инструмента долгий скрипучий звук, две другие Бабочки, хохоча и резвясь, взобрались на его крепкие длинные усы. И все они пели и веселились от души, как малые дети.

Я пригляделся к этому Жуку: каков он собою, стар или молод? С чего бы ему так ребячиться? Ведь все Сиентауки издавна славятся строгостью нравов, воздержанностью и скромностью.

И что же, вы думаете, я увидел? Нет, это — чудо!.. Передо мной был дядюшка Сиентаук. Ну, конечно, тот самый — мой давний знакомец и благодетель! Даже в нынешнем его обличье сохранилось еще что-то от прежней его строгости и глубокомыслия. Все так же грозно выглядели его черные острые челюсти. По-прежнему лысым и гладким было его темя — ни волоска, ни пушинки. (Да ведь и само родовое имя «Сиентаук» означает «безволосый»). Впрочем, лысина его казалась пристойной и даже привлекательной благодаря чудесным длинным усам. А мои-то отрезанные усы так и не выросли...

Но, честное слово, друзья, пускай операция, сделанная когда-то Сиентауком над моими усами, и повредила моей внешности, состарив меня и лишив великолепного украшения, но я не таил зла. Напротив, я почитал дядюшку Сиентаука, как мужа выдающегося и великодушного, взысканного Талантами и Силой, — говоря в двух словах — как Истинного Рыцаря.

И кто б мог подумать, что дядюшка Сиентаук, такой скромный, суровый и мудрый, вдруг за какие-то два-три года станет

легкомысленным, праздным гулякой, прожигающим жизнь в обществе завязанных бездельников — Цикад Шэу и Бабочек. А уж они, судя по их виду, гуляли и бражничали напропалую день и ночь. Увы, и я когда-то предавался безрассудствам и излишества! Но дядюшка Сиентаук... Нет, это уму непостижимо!

Покуда я размышлял: предстать ли пред очи Сиентаука или же потихоньку удалиться, оба хоровода вдруг распались, Бабочки в страхе разлетелись и забились под кусты. Воцарилась мертвая тишина.

Сиентаук поднял голову и, запинаясь, спросил:

— Эй, крошки!.. Кто... эт-то нап-пуг-гал... вас до смерти?..

Озираясь по сторонам, он заметил меня и воскликнул:

— Кто это? Да никак сам Кузнечик Мен! Откуда ты взялся? Иди-ка сюда, к нам!.. Да ты ли это, братец Мен?

Наверно, от разгульной жизни и ночных бдений зрение у Сиентаука ослабело, и он даже не признал меня сразу. Но память его не подвела: память теперь у него была лучше зрения.

Я подлетел к нему.

Бабочки, попрятавшиеся было в кустах на краю лужайки, рассмотрев меня, выбрались из своего убежища и подошли поближе. Сперва они, видимо, испугались меня и застыдились, а теперь осмелели, даже стали наперебой приглашать на танцы. Но от танцев я отказался, вежливо, конечно, чтобы никого не обидеть. И они снова закружились в хороводе и запели, жаль только, скрипучая музыка Цикад портила мне удовольствие.

А потом мы остались вдвоем, Сиентаук оглядел меня и спросил шутливо:

— Что, братец, усы так больше и не выросли?

Я засмеялся и покачал головой. Потом принялся расспрашивать Сиентаука о его нынешней жизни: отчего, мол, он стал таким беззаботным и праздным.

Дядюшка Сиентаук тяжело вздохнул, негромко пощелкал челюстями и задумался о чем-то своем. Немного погодя он заговорил, и голос его был тих и печален.

Вот его рассказ:

— Не правда ли, Мен, вы заметили, как сильно я переменялся? (Ого, сам Сиентаук теперь со мной на «вы»! А впрочем... Но не будем, друзья, отвлекаться.) Да я и сам вижу, что стал совсем другим. Знаю, знаю, как низко пал я, проводя время в безделье и плотских утехах. Но, увы, дух мой сломлен, подорваны силы! Мне никогда не трудиться больше в поте лица, не выйти на поле брани. Я теперь ни на что не гожусь. Знайте, Мен, это сама жизнь, беспощадная, мрачная и тяжелая жизнь,

согнула меня и придавила к земле. После нашей первой встречи я был очень доволен собой, потому что совершил тогда немало Полезных и Добрых Дел. И вот однажды я залетел в знакомую вам деревню. Откуда мне было знать, что именно там готовятся страшные, роковые события?! Ах, Мен, известно ли вам, что такое облава. Помните, как мальчишки «выливали» Кузнечиков? Ведь они и вас в свое время поймали, заставили драться всем на потеху, а потом сделали своим футбольным призом. Ну так вот, облаву, в которую я угодил, затеяли приехавшие из города дети. Им понадобились жуки, и не всякая там мелкота, а именно мы, Сиентауки. Я был схвачен на ветке Шелковицы.

Они увезли меня в город. Путь был неблизкий, но я точно не знаю, сколько дней мы находились в дороге, потому что меня вместе с пятью злосчастными моими сородичами заточили в какую-то коробку, и мы сидели там взаперти. Один умер в пути от удушья. Мы, Сиентауки, испокон веку питаемся древесной корой. Но эти малолетние невежды, представьте себе, не знали, чем нас кормить. То они набивали нашу темницу травой, то совали туда рис и даже обглоданные кости. Сами понимаете, Мен, мне кусок не лез в горло. Я голодал, наверно, месяца два или три, но им, нашим мучителям, как говорится, и горя было мало.

К счастью, мне удалось бежать. А дело было вот как: я обратил внимание на то, что стены нашей темницы сделаны из плотной бумаги. Выбрав подходящее место, я стал смачивать стенку слюной и скрести ее ногами. Постепенно она начала поддаваться. Тогда я напруг остаток сил, ударил в стену всем телом и... вывалился наружу. Я расправил крылья и, не оглядываясь, полетел прочь. Мне повезло, ох как повезло, уважаемый Мен, я сохранил оба крыла. Ведь моим товарищам по заточению дети потехи ради оборвали крылья. Тщетно раскрывали они надкрылья, им не на чем было подняться в воздух, они не могли больше летать. Куда уползли они, что с ними случилось потом, не знаю.

Сам не пойму отчего, но за время болезни характер мой переменялся. Я разочаровался в жизни, ничего больше не ждал для себя и ни о чем не мечтал. Клянусь вам честью: я до сих пор толком не знаю, что, собственно, со мной произошло. Возможно, причиной всему пережитый мною кошмар, а может быть, овладевшая мною безысходная тоска. Но мне ни до чего не было дела. Я даже перестал питаться корой и приучился есть простую траву, ее, благодарение небу, хватает повсюду. Я считал себя ушедшим от мира отшельником. День за днем, месяц за месяцем

бродил я по пустынным тропам, и друзьями мне были одни лстучие облака. Я никого не встречал, не знакомился ни с кем, уверенный, что отныне меня не коснется житейская суета. Я приравливался лишь к смене времен года, напрочь отринув все свои старые привычки, меня больше не заботила моя наружность и платье. Я и думать забыл о мирской жизни, мне безразлично было, какие вокруг происходили события и перемены... И вот с тех пор...

Он замолчал.

Ах, как тяжело мне было его слушать! Наверно, многим, как и этому пожилому Жуку, подобные удары судьбы внушили бы отвращение к жизни и страх перед нею. Здесь, как говорится, все на ладони — причины и следствия.

Сиентаук покачал головой.

— Ну а вы, Мен? — спросил он, и голос его был по-прежнему грустен. — Куда завели вас житейские тропы?

Я стал рассказывать ему все с самого начала. Время от времени он вторил моим словам вздохами сожаления и досады. Но едва я заговорил о том, как покинул Ананасовые заросли и отправился в погоню за Тяутяувои, чтобы выручить Чуи, Сиентаук вдруг перебил меня.

Я летел без отдыха день и ночь. И немало прошло дней, пока удалось мне выбраться из этого мрачного безликого и бессердечного города. Когда я долетел наконец до Сада, где росла свежая зеленая трава, силы покинули меня. Я совершенно не мог двигаться и проболел несколько месяцев.

— Тяутяувои, говорите вы? Тяутяувои... Вроде припоминаю... Так и есть, это они проходили здесь месяца два или три назад. Да и Кузнечика Чуи я тоже видел...

— Чуи?! Не может быть!

— Отчего же? Я прекрасно его помню.

— Брат мой, дорогой братец!.. Эта банда... Горе мне, брат мой в плену...

— Да нет, Чуи у них вовсе не пленник. Он шел вместе с Тяутяувои как равный. Однако...

— Что «однако»?!

— Однако... Ай-ай-ай, что-то в последнее время с памятью у меня неладно, просто беда... Постойте-ка... А-а, вот наконец-то вспомнил! Тяутяувои вместе с Кузнечиком приходили сюда по делу: они уговаривали меня присоединиться к ним, к их Великому Делу. Ох уж эти мне Великие Дела! Бредовая идея! Вообразите, Мен, они намереваются обойти весь Свет, встретиться со всеми живыми тварями и между теми, кто проявит

Добрую волю (а таких, они полагают, большинство), утвердить Всеобщее Братство. Послушать их — просто уши вянут!

— А по-моему, это прекрасно! — воскликнул я.

— Я отбивался руками и ногами от этих мечтателей, — медленно продолжал Сиентаук, словно не слышал моего возгласа. — Мне кажется, они еще глупее береговых крабов Зачанг, которые возводят свои укрепления из песка у самой воды, позабыв о приливе. Я вообще избегаю мирских дел; но их затея, прямо скажу, повергла меня в ужас. Не для того надел я монашеский колпак и не подпускаю к себе житейские заботы ближе кончиков усов. Жизнь погасила огонь в моем сердце, мне ли ступать по багряному праху, как назвал Будда подъятую суетой пыль...

— Где же они теперь? — спросил я в волнение.

— Ничего от меня не добившись, они ушли, но...

— Куда ушли?

— Они хотели обойти все Поля и Луга на другом берегу Ручья, убеждая тамошних жителей примкнуть к их Великому Делу, а потом — вернуться в наши края и отправиться дальше на запад. По-моему, вам нет смысла уходить отсюда. Оставайтесь у нас, вы все равно их дождетесь. А за брата своего не тревожьтесь. Тяутяувои добры и великодушны, и Чуи, пока он с ними, ничего не грозит. Но если вы и впрямь одобряете их выдумки, мне вас жаль от души. Поверьте, все твари земные друг другу — враги, и каждый печется лишь о своем собственном благе. Мне ли этого не знать!

Ах, ему было невдомек, что Великое Дело, задуманное Тяутяувои, это — и моя давняя мечта. С того дня, когда я, прощаясь с матушкой, выслушал ее наказ, я понял: каждый, кто наделен способностью мыслить, должен, не зная устали, искать Истинный Смысл Жизни. Вот и мы с Чуи в свое время отправились в Дальние Странствия, чтоб отыскать этот таинственный смысл, но нам он, увы, так и не открылся. И сегодня я был поистине счастлив! Ведь именно этим неуловимым доселе смыслом проникнуто было Великое Дело Тяутяувои! И потому, хоть мне было известно об этом Деле не очень-то много, я сразу стал их верным сторонником.

Горько сожалел я теперь о нашей с ними войне. Не моя ль безрассудная запальчивость явилась всему виной? О, если б я попытался сперва встретиться с ними и вступить в переговоры, дело не дошло бы до кровопролития! Но с другой стороны, я почувствовал и известное облегчение: Чуи был в безопасности.

Что же делать? Оставаться мне здесь или идти дальше? Я колебался и еще раза два или три советовался с дядюшкой Сиен-

тауком. Однако мозг его после всех потрясений стал, по-моему, совершенно гладким и никакая новая мысль в нем не задерживалась. Если я и останусь здесь, как предлагает Сиентаук, то все равно буду томиться в ожидании брата.

И все-таки я остался — отряхнул пыль дальних дорог у травяного шалаша, в котором укрылся от мира старый Сиентаук.

С утра до ночи в ушах у меня звенели песни Бабочек и Цикад Шэу. Ах, возможно ли сегодня, и завтра, и через неделю слушать одни и те же песни и сидеть сложа руки?! Но здесь и в помине не было ничего такого, что могло бы называться «Делом». Коротко говоря, дни, которые я провел здесь, были как две капли воды сходны с теми, когда я совсем еще юнцом начал самостоятельную жизнь в домике, куда привела меня Мама. Наверно, вы помните, друзья, как я тогда пел и плясал до упаду, бездумно растрачивая невозвратимое время.

Жизнь, заполненная лишь развлечениями и утехами, скоро, как известно, приедается. Да и что было общего между мною и здешним веселым народцем? Я по натуре скиталец и непоседа, и мне неважно оставаться подолгу на одном месте. Образ жизни всех этих Бабочек и Цикад, закоренелых лодырей и дармоедов, был мне отвратителен. Даже Сиентаук сделался здесь лицемерным безвольным бездельником и повесой. Если бы не теплившаяся в сердце у меня надежда встретиться с Чуи, я давно бы ушел отсюда.

Само собой, друзья, неприглядность окружающей жизни вынуждала меня все чаще и чаще обращать свои помыслы к Великому Делу Тяутяуои. Как это прекрасно — Всеобщее Братство! В мечтах я уже видел себя шагающим рядом с ними и ощущал связавшую нас воедино решимость и волю. Когда же, когда мы выступим в дальний путь — завтра, через день, через неделю? Каждое утро, открывая глаза, я слышал в моем сердце этот властный неумолчный зов.

Но вот прошел день, другой и кончилась весна. А за нею отошло и лето. В прудах и озерах увяли Лотосы. Кроны деревьев из зеленых становились желто-багровыми. Солнце склонялось к осени.

Однажды утром Бабочки пришли пригласить меня в Лес — на состязание певцов. Я отказался, молча покачав головой, и отправился побродить в одиночестве по берегу Ручья. Я глянул на небо и почему-то с особенной грустью вспомнил о Чуи, о своих надеждах и чаяньях.

Вдруг откуда-то с запада донеслось громкое жужжание. Целый пчелиный рой прилетел и уселся на листьях Бамбука и кус-

тистых побеггах Канатника, который, как всегда в начале осени, украсился яркими желтыми цветами. Пчелы летали за Едой и на обратном пути решили устроить здесь привал. Все они были нагружены пылью. Жужжа, рассказывали они друг дружке разные веселые истории, и голоса их звучали, как бодрая и пленительная мелодия жизни, нарушившая вдруг дремотную тишину Леса.

Отдохнув немного, Пчелы полетели дальше. А следом за ними унеслось и мое растревоженное сердце.

Я проводил их взглядом. Пчелы эти, как я понял, летели издалека. Они кормились своим трудом, сами строили себе дома, переселялись из края в край. Они умели дружить и работать сообща. Лишь те, кто, странствуя, познают мир и трудятся, живут настоящей полнокровной жизнью. Я был весь во власти надежд и сомнений! В мозгу у меня проносились слова: «Работа»... «Дальние Странствия»... «Всеобщее Братство»... Ноги мои нетерпеливо переступали с места на место: «В путь! Скорее в путь!..» Призыв, брошенный гудевшими, словно рожки, пчелами, взмывшими в небесную синь, все еще звучал у меня в ушах. Ах, как мне все здесь наскучило и опостылело!

Задумавшись, я и не заметил сперва, что шагаю по редкому Лесу. Там увидел я Сиентаука. Он стоял у ствола Бамбука и глубокомысленно качал головой. Да, природа создала его для трудов, для действия — он был огромный и сильный с широкими угловатыми плечами... Потому-то, наверно, и показался мне смешным его томный, задумчивый вид. Но вот он качнулся, закатил глаза к небу и скрипучим сильным голосом затянул куплет все из тех же «Четырех времен года», только на этот раз песня была об осени:

Ах, как приятно
среди Хризантем ароматных
Праздной рукою
созвучья исторгнуть из струн...

О земля! О небо!.. Вам повезло, друзья, что пение его ни разу не коснулось вашего слуха.

Какие разные картины предстали сейчас моему взору: Пчелы, трудолюбивые веселые и бодрые, и дядюшка Сиентаук, вконец обленившийся толстяк, сам не заметивший, как опустился и стал тунеядцем.

Я по натуре не склонен к прекраснодушию и мечтательности и не привык сложа руки плыть, как говорится, по воле волн. Я решил покинуть эту ораву бездельников, уйти отсюда сегодня,

сейчас же, ни с кем не прощаясь и никому не показываясь на глаза. Так я и сделал...

Шел уже десятый день моего путешествия, когда дорогу мне вдруг преградила Плотина. Она была так высока, что я потратил полдня, покуда добрался до ее гребня.

Я стоял на Плотине и смотрел на Реку, быстро катившую свои темно-красные воды. Вдруг кто-то сердито прокричал «Куик-куик» прямо у меня над головой. Подняв глаза, я увидел подлетавшего Зимородка. Вот это да! Второго такого щеголя и красавца надо поискать!

Мы называем Зимородка «Ча», паверное, потому, что он питается рыбой, а самое знаменитое рыбное блюдо у людей зовется «ча» или «тя». (Это когда рыбу поджаривают кусками на вертеле или на противне.) Когда Зимородок собирается поймать рыбу, он хлопает крыльями, на мгновение замирает в воздухе, вглядываясь в воду, потом камнем падает вниз и тотчас взлетает с добычей в клюве. Он как бы видит невидимое, и потому есть у него и другое имя «Бойка» — «Провидец рыбы». А поскольку этой Птице суждено не раз еще появиться в моей повести, во избежание путаницы лучше называть ее каким-то одним именем, я выбрал имя «Ча».

Да, мой Ча, подлетавший к плотине, на вид был далеко не молод, довольно тощий и хилый. Но Ча тем-то как раз и славятся, что до старости корчат из себя сердцеедов и наряжаются пестро и кричаще — не по годам. У иного уже и щеки ввалились, а он все порхает этаким юнцом. Мой Ча раздобыл себе где-то крылья веселенькой расцветки, совершенно не сочетавшиеся с его темным и мрачным лицом. Живот у него был белый, спина синяя, затянутая в талии, а крылья... Про крылья я как будто уже говорил? Впрочем, нет, я не сказал, какого они были цвета, а были они фиолетовые с зеленым отливом. На ногах Ча носил красные сапожки. Не знаю, может, он бы еще и сошел за писаного красавца, будь у него другой клюв. Но, увы, клюв его был чересчур велик, да к тому же еще и черен. Клюв этот был длиннее самого Ча. Казалось, будто кто-то сыграл над ним злую шутку и воткнул в середину лица бамбуковый кол. Старик маялся и страдал, таская огромный этот клюв точь-в-точь как Улитка, всю жизнь обреченная волочить на себе свой каменный дом.

Я разглядывал это чудо природы и посмеивался втихомолку: как бы ни хорохорился старичок, с таким носом никуда не сунешься! Мог ли я знать, что именно он, черный нелепый клюв скоро решит мою судьбу?!

А случилось вот что:

Старый Ча, покружившись, вдруг сел на плетень прямо передо мной. Плетень шатался из стороны в сторону, и Ча раскачивался вместе с ним; не забывая посматривать на воду, он подстерегал рыбу. Но тут, наклонясь совсем низко, Ча заметил меня и закричал:

— Ну наконец-то! Наконец!

Словно встретил близкого и долгожданного друга. (Лишь потом мне стала ясна причина его ликованья.)

Зрачки его блеснули красноватым огнем, и, прочертив над моей головой наклонную линию, Ча приземлился рядом и тотчас выставил вперед свой огромный клюв. Вот тут-то я разглядел его язык — острый и красный, как кровь. Честно говоря, я слегка встревожился. Но у меня появилась одна черта, которая, на мой взгляд, делает мне честь. И я с гордостью расскажу вам об этом, дорогие мои читатели: я стал независим, ни перед кем не заискивал, не лебезил и не кланялся, пусть бы это мне даже грозило смертью. Когда-то давным-давно, валяясь в ногах у страшного и неумолимого Сиентаука, я ощутил всю горечь и боль унижения и поклялся, что впредь ничего подобного со мной не повторится.

И теперь перед лицом, точнее, перед клювом старого Ча, который был сильнее меня в тысячу раз, я помышлял лишь об одном — о борьбе. Я не собирался ценой раболепства купить себе жизнь, как это делают часто иные особы со слишком гибкой спиной.

Рыболовы Ча вообще славятся тем, что по жадности или злобе способны на любую грубость и даже на преступление. Но я все равно не испугался. Я весь напрягся, изогнулся, расправил крылья, угрожающе поднял руки и сделался похож на мохнатый цветок ползучего растения тхиенли.

Видя, что я изготовился к бою, старый Ча воскликнул:

— Ну-у, напугал!.. Ай да молодец! Сущий богатырь!..

И он стукнул меня клювом по голове. Никогда еще в жизни я не получал подобных ударов. Однако голова моя не напрасно прикрыта Рыцарским шлемом, она неуязвима, как каменный монолит. Боль, конечно, была страшная, но сознания я не потерял и удержался на ногах.

Изумленный, без сомнения, тем, что не сшиб Кузнечика первым же ударом, Ча задумался на мгновение, а потом ухватил меня клювом и взмыл в небеса. Страшное дело! Ветер жутко свистел, раздирая уши. С самого моего появления на свет мне не доводилось еще ни разу быть на такой высоте!

Я заточен в темницу.— Что случилось со мною, пока я томился в плену у старого Ча.— Разлученные встречаются вновь.

Но нет, не здесь еще пожелала судьба поставить последнюю в моей жизни завершающую точку.

Я остался в живых! И дожил, как видите, до сегодняшнего дня, чтобы, склонясь над белым листом бумаги, записать воспоминания моей юности и впечатления Дальних Странствий. Быть может, и вас, дорогие читатели, хоть немного развлечет и обогатит крупницами опыта рассказ о моей бурной жизни, полной заблуждений и ошибок?..

Итак, я не умер. Зажатый в клюве старого Ча, я летел, постепенно снижаясь над красной от ила рекой. Мы пересекли ее наискосок и приземлились среди негустых Шелковиц. Едва старик опустил меня наземь, я снова принял боевую стойку. Ча широко раскрыл свой клюв и захохотал:

— Ха-ха-ха!.. Вижу, вижу, ты великий воин! Ха-ха!.. А теперь успокойся-ка и стань как следует. Слушай, что я тебе скажу. Я подыскал себе недавно новый особняк, и мне требуется привратник. Давай поступай ко мне на службу. Согласен?

Теперь только я понял, почему, увидав меня на плотине, старый Ча радостно воскликнул: «Наконец-то!..»

Я замотал головой и начал доказывать, что шел как свободный Кузнечик по открытой для всех большой дороге и никто не имеет права задерживать меня силой и учинять оскорбительный допрос. И если у старого Ча есть совесть, ему бы самое время попросить прощения и отпустить меня на все четыре стороны, а не отягчать свою вину новыми бесчинствами.

Тут старик сощурился и сказал:

— Ну, вот что, поговорили и хватит! Я спрашивал твоего согласия просто так, чтобы душу потешить. А хочешь ты быть у меня сторожем или не хочешь — мне дела нет! Коли падо — захочешь...

Но я стоял на своем и, не желая больше разговаривать с ним, молча мотал головой. Тогда старый Ча снова взял меня в клюв, и мы полетели к его новому дому.

Я-то, конечно, знал, что никакой это не дом, а просто-напросто нора где-нибудь у воды. (Ведь Ча, рыболовы, живут не как порядочные птицы в гнездах на дереве, а селятся в земляных

норах.) Да он еще небось и не сам выкопал эту нору: Ча, они не умеют рыть землю и привыкли, как говорится, загребать жар чужими руками. Чаще всего они отнимают дома у мышей. Присмотреть себе чужую нору — на это Ча мастера. Если найдут нежилую — хорошо, а попадется где занятая — тоже не беда: Ча дождутся, пока Мышь отлучится куда-нибудь, да и залезут в ее нору. И сразу принимаются за всякие переделки внутри и снаружи. Вернется Мышь, а Ча давай ее отваживать: не твой, мол, дом — и все тут! Заходи да смотри — здесь ведь все по-другому, не так, как у Мышей... Мыши, бывало, сердятся, но толком тоже ничего доказать не могут; побранятся, поспорят да и отступятся. Конечно, не каждая Мышь уйдет сразу. Иные скандалят и день, и два подряд. Их понять нетрудно: каково им — своими руками построить дом и тут же его лишиться. Но Ча, ловкачи, все равно умудрятся и нору за собой оставить, и хозяина опозорить.

Ясно, почему старик не хочет оставлять «особняк» без присмотра и для чего ему нужен «привратник». Он даже в дальнем конце норы вырыл отдельную каморку — нечто вроде сторожки.

Туда-то он и попытался загнать меня. Я вырвался и изо всех сил ударил его задними ногами, целясь прямо в лицо. Но, увы, коронный мой удар угодил в клюв, твердый как камень, и пропал зря. Тогда Ча втолкнул меня клювом в каморку и тут же завалил выход из нее кирпичом. Я оказался в заточении, замурованный заживо.

В каморке было темно, словно в заткнутом пробкой кувшине. Между стеной и кирпичом не пролезла бы даже моя рука. А старый Ча, стоя снаружи, отдавал мне первые распоряжения:

— Отныне ты должен караулить мой дом. За хорошую службу награжу. Не справишься — жди колотушек. А теперь прочисти-ка уши, я растолкую тебе твои обязанности: пой во все горло, когда меня нет дома, чтобы ни мыши, ни змеи, ни тысяченожки не лезли в особняк. Они услышат твой голос, решат, что хозяин дома, и не посмеют носа сюда сунуть. Вот и вся забота. Каждый день будешь получать вдоволь вкусной травы. Ну как ты небось счастлив!..

Я-то собрался обругать его последними словами за то, что он незаконно лишил Кузнечика Свободы, а он, оказывается, меня «осчастливил»!.. Каково мне было это слышать?!

Петь я не стал. Ни петь, ни кричать, ни шуметь, как требовал старик. Он подождал день-другой и, не услышав ни звука, перестал приносить мне траву. Ах, как мне хотелось есть! По-

размыслив, я понял: ничего не может быть глупее, чем добровольно уморить себя голодом в этой темнице. Нет, я должен есть, питаться, набираться сил, чтобы выжить и спастись из злого логова! Вот в чем истинная мудрость!

С этого дня я начал петь. Нередко я распевал во весь голос и когда старый Ча был дома. Тут у него начиналась бессонница, но я умолкал не раньше, чем старик не накричится вдоволь.

Днем и ночью томился я взаперти. Увы, дни мои были так же темны, как и ночи! Я развлекался лишь собственным пением. И пел все, что приходило на память, без смысла и без разбора; пел, не задумываясь, как дышал. Да и стоило ли стараться ради идущих мимо прохожих? Ведь голос мой должен был их не завлекать, а отпугивать. Ну а у законной хозяйки «особняка», Серой Мыши, я обязан был создать впечатление, будто тут в самом разгаре Пир На Весь Мир: Кузнечики пьют и гуляют с рыбаками Ча и уже совсем распоясались. А кому, скажите, охота связываться с пьяными буянами?!

Старый Ча обычно целыми днями не бывал дома. К ночи он возвращался и укладывался спать. Сперва я рассчитывал под звуки моих частушек, романсов и песен тайно прорыть подземный ход и бежать. Но наружную и боковую стены старик укрепил кирпичами — и откуда он их только понатаскал? Мои руки и ноги оказались слишком слабыми, чтобы их сокрушить. Правда, задняя стена, уходившая в глубь земли, поддавалась моим усилиям. Но ведь этак, пожалуй, мне пришлось бы прорыть насквозь весь земной шар. И вышел бы я где-то на противоположной его стороне. А что мне, скажите, там делать? И все-таки я не смирился с неволей и не потерял надежды. Надежда эта и вера в грядущее освобождение утешали меня, прогоняли прочь подступающую к сердцу тоску. Так уж бывает всегда: кто не поддается отчаянию и страху, тот непременно выживет и победит!

Итак, томясь в беспросветном мраке, я пел. Пел по принуждению. Ведь, как я говорил уже, голос мой никого не радовал и мои песни никому не были нужны. Да я и сам не получал от них ни малейшего удовольствия. Я просто служил источником шума. Но если бы я прекратил этот шум, старик перестал бы меня кормить.

И я пел. Я стрекотал и трещал. Чтобы выжить, чтобы выиграть время, придумать какой-нибудь план и бежать. И тут мне пришло в голову, что я мог бы подозвать кого-нибудь к норе и открыть ему, кто я и какая меня постигла участь. Может быть,

люди захотели бы мне помочь и освободили бы из темницы?! Какие песни я должен выбрать для этого? И когда лучше их петь? Я думал теперь... Я думал...

Я перестал исполнять пустые и бессмысленные песенки — как много их, оказывается, на Свете! — и оставил в своей программе только серьезные песни, смысл и мелодия которых подходили к моим обстоятельствам. Теперь я слушал себя с наслаждением. Я даже начал слагать новые песни. Одни были, собственно, жалобами, обращенными к добрым и справедливым сердцам, другие раскрывали мою тайну, в третьих звучала надежда, пускай неясная еще и неосознанная. Конечно, я не мог петь об этом прямо, во всеуслышание: кто знает, а вдруг за мной следит старый Ча? Да и потом его в любую минуту могла принести нелегкая. Приходилось хитрить, прибегать к тонким намекам и иносказаньям...

Вот одна из таких песен:

Ах, кто мне поможет,
Кто мудрый подаст совет?
*Долгая мрачная ночь над землей,
Нигде не забрезжит свет...*

Однажды старик, как обычно, с утра пораньше улетел на Реку за рыбой. А я, снедаемый волнением и тревогой, напевал снова и снова:

*...Долгая мрачная ночь над землей,
Нигде не забрезжит свет.*

Мне чудилось, будто я слышу, как мой собственный голос погружается все глубже и глубже в обступивший меня мрак. Душу мою обуревали неясные чувства, и я в забытии повторял без конца:

Ах, кто мне поможет,
Кто мудрый подаст совет?..

И вдруг я умолк...

Там, снаружи, кто-то был!

Я расслышал неясный шум. Потом кто-то спросил:

— Не правда ли, как похож этот голос на голос моего брата Мена?

— Кто там?! — воскликнул я. — Да, это я! Я — Мен!

— Ой, держите меня! — Голос снаружи зазвучал уже громче. — Мен, вы?! Я — Чуи! Ваш братец Чуи... Где же вы, Мен? Где вы?.. Как вас найти?

Меня колотила дрожь.

Да, это голос Чуи. Даже долгие годы разлуки не стерли из памяти его торопливый, словно скачущий говорок. И мой Брат, хоть между нами, как говорится, пролегли пропасти и воздвиглись горы, он тоже сразу узнал мой голос.

— Я здесь! — ответил я брату. — Сижу в темнице на дне норы. А ты там, братец, один или с тобой еще кто-нибудь?

— Ах, дорогой Брат, здесь Тяутяувой и дяд... дяд...

Он стал заикаться от волнения.

— Я... Я... — продолжал Чуи. — Я, если падо, сейчас же, сию минуту спасу вас!

— Постой! — громко сказал я. — Очень, очень даже надо! Но не смей сейчас заходить в нору. Стены темницы сделаны на совесть, а мой тюремщик вот-вот вернется. Знай, я в плену у старого Ча. Он скоро прилетит с рыбалки. Ты уж, братец, потерпи до завтра. Спрячься где-нибудь поблизости, а когда он проснется утром и улетит, тут ты выходи из укрытия и берись за дело. Зачем рисковать без толку.

Все случилось так, как я и предсказывал. Очень скоро с Реки прилетел мой старик и сунулся в нору. Друзья мои, наверно, попрятались где-то, и он ничего не заподозрил. Привалившись к стене моей каморки, старый Ча уснул. Это была верная примета — значит, уже стемнело.

Я поел немного, но всю ночь не мог сомкнуть глаз. Сотни вопросов теснились у меня в голове. Почему вдруг Чуи явился сюда?.. Неужели завтра я наконец выйду на свободу?.. Подумать только, я снова увижу небо, синее небо! И свет, золотой свет солнца!.. Снова обниму брата.. Ах, отчего эта ночь ожидания тянется так долго?! Надо же, чтоб именно сегодня выдалась самая длинная ночь!

Наутро старый Ча улетел за добычей, когда еще даже не разошелся туман. Я понял это по тому, что в темницу потянуло снаружи сыростью. На заре рыба обычно всплывает поесть и ее легче поймать. Значит, старик не скоро вернется. Ну а улетая, он ничего не забывал дома — никогда.

Едва он удалился, я крикнул:

— Эй, Чуи! Где ты?

И сразу услышал в ответ:

— Все в порядке... Я здесь...

Значит они, как мы и условились, провели ночь где-то рядом. Я услышал звук шагов. Они замерли у стены, и тотчас раздался новый, ласкающий слух шум: там, снаружи, копали, скребли и перетаскивали землю. Да, старик основательно укрепил

свои кирпичи. Грунт поддавался с трудом, однако подкоп, пусть медленно, но рос. До меня доносилось уже тяжелое дыхание друзей.

Подкоп становился все шире и шире.

Вот в него пролезла моя голова...

Потом, съежившись, я протолкнул и плечи...

Вот уже за стеной мои руки...

Тут я напряг все силы, оттолкнулся задними ногами — «Аллегоп»! — и пулей вылетел из темницы.

Друзья радостно закричали, замахали руками, но тут я вспомнил про старого Ча и воскликнул:

— Скорее! Бежим отсюда!

Лишь отбежав на приличное расстояние, мы остановились под ветвистой травой Тхэйлэй. О, как давно не бегал я, не летал и не прыгал! Но крылья мои и ноги меня не подвели. Друзья едва поспевали за мной, так стремительно неся я прочь от «особняка».

Позади меня бежал мой брат Чуи и Тяутяуои; однако их всех, даже Чуи, опередил — кто бы вы думали? — дядюшка Сиентаук. Да-да, «отшельник» Сиентаук из травяного шалаша! Он мчался то скоком, то летом, и невозможно было узнать в нем недавно еще такого унылого и вялого Жука. Я не успел даже толком удивиться, как он расхохотался и, погладив свой рог, произнес:

— Что ж это вы, дорогой Мен! Ушли, ничего никому не сказали. А ведь спустя день или два вернулись Тяутяуои и с ними ваш брат Чуи. Узнав от меня, что вы куда-то исчезли, они очень сокрушались. Должен вас обрадовать, ваш брат Чуи прямо-таки Талант! В прошлый раз Тяутяуои, сколько ни толковали мне про свое Великое Дело и про то, что надо идти утверждать его по всему Свету, так и не сумели меня убедить. Я стоял на своем: загубила, мол, меня злая судьба, и не исцелиться мне теперь никогда от горькой тоски. Но едва Чуи взялся за дело и побеседовал со мной накоротке — я сразу одумался. Одумался и устыдился: как мог я после первых же испытаний, в сущности не столь уж и тяжких, отчаяться и пасть духом?! Я понял: разочарованность в жизни — это дурная черта. И сколько бы ни похвалялись отшельники: у них-де чистый и возвышенный образ мысли, вся их возвышенность на самом деле тупеядство и распущенность! Появ это, я вытолкал взашей и Бабочек, и Цикад. Все они лгуны и бездельники, и слезливым их песенкам грош цена! А заодно выставил и Улиток, этих прилипал и дармоедов.

Я сказал им: пусть кормятся сами своим трудом, ибо нет ничего позорней, чем жить на дармовщину! Я сжег свой шалаш и пагоду, где предавался пустым суесловиям, чтоб и следа не осталось от моего позорного прошлого. И отправился в путь вместе с новыми друзьями...

Чуи представил меня всем:

— Это мой Старший брат Мен! Я столько раз вам о нем рассказывал.

Потом он обратился ко мне с небольшой речью:

— О дорогой Брат! С тех пор как мы с вами расстались, вам, наверно, не раз казалось, что меня уже нет в живых. Думали ль вы о таком дне, как сегодня! Сознаюсь вам, попав в плен, я сразу понял, какие эти Тяутяувои добрые и великодушные Насекомые. Если бы в тот злосчастный день мы сохранили хладнокровие и рассудительность и не допустили, чтобы иные горячие головы увлекли нас своим безрассудным пылом, все, поверьте, сложилось бы по-другому. Надо было лишь проявить немного терпения и доброй воли. Ведь мы могли с самого начала договориться с Тяутяувои мирно и любовно. Ах, как жаль, что этого не случилось! Тяутяувои, как и мы, Кузнечики, превыше всего в жизни ценят Независимость и Свободу. Но они оказались мудрее нас. Они поняли, что путь к торжеству Независимости и Свободы труден и долог, ибо на этом пути стоят такие препоны, как Заблужденья, Взаимная Неприязнь, Ненависть, Ложь и Своекорыстье, — и именно в них корень вражды и подозрений, разделяющих все живое...

— Но, — продолжал он, переводя дух, — одного понимания еще мало. Тяутяувои решили действовать! Они убедились: чтобы убрать все препоны, преградившие путь Независимости и Свободе, и сделать этот путь прямым и гладким, надо идти по всему Свету и добиваться взаимопонимания со всеми Живыми существами, которые верят в Справедливость, Разум и Честь, надо утверждать Всеобщее Братство Доброй Воли! Ведь поборники Справедливых и Добрых Дел есть везде и всюду, нужно только объединить их помыслы и усилия. А когда это будет достигнуто, все Живые существа станут соперничать друг с другом лишь в Полезных Начинаниях и Высоких Искусствах. Навек отойдут в прошлое распри и войны, недоверие и обман. И тогда воплотятся в жизнь исполненные великого смысла слова, символ всех наших чаяний и надежд: «Четыре моря-океана — единокровные братья»!

О как я был счастлив, услышав эти возвышенные слова. Нет, нет, не подумайте только, Мен, будто я позабыл о вас, о

нашем Братстве. Пусть я ушел добровольно с Тяутяувои, но я верил и знал: настанет день, когда мы с вами встретимся вновь.

Я ждал этой встречи. И вскоре мы вернулись обратно, к Ана-насовым зарослям на Плотине. Как я мечтал рассказать вам о своем прозрении, о Великом Деле Тяутяувои! Я был уверен, что вы сразу примкнете к нам, ведь высокие наши цели во многом совпали с теми идеями, которые вдохновили вас на Дальние Странствия. Мне ли не помнить, как вы излагали их перед тем, как мы вышли в огромный мир! Но Муомы и Тяутяу сообщили нам, что вы ушли искать меня по Свету. Когда я поведал им о наших Великих Замыслах, они захлопали в ладоши и пустились в пляс. Ведь если мечты наши стали бы явью, то прежде всего в их стране прекратились бы междоусобицы и кровопролития и перестали бы гибнуть их соплеменники из-за такой малости, как теплые пристанища на зиму.

Потом мы отправились дальше. И заглянули на обратном пути в те края, где благочестиво уединился, уйдя от мира, дядюшка Сиентаук. От него-то я и узнал, что вы дожидались меня, но незадолго до нашего возвращения куда-то исчезли. О, как я обрадовался! Однако дни уходили за днями, а вас все не было. Впрочем, прожив там совсем недолго, я понял: вы ушли оттого, что вам стало невмоготу глядеть с утра до ночи на тунеядцев и праздных гуляк, и ушли насовсем. Поэтому мы с Тяутяувои не стали вас больше ждать и тоже отправились в путь.

Сейчас, дорогой Брат, мы идем в Страну Муравьев. Это великое счастье, что нам удалось встретиться. Наконец-то мы снова вместе!

Я выслушал речь Чуи с истинным удовольствием. Он избавился от мешавшей ему прежде чрезмерной пылкости и говорил теперь, как настоящий оратор — вдохновенно, но рассудительно, каждый довод его был обоснован, каждое слово разило без промаха. Я понял, почему именно Чуи сумел вернуть на истинную стезю заблудшего дядюшку Сиентаука. Да, мой брат стал настоящим Мыслителем и Государственным мужем!

Мы с ним поглядели друг другу в глаза и ощутили оба, как в сердце у нас с новой силой зазвучали слова произнесенной некогда клятвы в верности до гробовой доски...

Потом взял слово один из Тяутяувои. Голос его был чист и звучен, как звон старинного гонга. Впрочем, высокой и мудрой речи его и подобало излиться в благородном звучании старой бронзы. Впервые в жизни чужие слова вот так, сразу, западали мне в душу.

— Друзья и братья! — говорил Тяутяуои. — Вы были правы, когда говорили, что мы идем по тернистому и долгому пути. Но помните: этот путь пролег — из края в край — по всему Свету. Он ведет из страны в страну и от сердца к сердцу. Это — путь Всеобщего Братства!

Мы первыми принесли высокие обеты. Кому же тогда, как не нам, нести повсюду свет Справедливости и Добра?! Кто, как не мы, обязаны открыть нашим братьям глаза на истинные причины их тягот, страданий и бедствий?! Кого, как не нас с вами, Долг и Честь призывают идти вперед и вперед, увлечь за собой единомышленников, вдохновлять нерешительных, убеждать маловеров?! И я знаю, мы с вами, презрев лишения, опасности и смерть, пройдем этот путь до конца, покуда моря и реки, горы и доли не станут навеки достоянием всех и каждого!

И тогда вся земля будет единым домом под одной крышей!

Пусть труден наш путь и нелегка наша ноша, мы подставляем дружно свои плечи!

Все вокруг молчали. Проникновенное слово освежило сердца, будто глоток благоуханной росы.

— Вот он, мой путь! — взволнованно воскликнул Чуи. — И мне хочется верить, что отныне мы пойдем по нему вместе. Слово за вами, дорогой брат...

Я ласково обнял его и сказал.

— Ах, любимый мой братец! Дорогие друзья Тяутяуои! Помыслы ваши, ваши дела — это ведь предмет и моих давних мечтаний; только я, конечно, многого не додумал, многого не понял. Позвольте же мне отправиться вместе с вами по Свету, чтобы осуществить заветную нашу мечту.

Тут началось всеобщее ликование. А потом мы выступили в поход.

Но вдруг Чуи остановился, оглядел меня с головы до ног и — ну не смешно ли! — спросил, почему это я бледен, словно заучившийся школяр? Куда, мол, девался мой прежний здоровый румянец и загар?

— Ведь я, — пришлось объяснить ему, — отсидел немалый срок в темнице у старого Ча без солнца, без воздуха. Ну, и побелел, как «мучной принц». Так, кажется, кличут белоручек и неженков? Через неделю загорю, обветрюсь и все будет по-старому. Здоровье-то у меня прежнее и душа пылкая, как раньше.

У нас с Муравьями происходит досадное недоразумение.— Великий гнев маленьких учениц.— Чьи заслуги в борьбе за Справедливость и Мир паиболее велики?

Позвольте мне, дорогие читатели, как говорится, в скобках рассказать вам о замыслах и делах Тяутяувои.

Они и впрямь были первыми, кто постиг Высший Смысл Жизни и начал служить ему верой и правдой.

Когда Тяутяувои впервые встретились с нами в краю, где цвела трава Май, и потом — в тот злосчастный день у Ананасов, они, оказывается, уже приступили к осуществлению своего Великого Дела. Ах, если бы я тогда знал об этом, мне не пришлось бы жить в травяном шалаше у отшельника Сиентаука и не томился бы я в темнице у старого Ча.

Тяутяувои вместе с моим братом Чуи обошли немало дорог, посетили многие страны. И с кем бы они ни встречались, все находили их Идею самой прекрасной и справедливой на Свете.

Конечно, они не успели еще, да, наверно, и не смогли бы обойти вокруг земли, но везде, где они побывали, Живые существа стремились к Добру, хотели жить в мире, ненавидели насильников и грабителей, короче говоря, идея Всеобщего Братства находила повсюду живейшую поддержку. И это ободряло и вдохновляло Тяутяувои в их трудах и странствиях. Одно было плохо — ноги и крылья их не могли поспеть всюду. И чтобы Великое Дело стало всеобщим достоянием, нужны были верные, понятливые и неустрашимые друзья, которые разделили бы с ними их заботы и тоже понесли идею Всеобщего Братства по городам и весям. Без таких друзей они обойтись не могли.

Не сговариваясь друг с другом, Тяутяувои сошлись на том, что для этого дела лучше Муравьев нет никого на Свете. Кто, как не Муравьи, сочетают в себе отвагу с силой воли, выносливость со смекалкой?! Не говоря уже о том, что нет на земле уголка, где не жили бы Муравьи!.. Вот почему Тяутяувои с друзьями направлялись в Страну Муравьев, а путь туда — таково уж мое счастье! — лежал мимо «особняка» старого Ча.

Теперь вместе с ними в Страну Муравьев отправился и я, Меп.

Скажу еще о Муравьях.

Хоть они — каждый в отдельности — вроде невелики и слабы, но зато Муравьиный народ самый большой и многочислен-

ный во вселенной. Да вы поглядите сами, где их только ни встретишь: в полях, на равнинах, в лесных чащах и на вершинах гор, у морских берегов и на затерянных в океане островах. Они живут в домах, построенных Человеком, и гордо расхаживают по обеденным столам и подносам, путешествуют на кораблях и даже в самолетах! Причем в отличие от Человека все эти переезды и перелеты не стоят им ни гроша и они бесплатно останавливаются в лучших гостиницах. Не правда ли, сколько смысла в этом противоречии: Муравей мал, но Муравьев много! Великое всегда складывается из малого...

Муравьиный народ состоит из множества племен. Давайте-ка вспомним: Ветряные Муравьи, Травяные, Крылатые, Огненные, Черные, Желтые, Муравьи-Иголки, по кличке Ким, рослые черно-красные Муравьи Канг, Муравьи Бозбт... и еще сотни и тысячи Муравьиных племен — всех, конечно, не перечислить.

Муравьям свойственны многие добродетели: Трудолюбие, Старательность, Опрятность и Дальновидность, но они же и самые большие упрямцы на Свете. Ну да это обычное дело: достоинства не встречаются без недостатков.

Муравьи — искусные строители. Они сооружают дома и возводят укрепления — долговечные и прочные; и в каждой стране постройки их выглядят по-разному.

Муравьи — отважные воины. Вступив в бой, они сражаются не на жизнь, а на смерть. Они не ведают страха и не знают пощады.

Представляете, дорогие друзья, если бы удалось сплотить воедино все разрозненные племена Муравьиного народа во имя великого замысла и высокой цели! Замысел этот и эта цель стали бы скоро известны повсюду и овладели умами и сердцами. Замечали ли вы, как Муравьи передают друг другу новости? Вот они встретились, замерли — голова к голове — и через мгновение уже побежали дальше. Нет, никто не справится с этим делом быстрее и лучше Муравьев! Только им оно под силу. И прежде всего речь идет о Ветряных Муравьях, они могли бы разнести по Свету весть о Всеобщем Братстве со скоростью ветра!

Путь в Страну Муравьев неблизкий. К тому же дорогу то и дело преграждают валы и стены или крутые обрывы и склоны. Все время приходится останавливаться и узнавать у редких прохожих, куда идти дальше. Но рано или поздно дорога всегда приводит нас к цели. Вот и сегодня мы идем еще мимо деревень, окруженных Полями, а вдали, на склонах Холма, видна уже граница. За нею — Страна Муравьев!

А земля и небо тем временем готовились снова встретиться

весну. Дул легкий ветерок. Спокойное небо казалось особенно высоким. Каждый год, встречая весну, я почему-то припоминаю строки стихов:

Яркая зелень трав
убегает за край земли,
На ветках груши
белый раскрылся цвет...

Мы шли, распевая весенние песни. Один лишь дядюшка Сиентаук, шагавший рядом со мной, горестно вздыхал. Его все еще терзали воспоминания о прежней бездумной и праздной жизни в лесу. Теперь, когда Сиентаук вместе с нами стал участником Великого Дела и, не щадя сил, вносил в него свою лепту, он словно помолодел и здоровье его улучшилось. Он знал: никакие трудности и лишения не остановят нас. Главное в жизни — действовать, приносить пользу другим, и тогда на душе будет радостно и легко.

Дорога становилась все извилистей и круче. Мы поднялись по склону Холма. Отсюда начиналась Страна Муравьев. Устроив привал, мы пытались разглядеть эту загадочную землю, к которой шли столько дней. Но увидали только громоздившиеся друг на друга замысловатые сооружения из красной земли. Стены их примыкали вплотную одна к другой, и невозможно было понять, где здесь проходит дорога. Поистине мастерство муравьиных зодчих достойно всяческого восхищения!

Назавтра мы ступили в пределы Муравьиной Державы.

И с этого дня на нас обрушились неисчислимыя беды. Чтобы вы, дорогие мои читатели, лучше смогли представить себе, какими трудными и в то же время значительными были для нас эти дни, я, с вашего разрешения, приведу несколько отрывков из записей в моем дневнике (Глава «Мен в Стране Муравьев», страницы 151 и далее от 154 по 158).

«...Весна, день 79-й. Муравьям несть числа. Здесь убеждаешься в точности присловия: «Кишат как Муравьи».

На дорогах и тропах, везде и всюду, полным-полно Муравьев. Первыми нас встретили здесь Ветряные Муравьи. Они превосходные строители. Другая их особенность — способ передвижения, я бы назвал его — бег без ног. Муравей наклоняет туловище по ветру, слегка отталкивается от земли, и ветер несет его вдаль; так, приземляясь и снова отталкиваясь, он в конце концов обгоняет даже ветер. Отсюда и имя этих Муравьев — «Ветряные».

В своей коричневой одежде, сливающейся с землей, они так и снуют вокруг нас. Огромный наш рост — каждый Ветряной

Муравей величиною не больше моей стопы — их не смущает. Задрав головы, они глазят на нас, шевеля усиками, а потом снова возвращаются к своим делам.

Кроме того, что Ветряные Муравьи — отличные строители и носильщики, они еще и незаменимые гонцы для срочных поручений...

Но вот появился отряд Огненных Муравьев в оранжево-желтых мундирах. Нелюдимые по натуре, они все свои силы отдают строительству укреплений. И тут ничего не скажешь: они и окопы роют, и редуты возводят прекрасно. Все перекрытые земляными сводами башни и бастионы тоже построены ими.

Сами Муравьи большей частью ходят по подземным ходам и редко показываются наружу. Вот почему, попав в Страну Муравьев, видишь, казалось бы, лишь безлюдные земляные постройки. Но внутри кипит жизнь: Муравьи нередко собираются там во множестве, пируют и веселятся день и ночь напролет.

Я спросил у одного Огненного Муравья дорогу. Он мрачно посмотрел на меня и не ответил ни слова. Вид у него при этом был самый неприступный! Что ж, нет так нет, будем и дальше идти наугад...

Весна, день 82-й. Произошла роковая оплошность: Сиентаук вдруг провалился в какое-то подземелье.

Раньше мы шли целыми днями без всяких происшествий. И хоть Муравьи кишели вокруг, ни мы с ними, ни они с нами не общались; каждый занимался своим делом. А теперь Муравьи из этого подземелья решат, что сюда вторгся враг, задумавший обратить их дома в развалины.

Я как в воду смотрел: из провала выскочили Муравьи-Иголки и ринулись на нас, ни о чем не спрашивая, ничего не пытаюсь понять. И зачем у них только голова на плечах.

Соглядатай из Черных Муравьев тотчас кинулся бить тревогу. И немедленно появилась целая орда Огненных Муравьев. Эти тоже, не задумываясь, ринулись в наступление. Но, несмотря на весь их пыл, каждый, кто, раскрыв челюсти-клещи, кидался на нас, тотчас катился кувырком, отброшенный прочь могучим пинком.

Однако Муравьи все прибывают и прибывают. И, полагаясь на свое численное превосходство, они начинают брать нас в кольцо...

Весна, день 83-й. Неожиданно с неба прямо нам на голову посыпались Муравьи, неисчислимые, как песчинки на дне великого Ганга! Огромные и неуклюжие, в красных мундирах и с крыльями. Это был парашютный десант Крылатых Муравьев.

Десаптники с ходу пошли в атаку. Бились они насмерть. Иному перерубишь тонкую талию, брюхо уже ствалилось, а голова все еще рвется в бой.

Битва вроде бы затухала, лишь кое-где продолжались еще стычки. И тут Чуи угодил в подземную засаду и был взят Муравьями в плен. Однако ему удалось бежать, и в полночь он вернулся. Оказывается, Муравьи бросили его в темницу, но стены ее оказались слишком тонки для такого отменного землекопа, как Чуи. Муравьи же, само собой, об этом его Таланте не знали. Тремя ударами Чуи проломил огромную дыру, обрушил вырытую землю на часового и с достоинством удалился.

Чуи доложил нам, что он своими глазами видел подходившие к Муравьям огромные подкрепления. О небо! Как нам найти с ними общий язык, чтобы эти горячие головы поняли наши намеренья?..

Весна, день 84-й. Как и сообщил Чуп, неприятель получил подкрепление: отряд Муравьев Бозот. Среди Муравьев они самые рослые и крепкие. В бой Муравьи Бозот всегда идут впереди, как вожаки в бычьем стаде. Появились также новые отряды Муравьев-Иголок и Крылатых Муравьев.

В самый разгар боя Сиентаук вдруг подпрыгнул, распахнул панцирь, расправил крылья и с диким воем заплясал на одном месте...

Как выяснилось потом, Муравьи старались вывести из строя именно Сиентаука, предположив в нем — по росту и осанке — Главнокомандующего. Но от его панциря любые удары отскакивали как горох! Тогда Муравьи Бозот решили отвлечь внимание Сиентаука и тайком нанести ему удар в щель между панцирем и шлемом. Расчет оказался верен: у Сиентаука, наглухо закованного в доспехи, только шея оставалась уязвимым местом. Один точный удар — и Сиентаук мог остаться без головы!..

К счастью, удар оказался неточен и слаб. Мы отнесли Сиентаука в тыл. Тяутяувой, искусные знахари, смазали рану своими целебными выделениями и наложили повязку. Издалека казалось, будто Сиентаук повязал вокруг шеи синий шарф. Он выжил, но шея распухла и рана загноилась. Он сидел без движения, а рядом кипел бой. Однако Сиентаук был в относительной безопасности. Правда, какой-то Муравей, заметив раненого, польстился на легкую добычу и кинулся на него, но Сиентаук выставил вперед ногу. Ноги у Сиентаука были крепкие и твердые, как Бамбук, и он позволил Муравью кусать их сколько душе угодно. Само собою, тот вскоре сломал зубы и бежал...»

Вот как нелегко приходилось нам в те далекие дни, полные опасностей и невзгод.

А потом пришла новая беда. Проснувшись однажды утром, мы увидели себя зажатыми среди земляных валов и редутов. Их возвели ночью — кольцо за кольцом — Огненные и Ветряные Муравьи.

Меж Укреплениями сновали Черные и Ветряные Муравьи — сигнальщики и курьеры. Они вихрем носились взад-вперед, только ноги мелькали. Курьеры явно передавали друг другу какие-то срочные донесения: встретятся, покачают усиками и бегут дальше.

Связь у них работала бесперебойно. А я, глядя на них, снова и снова думал: «Ах, если бы по этой системе связи передать тезисы и планы Всеобщего Братства! С какой быстротой наши идеи завладели бы умами!..»

Впрочем, мы не теряли надежды. Но я замечал уже не раз: едва где-то впереди забрезжит надежда, как положение сразу становится хуже прежнего.

А у нас дела и впрямь были очень плохи. Мы знали: где-то поблизости находится Муравьиная Царица. Нам во что бы то ни стало нужно было увидеться с нею. Но легко сказать «увидеться», когда не известно даже, где она. А нас здесь всюду принимают за врагов, и нам не проникнуть за высокие, неприступные стены Муравьиных городов, в одном из которых, очевидно, живет Царица.

Я предложил план: мы все продолжаем удерживать здесь оборону, а Чуи, прорвавшись сквозь неприятельское кольцо, немешкая, отправляется туда, где растет трава Май, и зовет на помощь Стрекоз. Они сослужат нам важную службу. Судите сами: доставка продовольствия, связь, разведка и, наконец, самое главное — Стрекозы с воздуха обнаружат местоположение Муравьиной Царицы и смогут вступить с ней в непосредственный контакт. Да и вообще в любом Деле такие находчивые, работающие и верные союзники, как Стрекозы, просто неоценимы.

Сам-то я питаю особое расположение к Стрекозам, потому что они всю свою жизнь проводят в странствиях и перелетах. Обычно их можно видеть порхающими у воды или над луговыми травами. Но это для них, конечно, просто забава. А вот если они помчатся изо всех сил, тогда держись!..

В полночь Чуи выбрался из окружения.

А кольцо неприятельских укреплений тем временем сужалось. Муравьи доложили своей Царице, что в пределы ее державы вторглись злоумышленники и сеют повсюду разрушение

и смерть. Царица, разгневанная, явилась на место сражения и, увидав поле боя, укрепления и войска, поверила донесению. Она приказала подтянуть отовсюду новые подкрепления и сжимать кольцо осады до тех пор, пока мы не умрем от голода или не уберемся с позором. И это была отнюдь не пустая угроза. Исполн кон веку так было: если кто-нибудь, пусть даже могучий и непобедимый рогоносец Навозный Жук, связывался с Муравьями в их Муравьином царстве, назад он уже не возвращался. Говорят, правда, был один или два случая, когда кто-то вернулся оттуда живым, но от ужаса повредился в рассудке.

Ах, как губительно Взаимонепонимание! Вот они, его страшные плоды!

Вернулся Чуи, он принес отрадную весть: скоро и к нам подоспеет помощь! Наша вера снова окрепла. Но где же она, долгожданная помощь?! А редуты и валы поднимаются все теснее и выше. И от Муравьев на них черным-черно, словно волнуемая живая река обтекает нас со всех сторон. Неужто мы так и пропадем здесь без всякой пользы?!

Но тут, дорогие читатели, произошла Великая Метаморфоза. Я всегда, рассказывая об этом случае, употребляю слово «Метаморфоза» с эпитетом «Великая», потому что других подходящих слов, по-моему, просто не найти.

А теперь, прошу вас, закройте-ка книжки и послушайте, что я вам расскажу. Знаю, знаю, сперва моя речь покажется вам чересчур многословной, но не забывайте, ведь мы вспоминаем с вами о событиях переменчивых и обжигающих как пламя, а из пламени, известно, не всегда удается спастись.

Итак, жили-были пять школьниц, пять учениц, и звали их Диэн, Хоа, Ли и не помню еще как. Да я и из мальчишек, у которых прожил столько времени, запомнил по именам только троих: Ньона, Бе и Тхиня. Много людских имен ведь в памяти не удержишь. Ходили все пятеро в школу, а по воскресным дням отправлялись на прогулку. Вот наш рассказ и начинается с того, как пять девочек по имени... м-да... лучше скажем просто: пять школьниц отправились на прогулку.

Правда, девочки наши ходили на прогулку не так, как другие школьницы. На первый взгляд, конечно, могло показаться, будто это обычная воскресная прогулка. Но на самом деле они не просто гуляли, а еще собирали для дома хворост. Сходишь прогуляться разок, другой, третий — глядь, и топливо на зиму припасено. А может, и не только на зиму: ведь очаг на кухне топится каждый день. Короче говоря, хворост в хозяйстве всегда пригодится. А сегодня одна из девочек, не припомню только,

какая именно, предложила: «Давайте еще и цветов домой принесем. Весной цветов видимо-невидимо. Вон Кислица — маленькая травка, и та надела веночек из голубых цветов. Будут у нас дома и хворост, и цветы...»

Девочки перешли через Ручей по мосткам из двух бревен и подошли к Холму. А над Холмом летали Белые и Желтые Бабочки и садились на дикие Розы. Пять девочек, звонко смеясь и распевая песни, поднялись вприпрыжку на холм.

На вершине его как раз и паходился наш лагерь, окруженный Муравьиным войском, и здесь вот уж который день шла баталия.

Услыхав какой-то грохот, я поднял голову, увидел огромные надвигающиеся на нас ноги и понял, что смутивший меня грохот был шумом человеческих шагов. Раздумывать некогда! Огромные ноги могли раздавить нас, словно рухнувшие горы.

А ноги продолжали идти в нашу сторону: шаг, другой, третий...

Еще минута, и будет поздно! Спасти нас могла только резвость.

— Братья! — крикнул я. — Спасайтесь! Бегите!

Мы расправили крылья, на бреющем полете пронеслись к зарослям Рогульника и укрылись под его зелеными листьями.

А девочки как ни в чем не бывало выбирали цветы поярче и составляли букеты. То и дело наклоняясь за цветами, они разбрелись по сторонам, и двое из них наступили на Муравейник. Согласитесь, рано или поздно это должно было случиться. Но Муравьям, как я уже говорил, чужды сомнения. Они рассуждали примерно так: «Кто-то (безразлично, кто именно) напал на нас! Смерть ему! Вперед, вперед!» И точно так же, как прежде напали они на нас, сегодня они накинудись на девочек. Огненные Муравьи взбирались по их ногам и, озверев, вцеплялись челюстями в икры.

Обе девочки побросали наземь цветы и скакали, крича от боли, словно длинноногие птички Тьойтьой. Три подружки, услышав их крики, прибежали на помощь. Они оттащили бедных девочек подальше от Муравейника и отвели их к Ручью. Прохладная вода постепенно уняла боль от муравьиного яда.

Рассерженные девочки решили отомстить обидчикам. Обе они схватили свои широкие шляпы из пальмовых листьев, зачерпнули воды из Ручья и, взбежав на Холм, вылили ее прямо на Муравейник. Будто разверзлись хляби небесные и тысячи водяных смерчей обрушились на землю! Валы и стены, дома вместе с имуществом и жителями — все в мгновение ока было

смыто и унесено прочь. Недавнее поле боя превратилось в залитый водой пустырь. Тысячи, десятки тысяч Муравьев, подхваченные потоком, барахтались и тонули в пучине.

Близился вечер. Девочки давно уже ушли домой. Они и думать забыли о случившемся. Да и какие могли быть у них заботы? Тем более каждая уносила по большой вязанке хвороста и красивому букету диких Роз. Ну а Муравьи.... Надолго еще сохранился в их памяти страшный потоп, разрушивший целый город.

Взошла луна. Как всегда на исходе веспы, огромная и яркая, она залила все вокруг мягким прозрачным светом. Мы с друзьями стояли у зарослей Рогульника. Под ногами у нас хлюпала вода. К счастью, бурный поток промчался в стороне от кустов. А не то он унес бы в Ручей и нас. Любого ведь может постигнуть такое несчастье. И, размышляя о стихийных бедствиях, я все больше утверждаюсь в мысли о том, что надо найти какую-то силу и обуздать их, иначе спокойная жизнь невозможна.

Страна Муравьев лежала перед нами обвьятая мертвым молчанием. И зрелище это снова и снова напоминало о подстерегающих нас повсюду тревогах и бедах.

Вдруг в лучах луны появились Стрекозы. Я узнал Стрекоз Тыонг. Они всегда летают большими стаями; вот и сейчас целый лес крыльев заслонил лунный диск. Крылья их, раззолоченные, в черную крапинку, не очень сильны, и поэтому Стрекозы Тыонг никогда не летают по ночам. Но, узнав от Чуи о грозящей нам смертельной опасности, они тотчас отправились в путь, потому что из всех Стрекоз они самые добрые. И хоть летают стрекозы Тыонг медленней многих своих сестер, но зато они летели, не отдыхая, и днем, и ночью — и потому явились первыми. А Стрекозы Нго и Королевские Стрекозы небось понадеялись на свою хваленую скорость, вот и задержались в дороге (или, может быть, сбились с пути при такой спешке — оно и не мудрено!).

Стрекозы Тыонг приближались. Посеребренные лунным светом, крылья их ритмично рассекали воздух, они выполняли на лету сложные развороты — это было прекрасное зрелище. Разыскивая нас, они закружились над верхушками Рогульника.

— Здравствуйте сестрицы Тыонг! — крикнул я. — Мы вам рады!

— А, вот вы где!

— Прошу вас, сестрицы, облетите вокруг Холма. Если увидите Муравьиную Царицу, скажите; нам надо как можно скорее с ней встретиться!

Стрекозы, удаляясь от нас, медленно пересекали прозрачные столбы лунного света. Листва отливала серебром, было светло и красиво как днем. Ах, луна всегда наполняет душу покоем и радостью — даже когда нам не так уж и весело.

Вскоре Стрекозы Тьонг вернулись.

— Нашли! — Кричали они. — Мы нашли Муравьиную Царицу!

— Ну, и что она?

— Она будет ждать вас завтра.

— Где?

— У себя. Мы вам покажем дорогу.

Наутро они появились, едва забрезжил рассвет — ведь время дорого, особенно когда впереди еще много дел.

Друзья мои в тот достопамятный день уполномочили меня быть Послом. И я принял эту высокую миссию.

А в небе кружились Стрекозы Тьонг — одни повыше, другие пониже; быстро взмахивая крыльями, они приплясывали на лету. Да, судя по всему, молва о том, что сестрицы Тьонг самые чистосердечные и веселые из Стрекоз, вполне справедлива.

Уходя, я сорвал бамбуковый лист, надо же было хоть чем-то прикрыться от солнца. К тому же зеленый лист, этот символ Мира, хорошо поднять над головой, когда я войду в Муравьиный город. Думаю, лист Бамбука, посланец живых изгородей, оберегающих спокойствие и труд мирных селений, — думаю, лист этот даже на самых свирепых и невежественных Муравьев произведет должное впечатление. Я собирался проверить, как подействует этот символ на первых же прохожих, однако в такой ранний час дороги были пусты.

Приблизившись к развалинам, я увидел там рабочих. Ветряные и Огненные Муравьи, усердные и искусные строители, поднимали из руин укрепления и дома. Многие были в промокшей насквозь одежде. Они, наверно, всю ночь боролись вплавь с бурным потоком, вернулись и теперь вместе со всеми роют новые окопы и подземные ходы. Вот что значит Трудолюбие и Чувство Долга! Увлеченные работой, они почти не показывались на поверхности. Вглядываясь в лица Муравьев, занятых на земляных работах, я лишь с огромным трудом угадывал следы недавних бедствий и крайнего напряжения воли и сил. А в глубине подземных ходов виднелись вереницы Муравьев, которые текли и текли навстречу друг другу без конца. Их сызмальства выучили ходить строем — в затылок друг другу. И сегодня строгий порядок движения не нарушается, лица идущих невозмутимы, шаг

ровен и тверд — как будто ничего не произошло и не было ни потопа, ни этой страшной ночи.

Муравьи обычно строят как бы два города — один на земле, другой под землею. В подземный город ведут глубокие тоннели. Сейчас наверху было пусто. Десятки тысяч Муравьев угодили в воду во время потопа и, конечно, не все спаслись и вернулись назад. На смеху им из подземелий вышли тысячи других Муравьев, с ходу взявшиеся восстапавливать все, что еще можно было восстановить, а остальное — строить заново. Муравьев становилось все больше и больше, но что бросилось мне в глаза — никто из них не обращал на меня ни малейшего внимания. Они молча, привычными размеренными движениями перетаскивали и укладывали землю, скрепляя ее слюной. Ветряные и Огненные Муравьи делали, как положено, свое дело.

Стрекозы Тьонг проводили меня прямо к Замку Муравьиной Царицы. Он стоял на высоком месте, и могучие стены его выдержали напор воды.

Я назвался, и стража пропустила меня внутрь. Два Муравья Канг повели меня по подземным галереям. Должно быть, вода добралась и сюда. Пол в галереях был скользкий и влажный, кое-где стояли лужи.

Даже посреди Большого зала, куда меня ввели без доклада, была большая лужа, и Ее Величество самолично подтаскивала к дверям землю и трамбовала порог.

Отвешивая поклоны, я исподтишка разглядывал Царицу. Что вам сказать о ней: ростом она была втрое выше самого крупного Муравья Бозот; годы ее, судя по всему, приблизились к сорока; на лице лежала печать мудрости и опыта. Черное с красноватым отливом чело Царицы, словно выточенное из эбена, поблескивало под косыночкой коричневого шелка. Ноги, длинные и стройные, ступали проворно. А сзади отливал металлом тонкий клинок меча. Глаза Царицы были хороши какой-то особой, непривычной для нас красотой, они сверкали и выступали надо лбом точь-в-точь как у краба.

Взглянув на меня, Царица сказала:

— Мы, Муравьи, испокон веку трудимся в поте лица, добывая насущную пищу и строя дома. Мы первыми ни на кого не нападаем. Зачем вы и ваши друзья коварно убивали Наших подданных и рушили их дома? Вы учинили страшное кровопролитие! Но вам было мало разрушений и крови, и вы устроили этот потоп, чтоб выжить нас с нашей исконной земли.

Изумлению моему не было границ. Вот что бывает с Истиной, когда узнаешь ее с чужих слов! Ведь это неразумные Му-

равьи-Иголки сами напали на нас. Кровопролитие было, не спорю. Но мы... Я тотчас изложил ей всю историю, как говорится, от головы до кончика хвоста.

— Мы,— начал я со свойственной мне силой убеждения,— ни на кого не падали. По пеловкости, нечаянно оступившись, один из нас, Жук Сиентаук, повредил свод подземелья. Но будьте уж до конца справедливы и сопоставьте вес Жука и толщину перекрытия. И потом, Ваши подземные ходы и жилища так искусно замаскированы, что виною всему...— Тут я улыбнулся, чтоб подчеркнуть удачную шутку.— Виною всему скорее Талант мастеров, чем наша оплошность. К сожалению, эту свою оплошность мы не смогли исправить, как хотели — с самой первой минуты,— потому что нас лишили возможности объясниться. Муравьи-Иголки напали на нас, а к ним присоединились другие Муравьи. Нам пришлось защищаться. Что же касается потопа, то ведь это — стихийное бедствие. И объяснять его так, как это объясняли Вашему Величеству,— сущее невежество. Могли ли мы, я и мои друзья, повлиять на Людей, пусть даже люди эти — всего лишь маленькие школьники?! Это они сами, по собственной воле учинили потоп и бурю.

Я помолчал немного — надо же было дать ей возможность оценить по достоинству мои аргументы и продолжал:

— Я верю, вы, Ваше Величество, с Вашим опытом, мудростью и широтой взглядов, поймете, что мы обрекли себя на лишения и тяготы дальних дорог, а порою и на смертельный риск отнюдь не ради личной корысти. Мы помышляли о благе всех Живых существ, населяющих земной шар. Все мы — а нас десятки тысяч... миллионы...— должны жить в мире и согласии, должны быть друг другу надежной опорой и верными помощниками. Конечно, придется преодолеть множество трудностей. Но ведь в жизни ничего не делается само по себе. Все требует времени и труда, упорной совместной работы. На наши плечи ляжет борьба с враждебной стихией и с теми темными силами, которые таятся подчас в нас самих,— борьба долгая и нелегкая. Но именно в этой борьбе, в преодолении множества трудностей и должно родиться чувство радости и удовлетворения. Что может быть прекрасней Всеобщего Братства и Всеобщей Гармонии?! Я кончил, Ваше Величество.

Царица растрогалась и заплакала.

— Ах, полно,— сказала она,— не зовите меня «величеством». Я для вас просто сестра! О, как я ошиблась! Ведь мне сообщили, будто в наши пределы вторглись грабители и злоумышленники. Вы знаете, мы, Муравьи, никогда не склопемся перед насилием.

Как бы силен и жесток ни был напавший на нас враг, мы поднимаемся все как один и сражаемся до тех пор, пока не изгоним его прочь с нашей земли. Но вы, вы пришли к нам с миром и принесли в дар прекрасную идею Всеобщего Братства! Как высоки и благородны ваши помыслы! Если мой народ и я сама можем хоть чем-то быть вам полезны, распоряжайтесь — мы к вашим услугам.

Я улыбнулся взволнованный и счастливый.

— О дорогая сестра! Именно вы и все остальные наши друзья Муравьи можете внести очень важный, решающий вклад в наше Великое Дело. Если вы будете заодно с нами, мы непременно добьемся успеха.

Я перечислил ей страны, где успели уже побывать Тяутяу-вои, и объяснил, с какой целью мы пришли в Страну Муравьев. Она слушала меня со вниманием, одобрительно кивая, когда я говорил о той великой миссии, которая в наших планах отведена была Муравьям.

Тотчас она распорядилась пригласить в Замок Чуи, Сиентаука и всех Тяутяувои. И мы все вместе продолжили нашу беседу.

Содержание этой важнейшей беседы стало сразу же известно Муравьям. Ведь новости здесь расходятся молниеносно. Беседа наша еще не кончилась, а Муравьи — сидели ль они у домашних своих очагов, шагали ли по дорогам или трудились на многочисленных стройках — знали уже слово в слово все, о чем говорила с нами Царица. Всюду кипели горячие споры. Слова «Всеобщее Братство», «Великое Дело», «Мир» были у всех на языке. От царивших здесь еще вчера уныния и печали не осталось и следа.

Муравьи сбегались отовсюду — им хотелось поговорить с нами. С каждой минутой из-под земли появлялись все новые и новые толпы.

Вдруг послышался оглушительный шум, казалось, он несся сразу со Всех Четырех Сторон Света. Не знаю, кто как, а я в ту же секунду понял: это подходят к нам на выручку Главные Силы, поборники Великого Дела, которых сподвигли выступить красноречие Чуи или уговоры разосланных им во все концы Стрекоз. В небе стало темным-темно от стрекозиных крыльев, а на земле я увидел не только Тяутяу, Муомов и Богомоллов, но и войнство Земноводной державы — Эньюонгов, Няйбенов, Жаб и Лягушек... Лягушки и Жабы квакали, каждая на свой лад, отдельно возвышал голос капризный Тяутянг и, само собой, заглушая всех, громыхал бас Эньюонга. Вдобавок, все, кто мог, поды-

грывали себе на барабанах и бубнах. Шум стоял оглушительный.

Но это еще не все. К самому подножью Холма подплыли по Ручью Рыбы и Змееныш Маунг. Они тоже прибыли к нам на помощь. Над водой, поднимая белую пену, развевались как флаги хвосты и плавники Рыб Шаншат. Огромные черные Крабы, поводя глазами, словно тяжелые, запряженные быками колесницы, выползали из воды на берег, поспешая к нам на подмогу. И каждый думал: нельзя, недопустимо, невозможно, чтобы загублено было Великое Дело! Надо спасти и уберечь Рыцарей, которые первыми, не щадя ни сил, ни самой жизни, понесли по Свету идею Всеобщего Братства!

В общем-то, все они стали не менее ревностными поборниками этой идеи, чем мы. А это только лишний раз подтверждало, что идея наша верна и она все сильнее овладевает умами.

Однако, явившись сюда спасти нас от смерти, наши друзья, вместо жаждущих нашей крови врагов, нашли радужных мирных и вежливых Муравьев. Спокойствие и мир воцарились на Холме, где расцвело столько диких Роз, что даже ветер, казалось, напоен был их багрянцем и пряным ароматом.

Я вышел к собравшимся и, после небольшой вступительной речи, зачитал составленное нами Воззвание, смысл которого, пожалуй, наиболее полно был выражен в заключительной фразе: «Все Живые существа пусть станут отныне братьями...» Народ приветствовал это Воззвание громкими криками. Все были счастливы. Муравьи и наши друзья устроили Триумфальное Шествие. И все веселились от души, пели и плясали.

Вскоре мы покинули Страну Муравьев.

Мы шли по дорогам день, неделю, месяц, а всюду только и было разговоров, что о Всеобщем Братстве!

Муравьи разнесли наши идеи повсюду, вплоть до самых дальних и недоступных уголков. Муравьи служат Великому Делу! Муравьи несут по Свету наше Воззвание! А ведь на земле не пайдется такого места, где бы не было Муравьев — значит, великая радость стала всеобщим достоянием!

Прошло немного времени и отовсюду — с гор и морских побережий, с лугов и полей, из лесов и рощ — стали все чаще и чаще приходить письменные и устные заявления о присоединении к Всеобщему Братству и полной поддержке нашего Великого Дела. Конечно, среди первых пришли заявления из тех мест, где я побывал во время моего путешествия. Были получены письма от слабой здоровьем Нячо, от веселых Бабочек и беспечных Цикад Шэу. Даже старик Ча настроил мне целое

послание. Писал он так же вычурно, как одевался. В самых витиеватых и цветистых выражениях он извинялся передо мной и заявлял, что всем сердцем разделяет наши идеи. В письме был постскриптум: сторожка в его «особняке» снесена!..

Слух о нашем замысле взволновал всю землю. А мы, мы сделали свое дело. Переступив рубеж Страны Муравьев, я вздохнул. Я вспомнил о Муравьях-Иголках, из-за которых вспыхнуло вооруженное столкновение — последнее столкновение в нашем мире, где отныне восторжествовала Добрая Воля, последнее досадное недоразумение. Они теперь очень сокрушались и стыдились своих поступков. И потому стали селиться по краям Полей и пропитание себе искали в самых глухих местах. Им не хотелось ни с кем встречаться.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Несколько прощальных строк,
завершающих мои записки.

И вот мы с Чуи снова остались вдвоем.

Друзья наши и спутники разошлись — каждый в свою сторону. Но даже те из них, кто уходили в одиночку, не чувствовали себя покинутыми: у каждого из нас отныне всюду были друзья и единомышленники. Идею Всеобщего Братства теперь разделяли все. Да, мы поистине совершили Великое Дело.

Но мы не собирались останавливаться на достигнутом. Мы решили разделить, чтоб обойти побольше стран и помочь утверждению наших прекрасных идей. Дел, как видите, предстояло немало. Однако вера наша была неколебима, и мы не сомневались в успехе.

Мы с Чуи решили вернуться на родину, чтобы немного отдохнуть. А еще, не скрою, мне хотелось совершить вместе с Матушкой небольшое путешествие, пусть и она хоть на старости лет увидит мир.

Где мы с Братом ни появлялись на обратном пути, всюду нас принимали с радушием и любовью. Кюм Единственный вместе со своими земноводными подданными даже встретил нас на полдороге с Паланкином и устроил в нашу честь Триумфальное Шествие. А рыбы подплыли к самому берегу и просили у нас прощенья за прошлое. Но я отвечал им, что мы с Чуи виноваты ничуть не меньше их, а главное — все мы с тех пор переменились к лучшему.

Всюду царили веселье и радость.

Вернувшись на родину, я нашел там множество перемен. Ах, как долго я был на чужбине! Муравьи давно уже доставили сюда весть о Великом Деле, и потому земляки, прослышав о нашем возвращении, все как один вышли нам навстречу.

Особенно радовался мой Старший Брат. Он очень гордился тем, что у него такой прекрасный и добрый братец, как я (оказалось, я вовсе не хвастун и не склочник!). Он всем соседям уши прожужжал, грозясь, что следующей весной отправится путешествовать «как Младший Брат Мен». Ну что ж, посмотрим! Слышал я, многие думают, будто эта «следующая весна» никогда не наступит.

Средний Брат мой давно уже умер.

Но больше всего меня опечалила весть о кончине Матушки.

Я посетил ее могилу возле Пруда. Вспомнив ее наставления, которые были дороже жемчуга и злата, я заплакал. Ах, Мама! Листья, пожелтев, опадают — таков круговорот природы, и все мы, увы, бессильны против него. Я скорблю лишь о том, что вернувшись домой, не могу обнять ваши колени и рассказать вам, как прежде бывало, о Дальних Странствиях, о нашем Великом Деле.

Отдыхая у себя дома, я набирался бодрости и сил. Частенько полеживал я, вытянув ноги, под кустом Рогульника и глядел на видневшееся в просветах меж листьями небо. Синева его так и звала меня улететь куда-то вдаль.

Я начал все чаще заговаривать с Чуи о будущих Дальних Странствиях. Со временем мы стали уже по-деловому обсуждать маршруты и планы следующего путешествия и предстоящие нам новые дела. Теперь-то уж нам не встретятся грозные битвы и досадные недоразумения, вроде тех, что случились когда-то на берегу разлившихся вод у моего дома или на Острове в Земноводном царстве, — в краю, где растет трава Май, или в Стране Муравьев. Да и откуда им было взяться, таким приключениям, если даже Цикады Шэу, эти модные и занудные музыканты и причудница Ньячо, и драчливые Муравьи-Иголки, и прилипала Улитка, и Жаба «тетушка Неба» — если все они стали примерными и сознательными и сил своих не щадят во имя Общего Блага. У нас теперь всюду, в любом конце Света, есть верные братья, а если так, скоро мы сообща покорим моря и реки, горы и доли.

Дальние Странствия! Новые Дела! Какая бескрайняя пьянящая ширь открывается перед нами!

А когда это новое, третье по счету странствие, полное Важных Дел, завершится, и мы, усталые, но довольные, вернемся

домой, я все равно не успокоюсь и начну подбивать Чуи снова отправиться в путь. Тогда — в четвертый раз уже — мы покинем родные места, чтоб насладиться зрелищем нового, преобразенного мира, ибо к тому времени идеалы Всеобщего Братства полностью восторжествуют. У нас не останется больше никаких дел, и мы сумеем посвятить свое время наблюдению обычаев и нравов, изучению истории и искусства других стран. Мы напишем интересные и полезные книги. А что, скажите, прекраснее озаренья, вдохновенного творческого порыва! Почему бы нам не стать Археологами, Географами, Экономистами или, на худой конец, Знаменитыми Поэтами?! Ведь все это нужные и важные занятия...

За то время, которое мне осталось еще пробыть дома, я решил довести до конца описание прожитых мною бурных дней. А на дворе уже осень. Осень — пора золотых Хризантем, они распустились повсюду. Дороги покрыты желто-багряным ковром опавших листьев. С наступлением осени земля и небо насупились, и то и дело моросят дожди. Природа печалится, а на душе у меня светло и отрадно.

Итак, дорогие мои читатели, первая часть жизнеописания Мена завершена, позвольте поставить на этом точку. Надеюсь и верю, мы с вами еще встретимся на бескрайних дорогах, властно зовущих нас вдаль.

О МЫШИНОЙ СВАДЬБЕ, КОТОРАЯ ЧУТЬ БЫЛО НЕ СОСТОЯЛАСЬ

I

Вот и пришла наконец весна. Она наполнила все Поля барабанным громом, трелями колокольчиков и веселыми песнями. Деревья оделись свежей листвой, на ветках раскрылись яркие цветы, а воздух так и звенел от птичьего гомона.

В эту пору даже у самых невозмутимых особ сердца бьются сильнее обычного. Душу тревожат сладостные мечты и надежды. Так бывает со всеми, едва наступает весна. Со всеми и с каждым. И тут уж ничего не поделаешь. На что, казалось бы,мышь, существо невзрачное и слабосильное, но и ее, едва лишь повеет весной, прямо-таки распирает от честолюбивых стремлений совершить какое-нибудь Неслыханно Великое Дело. Таков жребий всех мышей: и провинциалок — полевых мышей, и их столичных сородичей, хоть они и живут в домах, построенных Человеком...

Ну а чем, скажите на милость, малые мыши Нят хуже всех прочих? Ничуть не хуже. И потому любую порядочную мышь из семейства Нят весной обуревают самые возвышенные желания. Одну из таких весенних историй я и намерен вам рассказать.

Герой наш — Мышонок Нят — совсем еще зеленый юнец. Приходилось мне слышать о нем самые разные мнения. Многие говорили о нем: «Какой-то он придурковатый на вид...» И это еще были самые доброжелательные отзывы. Ну а сплетники и просто те, кто любят чесать языки насчет своих ближних, едва завидят Мышонка, раздуваются от важности и начинают поно-

сить его на все лады. Бывало, они целыми днями сидят возле своих норок, перемывая косточки бедному Няту.

— Этот Молодой Нят — сущий болван! Вы только взгляните на него — убедитесь сами... И голова у него пустая. Можете мне поверить: пу-ста-я!

— А вы слышали, хи-хи... Он ужасно учится!

— Приглядитесь, как он неопрятно одет, да и вид у него непристойный! Меха в грязи, и воняет он, как шелудивый пес.

— А эти отвратительные родинки на шее! Слава богу, что их только три!

— И усы у них в роду — просто смех: редкие-редкие, и каждый ус обломан наполовину. Какая гадость!

— И нрав у него подлейший. Стоит только посмотреть на гнусную, скрытную морду этого молодца, и сразу все становится ясно...

— И еще я хочу добавить! И еще я хочу добавить! Самая ужасная и скудоумная мышь на свете это — Молодой Нят!

И так без конца... А родители-мыши мотали все это на ус и поучали своих детей:

— Доченька, выбирай себе хороших друзей; остерегайся, чтобы они не были похожи на Нята. И ты, сыночек, тоже не смей водиться с Нятом. Из всех мышей он самый худший, не дай вам бог стать такими, как Нят...

Вам, разумеется, любопытно узнать, правы ли были эти злые языки? Ведь мы-то с вами отлично знаем, в любом деле следует разобраться беспристрастно и тщательно. Ибо Истина — вещь тонкая и деликатная, и предубежденному уму она никогда не откроется. А полагаться на тех, кто знай себе мелет языком да переливает из пустого в порожнее, было бы просто опрометчиво. Мало ли на свете завистников, готовых оклеветать кого угодно, даже не ради корысти, а просто так — из любви к искусству! Хотя, разумеется, свет не без добрых мышей.

Да, мир велик и чего только в нем не случается! Звезды падают с неба, и луна бывает ущербной! И даже самые Мудрые Мыши нет-нет, да и угодят в Мышеловку... Так что мой вам совет: не торопитесь. Ведь легче легкого сразу осудить Мышонка Нята! Но как бы нам здесь не дать маху и не возвести на него напраслину. Тем более говорить за глаза дурное не принято. Пожалуй, и эти мыши-родители зря поднимают переполох всякий раз, едва их мышата поиграют или поболтают с Нятом. Лучше бы...

Ну да всему свое время! Давайте-ка лучше как следует вниманием в историю Нята — вплоть до самых мелочей, — взглянемся

в лицо каждой причастной к ней Мыши, а там уж решим, на кого нам излить хулу и кому воздать хвалу. Ибо необдуманное слово, сорвавшееся с языка, иной раз навредит вам так, что заранее себе и не представить — больше, чем самый коварный подвох. Итак, повторяю, не будем торопиться. И позвольте мне, как автору, высказаться первым.

Вы, дорогие читатели, всегда верили мне на слово. И сегодня я снова надеюсь снискать полное ваше доверие. Оно для меня дороже всего на свете, и уж я не устану гордиться им перед моими собратьями. С вашего разрешения я постараюсь выяснить подлинные причины всех пересудов о Няте и попробую дать стройное хронологическое описание его жизни, с подробнейшим изложением всех его прошлых поступков и нынешних деяний, дабы представить нашего героя в истинном свете. А уж когда вы дочитаете до конца мою повесть, у вас будут все основания утверждать, хорош или плох Мышонок Нят, кто он: ничтожество или, напротив, достойнейший юноша с высокими устремлениями души. Вы, одни лишь вы, властны вынести окончательный приговор; как вы решите, так оно и будет. Я заранее с вами согласен.

Так вот, и, на мой взгляд, Молодого Нята не назовешь писанным красавцем. (Увы, на свете, пожалуй, не сыщешь двух сходных мнений о том, что такое Красота и Уродство. Остается лишь каждому скромно, но твердо ссылаться на собственные впечатления.) Телом Нят не длиннее человеческого пальца. Маленькие лапки его похожи на четыре хорошенькие зубочистки. Поперек заостренной, совсем еще детской рожицы улыбается проворный рот, украшенный щетинками усов, торчащих в разные стороны. Не скрою: манеры у Нята несколько странные. Он похож на разумного не по годам подростка, который очень хочет выглядеть солидным и благособразным. Ради этого ему не лень каждое утро повязывать голову яркой лентой и наряжаться в длинное платье. Глазки у Нята и впрямь невелики, но зато они так ярко блестят, так резво бегают по сторонам, подмигивают да подмаргивают, что просто загляденье. Оттого-то и Мыши, что любят судить обо всем с первого взгляда, решили, что Молодой Нят — большой хитрец. Кому, как не мне, известны доподлинно его нрав и склонности, и я пользуюсь случаем заявить здесь во всеуслышание: «Все опрометчивые хулители Нята судят о нем лишь по его наружности, а он ведь дельный, умный и благоразумный мышонок. Все твердят, будто он непригож. Пусть так! Но одни лишь глупцы пренебрегают мудрым древним изречением: «Добродетель превыше Красоты». Только

правственные достоинства или изъяны дают основания считать кого-либо прекрасным или безобразным!..»

И, рассуждая так (а рассуждать по-другому не следует), мы убедимся: Молодой Нят вовсе не плохой юноша. Ведь он родом из достойной, хоть и бедной, семьи. И уж конечно, Мышонок, который хорошо воспитан с детства и не жалеет сил, чтобы выбиться в Мыши, не может быть плох. И еще мне достоверно известно: Молодой Нят был способным и прилежным учеником. Недолго жил он под родительским кровом — лишь первые месяцы после своего появления на свет. А потом Папа-Мышь и Мышиха-Мама послали его учиться в далекие края, за несколько Полей (а стало быть, за несколько дней пути от родных мест). Все, кто учатся вдалеке от дома, среди новых знакомых, и долгие часы проводят наедине со светильником и книгами, рано закаляются духом. Они обретают уверенность в себе, которой так недостает их невежественным и ленивым сверстникам, оставшимся дома, возле Маминого Хвоста. Поистине

Плод арека¹ мал, невелик,
В жилистой и жесткой кожуре,
Нынче еще дома ученик —
Завтра вдаль уедет на заре...

Нелегко пришлось маленькому Няту, долго корпел он над науками, но ведь без этого не обойтись. В молодые годы ученье — первое дело, ибо науки для ума все равно, что рис для тела — основа основ. Мышонок Нят старался изо всех сил, день и ночь сидел он над книгами, не разгибая спины. И вот наконец до экзаменов остались считанные недели.

А дома родители-мыши горевали и радовались.

Плод арека мал, невелик,
В жилистой и жесткой кожуре,
Нынче еще дома ученик —
Завтра вдаль уедет на заре.
Сыну рис и деньги учителю
Шлют исправно мыши-родители...

Да, и рис и деньги шлют исправно мыши-родители, чтобы сыночек не ходил голодный, чтобы учился как следует. А скольких это стоит трудов! Разгрызет, бывало, Молодой Нят рисовое зернышко и вспомнит сразу, как Мышиха-Мама от зари до зари

¹ Арек — арековая пальма; из плодов ее, заворачиваемых вместе с кусочком извести в листья ползучего растения бетеля, готовят жвачку — бетель.

в зимнюю стужу бродит по Полю, отыскивая золотые зерна. Попадают они очень редко, а ноги у мамы совсем больные... Вспомнит Нят про родителей и еще усерднее принимается за ученье. Иной раз уже петухи поют, призывая зарю, а Нят все сидит у своего светильника, склонясь над раскрытой книгой.

А время потихоньку все шло да шло. И вот в один прекрасный день начались экзамены.

Свыше трехсот юношей из разных мышинных семей, с самых дальних Полей прибыли попытать счастья.

Издавна известна поговорка: «На экзаменах везенье важнее, чем знание». Ее наверняка сложили те, кто всегда и во всем полагаются на судьбу, считая, будто исход экзаменов все равно предопределен свыше. Молодой Нят, само собой, тоже волновался, собираясь на экзамены. Только тревожился он вовсе не из-за небесных предначертаний, ибо был убежден: ленивым и нерадивым даже судьба не поможет.

Но вот экзамены кончились, торжественно была вывешена Доска Отличий. Тут-то юные мыши, собравшиеся со Всех Четырех Сторон Света, увидели начертанные красивыми иероглифами слова «Мышонок Нят» среди имен трех самых талантливых и просвещенных мышей, удостоенных высшей ученой степени.

И понеслась, зашумела молва! Слух о Мышонке Няте — новоявленном Лауреате, так великолепно сдавшем экзамены, — стал переходить из уст в уста, минуя межи, с одного Поля на другое. И хоть верьте, хоть нет, все, кто вчера еще злословил и поносил Молодого Нята, сегодня просто слов не находили, чтобы воздать ему хвалу:

— Этот Молодой Нят — сущий Талант! Вы только взгляните на него — убедитесь сами. Голова у него золотая. Можете мне поверить: зо-ло-тая!

— А вы слышали, хи-хи... Он прекрасно учится!

— Приглядитесь: как он опрятно одет, да и вид у него очень достойный. мех блестит, и благоухает он, как букет роз.

— А эти восхитительные родинки на шее! Жаль, ей-богу, что их только три!

— И усы у них в роду — лучше всех: густые-прегустые, и каждый ус длинный-предлинный. Какая прелесть!

— И нрав у него милейший. Стоит только посмотреть на честное и открытое лицо этого молодца, и сразу все становится ясно...

— И еще я хочу добавить! И еще я хочу добавить! Самая прекрасная и самая умная мышь на свете это — Молодой Нят!..

Вот тебе раз! Родители-мыши быстро намотали все это себе

на ус и с утра до вечера ставили теперь Молодого Нята в пример своим детям:

— Доченька, выбирай себе хороших друзей, старайся, чтобы они были похожи на Нята. И ты, сыночек, должен скорей подружиться с Нятом. Из всех мышей он самый лучший. Дай вам бог стать такими, как Нят!

Все у этих болтунов не как у Порядочных Мышей: если хвалят кого, то уж захлеб, без удержу, — точно так же как о нем злословили прежде, позабыв приличия. Хорошо, что мы с вами знаем: ни славословия их, ни суесловия не соответствуют Истине. Все это одно пустозвонство. Ну а Мышонок Нят — просто способный юноша, усидчивый и старательный. Потому он и сдал так блестяще экзамены. А сам он вовсе не изменился: каким был, таким и остался.

II

Весна всегда приносит хорошие вести. Мы с вами давно уже к этому привыкли и, едва начинают распускаться цветы, все сильнее жаждем и ждем известий о Разных Счастливых Событиях. Вот и нынешняя весна принесла добрую весть в наши края и поведала отцу и матери Нята, что сын их выдержал экзамены с отличием. А что может быть сладостней для родительских сердец, чем известие о том, что сбылась наконец их самая заветная мечта?!

Папа-Мышь и Мышиха-Мама прямо рехнулись от счастья. Соседи и знакомые валили к ним толпой. Всем не терпелось поздравить стариков, и Дом их с утра до вечера был битком набит гостями. Конечно, приходили настоящие друзья, от души разделявшие радость хозяев, но немало нашлось и двоедушных мышей — эти корысти ради подольщались и льнули к старому Няту и его почтенной супруге. Они славословили без меры, величая Папу-Мышь и Мышиху-Маму не иначе как «досточтимой четою, родившей и выпестовавшей славного Нята-Лауреата». Папа Нят, насторожив уши, выслушивал эти медоточивые речи, и в душе его разливалось приятное тепло, а усы сами собой начинали топорщиться. (Не будем судить его слишком строго, много ли и средь нас таких, у кого бы не таяло сердце от льстивых похвал?!)

Подхалимы прямо из кожи вон лезли:

— О досточтимая чета... ТРА-ТА-ТА-ТА (все — согласно вышеприведенному) ... благодаря вашему сыночку Поле наше теперь Прогремит На Весь Мир.

— Какое там — Поле! Берите выше — ваш сын прославил всю Державу! Я думал с утра до вечера, даже взмок, но так и не вспомнил ну ни одного мышонка, который сдал бы экзамены столь же блестяще, как ваш замечательный Нят!

— Это настоящая Слава! Можете мне поверить: На-сто-я-а-ща-я!

— О досточтимая чета... ТРА-ТА-ТА-ТА... надо бы устроить Пир На Весь Мир, чтоб повкуснее отметить заслуги нашего дорогого Лауреата.

— А я говорю, одного Пира На Весь Мир мало. Триумфальное Шествие — вот что нужно! При таких его заслугах без Триумфального Шествия не обойтись.

— Это уж точно! Мы должны всенародно чествовать нашего любимого Нята-Лауреата!

— Да-а, слава вашей уважаемой семьи теперь превосходит... Папа Нят блаженно щурил глаза, выпячивал грудь и горделиво подкручивал усы.

— Верно... Триумфальное Шествие в честь нашего сыночка будет в самый раз. Ну как, дорогая, устроим шествие?

И Мама Нят, робея от счастья, тихонько отвечала ему:

— Надо бы, дорогой, надо бы...

— Надо! Надо, о досточтимая чета... — вторили ей мыши.

— Непременно, совершенно необходимо! Сперва Триумфальное Шествие, а потом уж, само собою, Пир На Весь Мир!

Конечно, ликовали они вовсе не потому, что у стариков Нят сын вышел в Лауреаты, — просто блюдолизы и обжоры радовались случаю набить себе брюхо на дармовщинку и в процессе показаться — знай, мол, наших.

Сказано — сделано. Папа-Мышь и Мышиха-Мама назначили день и час Торжества. И тотчас отправили письмоцо Молодому Няту, чтобы он не торопился домой. Пускай себе погуляет да позабавится, куда за ним не придут земляки и родственники с Паланкином, Знаменами и всем прочим и не доставят его на Родное Поле.

Получив такое известие, Мышонок Нят сперва даже пригорюнился. Уж очень хотелось ему побыстрее вернуться домой и рассказать родителям, как усердно он учился и как блестяще сдавал экзамены. Тем более Нят уже получил от казны пособие на дорогу и собирался, не мешкая, отправиться в путь. Пешие переходы для него были делом привычным. И зачем только выдумали эту пышную встречу?..

Но такая наивная мысль ненадолго задержалась у него в голове — пока он еще по старинке считал себя обыкновенным шко-

ляром. Очень скоро Нят начал тешить себя воспоминаниями о том, как он всех превзошел на экзаменах, испытывая при этом великую радость и удовольствие. Мало-помалу он пришел к убеждению, что его прямая обязанность и даже долг — проехать перед народом в Паланкине: нельзя же лишать простых смертных возможности насладиться видом Мудреца и Лауреата. Справедливости ради заметим, что по натуре он вовсе не был таким тщеславным. Но разве не встречали мы даже среди Самых Великих Мышей любителей показного блеска? И многие ли, я вас спрашиваю, сумели удержаться от того, чтобы не проглотить сладчайшую приманку лести и почестей?

Теперь уж Молодой Нят даже сны видел только Триумфальные!

...Вот плывет ярко-красный Паланкин, почтительно несомый двумя рядами носильщиков. Он восседает на мягких подушках, одна рука его покоится на колене, другая оперлась на поручень. Время от времени он горделиво поглядывает по сторонам. А народу вдоль дороги — видимо-невидимо. Мыши всех пород, всех родов и званий сбегались с окрестных Полей полюбоваться на него и выразить ему свое уважение и восхищение. Все поднимаются на цыпочки и до хруста вытягивают шеи — чтобы взглянуть на юного, но уже прославленного Лауреата. Какое торжество! Какое величие! Какой блеск!..

III

А весна вступает в свои права. С каждым днем она расцветает все пышнее и ярче.

Но не торопитесь утверждать, будто она уже царит безраздельно. Небосвод и земная твердь только еще начали согреваться ее теплым благоуханным дыханием, еще не растаяли под солнцем последние холодные тучи; и радостное шествие весны нет-нет, да и омрачится серым пасмурным днем или мрачной беззвездной ночью, а то вдруг промчится студеный обжигающий ветер, словно угрожая возвращением постылой зимы.

Так и в правдивой повести о Мышонке Няте, прославленном и мудром Лауреате, нас ожидают не только радости и веселые празднества; впереди немало и печальных происшествий, и они тоже ждут не дождутся, куда их занесут на страницы книги. Пускай же первым среди невеселых событий будет явление Драного Кота, очень злого и очень пожилого.

Дранный Кот прибыл в эти края давно. Даже не отдохнув с

дороги, он провозгласил себя Повелителем здешних мест, Первым среди всех живых тварей и на следующий же день начал свирепствовать и насильничать без зазрения совести. Откуда он родом и какова была его прежняя жизнь, толком не знал никто: он появился внезапно, словно бес из преисподней.

Если верить слухам, Дранный Кот раньше жил далеко-далеко отсюда. Там было множество знатных хищников, злобных и жадных, и каждый вершил в своих владениях суд и расправу. Разумеется, они не могли ужиться между собой, завидовали один другому черной завистью, вечно плели интриги, ссорились, грызлись и дрались не на живот, а на смерть. Сильные бесстрашно набрасывались на слабых и изгоняли прочь, присваивая их владения. И хотя в коварстве и злобе Дранный Кот не уступал никому из соседей, а иных даже во многом превосходил, нашлись среди тамошних жителей молодцы посильнее его. Они терзали и били Драного Кота всюду, где бы он ни появлялся, так что на шкуре его не осталось живого места. И пришлось ему бросить свои владения, собственное, награбленное у других добро и бежать Куда Глаза Глядят.

Надеюсь, вы не подумали, будто он изменил свои повадки и отказался от грабежа и разбоя? Добравшись до Наших Полей, Кот, как я уже сообщал, провозгласил себя Повелителем здешних земель и вод и их обитателей. Жил Дранный Кот бобылем. Говорили, будто была у него когда-то жена и даже дети, но однажды, проголодавшись, он сожрал все свое семейство. С тех пор он вроде бы ни к кому не сватался, предпочитая безбрачие. Вот что гласила молва. Но не поручусь, так ли все обстояло на самом деле...

Нет и не бывало на свете мыши, которая не боялась бы кошки. Страх этот, пожалуй, не требует объяснений. Многие видят в нем проявление трусливости и раболепия, коренящихся якобы в самой Мышиной Природе. Конечно, для малых и слабых страх перед кошкой сделался как бы непререкаемым законом, освященным веками. Но знайте, мышам закон этот тягостен и ненавистен. Когда Дранный Кот творил свои бесчинства, не было такой норки, жильцы которой смирились бы со своей злой долей и не мечтали о мести. Пускай Его Высочество Дранный Кот при малейшем неповиновении хватал бунтаря за горло — все равно возмущение зрело подспудно, и пенависть переполняла мышинные души.

Знал ли, вы спросите, Дранный Кот о том, что все ненавидят и презирают его? Разумеется, знал. Замечал он и то, что мыши, которые являлись к нему на Приемы и искали его покровитель-

ства, были сущими болванами и последними проходимцами. И от этого очень страдал. Ведь все настоящие тираны уверены: наградой за их тиранство должно быть обожание подданных. А здесь — такая неблагодарность! И Дранный Кот надумал вернуть себе всеобщую любовь. Был издан Закон «Об обожании Высочества». Приведем его здесь целиком:

«§ 1 — Его Высочество Дранный Кот очень любит мышей.

§ 2 — Мыши обожают Его Высочество.

§ 3 — Мыши, не обожающие Его Высочество, съедаются Его Высочеством вместе с семьями».

Стоны и жалобы возносились к равнодушным небесам. Поля опустели. Редкая мышь решалась выйти на промысел. А поборы росли день от дня, и нужда все чаще заглядывала в мышиные норки. Дошло до того, что многие мыши боялись даже громко вздохнуть, не говоря уж о том, чтобы чихнуть или пикнуть. Боюсь, мне не хватит слов, чтобы поведать о тяжелых страданиях Мышиного племени.

Но нашлись и Мятежные Умы. Так, около десятка мышей, мыслителей и поэтов, собрались однажды в потаенной норе и сложили сатирические стихи про Драного Кота. Стихи эти потрясли весь Мышиный Свет глубиной содержания и совершенством формы, они были положены на музыку и исполнялись везде и всюду — для посрамления Его Высочества Драного Кота:

Кот плешивый попрошайка,
Постучался к мышкам в дом.
— Где супруг? — спросил хозяйку.
— Он отправился верхом
За Три Поля на базар
Покупать Рисинки,
Чтобы справить по котам
Пышные поминки!

И Кот слышал эту песню. В сумерки она доносилась из густых зарослей и таинственных темных подземелий. Но Дранный Кот делал вид, будто не слышит ничего. И право же, это было лучшее, что он мог придумать. Не раз и не два пробовал он накрыть длиннохвостых хористов на месте преступления, но они разбегались у него из-под носа. А когда он в Отборнейших Выражениях призывал своих подданных к порядку, слышно было, как они, сидя на дне глубоких норок, ехидно посмеивались:

— Хоть морду расшиби, сюда тебе не пролезть...

К сожалению, вышеприведенные замечательные стихи могли лишь вывести Драного Кота из себя, но злодейства его не прекращались и выжить его из здешних мест не удалось. Поля по-

прежнему пустовали, и мыши терпели ужасные муки, которым, казалось, не будет конца.

В один прекрасный день Дранный Кот прослышал, будто Папа-Мышь и Мышиха-Мама намерены устроить в честь своего сына Триумфальное Шествие, и страшно обрадовался. Конечно, он радовался не тому, что Молодой Нят отличился на экзаменах. Дранный Кот почуял возможность урвать для себя приличный кус — недаром же он установил Законную дань с каждого праздника. Дранный Кот, не откладывая, направился напрямик к Дому Нятов. «Ясное дело, — на ходу думал Кот, — туда набилось полным-полно обедал да подхалимов, небось даже стариков выставили на выпивку и угощение...»

И правда, издалека было слышно, какое веселье стоит у Нятов. «Вот-вот, — усмехнулся Его Высочество, — жрут и пьют да долдонят про свое дурацкое шествие, словно они и впрямь могут что-то решать. Забыли, каналы, кто здесь Главный!..»

Дранный Кот подошел к дверям и издал свой Фамильный Боевой Клич: «Мя-а-у», прозвучавший громко и звонко, словно охотничий рог.

Крики и смех в Доме сразу стихли.

Мгновение спустя оттуда показались чьи-то дрожащие усы.

Его Высочество заорал (что-что, а это он делал мастерски):
— Мя-а-у!.. Выходи, Мур-р-рло!..

Из дверей высунулся перепуганный Папа Нят и не своим голосом пропищал:

— Пусть все будет так, как хочется Вашему Высочеству!

Дранный Кот хмыкнул и сощурился: приветствия были его слабостью. Папа Нят приободрился и спросил:

— Чем мы, малые мыши, можем быть полезны Вашему Высочеству?

Кот, опомнясь, заорал снова:

— Ишь ты, «полезны»!.. Мур-р-рло! Сами знаете, какое у Нас дело!

— Ей-богу, не знаем.

— Ах, не знаете?! Вот Мы сейчас разворотим вашу грязную дыру и закусим кое-кем из вас! Может хоть это освежит вашу память? Я слышал, гнусное племя, что вы захотели набить свои утробы на пиру и тащить что-то там на триумфальных носилках? Думали, наглецы, обойтись без Нашего соизволения?!..

— О Ваше Высочество... Проницательность Ваша равна... равна... э-э... не имеет себе равных. Именно сегодня вечером к Вам в Замок должны доставить Законную дань...

— А всего ли там будет вдоволь?!

— О да, все как положено! Нам ли не знать утонченный и ненасытный вкус Вашего Высочества!..

Солнце клонилось к закату, когда мыши торжественно понесли дань в Замок Драного Кота,— дань внушительную, иначе Кот просто отменил бы праздник или съел Триумфатора и его близких. По своей пышности процессия эта почти не уступала предстоящему Триумфальному Шествию. Да вы поглядите сами.

Впереди шагают двое мышей — юноши в расцвете молодости и сил. Один несет на плече связанную бечевкой пару больших карпов, второй — молоденького жирного голубка. А за ними шествуют еще двое — мужи зрелого возраста. Первый колотит в Барабан, а второй наигрывает на Рожке веселящие душу напевы. Все четверо — в штанах с лампасами и нарядной одежде, на головах широкие остроконечные шляпы из пальмовых листьев, именуемые «нонами». Завершают процессию еще двое мышей — почтенные старцы в одеяньях из дорогого темного шелка и красных штанах. Старцы эти во время Вручения Дани должны были услаждать слух Драного Кота хвалебными речами...

Когда шествие подошло к Замку, мыши увидели Драного Кота. Он сидел, то и дело прикладываясь к любимому кувшинчику с водкой. Едва завидев дары, Кот вскочил, схватил обоих карпов и тут же сожрал их на глазах у почтенных старцев, которые выступили вперед, готовясь начать речь. Онемев от ужаса, позабыв о церемониале и порядке, мыши вперемешку — носильщики, ораторы и музыканты — обратились в бегство. Они бежали долго, пока не почувяли, что Душа их из Пяток поднялась опять на Свое Обычное Место.

Но так или иначе, Кот принял Законную дань, и, стало быть, мыши могли пировать и шествовать, не опасаясь препонов со стороны Его Высочества. Весь Мышиный народ преисполнился надежды и радостного ликования.

IV

С наступлением весны даже самые бедные и обездоленные жаждут и ждут хоть каких-нибудь радостей. Истина эта столь же непреложна, как и то, что огорчения и беды нежеланны в любое время года.

Итак, весна завладела и землею и небом. Зацвели персики. Трудолюбивые пчелы, муравьи и бабочки порхали и ползали с цветка на цветок, с листка на листок, ибо, как известно, весенний аппетит — самый лучший. Конечно, и мышам, едва в воз-

духе запахло весной, захотелось всласть порезвиться. А чем же, как не великим весельем и развлечением, обещал стать Триумф Нята-Лауреата?

Но, увы, радость предвкушения была слегка омрачена: могли кто-нибудь поручиться за Его Высочество Драного Кота? Сегодня он милостиво позволил мышам веселиться в свое удовольствие, а завтра...

Вот так и нас обуревают сомнения: не вернутся ли снова злые зимние ветры и не сотрут ли напрочь яркие краски весны?..

Скоро ли, долго ли, но наконец настал день, когда весь Мышиный народ загудел и заволновался: началось Триумфальное Шествие.

После полудня процессия приблизилась к последней Меже. За нею простиралось Родное Поле Лауреата. Уже издалека шествие потрясало своей величественностью и блеском. Мне и сейчас чудится, будто я вижу его воочию.

Открывают шествие двое юношей мышей в изящных красных костюмах. Они по очереди кричат в сделанный из большой витой раковины Рупор, призывая толпу расступиться, и разъясняют ликующим землякам суть и порядок празднества.

Следом, на дистанции в десять шагов, идут рослые мышизнаменосцы с огромными Знаменами. На каждом полотнище начертано: «Благополучие и Умиротворение». А это ли не самое заветное желание всех и каждого — жить благополучно и мирно?!

Далее несут лакированные доски — Биены, на которых сияет золотом приветствие: «Слава вернувшемуся с Победой!». Ну а кто же, живя в покое и достатке, — кто, скажите вы мне, — откажется от Славы?! Уверяю вас — никто!

За Биенами движется огромный Главный Барабан — пузатый и очень тяжелый. Поэтому всякий раз, когда знаменитая своим виртуозным искусством Мышь — Главный Барабанщик опускает палочки на туго натянутую звонкую кожу, мыши, несущие Барабан, шатаются и едва не падают с ног.

Далее следует Просто Большой Барабан, известный своим неповторимым мажорным звучанием.

А затем выступают родные, близкие, друзья Лауреата, друзья его друзей и разные именитые и знаменитые мыши — в одеждах из легкого газа цвета куриного сала, перетянутых широкими алыми кушаками, с яркими зонтами и опахалами из зеленого шелка. Каждый их шаг исполнен достоинства. Величавый взгляд устремлен прямо вперед: они изо всех сил таращат глаза и стараются не моргать, чтоб не нарушить торжественно-

сти момента. Кто-то из именитых высоко несет большущий зонг Лаунг, тень которого осеняет самих почтенных гостей.

За ними шествуют прочие родовитые мыши — в платьях из газа более скромных расцветок и коричневых шелковых штанах, талии их стягивают ярко-красные пояса, расшитые бисером. Идут они, согласно обычаю, босиком. На головах — повязки из темной материи, оставляющие открытыми кончики ушей. Лишь несколько молодцов, — судя по всему, завзятые гуляки и щеголи — явились в новехоньких нонах, лихо сдвинув их набекрень.

Остроносые мышинные лица озарены блаженными улыбками, к самому небу задраны тщательно подстриженные усы, и все мыши, сколько их ни есть, раздув щеки, усердно жуют бетель.

И наконец, самая пышная и внушительная часть процессии — пятнадцать мышей в одеждах из переливчатой парчи и чудесных шелковых штанах, в сверкающих лаком нонах и, конечно, тоже босиком. Они несут красный Триумфальный Паланкин, в котором — о чудо из чудес! — восседает сам Лауреат. Голову Нята-Лауреата венчает синяя шляпа магистра, украшенная, как и положено, двумя трепещущими на ветру крыльями стрекозы. Он облачен в пышные церемониальные одежды небесно-голубого цвета с широкими рукавами. Лауреат сидит, закинув ногу на ногу. В левой руке — роскошный веер, которым он плавно и неторопливо обмахивается, в правой — сигарета. Время от времени он подносит ее к губам и потом с важным видом сплевывает в сторону, выпучив глаза и задрав повыше голову.

А у дороги творится что-то невообразимое — ни пройти, ни проехать. Толпятся соседские мыши. Прибыли гости со Всех Четырех Сторон Света — посмотреть на знаменитого Мудреца Нята и выразить ему свое восхищение.

Рупор-ракушка, открывающий процессию, громыхает:

— Уважаемые! Не напирайте!.. Не напирайте!.. Депутации от Полей, разберитесь по рядам!..

— Бум-бум! Бум-бум — гудит Главный Барабан.

— Тра-та-та! Тра-та-та! — отвечает ему Просто Большой Барабан.

А Рупор-ракушка все гремит и гремит:

— Расступитесь!.. Расступитесь!.. Всемирно прославленный Нят-Лауреат возвращается под родительский кров!..

Вот уже близок Дом Лауреата, и процессия постепенно замедляет шаг. А народу становится все больше и больше. С каждой минутой подходят новые толпы любопытных. В ужасающей давке все стараются проталкаться поближе к дороге, чтобы хоть краешком глаза взглянуть на живого Лауреата.

А сам он, сидящий в своем Паланкине, серьезен и сосредоточен: он прикидывает и взвешивает, достаточно ли торжественно и пышно его приветствуют. И наконец, решает: достаточно! «Еще немного,— думает он,— и дойдем до Пагоды. Там мы остановимся, чтобы поклониться местным святыням. Туда же придут на носилках мои дорогие родители — навстречу своему Сыну Лауреату... Нет, я совершенно счастлив. Само небо благоприятствует мне — такая стоит ясная, солнечная погода! Это для того, чтобы каждая мышь могла налюбоваться моим Триумфом...»

И он, надув щеки, степенно подносит к губам сигарету, затягивается табачным дымом и медленно опускает руку на поручень Паланкина. Это делается, конечно, для Посторонних Глаз, чтобы все мыши (а особенно юные мышки) обратили внимание на красивые пальцы Лауреата — тонкие и гибкие, как молодые побеги бамбука,— истинные персты Мудреца, Литератора и Государственного Мужа.

Да, ничего не скажешь! Триумф удался на славу!

Но тут... Увы, зачем наша память хранит не только счастливые, но и горестные картины?! Отчего, скажите мне, в этом мире добрые начинания иногда венчает трагический конец?!

Итак, шествие почти уже миновало Поле, простиравшееся перед Домом Лауреата, когда издалека донесся какой-то странный звук. Глухой и неясный вначале, звук этот, разрастаясь, напоминал злобный рокот барабана и под конец заревел ужасающей медью военной трубы:

— Мя-а-у!.. Мя-а-у!..

О небо! Семейный Боевой Клич Его Высочества Драного Кота!..

Как?! Почему?.. За что?..

Мыши, рядами стоявшие вдоль дороги, дрогнули и, пища от страха, бросились кто куда. Ведь кошачий голос подобен для них свисту занесенного над головой меча.

— Кот идет!..

— Кот?!.

— Кот! Кот!..

Процессия тотчас растаяла. Двое юношей, открывавших шествие, сбежали первыми, бросив свой Рупор-ракушку. За ними кинулись наутек рослые знаменосцы, отшвырнув свои Знамена. И тех, кто нес Биены и Лаунг, словно ветром сдуло — остались лишь брошенные ими на бегу лакированные доски и зонт, сверкавшие красками и позолотой в придорожной пыли.

Одни барабанщики, самозабвенно колотившие в свои Барабаны, не удосужились даже поднять головы и сперва ничего не

заметили, так же как и их помощники, которые шли, качаясь под тяжестью Барабанов, зажмуря глаза и оглохнув от барабанного грома.

— Мя-а-у!.. Мя-а-у!.. Мя-а-у!..

В конце концов душераздирающий клич достиг ушей барабанщиков. И они тоже, побросав свои Барабаны и палочки, разбежались кто куда.

Тут уж и мыши, тащившие Паланкин, затрепетали. Нет, нести Триумфатора и дальше у них не хватало ни духу, ни сил, они бросили Паланкин и побежали, стуча зубами от страха.

Паланкин тяжело грохнулся оземь и опрокинулся набок. А сам Нят-Лауреат вылетел из него и с размаху шлепнулся в грязь.

В мгновение ока от торжественного шествия не осталось и следа.

Тут-то и появился Его Высочество Дранный Кот, медленно и величаво приближавшийся с запада. Он шествовал не спеша, оглашая округу своим Фамильным Боевым Кличем. (Впрочем, вполне вероятно, что Его Высочество просто-напросто пел свою любимую песню. Подите-ка поймите у Кота, когда он выпускает Боевой Клич, а когда просто мурлыкает куплеты. Это так же трудно, как отличить спокойную его речь от сквернословья.)

Но справедливости ради я должен признать: у Драного Кота в тот день вовсе не было дурных намерений. Напротив, он находился в отличном расположении духа. Изрядно выпив и захмелев, он растрогался вдруг красотой весеннего утра и, мурлыкая под нос какую-то легкомысленную мелодию, отправился полюбоваться на Триумфальное Шествие. Он надеялся, что это зрелище его позабавит.

Только и всего! Но кто же мог знать обо всем заранее? А мыши всегда помнят одно: Его Высочество ежемгновенно жаждет мышиной крови и мышинного мяса. Да и характер у важных господ непостижим и изменчив — пока разберешься, хорошее у них настроение или дурное — того и гляди... Лучше уж вовсе не попадаться им на глаза...

Когда Дранный Кот приблизился к большой дороге, там не осталось и мышиной тени. Только валялись кругом Знамена, Барабаны и Зонты с Веерами, а посреди дороги громоздился перевернутый Паланкин. Его Высочество в изумлении пробормотал:

— Чудеса! И чего это они разбежались и побросали свое добро?

Но, скажем прямо, случившееся нисколько не омрачило радужного настроения Его Высочества. И он опять замурлыкал.

Откуда ему было знать, что каждая его рулада, словно невидимый бич, подстегивала удиравших мышей и они припускали быстрее прежнего, лишь бы уйти подальше?

Дранный Кот еще раз огляделся по сторонам и степенно зашагал прочь. Он направился напрямик к ближайшему Пруду. Его Высочество решил, что не менее приятно провести время за ловлей мальков и головастика: пусть вражье семя сызмальства трепещет и привыкает к тому, что оно — Съестное.

Ну а нам пора вернуться к незавершенному Триумфу. Как бы то ни было, а жизнь продолжается. И вот что было дальше:

Когда солнце уже клонилось к закату, самые храбрые мыши — их было, увы, совсем немного — отважились высунуть носы из своих норок. Озираясь, прислушиваясь и принюхиваясь, они поползли к дороге, держа друг друга для храбрости за хвосты.

На дороге не было ни души...

Тогда и прочие мыши тоже повылезали из норок. Судили они, рядили и так и этак и решили, несмотря ни на что, возобновить Триумфальное Шествие. Я думаю, их решение можно только одобрить. В самом деле, стоит ли долго унывать, пусть и по очень грустному поводу?! Ведь мыши, хоть они и серые, тоже нуждаются в развлечениях...

«Порядок, — постановили они, — и церемониал остаются без изменений»

Все заняли прежние места и приступили к своим обязанностям. Впереди — Рупор-ракушка, за ним Знамена, потом Биены, Главный Барабан. Просто Большой Барабан и, конечно же, Паланкин...

Но как только полтора десятка носильщиков приподняли Паланкин, все увидели под ним... Нята-Лауреата! Лицо его было мрачнее тучи. О ужас! Где взять подходящие слова?! Он пролежал здесь все это страшное время. В довершение несчастья, когда Паланкин опрокинулся набок, дверцы его прищемили Лауреатский Хвост. Боль была невыносима, но Нят не посмел и пикнуть. Ведь если бы он издал тогда хоть единый звук, он неминуемо угодил бы прямо в когти Драному Коту. Стиснув зубы, он стойчески, как истинный философ, переносил телесные муки. И вот наконец-то он мог освободить свой Хвост...

Но что это?! О горе, я снова немею... Прекрасный длинный и гибкий Лауреатский Хвост был надломлен у самого основания. Рана нестерпимо болела и кровоточила. Нят не мог даже присесть. Стеная, улегся он на дно Паланкина, и носильщики со всех ног пустились к его Дому.

А что же это, с вашего позволения, за Триумф, если Лауреат не восседает, как положено, в Паланкине? Зрелище сразу утратило все свое величие и торжественность. Итак — будем уж до конца откровенны — не все вернулись досмотреть Триумфальное Шествие. Но и те, что вернулись, могли любоваться лишь кончиками Лауреатских ушей (Нят лежал пластом на дне Паланкина) да усладить свой слух горестными Лауреатскими стонами...

V

Ладно, пускай теперь возвращаются хмурые зимние дни, все равно их стылой докучливой серости не сковать больше наших сердец. Потому что дыханье весны, горячее и благоуханное, распахнуло сердца навстречу свету, веселью и счастью.

И в повести моей, если вдуматься, многое еще сулит утешение и отраду...

Плохо ли, хорошо ли, но Триумф Нята-Лауреата все же состоялся. Папа-Мышь и Мышиха-Мама, как вы понимаете сами, не осмелились потревожить Его Высочество Драного Кота попреками и укоризнами. Они достаточно пожили на свете и научились терпеливо сносить удары Судьбы. Да и вообще, между нами говоря, им было не до этого: несмотря на великую Мудрость и Славу Нята-Лауреата, Хвост его нестерпимо болел. Каких только лекарей к нему ни приглашали, сколько бальзамов и снадобий ни перепробовали — все тщетно! Напротив, недуг с каждым днем обострялся, усилилось кровотечение и воспаление грозило вот-вот перейти на нижнюю часть спины.

Наконец прибыл с Чужедального Поля прославленный Корифей Мышиной Медицины. Он осмотрел больного и изрек непонятное страшное слово: «Карбункул». Состояние Молодого Нята продолжало ухудшаться, и Корифей, отобедав, решился на операцию. С блеском — ведь не зря же он считался Светилом — Корифей отсек Няту Хвост прямо под самый корень...

Ах, мне кажется, будто я пишу не правдивейшую повесть, а тяжелейшую и горчайшую из трагедий, сочиненных для лицедейства!.. Был Хвост как Хвост и вдруг — под самый корень!.. Но нет, давайте возьмем себя в руки и постараемся взглянуть на случившееся сквозь призму Всеобщей Гармонии: слуханное ли дело — Мышь без Хвоста! Не противоречит ли это законам природы?! Бесхвостье — разве это не фатальный изъян для внешности и репутации даже самой безвестной и ни для кого не инте-

ресной мыши?! А если хвост к тому же еще Лауреатский?! Вообразите: Магистр без Хвоста!..

Кому-кому, а Старому Няту было ясно: главное, чтобы молва про Бесхвостье его сыночка не разошлась по Всему Свету. Иначе и Карьере Лауреата, и Славе его, и Семейному счастью — всему конец! Старый Нят сунул изрядный куш носильщикам, которые несли в тот день красный Паланкин, чтобы держали язык за зубами. Но, увы, многие видели Хвост Триумфатора между дверцами, а денег на всех не напасешься.

Одним словом, увечье Нята нужно было непременно скрыть. Почтенные родители его думали так: «Сынок наш уже вырос и возмужал, ума ему, слава богу, не занимать, и в науках нет ему равных, не хватает ему только собственной семьи — жены и детей. Пусть мы небогаты, но с такой головой, как у него, да с его Всемирною Славой он должен, конечно, взять невесту познатнее и побогаче...»

Правда, молоденьких мышек из рода Нят было вокруг сколько угодно, но Лауреату среди них не на ком было даже остановить взгляд. Папа-мышь и Мышиха-Мама все время только и толковали об этом. Судили да рядили, но никак не могли решить, к кому засылать сватов. А родня и соседи тем временем все уши им пропищали: жените, мол, сына, и все тут! Безбрачие Нята идет-де против Естества и в ущерб Семейной Чести. Конечно, на самом деле наплевать было им и на Естество, и на Честь — дай только брюхо набить да повеселиться. От угощения их, бывало, и за хвост не оттащишь. И само собою, воспоминания о Пире На Весь Мир не давали им покоя. Видя, что Свадьбой пока и не пахнет, они считали себя прямо-таки обворованными и с утра до вечера улещали стариков:

— О досточтимая чета, родившая и выпестовавшая славного Нята-Лауреата, вам осталось теперь только женить вашего славного отпрыска, согласно Древним Мышиным Законам.

— Легко сказать — женить! Нашему дорогому Лауреату нужна достойная невеста. Можете мне поверить: до-стой-на-я!

— А я говорю: не в этом дело! Второй Пир На Весь Мир — вот что ему нужно. При таких его заслугах без второго Пира не обойтись!

— Это уж точно! Пусть все погуляют на Свадьбе нашего славного Нята-Лауреата!

— О досточтимая чета... не присмотрели ли вы сыну невесту где-нибудь по соседству?

— Тоже скажете: невесту по соседству! Да они все не пара Лауреату. Тут бери выше. Можете мне поверить: вы-ше!..

И так без конца. Дошло до того, что Папа-Мышь и Мышиха-Мама да и сам Нят-Лауреат ни о чем, кроме Бракосочетания, уже не могли говорить.

Всем или, во всяком случае, многим было известно, что у Его Превосходительства Мускусной Крысы — Управителя Большого Поля, славного своей знатностью и богатством, — была тогда дочь на выданье. Согласно Древним Законам, всем знатым и именитым семьям, где были дочери-невесты, вменялось в обязанность вывешивать на своих воротах Брачные Доски с Призывами к женихам. Его Превосходительство Мускусная Крыса, большой ревнитель старинных обычаев, едва лишь дочь его вошла в возраст, тотчас вывесил такую Доску на воротах своего Дворца. И она висела уже... дай бог памяти... э-э... не один год. Немало отпрысков славных семей являлись попытать счастья и сватались к Барышне Мускусной Крысочке, но ни один не пришелся по вкусу благородной невесте и ее родне. Ведь Его Превосходительство Управитель Большого Поля был не только выдающимся Государственным Мужем, но и видным — даже издавна — философом и поэтом с утонченным вкусом и чрезвычайно большими запросами. А юная дочь его славилась далеко за пределами Большого Поля своим аристократическим высокомерием.

Как мне набросать поточнее портрет дочери Его Превосходительства? Холодная и неприступная, она была хороша той совершенной, ни с чем не сравнимой Красотой, которую поэты любят называть «роковой» (таково было мнение самой невесты). Свою ковыляющую походку она, коротконожка, считала изящной, величавой Поступью, свойственной знатым особам. Благородная девица не уставала любоваться в зеркале своей длинной и толстой физиономией, всякий раз находя ее удивительно схожей с прекрасным плодом соана. Грязно-черное одеяние невесты очень дурно пахло, но сама она полагала, будто тело ее источает сладостное благоухание, не уступающее наилучшим духам. На первый взгляд дочь Управителя Большого Поля казалась девицей доброй и покладистой, но на самом деле я не припомню такой дурной черты, которой она не обладала бы в полной мере. Вздумай я привести здесь для вашего сведения список ее недостатков, эта повесть выросла бы вдвое; и потому я назову лишь два самых главных: упрямство и спесивость.

Итак, несколько лет назад Его Превосходительство вывесил у ворот своего Дворца Брачную Доску. На ней были начертаны такие стихи:

В нашем доме — дочь-невеста,
красавица,
Двадцати ей не минуло весен.
Вам она непременно понравится.
Женихи, милости просим!

Нашлось немало юношей, чей покой смутили эти строки.
Как-то вечером Папа-Мышь позвал Нята-Лауреата и сказал ему:

— Сын мой, ты уже взрослый. Мудростью и дарованиями снискал ты себе Истинную Славу и достоинствами своими не уступишь никому, Я хочу только, чтоб ты вступил, как водится, в брак и продолжил наш Род. Тогда я смогу и умереть спокойно.

Молодой Нят пришел в восторг, но даже виду не подал.

— Батюшка,— поклонился он,— как вам будет угодно.

— Ты не волнуйся, я все обдумал и взвесил. Увы, в нашей округе нет ни одной девушки-мышки, достойной войти невестой в наш Дом. Но ушей моих достиг слух, будто Его Превосходительство Управитель Большого Поля ищет мужа для своей дочери. Завтра же я отправлюсь к нему и постараюсь все устроить. Что ты на это скажешь?

— Я уже говорил — подчиняюсь во всем вашей воле, бабушка, — уклончиво и почтительно отвечал Нят.

Было, понимаете сами, одно немаловажное обстоятельство, о котором ни Старый, ни Молодой Нят не обмолвились ни единым словом: просватать невесту издалека было гораздо проще — тогда История с Хвостом вряд ли выплывет наружу.

На другой день Папа-Мышь тщательно повязал вокруг головы черную шелковую повязку, надел выходное платье из легкого газа, взял в руки зонт и отправился к Реке — там на берегу стоял Дворец Его Превосходительства Мускусной Крысы.

Вернулся он только под вечер. Еще издалека чувствовалось, как от него разит хмельным. «Должно быть,— решил Нят,— Управитель угостил отца на славу. Неужто сладилось Сватовство?!»

Да, так оно и было! Но не лучше ль узнать все из первых рук:

— Его Пре-вос-хо-дительство... — икая, произнес Папа-Мышь и выдержал долгую паузу, — ...Превосходительство... только желал бы согласно... — Он снова икнул. — ...Да, согласно древней церемонии... э-э... Сватовства, пригласить меня... нет... тебя, сынок, завтра в гости... и испытать твою мудрость и этот... как его? Ага... и Та-лант.

— Завтра же буду у него! — воскликнул Нят.

Сказано — сделано. На другой день он отправился в гости к Его Превосходительству Muskusной Крысе.

Но Папа-Мышь предварительно прибегнул к такой уловке: он нанял по соседству двух молодых мышей — в пажи Няту, как принято в знатных семействах, — а также для того... Но об этом в свое время...

Итак, Нят-Лауреат отправился в путь не один, а со свитой. Всю ночь перед этим он не сомкнул глаз, листая разные ученые книги, дабы освежить в памяти все, чему научился, и не ударить лицом в грязь перед Его Превосходительством. Вы спросите: как же он намеревался держаться, как собирался садиться, вставать и ходить — ведь Хвоста-то у него не было?

Да, Хвоста не было. И конечно, узнай Барышня Muskusная Крысочка, что Лауреат бесхвостый, она отказала бы ему наотрез. Поэтому Папа Нят и Нят-сын были готовы на все.

Открою вам по секрету уловку, придуманную Папой Нятом: во-первых, юный Лауреат не пойдет пешком, а поедет верхом на красивом Белом коне. Во-вторых, на Лауреата наденут широкие шелковые штаны до пят. В-третьих, когда он будет сходить с коня, двое пажей станут по обе стороны у стремени, подхватят его под мышки и почтительно опустят на землю, как это принято у вельмож (а чем, скажите, Лауреат хуже вельможи?). И тогда никто не заметит, что у жениха отсутствует Хвост. Ведь когда не известно, что Хвоста нет, то он вроде бы есть...

Впрочем, не слишком ли мы увлеклись высокими материями? Ведь с минуты на минуту Нят должен подъехать ко Дворцу Его Превосходительства!..

Вот появляется Белый конь. Лауреат привстал в седле, пажи подхватывают его... Благодарение небу, все прошло без сучка, без задоринки! Управитель Большого Поля сам вышел навстречу Лауреату и проводил его во дворцовые покои, оказывая ему Всевозможные Знаки Внимания. Но как ни озирался Нят, как ни таращил глаза, благородной Девы Muskusной Крысочки нигде не было видно. Вот и пришлось жениху вместо игривого разговора с невестой довольствоваться ученой беседой с ее отцом. Но Нята и это устроило, он заранее был на все согласен.

А Барышня Muskusная Крысочка, как всегда, мудрила и манерничала. Вон она — спряталась в смежных покоях и высовывает нос из-за ширмы. Жених ей вроде пришелся по вкусу.

Ну а Его Превосходительство, радуясь поводу — как-никак жених, да еще Лауреат, — велел подавать выпивку и закуску. Подняли чаши с вином, и Управитель Большого Поля загадал

Няту Загадку. Таковы уж правила Сватовства: жених, желающий взять невесту из знатного рода, должен отгадать Загадку, которую задает ему сам глава семьи. Разумеется, Его Превосходительство говорил стихами. Вот они:

Кто та, чья кожа белоснежней облаков,
Чье тело черный и глухой облек покров?
В душе ее сокрыты твердь небес,
Земля и море, и зеленый лес,
Живут там Справедливость, Долг и Честь
И прочие все чувства — их не счесть...
Лишь избранный, кто глубь наук постиг,
Рыскнуть сумеет эту душу вмиг.

Выпив вина, Его Превосходительство подкрутил усы и улыбнулся:

— При ваших, дорогой Лауреат, Талантах такая Загадка — сущий пустяк. Вы отгадаете ее, прежде чем допьете чашу. Кому-кому, а вам трехдневный срок ни к чему.

(По правилам жениху полагалось за три дня отгадать Загадку. Если же ему это не удавалось, он не имел больше права глядеть на Брачную Доску невесты.)

Нят-Лауреат напряг свой ум и тотчас нашел Разгадку. Вообразите, как был он доволен собою и горд. Но справедливости ради отмечу: вел он себя осмотрительно и скромно. Он попросил у Его Превосходительства лист чистой бумаги, записал Загадку и после Пира сразу откланялся.

На обратном пути Нят без конца сетовал: дорога, видите ли, казалась ему слишком долгой. Конь его был весь в мыле, а Няту чудилось, будто он стоит на месте. Счастливый жених возводил глаза к небу, покручивал усы и блаженно улыбался. Ему не терпелось поскорее вернуться домой и поведать родителям о своих несомненных успехах.

Наконец Нят добрался до дома и подробнейшим образом рассказал обо всем Папе-Мыши и Мышихе-Маме. Выслушав его, Папа-Мышь торопливо спросил:

— А ты, сынок, нашел ли Разгадку?

— Ха-ха, Его Превосходительство еще не успел договорить до конца, как мне все стало яснее ясного!

— Ну-ну... И что же это такое?

— Книга, батюшка!

— О небо! — возликовал Папа-Мышь. — Ну как тебя не похвалить! Одно слово: Лауреат!

Весь следующий день Папа-Мышь с Молодым Нятом убили на то, чтобы ровно обрезать, сшить поплотнее и заключить в пе-

реплет из черного лакированного дерева несколько листов плотной белой бумаги. На первой странице «Книги-Ответа» в самых витиеватых выражениях (почерк, само собою, изысканнейший, чернила яркие, переливчатые) была начертана Разгадка.

Ответ Лауреата настолько превосходил жалкие потуги всех предыдущих женихов, что Его Превосходительство Мускусная Крыса наверняка не сможет устоять.

Так оно и случилось. Управитель Большого Поля был восхищен и очарован Талантом Няты-Лауреата. Ведь с того дня, как вывешена была Брачная Доска Барышни Мускусной Крысочки, Его Превосходительство многим юношам задавал свои Загадки, но ни разу так и не смог получить ответа, хотя бы приближающегося к Истине. Женихи несли обычно ужасную околесицу, а иные, услышав Загадку, и вовсе не показывались больше ему на глаза. То ли дело Молодой Няты! Он не только менее чем за сутки нашел Разгадку, но еще и умудрился облечь свой Ответ в форму элегантного свадебного подарка. Да, такому жениху, как Няты-Лауреат, нет цены!..

Сердце Барышни Мускусной Крысочки ликовало, она даже разок-другой прищелкнула языком, читая послание Жениха. Скажу по секрету, она перечитывала его многократно. Правда, она сетовала, что, мол, семья жениха не так уж знатна и богата, но ведь нам-то с вами понятно: столь высокородная, безупречная и очаровательная девица (таково было мнение самой невесты) не может вдруг, ни с того ни с сего дать свое согласие.

Ну а Молодой Няты был совершенно счастлив. Впрочем, не осознай он сам своего счастья, Папа-Мышь и Мышиха-Мама, не говоря уж о сновавших вокруг обжорах и блюдолизах, все одно убедили бы его, что он абсолютный счастливец. Няты-Лауреат видел уже в мечтах свою Свадьбу (разумеется, самую необыкновенную Свадьбу на свете):

...Свадебная процессия, столь же торжественная и великолепная, как недавнее Триумфальное Шествие, торжественно движется от серебристого берега реки вглубь зеленеющих нив.

Все исполнено пышности и блеска. Еще бы: сам прославленный Няты-Лауреат сочетается браком с Барышней Мускусной Крысочкой, дочерью Его Превосходительства Управителя Большого Поля!

Плывут сверкающие глазурью красные глиняные кувшины с напитками, драгоценные подносы с фаршированными свиными головами, бетелем, засахаренными фруктами и прочими изысканными яствами. Все приготовлено так искусно и источает

«столь сладостный дух, что высокородные гости с трудом сохраняют спокойствие.

Изящный большой зонт Лаунг осеняет своей тенью благородную невесту, разодетую и убранную с подобающей роскошью. Несравненная красота ее сегодня просто убийственна. Из-за драгоценного веера кокетливо поблескивают ее прелестные глазки.

Сам Жених едет впереди на Белом коне. Величавый и неотразимо прекрасный, он нет-нет улыбнется и слегка поклонится ликующим землякам. Стрекозиные крылья на его Лауреатской шапочке мерно раскачиваются и сверкают на солнце.

А кругом — о небо! — кишмя кишит народ. Мыши — и стар и млад — сбежались со всех Полей полюбоваться на Свадьбу. Чернь пялит глаза на новобрачных, завидуя их знатности и совершенствам.

— Чудесная пара! — кричат мыши.

— Какова невеста!..

— Нет, каков жених!.. .

— Слава! Слава!..

Восторженная хвала заглушает гром барабанов...

Но тут в безоблачные грезы Нята черной молнией вторгается ужасная мысль: «А ежели Дранный Кот снова, как в день Триумфального Шествия, нарушит свое обещание?! Правда, ему поднесут жирненькую птичку и несколько большущих рыбин, но разве узнаешь заранее, что может прийти в голову Его Высочеству»!

Итак, сердце Молодого Нята наполняла и радость, и вместе с нею тревога...

Смотрины и Сватовство прошли благополучно, и Папа-Мышь думал про себя: «Вот бы еще Свадьбу сыграть — тогда всем страхам конец». Иными словами, позорная, мрачная тайна Бесхвостия будет навеки предана забвению.

VI

Увы, так уж устроен мир, что с радостями переплетаются печали и опасения, а причин для этого всегда более чем достаточно!

Весенние ясные дни — не успели мы и оглянуться — миновали. Яркие краски поблекли, и земля подернулась печальной дымкой. Все явственней ощущается близость холодной и хмурой зимы, хотя сама она и сокрыта еще за таинственной завесой грядущего...

Вот так же внушает нам трепет и мысль о неясных, но неизбежных бедах, которые сулят еще коварство и злоба Его Высочества Драного Кота.

Хочешь не хочешь, а пришлось Папе-Мыши и Мышихе-Маме отправиться на поклон в Замок. Простершись в пыли, они сообщили Драному Коту о предстоящей Свадьбе своего сына и обещали обильные и вкусные дары, прося высочайшего разрешения. Кот согласился принять дары.

Но вовсе не там таилась угроза семейному счастью Нята. К событиям, которые стали в нашей истории роковыми, Его Высочество Драный Кот не имел ни малейшего отношения.

В один, как говорится, прекрасный день к Управителю Большого Поля явился какой-то незнакомец и попросил принять его по крайне важному и неотложному делу.

Его Превосходительство Мускусная Крыса пригласил незнакомца в свои покои.

— Честь имею, Ваше Превосходительство... — почтительно поклонился гость. — Дошел до меня слух, будто вы подыскали себе сомнительного зятя.

— Гм-м, точнее, восхитительного зятя. Ведь это известный Нят-Лауреат.

— Известен-то он известен, да вот только бесхвост.

— Как? Не может быть? — выпучил глаза Управитель.

— Может, Ваше Превосходительство, может! Вот выдадите свое дитя замуж и убедитесь сами — от родни-то секретов нет...

— Позволь-позволь, ты имешь в виду именно Нята-Лауреата?

— А кого же еще, Ваше Превосходительство! Конечно же, его.

— Та-ак, здесь дело государственной важности! Ты обязан открыть Нам все без утайки.

— А нам скрывать нечего, у нас-то все на месте. Знаю, всякое бывает, может, и Ваше Превосходительство наперед знало, что Лауреат без Хвоста? Тогда я умолкаю и — будьте спокойны — никогда об этом не пикну. Но если Свадьба уже на носу, а вам ничего не известно, я говорю смело: у молодого Нята нет Хвоста! Говорю и буду говорить, чтобы впредь никому неповадно было обманывать начальство!

— О небо! Но ведь подобный изъян не бывает врожденным. Что же произошло?

— Вот вам, Ваше Превосходительство, полная, как говорится, картина: в прошлом году, в день Триумфального Шествия, я подрядился нести Паланкин — дело это почетное и прибыльное.

Но когда — совершенно неожиданно — появились Его Высочество Драный Кот, весь народ, сами понимаете, разбежался. А чем мы, носильщики, хуже прочих? Ведь и у нас есть душа, которая ушла в пятки. И мы задали деру, а Паланкин упал и перевернулся...

— Да ведь это, милейший, — нетерпеливо перебил его Управитель Большого Поля, — и так всем известно.

— Известно-то всем, да не все! Я буду краток: вернулись мы назад, глядь — а Лауреатский Хвост угодил между дверцами! Хвост защемило, дверцы заклинило — ни туда, ни сюда! Семь потов с нас сошло, покуда его вытащили. Но это еще полбеды! Хвост оказывается, повредился. Няту даже присесть было не вмоготу, потому-то и улегся он в Паланкине...

— Это, — снова прервал его Управитель, — тоже известно! Что как не лежанье исцеляет и даже предотвращает недуги?! Мы сами часто подолгу возлежим, оберегаясь от хвори. Ты дело говори, де-ло! Давай-ка поближе к Хвосту!

— Да я и так, можно сказать, только за него и держусь. Ах, Ваше Превосходительство, лежа не от всякой болезни спасешься. Уж наш ли Лауреат не отлеживался, не принимал лекарства — и внутрь и снаружи, а все впустую. Рана, прошу прощения, загноилась, хоть помирай. Ну и, как ни дорог нам Хвост, а жизнь-то еще дороже! Вот ему и оттяпали Хвост по самый корень.

— О ужас! — воскликнул Его Превосходительство. — Если все это правда, ты, как говорится, спас Нас от гибели. В таком случае можешь рассчитывать на награду. А что, если твоими устами глаголет не Истина, а Ложь?!

Незнакомец преданно улыбнулся:

— Видит небо, я пришел к вам не потому, что желаю напасть Молодому Няту, и даже — щедрость ваша общеизвестна — не ради награды. Душа, она сама рвется к правде. А проверить меня нетрудно. Хорошо бы, скажем, Ваше Превосходительство пригласили Лауреата в гости и предложили ему прогуляться по саду. На земле, а не в седле и без пажей, которые заслоняют его от Посторонних Глаз, он предстанет таким, каков есть, и вы сами увидите, на месте его Хвост или нет.

Управитель пришел в смятение и растерянно произнес:

— А ну как он откажется?

— Пусть его, а вы стойте на своем, — отвечал гость, — повторите приглашение. Хочешь жениться, изволь-ка уважать будущего тестя!..

Гость давно уже выложил свою новость и удалился, а Его

Превосходительство не мог никак очнуться от потрясения и не знал, что ему делать дальше. Конечно, о том, чтобы выдать дочь за бесхвостого, не могло быть и речи. Да и благородная Барышня Мускусная Крысочка сама не пошла бы замуж за жениха, у которого — страшно подумать — нет Хвоста. Ведь во все времена не было большего срама и горшей муки, нежели Бесхвостье. Само собою, и Управитель Большого Поля с дочерью думали так же. Но чем больше они думали, тем сильнее скорбели и огорчались, ибо, с тех пор как на воротах их Дворца вывесили Брачную Доску, впервые попался жених столь ясного ума и блестящих достоинств, как Нят-Лауреат.

Его Превосходительство Мускусная Крыса и Барышня Мускусная Крысочка думали и гадали, как им теперь быть. Долго думали, а гадали еще дольше и наконец решили:

— Надо устроить ему испытание. Будь что будет, Истина — прежде всего! И потом, если Нят-Лауреат на самом деле с Хвостом, он ни о чем не догадается.

Сказано-сделано. Тотчас Его Превосходительство отправил с гонцом письмо. Там было сказано: «Завтра, четырнадцатого дня, с утра пораньше, Управитель Большого Поля дает Торжественный Первый Завтрак и просит жениха пожаловать ПЕШКОМ — согласно древнему обычаю Мускусных Крыс».

Вот он передо мною, этот важнейший документ. И я убеждаюсь снова и снова, здесь ни к чему не придерешься: ни к форме — стиль приглашения безупречен и личная печать Его Превосходительства на месте, — ни к содержанию. Сами судите, Жених — без малого муж и почти член семьи, а значит, и семейные обычаи для него — закон...

Итак, приглашение было отправлено, оставалось только одно — ждать.

Ах, отчего слог мой скуп и убог?! Почему не дано мне во всех оттенках и красках живописать нескончаемую тяжкую ночь ожидания?! Увы, я могу лишь пересказать факты: Управитель с Барышней Мускусной Крысочкой до утра не сомкнули глаз, и первым, кого увидели они на рассвете, был Нят... Но только не наш герой, Лауреат, а его дальний родственник, которого Папа-Мышь упросил сходить во дворец.

Гость поклонился и сказал:

— Ваше Превосходительство, наш прославленный Лауреат замог и почтительно просит извинения за то, что не сможет быть на Торжественном Первом Завтраке.

Управитель Большого Поля снова был потрясен. Тяжко вздохнув, он сказал дочери:

— Жаль, дитя мое, но, скорее всего, незнакомец говорил правду.

Однако самые важные дела никогда не решаются смаху. И они подумали: «Нет, мы должны испытать его снова!»

Теперь уж Его Превосходительство послал к Жениху гонца с приглашением на поминки по самому близкому родственнику. И на этот раз способ передвижения был особо оговорен: «ПЕШКОМ». Вдобавок Его Превосходительство из любви и уважения к будущему зятю обещал прислать за ним благородных крыс из своей свиты. А благородным крысам, само собою, приказано было смотреть во все глаза, есть ли у Нята-Лауреата хвост.

О горе! Вообразите, какие муки выпали на долю бедного Нята! Он терзался, не зная, какой ему сделать выбор: если пойти — всему конец, не ходить — тоже конец! Ведь ежели не ехать верхом, а идти пешком, все сразу увидят: сзади — там, где у каждой мыши вьется, волнуется и трепещет при ходьбе Хвост, — у него, Нята, ничего нет. А путь неблизкий — до самой Реки, — так что от благородных крыс ничего не скроешь. И кто только выдумал эти аристократические церемонии?

После первого приглашения Папа-Мышь еще сомневался в том, что их тайна раскрыта; Нят же вначале вовсе не почуял подвоха. Но на этот раз им обоим стали ясны намеренья Его Превосходительства: Жениха желают подвергнуть испытанию. Не иначе как злонамеренные слухи достигли ушей Управителя Большого Поля и у него зародились сомненья.

Ну да чему быть — того не миновать! Как говорится, шила в мешке не утаишь; рано ли, поздно ли, все равно оно вылезет наружу. Понятное дело, Папа-Мышь и Молодой Нят мечтали сохранить тайну хотя бы до Свадьбы. Ну а когда Нят-Лауреат и Барышня Muskusная Крысочка стали бы мужем и женой, тут уж никакие «правдолюбцы» не посмели б и рта раскрыть. А Его Превосходительству и Барышне Muskusной Крысочке волей-неволей пришлось бы смириться. Они небось и сами приложили бы старания, чтоб сохранить навеки тайну Бесхвостия. А теперь попробуйте догадайтесь, чем все это кончится!

Увы, бедному Жениху не осталось ничего другого, как отослать гонца к Его Превосходительству со следующими словами:

— Наш дорогой Лауреат все еще недомогает и не выходит из дому. Поэтому он почтительно просит прощения...

Конечно, двойного испытания для Управителя и его дочери было вполне достаточно. Они не сомневались уже в изъяне Нята-Лауреата. Да и формальный повод для расторжения По-

молвки был налицо. Его Превосходительство тотчас письменно известил бывшего жениха и его родителей, что Барышня Мускусная Крысочка отказывается от брака с Нятом-Лауреатом.

Тут уж ничего не поделаешь! Папа-Мышь и Мышиха-Мама были вне себя от негодования и злости. А Нят-Лауреат с утра до вечера выпускал скорбные вздохи, возводил очи к небу и читал вслух печальные вирши. Вся семья, ослепленная горем и гневом, пыталась постичь истинную причину несчастья. Во всем обвиняли они Управителя Большого Поля и его дочь, не допуская и мысли о том, что причиной всему — их собственные уловки и ухищрения.

Тем временем Нят-Лауреат перечитал все стихи, которые знал наизусть и, не найдя иного утешения для души, пришел в ярость. Денно и ночью раздувал он в своем сердце пламень обиды и гнева, лелея мысль об отмщенье.

Любопытно, спросите вы, как это Молодой Нят собирался мстить самому Управителю Большого Поля? Юнец, едва покинувший школьную скамью, слабосильный (да к тому же еще и бесхвостый), жаждал кровавой мести! И кому?! Его Превосходительству, лицу знатному и богатому, у которого под началом столько воинов и слуг, такие знакомства и связи! У Нята же нет ровным счетом ничего, кроме ума и высоких познаний. Но неужели он должен смириться и молча проглотить горчайшую обиду! Он думал три дня и три ночи и... ничего не придумал. От страшного напряжения мысли он стал худеть и чахнуть, у него даже начали выпадать усы.

Вдруг на рассвете четвертого дня Нят, лежавший пластом в спальне, вскочил и воскликнул:

— Наконец-то!.. Нашел!..

Вот что придумал Нят: он сложит стихи про Управителя с дочерью! Неужели у него, Лауреата, не хватит Таланта написать убийственную сатиру, испепеляющий памфлет, который Прогремит На Весь Мир! Увы, как видите, Нят ступил на путь слабых духом — тех, кто привык отсиживаться в глубоких норках да сочинять ядовитые пасквили на котов. Каждый знаток поэзии вам подтвердит: в этом жанре Мышиная Муза особенно плодотворна.

Нят прямо пылал вдохновением. Кончено! Теперь весь мир узнает правду об этой вертихвостке Мускусной Крысочке! Разящие звонкие строки так и лились из-под Лауреатского Пера. Позвольте же мне украсить страницы нашей истории этим бессмертным шедевром:

Дочь Управителя, Крыса-девица,
Замуж давно уже выйти стремится,
Замуж!

Папа ее родовит и богат,
К ней жепихов зазывает подряд,
Женихов!

Дал он Приданое Крысе огромное,
Список его прилагаю подробный я,
Список:

Двадцать отрезов парчи златотканой,
Кости слоновой ларец филигранный,
Платья из шелка, уборы из кружев
И ожерелье из ценных жемчужин,
Кроме того, жениху на потребу
Папа достанет две звездочки с неба.
Три с четырьмя лошадьми колесницы
Возят Приданое Крысы-девицы,
Возят!

Как же с Приданным таким и Роднею
Крыса не стала ничьею женою?
Не стала!

Все женихи, лишь взглянув на невесту,
Прочь поспешали от страшного места,
Прочь!

Самые пылкие Брачные планы
В лед обращали невесты изъяны,
Изъяны:

Жирное рыло в угрях и морщинах,
«Носик» длиною в четыре аршина,
Зубы гнилые, глаза пороссячи,
Ноги ужасно кривые в придачу;
Нрав ее прелестям этим под стать:
Чванливее, злей и глупей не сыскать,
Да и ленива! Уже тут, чем жениться,
Лучше в петле женихом удавиться!

В петле!

Дочки достойн отец-Управитель,
Глухих законов безмозглый ревнитель,
Отец!

Как все в роду их, обжора и пьяница,
Жалкими крохами разума чванится,
Пьяница!

Кто же с такими захочет родниться?
Видно, засохнуть уж Крысе в девицах,
Засохнуть!

Нят сам положил свою сатиру на музыку, создав Популярную песню. И не было мыши, которая не выучила бы ее наизусть — от первой до последней строчки. Песню распевали повсюду, в одиночку и хором — на разные голоса. Но особую силу и стройность обретали голоса певцов поблизости от Дворца Его Превосходительства Мускусной Крысы. Оно и понятно, вы ведь

и сами, паверпо, замечали, что музыканты нередко стараются ради тех, кому их музыка не доставляет ни малейшего удовольствия. Каково же было Управителю с Барышней слышать эту Популярную песню, доносившуюся даже в самые отдаленные закоулки Дворца?!..

Убийственная сатира Нята явилась грозным предостережением всем, кто по наивности или неведению мог попросить руки Muskusной Крысочки. Никто не являлся больше к ней свататься, и радужные надежды высокородной невесты развеялись в прах.

Конечно, Уродство в сравнении с Красотою имеет свои преимущества: Красота со временем вянет, а Уродство, напротив, расцветает пышнее и ярче. И наружность Барышни, неприглядная прежде, стала прямо-таки отталкивающей. Но, увы, кто оценит подобное совершенство?!

Однажды в непогоду ветер сорвал Брачную Доску и она упала в грязь. Его Превосходительство не стал затруднять себя и поднимать ее. Кому охота ее читать, а ежели и прочтут — кто теперь этому поверит? Но сама Барышня по-прежнему считала себя первой красавицей и презирала всех и вся.

А ведь чванливые гордецы и спесивцы давно уж у всех стоят поперек горла.

VII

Но довольно отступлений и общих слов, пора нам вернуться к нашему герою. Увы, повесть наша по-прежнему будет печальной. Ибо зима нагрянет со дня на день, и кто знает, удастся ли нам дожждаться новой весны?

Волею провиденья на сцену снова вступает Его Высочество Дранный Кот. Не сосчитать, сколько источников проштудировал я, надеясь пролить свет на обстоятельства второго его пришествия! Но, к сожалению, и сегодня еще я не могу достоверно сказать вам, какая стояла тогда погода — ясная или дождливая. Знаю одно: Дранный Кот до этого долго не выходил из своего Замка. А когда сидишь целыми днями дома, волей-неволей приходят на ум дурные намеренья.

Думаю, нам уже никогда не удастся установить, отчего именно этот день и час выбрал Его Высочество Дранный Кот для своего выхода в свет и почему, едва выйдя в свет, он устремил стопы прямехонько к Дому Нятов. Правда, глядя на то, как распахивалась и с чавканьем захлопывалась его ненасытная пасть,

на его масляные глаза и красные губы, можно было предположить, что Его Высочеству вспоминалась жирненькая птичка и вкусные рыбины, поднесенные Папой-Мышью в день Лауреатской Помолвки. Дранный Кот всегда был склонен принимать желаемое за действительное — особенно если дело касалось Еды, и требовал этого желаемого немедленно. А тут, как на грех, услышал он Популярную песню про Невесту с большим Прида-ным, про Жениха и всякое такое... «А кому, — спросил себя Его Высочество, — могут дать за Невестой такое Приданое?» И, подумав, сам себе ответил: «Только Лауреату!» Дальнейший ход мыслей Драного Кота был прост: «Ага, значит, Свадьба этого мышипого Лауреата на носу! А не его ли родитель сулил Нам свадебные дары? Где они? Почему их у Нас еще нет? Ну да Мы все равно не упустим того, что положено по Закону. Если эти ублюдки не приносят даров, Мы соизволим сами их взять...»

Итак, Его Высочество Дранный Кот степенно (но не слишком медленно) шествовал к Дому Нятов.

Вскоре он был уже на месте. Для начала, чтобы как подобает привести всех в трепет, Его Высочество троекратно издал свой Фамильный Боевой Клич: «Мя-а-у! Мя-а-у! Мя-а-у!» И затем перешел к речам:

— Эй, есть ли в этой дыре хоть одно мур-рло?

Дома была только Мышиха-Мама. Опасливо выглянув за дверь, она убедилась, что там стоит Дранный Кот, и завела нараспев:

— Пусть будет... э-э... все как не хочется... э-э... хочется... перехочется...

Ах, после крушения Грандиозных Брачных Планов любимого Сына-Лауреата здоровье Мышихи-Мамы пошатнулось и память ослабла! Куда подевалась былая смекалка и острота ума! Она не могла даже вспомнить общепринятого приветствия, а Его Высочество этого не любил... очень не любил...

Да, неудачно начался их разговор. Мышиха-Мама спряталась в нору, а Его Высочество завопил снова:

— Ну что, женили уже своего сыпа-кретина?!

— Нет еще, не до конца, Ваше Высочество.

— Как это «не до конца»?!

— Ах, Ваше Высочество, Его Превосходительство не...

— Мур-ра! — возмутился Кот. — По-твоему, Наше — только «высочество», а «превосходительство» — чье-то там «его»?! Все Наше! Запомни — все! И «высочество» и «превосходительство», поэтому Мы и едим всегда за двоих. Ясно?

— Ясно,— пропищала Мышиха-Мама.— Но, Ваше Высочество-Превосходительство, Барышня расхотела идти замуж за...

— Мур-ра! — опять возмутился Кот.— Все барышни спят и видят, как бы им поскорей выйти замуж.

— Но она прислала отказ...

— Отказ? А дары?.. Значит, вы отказываетесь? Ты что, вздумала в кошки-мышки с Нами играть?!

И могучим ударом рыцарской лапы он прошиб дверь и хватил Мышиху-Маму по спине. Несчастливая рухнула вниз, в глубину норы. А Его Высочество завопил:

— Эй, мур-рло, выходи! Мы желаем продолжить беседу!

Но никто не вышел.

Придя в неистовство, Его Высочество наскреб вокруг норы высокую кучу земли и, облегчив душу, неторопливо удалился...

Не всем дано предвидеть последствия собственных поступков... Скажем, Его Высочество Драный Кот: вроде бы шел поговорить о делах, и вдруг этаким поворот! Знай он все наперед, мог бы хоть порадоваться своему злодейству. А то ведь... Впрочем, вы еще ничего не знаете, потому что рассказ наш остановился на том, что Драный Кот рыцарской лапой прошиб дверь и хватил Мышиху-Маму по спине, несчастная рухнула в глубь норы, а Кот удалился... Так вот, когда он удалился на достаточное расстояние, сбежались соседи и родственники и нашли Мышиху-Маму при смерти. Они пытались привести ее в чувство, гладили, трясли, окликали по имени. Но, увы, сами понимаете, годы... Да и рана была уж очень тяжелая. И Мышиха-Мама, не приходя в сознание и не промолвив ни слова, тихо испустила дух.

VIII

То был воистину день скорби. И с того дня Нят-Лауреат еще сильнее возненавидел Его Превосходительство Управителя Большого Поля и Барышню Muskusную Крысочку, ибо уверовал, будто именно их коварство было в конечном счете причиной смерти его любимой матери и всех прочих несчастий.

Пуще прежнего воспылал он жаждой мести и отправился искать учителя ратного дела — ведь ничем, кроме вражеской крови, не мог бы он погасить всепожирающее пламя своего гнева.

Да вот беда: Настоящие Знатоки Воинского Искусства нынче совсем перевелись. Нят прямо с ног сбился, но так и не нашел ни одного. А ему не терпелось расправиться с врагом. Прав-

да, за время своих поисков он сочинил еще не одну убийственную сатиру, и они вконец уничтожили Управителя с дочерью в глазах Мышиного Света. Одно плохо: какое в песню ни вставь крепкое слово, все равно никого им не убьешь, даже не ранишь, хоть пой до хрипоты; то ли дело — могучий удар, нанесенный искусной рукой. И потому страдания Нята-Лауреата усугублялись день ото дня.

Однако жизнь наша так уж устроена, что даже самые заурядные мыши, понуждаемые стечением обстоятельств, напрягают ум в поисках выхода и иной раз находят его. Что же тогда говорить о Няте-Лауреате?! Ведь если он напряжет как следует ум... Правда, суеславие Триумфа и Грандиозных Брачных Планов все-таки ударило ему в голову. Но, надеюсь, беда эта поправима и мы увидим воочию, как дух его, опутанный тщеславием и мелкими кознями, вновь воспаряет ввысь! Не случайно мы вспоминаем сейчас Молодого Нята таким, каков был он в лучшую свою пору — в пору ученья: усердным, благонравным и скромным! Кому же, как не ему, должна улыбнуться судьба?! И не зря он уповает на лучшее, алчет и ищет Неслыханно Великих Дел.

Не так ли тот, кто зябнет в серую зимнюю стужу, ждет не дождется весеннего солнца?..

И вот наконец дошел до Молодого Нята слух, будто на другом берегу Реки живет Благородный Конг — Водяная Крыса, замысливший Неслыханно Великое Дело. У Благородного Конга была слава могучего воина и выдающегося знатока ратного дела. Молва утверждала, что он давно уж подыскивает себе верных друзей и соратников.

Не передать, не описать словами, как обрадовался Нят-Лауреат. Он решил тотчас отправиться к Благородному Конгу.

Конечно, не легко и не просто было Няту уйти из родного Дома, Папа-Мышь, рыдая, удерживал сына.

— Кто, — вопрошал он, — оградит и утешит мою одинокую старость.

Но Нят-Лауреат стоял на своем:

— Нет, я не могу, не имею права упустить этот случай. Неужели вы, батюшка, хотите, чтобы я позабыл свой Долг, и не желаете видеть сына увенчанным Настоящей славой?.. Благословите меня на дорогу.

Он утер украдкой набежавшие слезы и выскочил за дверь.

Выглядел он молодцом. Да вы поглядите сами: вон он идет, расправив плечи, конец повязанного вокруг головы платка падает на плечо, талия схвачена широким кушаком, штаны — как

у бывалого ходока — закатаны до колен, шаг упругий, взгляд решительный и смелый...

Еще засветло переправился он на другой берег Реки и без особого труда отыскал Дом Благородного Конга. Конечно, молва опередила Нята, и потому Конг — Водяная Крыса оказал ему Всевозможные Знаки Внимания и пригласил остаться и погостить подольше. Оно и понятно: хозяину не терпелось познакомиться с ним поближе, узнать, каков он на самом деле, наш прославленный Лауреат. Молодой Нят поведал Конгу историю злоключений и несчастий, выпавших на его долю да и на долю их семьи. Под конец он не совладал с собой, из глаз его полились слезы и он сказал, стиснув зубы:

— О почтеннейший Конг, нам теперь с Его проклятым превосходительством не жить под одним небом, не ходить по одной земле. И если отправить его на тот свет можно лишь ценой собственной жизни, я готов умереть!

Конг — Водяная Крыса улыбнулся и похлопал Нята по плечу:

— Прошу тебя, друг мой, успокойся! Вижу, ты воистину мудр и отважен. Но подумай сам, какое применение ты нашел своим Знаниям и Доблестям?! И, слышу я, ты вознамерился снова употребить их во зло.

— Как же, о почтеннейший Конг, должен я поступить? Где он, истинный путь? — спросил изумленный Нят.

— Учиться, сдавать экзамены — это дело хорошее, но ты поддался льстивым неразумным уговорам и устроил себе самому Триумфальное Шествие — вот тебе первая опасная глупость. Ты не успел еще совершить хоть какое-нибудь достойное дело, а уже надумал жениться. Вот тебе и вторая глупость! Выходит, по-твоему, каждый, у кого пробились усы, должен немедля вступать в брак? Уж будто нельзя и дня прожить холостым! А за всей этой суетой ты позабыл о главном, — о том, что надобно ежедневно, ежечасно совершенствовать свою Добродетель и возвышать свой Дух. Все помыслы истинного мужа должны стремиться к Добру. Ты вот враждуешь не на жизнь, а на смерть с Управителем Большого Поля и Барышней Мускусной Крысочкой, а сам ее еще и в глаза не видел. Достойно ли это истинного Рыцаря? Да пойми ты: ни Управитель, ни его спесивая дочь не были главными виновниками твоих утрат и несчастий. Если уж ты наделен способностью мыслить, прошу тебя, постарайся мыслить здраво. Смотри в корень вещей. Попробуй спросить себя: «Из-за чего я утратил свой Хвост? Почему погибла моя Мать? Отчего наш край разорен и истерзан, а сами мы из-

немогаем под бременем бедствий и нищеты?..» Не знаешь? Тогда я тебе отвечу: «Причиной всему Драный Кот!» Мы должны свергнуть ненавистное иго. Стоит нам расправиться с Драным Котом, и каждый из нас обретет свое счастье, и повсюду — из края в край — воцарится Мир и Покой. Иного пути нет! Вот почему я замыслил свергнуть Кота. Но знай: Конг — Водяная Крыса не из тех, кто предается мечтаниям, сидя в глубокой норе. Я все изучил, обдумал и взвесил. Вот погляди-ка — готовый план осады и приступа Кошачьего Замка: здесь будет подкоп, тут мы зложим фугас, отсюда начнется штурм! Я собрал уже немалое войско, но когда замышляешь Неслыханно Великое Дело, чем больше солдат, тем лучше. Ну а чем больше солдат, тем больше требуется Полководцев.

— Полководцев? — вскричал распаленный этой возвышенной речью Нят-Лауреат. — Полководцев... Вот это мне любо. Позвольте и мне примкнуть к вам, возьмите меня в Полководцы.

— Видишь, друг мой, — ответил ему Конг, — вот ты и прозрел...

Тотчас Благородный Конг — Водяная Крыса опоясал свои чресла мечом и созвал Высший Совет Мышиных Военачальников. Когда все пришли и расселись — по чинам и званиям, — Нят считал их, пересчитывал и никак не мог сосчитать. «Да-а, — подумал он про себя, — сколько ж тогда у Конга солдат? Видимо-невидимо...» Благородный Конг представил Нята своим Полководцам, и они немедленно присвоили ему Высокое Воинское Звание.

По окончании совета Благородный Конг вместе с Прославленным Нятом и другими Полководцами принял Парад.

Кажется уж, кого-кого, а нас с вами парадами не удивишь. Но это был всем парадам Парад! Впрочем, я не привык быть голословным. Прошу вас — вот она Непобедимая Мышиная Рать!

Впереди идет Мышь — Главный Знаменосец. Над нею положится Древний Мышиный Стяг, по правую и левую руку ее шагают две мыши с саблями наголо.

За ними идут Герои, успевшие Прогреметь На Весь Мир, и высоко поднимают Биены, а на них золотом горят слова: «Смерть Драному Коту!»

Далее следует Главный Барабан, на нем знаменитая своим виртуозным искусством Мышь — Главный Барабанщик выбивает Самую Четкую и Воинственную Барабанную Дробь На Свете.

Потом несут Просто Большой Барабан, неповторимое мажорное звучание которого вселяет мужество в сердца бойцов.

За Барабанами идут Усачи-Трубачи, извлекающие из своих фанфар ласкающий слух и ужасающий душу Самый Боевой Рев.

А там уже, звонко чеканя шаг, стройными прямоугольниками движутся полки. Впереди — полковники со сверкающими на солнце обпаженными клинками, за ними, ошетинясь усами и пиками, — доблестные солдаты. Молодец к молодцу, храбрец к храбрецу! Стоит только взглянуть на них, и сразу становится ясно: дни Драного Кота сочтены! Ну да он скоро убедится в этом на собственной шкуре...

После Парада Конг — Водяная Крыса устроил Пир На Весь Мир в честь прибытия Нята и Несомненной Грядущей Победы, где Нят очаровал всех своих Остроумием и Аппетитом.

Итак, у Нята — Полководца и Лауреата есть отныне Идея, которой он поклялся служить, и Высокая Цель, наполнившая смыслом его жизнь.

Нята теперь не узнать! Как он весел и бодр, как спорится в руках у него любое дело! И не какие-то там простые дела, а важные и неотложные, ведь он... Впрочем, это Военная Тайна! Да, Нят-Лауреат весел и бодр, хотя у него по-прежнему нет ни Хвоста, ни жены. Ему, поверьте, сейчас не до мелочей. Ведь Главное — ежедневно, ежечасно совершенствовать свою Добродетель, закалять свою Доблесть и возвышать свой Дух. В этом, я думаю, все мы единодушны?..

Вот и снова пришла весна. Она наполнила все Поля барабанным громом, трелями колокольчиков и веселыми песнями. Деревья оделись свежей листвой, на ветках раскрылись яркие цветы, запели птицы. И снова даже у самых невозмутимых особ сердца забились сильнее обычного, растревоженные сладостными надеждами и мечтами.

Но для нашего с вами героя весна началась еще раньше — в ту пору, когда он познакомился с Конгом — Водяной Крысой и примкнул к Неслыханно Великому Делу.

Итак, дорогие друзья, мрачные зимние тучи уползают прочь, небо, день ото дня все светлее и чище. И перед Молодым Нятом открывается широкая, уходящая вдаль дорога, озаренная золотыми лучами весеннего солнца.

НРАВОУЧИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ТРЕХ ПОБРАТИМОВ

I

На свете есть немало знаменитых поговорок, и среди них такая: «Живут, как кошка с собакой». Этот правдивый рассказ (у меня, дорогие читатели, их еще немало в запасе) доказывает бесспорно, что поговорка «Живут, как кошка с собакой» давно не соответствует Истине.

В одном Доме (это только так говорится — «Дом», на самом же деле там был еще огромный Двор и Сад) жил да был Пес по имени Вен. А Вен, как вы знаете, значит «Пятнистый». Ну а раз вы знаете это, вам, конечно, понятно, почему его так называли. Нрав у Вена был просто несносный: стоило посадить его на Цепь, как он тут же принимался ворчать и метаться, рычать и ругаться самыми последними словами. И ошейник он рвал, и Цепь грыз, и скакал, и прыгал, и проделывал всякие штуки — лишь бы сорваться с привязи. Если же его не посадить на Цепь, он немедленно отправлялся Куда Глаза Глядят, чтобы сполна насладиться своею свободой. Но вот жестокий Хозяин обрек Вена на горькую муку, иными словами — на Цепи его держали теперь и днем и ночью.

Само собою, Вен никак не мог примириться с этим. Он возмущался, пытался сорвать ошейник и перегрызть Цепь. Но Цепь была железная, грызи не грызи — все одно, только зубы разболятся.

Однако Вен не покорился. Видя, что силою здесь не возьмешь, он взялся за дело иначе. Он вставал потверже на все четыре лапы, задира к небу хвост и принимался лаять и завыв-

вать на все лады. И преуспел он в этом настолько, что люди, едва услышав его, затыкали скорее уши.

Однажды после двух или трех его выходов у Хозяина Дома ужасно разболелась голова. Он вышел во Двор и прикрикнул на Вена:

— Заткнись сейчас же! Не то угощу тебя Палкой!

— Др-р-рянной дур-р-рак! — зарычал Пес. — Р-р-разомкни р-ржавую цепь! Р-р-разомкни без пр-р-ромедленья! Р-р-р!.. Я не пр-р-ривык пр-р-ребывать на пр-р-ривязи! Это вр-р-едит здо-р-ровью! Гав-гав!..

— А я не желаю, чтоб ты шатался без дела, когда нужно сторожить Дом!

— Гав-гав!.. Р-р-р!.. Р-раз во дворе у меня нет друзей, я не намерен торчать один как пер-р-рст. Все р-равно буду рыскать кругом по деревне и выбирать себе друзей-пр-р-иятелей. Тр-р-ребую: пр-р-рочь пр-р-ривязь без пр-р-ромедленья.

Хозяин подумал-подумал и решил, что, может быть, Вен и прав. С тех пор каждое утро он отпускал его погулять. Но потом Хозяин опомнился: «Я кормлю этого Пса, чтобы он стерег мой Дом. А он с утра до обеда разгуливает по чужим дворам. Что, если вор узнает об этом и заберется в дом? Нет уж, пускай сидит дома и занимается делом. Он жаловался, будто ему одному скучно; придется найти для него приятеля. Тогда уж у него не будет причины жаловаться на судьбу!»

И вот в первый же базарный день Хозяин купил недорогого Пса и привел его домой. Звали его Ден, что, как известно, означает «Черный». На вид этот Ден казался ровесником Вену — он был одного с ним роста и сходного телосложения. Хозяин сказал Вену:

— Отныне у тебя будет дома дорогой друг-приятель. Если снова увижу тебя на улице, перебью лапы! Запомни!

Потом он обратился к обоим с напутственным словом:

— Я вас кормлю и пою, а вы за это обязаны стеречь мой Дом и мое Добро как зеницу ока. Глядите в оба, молодцы, различайте, где свой, а где чужой. Если кто-нибудь подойдет к Дому, лайте не зевайте, да погромче, чтобы я услышал. Понятно?

Псы кивнули головами, пошли и улеглись у Ворот: один справа, другой слева — точь-в-точь как два каменных льва у входа в общинный дом. При этом они то и дело косились друг на друга, поджидая удобного случая, чтобы затеять драку.

Трудно сказать, почему они с первого взгляда невзлюбили друг друга. Может быть, просто нрав у обоих был упрямый и вздорный.

Вен думал так: «Я здесь живу уже давно, а этот щенок только что явился неведомо откуда. По всем Собачьим Законам он должен чтить меня как Старшего брата. Пусть первый поклонится мне да расспросит почтительно, как здесь живут и что едят и пьют. А то разлегся с нахальным видом, будто ему на весь свет и даже на меня наплевать. Ладно, поглядим, как он будет вести себя дальше».

А Ден думал: «И отчего у этого Пятнистого Пса такой мерзкий вид? Личико маленькое, глазки противные — так и рыскают по сторонам. Наверно, подлый, как кошка. А важный-то какой?! Ведь меня привели ему в друзья-приятели, значит, нечего нос задирать!»

Так они и лежали по обе стороны Ворот, кипя от злости.

— У-у, мер-р-завец! — не выдержал Вен.

Ден, не желая остаться в долгу, отвечал:

— Пр-р-роклетье! Кто там бр-р-решет и тьякает против Нас?!

— Пр-резр-р-ренный! — возразил ему Вен. — Мы здесь первая пер-р-сона! А ты? Ты что за фр-р-рукт?!

И тут они бросились друг на друга, и началась Великая Битва. Кусая врага, каждый не забывал рычать и ругаться на чем свет стоит.

Хозяин, сидевший в Доме, услышал лай. «Ну вот, — решил он, — ко мне идут гости...» И поспешил к Воротам. Но обнаружил он там только двух дерущихся Псов и отсчитал каждому по десятку палок. Псы взвыли от боли и бросились наутек. Добежав до канавы, они легли на землю и притаились: один на правом берегу, другой — на левом. Когда же Хозяин с Палкою на плече скрылся в дверях, Ден осторожно подобрался к тому берегу, где лежал Вен, и вздохнул:

— Ох какие мы дураки! Сами ведь и напросились на побои да на увечья. А сговорись мы обо всем по-хорошему, до этого бы не дошло!

Вен кивнул в ответ:

— Да-а, жаль, мы не поладили сразу. Дураки дураками...

Так они впервые разговорились по душам. Выяснили, кто откуда родом и из какой происходит семьи. Начали вспоминать о том о сем и никак не могли наговориться.

Оказывается, были они не из тех, кто держится долго за Мамин Хвост. Оба немало повидали на своем веку, каждому пришлось и постранствовать, и горя хлебнуть. Не обошлось, конечно, и без Неслыханно Великих Дел. И решили они побрататься, чтобы один был Старшим братом, а другой — Младшим

и чтобы Младший Старшего почитал и во всем его слушался. Только здесь опять загвоздка вышла: никто не хотел быть Младшим. А оба — молодые, нравом горячие, да и, чего уж скрывать, на редкость упрямые. Однако и ссориться снова им не хотелось. Знают собаки: от ссоры до драки — недалеко. А чем это может кончиться, они уже убедились на Собственных шкурах.

Ден сказал:

— Надо тянуть жребий. Кому повезет, тот и будет Старшим.

Но Вен не согласился:

— Нет, жребий — это не то. Можно ли полагаться на случай в таком важном деле. Я знаю, что нам нужно.

— Что же?

— Мы должны помериться силами.

— Сразиться?!

— Да, иначе не определишь, кто главнее.

— Но сражаться — значит драться. А где драка, там без шума не обойтись. Опять прибежит свирепый Хозяин и начнет дубасить нас Палкой.

— А мы наперед уговоримся: бей и кусай, сколько хочешь, только, чур, не шуметь. Будем драться, но не ругаться. Хозяин тогда ничего и не узнает.

На том и порешили. Оба поклялись биться честно, благородно и без шума. Кинулись они друг на друга, и начался Решающий Поединок. Жаль, мы с вами его не видели: было там чем полюбоваться, было чему поучиться. Что ни укус — то рана, что ни удар — то шишка. Но не зря в Старинной песне о Собачьей Чести сказано:

Вступая в бой,
Поднимай вой,
Кусай и ругай,
Лай и хватай,
Ревь и рычи
Только не молчи.

И законы эти вошли в плоть и кровь каждого Настоящего Пса. Вот почему Вен и Ден, вмиг позабыв свои клятвы, начали визжать, рычать и лаять так громко, что в Доме зазвене-ла посуда.

Услыхав шум, Хозяин никак не мог понять, что там стряслось, и снова выбежал во Двор, прихватив для верности Палку. Оглянувшись по сторонам — нигде никого, только Псы опять сцепились друг с другом. Тут Хозяин рассвирепел и давай молотить Дена Палкой по голове. Он решил, что во всем виноват

Ден, ведь раньше, когда Вен жил один, ничего подобного не было, значит, Дену и надо намять бока первому. А пока он дубасил бедного Дена, Вен успел удрать на другой конец Сада.

Получив свою долю палок, Ден пал на землю и лежал без движения, считая себя мертвым.

Вен, притаясь у садовой ограды, сидел там, пока не ушел Хозяин. Только тогда он посмел приблизиться к Дену. Тут Ден вздохнул, открыл один глаз, потом второй и увидел Вена. Начал тут Ден плакать и жаловаться на сильную боль и злую судьбу. Вен нежно обнял лапами голову Дена. Принялись они утешать друг друга, и так им стало себя жаль — просто слов нет.

Наконец Ден сказал Вену:

— Прошу вас, Вен, быть мне отныне Старшим братом, а я уж стану Младшим. Я ведь пришел сюда позже вас. И что за блажь на меня нашла? Надо же быть таким болваном!

И Вен ответил:

— Все, что ты говоришь, суцая правда...

Итак, они побратались. То и дело они обращались друг к другу: «Не хотите ли вы, Вен...» или «Как ты думаешь, братец Ден...» — не по делу, а просто так, чтобы усладить свой слух. Как-то раз сидели они и доверительно беседовали о своей Собачьей Жизни. Говорили, они, говорили, и вот Вен говорит Дену:

— Братец, нам нужно впредь показать себя достойными, усердными и верными Псами. У каждого должно быть Свое Дело, чтоб отдавать ему все силы души и зарабатывать себе на пропитание. У нас с тобой одно Общее Дело: оберегать Дом Хозяина и его Добро. Так давай же распределим обязанности. Я буду лежать в тени — здесь, под навесом у двери, а ты сторожи в Переулке. Если что — не зевай, поднимай лай, я услышу и прибегу на выручку. Что скажешь?

— Согласен!

Поклонился Ден Вену, пошел и улегся за воротами мордой к дороге. Так он лежал, ожидая, пока кто-нибудь не войдет в переулок. Он был готов облаять первого встречного — только попадись... А Вен разлегся под навесом, время от времени поглядывая на Ворота и прислушиваясь, не лает ли братец Ден...

В общем, дела у Псов пошли на лад. Свободное время они посвящали обычно беседам обо Всем Вокруг и о том, как избежать таящихся в жизни бед.

В один прекрасный день в Переулок свернули два человека — родственники Хозяина. Но Ден так горел желанием отличиться, что не стал даже приглядываться и принюхиваться. «Сразу видно, что за молодчики, — подумал он. — Высматривают, где что плохо лежит. Сейчас я научу их, как зариться на чужое Добро!..» И он со всех ног кинулся за Веном. Вен тоже не стал раздумывать и решил гнать этих людей со Двора. Оба Пса-Молодца с лаем набросились на незнакомцев, и пошла потеха! Ден и Вен кусали их за ноги, да не просто так, а до крови, рвали одежду, да не как-нибудь, а в клочья, обещая загрызть их насмерть. Гости, вопя и стеная, ударились в бегство. Псы же, в восторге от первого своего Подвига, встали у Ворот — уж теперь-то Хозяин наградит их за Храбрость и Бдительность...

Хозяин услышал шум и крики и выскочил во Двор, прихватив на всякий случай Палку. Подбежал он к Воротам и видит: его родственники, бледные и дрожащие, ноги в крови, платье в лохмотьях, кричат и отбиваются от Псов-Молодцов. А те, рыча и оскалась, снова идут на приступ.

— Ах, негодяи! Ах, подлецы! — закричал Хозяин. — Да ведь это мои любимые бедные родственники!..

Ден и Вен изумились; значит, эти люди вовсе не молодчики и не налетчики? Ужас! Какой позор! И только они надумали отступить с Честью, как Хозяин, принялся молотить их своей Палкой. Псы-Молодцы начали было оправдываться, потом пытались ухватить зубами Палку, да разве ее схватишь! Хозяин только еще больше разгневался. Наконец Ден с Венем рухнули наземь. Больше они не сопротивлялись, потому что от боли совсем обессилели и не могли даже головы поднять. Оба валялись посреди Двора, изредка чуть слышно повизгивая. Тут лишь Хозяин успокоился и опустил Палку.

Свои люди меж собою всегда поладят. Вот и Хозяин, приложив примочки к ранам бедных родственников и кое-как починив их платье, уселся выпить с ними чайку.

А каково было Псам! Вен, придя в себя, стал упрекать Дена: — У-у ты, балда! Где были твои глаза, когда ты набросился на этих почтенных людей? Теперь мы из-за тебя опозорены и искалечены!

— Но ведь и вы виноваты не меньше меня! — рассердился Ден.

— А кто поднял тревогу? Это ты, ты сбил меня с толку!

Ден хотел было возразить, но решил: раз уж оба попали в беду, глупо опять ссориться. Он поднялся и, еле волоча лапы, пошел на Свое Обычное Место.

III

Жил-был один Вор. А ведь Вор — тоже человек, и все у него, как у людей: две руки, две ноги, голова и прочее. Вообще-то воры бывают на свете потому, что среди людей есть богатые и бедные, сытые и голодные. Но откуда было Дену и Вену, честным и бескорыстным Настоящим Псам, все это знать? И как могли они догадаться, кто хороший человек, а кто вор и мошенник?...

Так вот, жил-был один Вор. И однажды ночью зашел этот Вор в Переулок. Шел он тихо-тихо, крадучись, как ходят все воры. Но Ден услышал его и увидел его, потому что был на страже. А когда Пес на страже, он все видит и слышит. Заметив, как Вор свернул в Переулок, Ден решил: «Ага, к нам в Дом, по моему, кто-то идет...»

Он сначала задумался, потом завилял хвостом, подбежал к Вору и приветливо с ним поздоровался. «Это, конечно, Хозяйский Гость,— сказал себе Ден.— Вроде тех...— Тут у него сразу заныла спина.— Наверно, гость издалека, вот и добрался сюда только к ночи. Поздновато, правда, ну да не мое это дело: чей гость — того и забота. Не стоит, я думаю, Вена будить да шум поднимать; не ровен час, могут за это избить нас опять Палкой...»

Вор ласково погладил Дена между ушами. «В знак уважения и дружбы»,— решил Пес. Потом Вор отмычкой открыл Ворота и вошел во двор, Ден, желая показать, что он тоже знает толк в хороших манерах, проводил Вора до самого крыльца. А когда тот затворил за собою дверь, приветливо кивнул на прощание.

Вы спросите «Где же был Вен?» Вен в это время спал без задних ног. Он ведь был уверен — в случае чего Ден, карауливший Ворота, поднимет тревогу. А ему самому, как старшему и главному, лучше побереечь здоровье и хорошенько выспаться.

Дверь отворилась, и Вор тихонько вышел из Дома. Ден, не ждавший его так скоро, очень обрадовался. Вора теперь было трудно узнать. Он стал гораздо толще, потому что натянул на себя все Хозяйское платье. На голове у него блестел Большой Медный Котел — гордость и украшение Дома. В одной руке он

нес еще один котел поменьше, в другой — новенький поднос. А за пазухой он спрятал Хозяйские деньги — бумажки и монеты, — все до последнего медяка.

Вор вышел так же тихо, как и вошел. Вен по-прежнему крепко спал, а Ден из уважения к Хозяину проводил Вора до конца Переулка, оказывая ему Всевозможные Знаки Внимания.

На следующее утро Хозяин проснулся, потянулся, открыл глаза, оглянулся вокруг и подумал: «Что-то в Доме не так...» Огляделся еще раз: «О ужас! Куда подевались все вещи? Украли!.. Украли!.. Взломали шкатулку и взяли все деньги: монеты, бумажки... Украли! Украли халаты, штаны и рубашки... Любимый Котел и котел, что поменьше, и новый поднос Вор — чтоб ему сдохнуть! — из Дома унес. Воров мудрено увидеть и услышать во мраке... Пусть так, но куда же смотрели собаки?!..»

— Я держу этих мерзавцев Дена и Вена, — заорал Хозяин, — чтобы спокойно спать ночью! Я кормлю и пою их, а они, негодники, предали меня и мой Дом! Дармоеды проклятые, им бы только воробьев гонять! Пойду и скорей их прикончу...

Он схватил Палку и выскочил во Двор. Псы-Молодцы вежливо с ним поздоровались; но он, не отвечая на их приветствия, принялся изо всех сил колотить обоих Палкой.

— В чем дело? — закричали Ден и Вен. — Чем мы провинились? За что?!

— За что? А вам неизвестно, собаки, что ночью Вор утащил все наше Добро? Бездельники! Негодяи!

Псы тут же легли на землю, покорно подставив спины под Хозяйскую Палку. Стиснув зубы, они молча сносили побои. Только из глаз у них катились крупные слезы, но плакали они от стыда, а не от боли. Лишь когда Хозяин не в силах был больше поднять руку, кончился град ударов. Но, уходя в Дом, Хозяин им обещал:

— Все равно вы заслуживаете смерти; на днях приготавливаю отраву и отправлю вас, негодяи, на тот свет...

IV

О, горький удел, о злая судьба простодушных собак!

Вен, рыдая, стал упрекать Дена:

— Эх ты, я на тебя понадеялся и всю ночь спал спокойно, не зная забот.

— О небо! Но я не знал... Я не ждал, что такое может случиться. Ведь я же видел, как он вошел в Дом и вышел оттуда

с Добром... Но я не думал, что это Вор... Какое бесчестье! Какой позор!

— Да-а,— вздохнул Вен,— этого даже я не мог предвидеть...

Потом он задумался и снова вздохнул:

— Попомни мои слова: Хозяин нас отравит. Бьюсь об заклад на Целый Кусок Мяса, нам не прожить и недели. Самое неприятное в том, что даже не знаешь толком, когда наступит конец. Не успел еще приготовиться к смерти, как уже — готово дело... Что ты об этом думаешь?

Тут оба брата обнялись и зарыдали.

Успокоясь немного, Ден сказал Вену:

— Вы спрашиваете, что я думаю об этом? Так вот, я считаю: чтобы с жизнью не расстаться, нам нельзя здесь оставаться. Каждый день в этом Доме может стать для нас последним. Нечего долго раздумывать, бежим поскорее отсюда! Я знаю, где можно недурно прожить. И вообще мы вдвоем никогда не пропадем.

Вен согласился бежать.

И Псы-Побратимы стали готовиться к побегу.

Собрались и — в путь-дорогу. Только Ден и Вен, озираясь и оглядываясь, вышли в Переулок, как навстречу им идет Кот.

— Куда это вы, молодцы, собрались? — спросил Кот. — Небось пошляться надумали?

А собаки, как известно, никогда не кривят душой: что у них на уме, то и на языке. Поэтому Вен ответил:

— Какое уж там «пошляться»! Идем Куда Глаза Глядят, потому что в этом Доме ждет нас ужасная смерть от яда. Если хотите, Кот, пойдете с нами, вместе будет веселее.

Кот сощурился, вздохнул и, широко раскрыв глаза, сказал:

— О уважаемые Псы-Молодцы и названные братцы! Это вы правильно подметили — здесь всем нам грозят муки и смерть. Я тоже задумал бежать отсюда, да все как-то времени не было. То одно, знаете ли, то другое... Я счастлив, что повстречал вас и наконец уйду из этого ужасного и опасного Дома. Прошу вас только, не сочтите за труд, подождите меня тут минуточку, соберу поесть на дорогу — и сразу назад.

Ден и Вен уселись ждать нового друга и попутчика. А Кот вскочил на крыльцо, вошел в Дом, потом выглянул из дверей и крикнул:

— Смотрите же, подождите меня!

— Ладно, подождем! Только поскорей собирайтесь!

Вот уж поистине не повезло Дену и Вену, простодушным и добрым собакам!

Этот Кот с виду казался прямо-таки святым: ходит всегда тихо, осторожно, никого не заденет, не толкнет, глаза потуплены, голос елейный, слова сладкие. На самом же деле был он гнусный обманщик, коварный и неблагодарный.

Вот и сейчас он снова замыслил недоброе. Всю эту неделю Кот только и делал, что разгуливал Где Попало и пел любовные песни на каждой крыше. А пока его не было дома, мыши перепортили весь рис. Узнав об этом, Кот, конечно, боялся попасться Хозяину на глаза. Но, с другой стороны, Коту очень хотелось поесть свеженькой рыбки или мяса — одним словом, чего-нибудь Вкусненького. И теперь, повстречав Дена и Вена, Кот решил, что счастье само плывет ему в руки. «Если я сейчас домой поспешу и Хозяину моему доложу про этих псов-беглецов, он вину мне мою простит. И конечно, меня угостит лакомым кусочком со своего Стола...»

Итак, Кот помчался домой.

А Вен и Ден, ни о чем не подозревая, дожидались его в Переулке.

Кот тихонько вошел в Комнату и вежливо сказал Хозяину: — Мяу-мяу, ваша милость, я хочу открыть вам великую тайну.

— Какую еще тайну? — заорал Хозяин. — Лучше открой мне, где это ты пропадал целую неделю!

— Ваша милость, у меня были кое-какие Личные Дела, — скромно ответил Кот.

Тут Хозяин окончательно вышел из себя:

— Подумать только, у него Личные Дела! Вот я сейчас лично угощу тебя Палкой!

— Не желаете ли сначала узнать мою тайну? — похолодев, спросил Кот.

— Ну, говори, да покороче!

— Ах, ваша милость, эти псы-подлецы, Ден и Вен, задумали удрать из вашего прекрасного и безопасного Дома.

— Куда?

— Куда Глаза Глядят...

— А ты, негодяй, пришел заговаривать мне зубы, чтобы они успели удрать подальше?! — заорал Хозяин. И он дал Коту такого пинка, что тот вылетел из Комнаты и грохнулся на крыльцо. Еле потом собрал он свои кошачьи косточки.

— Ох, — простонал Кот, — вот какова награда за безупречную службу!.. Вместо Обеда — побои...

Хозяин выбежал за Ворота и увидел Дена и Вена. Сидят себе и беседуют о том, какая счастливая пойдет у них жизнь и как

весело им теперь будет с новым дружкойм — Котом. Но Хозяин прервал их мирную беседу, схватил обоих Псов за загривки и поволок обратно во Двор.

Там он сразу посадил их на Цепь: Вена привязал к одному столбу, а Дена — к другому. После чего обратился к ним с речью:

— Так-то, мерзавцы! Сначала вы отдали вора́м все мое Добро, а теперь и сами собрались удрать от меня? Ну погодите, я научу вас уму-разуму. Каждый день буду потчевать вот этой Палкой. Вы меня на всю жизнь запомните, лежебоки!..— И так далее, покуда не надоело.

Целыми днями сидели Вен и Ден на Цепи. Им не давали ни Еды, ни Воды. Да к тому же еще Хозяин ежедневно отсчитывал каждому ровно по десять палок.

Они сердились на Хозяина. Они очень на него гневались, но все равно это не шло ни в какое сравнение с тем, как возненавидели они Кота, подлого и коварного изменника.

— Мы доверились ему, а он нас предал,— жаловались Псы друг другу.— Из-за него мы сидим на Цепи и страдаем, терпим позор и побои и голодаем. Но все равно когда-нибудь нас отпустят на волю, и его ждет страшная месть. Мы поймаем его, искусаем его, растерзаем его насмерть!..

V

И вот пришел день, когда Дена и Вена освободили от цепей. Конечно, они тут же отправились искать Кота. Но его нигде не было. Кот знал, что Псы хотят ему отомстить, и боялся попадаться им на глаза. Ден и Вен все время шли по кошачьему следу, но найти Кота им так и не удалось. Иногда он появлялся в противоположном конце Сада или на другом берегу Пруда, но лишь на одно мгновение, а потом исчезал снова неведомо куда. Да к тому же собаки умели ходить только по земле, а Коту — везде дорога: и по земле и по крышам.

И все же Вен и Ден не падали духом и искали Кота повсюду. Однажды Вен, запыхавшись, прибежал к Дену:

— Ну, теперь он в наших руках...

— Где?! Где он?

— Я только что видел, как он взобрался на крышу. Оп, конечно, еще там. Вот что мы сделаем: ты стой на страже с одной стороны Дома, а я — с другой. Будем ждать — не зевать, пока

он не спустится. Тут-то он и попадет прямо к нам в руки. И мы будем бить его, душить и царапать, пока не убьем!

Стали Псы караулить по обе стороны Дома. Стоят, не шелохнутся, глаз не спускают с крыши. Так они стояли и сторожили до полуночи, а на крыше ни души, и никто не спускается вниз.

Наконец Вен крикнул Дену:

— Ведь я, как увидел, что он лезет на крышу, сразу стрелой за тобой! Он не мог, не мог успеть так быстро спуститься на землю!

— Но мы уже вон сколько его стережем! Неужели он все еще наверху?

— Но он не мог уйти незаметно. Разве только коты знают Волшебное Слово?..

Конечно, Кот не знал никакого Волшебного Слова. А дело было вот как: он и вправду взобрался на крышу, погулял там, потом прилег и Смотрел с Высоты На Мир. А когда ему надоело Смотреть С Высоты На Мир, он решил спуститься на землю. Тут-то он и заметил черный хвост Дена, сидевшего в засаде. А коты, как известно, по ровному месту бегают хуже собак. И если вдвоем — Пес с Котом — устроят по-честному кросс, то Кот проиграет, конечно, а выиграет Пес. И каждой Кот это прекрасно знает. Поэтому наш Кот и не подумал спускаться с крыши там, где сидел Ден. Он взмахнул хвостом, повернулся кругом и пошел не спеша на другую сторону крыши. Пришел, посмотрел вниз — а там Вен сидит, сторожит — глаза раскрыты, уши торчком.

Видит Кот, взяли собаки его в осаду. «Ну что ж, хорошо, — подумал он, — вы у меня прокараулите всю ночь...»

Сгреб он в кучу сухие листья и устроил себе мягкое ложе. Потом зевнул, затаился, лег поуютней, свернулся клубком и заснул мирным сном. Так он и почивал до рассвета.

А Ден с Венom торчали внизу — стерегли подступы к крыше. Сидели они, сидели, а Кота нет как нет. Тогда решено было снять осаду и идти искать Кота в Сад. Если бы они знали, что Кот как ни в чем не бывало спит себе на крыше!..

Но это еще пустяки по сравнению с тем, что выкинул Кот в следующий раз. Стоит как-то Ден на Своем Обычном Месте у Ворот и вдруг видит: идет Кот. Ден — за Котом, Кот — от него и прямо на Кухню. Тут Ден стал громко лаять, чтобы позвать Вена. Тот услышал голос Дена и сразу же прибежал.

Уселись Псы у кухонной двери и думают: «Теперь уж мы схватим его непременно».

Решить-то легко, а вот схватить...

Ведь Кот может на Кухне сидеть хоть год, и все ему ни по чем. Псам же Хозяин строго-настрого запретил заходить на Кухню. И они не смели нарушить этот запрет, боясь, как бы им опять не пересчитали ребра! И потом, в Кухне все равно тесно, а Хозяин еще додумался понаставить там столько разной посуды, только тронь ее, все полетит и — вдребезги. Так что драться там невозможно. Да если и ворваться в Кухню, Кот шмыгнет меж котлов и горшков прямо к двери — и был таков. Нет, тут надо придумать что-то другое... Но что?

А пока они сидели у двери и грозно рычали. Конечно, и это не так уж плохо, но нельзя же рычать вечно! Что бы такое им придумать похитрее? Как изловить Кота? Решено было начать с переговоров.

Переговоры открыл Вен:

— Эй ты, выродок! Предатель! Мышеед проклятый! Ты, паршивец, привык языком трепать, а попробуй-ка, презренный трус, сразиться с нами!

— Умно, ничего не скажешь! Вас двое, а я один. Не на того напали!

— А мы не будем тебя бить оба. Любой из нас готов сразиться с тобой один на один.

— Мур-ра! Кто вам поверит?

Видя, что Кот не выходит из Кухни, Ден и Вен стали опять совещаться. Наконец их осенила новая мысль:

— Эй ты! Ну а если один из нас войдет в Кухню, ты примешь бой?

Кот подумал: «Если я не соглашусь и на это их предложение, надо мной все станут смеяться. Да-а... Впрочем, это не так уж опасно. Пусть только кто-то из них сунется, я полосну его по глазам когтями, а сам заберусь на посудную полку. Пусть достанет меня оттуда!..»

И Кот крикнул Вену:

— Ладно! Я согласен!

Затем он прыгнул на самую середину Кухни. Оттуда до двери было еще далеко. Вен тотчас вошел в Кухню, а Ден остался за дверью.

Пока Вен проделывал необходимые Боевые Приемы, приближаясь к Коту, Ден, которому тоже не терпелось расправиться с врагом, решил: «Если я все время проторчу за дверью, сражение может кончиться, а я даже не успею ни разу укунить изменника. Нет, лучше всего мне броситься прямо за Вену и ударить на Кота с тыла...» Так он и сделал, нарушив слово, данное Коту перед битвой.

Но Кот доказал: не зря Кошачья Бдительность ставится всем в пример: одним глазом он следил за наступающим Венom, а другим заметил Дена, крадущегося в Кухню.

— Нечестно! — крикнул Кот. — Вы идете двое на одного!

Быстро как молния вскочил он на полку и вышел из боя раньше, чем Вен успел начать драку. Но это еще не все! По пути Кот задел стоявший на полке горшок с топленым салом, и тот свалился прямо на голову Вену. Вен без сознания рухнул на пол. Сало залепило ему глаза и уши, он сразу оглох и ослеп. Ден бросился к нему на помощь и стал проворно слизывать с него сало. Ничего не скажешь, вкусно!

Тем временем Хозяин, услышав шум и грохот, поспешил на Кухню. Прибежал и видит: на полу в луже сала стонет раненый Вен, над ним, облизываясь, стоит Ден, а в углу валяются черепки.

— О небо, о земля! — закричал в гневе Хозяин. — Эти мерзавцы разбили Мой Горшок и вылили на землю Мое Сало! Какие убытки я терплю из-за этих собак! Не будь их, я давно б уже стал богачом!

И он схватил обоих Псов и поволок их наверх, в Комнаты (впервые они удостоились такой чести). Он тащил их в Комнаты, так как там лежала его Палка...

Пожалуй, на этот раз им досталось как никогда. Они не в силах были даже шевельнуться, и их просто выбросили во Двор.

Только небо было свидетелем собачьих мучений. Но небу сколько ни жалуйся — все бесполезно!

VI

Надо признаться, нрав у Вена был помягче, чем у его младшего брата. А время все шло и шло, и вот за множеством разных дел он почувствовал, как ненависть к Коту постепенно улетучивается у него из сердца. Ден же оказался злопамятней. По ночам, когда Кот вдохновенно исполнял на крыше свои любовные песни, Ден говорил Вену:

— Нет уж, Вен, вы — как хотите, а я чую: нам с Котом не жить под одним небом, не ходить по одной земле. Я обязан, я должен его убить!

А Вен улыбался себе в усы:

— Ты, братец, слишком горяч. Помни: ненависть и злоба отравляют жизнь...

Осень была уже на исходе. Подули холодные ветры, и небо нахмурилось, видя, как вянет и опадает листва. И вот серым осенним днем, когда обычно не знаешь, куда деваться, Кот лежал на Кухне и с равнодушнейшим видом смотрел, как Хозяин варит какие-то овощи. Овощи — разве это Еда?.. Кот поднялся и вышел в Сад. Становилось довольно прохладно. Он постоял, подумал и зашагал вдоль бамбуковой изгороди прямо к Пруду. А Пруд в эту пору всегда мелеет, обнажается пологий берег, и можно спуститься к самой воде. Кот уселся на камень и уставился на зеркальную гладь Пруда.

Не думайте, будто он любовался отражением прекрасных осенних облаков. Просто он знал: в это время года, когда дует ветер, глупые рыбы поднимаются к самой поверхности и ничего не стоит прямо с берега подцепить их когтями.

Только сегодня, как назло, не попадалось даже мелкой рыбешки. Кот рассердился и встал. Он решил переменить место и побрел вдоль берега.

Он шел не торопясь. Листья и стебли дикого сахарного тростника шелестели на ветру и шуршали — словно шептались о чем-то, известном лишь им одним.

Вдруг Кот остановился и замер. На берегу билась, судорожно раскрывая рот, маленькая рыбка. Наверно, ее выбросило волною на берег и она не могла добраться назад, к воде. Вот вам и готовенькая Закуска...

Щелк! — кто-то больно схватил его за шею. О ужас! Ловушка!..

Человек поставил ее здесь, надеясь поймать дичь, прячущуюся в тростниках. А бедная рыбка была просто приманкой.

Войдите теперь в положение Кота. Ловушка была сработана на совесть. Стальная проволока крепко держала Кота за горло. В довершение несчастья в петлю угодили и обе его передние лапы. Упираясь задними лапами, Кот попробовал освободиться. Куда там! Хоть петля и не задушила его окончательно, дышал он с трудом и не мог даже крикнуть: «На помощь! Спасите!»

Обессиленный, он рухнул наземь. Придется лежать и ждать владельца ловушки. Но мог ли Кот знать наперед, что обещает его приход? А ну как хозяин ее — Человек жадный и злой? Ведь он может взять Кота и снести его на базар или — о ужас! — содрать с него шкурку.

О горький удел, о злая судьба бедного Кота!

В тот вечер Кот не явился к Ужину. Хозяин удивился и громко спросил у Вена и Дена, куда подевался Кот. Псы покачали головами и ответили, что не знают и знать не желают.

— А я желаю знать, — сказал Хозяин, — и приказываю вам найти его и доставить живым или мертвым.

Псы выбежали в Сад.

По дороге Ден, злобно ухмыляясь, сказал Вену:

— Пропади он пропадом! Пока разыщешь его, с ног собьешься. Давайте лучше вернемся и сообщим, будто мы не могли его отыскать. А уж зато, когда он возвратится, Хозяин разделается с ним По-свойски.

Но Вен убедил Дена идти дальше. Они обежали весь Сад — нигде и духу кошачьего не было. Ден снова принялся за свое:

— Нечего искать этого изменника. Послушайте, милый брат, вернемся лучше назад и скорее закончим ужин.

— Нет, — сказал Вен, — сбегает-ка еще на другой берег Пруда. Он иногда ловит там рыбу.

И они побежали через заросли тростника. Ветер погнался было за ними, да запутался в острых и длинных листьях и только сердито шелестел им вслед. И вдруг до них донесся какой-то странный звук. Ден спросил Вена:

— Вы слышите, Вен? Что бы это могло быть?

— А-а-а... — опять прозвучало в тишине. — О-о-ой...

— Действительно, странно, — сказал Вен. — Похоже, будто скулит щенок.

— А-а-а... О-о-ох...

— Но откуда здесь взяться щенку? — усомнился Ден. — Соседи-то все бездетные.

И тут они увидели Кота. Полузадушенный, он тихо и жалобно стонал. Ден очень обрадовался и стал уже примеряться, куда бы его куснуть побольнее, но Вен остановил Дена:

— Стыдись, братец! Ему и так худо, а ты еще хочешь кусать лежащего. Давай лучше вызволим его из ловушки. Пусть узнает, каково Собачье Благородство!

Ден послушался Вена. Они разорвали пружину, сломали машину и освободили Кота. Кот вздохнул наконец полной грудью, открыл глаза и... увидел Дена и Вена. Понял он, что это они, собаки, спасли ему жизнь, зарыдал и начал просить прощения за все свои прегрешения.

Вен был очень растроган. Ну а Ден — не очень, но и он смягчился, самую малость. Так ли, этак ли, но вражде их пришел конец. И Вен торжественно обратился к Коту:

— Прошу вас, запомните: отныне в сердцах наших нет и в помине былой смертельной вражды. Да, вы вполне благородно покаялись всенародно — передо мной и Деном — в предательствах и изменах. Я даже немного восхищен вами. Ведь все мы живем под одной крышей, кормимся из одних рук и у нас одно Общее Дело. Поэтому мы должны уважать и любить друг друга.

Кот выслушал его с величайшим вниманием, поклонился и начал ответную речь:

— О, вы совершенно правы! Как ясно теперь мне ваше Превосходство и Благородство! Знаю: не будь Дена и вас, я был бы давно уже мертв сейчас. Позвольте же на коленях просить: удостоьте меня вашей дружбы! Вижу... понимаю, я слишком занесся в мечтах... Но уж очень хотелось бы стать вам и Дену Самым младшим братом. Знайте, вы меня огорчите, убьете своим отказом!..

Вен с восторгом дал на все согласие. Ден — деваться некуда — согласился тоже. И Кот с той самой минуты стал верным собачьим родственником.

Трое братьев взялись за руки и пошли водить хоровод по мягкой осенней траве. Они весело кружились, плясали и пели. Кот совсем расчувствовался. Он обнял Вена и крепко поцеловал его, потом обнял Дена.

Как сладостен Мир и дорог Покой каждой твари земной!

IX

Новоявленные братья, обнявшись, зашагали к Дому. Справа шел Вен, слева — Ден, а Кот — посередине.

— Никогда, клянусь Едой и Честью, я не был еще так счастлив! — воскликнул Кот.

Вен улыбнулся и закивал в ответ. А Ден... Постойте-ка, что это с Деном? Отчего он такой хмурый и недовольный? Что он там замышляет?

И тут Ден отозвал Вена в сторону и зашептал ему на ухо:

— Послушайте, Вен, как же он может быть нашим братом — ведь он ни капельки на нас не похож? Морда у него как луна, нос — не черный, а красный, и хвост больно уж тонок...

— Умор-ра, — расхохотался Вен. — Ты, братец, для Пса слишком наивен. — Какое имеют значение лоб или нос, рост или хвост? Главное — будь сам по себе хорош. Все мы должны жить мирно и дружно и во всем помогать друг другу.

Вот с этого самого осеннего дня знаменитая поговорка «Живут, как кошка с собакой» и утратила свой извечный смысл.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. Никулин.</i> Предисловие	5
--	---

* ЗАПАДНЫЙ КРАЙ

РАССКАЗЫ

Сборщик долгов	233
Малолетние супруги	241
Месяц, который не умел разговаривать	247
* Супруги А Фу	252
Улица	281
Рассказ о событиях, случившихся на берегу Лотосовой заводи у храма Бронзового барабана	311

СКАЗКИ

* Жизнь, приключения и подвиги славного кузнечика Мена, описанные им самим	343
* О мышинной свадьбе, которая чуть было не состоялась . .	439
* Нравоучительные истории из жизни трех побратимов . .	477

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

Редакция художественной литературы

СЕРИЯ «МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ»

ВЫШЛИ В СВЕТ избранные произведения:

К. Х. СЕЛЫ (Испания)
Ф. МОРИАКА (Франция)
Я. КАВАБАТЫ (Япония)
С. ДЫГАТА (Польша)
В. КЁППЕНА (ФРГ)
М. ЛАУРИ (Канада)
В. ЭЛСХОТА (Бельгия)
К. ЧАНДАРА (Индия)
С. ВЕСТДЕЙКА (Голландия)
У. ФОЛКНЕРА (США)
Ч. ПАВЕЗЕ (Италия)
Э. КОША (Югославия)
И. ВО (Англия)
В. ХАЙНЕСЕНА (Дания)
К. ФУЭНТЕСА (Мексика)
А. ЗЕГЕРС (ГДР)
Р. К. НАРАЙАНА (Индия)
М. ДЕЛИБЕСА (Испания)
О. КЕМАЛЯ (Турция)
М. ФРИША (Швейцария)

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ избранные произведения:

Х. КОРТАСАРА (Аргентина)
П. УАЙТА (Австралия)
Т. УАЙЛДЕРА (США)

ТО ХОАЙ
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Редактор М. Финогенова
Художник В. Кириллов
Художественный редактор А. Купцов
Технический редактор Т. Беляева
Корректор Р. Прицкер

Сдано в производство 2.6 1975 г.
Подписано к печати 23.10 1975 г.
Бумага 60×84¹/₁₆ тип. № 2.
Бум. л. 15¹/₂. Печ. л. 28,83.
Уч.-изд. л. 28,75. Изд. № 18510.
Цена 1 р. 66 к. Заказ № 2917
Тираж 75 000 экз.

Издательство «Прогресс»
Государственного комитета
Совета Министров СССР
по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома
при Государственном комитете
Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28